Анатоль Франс

Anatole France

Государственное
И з д а т е л ь с т в о
Х у д о ж е с т в е н н о й
Литературы

Анатоль Франс

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в восьми томах

•

Под общей редакцией
Е. А. ГУНСТА, В. А. ДЫННИК,
Б. Г. РЕИЗОВА

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

Анатоль Франс

ТОМ ПЕРВЫЙ

•

СТИХОТВОРЕНИЯ
КОРИНФСКАЯ СВАДЬБА
ИОКАСТА
ТОЩИЙ КОТ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА
КНИГА МОЕГО ДРУГА

Переводы с французского

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1957

ANATOLE FRANCE

ŒUVRES

POÉSIES
JOCASTE
LE CHAT MAIGRE
LE CRIME DE SYLVESTRE BONNARD
LE LIVRE DE MON AMI

Вступительная статья
В. А. Дынник

АНАТОЛЬ ФРАНС

Творчество Анатоля Франса — одно из самых сложных противоречивых и интересных явлений в западноевропейской литературе конца XIX и начала XX века. Трудно подвести под одну формулу все разнообразные особенности художественного мира Франса, его стиля, его отношения к жизни, к человеку, к обществу. Франс очень прихотлив в своих суждениях, вкусах, чувствах, — и прихотливость эту он порою как бы возводит в принцип своего искусства. Он иронизирует и над своими врагами, и над своими друзьями, и над самим собою. Одного и того *же* героя — будь это Сильвестр Бонар («Преступление Сильвестра Бонара»), Жером Куаньяр («Харчевня королевы Гусиные Лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра»), Бержере («Современная история») — он превращает то в выразителя самых заветных авторских размышлений и чувств, то в предмет авторского вышучивания; то дает ему судить жизнь, людей, общество, культуру с высот свободной и смелой гуманистической мысли, то заставляет его робеть перед явлениями жизни, терять точку опоры, во всем сомневаться.

Когда читаешь книги Франса, не перестаешь удивляться широте и напряженности его интересов, постоянному творческому беспокойству его мысли. Не перестаешь ощущать наполняющую эти книги тревогу Франса за судьбу общества, народов, человечества, за судьбу человеческой культуры и свободной

мысли. Не перестаешь восхищаться силой и меткостью франсовской сатиры, поистине неистощимой.

Во всех странах мира читатели знают и любят Анатоля Франса — или же знают и боятся его, знают и ненавидят — преимущественно как сатирика. Произведение Франса, принесшее ему литературную известность, — роман «Преступление Сильвестра Бонара» — вышел в свет более полувека тому назад, в 1881 году. Последнюю книгу своей художественной прозы «Жизнь в цвету» Франс издал в 1922 году. Между тем литературное наследие Франса, ставшее прочным достоянием мировой литературы, сохраняет в наши дни не только художественную прелесть и познавательную ценность, но и злободневный свой смысл, свою памфлетную остроту.

Правда, порою надо рыться в исторических исследованиях и разных справочниках, чтобы расшифровать бесчисленные саркастические намеки писателя, портретные зарисовки, пародийные воспроизведения подлинных событий, во времена Франса происходивших у всех на глазах. Зато современный наш читатель легко применяет сатиру Франса к событиям, происходящим у всех на глазах в наше время. Жизнестойкость франсовских произведений связана с тем, что писатель философски обобщал свои наблюдения, и стрелы его негодующей насмешки глубоко проникали в самое существо буржуазного общества, которое с полной откровенностью обнаружило себя в настоящее время.

М. Горький с восхищением писал о необычайном даре Франса чутко улавливать «все смрадные запахи ада, как бы тонки они ни были». Годы, когда создавались первые сатирические произведения Франса, уже были отмечены началом буржуазной экспансии, империалистических войн и захватов чужих территорий капиталистическими державами. В 1881 году был захвачен Францией Тунис. В 1882 году был оккупирован Англией Египет. В 80-е годы Францией были совершены завоевания в Китае, захвачены огромные колониальные владения в Западной и Центральной Африке, англичанами была захвачена Бирма, немцами произведены были колониальные захваты в Юго-западной и Восточной Африке и на Новой Гвинее. А затем, в 90-е годы, в пору создания «Красной лилии», «Сада Эпикура», «Современной истории», происходила японо-китайская война (1894—1895), испано-американская война (1898), началась англо-бурская война (1899). Войной постоянно

грозили в 80-е и 90-е годы франко-германские, русско-германские, франко-итальянские отношения. В конце 90-х годов Япония начала готовиться к военному нападению на Россию, при деятельной поддержке Англии и США, и т. д.

Удивительна обобщающая прозорливость Франса, его умение увидеть в милитаризме своего времени проявление таких черт, которые присущи самой природе капиталистического строя, а не только той или иной поре его развития. Как подлинный реалист, он широко типизировал явления современности. Задолго до первой мировой войны, создавая свою социалистическую утопию в книге «На белом камне» (1905), Франс писал там о судьбах капиталистического строя: «Подобно феодальному строю, капиталистический строй есть строй военный. Открылась эра больших войн за промышленное первенство. При современном режиме национального производства назначение тарифов, установление таможен, открытие и закрытие рынков будут зависеть от пушки. Нет другого регулятора торговли и промышленности. Истребление — вот роковое следствие экономических условий, в которых находится сейчас цивилизованный мир».

Так французский сатирик покончил со слащавой легендой о якобы мирном характере капиталистического строя. Не ввел его в обман и американский вариант этой легенды. В одной из глав «Острова пингвинов» рассказывается о заокеанской стране, правители которой лицемерно именуют ее страной мирной промышленности, а чтобы найти сбыт этой «мирной промышленности», уничтожают в Третьей Зеландии две трети населения. В романе эта заокеанская страна называется Новой Атлантидой, — и в наши дни читатель еще легче, чем во времена Франса, расшифрует вымышленное название, безошибочно назовет не только часть света, где находится этот «промышленный рай», но и точный адрес его устроителей.

Не обманула Франса и другая, столь же лживая легенда империалистической буржуазии — легенда о демократичности буржуазного строя. Две последних части «Современной истории» — романы «Аметистовый перстень» (1899) и «Господин Бержере в Париже» (1901) — подробный и планомерно составленный, фактически обоснованный в каждом своем пункте обвинительный акт против буржуазной лжедемократии, превратившейся во всенародный обман. И опять-таки никогда еще сатира Франса на буржуазную лжедемократию не была так злободневна, как в настоящее время.

Наблюдения над нашей современностью позволяют особенно живо ощутить не только сатирическую прозорливость Анатоля Франса; с такою же ясностью обнаруживают они и наивность того миролюбивого социализма, который противопоставлен у Франса всей грязной и жестокой сущности империалистического общества, социализма, каким он рисуется, например, в туманных мечтах двух прекраснодушных собеседников из «Современной истории» — профессора Бержере и столяра Рупара. Франс не раз провозглашал «милосердную медлительность» социальных перемен, высказывал немало скептических мыслей по поводу возможности перестроить общество при помощи революции. Но характерно, что сам Франс опроверг себя: он одним из первых среди передовых писателей Запада приветствовал Октябрьскую революцию; в 1919 году он не раз выступал с негодующими, обличительными словами против организаторов блокады Советского государства, а на закате своих дней называл себя коммунистом. Чтобы приблизиться к подлинному коммунистическому мировоззрению, Франсу, конечно, предстояло еще многое пересмотреть в своих прежних взглядах — взглядах позднего потомка старых западноевропейских гуманистов. Но глубокого смысла полон последний этан идейного пути Анатоля Франса, ставшего другом Советской страны, — закономерное завершение всех его творческих поисков. Не случайная прихоть, а властное требование писательской совести заставило Франса вступить в круг западных художников, объявивших себя друзьями Советской страны.

Как же этот наследник старых западноевропейских гуманистов пришел к пониманию огромной ценности новой, социалистической культуры? Как этот прославленный скептик, видевший в истории человечества лишь историю все одних и тех же бессмыслиц, их нескончаемый, скучный круговорот, — забыв свой скептицизм, преклонился перед великою преобразующею мир правдой Октябрьской революции? Какие особенности мировоззрения Франса помогли ему сделать последний, решительный шаг навстречу новому миру, какие — препятствовали ему в этом? Наконец, какую роль сыграла наша страна в сложном и трудном процессе идеологической перестройки одного из крупнейших мастеров западной культуры? Освещая все эти вопросы, непосредственно связанные с конкретным изучением литературной деятельности Франса, вместе с тем можно многое уяснить в творчестве и общественном поведении передовых писателей

нынешнего Запада, все решительней и решительней вступающих в борьбу за мир, за подлинную демократию, за дружбу с Советским Союзом, за строительство социализма. Таким образом, не только сатирическое содержание книг Анатоля Франса, но весь облик писателя и его творческий путь приобретают особую актуальность в наши дни.

* * *

Анатоль Франс родился в 1844 году, умер в 1924 году, вскоре после того как был отпразднован его восьмидесятилетний юбилей. Самые ранние детские воспоминания Франса относятся к революции 1848 года. Он был современником Коммуны 1871 года, революции 1905 года, Февральской революции 1917 года и, наконец, Октябрьской революции. Не удивительно, что большой писатель, живший в такое время, впервые выступивший со своими литературными произведениями в конце 60-х годов прошлого столетия, выпустивший за полвека своей литературной деятельности около полусотни книг — романов, повестей, рассказов, очерков, стихов, драматических произведений, литературно-критических и политических статей, — не раз сталкивался с новыми для себя проблемами, не раз пересматривал и старые, уже, казалось бы, решенные им прежде.

Отец писателя, Франсуа Тибо, был младшим сыном многодетного сапожника и уже двенадцатилетним мальчиком принужден был зарабатывать свой хлеб. До двадцати лет служил он батраком на одной из ферм в провинции Анжу. В эти годы он, по-видимому, не знал даже грамоте, не умел подписать своей фамилии.

Но Франсуа Тибо повезло, он в конце концов «выбился в люди» и, переехав на жительство в Париж, открыл здесь небольшую книжную лавку, а при ней — нечто вроде издательства. В скромной квартире при книжной лавке на набережной Малакэ и главным образом в самой книжной лавке протекали детство и юность Анатоля Тибо — будущего писателя Анатоля Франса.

Книгопродавец Франсуа Тибо, или господин Франс, как попросту его называли соседи (отсюда и псевдоним писателя), решительно противился намерениям своего сына отдаться литературному призванию. Но у молодого Тибо была целая армия союзников — книги и рукописи, заполнявшие полки отцовской

книготорговли, и железные лари букинистов вдоль берега Сены. Мальчишеская рука рано научилась разыскивать среди всякого книжного хлама какую-нибудь любопытную брошюру, старинную книгу, редкий эстамп. Способствовали литературным увлечениям Анатоля Тибо и посетители книжной лавки, понемногу превратившие ее, по доброму старому обычаю, в своего рода неофициальный литературный клуб. Среди завсегдатаев лавки было немало писателей и знатоков литературы и искусства — приходили туда братья Гонкуры, известные литературные критики Поль де Сен-Виктор, Жюль Жанен и многие другие. Воспоминаниями об отцовской книжной лавке, о беседах литературных спорщиков и замечаниях книжных знатоков наполнены многие страницы романов Франса. С теплым чувством вспоминает Франс свой «потухший очаг» — книжную лавку отца — и в специальной заметке (1867) в одном из библиографических журналов.

Анатоль Тибо, будущий неутомимый преследователь всяческого мракобесия, воспитывался в католической школе. О характере воспитания, полученного им в родной семье и в школе, можно судить по его первым «литературным пробам». Впоследствии Анатоль Франс не мог без смеха вспоминать благонравные и благочестивые рассуждения, которым он предавался в детстве, когда аккуратно изготовил для своей матери рукописное издание «Новые мысли и христианские максимы, сочинение Анатоля».

Пятнадцатилетним юношей А. Франс получает в лицее награду за сочинение «Легенда о святой Радегунде», а книгопродавец Тибо, счастливый и гордый успехами своего сына, выпускает это произведение в свет литографированным изданием.

Анатоль Франс уже юношей стал понемногу выступать в качестве критика и поэта. Его стихотворные опыты печатались в сборниках «Современный Парнас», отдельные издания его стихов (сб. «Золотые поэмы») и «Коринфская свадьба» вышли в свет у Лемерра, присяжного издателя парнасцев. О тесной связи с парнасцами говорят и многочисленные посвящения, предшествующие стихам Франса.

Для поэтов, объединявшихся в 60-е и 70-е годы вокруг сборников «Современный Парнас», период их бунтарства был уже далеко позади. Глава Парнаса Леконт де Лиль некогда, до революции 1848 года, увлекался идеями утопического социа-

лизма, но в сборниках «Античные поэмы» (1852) и «Варварские поэмы» (1862) он покончил с «поэзией социальной пропаганды» и, хотя был полон ненависти и отвращения к капиталистической современности, что нередко чувствуется в лучших его стихах, ушел в мир античной красоты и восточной экзотики. Теофиль Готье еще в 1852 году выпустил свой сборник стихов «Эмали и камеи», — здесь все, начиная даже с заглавия, демонстрировало, что ювелирная отделка слова, ритма, образа стоит для Готье на первом плане. Хосе-Мария де Эредиа публиковал в сборниках «Современный Парнас» свои сонеты, вошедшие впоследствии в единственную выпущенную им за всю жизнь книгу «Трофеи» (1893). В этих стихах образы древнего мира, греческих мифов, восточных стран, западноевропейского Возрождения, отлитые в великолепную форму сонетов, действительно кажутся трофеями какого-нибудь конкистадора, который совершает свои набеги на отдаленные века, народы, страны только затем, чтобы завладеть драгоценной добычей, и любуется ею, глубоко равнодушный к судьбе этих веков, этих народов, этих стран.

Достаточно познакомиться со стихотворением А. Франса «К поэту», чтобы обнаружить несомненное влияние парнасцев; надгробное прощание с Готье переходит в типичную парнасскую декларацию «божественного слова, все в себе содержащего».

Итак, ни семья, ни школа, ни литературные друзья не могли способствовать обращению Анатоля Франса к боевом), злободневному искусству. Однако ужо в начале 80-х годов не могло быть никаких сомнений в том, что автор «Сильвестра Бонара», при всей своей любви к отточенной словесной форме, отнюдь не ради этой формы занимается литературой, да и форму-то оттачивает он не на ювелирный манер, а так, как оттачивают оружие, — она и была оружием его социальной сатиры.

В становлении Франса как передового писателя большую роль сыграли традиции гуманистов и просветителей, особенно Рабле и Вольтера.

О том, до какой степени сам Франс сознавал себя наследником гуманистических и просветительских традиций, своеобразно свидетельствуют так называемые художественные автобиографии писателя. Франс не раз на протяжении своей литературной жизни обращался к этому жанру. На страницах «Книги моего друга» (1885), «Пьера Нозьера» (1899), «Жизни

в цвету» (1922) он не уставал воспроизводить картинки своего детства — и иногда с поразительными подробностями, однако в таких книгах Франс вместе с тем не раз своенравно перестраивал свою подлинную биографию. Так, например, отец маленького Пьера доктор Нозьер, человек, утонченно образованный, влюбленный в науку, грустно наблюдающий современную жизнь с высоты своих гуманистических идеалов, человек, выше всего ставящий свободу мысли, — образ, в значительной степени вымышленный, точно так же как и бабушка маленького Пьера, философическая старушка, в дни своей далекой юности связанная сердечной дружбой с передовыми мыслителями XVIII века, олицетворяющая собою живую традицию французского Просвещения.

Однако в подобных вымыслах Франса скрыта внутренняя правда: сознавая себя наследником великих идей гуманистов и просветителей, Франс как бы закрепляет при помощи этих вымыслов свою идейную родословную. Такую же кровную связь с гуманистами XVI века приписывает себе Франс и на страницах рукописи «На белом камне», хранящейся в Национальной библиотеке в Париже. Персонаж, именуемый в печатном тексте Николь Ланжелье, в рукописи первоначально носит имя самого писателя — Анатоль Франс, и характерно, что этот Анатоль Франс происходит «из старинной парижской семьи печатников и гуманистов».

Духовный наследник гуманистов и просветителей, Анатоль Франс не сразу находит свою тему, свой стиль, свой писательский путь. Его первые стихотворные опыты носят несомненные следы парнасских настроений. Но уже и в них можно порою обнаружить живой, хотя и приглушенный, отклик на тогдашнюю современность, наивную попытку противопоставить растущему мракобесию Третьей республики свой гуманистический идеал свободного, счастливого, прекрасного человека.

В этом отношении стихотворное наследие молодого Анатоля Франса далеко не однородно. Культ формы, пристрастие к изображению экзотических стран или древнего мира, к воссозданию образов искусства, животного и растительного царства, не оставляющие места для современной жизни родной страны, присущи в той или иной степени всем поэтическим произведениям Франса, собранным в книге «Золотые поэмы» (1873) и в книге «Коринфская свадьба» (1876). Однако только в «Золотых поэмах» Франс, и то не всегда, соблюдает тот бесстрастный тон, который считался

обязательным для поэтов-парнасцев. В поэме «Коринфская свадьба» парнасский принцип бесстрастия нарушен не только основным тоном, но и всем замыслом произведения.

Почти каждое стихотворение из книги «Золотые поэмы» как бы соперничает с живописью или скульптурой.

Куропатка, умирающая в камышах под выжидательно застывшей мордой охотничьей собаки; столетний дуб с прогнившим, пустым стволом и юркая ящерица, бегущая от него прочь в поисках нового жилья, — все эти образы даны Анатолем Франсом в типично парнасском духе. Поэт озабочен тем, чтобы придать им наибольшую пластическую завершенность. Редко-редко прорывается в таких стихах лирическое волнение автора.

Когда в «Золотых поэмах» появляется человек, он зачастую виден как бы в некотором отдалении, кажется перенесенным в поэзию не непосредственно из жизни, а с полотна картины. Недаром одному из подобных стихотворений сам автор дает название, заимствованное из живописи, «Марина» (то есть «Морской пейзаж»).

Можно доказать, что стихотворение «Олени» воспроизводит со всеми подробностями известную картину Г. Курбе «Битва оленей» (1861) — вплоть до высунутого языка у побежденного оленя, падающего на вспоротый живот, вплоть до неожиданных, при весеннем пейзаже, рыжих листьев, сохранившихся по воле Курбе на деревьях. Такую же непосредственную связь можно установить между сонетом «Римский сенатор» и картиной Ж. Жерома «Смерть Цезаря» (1859), да и посвящен этот сонет «Жерому, художнику».

Как нередко бывает у парнасцев, при таком вторичном отражении — от зеркала к другому зеркалу — мир утрачивает в стихах Франса свои свежие краски, живая теплота солнечных лучей зачастую сменяется холодным зеркальным блеском.

Парнасскою чеканкой блещет стихотворная форма «Золотых поэм», их строгие двенадцатисложные строки (так называемый александрийский стих), нередкая у молодого поэта сонетная композиция. Но Франс не ограничивался в своих стихах одним лишь искусством словесной пластики или ритмической чеканки. Его стихи насыщены мыслью. Его мир уже в этот, первый период — мир материалиста. Недаром так увлекает его при создании «Оленей» картина Курбе — передового художника Франции, ко времени выхода в свет «Золотых поэм» заплатившего за свою приверженность Коммуне 1871 года разорением и изгна-

нием. Этот интерес Франса к Курбе тем более важно отметить, что сам Франс не был в те времена приверженцем Коммуны. К Коммуне 1871 года Франс отнесся враждебно, не понял и не хотел понять ее высокого социального смысла, уехал в те исторические дни из Парижа. В этом сказались консервативные политические взгляды молодого писателя. Отрицательное отношение к Коммуне 1871 года отразилось в повести Франса «Желания Жана Сервьена». Она вышла в свет лишь в 1882 году, но написана была, как сообщил в предисловии автор, лет за десять до того. Из предисловия также видно, что уже к началу 80-х годов Франс пересмотрел многое из того, что было высказано в его ранней повести. Все же, как он сам указывает, первоначальная основа сохранилась. «Эта основа, — говорит Франс, — заключает в себе нечто резкое и жестокое, что мне не нравится в настоящее время. Я проявил бы теперь больше мягкости».

Из биографии Франса мы знаем, как он в юности увлекался теорией Дарвина, какое могучее очарование было для него в мысли о неустанной борьбе, происходящей в природе и создающей все новые, более совершенные формы жизни. Непосредственный отклик юношеского увлечения Франса теорией Дарвина обнаруживаем мы в концовке «Оленей», где человек, достигший высот мысли, рассматривается как прекрасное завершение непрерывной смены животных видов. Материализм и гуманизм Франса органически сливаются в этой концовке.

Но все очень еще спокойно в поэтическом мире автора «Золотых поэм». Если временами можно уже предчувствовать в них будущего Франса, мастера литературной формы, поклонника художественных ценностей, созданных человечеством, знатока исторических деталей, то боевой дух великого сатирика еще никак не ощущается в его «Золотых поэмах».

Драматическая поэма «Коринфская свадьба», отделенная от «Золотых поэм» лишь тремя годами, представляет собою уже новый шаг, сделанный Франсом. Поэма эта принципиально отличается от первой книги франсовских стихов всем своим характером, всею своей направленностью.

«Коринфская свадьба» вышла через несколько лет после разгрома Коммуны 1871 года, когда политические нравы Третьей республики достаточно определились, когда, в частности, католическая реакция достигла полного разгара. Заодно с клерикалами в Третьей республике действовали монархисты, что особенно наглядно проявилось в начале 1877 года, когда в программу

коалиции монархических партий входило установление в городе Риме светской власти папы.

В критических и литературоведческих работах, посвященных Франсу, распространено мнение, что антиклерикальные тенденции появляются в его творчестве достаточно отчетливо лишь к 90-м годам. Утвердилось такое мнение потому, что критики и исследователи не обратили должного внимания на «Коринфскую свадьбу» и не заметили ее антиклерикального смысла. Правда, сам поэт — по всей вероятности, из цензурных соображений — постарался его несколько завуалировать.

В предисловии к поэме он называет религию иллюзией, лживой мечтой человечества. Но это атеистическое высказывание смягчено некоторой дозой эстетизма и скептицизма: «Если мечта прекрасна, какое значение имеет то, что она лжива?» — спрашивает Франс.

Однако то, что Франс смягчает в предисловии, он совсем не смягчает в самой поэме. «Коринфская свадьба» — произведение, всем своим замыслом направленное против христианского аскетизма. Поэт не только изобразил в поэме трагическую гибель Дафны и Гиппия по вине матери Дафны, исступленной христианки Каллисты, принесшей в жертву Христу счастье и любовь двух молодых существ; в «Коринфской свадьбе» мрачной аскезе христианства, отвергающей всякую земную радость, противопоставлен светлый мир душевной гармонии, человечности, наслаждения всеми дарами земли, всей прелестью любви и мирной жизни.

Читая драматическую поэму Франса о любви Дафны и Гиппия, загубленных мрачной религиозной нетерпимостью Каллисты, особенно же — сцену последней их встречи в гробнице, не раз вспоминаешь шекспировских «Ромео и Джульетту». Но сходством фабулы и основной психологической ситуации двух этих произведений только подчеркивается некоторая абстрактность образов в поэме Франса. Дело тут не в хронологической отдаленности изображаемой эпохи (мы знаем, как впоследствии умел осовременивать историю автор «Харчевни королевы Гусиные Лапы» и «Острова пингвинов»); дело не в наличии у Франса мифологических персонажей, встречающихся и в произведениях Шекспира (к тому же они у Франса являются Гиппию во сне). Дело в том, что личная драма Дафны и Гиппия обобщается не в борьбе персонажей, а при помощи лирической патетики и символики.

В «Коринфской свадьбе», как и в «Золотых поэмах», еще трудно угадать черты будущего сатирика. В поэме немало страниц, звучащих прямым обличением религиозного фанатизма, но обличение это не конкретизируется в сатирических образах. Лишь кое-где в репликах Гермия звучит ирония по отношению к Каллисте.

И все же «Коринфская свадьба» в условиях католической реакции 7ü-х годов имела несомненно актуальный смысл. Это значение ее сразу же почувствовала Жорж Санд. Прославленная писательница в письме к начинающему поэту приветствует выход «Коринфской свадьбы» в свет, подчеркивая ее роль в борьбе с католической реакцией во Франции.

Еще не реалист в глубоком смысле этого слова, еще не сатирик, еще не мастер иронии, Франс только начинает в «Золотых поэмах» и «Коринфской свадьбе» свой литературный путь. Однако если в свое время трудно было бы предугадать во Франсе-поэте будущего Франса-прозаика, то все же теперь, обозревая весь путь Анатоля Франса, можно узнать во Франсе-поэте многие черты будущего Франса — и черты немаловажные. Это черты гуманизма.

Как бы ни была капризна творческая мысль Анатоля Франса, в какие бы противоречия ни впадал он с самим собою на протяжении своего долгого литературного пути, какую бы двойственную позицию ни занимал оп в отношении ко многим вопросам социальной жизни, человеческой мысли, искусства, морали и т. д., гуманистические идеалы сохраняли для него неиссякаемое обаяние. Франс полон противоречий, — это верно. Но глубоко неверно на этом основании объявлять его «Дон-Жуаном мысли», как это делает французский буржуазный литературовед Ж. Мишо, автор книги об А. Франсе. «Дон-Жуану мысли» читатели не стали бы писать в своих поздравительных письмах к восьмидесятилетнему юбилею Франса: «Вы были хлебом насущным для моей души», «Вы помогли мне осмыслить жизнь», «Вы указали мне смысл жизни». Горький и Франс — писатели, казалось бы, столь несхожие друг с другом, а между тем Горький, прекрасно видя и противоречивость Франса и проявляющуюся временами склонность его к социальному пессимизму, разглядел в нем и то здоровое жизненное начало, каким он «всесторонне и глубоко связан с духом своего народа», разглядел в нем любовь к жизни, любовь к родине, любовь к человеку и к свободной человеческой мысли. Именно поэтому

Горький и мог назвать сатирическую деятельность Франса «прекрасной работой разрушения». «Работа разрушения» велась Франсом-сатириком не во имя скептического безверия, а во имя его преданности гуманистическим идеалам. Сам же скептицизм, какой бы острый характер ни принимал он временами у Франса, был все же лишь средством в этой жизнеутверждающей «работе разрушения».

Для такой работы Франс не мог бы удовлетвориться попытками переубеждать противника при помощи образов поэтически абстрагированных, перенесенных в далекое историческое прошлое, хотя по существу и подсказанных современностью.

В полную меру творческие возможности Франса развернулись в его реалистической прозе, где главнейшее место заняла сатира. Пристрастие к образам исторического прошлого, свойственное Франсу-поэту, сохранилось и в творчестве Франса-прозаика, но приобрело там иной, более жизненный и боевой характер, смело сочетаясь с сатирой и реалистическими образами современности.

Начиная с 1879 года и до конца своей жизни Анатоль Франс, как писатель, целиком отдается прозе.

Первая книга его художественной прозы вышла в 1879 году. Она содержала две повести: «Иокаста» и «Тощий кот». Здесь уже можно обнаружить характерные черты будущего автора «Современной истории», хотя далеко не все.

В «Иокасте» фабула занимает более значительное место и психологии героев уделено больше внимания, чем в последующих произведениях Франса. Но уже в этой ранней повести имеется эпизод, чрезвычайно характерный по вложенному в него смыслу для всего художественного мировоззрения Франса, как оно проявилось на протяжении долгих лет его творческой деятельности. Героиню повести приводит к самоубийству, конечно, весь комплекс обстоятельств, но последним толчком служит не какое-либо событие ее внешней или внутренней жизни, а отрывок из трагедии Софокла, заданный на урок ее племяннику.

В рассказе Франса «Красное яйцо», вошедшем в сборник «Валтасар», доктор П., напоминая своему собеседнику об одном его произведении, в котором мы без труда узнаем повесть «Иокаста», передает почти дословно всю сцену со стихами Софокла и замечает по этому поводу: «Один стих Софокла убил вашу героиню».

В «Иокасте» мы таким образом уже обнаруживаем удивительную особенность, в высшей степени свойственную и позднему Франсу: прошлое человеческой культуры, к каким бы отдаленным векам оно ни относилось, для него — не только прошлое, — многовековая культура человечества в художественном сознании Франса живет бок о бок с современностью, образы и идеи далеких веков вступают в живое взаимодействие с образами и идеями современности. Проявилась в повести и другая черта франсовского гуманизма: вера в силу человеческого слова, вера в человеческое слово как фактор действительности. Правда, впоследствии эта вера порою ослабевала у Франса под воздействием социальных разочарований писателя (что мы видим, например, в его книге «Сад Эпикура»), порою чрезмерно разрасталась в ущерб реалистической убедительности его художественного мира (рассуждения г-на Бержере о социализме в «Современной истории»), но все же эта вера в силу человеческого слова, то есть человеческой мысли, составляет подлинный пафос франсовского творчества, придает ему какое-то особое интеллектуальное обаяние.

В первой книге франсовской прозы намечается уже — правда, лишь несколькими чертами и притом не самыми существенными — и облик привычного героя последующих книг Франса. В повести «Тощий кот» выводится литератор Годэ-Латеррас, собирающийся изучать со своим питомцем творения латинских авторов. Человек, плохо приспособленный к практической жизни, Годэ-Латеррас как бы и не замечает жизненных невзгод, весь погруженный в свои литературные замыслы. Персонаж этот, наделенный чертами чудачества, еще не занимает в произведении того значительного места, какое занимают в более поздних произведениях Франса такие персонажи, как Сильвестр Бонар, аббат Куаньяр или профессор Бержере. Их тоже писатель изображает в комическом плане, но, подшучивая над этими своими героями, над их неприспособленностью к практической жизни буржуазного общества, Франс одновременно и возвеличивает их над жизненной практикой, противопоставляет окружающей действительности те гуманистические ценности, носителями которых они выступают. С точки зрения своего гуманизма они судят окружающую их действительность — и осуждают ее. Они в высшей степени наделены мудрой, зоркой иронией и благородным пафосом, что придает чрезвычайную значительность и глубокий смысл этим чудаковатым персона-

жам. В повести «Тощий кот» намечается лишь одна, юмористическая сторона той темы, которая в дальнейшем займет видное место у Франса, — темы столкновения между миром ученого и миром жизненной практики.

Можно обнаружить в повести «Тощий кот» и первые проявления сатирического искусства Анатоля Франса. Великолепен сатирический образ Алидора Сент-Люси, «адвоката, бывшего министра народного образования и морского министра, члена Палаты депутатов, председателя Художественной комиссии о-ва Гаити», как торжественно гласит его визитная карточка, который лавирует у себя на родине между противоположными партиями, расстреливает «без всякой злобы» своих единоплеменников, а затем, после падения старого правительства и установления нового, создает проект воздвигнуть памятник в честь «жертв тирании». «Среди этих жертв имелись и такие, кому бывший императорский прокурор особенно обязан был воздвигнуть памятник», — язвительно замечает Франс. В обрисовке кровавого прокурора-карьериста, жуирующего в Париже под предлогом забот о памятнике своим же собственным жертвам, чувствуется уже будущий мастер социальной сатиры, едкого парадокса. Но основная фабула повести связана с Францией, преимущественно с Парижем, сатира же связана с гаитянскими событиями, а они даны лишь в «предыстории» к повести; поэтому для сатиры здесь еще нет достаточного простора. Дальнейший путь Франса — путь все большего углубления и расширения и гуманистических идей писателя и его сатиры на буржуазную современность.

«Преступление Сильвестра Бонара» — роман, выпущенный Франсом уже в довольно позднем возрасте, тридцати семи лет (1881); только в этом произведении впервые с полным блеском развернулось прозаическое мастерство Анатоля Франса.

Критика того времени отметила в романе своеобразие его центральной фигуры — Сильвестра Бонара, члена Института.

Мир Сильвестра Бонара — это мир ученого, проводящего дни в библиотеках, среди рукописей и фолиантов, мир рассеянного чудака, углубленного в размышления. Герой Франса делает лишь случайные вылазки в жизнь, он неловко себя чувствует при этом, он неуклюж и смешон за пределами своего кабинета. Однако вылазки в практическую жизнь, случайные для героя Франса, отнюдь не случайны для авторского замысла.

Именно с ними связано все основное идейное содержание романа, они определяют и его своеобразную композицию.

Отмечая новизну и свежесть материала в романе Франса, критика настойчиво отмечала композиционную недовершенность «Преступления Сильвестра Бонара». Этот упрек раздавался впоследствии и в отношении других романов Франса. При всем признании литературного мастерства писателя критики согласно отрицали за ним (да и теперь еще нередко отрицают) мастерство в области фабульного построения, развития интриги и т. п. Одно из первых таких суждений принадлежит Ипполиту Тэну, известному критику-натуралисту. В личном письме к Франсу Тэн упрекает его в том, что две части романа «плохо скреплены одна с другой». Жюль Леметр, тоже весьма влиятельный критик в те времена, пошел еще дальше и безапелляционно говорил о первой и второй частях «Преступления Сильвестра Бонара», как о двух маленьких романах.

Такие отзывы основаны на одном неправильном допущении — на том, что композиция отожествляется с фабулой. Несвязанность фабульных нитей действительно бросается в глаза. Первая часть, носящая заглавие «Полено», совершенно заканчивается в фабульном отношении, когда Сильвестр Бонар получает драгоценную для него рукопись «Золотой легенды». Фабула второй части связана с появлением нового персонажа: молоденькой девушки, которую Сильвестр Бонар выручил из беды. Но от отсутствия единой фабулы нельзя еще умозаключать к отсутствию единой композиции.

Что же заставило Франса объединить под общим заглавием две фабульно разрозненных части? На чем основано их единство в романе? Некоторые из критиков отмечали, что главное внимание читателей «Сильвестра Бонара» было направлено не на фабулу, а на психологическую сторону романа, на обрисовку своеобразной личности главного героя, на анализ его характера.

Необычный, новый в литературе персонаж, столь не похожий на «героя романа» и, однако же, избранный Франсом в герои, конечно, не мог не заинтересовать читателей. Сильвестр Бонар не раз с удивлением отмечает, как он не похож на окружающих его людей. Человеческая жизнь приобретает в восприятии одинокого чудака ученого совершенно неожиданные пропорции, перспектива смещается, и то, что другим кажется при-

вычным, второстепенным, перерастает для него свои нормальные размеры. Одна из самых ярких черт, связанных с подобного рода восприятием, — любовь к науке, к историческим документам. К ним он пылает подлинной страстью. «Золотая легенда» в неизвестном дотоле списке, которую разыскивает Сильвестр Бонар, превращается для него в далекую возлюбленную, он стремится к ней со всем пылом нетерпеливого любовника. Сильвестр Бонар изображен Франсом с тонким и доброжелательным юмором, полным любви и уважения к благородному, чистому сердцем, одновременно и мудрому и детски-наивному энтузиасту ученому. По мягкости, даже какой-то нежности, юмористического изображения героя роман «Преступление Сильвестра Бонара» можно сравнить разве что с «Записками Пиквикского клуба», при всем несходстве между героями этих двух книг, при всем несходстве между Франсом и Диккенсом. Такая нежность к своему герою в сердце Франса, столь не склонного к нежности, очень знаменательна. Франс любит Сильвестра Бонара как хранителя гуманистических заветов, как человека, свободного от власти мракобесия, от своекорыстных расчетов, от тупости догматизма.

Если бы Сильвестр Бонар оставался безвыходно в стенах своего кабинета, Франс создал бы лишь психологический этюд, не более; но Сильвестр Бонар не только единомышленник Франса в области гуманистических традиций, — он выступает на страницах романа и в качестве помощника писателя при сатирическом обличении социальных нелепостей буржуазного мира. Далекий от житейской практики, Бонар в то же время с необычайной прозорливостью умеет расценивать по существу те явления общественной жизни, с которыми ему все же приходится сталкиваться. Основной смысл первого романа Франса и заключается в том суде над буржуазным обществом, который творит его герой. Бонар на своем небольшом практическом опыте убеждается в величайшем беззаконии буржуазных законов: борясь с подлинными преступниками, Бонар сам вынужден формально стать преступником, так как нарушает одно из положений закона, карающего за похищение несовершеннолетних.

В основе книги таким образом лежит парадокс, подчеркнутый самим ее заглавием. Парадокс стал для Франса своеобразным способом художественного изображения современных ему социальных противоречий, стал орудием его сатиры. В связи

с этим интересно отметить, что Сильвестр Бонар открыто высказывает свое пристрастие к парадоксу: вспоминая о случайно подслушанном им разговоре студентов, изобиловавшем «самыми чудовищными парадоксами», старый ученый восклицает: «В добрый час! Я не люблю слишком рассудительных молодых людей!» Парадоксами пересыпан весь текст книги; так, Сильвестр Бонар замечает: «Нищета богачей достойна сожаления». Парадокс развивается порою в целый эпизод, в диалог; утверждению, высказанному нотариусом о том, что нельзя учиться забавляясь, Бонар противопоставляет парадоксальную мысль: «Вот именно, только забавляясь и можно учиться!»

Интеллектуально и эмоционально близкий Анатолю Франсу, нередко превращающийся в рупор его сатирических суждений, парадоксальных сентенций и т. п., Сильвестр Бонар, вопреки довольно стойкому у критиков и читателей обыкновению, не может, однако, рассматриваться как самоизображение писателя, его «второе Я». Воспоминания современников рисуют тридцатисемилетнего Анатоля Франса как человека, очень мало похожего всем своим житейским обликом и манерами на созданного им Сильвестра Бонара. Так, Марсель Пруст, впервые встретившись с Франсом, был совершенно разочарован несоответствием между созданным им по книгам Франса обликом писателя, «убеленного сединами», и представшим пред Прустом «некрасивым человеком с улиткообразным носом и черной бородкой», «говорившим в нос, напыщенно и монотонно». Во внутреннем облике Франса, разумеется, больше близости к Сильвестру Бонару. И все-таки Франс — не Сильвестр Бонар.

Герой Франса свою коллизию с социальной действительностью разрешает путем ухода к самым корням бытия; свой неиссякаемый оптимизм он сохраняет в кругу любимых молодых существ, воплощающих для него всю победоносную прелесть жизни, в общении с природой. Однако и после ухода Сильвестра Бонара к любимым юным друзьям, к цветам и пчелам, грязь и преступления буржуазного мира продолжают существовать. Не следует преувеличивать значение так называемых «счастливых концов», — далеко не всегда они даются автором как решение основной темы и нередко служат лишь завершением фабулы, почти никогда не вмещающей в себя содержания книги. Сильвестр Бонар ушел на покой. Анатоль Франс на покой уйти не мог. Первый роман был только началом его гигантской разоблачительной работы, беспрестанного вышучивания противоре-

чий капиталистического строя, в таком изобилии обнаруживаемых социальной практикой французского империализма.

После выхода в свет «Преступления Сильвестра Бонара» Франс занял видное место в литературной жизни своей страны. А эта жизнь была в последней четверти XIX века чрезвычайно сложной. В творчестве Мопассана, Золя, Доде продолжались традиции французского реализма XIX века, но в сильной степени давал себя знать и натурализм. Импрессионистическое искусство, широко распространившееся во французской живописи, проявлялось и в литературе, особенно заметно — в творчество Гюисманса (роман «Наоборот»). На смену парнасцам пришли символисты, во главе со Стефаном Малларме и Полем Верленом, — а наряду с этим продолжало жить и развиваться боевое искусство поэтов и прозаиков Парижской коммуны — Эжена Потье, Луизы Мишель, Ж.-В. Клемана, Ж. Валлеса.

Франс не примкнул ни к импрессионистам или символистам, ни к натуралистам. Искусство Коммуны было ему чуждо. Своеобразно сочетая традиции реализма XIX века с литературными традициями просветителей, он в сущности долго оставался одиночкой в многосложной и разнообразной литературе своего времени. Правда, из писателей-современников немалое влияние оказал на него Эрнест Ренан своей философией относительности и скептицизмом, облеченными в столь изысканную литературную форму. Но при всем своем восхищении Ренаном Анатоль Франс далеко не во всем был его единомышленником. Автору «Сильвестра Бонара» всегда оставалась чужда и ренановская мысль о решающей исторической роли «избранной личности» и стремление Ренана утвердить новый католицизм на эстетической основе. Да и эстетизм носил у Франса иной характер, чем у Ренана, — достаточно вспомнить, как часто пользовался Франс именно эстетической аргументацией в своей критике буржуазной современности — в частности, и в своей борьбе с католической реакцией.

Следующее крупное произведение Франса — роман «Таис» (1890), отделенный от «Преступления Сильвестра Бонара» почти что десятилетием. В этой книге Франс показал себя блестящим мастером исторической детали, воспроизведя с поразительной пластичностью Александрию начала нашей эры. Умело и поэтически убедительно воссоздал он столкновение языческого и христианского мира, причем осуществил он это в конкретных, реалистических образах. Читая эту книгу, мы как бы воочию

видим и мрачное жилье аскета-отшельника, и роскошный дом язычницы-актрисы, наполненный предметами искусства, мы видим театральные представления, присутствуем на философских спорах и как бы сами ощущаем терпкую грусть спорщиков, уже утративших целостность античного мировоззрения классической поры, уже утративших, казалось бы, и самую способность спокойно наслаждаться благами жизни и красотами искусства. Из главы в главу движутся перед нами люди этих далеких времен, исторические образы, то тщательно выписанные, то обрисованные всего несколькими взмахами пера, но не похожие ни на переодетых современников автора, ни на музейные экспонаты. Они, пожалуй, даже более ярки, чем образы франсовских героев в произведениях из современной жизни. Особенно это относится к образу Таис.

И все-таки книгу «Таис» нельзя без оговорок назвать историческим романом. Против такого жанрового определения говорят прежде всего сохранившиеся высказывания самого автора, да и в первом издании произведение называлось «философской повестью». Надо заметить, что такой же подзаголовок имеется и на рукописи, хранящейся в Национальной библиотеке. Кстати сказать, рукопись эта первоначально носила заглавие «Пафнутий», но оно перечеркнуто карандашом, а сбоку рукою Франса написано новое заглавие — «Таис». Как сообщает Франс, заглавие было изменено по настоянию друзей, в целях благозвучности и большей привлекательности для читателей. Конечно, Франс не согласился бы на такую замену, если бы прелестный женственный образ Таис занимал в книге второстепенное м е с т о , — нет, этот образ как бы господствует над всем повествованием, обаятельно трогательный, цельный и человечный. Сам автор как бы влюблен в свою героиню, которой еще в 60-е годы он посвятил поэму в стихах под тем же заглавием «Таис», уже набрасывающую в основных чертах пленительный образ александрийской актрисы.

Однако первоначальным заглавием подчеркивается и существенное значение образа Пафнутия в общем замысле книги. Это — как бы воплощение воинствующего догматизма и аскетизма, столь ненавистных Франсу, потому что они враждебны всему живому, враждебны свободе, красоте, человечности, враждебны смелой, испытующей человеческой мысли.

Нередко, и не без оснований, критика говорит о подчеркнутом эстетизме Франса. Но эстетизм его не носит самодовлею-

щего характера, — подобно его скептицизму, и его эстетизм великолепно служит той «работе разрушения», о которой говорил Горький. Изображая, как беснуется Пафнутий в своей ненависти к красоте, как он сжигает предметы искусства, наполнявшие дом Таис, Франс этим еще сильнее выражает свое отвращение к религиозному мракобесию. Пафнутий во многом напоминает изуверку Каллисту из поэмы «Коринфская свадьба». Она так же бесчеловечна в своем фанатизме, принося все живое в жертву аскетической идее. Но Каллиста показана в поэме лишь как губительница всего живого, в истории Пафнутия Франс раскрывает внутренний крах воинствующего догматизма: желая, во имя религиозной догмы, увести Таис от греховной жизни, Пафнутий сам впадает в грех. И Франс с неумолимой иронией изображает, как красота Таис рождает в темной душе отшельника только скверное и постыдное вожделение.

Герой книги «Таис» таким образом — принципиально новое явление в творчестве Франса, полная противоположность Сильвестру Бонару, с его мудрой любовью ко всему живому, молодому, прекрасному, с его гуманизмом, с его мягким скепсисом. Некоторое созвучие с идеями «Сильвестра Бонара» можно обнаружить в одном из второстепенных персонажей «Таис» — скептике Никии. Его грустная примиренность с противоречиями жизни, потому что они кажутся ему неискоренимыми, его пассивность, его эпикурейство противополагаются воинствующему догматизму Пафнутия.

Хотя главные герои этих двух романов Франса так не похожи друг на друга и складом своего ума и отношением к жизни, но между самими романами можно установить глубокое, коренное сходство. Это — две разновидности одного и того же жанра. Если «Таис» автор называл философской повестью, то есть сведения и о том, что в «Сильвестре Бонаре» он, по собственным же его словам, «пытался создать философский роман». Франс усвоил многие черты, присущие боевому искусству Просвещения, — и прежде всего искусству Вольтера, автора философских повестей «Кандид», «Простодушный», «Царевна Вавилонская» и др. Как и у Вольтера, фабула у Франса служит по преимуществу лишь удобным предлогом столкнуть героя (точней — его мировоззрение) с материалом жизни, с той или иной философской проблемой. Как и Вольтер, Франс любит в высказываниях своих героев возводить жизненные явления к общим категориям, рассматривать эти явления в их принципе. Однако

философский роман Франса обогащен, в сравнении с философскою повестью Вольтера, достижениями могучего французского реализма XIX столетия, традициями Бальзака, Стендаля, Флобера.

Актуальность тематики проявилась не только в «Преступлении Сильвестра Бонара», романе, построенном на материале современности, но и в «Таис» — романе, который хотя и построен на историческом материале, но по своему замыслу направлен против воинствующего догматизма церковников, принявшего угрожающие размеры к концу 80-х годов прошлого века. Духовенство открыто поддерживало тогда коалицию врагов республики — монархистов и ревизионистов, во главе с генералом Буланже, стремившимся к свержению парламентарного республиканского строя и одержавшим в январе 1889 года полную победу на выборах в Париже.

Но не только общим замыслом своим, не только пафосом борьбы против религиозного мракобесия связан роман «Таис» с тогдашней современностью. Изображенная на страницах «Таис» философская беседа, воспроизводя как бы своего рода платоновский пир философов, сталкивает, в лице разочарованных патрициев, недалеких военачальников, фанатичных вероучителей и упадочных поэтов, основные философские школы франсовских времен. Некоторые французские критики, отмечая это обстоятельство, объясняли его слабостью творческого воображения у Франса. Но здесь проявилась, конечно, не слабость — проявилось удивительное своеобразие творческого воображения писателя. История для Франса никогда не превращается в замкнутый мир, образы прошлого всегда воспринимаются им в живом сочетании с образами настоящего. Любовь к истории, к прошлому — характерная черта Франса, но как часто это прошлое служит для него разбегом, чтобы атаковать современность!

В 80-е годы, в период между «Преступлением Сильвестра Бонара» и «Таис», Франс публикует несколько книг. Среди них — «Книга моего друга» (1885), открывшая серию своеобразных детских «воспоминаний», причудливо сочетающих подлинные биографические факты с поэтическим вымыслом, и книга рассказов «Валтасар» (1889). К этому периоду непосредственно примыкает и сборник «Перламутровый ларец», вышедший, правда, только в 1892 году, то есть уже после опубликования «Таис», но включающий в себя, почти без существенных изменений,

отдельные главы большого романа Франса «Алтари страха», напечатанного в «Журналь де Деба», еще в 1884 году.

Все эти произведения, находящиеся в хронологической близости с «Сильвестром Бонаром» и «Таис», находятся с ними и в близости идейно-художественной. Так, многими чертами напоминает Сильвестра Бонара ученый-исследователь Богус, посвятивший всю свою жизнь составлению многотомного трактата о человеческих заблуждениях и в конце концов отдающий его том за томом своей молоденькой племяннице на прокладки для ее гербария, так что реестр человеческих заблуждений приносится в жертву свежей улыбке девушки. Многими чертами своими близки к Сильвестру Бонару и отец маленького Пьера в «Книге моего друга», и философы-патриции в рассказе «Прокуратор Иудеи» (сб. «Перламутровый ларец»), и египтолог, исследующий в специальной работе ручку от древнеегипетского зеркала («Г-н Пижоно» в сб. «Валтасар»). По-разному они близки к излюбленному герою Франса: в одних повторены те черты Бонара, над которыми подшучивает Ф р а н с , — педантизм, неприспособленность к житейской практике и т. п.; в других повторены те черты, которыми Франс восхищается в Бонаре: гуманизм, бескорыстие, свободомыслие. Как в «Преступлении Сильвестра Бонара» и в «Таис», так и в рассказах скептическая ирония писателя сочетается с его влюбленностью в жизнь, в молодость, в чувственную прелесть бытия, в природу. В связи с этим Франс не раз создает в своих книгах образ фавна, наивного и кроткого языческого бога, воплотившего в себе всю поэзию живой природы, как, например, в рассказе «Амикус и Целестин» (сб. «Перламутровый ларец»). С темой фавна перекликается и рассказ «Гестас» (там же). Близкий этому образ можно обнаружить и в стихотворении «Узник».

Одного характера с тяготением к наивности природы и тяготение Франса к наивности легенды или сказки. Средневековье влечет его простотой и свежестью народного творчества (сб. «Перламутровый ларец»). В «Книге моего друга», в «Пчелке» (сб. «Валтасар») Франс выступает убежденным сторонником детской сказки, сам воссоздает ее наивный аромат.

Но воскрешенные Франсом легенды — и похожи и не похожи на легенды средневековья. Он их пересказывает на свой лад, сюда тоже вторгается его ирония. Средневековые легенды влекут его благоуханием народной поэзии, но Франс выбрасывает из них все то, в чем сказалось религиозное мышление средневе-

кового человека. Так переделывает он, например, легенду о святой Схоластике (сб. «Перламутровый ларец»), вкладывая в уста язычника Сильвануса слова о том, что душа святой, отказавшейся от земного счастья, после смерти жалеет об упущенных радостях и что розы на ее могиле выросли по воле Эрота, призывая людей предаваться наслаждениям, пока не поздно.

В рассказах и воспоминаниях 80-х — начала 90-х годов можно обнаружить у Франса и социальную иронию, нередко принимающую форму пародии. И в «Таис» и в «Преступлении Сильвестра Бонара» Франс не раз нападает на милитаризм, на ограниченность, тупоумие и своекорыстие пропагандистов войны. Их и в дальнейшем Франс, будет неустанно вышучивать и клеймить, — чем дальше, тем все более зло и едко. К этой же теме он обращается и в «Перламутровом ларце», где весь рассказ о знаменитой битве при Фонтенуа, приводимый в «Оловянном солдатике», доводит трактовку военной темы до резкого пародийного заострения, до ядовитого гротеска, дает уже почувствовать будущего автора «Острова пингвинов». В таком же гротескном тоне говорится о священнике в рассказе «Резеда г-на кюре», где откровенно пародируются жития святых (сб. «Валтасар»). Маленькие герои франсовских «воспоминаний» («Книга моего друга»), привлекающие автора своей детской наивностью и чистотой, вместе с тем служат проводниками франсовской разоблачительной иронии (в аналогичной роли выступают и простодушные герои вольтеровских философских повестей «Кандид» и «Простодушный», — кстати сказать, и французское имя Кандид буквально означает «чистосердечный», иначе говоря — опять-таки «простодушный»!). Свежесть детского восприятия помогает Франсу пародировать мир взрослых, социальную современность. Воспоминания о школьном уроке, посвященном «Последнему слову Деция Муса», заключают в себе пародию на учителя, бывшего монаха-францисканца, опьяняющегося военной риторикой, то есть бьет одновременно по двум врагам писателя: клерикалам и военщине.

Однако уже явственное у Франса 80-х — начала 90-х годов сатирическое отношение к буржуазной современности сочеталось в нем с отрицательным отношением к революции, что особенно чувствуется в сборнике «Перламутровый ларец». Здесь во многих рассказах идет речь о французской революции XVIII века, и Франс нередко с чувством симпатии или даже

восхищения изображает не деятелей революции, а ее жертвы — французских аристократов («Мадам де Люзи», «Дарованная смерть», «Обыск»). Настороженное, недоверчивое отношение к революции надолго еще останется у Франса, постоянно вступая в борьбу со все нарастающим социальным недовольством писателя, со все нарастающей силой его социальной сатиры, со все крепнущей приверженностью гуманическим идеалам.

Многие черты, присущие художественно-прозаическому творчеству Франса 80-х годов, можно проследить и в его литературно-критических статьях, печатавшихся в периодической прессе и вышедших отдельным изданием в 1888 году под общим заглавием «Литературная жизнь».

В «Литературной жизни» обнаруживается и скептицизм, свойственный Франсу-художнику, и его жизнеутверждающий гуманизм, — и в лучших статьях жизнеутверждающее начало побеждает, заставляет служить своим целям и самый скептицизм.

Давая волю своей склонности к парадоксу, автор «Литературной жизни» утверждает, что «хороший критик — тот, кто повествует о приключениях своей души в мире шедевров», а по поводу собственного своего искусства критики Франс замечает, что оно «сводится к писанию каракуль на полях книг».

Но было бы неосмотрительно доверяться подобным заявлениям писателя. Правда, критика у Франса носит подчеркнуто субъективный характер. Правда, в изящных и капризно-непринужденных критических статьях Франса разбираемое произведение нередко служит только поводом для общих рассуждений, для воспоминаний детства, для всевозможных парадоксов, прихотливых суждений вкуса и т. п. Но за подчеркнуто-субъективной формой критического эссе чувствуются твердые убеждения критика-гуманиста. Анатоль Франс убежден в том, что искусство не может расти на нездоровой почве декаданса, он упорно поддерживает французскую реалистическую традицию и умеет, говоря, например, о Бальзаке, стать выше своего придирчивого эстетизма, умеет понять всю титаническую силу зачинателя французского реализма XIX столетия. Как широко и как по существу объективно, несмотря на очень капризный способ выражения, судит Франс о Бальзаке: «Пускай даже Бальзак меня порою пугает, пускай даже иногда мысль его мне кажется тяжеловесной, а стиль пошлым — но нельзя не

признать его мощи. Это бог. Попробуйте упрекнуть его в том, что иногда он бывает груб, — его приверженцы ответят вам, что, занимаясь сотворением мира, нельзя быть слишком нежным». Наряду с традициями французских реалистов XIX века, Франс так же настойчиво и убежденно поддерживает и столь дорогие ему традиции французских просветителей XVIII века и гуманистов XVI века во главе со своим любимцем Франсуа Рабле. Любовь к народному творчеству, к его нравственной и художественной чистоте, к его здоровому, жизнеутверждающему началу, проявленная Франсом в «Книге моего друга» и в «Перламутровом ларце», вдохновляет и Франса-критика. Целая серия статей в «Литературной жизни» посвящена народным рассказчикам, народной песне. В Ги де Мопассане Франс высоко ценит живую связь его с народным повествовательным искусством. А как любит Франс свой родной язык, с каким увлечением может он говорить о словарях — ибо видит в них прежде всего сокровища народной речи!

В «Харчевне королевы Гусиные Лапы» и «Суждениях г-на Жерома Куаньяра» (обе книги вышли в 1893 г.) рамки социальной сатиры Франса значительно расширяются по сравнению с предшествующими книгами. Жером Куаньяр — центральный персонаж этих двух книг — многими своими чертами напоминает Сильвестра Бонара; это, как и Бонар, настоящий энтузиаст гуманистической науки, верный последователь заветов гуманизма, свободомыслящий человек, полный презрения ко всяческой косности и обскурантизму. Присуща Куаньяру и едкая ирония — даже куда более едкая, чем у Сильвестра Бонара. Но если по складу своего мышления эти два персонажа схожи между собою, то совсем не схожи те жизненные обстоятельства, в которых их показывает Франс. Жером Куаньяр лишен домашнего покоя и кабинетной тишины, характеризующих обычный образ жизни Бонара. Это — мудрец-бродяга, не имеющий ни кола, ни двора. Избрав такой образ жизни для своего нового героя, А. Франс получил возможность расширить и обобщить его жизненный опыт, создать своего рода сатирическое обозрение жизни. Авантюрная фабула «Харчевни» служит скрепляющей нитью для целого ряда тем. И в композиционном отношении, таким образом, Франс здесь тесно примыкает к вольтеровской традиции (вспомним авантюрную фабулу повести «Кандид»). Случайные встречи, стычки, любовные истории, разговоры в книжной лавке — все это дает аббату Куаньяру возможность выступить в роли на-

блюдателя и критика действительности. Притом, надо помнить, что, хотя книги об аббате Куаньяре воссоздают королевскую Францию XVIII века, но историческая тематика тесно сплетается в них со злободневной тематикой времен Франса. В рукописи «Суждений» имеется отрывок, не вошедший в окончательный текст, — не вошедший, может быть, именно потому, что он слишком прямолинейно подчеркивал злободневную заостренность книги: «Мы свободны, потому что наши господа нам это говорят. И именно ради нашей свободы полицейские убивают людей на улицах. Конечно, гораздо больше чести в том, чтобы тебя убили во имя республики, чем во имя короля. Но господину аббату слишком недоставало своего рода трансцендентности в чувстве порядка, так что едва ли можно предположить, чтобы он восхищался нашей полицией».

Заканчивая печатание своей второй книги о Куаньяре, Франс сообщил читателям, что теперь он собирается расстаться на некоторое время с Эзопом ради Боккаччо. Здесь уже совершенно ясно намекает он на злободневное содержание высказываний аббата. Куаньяр говорил о колониальной политике королевской Франции XVIII века, но кто из тогдашних читателей не понимал, что Франс метит в колонизаторов конца XIX столетия, истреблявших целые племена ради своих хищнических целей, кто не вспоминал при этом колонизаторской деятельности Жюля Ферри, получившего презрительное прозвище «тонкинец». Куаньяр вышучивал беспринципность «государственных мужей» своего времени, а читатель узнавал в них членов министерства Бриссона, прославленных своей беспринципностью. Книги о Куаньяре — не аллегория, не каждый образ, не каждую страницу можно в них истолковать применительно к 90-м годам XIX столетия, но в основных своих темах они представляют собою сатирическую энциклопедию франсовских времен. И эзопов язык служит здесь Франсу не только для прикрытия от цензуры, — писатель умеет извлечь из печальной необходимости новые художественные возможности, придать при помощи эзопова языка еще большую памфлетную остроту своему сатирическому обозрению. В жанровом отношении книги о Куаньяре сильно отличаются друг от друга: вторая книга почти лишена фабульного начала и представляет собою собрание размышлений и высказываний аббата, но внутренняя связанность этих размышлений и высказываний, быть может, еще крепче, чем в первой книге. Бродяга-аббат, при всем своем

внешнем авантюризме, придерживается твердых убеждений и умеет их сохранять среди всех жизненных передряг. Это — убеждения гуманиста, это отвращение к фанатикам, к гасителям жизни, к распространителям всяческих суеверий, унижающих свободную мысль.

Аббат Куаньяр ничего не ждет от революции. В «Предисловии издателя» к «Суждениям господина Жерома Куаньяра» Франс прямо замечает: «Пожалуй, среди мыслителей XVIII века аббат Куаньяр больше всех расходился в своих принципах с принципами революции. Он не подписался бы ни под единой строкой из «Декларации прав человека». В том же предисловии, уже от своего имени, «издатель» высказывается по поводу философии Руссо: «Она абсурдна и жестока. Это стало ясным, когда государственные люди захотели применить «Общественный договор» к лучшей из республик». Эти строчки не оставляют никаких сомнений в том, что Франс, как и его герой, был в те времена далек от революционных выводов из сатирического обозрения своей современности. Надо лишь заметить, что и Вольтер, быть может, не подписал бы «Декларации прав человека», — меж тем несомненно, что он, вместе с другими французскими просветителями, подготавливал эту Декларацию всей своей деятельностью.

«Харчевня» и «Суждения» убедительно свидетельствуют о том, как ясно видел Франс уже в самом начале 90-х годов, что Третья республика — это лжереспублика, попирающая самые основы республиканского строя. В особенно систематизированном и обобщенном виде социальная разочарованность Франса обнаруживается во второй из книг, посвященных Куаньяру. Франс всегда любил парадоксы, они помогали ему вскрывать и противоречия мысли и противоречия социального бытия. В книгах о Куаньяре вся современная Франсу действительность возникает как воплощенное, вопиющее противоречие, — и никогда еще до того к иронии Франса не примешивалось столько горечи, никогда еще его парадоксы под забавной своей оболочкой не таили таких глубоких социальных раздумий. В этих книгах министры не заслуживают ни похвалы, ни порицания, потому что не они управляют министерствами. Борьба цивилизованных народов с дикарями сама оказывается лишь усовершенствованным дикарством. Богатство государства покоится на нищете бедняков. Знатность человека в культурных странах измеряется количеством убийств, совершенных

его предками. Законы не могут быть справедливыми, потому что они закрепляют за каждым то, чем он пользуется.

Социальной лжи и несправедливости аббат Куаньяр противополагает скептическую мудрость Эпикура и нежную человечность Франциска Ассизского, своеобразного религиозного мыслителя средних веков. Как образ фавна, так и эти образы не раз потом возникают в творчестве Франса. Критикуя жизнь в ее уродливых социальных формах, Куаньяр благословляет ее в самых ее истоках. Любовное свидание Жака Турнеброша, верного ученика аббата, на могиле своего учителя как бы символизирует подобного рода биологический оптимизм, подернутый, правда, некоторым налетом грустной иронии.

Но, как и по поводу других излюбленных героев Франса, следует заметить, что, при всем совпадении в образе мыслей, в симпатиях и антипатиях у Куаньяра и его создателя — Франса, тождества между ними, конечно, провести нельзя. Отчасти разделяя грустную умиротворенность своего героя, сам писатель на этом успокоиться не мог. Пускай революция была отринута аббатом Куаньяром, само появление этой темы в творчестве Франса свидетельствовало о все углубляющейся социальной тревоге писателя.

В двух книгах 1894 года — «Красной лилии» и «Саде Эпикура» — Франс, терзаемый этой социальной тревогой, подвергает испытанию те ценности, которые Жером Куаньяр противополагал оскорбительному для человека несовершенству социальной жизни, — любовь Франциска Ассизского ко всему живому и скепсис Эпикура.

«Красная лилия», на первый взгляд, несколько отличается от обычных романов Франса. Гораздо большее место в ней уделяется любовной фабуле. Однако социально-политическая тематика романа представляет собою нечто неизмеримо большее, чем бытовой фон для любовной истории Терезы и Дешартра, рассказанной в этой книге, и не раз выступает как самостоятельный и значительный комплекс в художественно-идеологическом содержании романа. Депутат Гарен, сенатор Луайе, даже супруг Терезы граф Мартен-Беллем имеют весьма отдаленное отношение к любви Терезы и Дешартра, но позволяют Франсу в наглядных образах представить все постыдные секреты политиканов Третьей республики. Книгу пронизывает ощущение социального неблагополучия Франции, где права гражданства, принадлежащие бедняку, заключаются в том, что он может поддер-

живать власть богачей; где самой крепкой опорой правительству служит оппозиция; где министр поддерживает бюджет, который сам же он оспаривал в качестве депутата... Все это очень мало тревожит Терезу, но очень тревожит Франса и занимает значительное место в замысле книги.

Именно этому миру политиканов противопоставлена поэтическая любовь Терезы, полная светлой чувственной радости, сливающаяся с гармоническим итальянским пейзажем, с гармоническим и чувственно-прекрасным искусством Возрождения. Все эти темы связаны с Флоренцией, куда уезжает героиня с Дешартром, и недаром поэтому Франс дал роману название «Красная лилия»: красная лилия — герб города Флоренции. Это вместе с тем и эмблема любви Терезы, носящей на груди лилию из рубинов — «как кричащую тайну своего сердца». С образом Флоренции сочетается и образ Франциска Ассизского, автора «Цветочков», любимой книги Франса: Шулетту, чудаковатому приятелю Терезы, присуще отношение к жизни, сближающее его с образом Франциска (правда, это осложнено юмором). В первоначальном тексте романа, хранящемся в Национальной библиотеке, Франс вкладывает в уста Шулетта целый рассказ о «божественном» Франциске. Рассказ Шулетта исключен был Франсом из окончательного текста, но образ Франциска остался в романе, как воплощение благостной, светлой радости земли и нежной любви к человеку. Франциск Ассизский как бы становится святым покровителем любви Терезы и Дешартра.

Но если для аббата Куаньяра нежный и чувственный Франциск был прибежищем от горьких разочарований социальной жизни, то для героев «Красной лилии» чувственная радость бытия обнаруживает свою непоправимую двойственность. Любовь Терезы и Дешартра, которую Франс изобразил как прелестное цветение чувственности, сама себя уничтожает в ревности — неизбежном спутнике такой любви.

Поиски положительных начал жизни, на которые мог бы опереться человек, уйдя от оскорбительной для человеческого достоинства лживой суеты буржуазного бытия, не приводят таким образом ни к счастью, ни к покою, — таков заключительный смысл истории любви Терезы и Дешартра.

Итак, стремление к чувственной радости, благословляемое одним из «двух лучших друзей страждущего человечества», как Жером Куаньяр называл Франциска и Эпикура, все же оказалось не в состоянии помочь героям «Красной лилии» по-

строить их счастье за пределами отвратительного мира лживых министров, продажных депутатов и наглых генералов.

Вышедшая в один год с «Красной лилией» новая книга Франса «Сад Эпикура» вдохновлена была другим из двух «друзей страждущего человечества» — Эпикуром. Но как не похож Эпикур этой книги на подлинного, исторического Эпикура!

Начиная с «Преступления Сильвестра Бонара» Франс в изобилии приводил в своих книгах всевозможные беседы, размышления, суждения на самые разнообразные темы, нередко оставляя в стороне развитие фабулы и сосредоточивая свое, художественное внимание не на столкновении человеческих интересов, воль и судеб, а на столкновении идей. В «Саде Эпикура» такой материал дается в чистом виде, без примеси какой-либо фабульной мотивировки. «Сад Эпикура» — это книга размышлений, охватывающая в своем замысле самые устои человеческой жизни, самые устои всякой жизни, устои мироздания. Среди множества миров наша Земля представляется писателю просто лишь каплей грязи. Люди представляются Франсу жалкими существами. Их цивилизация осуждена на гибель, как осуждена на гибель и наша планета: «Когда погаснет солнце, а это произойдет неминуемо, людей давно уже не будет. Последние представители человечества сравняются с первыми в невежестве и нищете. Они позабудут все искусства и все науки...» Подлинный Эпикур, которого Маркс называл древнегреческим «просветителем», стремился освободить человечество от страха смерти, — в «Саде Эпикура» звучит характерный для Франса призыв к спокойному наслаждению жизнью, но нередко звучит здесь и пафос безнадежности.

В книге новелл «Колодезь святой Клары» (1895) заметно исчезает из творчества Франса то наивное очарование средневековых легенд, какое, причудливо сочетаясь с иронией, как бы давало отдых писателю-сатирику. В мир ребячливых итальянских художников XV века, в мир простодушных монахов, изображаемый Франсом в «Колодезе святой Клары», проникает гротескное и трагическое начало. Недаром и один из важнейших рассказов сборника носит заглавие «Человеческая трагедия». Трагическим гротеском встает здесь образ монаха фра Джованни, уже неспособного вернуться к наивной вере и в душевной муке благословляющего сатану за то, что тот даровал ему мучительную радость познания мира. Буффонадой оборачивается в но-

велле «Веселый Буффальмако» наивная вера художника Андреа Таффи, ученики которого инсценировали вознесение его на небо при помощи искусно сооруженного блока. Вспомним по этому поводу, что еще в «Красной лилии» столь любимый Франсом образ Франциска Ассизского тоже вступает в сочетание с резким гротеском, когда поэт-чудак Шулетт совершает благочестивое паломничество в Ассизи на литературный гонорар за порнографическую книгу «Коварные ласки».

Так в произведениях первой половины 90-х годов все нарастает тревога и неудовлетворенность в художественном сознании Франса.

Между тем во Франции росла и росла новая социальная сила — пролетариат. В 1880 году была создана французская Рабочая партия, руководствовавшаяся социалистической программой, в составлении которой принимал участие Маркс. В начале 90-х годов рабочее движение во Франции, несмотря на все свои противоречия и на отсутствие единства, стало расширяться и крепнуть. Участились забастовки и демонстрации. На выборах 1893 года социалисты получили двадцать пять мест в Палате. Вместе с группой Жореса они образовали там значительную социалистическую фракцию.

Франс в эти годы игнорировал рабочее движение. Социальная борьба ему казалась бессмысленной, революцию он отвергал. В «Красной лилии» Дешартр, которому Франс поручает высказывать многие и многие авторские мысли, выступает с краткой и недвусмысленной декларацией. Когда Тереза спрашивает своего возлюбленного о его отношении к Наполеону, Дешартр прямо отвечает: «Сударыня, я не люблю революцию, а Наполеон — это революция в сапогах». С каким-то отчуждением говорит Франс в «Саде Эпикура» о рабочем-социалисте, изображенном на картине Жана Беро «Зал Граффар», хотя вместе с тем и замечает: «глядя на него, сознаешь, что в народе зародилась новая религия».

Но Франс, наследник французских гуманистов и просветителей, не мог долго удовлетворяться наслаждениями отчаяния. Для этого слишком сильна была в нем связь с традициями французской смелой мысли, с боевыми традициями французского народа. Горький недаром писал, что Франс был «всесторонне а глубоко связан с духом своего народа», недаром Горький выражал восхищение «духовным здоровьем» Франса. Это духовное здоровье писателя проявилось и в том, что Франс преодолел в себе то «спо-

койное отчаяние», которое единственно и оставалось бы ему, если бы он по-новому не взглянул на жизнь в «Современной истории» (1897—1901), если бы ему не открылись новые перспективы.

В 80-е годы и в начале 90-х годов Франс совмещал с художественным творчеством постоянную работу журналиста, а с 1876 по 1890 год — еще и службу в библиотеке Сената, не очень обременительную. Лишь с середины 90-х годов он получает возможность целиком отдаваться своим литературным замыслам. Вместе с утвердившейся литературной славой к нему приходит достаток и даже официальное признание: в 1896 году его избирают в члены Французской академии. Но житейское благополучие и успех в буржуазных салонах, где Франс пользовался репутацией блестящего собеседника, не заглушают в писателе его социального беспокойства. Он сближается с вождем французских социалистов Ж. Жоресом, увлекается организацией народных университетов, выступает с речами перед рабочей аудиторией, широко развивает общественно-политическую деятельность.

В «Современной истории» существенно меняется облик излюбленного франсовского героя, того мыслителя-гуманиста, которого мы постоянно встречаем у Франса. Конечно, между господином Бержере, действующим на страницах нового произведения Франса, и Сильвестром Бонаром, между Бержере и Жеромом Куаньяром есть немалое сходство, но таким сходством подчеркивается и разница между ними. Провинциальный профессор, ученый латинист, филолог и историк, Бержере, как и его предшественники во франсовском творчестве, творит суд над своею современностью. Бержере повторяет многие из высказываний аббата Куаньяра и Сильвестра Бонара, но суд его над социальной действительностью делается более конкретным и приобретает более боевой характер. Сильвестр Бонар лишь от случая к случаю сталкивается с вопросами социальной жизни, Жером Куаньяр располагает более широким кругом наблюдений, но главным образом устанавливает свое отношение к жизненным фактам в беседах и сентенциях, — в связи с Бержере можно уже говорить об общественном поведении франсовского героя. Характерно даже то, что профессор Бержере не ограничивается уже чисто кабинетной работой, а читает лекции, встречается со своими учениками, со своим начальством, со своими коллегами. Он более общителен, чем Сильвестр Бонар, он более пылок в

своих откликах на происходящее вокруг, чем Жером Куаньяр. Самое же главное — то, что франсовский герой начинает в «Современной истории» не только размышлять, но действовать, что в этом мыслителе-гуманисте начинают робко, иногда неуклюже, но все более и более решительно проявляться качества общественного борца, перед ним, пускай еще в несколько туманном виде, возникает общественный идеал.

Эти черты франсовского героя развиваются у него постепенно на протяжении четырех томов «Современной истории» — романов «Под городскими вязами» (1897), «Ивовый манекен» (1897), «Аметистовый перстень» (1899) и «Господин Бержере в Париже» (1901). Еще живя в провинции, профессор Бержере внимательно следит за ходом церковных интриг, связанных с назначением нового епископа, тем более внимательно, что их жертвой становится аббат Лантэнь, привычный собеседник профессора в часы отдыха под городскими вязами. Со своим любимым учеником студентом Ру, призванным на военную службу, Бержере, помимо филологических вопросов, обсуждает организацию армии в Третьей республике, говорит о наглости реакционной военной клики, о ее агрессивном национализме, которым она подменяет подлинный героизм и патриотический дух. По многолетней привычке Бержере в таких беседах обращается и к древнеримской истории и даже к филологическому анализу, сыплет парадоксами, но в этих ученых ссылках и скептических парадоксах слышится подлинная социальная тревога. Звучит она и в его беседах с итальянским ученым Аспертини и в разговорах с городскими библиофилами, посетителями книжной лавки Пайо, о городских делах и парижских событиях. Отклики на современность в причудливом сочетании с самыми, казалось бы, отвлеченными вопросами, можно было в изобилии найти и в предшествующих произведениях Франса, это составляло оригинальную черту его стиля. Но никогда прежде они не носили такого планомерного, такого настойчивого характера, как в «Современной истории», никогда прежде они до такой степени не занимали ум и сердце франсовского героя. Бержере с горечью наблюдает позорное падение общественных нравов в своей стране, коррупцию власти, рост политического бандитизма, развращенность прессы, неправедность суда, оскудение французской культуры, уже утрачивающей свой международный престиж. Особенно горькие мысли и чувства вызывает в Бержере позорное «дело Дрейфуса». Филологическая работа над морской терминологией в поэме Вер-

гилия все меньше и меньше способна служить для него отдыхом от горестных наблюдений над современностью. Эпикурейская мудрость и смешанная с жалостью ирония, которой Франс по обыкновению наделил своего героя, пасуют перед чувством грусти и отвращения, вызываемым в Бержере большими и малыми событиями в жизни его родины. Даже тонкие филологические познания Бержере служат для него средством социального обличения, социальной сатиры самого злободневного характера. Именно такой злободневный обличительный характер приобретает в условиях Третьей республики составленное им. в духе Рабле повествование о «баламутах», где искусно стилизованный старофранцузский язык еще резче подчеркивает памфлетную остроту в обличении политических мракобесов Третьей республики. Переезд Бержере в Париж для чтения лекций в Сорбонне позволяет герою Франса расширить круг своих наблюдений, тем более что переезд этот совершается в самый разгар дела Дрейфуса, дела, вокруг которого разгорелась, как известно, яростная политическая борьба. Бержере не удовлетворяется только наблюдениями, он вмешивается в борьбу, — этот комментатор Вергилия выступает с газетными статьями, присоединяясь ко всем передовым людям Франции, боровшимся против реакционеров-антидрейфусаров, посягавших на самые основы республиканского строя. Юмор, с каким Франс обычно говорит о своих излюбленных героях, здесь, в отношении к Бержере, становится особенно теплым и мягким.

Но в том, как изображена сама жизнь, окружающая Бержере, — заключается еще более существенная новая черта «Современной истории» по сравнению с предшествующим творчеством писателя. Персонажи «Современной истории» перестают быть по преимуществу лишь собеседниками главного героя или предметом его наблюдений, они в подлинном смысле слова становятся действующими лицами «Современной истории». На ее страницах живет и сталкивается до полусотни разнообразных персонажей: светские дамы и попы, министры и ученые, департаментские чиновники и монархисты - заговорщики, банкиры и военные, президенты и простые люди из народа. Франс — что прежде с ним бывало очень редко — теперь, в этих книгах, надолго покидает своего героя и переносит читателя то в наследственный замок герцогов де Бресе, то в приемную архиепископа или папского нунция, то в духовную семинарию, то в парижскую квартирку для любовных свиданий баронессы-банкирши

и светского авантюриста-вора, то на тайное совещание монархистов. «Современная история» — это широкое сатирическое обозрение повседневной жизни и политической борьбы в Третьей республике. Подмена демократии лжедемократией, а республики лжереспубликой — вот основная тема «Современной истории».

Антиклерикальные мотивы, издавна свойственные творчеству Франса, приобретают здесь особенно резкое злободневно-политическое звучание, — так, рассказывая о свидании аббата Гитреля с префектом Вормс-Клавленом, Франс тут же предупреждает читателя, что этот елейно-кроткий аббат только и ждет своего назначения на епископскую кафедру, чтобы предать грозной анафеме принципы свободомыслия и республики. На муниципальных выборах в Париже монархист Лакрис получает поддержку не только от социалистов-националистов, но и от «Христолюбивого общества св. Антония», которое в своем рвении заклинает избирателей именем своего святого: «Не причиняйте, милостивые государи, доброму святому Антонию незаслуженного огорчения увидеть неудачу его кандидата».

Создатель «Современной истории», с такою зоркостью разглядев под лживыми формами буржуазной республики гниение всего социально-политического строя Франции, уже не мог вместе со своим героем и единомышленником отводить душу в спокойных иронических замечаниях. В «Современной истории» Франс выступает как убежденный ненавистник капитализма.

В одном из эпизодов романа «Господин Бержере в Париже» звучит тема родины, противопоставленной политиканам и реакционным обывателям. Беседуя с архивариусом Мазюром о нравственном разложении Третьей республики, Бержере говорит о скрывающихся под накипью «бурных глубинах человеческого океана». В этих словах видится уже естественный переход к теме народа и его революционной борьбы. Однако в «Современной истории» переход этот не осуществляется, в «бурные глубины человеческого океана» ни Франс, ни его герой еще не заглядывают. Бержере немало говорит в беседах с дочерью и со столяром Рупаром о социализме как о единственном строе, достойном человека, но социализм его отвлеченен, показан вне рабочего движения. Бержере противопоставляет реакционной вакханалии Третьей республики но борьбу рабочего класса, а прекрасную мечту философов, которая должна перестроить социальную жизнь.

И все-таки очень важно, что тема социализма уже появилась в творчестве Франса, пускай лишь в смутных очертаниях, что появился простой человек из народа (здесь, кроме Рупара, надо еще упомянуть приятеля Бержере по прозвищу Подорожник) и что франсовский герой сближается с ним в поисках социальной правды.

Дальнейшее развитие тема социализма получила у Франса в утопии «На белом камне», первоначально опубликованной в газете «Юманите» в 1904 году, а образ простого человека — в рассказе «Кренкебиль» (1901).

Уже в «Современной истории» мысль о социализме, при всей своей туманности, органически входит в духовную жизнь франсовского героя, вплетается в гротескно спутанный мир современности как светлая мечта человечества. В книге «На белом камне» Франс подвергает рассмотрению социализм, как единственный путь к социальному благополучию человечества.

«На белом камне» — социалистическая утопия Франса, в которой отразились и верные и неверные представления его о социализме. Застарелый скептицизм Франса и здесь дает себя знать: первая часть книги, содержащая новеллу «Галлион», служит своего рода скептической оговоркой ко второй части, где в новелле «Вратами из рога или вратами из слоновой кости» изображено социалистическое будущее, каким представлял его себе Франс. В новелле «Галлион», воскрешающей, с обычной для Франса исторической тщательностью, Рим времен упадка в первую пору развития христианства, подвергается сомнению самая возможность исторического предвидения. Проконсул Галлион, стремящийся приоткрыть для себя завесу будущего и предугадать, кто из богов явится на смену Юпитеру, а вместе с тем не замечающий, как у него на глазах зарождается новая религия — христианство, и сам Павел, провозвестник новой религии, косноязычный ткач, едва ли отдающий себе отчет в дальнейшей ее судьбе, — оба эти образа устремлены к одной цели: показать невозможность заглянуть в будущее.

И все же, даже при наличии такой скептической оговорки, книга «На белом камне» — знаменательный этап на творческом пути Франса. Пускай то социалистическое будущее, которое он изображает, и не кажется ему безоговорочно неизбежным, но очень важно, что Франс готов его приветствовать, что он видит в социалистическом строе тот общественный строй, который

избавит людей от грязи, несправедливости и преступности, насквозь пропитавших буржуазное общество.

Рассказ «Кренкебиль», занимающий главное место в сборнике «Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов» (1904), еще больше, чем «Современная история», свидетельствует о возросшем демократизме Франса. Правда, многие особенности тематики и парадоксально развивающегося сюжета связывают этот рассказ с более ранними произведениями писателя. Правда, мы узнаем здесь давно присущие Франсу черты иронического изображения жизненных противоречий. Франс смеется над нелепостью буржуазно-республиканской юстиции. Бедняк Кренкебиль, развозчик овощей, выйдя из тюрьмы, куда он попал по ложному обвинению в том, что оскорбил полицейского, впадает в такую бедность, что мечтает хотя бы о тюремном хлебе и тюремном крове над головой, но, уже в самом деле оскорбив на этот раз полицейского, никак не может попасть в т ю р ь м у , — столь капризно действует административно-судебный аппарат. И не только жизненность материала бросается в глаза в этом произведении Франса, — оно проникнуто глубоким сочувствием автора к своему незадачливому герою, в рассказе «Кренкебиль» явственно звучит уже чувство солидарности с простым человеком, для которого буржуазное правосудие превращается в надругательство над его человеческим достоинством. В связи с трактовкой образа простого человека у Франса большой интерес представляет и драматургическая переделка «Кренкебиля». В ней писатель находит выход для бездомного бедняка: Кренкебиля спасает от гибели беспризорный мальчишка по прозвищу Мышь, один обездоленный приходит на помощь другому обездоленному, бедняки поддерживают друг друга. Здесь речь идет уже не только о солидарности автора с его героем-бедняком, но о солидарности бедняков между собой.

В годы создания «Современной истории», «На белом камне» и «Кренкебиля» Франс все теснее сближался с передовыми политическими деятелями Франции. Большое значение имела для него дружба с Жоресом, совместно с которым он вел борьбу с реакцией в своих общественно-политических выступлениях. Во время «дела» Дрейфуса Франс открыто выступает как единомышленник и защитник Золя, подвергшегося преследованиям за свой памфлет «Я обвиняю». Франс выступает в прессе как публицист, выступает на рабочих митингах, призывая рабочий класс сплотиться против реакции.

Появление в творчестве Франса таких произведений, как «Кренкебиль» и «На белом камне», было обусловлено всей идейной эволюцией писателя, тесно сблизившегося в эти годы с рабочим движением и с французскими социалистами. Мечта о социализме окрашивает в светлые тона публицистические статьи Франса, вошедшие впоследствии в сборники «Социальные убеждения» (1902) и «К лучшим временам» (1906). Франс весьма отвлеченно представляет себе здесь переход «к лучшим временам», хотя его публицистика уже противополагает рабочий класс, пролетариат, как социальную силу, «всемирному триумвирату попа, солдата и финансиста».

Однако то, что Франс крепко связал свою деятельность с рабочим движением, что он решительно вышел из своего гуманистического одиночества, не могло не сказаться и на общем направлении его творчества — прежде всего на новом обращении писателя к теме революции.

Эта тема была властно подсказана ему самой жизнью. Русская революция 1905 года и активизация французских рабочих, рост стачечного движения во Франции (1905—1906) — все это нашло непосредственный отклик не только в публицистике, но и в художественных произведениях Франса.

В 1905 году Франс выступал в печати как друг русского революционного народа. Сама его дружба с Горьким характеризовалась прежде всего тем, что в лице Горького он чтил революционный русский народ, письма его к Горькому неопровержимо свидетельствуют, что он любил и уважал его прежде всего как революционера. Когда в 1905 году Горький был заключен в Петропавловскую крепость за свое воззвание по поводу кровавых событий 9 Января, газета «Юманите» обнародовала протест против расправы с русским писателем, и одною из первых под этим протестом стояла подпись Анатоля Франса. Он не уставал призывать французов к тому, чтобы они присоединили свои голоса к голосам всех передовых людей, возмущенных арестом Горького.

Выражая веру в то, что русская революция восторжествует, что благородная кровь русских революционеров, «дымящаяся на мостовых и призывающая к справедливости и свободе», была пролита не напрасно, Франс агитирует против займа, предоставляемого французскими капиталистами царскому правительству, — «правительству палачей, мучающему великодушный русский народ». Он основывает «Общество друзей русского на-

рода», на митингах, организуемых этим «Обществом», он многократно выступает в защиту русской революции, и в его речах скептическая ирония уступает место гражданскому пафосу.

Еще за несколько лет до того, в «Современной истории», Анатоль Франс вкладывает в уста своего любимого героя Бержере весьма скептическое высказывание по поводу исторической роли народных масс: «Герои бывают; не бывает народов-героев, не бывает армий-героев». А в 1905 году Франс от имени «Общества друзей русского народа», от имени передовой Франции предлагает дружескую поддержку «мужественному, храброму, великодушному русскому народу».

Мы видели, что к теме народа и к теме революции Франс был подведен всем внутренним развитием своего художественного творчества. Знаменательно, что с 1904 года Франс начинает собирать воедино в виде двух томов, озаглавленных «Жизнь Жанны д'Арк», свои этюды, посвященные народной героине Франции и публиковавшиеся в различных журналах и газетах еще с 1876 года. Франс крепкой традицией связан с Вольтером, но «Жизнь Жанны д'Арк», быть может, больше, чем какое-либо другое произведение Франса, свидетельствует о том, что если он был продолжателем Вольтера, как защитник свободной и смелой человеческой мысли в ее борьбе с мракобесием, то перед ним возникали и такие проблемы, от которых Вольтер по всему складу своего мышления и в условиях своего времени был очень далек. Одна из таких проблем — историческая роль народа. Жанна д'Арк в трактовке Франса — народная героиня, она сильна именно своей связью с народом.

Франс не раз в предшествующих своих книгах обращался к прошлому человечества, но прошлое это даже в произведениях, воскрешающих, казалось бы, далекие времена в своих сюжетах и образах, не занимало в замысле писателя центрального места. Вспомним «Таис», где историчность отнюдь не на первом плане. Вспомним и книги о Куаньяре, где исторические образы и мотивы служат прежде всего для обострения франсовской сатиры на современность. В «Жизни Жанны д'Арк» история приобретает самостоятельное, важнейшее значение для Франса, ибо книга посвящена народной героине. В надписи, сделанной на рукописном отрывке из «Жизни Жанны д'Арк», хранящемся в Национальной библиотеке, Франс говорит о том, что «писал эту работу со всей тщательностью, на какую только был способен, и с полным сознанием обязанностей историка». В наброске авторского

предисловия к 28-му изданию книги говорится о том, что «автор не отступал ни от одного из правил, обычно соблюдаемых при поисках исторической правды».

Если в «Кренкебиле» простой человек из народа изображен как робкая жертва неправого суда, то в «Жизни Жанны д'Арк» неправый суд творится как бы над всем народом, ибо Жанна, погибшая на костре, воплощает в себе народный героизм. Свою Жанну д'Арк Франс противопоставлял вольтеровской Девственнице, недаром один из черновиков в своей книге он, в особой надписи, называет «наброском Паралипоменона» к поэме Вольтера «Орлеанская девственница»: ведь «Паралипоменон» — название двух исторических книг библии, буквально означающее «то, что пропущено».

Оба тома «Жизни Жанны д'Арк» вышли в 1908 году. В том же году выпустил Франс и «Остров пингвинов», свой новый роман. Написанный совсем в другом стиле, чем историческая книга о народной героине Франции, этот роман, однако, на свой лад тоже историчен, только история воспроизведена здесь в гротескном, окарикатуренном виде. В предисловии к «Острову пингвинов» Франс рассказывает, что некоторые лица спрашивали Жако-философа, зачем он вышучивает историю и какую выгоду получит от этого его родина. Философ же объяснил, что, увидев свои поступки лишенными всяких прикрас, пингвины, быть может, станут благоразумнее.

Роман Франса и есть такое снятие «всяких прикрас» с истории. Следует обратить внимание на то, что в «Острове пингвинов» пародируется не только история Франции, как это принято считать, — в сущности здесь пародируется история всего человечества, ведь и сам автор замечает в предисловии, что в книге представлены «человеческие деяния», к которым лишь примешано «много черт» из жизни «родной страны». Да и само пародирование французской истории в конечном счете направлено па цивилизованное человечество вообще. В «Острове пингвинов» дан очень грустный по существу обзор всех основ цивилизации. Характер повествования несколько раз меняется в романе, то имитируя наивность средневековой легенды, то воспроизводя стиль исторической хроники, то, наконец, переходя на язык современного историка. Но неизменным остается гротескно-пародийный стиль книги, так как неизменной остается тенденция Франса — показать веками складывавшуюся цивилизацию в резком свете трезвого упрощения, свободного от всяких иллюзий.

В стиле Франса, при всем наличии тонкой иронии, свойственной сатирику издавна, появляется и новое начало, появляется нечто, близкое к разоблачительной простоте плаката. Над отдельными темами, перенесенными в роман из других произведений писателя, доминирует одна тема, один вопрос: да есть ли какой-либо смысл во всей истории человеческой цивилизации? «Остров пингвинов» — не историческое дополнение к «Современной истории». Уже не нелепость войн, религии, лжедемократии, а обоснование этих нелепостей всей природой капиталистической цивилизации составляет тему франсовских саркастических разоблачений. Так, например, Франс и раньше создал немало жестких и ядовитых парадоксов по поводу захватнических войн своего времени, но только в «Острове пингвинов» со всей резкостью он поставил вопрос о неразрывной связи войн с основами капиталистической цивилизации, с горечью предлагая читателю парадоксальный термин «промышленные войны». Под цветами парламентского красноречия Франс обнаруживает первобытную дубинку, символизирующую право сильного.

В сатире «Острова пингвинов» чувствуется большая близость франсовского стиля к Рабле. Остров, который святой Маэль перевозит поближе к своей стране на самодельном шнурке; орден Почетного легиона, прикрепленный прямо к волосатой обезьяньей груди одного из полководцев; открытый автомобиль принца Крюшо, в котором монах Гриб разъезжает с двумя легкомысленными дамами; бесчисленные выписки, обрушившиеся лавиной на Фульгенция Тапира и погребающие под собой ученого м у ж а , — все эти образы, относящиеся к различным эпохам пингвинской истории, созданы в духе гротескно-сказочных образов «Гаргантюа и Пантагрюэля». Они в особенности придают стилю «Острова Пингвинов» характер острой сатирической плакатности.

В книге о Жанне д'Арк Франс создал светлый образ народной героини, в нем нашла себе выражение вера писателя в народ, в народную правду. Народную правду видел Франс и в русской революции 1905 года. В «Острове пингвинов» наблюдается уже спад исторического оптимизма писателя. Последняя часть романа носит заглавие «Будущие времена» с мрачным подзаголовком «История без конца». Вечный круговорот истории подчеркивается и композиционной особенностью последней части — повторением в начале и в конце ее одних и тех же безнадежных слов: «Дома казались людям все еще недостаточно высокими, их беспрестанно надстраивали все выше и

выше, их строили в тридцать и сорок этажей; там громоздились бюро, магазины, конторы банков и предприятий, там все глубже уходили в землю погреба и туннели. Пятнадцать миллионов человек работало в гигантском городе...» «Остров пингвинов» — это скорбная книга, полная гнева и негодования, полная сочувствия к порабощенному народу, но в ней отвергается возможность перестроить общество при помощи революции.

К теме революции Франс возвращается в следующем своем романе «Боги жаждут» (1912) — историческом романе из времен французской революции XVIII века. Уже в «Острове пингвинов» временами дает себя знать трагическое начало, прежде лишь изредка возникавшее в творчестве Франса. «Боги жаждут» — книга трагическая в самой своей основе.

Франс не раз подчеркивает природную доброту и чистоту своего героя, революционного деятеля Гамлена. Подчеркивает он и человеколюбивый смысл владеющих им революционных чувств, человеколюбивую направленность революционной идеи, которой он преданно служит. «Что значат наши временные лишения и муки. — Революция на веки вечные даст счастье человечеству!» Гамлен наделен высокими душевными качествами, это подлинный герой, готовый на любую жертву ради торжества владеющей им высокой идеи. Но, делая его участником французской революции XVIII века, убежденным и страстным якобинцем, Франс постепенно прослеживает, как революционный пыл Гамлена, порожденный самыми благородными чувствами, приводит к тому, что Гамлен превращается в жестокого фанатика, уже не видящего перед собою живых людей, с их горестями и радостями. «Отведенная для одних лишь аристократов, гильотина показалась ему чем-то вроде несправедливой привилегии. Гамлен начинал создавать себе из возмездия религиозную и мистическую идею».

Гамлен сознает, что сам поставил себя «вне человечества». Совершать революцию во имя человечества и, совершая ее, утратить человечность — этот парадокс раскрывается в романе «Боги жаждут» в целом ряде сцен и образов, он определяет собою и весь трагический замысел романа. Недаром через всю книгу проходит лейтмотив, заимствованный из античной трагедии. Художник Гамлен пишет картину, изображающую Ореста. Образ Ореста то и дело перекликается с образом самого художника. Гамлен разъясняет свой замысел: «Что у него за судьба! Из сыновней любви и повинуясь священным законам,

он совершил преступление, которое боги должны ему простить, но люди не простят никогда. Чтобы отомстить за попранную справедливость, он отрекся от природы человеческой, он сделался бесчеловечным...»

Тот же трагический замысел, выраженный в противопоставлении Гамлена, страстно мятущегося в своей революционной деятельности, и равнодушия жизни, людской толпы, преданной своим повседневным делам, своим частным интересам, проявляется и в концовке романа: здесь Элоди, бывшая возлюбленная Эвариста Гамлена, после его казни ставшая возлюбленной его приятеля, обращается к своему новому другу буквально с теми же словами, какими она некогда провожала Гамлена. Меняется и характер иронии Франса; она нередко переходит в буффонаду, когда, например, упоминается счет за «пару калош от 18 вандемьера» или новые игральные карты с «трефовой Свободой», «пиковым Равенством» и «бубновым Братством».

Революционной одержимости Гамлена, его фанатизму противополагается простая жизнь, где нет места абсолютным идеям, где все человечно и относительно. В качестве защитника такой жизни от тирании абсолютной идеи выступает у Франса Бротто дез-Илетт, последователь Лукреция, эпикуреец, не перестающий жадно впитывать в себя все радости жизни, даже стоя в длинной очереди за хлебом, даже по дороге на эшафот, к гильотине. В этом персонаже мы без труда узнаем черты излюбленного героя Франса, встречавшегося в прежних его книгах, — черты аббата Куаньяра, кое-какие черты Сильвестра Бонара и профессора Бержере. Но слишком много значила для Франса тема революции, чтобы разрешить ее теперь с точки зрения эпикурействующего Бротто. В этом персонаже немало обаяния, немало и героизма — нужно быть своего рода героем, чтобы сохранить эпикурейское спокойствие по дороге к гильотине. Но в такой книге Бротто мог оказаться лишь второстепенной фигурой. На первом плане — трагический образ Гамлена, ибо и для самого писателя была трагична противоречивость его собственного мировоззрения: сознание исторической и моральной необходимости перестроить общество, освободить его от черной неправды капитализма и — с другой стороны — идея круговорота истории. Следует, однако, отметить, что недоверие к революционному пути обновления общества связано в романе с полемикой А. Франса против либерально-апологетической оценки буржуазной революции XVIII века, оценки, которая в то время

питалась страхом идеологов буржуазии перед Коммуной и революцией 1905 года.

В 1914 году Франс опять возвращается к революционной тематике — в романе «Восстание ангелов». Здесь привычный читателям, старый любимый герой Франса получает совершенно карикатурное изображение: это лысый библиотекарь Сариет, способный говорить только о книгах, окруженный глобусами и библиотечными полками, а сам «более бледный, более неясный, более расплывчатый, более воображаемый, чем образы, которые он вызывал». Мир библиотекаря Сариета уже не в состоянии дать даже кратковременный отдых душе, угнетенной зрелищем гнусного и лживого общества.

Франс удаляет ученого гуманиста в пыльную библиотеку, он теперь ему нужен только для библиографических справок. На первом плане — мятежные ангелы, кое-как приспособившиеся к условиям земного существования, чтобы готовиться к штурму божьего престола. Но хотя в новом романе Франса господствует аллегорическая фантастика, между «Восстанием ангелов» и романом «Боги жаждут» существует тематическая преемственность, что подтверждается рассказом ангела-фавна Нектария, связывающим события романа с событиями французской революции конца XVIII века. Аллегоризм, явный во всех частях романа, особенно сгущается там, где Франс изображает Люцифера, гордого и непреклонного врага небесного владыки. В вещем сне Люцифер видит себя победителем Иеговы, но ставшим после победы таким же деспотом, каким был Иегова, — и наутро отказывается быть предводителем мятежных ангелов. Анархические тенденции Франса, вскормленные долгими годами его социальных разочарований и заглохшие было в первые годы XX века, достигли в «Восстании ангелов» своего апогея.

Космизм и абстрактный символизм характеризует не только образы этой книги, но и самый ее замысел. В «Острове пингвинов» аллегория не ослабляла злободневно-сатирического содержания и была насыщена конкретным фактическим материалом социальной истории и социальной современности. В «Восстании ангелов» от былых разоблачительных картин, показывающих махинации политиканов, нелепость и бесчеловечность милитаризма, клерикализма и т. п., остались лишь отдельные штрихи. Попытка разрешить вопрос о революции вне конкретной классовой борьбы современного Франсу общества приводит к своеобразному смешению бытового правдоподобия в картине

французского общества до первой мировой войны, с апокалиптически-гиперболичной фантастикой в изображении ангельского воинства или с идиллической условностью в описании прошлого. Такое сочетание проявляется и в составе персонажей, где можно обнаружить рядом с молодым шалопаем Морисом его ангела-хранителя Аркада, участника заговора против самого Иеговы, рядом с легкомысленной певичкой из кафешантана — мудрого Нектария, бывшего соратника Люцифера...

Такое же смешение конкретно-современного материала с абстрактно-условным наблюдается и в композиции романа. Особенно характерны в этом отношении два эпизода: рассказ Нектария о прошлом человечества и сон Сатаны, — а ведь именно на эти два эпизода падают две центральных темы романа: тема страданий угнетенного человечества и тема революции. Так абстрактность всего замысла книги влечет за собою и ослабление ее реалистической убедительности.

«Остров пингвинов», «Боги жаждут» и «Восстание ангелов» знаменуют собою самый трудный этап на творческом пути Франса. Если бы Франс был тем Дон-Жуаном мысли, тем гурманствующим скептиком, каким его иногда изображают, он легко мог бы вернуться в мир книг и рукописей, столь любезный первоначальным его героям. Но Франс не был им; не мог быть Дон-Жуаном мысли писатель, наделенный таким неутихающим социальным беспокойством. Скептицизм его не был скептицизмом гурмана. Давно покончил Франс с тем тоном эпикурейского спокойствия, каким отмечены первые его книги. Тревожным стал сам художественный стиль Франса. Плавная и гармоническая фраза и прозрачно-ясный язык и теперь еще позволяют угадывать во Франсе ученика французских классиков XVII века, знавшего наизусть целые страницы из Расина, — но как дисгармоничен мир его образов, как резко сменяются в его стиле юмор и сарказм, идиллия и буффонада, трагика и фарс...

Как-то Золя в предисловии к своему «Разгрому» сказал о том, что гибель Второй империи, бывшая для него необходимой как для писателя, осуществилась, наконец, как необходимость историческая. Революционная тема, разрешение которой необходимо было Франсу как писателю, разрешена была самой жизнью. Как подлинный и глубокий реалист, для которого в жизненной

правде заключена высочайшая убедительность, Франс радостно откликнулся на голос революционной действительности, он открыто выступил как друг Советской России, он в своих воззваниях убеждал осудить буржуазные правительства, стремящиеся потопить в крови Октябрьскую революцию. Он первым подписал протест передовой интеллигенции Запада против блокады Советской страны, помещенный в 1919 году в «Юманите» и отмеченный Лениным в докладе на VII Всероссийском съезде Советов. Франс восхищался Лениным, в 1920 году он назвал себя большевиком, после раскола французской социалистической партии присоединился к коммунистам.

Франс обрел в коммунистических идеях великое подспорье и для своей борьбы за мир — той борьбы, которую он неустанно вел вою свою жизнь. С новыми силами стал бороться Франс против издавна ненавистных ему милитаристов.

В предисловии к «Жизни в цвету», последней книге поэтических «воспоминаний», завершающей его художественное творчество, Франс с грустью говорит о том, что новым поколениям читателей не нужна будет старая европейская культура. Настоящее собрание сочинений Франса — одно из наглядных опровержений такого пессимистического прогноза. Советский читатель любит Франса и хочет его знать. Любит Франса и хочет его знать со всеми его тревогами, колебаниями, ошибками, недоумениями, так как ценит в Анатоле Франсе благородство и силу гуманистической мысли, ценит в нем и смелого критика буржуазной цивилизации и упорного искателя пути к «новым временам».

В. Дынник

СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевод *В. Дынник*
под редакцией *Вс. Рождественского*

К ЛУЧЕЗАРНОСТИ *

Ты, возникшая первой, среди темноты,
Где реяла звездная стая,
Лучезарная мать, что, виденья рождая,
Питаешь плоды и цветы!

Сквозь пловучий, парами насыщенный воздух
Едва ты от солнца сойдешь, —
Все живое, ловя твою светлую дрожь,
Смеется, рожденная в звездах!

Славься! Ведь до тебя был безжизненный мрак.
Ты — сила, и ты — наслажденье.
Славься! Ты, о надежная спутница зренья,
Всегда направляешь мой шаг.

Ты — божественных форм и оттенков начало,
Всего, что так сладостно нам.
Ты сверкаешь на высях по горным снегам,
Долинам отрадою стала.

Ты под синью небес, средь душистой росы
Колибри пестро расцветила,
И на всем, что ты тронешь и что тебе мило, —
Сияние тихой красы.

От тебя — над землей ликованье рассветов,
Ты негою льешься ночной
И заманчиво зыблешь тот сумрак лесной,
Что дорог для страстных обетов.

Ты живые причуды взрастила в морях,
Пловцов золотишь белокурых.
Небеса освежатся грозой, и лазурь их —
В твоих семицветных огнях.

Лучезарность! Твоим светоносным покровом
И женщины радуют нас.
Ты, вернувшись из женских сияющих глаз,
Даришь наслаждением новым.

И камнями в ушке ты сверкаешь, где трон
Тебе уготован восточный.
Я повсюду люблю этот свет непорочный,
Такой, как в начале времен.

Лучезарность! Собой укрепи мои мысли,
Укрась их своей простотой,
Мирной радостью полниться их удостой,
Их форму и меру расчисли.

И глазам моим дай сладострастьем святым
Еще и еще насладиться,
Глядя, как красоту ты венчаешь царицей
Невинным венцом золотым.

А исполнится срок, чтобы в недрах творенья
Мне снова свой век зачинать, —
Укрепи и омой меня светом опять
И в новом моем воплощенье.

ОЛЕНИ

В тумане утреннем, средь пожелтелой чащи,
Где ветер жалобный шуршит листвой дрожащей,
Сражаются в кустах олени — два врага.
Всю ночь, с тех самых пор, как тягою могучей
Обоих повлекло за самкою пахучей,
Стучат соперников ветвистые рога.

В рассветной мгле, дымясь, они одной тропою,
Чтоб горло освежить, спустились к водопою, —
Потом еще страшней был новый их прыжок.
Под треск кустарника, с хрустеньем града схожий,
В изнеможении, под увлажненной кожей
Играют мускулы их сухопарых ног.

А в стороне стоит спокойно, в гладкой шубке,
Лань с беленьким брюшком, и молодые зубки
Кусают дерево. Отсюда двух бойцов
Ей слышно тяжкое, свирепое храпенье,
И ноздри тонкие в горячем дуновенье
Учуяли, дрожа, пьянящий пот самцов.

И, наконец, один, для схватки разъяренной
Самой природою слабей вооруженный,
В кровавой пене пал на вспоротый живот.

С губы слизнул он кровь. Тускнеет взор лучистый.
Все тише дышит он: то на заре росистой
Успокоенье смерть уже ему несет.

И перед будущим сомнения не зная,
Рассеялась в ветвях душа его лесная.
Жизнь беспредельная раскрылась перед ним.
Он все вернул земле — цветам, ручьям студеным,
И елям, и дубам, и ветрам благовонным,
Тем, кто вскормил его и кем он был храним.

Средь зарослей лесных извечны эти войны,
Но не должны они смущать нам взор спокойный:
Природы сын, олень родился и исчез.
Душа дремотная в лесной своей отчизне
За годы мирные вкусила сладость жизни, —
И душу тихую в молчанье принял лес.

В священных тех лесах безбурно дней теченье,
Не знает страха жизнь, а смерть — одно мгновенье.
В победе, в гибели — единый есть закон:
Когда другой олень, трубя кровавой мордой,
Уходит с самкою, покорною и гордой, —
Божественную цель осуществляет он.

Всесильная любовь, могучее желанье,
Чьей волей без конца творится мирозданье!
Вся жизнь грядущая исходит от тебя.
В твоей борьбе, любовь, жестокой и ужасной,
Мир обновляется, все более прекрасный,
Чтоб в мысли завершать и постигать себя.

СМЕРТЬ ОБЕЗЬЯНЫ

В теплице, за стеклом, где жалкие растенья,
Питомцы солнечных далеких островов,
Вздымая пестики из чахлых лепестков,
Под серым небом спят, без грез, без пробужденья, —

Беднягу бьет озноб и кашель, и комком
Лежит она, дрожа в своей суконке грубой.
Дыхание свистит из пасти длиннозубой,
Ладони скрещены над рыжим животом.

Нет ужаса в глазах, но нет и ожиданья, —
Меж миром и собой ей непонятна связь,
И полон этот взгляд, в себя оборотись,
Одной лишь кротостью животного страданья.

Над дряблою губой десна обнажена.
Совсем как человек, пылающий и зябкий,
Вот мускулистые большие пальцы в лапки
Зажала — и уже не разожмет она.

Но тут увидела, как солнце заходило
За мачтами судов, собравшихся в порту, —
И морщит низкий лоб, чтоб смутную мечту
В сознанье удержать хоть из последней силы.

Не вспомнилось ли ей, как, средь лесных подруг,
Под небом ласковым, где свет горяч и золот,
Она, кокосами свой утоляя голод,
Средь пальмовых ветвей задремывала вдруг, —

Покуда на корабль, что шел к морям студеным,
Ее не взволокли под клики моряков,
И парус, яростный от ледяных ветров,
Над тельцем скрюченным не загудел бессонно?

Так лихорадочный, видений полный бред
И голод, для души несущий очищенье,
И то высокое мгновенное прозренье,
Что озаряет мозг, даря предсмертный свет, —

Бессмысленных племен наследницу немую
Неповторимою наполнили мечтой,
И день ее весны, весь солнцем залитой,
Ей напоил глаза, сияя и ликуя.

Но там, под черепом, стоит ночная муть,
И челюсть нижняя отвисла каменея.
Внутри хрипит. А мрак все шире и чернее:
Ей полночь, час смертей, прольет покой на грудь.

КУРОПАТКА

Увы, давно ли здесь из-за нее весной
Кипел жестокий спор на пажити зеленой,
И победитель стал, еще окровавленный,
Вить дружно вместе с ней их домик травяной,

И птенчиков она питала в летний зной!
А псы разрушили приют незащищенный.
Взлетела, но свинец, за нею устремленный,
Уже пронзает грудь ей дрожью ледяной.

Священное тепло, что жизнь отогревало,
На перья нежные струится кровью алой,
И птица падает, бессильная, в камыш.

Склонился в зарослях над нею пес проворный.
Ее окутали печаль, и мир, и тишь, —
И, отлюбив свой срок, она умрет покорно.

ДЕРЕВЬЯ

О вы, что, все в цвету, спокойною красой
Так оживляете лесов родимых сени,
Потомки тихие зеленых поколений,
Семья, вскормленная и солнцем и росой!

Та страсть, которою зачата тварь земная,
Чтоб к свету ясному стремиться вновь и вновь,
Праматерь вечная, кем рождена Любовь,
Овеяла теплом и вас, благоухая.

И вы, подобно нам, желаньем рождены, —
Желанье в эти дни священного цветенья
И души создало для вас из распыленья —
Но души, что себя постигнуть не должны.

И облеченные материей безгласной,
Бессильные стопу от почвы оторвать,
Томясь по жизни — жизнь вы множите опять,
Но вполовину лишь ей сами сопричастны.

ПОКИНУТЫЙ ДУБ

Где в теплоте лесной разлит румяный свет,
Родоначальник-дуб, большой и узловатый,
Свой панцирь над холмом склонив шероховатый,
На солнце греется, осиротелый дед.

Цветущий, он века питался перегноем
Сынов, задохшихся в тени его густой,
А темная глава дышала высотой,
И сок кипел в ветвях живительным настоем.

Но ветви лучшие засохли, их скелет
Зловеще высится над кроною зеленой,
А в глубине груди, бессильно обнаженной,
Уж не один червяк прогрыз глубокий след.

Когда забродит сок, то, язвы разъедая,
Он лишь тревожит дуб весеннею порой.
Там целый мир кишит за мшистою корой,
Повсюду — лишаи и ржа полуседая.

Отжив на нем свой век, уже суки подряд
Трещат и валятся, — и вихри буревые,
Чтоб смерти завершить усилья вековые,
Быть может, и весь дуб сегодня сокрушат.

Недаром поползли с вершины ненадежной
Зеленых гусениц нарядные полки.
И по стволу толпой забегали жуки,
Надкрылья синие уже подняв тревожно.

А весь пчелиный рой взлетел еще вчера,
Покинув меж ветвей свое жилье лепное,
И шершни, дерево облюбовав иное,
Переселенцами спешат туда с утра.

Вот ящерица, щель покинув, на мгновенье
Головку подняла, глядит — и скрылась прочь.
В окоченелый ствол нахлынувшая ночь
Уже торопит в нем труд плесени и тленья.

ФЕРА *

Вот этот козий мех, о гость, наполнен туго
Живою влагою из гроздий золотых,
Что Фера смуглая, взметенная упруго,
Под солнце вознесла над пеной вод морских.

Ни миртов нет на ней, ни падубов зеленых,
Полыни даже нет, что так мила стадам,
С тех пор, когда возник и в жилах раскаленных
Навек забушевал огонь Плутона там.

Ее угрюмый лоб подернут тучей алой,
Ключам горячим грудь подставила она.
И Фера кажется вакханкой одичалой,
По чреслам девственным лозой оплетена.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Под мягкой дымкою, нависшей молчаливо
Над морем и песком, в полукольце залива
Проснулись под скалой дремотные суда.
Пылающим ковром разостлана вода
Пред солнцем, выплывшим из пропасти востока.
А волны алых дюн смеются издалека,
Сверкают стеклами прибрежные дома,
И зеленеет верх у каждого холма,
Едва коснется свет его листвы нарядной,
И небо каждый луч в себя вбирает жадно.
В пространстве шум растет, неясный и глухой;
Свой первый громкий крик бросает труд людской.
Вот — женщина в сабо, за ней идет другая;
Хлопочут рыбаки, свой невод расстилая,
И солнце серебрит трепещущий улов
В плетеных кузовах на спинах моряков.
Запел старик рыбак и паклею густою
Стал конопатить челн, пропахнувший смолою,
А выше, где холмы желтеют будяком,
Два стражника идут замедленным шажком.
Суденышко скользит по водам океана,
Латинским парусом белея из тумана;
Чтоб ветер попытать, уже взошел на бак
И руку вытянул немолодой моряк.

ВИДЕНИЯ СРЕДИ РАЗВАЛИН

Река, свободная, немая,
Стремит меж бледных тростников
Потоки влаги и песков,
Тот остров длинный обнимая,

Что кораблем разбитым спит,
Обломком славным приключенья,
И, преданный навек забвенью,
Утрачивает смысл и вид.

Лет журавлей, их клик тоскливый
Пронзает дымку облаков,
А стаи лебедей, чирков
Плывут по вольному разливу.

Две старых башни и портал —
Для мрачных сов приют просторный.
Во мху, в плюще, их очерк черный
Неявственно и грузно встал.

А камни длинных изваяний
Лежат меж ирисов густых.
Во сне, смежившем веки их,
Они сложили мирно длани.

Теперь настойчивый борей
Снедает тех изображенье,
Что так любили смерть и тленье, —
Дев, ангелов, волхвов, царей.

Во всей осанке их суровой
И в сухости бесплодных тел
Мы видим их былой удел —
Желать могильного покрова.

Над островом прошли века,
Храня покой его священный,
Струясь безмолвно, неизменно,
Мосты обрушила река.

Рос город, гордый и богатый,
Среди пустынных тех земель,
И вновь он спрятался когда-то
В неласковую колыбель.

Но камни улиц, пристаней
Отобраны землей нещедрой, —
Таят холмов цветущих недра
В себе жилища давних дней.

И беспорядочная куча
Стен, капителей и подпор
Венчает южный косогор,
Поросший туею плакучей.

Лягушки стонут из болот.
Меж трав, на западе, далеко
Стоят ворота одиноко,
Зияя в мокрый небосвод.

И бури в яростных порывах
Античных не щадят веков,
Круша людей, коней, быков
На сводах арок горделивых.

На севере, невдалеке,
Ряды колонн, светильни, плиты,

Стен, лестниц лабиринт извитый —
Гудят под бурями в тоске.

Руины храма, где повешен
Ряд лир на колышках златых,
Где танец нимф еще не стих
И вьется, радостен и бешен.

Молчит обитель королей,
Сев одинокою вдовою
На правый берег, над водою,
Над хладной белизной лилей.

Как царственные украшенья,
Мерцает, в водах отразясь,
На ней эмблем и знаков вязь,
Спасенная от разрушенья.

С беседки, чуть из облаков
Проглянет месяц, — оживая,
Смеется статуя нагая,
Роняя пригоршни цветов.

И сладострастно и лениво,
Присев, откинулась назад
Та, что к себе манила взгляд
Далекой эры нечестивой.

УЗНИК

У моря, у ласковых Сиртов,
Где мирно синеет вода,
Есть лес апельсинов и миртов,
Куда не заходят стада.

Под древней древесною сенью,
Изваянный дивным резцом,
Смеется сатир в опьяненье
На камне высоком своем.

А острые уши сторожки:
Их словно чуть-чуть повело.
Венчают задорные рожки
Его молодое чело.

Ноздрями, раскрытыми жадно,
Впивать непрестанно он рад
Морской этот ветер прохладный,
Цветущих лесов аромат.

Фалернскому *, видно, во славу
Приподняты губы с углов,
Торчат под бородкой курчавой
Две шишечки, как у козлов.

У мрамора Пентеликона
Тоскующий отрок сидит,
И искоса бог благосклонный
На узника сверху глядит.

А он, молодой, белокрылый,
Слезами залиться готов,
Что ноги немеют без силы
И тело — в оковах цветов.

Слеза по прелестным ланитам,
По золоту прядей течет,
И крыльям, широко раскрытым,
Напрасно мерещится взлет.

Покуда под солнца лучами
Молчит целомудренно лес,
В глазах, увлажненных слезами,
Отважный огонь не исчез.

Но вечер опустится мглистый,
И нимфы начнут торжество, —
Он весел под цепью душистой,
Пьянящею сердце его.

РИМСКИЙ СЕНАТОР

Жерому, художнику *

Сам Цезарь — на полу в покое опустелом,
Под тогой складчатой величествен и строг,
И бронзовый Помпей, в крови, над трупом белым
В углу зеленых губ свой затаил смешок.

Душа, в далекий путь отпущенная телом,
Лишь Брут с Свободою вонзил в него клинок,
Печальная, кружит над прахом онемелым,
Где смерти кроткой след красою бледной лег.

На голом мраморе скамей один затерян,
Старик сенатор спит, и храп его так мерен,
Колышется живот, оплывший на скамью.

Молчаньем пробужден, вдруг сослепа, натужась,
Он хрипло возгласил, немой рождая ужас:
— За лавры Цезаря я голос подаю!

САНДАЛОВЫЙ КОСТЕР

Когда в далекий путь, величествен и странен,
Чрез Тихий океан пустился англичанин,
На дивном острове, где бриг пристал тогда,
Царица, девочка по имени Ти-да,
Браслет из раковин пришельцу отдавая,
Хотела с ним рабой плыть из родного края.
И целых тридцать дней слыхал любимый друг
Из бронзовой груди немолчный страстный стук
Среди циновок, там, в бамбуковой палатке.
Но все ж заранее, в тот самый месяц сладкий,
Ти-да, готовая к разлуке с давних пор,
Воздвигла для себя сандаловый костер.
А путник уловил, чуть бледный, над волнами
Тот странный аромат, что посылало пламя.

ПОСЛЕДНИЙ ОБРАЗ*

Ни один волосок на ее голове,
ни одна складка ее платья
не шевелились.
Чарльз Диккенс

Поутру, в зимний день, прохладный и погожий,
Печальный мальчик сел в подъехавший возок,
Вот, джин свой проглотив, берет возница вожжи,
Зафыркал белый конь на бодрый ветерок.

Ждет снова школяра все чуждое такое,
Где столько скуки, кар, решеток и чернил, —
И в детской памяти щемящею тоскою
Встал этот мрачный мир, что так ему немил.

Он опустил стекло и выглянул в смятенье, —
Свое изгнание не может он понять.
И видит на крыльце в последнее мгновенье:
Вся в белом, высоко младенца держит мать.

Прощальный щелкнул бич. Мать, расставаясь
с сыном,
Бледна и молода, длит ласковый привет,
А грудь дыханием не дрогнет ни единым,
И в пристальных глазах так ровен синий свет.

Ни складки ветерком на ней не шевелило,
И не играла кровь под нежной кожей щек,
На светлой голове, простоволосой, милой,
Не дрогнул ни один летучий волосок.

Вовек не свидится с ней мальчик одинокий, —
Но так таинственен и прост возник тогда
Тот образ матери, что, кроткий и глубокий,
Во взоре сына жить останется всегда.

КОРИНФСКАЯ СВАДЬБА

Фредерику Плесси *.

Ὦ τύμβος, τ νυμφεῶν...

О могила, о брачное ложе...
Софокл, «Антигона»

ПРОЛОГ

Дорога, ведущая от Коринфа к морю. Мраморный храм с фронтоном, на котором изображено рождение Афины. Источник, миртовая роща. В глубине — дом с расписанными стенами, сад, виноградник. Вдали, весь розовый, Акрокоринф *.

МУЗА

Перед поднятием занавеса — музыка.

О дева-лирница, о юная Эллада!
Ты, чьим устам сладка была любовь и мед!
С тобой, искусница, смеяться было радо
И море ясное и светлый небосвод.

Все дни твои текли безоблачно и мерно.
Когда осеребрит луна дорожный прах,
Ты думала под звон цикад ежевечерний
О смене месяцев и о людских трудах.

Эллада, дочь морей и взморий золотистых,
В груди твоей и страсть и неги забытье.
А песнь твоей любви струится в звуках чистых:
Гармония волной нахлынула в нее.

Я, та латинянка, кому в мечте заветной
Всегда являлась ты, сияя красотой,
Предпринимаю труд, прилежный и не тщетный —
Правдиво воскресить прекрасный образ твой.

Другие пусть поют о той поре безбурной,
Когда от родника, пристанища богов,
Ты тихо шла домой с наполненною урной, —
В тоске моя душа, ей не до мирных слов.

На грудь тебе кладу фиалок бледных связки,
То время воскрешу, когда жестокий бог,
Сорвав с твоей главы священные повязки,
Разбил твой светлый храм и мрамор белых ног.

Навек ушел твой смех из сумрачного мира,
Ушла и грация с тобой и красота,
Напрасно ждет певца покинутая лира,
И землю ужасом объемлет темнота.

Эллада, белая сестра, нарисовать бы
Хотела я тебя в красе последних дней,
Чтоб стали зрители моей «Коринфской свадьбы»
К земле приверженней и к любящим — нежней.

Занавес

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Рыбак
Гиппий
Дафна
Каллиста
Рабыня Фригия
Феогнид
Гермий
Кормилица Дафны
Колдунья
Артемида
Афродита
Хор юношей
Хор виноградарей
Хор христиан

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Анри Казалису *

То же место. Но на фронтоне храма, среди искалеченных прекрасных изображений, на месте богини — монограмма Христа, намалеванная киноварью по мрамору.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Рыбак Ольпий

(ставит на землю пустые корзины и садится, бессильный от усталости и старости, на разбитые ступени храма)

От моря к городу дорога далека,
И скоро устаешь. Да, доля нелегка —
Хлеб зарабатывать на этих рынках жадных.
И в водах, некогда обильных и отрадных,
Стада блестящих рыб уж начали редеть,
Былою тяжестью не наполняют сеть,
И под добычею не стонет челн веселый.
Нет, боги не хотят хранить мой труд тяжелый...
Скупы коринфянки, не лучше — повара,
И выручить успел от самого утра
Оболов только лишь тринадцать за улов я.
От женщин толка нет — одно лишь многословье!
(Поднимает свои корзины.)
Развратен род людской, и в наш жестокий век
Богами гневными оставлен человек.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Рыбак, Гиппий

Гиппий

(на нем фессалийская шляпа, его серая туника препоясана на бедрах. Высокая обувь укреплена у щиколотки ремнями. В руке у него белый посох, походка быстрая)

Привет вам, сад и дом, приют той девы юной,
Что для меня цветет за пряжей тонкорунной.
Рыбак (ведь ты ж рыбак: корзина на руке,
II водорослей клок на мокром ивняке),
Скажи, не старого ль то Гермия ограда?
Он жив ли?

Рыбак

Да, мой сын, и соком винограда
Сосуды древние он полнит каждый год.

Гиппий

Пусть милостью богов приют его цветет.
Видал ли Дафну ты под кровлею отцовой?
Скажи, сладка ль ей жизнь? Ее чела младого
Не омрачают ли полеты легких Ор? *

Рыбак

Невинная краса — ее святой убор.
Да, путник, счастливо живется ей на свете
По милости богов.

Гиппий

Отрадны вести эти.
О матери ее Каллисте рассказать
Не можешь ли, мой друг?

Рыбак

Страдает тяжко мать
И стонет от руки разгневанного бога.
Но говорить о том не подобает много
С прохожими. Одно скажу: еще могуч
Стрел Аполлоновых удар из грозных туч.
(Уходит.)

Гиппий

Да, это Дафна там, бредя своей тропинкой,
Сияя белизной, былинку за былинкой
Сбирает, тонкий стан и шею наклоня.
Смущенье странное наполнило меня.
Вот предо мной она, чудесней и желанней,
Чем в страстные часы моих ночных мечтаний!
Сверхчеловечески прекрасной выслал бог
Ее ко мне сюда, в скрещенье двух дорог.
(Прячется.)

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Гиппий, Дафна.

Дафна
(перед храмом)

В болезнях, говорят, полезны эти травы.
Вот рута. Между трав она всех выше славой.
Спасу от смерти ту, что жизнь дала мне. Дочь
Нарвет целебных трав, чтоб матери помочь.
Христос, божественный посланник всеблагого!
Коль верно, что богов твое изгнало слово
И даже Аполлон бессилен с этих пор *, —
О скорбный Иисус, склони свой тихий взор,
Ведь царствие твое пришло, воздень же руки:
Пусть муки исцелит, кто сам изведал муки.
Господь, оставь ей жизнь. Ведь мать тебе вера
А мне отдай того, с кем я обручена.

Гиппий
(делая к ней несколько шагов)

О Дафна нежная! Одно мое желанье —
С тобой делить любовь и все существованье.
Навек мы связаны обетом давних дней.
И вот я здесь. Приди! Дай руки мне скорей!

Дафна

Да, я стою с тобой, а не с бесплотной тенью,
Тень возвестила бы о кораблекрушенье.

Мой путник дорогой, я знала, что опять
Тебя мне суждено, любимый, увидать.
Надежда преданной груди не покидала.
Но к матери пойдем. Печально и устало
Она мотает шерсть. Желанный гость у нас,
При ней о странствиях ты поведешь рассказ.
Ее гнетет недуг, всю печень ей снедая.

Гиппий

Полна и скорби жизнь и счастья, дорогая.
С тобой скорблю и я. Мне дорог твой привет,
Но ныне твой порог не перейду я, нет!
Широкополою я шляпою покроюсь
И туже затяну вокруг туники пояс.
Ты видишь, в дальний путь спешу я налегке,
В высокой обуви и с посохом в руке.
Да, гавань тихую у города родного
Покинул мой корабль и парус поднял снова, —
Идти в далекий путь по западным волнам.
Так приказал отец. Но недостало нам
Воды. И вот, пока мехи наполнят ею,
Спешил я свидеться с невестою моею.
Сулит попутный ветр, и звезды заодно,
Что скоро черное ферасское вино
Я в Пестуме продам.

Д а ф н а

Помедли. Так жестоко
Мне расставание, а море так широко!

Гиппий

Я лишь на краткий миг пришел. Мечталось мне,
Что ты мелькнешь вдали хоть тенью на стене.
Но если будет мне благоприятно море,
Я твой родной очаг опять увижу вскоре,
Мне чашу осушить предложит твой отец,
И увезу тебя, о Дафна, наконец,
На корабле в свой дом, где, ярко пламенея,
Зажгутся факелы во имя Гименея.
О чаши! О цветы и песни! О, когда ж
Ты этот день, судьба медлительная, дашь?

Познал я, как сердца любовью неизбежной
Нам ранят девушки уверенно и нежно.
И я люблю. Любовь — страданье, говорят.
Что ж, знаю — и люблю. И я страданьям рад.
О женщина, сама ты прекратишь мученье.
Так рута горькая приносит исцеленье.
Любить — не значит стать безумным навсегда.
С тобой, супругою, мы долгие года
В довольстве проведем. Придет благоразумье,
И дети, и покой, и мирное раздумье,
Так дерева растут согласною четой,
Прохладой радуя, сплетясь листвой густой...
Но мне велел отец, — и снова в путь готов я.
Судьба вознаградит почтение сыновье.
Взывай же к Весперу, сияющему нам.

Д а ф н а

Нет, к Иисусу лишь: ходил он по водам.

Гиппий

Не будем слов таких произносить без нужды:
Ведь чуждых нам племен и боги тоже чужды.
Дыханием богов родных еще леса,
И древняя земля полна, и небеса.
В священном воздухе приметы их нередки, —
Недаром мудрые их почитали предки.
Богам ревнивым дань в былые времена
Беспрекословная бывала воздана.
Храня завет отцов и чувство их святое,
Молиться буду я, под портиками стоя.
Ведь боги к нам добры, о Дафна, и, смеясь,
С стыдливой девою соединяют нас.

Д а ф н а

Но христианкой я твой перстень получила
В давно минувший день, воспоминаньям милый.
Да, в детстве крещена водой и солью я
Священником, что нимф из нашего ручья
Изгнал. Крещеная, я нареклась сестрою
Того, чей скорбный крест воздвигся над горою.

Гиппий

Есть множество богов, природа их темна.
И все мы почитать должны их имена.
Нам Азия богов дала уже немало *.
Амброзия у них в устах благоухала.
К царю еврейскому с почтеньем отнесусь.
Признаю, что богам причастен Иисус.
Но он же — Адонис: в часу девятом так он
Погиб, как тот, кто был Киферою оплакан.
Он также и Гермес, — ведь в преисподний мрак,
В обитель мертвецов и он спустился так.
Живи и радуйся ты жизни, дорогая!
Рвет якоря корабль, свой парус напрягая.
Так волосы твои поцеловать мне дай!

Д а ф н а

Лобзаньям час придет. Терпи и ожидай.

Гиппий

Лови цветущий миг!

Д а ф н а

Изведай ожиданье!

Гиппий

Нам память радостна.

Д а ф н а

Но больше упованье.

Гиппий

Пора! А светлый взор и воздух голубой
Меня сковали.

Д а ф н а

В путь! Избрали мы с тобой
Благую часть. Прощай!

Гиппий

Как миг свиданья краток!
В твоей улыбке есть печали отпечаток.
Изменчивой судьбы страшишься ты сейчас!

Дафна
(плача)

Я думаю сейчас о море и о нас,
О днях томительных, о снах, что бездыханным
Тебя покажут мне на береге песчаном.

Гиппий
(после долгого поцелуя)

Я слезы пью твои, что льются обо мне.
Зачем искать угроз в грядущем нашем дне?
Дай году круг один закончить прихотливый,
О Дафна, и к тебе вернется друг счастливый.

Дафна

Что ж, дома месяц я за месяцем опять,
Как должно женщине, свиданья буду ждать.
Клянусь я, — только смерть, завистливая, злая,
Нарушит наш союз, друг с другом разлучая.

Гиппий

Будь, Дафна, счастлива!

Дафна

Прощай!

Он уходит.

Постой! Постой!
Мой Гиппий! На глаза мне лег туман густой.
О грусть, предчувствие и страх неизъяснимый!
(*Она идет к храму. Музыка.)*

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Дафна, Каллиста на носилках в сопровождении своей рабыни Фригии. Музыка смолкает.

Каллиста
(на носилках)

Я, Фригия, хочу, чтоб вместе в храм вошли мы.
Ты помоги мне.
(К Дафне)

Дочь! Один лишь только бог
Тебя сейчас ко мне навстречу выслать мог.

Дафна

Я вышла собирать целительные травы.

Каллиста

Дитя, ведь к тайне ты причастна величавой,
В болезнях не найти нам помощи земной,
И к исцелению приводит путь иной.
Послушай, дочь моя! Я жизни преходящей,
Ты знаешь, не ценю, мне жизнь иная слаще.
Я только к небесам желанием влекусь,
И в смерти для меня таится сладкий вкус.
Но мне земную жизнь еще покинуть рано.
Где будет без меня надежная охрана, —
От козней дьявольских кто оградит наш дом!
Ведь старый твой отец, нечестием ведом,
Совсем низвергнется в коварную пучину,
Как только я его без помощи покину.
А ты сама, когда к тебе придет тоска, —
Где нежности людской вкусишь ты молока?
Где утолишь вином духовным сердца жажду?
И о рабах своих я тоже тяжко стражду.
Их много, господи! Кто на путях твоих
Рукой суровою тогда наставит их?
Кто город просветит евангелия словом,
Скудельных идолов круша под каждым кровом?
Кто помощь беднякам подаст — и только лишь
По справедливости, как ты всегда велишь?
Да будет, господи, твоя святая воля, —
Но душ беспомощных меня смущает доля,
Ведь страшной гибелью им всем грозит судьба.
Ведь я твой вертоград должна, твоя раба,
Возделывать весь день, чтоб к ночи было можно
К твоим стопам, господь, сложить мой дар
ничтожный.

Дафна

О мать, ты будешь жить, и безмятежных дней
Немало протечет над сединой твоей.

Каллиста

Ты любишь мать свою, не веря, но желая
С тревожной нежностью, чтоб все еще жила я.
Один господь бы мог отсрочить дальний путь,
Но в исцеленье ты участницею будь.
Своей невинностью и верой богомольной
У бога заслужи еще мне жизни дольной.

Дафна встает. Каллиста берет ее за руки.

Голубка чистая! Отрада ты моя!
Невинный агнец мой! Цветок, который я
С любовью строгою заботливо растила!
Цвести не для земли тебе должно быть мило,
А для того, чтоб ввысь струить свой чистый вздох,
К престолу божьему, — невинность любит бог.
Душа твоя полна надежды плодоносной,
И чужд ей этот мир, и низменный и косный.
Желаньем неземным горят уста твои
И лишь бессмертной ждут, божественной струи.
Жизнь для тебя — ночлег короткий на привале.
Ты бодрствуешь, скрестив персты и глядя в дали.
Пускай земной мечтой, дитя, когда-нибудь
Была взволнована девическая грудь,
Ты хочешь, чтоб никто твоих лобзаний не пил, —
Ведь горше это нам, чем самый горький пепел.
В болезнях и трудах не станешь сеять ты,
Чтоб жатву умножать для смерти и тщеты.
Ведь девы чистые достойней, чем вдовицы.
Блажен, кто молится и ждет, смежив ресницы!
Блажен, кто плоть свою умеет презирать!

Дафна

Ты знаешь хорошо, кто стал мне дорог, мать!
Мне сам отец избрал любезного супруга.
Он дорог и тебе, и любим мы друг друга.
Ферасский Гиппий — он. Мы после как-нибудь
О нем поговорим. Лишь ты здорова будь.

Каллиста

Но ведь земной союз, поверь, моя голубка,
Соединяет нас цепями глины хрупкой.

А дева чистая, иным огнем горя,
Находит вечный брак под сенью алтаря.
Из звезд ее венец. Белы ее покровы.
И меч пронзает грудь избраннице Христовой.
И ангелы ей шлют небесной арфы звон, —
Союз таинственный, бесплотный славит он.
Блаженство на пиру из полных чаш дано ей,
В любви дано вкусить ей счастье неземное —
В лучах того навек очами утонуть,
Чье сердце кровь струит и чья разверста грудь.
О Дафна, нет славней и нет блаженней доли...
Узнай же, дочь моя, о материнской воле:
Священные врата откройте мне скорей, —
Хочу я говорить сейчас с царем царей.

Она становится на колени на пороге храма. Музыка.

Дозволено, чтоб шел за помощью проситель
К тебе лишь, господи, в священную обитель, —
Под свет семи лампад, и я здесь на порог
Колена преклоню, чтоб ты продлил мой срок
И дал закончить труд, что был предпринят мною,
Уже простившейся со всей тщетой земною.
Ведь умолил Евфай * всевышнего отца, —
Так от меня и сын не отвратит лица!
Клянусь, кровавых жертв пред богом не сжигая,
Что жертва для тебя готовится другая.
На этих письменах, что лев, орел, телец
И ангел дали нам *, клянусь тебе, творец,
Исполнить свой обет — воздать супругой милой
Тому, кто одарит меня былою силой.
Лишь исцели меня, — и дать тебе клянусь
Из дома моего супругу, Иисус!
Продли мне жизнь! Вот дочь, мне данная когда-то, —
И ныне к алтарю, как верная расплата,
Дитя счастливое, она приведена.
Обрезав волосы, тебе обручена,
К тебе она придет, и не споет мужчина
Ей песни свадебной, нечистой и бесчинной.

Д а ф н а

О мать моя!

Каллиста

Придет, как верная жена.
Девичий пояс свой тебе отдаст она.

Дафна

О мать моя!

Каллиста

Обет дан на ступенях храма:
Не прикоснется к ней отныне сын Адама.

Дафна

О мать моя!

Каллиста

Обет вовеки нерушим!
И не пренебрегай усердием моим,
Сын божий, у отца сидящий одесную!
Христос! Воздень венец на дочь мою родную!
Тогда лишь дай сойти мне с жизненной тропы,
Когда сотру в трудах и руки и стопы, —
Чтоб ангел предо мной к господнему престолу
Нес сноп мой золотой, обильный и тяжелый.
Вот, господи, мой дар. Со мной он, погляди!
Его я для тебя вскормила на груди.
Коли воспряну вновь, как добрая раба, я, —
На двадцать пятый день все силы обретая, —
То будет знак, господь, что дочь тебе мила.
Ведь веру с молоком она восприняла.
Лишь лозы через год опять нальются соком,
Невестой пред твоим она предстанет оком,
За покрывалом скрыв прекрасное лицо,
В знак брака вечного надев твое кольцо.

Дафна
(на коленях)

О мать, не связывай меня таким обетом.
В смятенье и слезах молю тебя об этом.
Ведь он неисполним, жестокий твой обет,
Он свяжет путами неисчислимых бед.

От клятвы откажись, неосторожно данной,
Чтоб нашей гибелью не искупить обмана.
О, вспомни, вспомни же, ведь клятву я дала,
Когда перед отцом супруга избрала.
Не допускай, о мать, чтоб мстительные тени
Сгубили жизнь мою средь вечных угрызений.
Вот перстень верности избраннику — взгляни!
Адама сыну я отдать готовлюсь дни.
Мне Гиппий, я клялась, один развяжет пояс.

К а л л и с т а

Будь с богом, о земных долгах не беспокоясь.

Д а ф н а

Меня ты любишь?

К а л л и с т а

Да, но в боге.

Д а ф н а

Западня
Обета твоего подстерегла меня.
О мать, освободи от ужаса и гнета.
Я жить хочу, дышать! Сорви с меня тенета.
Послушай, жениху я только лишь сейчас
Под синевой небес вторично поклялась
К нему супругою в чертог явиться брачный —
Или уплыть навек с Хароном в барке мрачной *.
О, сжалься, вспомни же, как девушкой и ты
Благоуханные лелеяла мечты!

К а л л и с т а

Мирская суета давно забыта мною,
Лишь господа любовь пьянящею волною
Возносит к радости покорные сердца,
В жизнь бесконечную влюбляя без конца.
Но если так нужна тебе любовь мужчины,
Плыви, счастливая, в любовные пучины!
Обет мой нерушим. Уже никто иной
Теперь не может стать между Христом и мной.

Д а ф н а

Так, значит, кончено, и крепко держат сети!

К а л л и с т а

Да, слово сказано, но пусть одна в ответе
Я буду, господи, коль дочь забыла долг
И голос совести навеки в ней умолк.
Не сокрушай, господь, ее своею карой!
Пусть гнев одной моей главы коснется старой.
Одна в ответе я — и дьявольским стадам,
Повсюду рыщущим, одна себя предам.
Да буду проклята и в том и в этом мире.
Да не приду вовек вкусить на божьем пире.
Пускай, отстранена от всех Христовых дел,
В изгнанье буду влечь жестокий свой удел,
И слез иссохшие не обретут глазницы,
И жаркие уста разучатся молиться!
Когда, не зная сна, измучена, без сил,
Пойду на кладбище, пусть из святых могил
Стенанья праведных меня погонят мимо
И чернокрылые ночные серафимы
За мной крыла свои зловещие помчат,
Извергнув на меня проклятий серный чад.
Пусть без напутствия навек уйду из мира
И погребут меня без масел и без мирра,
И пусть навек за мной замкнется черный ад
И в смоляной поток мне душу погрузят.
Они уже летят. Вот ангелы расплаты!
Смотри, как руки их и цепки и косматы!
Схватили! Жизнь свою и душу загуби,
Я умираю, дочь, я гибну за тебя!

Р а б ы н я Ф р и г и я
(на коленях)

Упала замертво. Не слышно стона даже!
Опомнись, госпожа!

(Рабыням)

Снести ее сейчас же
В носилках к нам домой! Смотрите, как бледна.
О горе, дочерью загублена она!

Д а ф н а

Пусть принесут кольцо, венец и покрывало!
Завистливый Христос, я не о том мечтала.
Опомнись, мать моя! Обет исполню твой,
Чтобы вернуть тебе здоровье и покой.

Рабыни уносят Каллисту.

Д а ф н а

О Гиппий, ты лишен своей невесты милой,
И нас уже навек судьба разъединила.
Не возвращайся же! Да, трижды несчастлив
Ты стал, меня избрав и крепко полюбив.
О звезды, спутайте ему пути вы сами!
Вы, ветры, что в морях поют меж парусами,
Коль только есть у вас разумная душа, —
Вы в сумрак ринетесь, за кораблем спеша,
И шепотами вы настигнете своими
Того, чье навсегда должна забыть я имя.
И если он заснул, мечтая обо мне,
Вы тихо образ мой из памяти во сне
Развейте у него, чтоб он не знал страданий.
Пускай забудет он меня. Среди скитаний
Пускай счастливый кров он встретит по пути,
Где мог бы новую невесту он найти...

Музыка.

Счастливее меня, но только не нежнее...
Ах, если бы и мне...

Д а л е к и й х о р ю н о ш е й

Гименей, встает звезда
Веспера над нами!
Где ж ты? Легкими стопами
Поспешай сюда!

Д а ф н а

Но слышу в стороне я
Как бы незримый хор и отдаленный клич,
Что деву юную торопится настичь.

Хор

(приближается)

Ночь не медлит, а влюбленным
Хорошо в тиши.
Где же ты? Спеши, спеши
К нам в венке зеленом!

Д а ф н а

Цветами к празднику их головы повиты, —
Ведь клятвы жениху не могут быть забыты!

Хор

(все приближаясь)

О, в сандалиях златых,
Гименей-властитель!
Девы шаг к тебе в обитель
Трепетен и тих.

Д а ф н а

Друзья, помедлите! Нет, не сейчас, друзья!
Да, слово мной дано, по неодета я,
Я ароматными цветами майорана
Еще своих волос не убрала так рано.

Х о р

(проходит своей дорогой и удаляется)

Гименей, твои законы
Правят красотой.
Пусть же будет девы той
Плодоносно лоно!

Д а ф н а

Зачем же песен шум и шум шагов затих?
Так, значит, уж за мной друзей не шлет жених!
А ведь моя любовь в счастливые палаты
Нежней амброзии струила б ароматы.
Ты, Гиппий, думаешь, другая та жена
Сильней привязана и более верна!
Безлюдье, хладный мрак, безмолвие ночное...
Нет, более не жду от мира ничего я.
(Она снимает с пальца золотое кольцо.)

Ручей! Восторг любви изведал, говорят,
В тебе счастливых нимф неисчислимый ряд.
Я с детства чту тебя, о ключ мой заповедный!
Так вот последний дар от христианки бедной!
Родник! Прими кольцо и там, на самом дне,
Надежно сохрани в холодной глубине!
Прощай, кольцо любви, и стань кольцом разлуки.
(Она бросает кольцо и идет к храму.)
Ликуй, печальный бог, — ведь ты так любишь муки!

Музыка.

Занавес

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Эмманюэлю дез-Эссару *

Портик в доме Гермия. Колонны до половины покрыты красной штукатуркой. Стол из белого мрамора. Снаружи, среди вьющихся растений, виден деревянный Гермес. Под полотняным навесом, сквозь который просеивается теплый свет, сидят женщины-рабыни. Одни прядут шерсть, другие заняты изготовлением тканей или ковров. Входит епископ Феогнид; на нем низкая митра, в руках посох из белого дерева. Музыка.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Рабыни, епископ Феогнид.

Феогнид
(входит)

Женщины встают и кланяются.

Мир с вами, дочери мои! В сердцах у вас
Огонь усердия, я вижу, не погас,
И в прилежании вы трудитесь веселом,
Всегда подобные неутомимым пчелам.
(Спускается по ступеням.)
Прекрасна каждая за прялкою рука,
Когда прядется нить на пользу бедняка.
Достойна похвалы Каллиста, что умела
Найти искусницам благое это дело.
Но, Фригия, — ты всех ей ближе, — разве вдруг,
Как мимолетный сон, рассеялся недуг,
Которым голову и ноги поразило
Почтенной женщине, недавно полной силы?

Входит Каллиста.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Феогнид. Каллиста.

Каллиста

Да будет мир с тобой, епископ Феогнид.
Благочестивый дом тебе всегда открыт!
Ты был здесь год назад и не являлся больше, —
И без тебя нам год казался вдвое дольше.
Дай, пастырь, я тебе колени обниму!
Не море ль странствию мешало твоему?

Феогнид

На тирском корабле, искусно оснащенном,
Я много странствовал по землям отдаленным.
В Александрии был совсем я ослеплен
И златом куполов и мрамором колонн.
Я видел письмена язычников и магов
(Все в кедровых ларцах, как в недрах саркофагов),
И множество людей, и статуй, и палат.
И (слава господу!) я видел семикрат,
Как, в древних капищах, святых живое слово
Изгнало россказни язычества былого.
Но сладко видеть мне опять своих овец!
Так, значит, перестал недуг твой, наконец,
Медлительно терзать страдальческое тело,
Лишь милость господа вмешаться захотела?
Мне письма обо всем поведали твои.
И знаю я, что дочь, отраду всей семьи,
Ты хочешь господу отдать за исцеленье.

Каллиста

Хотела сообщить тебе без промедленья,
Как всемогущий бог мне возжелал помочь.
Теперь хочу вручить свою родную дочь
Тебе, о Феогнид, чтобы своей десницей
Ты рукоположил ее церковной чтицей.

Феогнид

Конечно, дочь твою сведу я к алтарю,
Супругу вечному в супруги подарю.

Но ты же рассуждать всегда умела строго,
А жертва лишь тогда угодна будет богу,
Когда захочется отдаться ей самой,
Когда желанья в ней горит огонь святой.
Ведь умастить себя и дева песнопений *
Спешила радостно для царских наслаждений.
Так надо, чтоб любовь к царю небес была
Благоуханная, как мирра и масла,
Но дочери твоей поистине легко ли
Оставить милый дом и без душевной боли
Покинуть игры, труд нетяжкий и подруг,
Мечты упрямые, семьи счастливый круг, —
Уйти, как странники уходят торопливо?
И дева пояс свой стянула ли стыдливо,
Чтоб вместо посоха, на веру опершись,
Идти к тому, чей зов ей слышен: «Торопись!»

Каллиста

Но, благодатная, она и в мире этом
И в мыслях и в делах покончила со светом.
А с праздников отца-язычника она
Уходит, и цветов чуждаясь и вина.
Уж год, как в тишине укромного покоя
Душа ее полна молитвы и покоя
И для мирских сует навеки умерла.

Феогнид

Да, то избранья знак! Всевышнему хвала!
«Кто хочет следовать за мной, — сказал Учитель, —
Оставь свою семью, богатства и обитель!»
Так завтра же, когда уймется шум дневной
И с лона звездного мрак упадет ночной,
Я праведных почту в страдальческих могилах,
Им отнесу дары, как издавна носил их,
И с третьей стражею к вам постучусь, поверь,
Я посохом своим, и ты откроешь дверь.
А дочь пускай уже наденет покрывала
И препояшется, — ведь ждет нас путь немалый
К обители святой, где ей хочу я дать
Рук возложением святую благодать.

Получит дочь твоя диакониссы званье,
Чтоб с юных дней вкусить, найдя свое призванье,
Блаженство мирное, как только понесет
В поле одежды хлеб для вдов и для сирот,
Как только подавать начнет вино в потире
Для ежедневных треб при всем высоком клире.
Угодны господу обильные плоды,
Когда еще в цвету в господние сады
Ты древо перенес. Так будь благословенна
В потомстве, женщина, зиждителем вселенной.

Каллиста

Да будет так. Аминь!

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Слышен хор виноградарей, поющих на дороге.

Вакх забурлил, и в глубокий наш чан
Стали нырять деревянные чаши.
Право, все время, друзья, что я пьян,
Я — словно боги, властители наши.

Каллиста

Пускай себе поет
Их нечестивый хор. Мы, Дафна, в свой черед
Корзины понесем небесною тропою,
И брызнет спелый сок под ангельской стопою,
И в благовонный чан тогда стечет на дно
Для божьих погребов чудесное вино.

Хор виноградарей
(перед дверями)

Слишком сурова Миррина ко мне.
Чуть поманив, убегает, как серна, —
Но есть наяда в искристом вине,
Эту уж я поцелую наверно!

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Каллиста, Гермий.

Гермий

Все пенится наш чан, и брызжет сок веселый,
А ты по-прежнему полна тоски тяжелой.
Но ты ведь разума, жена, не лишена?
Так разве добрая супруга не должна
Удачу радостно приветствовать такую?
Ликуй же с нами ты, как, видишь, я ликую!
Хорош был нынче сбор, и гроздий теплый сок
В давильне бы щедрей струиться и не мог.
Да, Вакхом я любим! Довольны домочадцы, —
Цветущим юношам приходится сгибаться,
Так переполнены корзины тяжело.
А девушки, лозой украсивши чело,
Спешат и в свой черед с корзиною обильной.
Но только юноши своей стопою сильной
Румяный давят плод, чтоб брызгал из-под ног
G веселой песней в лад густой, тяжелый сок!
Ведь если хочешь ты вина от винограда,
Его давить стопой уверенною надо.
Едва вкусить вина успеют старики,
И снова ноги их проворны и легки,
И развеваются от пляски их седины.
Вот дева прилегла в тени лесной долины.
Приходит юноша. Он Вакхом покорен —
И недозволенной утехи ищет он.
Так радуйтесь дарам ликующего бога!
Где ж Дафна, дочь моя, и гордость, и подмога?
Для головы седой нет лучшего венца.
Пускай улыбкою украсит пир отца!

Каллиста

В веселье истинном есть общее с тоскою, —
Ведь мукою оно рождается людскою.
В писанье сказано: «Молитесь! Тяжкий грех
Вы совершаете, любя веселый смех.
Не подражай вдове, что, не грустя нимало,
На пиршестве поет, откинув покрывало».

Для Дафны божий пир готовится. Она
Из чаш языческих не станет пить вина.
О Гермий! Уж пора забыть и смех и пенье:
Ведь сроки близятся. Моли себе спасенья.

Гермий

Я не отгадчик тайн. Темны твои слова.
Понять их смертная бессильна голова.
Не задал бы и Сфинкс такой загадки странной,
И меньше б было им напущено тумана.
Быть может, демоны рассудок твой мутят,
Иль чары кто навел, или подсыпал яд?

Каллиста уходит.

СЦЕНА ПЯТАЯ

Гермий

Как женщинам легко вдруг обезуметь разом!
Кровь станет горькою — и помутился разум.
А если иногда богами им дано
Увидеть даже то, что смертному темно,
Зато они полны безумных беснований,
И гармоничных чувств у этих нет созданий.
То божий, говорят, недуг, но кто бы мог
Мне указать недуг, что людям шлет не бог?
От бога все — и власть девического взгляда,
И то, что женщина забыть стыдливость рада.
Девица юная смущается не раз,
Когда кормилица седая в поздний час
Оставит прялку: нить не смачивают губы
Размякшие, теперь слова им больше любы, —
Она ведет рассказ, как умер юный бог,
Как раною расцвел, алея, бледный бок,
Как мирры аромат над юношей струится...
И обожать его уже спешит девица.
Повествование все дальше полилось:
Как, в траурном плаще распущенных волос,

В слезах зовет его, целует Дионея,
Чтоб он скорей воскрес, на ложе розовея.
И каждый год, мужей смущая, принялись
Все жены причитать, что умер Адонис.
И сотрясают медь, и по лесистым склонам
Расходятся они с протяжным, долгим стоном.
Другие ждут Христа средь сумрака могил...
А я б таких богов бесславных не любил.
Их запятнала смерть. Им слезы наши нужны.
Но радость свойственна богам. Вкусим же дружно
И вина черные и яства за столом.

К нему подходит один из рабов.

Раб! гиацинтовым увей меня венком,
Масла сирийские поставь на стол из клена.
О Зевс и Зевса сын, Лиэй * наш благосклонный!
Вам чаша первая, — ведь вы растите плод.
Затем пускай вино мне в чашу потечет:
Оно для стариков полно и силы новой,
И мыслей молодых, и образов былого.
Кто много повидал, тем память так нужна.
В Гадесе мертвецам уже не пить вина.
Я ракушку хочу испробовать морскую.
А ракушки всего сочней, тебе скажу я,
Когда луне, дитя, выходит новый срок,
И высоко в эфир вонзится тонкий рог.
Диана ведь равна богам, отцам вселенной,
И многому тебя научит лик нетленный.
Спеши, дитя, узнать в беседах стариков
Про тайны вечные созвездий и лесов,
И моря синего, и гор, и легкой тучи...
Все, что услышишь ты, запоминай получше.
И будет спориться твой ежедневный труд,
И за него тебе любовью воздадут.
Но направляется, смотри, в наш дом избранный
Какой-то путник. Здесь он будет гость желанный.
Богами послан он. Беги, дитя, к нему,
Проси доставить честь жилищу моему.
Скажи, что ждет вино его в жилище этом.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Гермий, Гиппий.

Гиппий

Приветствую тебя, отец, тройным приветом!

Гермий

Привет, Лакона сын, мой Гиппий! Вижу знак,
Что бог по-прежнему ко мне остался благ, —
Ведь будто бы во сне, счастливым и здоровым
Опять явился ты под дружественным кровом,
Когда мне дряхлый взор уж застилает тень.
Мы белым камешком отметим этот день*.
Лакона сын! Тебя за трапезою нашей
Ждет из плюща венок, серебряная чаша,
Солонка древняя, и мясо, и плоды,
И вина черные. Пусть голода следы
Исчезнут — и тогда расскажешь, друг сердечный,
Как ныне здравствует отец твой безупречный.

Гиппий

Трудясь над лозами, не забывает он
Тебя. Но стал он слаб.

Гермий

Ну, что ж, таков закон.
Теперь отца в тебе я узнаю, как будто
Воскресла юности далекая минута.
Такое же чело, и так же рост высок!
Лишь над губой его зазолотел пушок,
Как старцы на совет уже его просили.
Мог полный козий мех поднять он без усилий,—
Да, были некогда выносливей, поверь,
И посильней отцы, чем дети их теперь.
Поистине, отец твой счастлив. В жизни много
Хорошего, — и все от радостного бога:
Ребенку весело — он смехом залился;
Горячий юноша тенистые леса
Вообразил, и в них уже он деву встретил;
Старик согнулся весь, но звездный хор так светел,

Так выйти хорошо бывает за порог,
Так сладостен бесед медлительный поток...
И в радостные дни и в горькие минуты
Всегда за нить судьбы хватайся за одну ты.
Кто к недоступному стремиться любит, тот
Всего лишь хочет жить, но, право, не живет.
Так будем жить, пустых желаний избегая!

Г и п п и й

Но, вечно грудь мою желаньем наполняя,
Мной завладела дочь прекрасная твоя,
И ложа страстного хочу изведать я.
Я дочери твоей готов отдать всю душу.
Я в дальних странствиях видал моря и сушу,
Неаполь и Тибур, и много городов,
И арки Цезаря, и тень его садов,
И тута ягоды в кустах отяжелелых,
И ветви, красные от яблок переспелых,
Видал я злак долин и лоз румяный плод,
Что солнечный бальзам на горном склоне пьет:
Ведь лозы любят край, где Зевс царит дождливый,
Где папоротник лишь взрастает сиротливый.
Я с земледельцами беседу заводил.
Но день казался мне и долог и немил:
Любил я дальнюю. И ночи мрак спокойный
Мне губы опалял, как лихорадкой знойной.
Все Дафну видел я, и плечи, и власы...
О жаркие мечты, о смутные часы,
О ты, крылатый бог, Эрот, цветущий властно
На девственных щеках и на груди прекрасной
Людскою мукою — улыбкою людской!
Когда священный Зевс высоко над землей
Сиял — ты не забыл, о Гермий? — отчим словом
Ты дочь свою со мной связал под древним кровом.
Я девичьим мечтам стал дорог с этих дней.
Ты обещал мне дочь — и я пришел за ней.
Корабль мой ждет уже прекраснейшую гостью:
Отделан для нее покой слоновой костью,
И чаш немало там, восточных покрывал,
И с благовоньями ониксовый фиал,
И золотой убор, и бронзовые ванны, —

Все, что приносят в дар супруге долгожданной.
Когда же с нею в путь отправимся вдвоем,
Послушной зеленью мы весла обовьем,
И гордо поплывет, над бурным морем рея,
Гирляндами цветов увенчанная рея!

Гермий

Да, вижу, в выборе я оказался прав,
Тебя, любимый гость, для дочери избрав.
Ведь ты и добр, и мудр на слове и на деле,
И твердо помнишь ты, что*о* предки нам велели.
Что ж, если будешь ты и в жизни так хорош,
С отцом достойнейшим во всем ты будешь схож.
А Дафна, дочь моя, справляется умело
С трудом, положенным для женщины несмелой,
Из тех, что в тишине, под строгим полотном
Цветут и думают о муже лишь одном.
Всегда хорош союз достойного с достойной, —
Недаром же с лозой мы вяз венчаем стройный,
И к крепости вина бывает сладкий мед
Примешан. Но не раз напрасная влечет
Надежда, и в сетях неумолимых рока
Приходится тогда бороться нам жестоко.
Нет, лучше прямо я раскрою свой намек,
Чтобы не умножать смущенья и тревог!
Мечты безумные над дочерью нависли,
Больным дыханием ей помутили мысли.
Она бежит от глаз отцовских с этих пор,
Мне больше красотой не утоляя взор.
Молчит, и прячется, и плачет, — и похоже,
Что, бедную, ее недуг постигнул божий.
Каким-то демоном она покорена, —
То галилейский бог, его рука видна.
А этот мертвый бог, что властвует над нею,
Враждебен и любви и песням Гименея.
Не любит жизни он, ни пищи, ни вина,
И плоть бесплодная мила ему одна.
Есть женщина, — она ей повторяет вечно,
Что лучший из богов тот бог бесчеловечный.
Велением богов, пришлось недолго знать
Нам Пифию, твою достойнейшую мать, —

Зато их доброта явилась над другою —
Равно и глупою и старою каргою!
Но старику без сна сидеть не надлежит.
Пускай отрадный сон мне веки освежит.
Уж Веспер, ясный бог, для всех влюбленных милый,
Ты видишь, на закат склонил свое светило,
В жилье моем и ты вкушай спокойный сон.
Здесь тесным портиком ты будешь защищен
От сырости ночной. Большой косматой кожей
Льва нумидийского себе покроешь ложе.
То гостя Либика Циртейского мне дар.
Как Дафна родилась, в тот самый год товар
Привез он к эллинам — груз кости и коралла, —
Взяв шерсти за него и наших вин немало.

Гиппий

Ничто спокойного не потревожит сна, —
Ведь Дафна поклялась, что будет мне верна.

Гермий

Спокойно спи, мой сын. Пусть во врата из рога
Мечты беспечные к тебе летят от бога.
(Он уходит его внутреннюю дверь.)

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Гиппий

На ложе дружеском смежил я взор, а мне
Все чудится, что я качаюсь на волне,
Все слышу весел плеск, что бьет по влаге плотной,
И в жалобе ветров поющие полотна;
Мне видятся моря, и синий край земли,
И баснословные чудовища вдали.
Мечта прекрасная, смущая беспрестанно,
Встает над кораблем, как будто из тумана,
И то с дельфинами затеет легкий пляс,
То выйдет на песок, — и вот зацвел сейчас
Под ней песок, она ж вдали уже маячит...
Вот что моя любовь и власть Эрота значит!

Зачем же старику поверю? Что бы мог
Против меня иметь тот галилейский бог?
И в долгожданный час, мой час золотокрылый,
Зачем ему лишать меня супруги милой?
Я богу юному не сделал ничего, —
Не трогал алтаря, ни самого его,
Не посылал жрецам суровым оскорблений
И не подглядывал таинственных молений
И черной трапезы среди ночных могил.
Его не знаю я. За что бы он казнил?
Но Дафна, вся в слезах, тоскует молчаливо, —
А в юном существе страданье нечестиво:
Подвластна красота Киприде лишь одной.
Однако вдвое нам дороже друг больной.
А может, я — виной той безысходной муке
И Дафна думает, что нет конца разлуке,
Забыв, что боги нас любовно охранят.
Когда исполним мы положенный обряд,
Обычай древности, завещанный отцами,
То боги сжалятся над чистыми сердцами.
Быть может, только я предстану перед ней,
И распрямится лук прекраснейших бровей,
И засмеется взор. О Зевса день лучистый,
Мне первым покажи невесты облик чистый.
О Артемида, будь ко мне добра! И ты,
Златовенчанная, храни мои мечты!

(Он засыпает.)

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Артемида и Афродита. Музыка.

Артемида

Нет, никогда по темным кущам
Не осветит уж бледный рог
Между шиповником цветущим
Мне серебро проворных ног.

Афродита

Я лучше волн — движеньем тела
И взора светлой глубиной,

Но не взойти богине белой
На берег некогда родной.

А р т е м и д а

И ум, и грацию движений,
И мощь, и древнюю красу
Для цвета юных поколений
Уж больше я не принесу.

А ф р о д и т а

Была я любящих царицей,
Но недоступно им сейчас
Покоем чистым насладиться
В их неизбежный страстный час.

А р т е м и д а

Над девой, нежной и прекрасной,
Все будет реять божий гнев, —
Ей скажут, что греху подвластно
С рожденья сердце чистых дев.

А ф р о д и т а

Оставят женщины прикрасы,
И будут ласки их горьки.
Бегут потомки пришлой расы
От них в пустынные пески.

А р т е м и д а

О юноша с душою чистой,
С челом, что лотоса нежней,
Укройся в пене серебристой,
Сверкни плечами меж зыбей!

А ф р о д и т а

За мною! В сердце, мной согретом,
Уж пламя страсти разожглось.
Летим! Что делать в мире этом
Бесплодной гибели и слез?

А р т е м и д а

В лазури, ясной и веселой,
Бессмертен будь, подобно нам.

Летим! Моей одежды полы
Уж прилегли к твоим ногам.

А ф р о д и т а

Летим же! Дай тебя густою
Своей вуалью обовью.
Одену вечной красотою
Я душу чистую твою.

Они целуют его, делают ему знак следовать за ними и исчезают в воздухе.

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ

Г и п п и й *(спит)*. Д а ф н а.

Д а ф н а
(вошла через внутреннюю дверь)

Наутро, скрыв лицо и повязавши пояс
В обитель дальнюю навеки я укроюсь,
У старца с пастырской священною клюкой,
И в грудь холодную Христос прольет покой.
От жизни заживо похищена я, боже,
Но попрощаюсь с тем, что мне всего дороже.
Всех сон заворожил, всесильный чародей.
Трепещущей рукой я в тайне от людей
На буксовый засов нажала торопливо,
Девичью комнату оставила пугливо.
Прощайте, небеса, земля и лес! И ты,
Наш милый, старый дом, где некогда цветы
Венчали головы при пении и смехе!
О дверь, открытая прохожим без помехи,
И ты, из дерева лимонного Гермес,
Храните робкий шаг, пока он не исчез.
Покой, где славили, смеясь, мое рожденье,
И столб у очага, хранящий измеренья
Отца, счастливого отметить каждый год
Зарубкой новою, как дочь его растет!
Ты, пол сверкающий и в праздник надушенный,
Где часто-часто я с головкой наклоненной
За пленником моим, лазоревым жуком,

Подолгу ползала, взнуздав его шнурком,
Где ивовые я переплетала ветки
И для кузнечика устраивала клетки.
Светильня чуткая, прости в последний раз!
(Открывает наружную дверь.)
Не просыпайтесь, псы, ведь я любила вас.
Носила воду вам, кормила пирогами, —
Не лайте же, вскочив и зло сверкнув зубами,
Звеня ошейником, не будоражьте мрак,
Когда, привычный вам, прошелестит мой шаг.
Хочу я далеко, за водяною мглою,
Наслушаться листвы, шумящей над скалою.
И в благосклонной тьме стыдливою стопой,
Развеяв волосы, душистою тропой
Туда хочу бежать сквозь миртовые стены,
Где нимфы властвуют над влагою священной.
Наслушаться хочу я у прохладных вод,
Как флейта тростника тоскует и поет.
У падуба найду и холмик мой укромный, —
Его омыла ночь своей прохладой темной.
Нет, я схожу с ума! Напрасно я зову
К себе ручей родной, любимую листву!

Г и п п и й
(просыпаясь)

Ты, Артемида! Ты, в златом венце царица!
Чей голос там дрожит, тоскует и томится?
Для ваших голосов он эхом быть бы мог.
Луна свой бледный свет бросает на порог, —
И вижу наяву: плывет подруга мимо
Бесшумным призраком, но он живой, любимый.
То не бесплотная и зыбкая мечта.
Нет, то она сама, в ней нега разлита!
(Он подымается и протягивает руки.)
О Дафна, милая! Настал мой миг счастливый!
Услышь, любимая, любви моей призывы.
Нас боги добрые соединят опять.
Я жажду, я томлюсь, твой взор хочу впивать!
Тебя сам бог послал под этим небом звездным.
Конец, любимая, всем испытаньям грозным,
Разлуке и трудам-разлучникам конец!

На брачный наш союз согласен твой отец.
Но, Дафна, ты меня не слушаешь нимало!
Каким-то ужасом любовь твою сковало.
Не покидай меня, не бойся, говори!
Ты узнаешь меня? Я — Гиппий, — посмотри!

Дафна
(про себя)

Небесный ангел, спрячь, укрой под сенью крылий!
Жестоко требовать еще таких усилий.
Он здесь, передо мной, — а мне нельзя взглянуть!
Хочу под портиком укрыться где-нибудь.
Как в комнату к себе пройти, его минуя?

Гиппий

Благоуханная, с тоской тебя молю я,
Послушай, отвечай, — ведь это я, твой друг!
Поговорим с тобой, сплетем объятья рук.

Д а ф н а

Мне преграждаешь путь, пришлец, ты слишком смело!

Г и п п и й

Лицо мое в морях от солнца почернело, —
Но давние друзья, коль судьбы их сведут,
По верным признакам друг друга узнают.
Поверь своим глазам, не бойся их обмана, —
В них Зевса ясный свет сияет первозданно!
Поверь ушам своим! Мольбы мои для них —
Как неустанный звон подвесок золотых.
Послушай, что шепнет сердечка добрый демон, —
Ведь силой дивною ум одаряет всем он.
Я — Гиппий твой. К тебе летит душа моя!

Дафна

Пришлец, уйди же прочь. Тебя не знаю я.

Г и п п и й

О, что сказала ты? Не бог ли то могучий,
Окутавший тебя своей густою тучей,

Так сильно ослепить тебе рассудок мог, —
За то, что ты вино и на меду пирог
Забыла дать ему и вовлекла в обиду
Гермеса иль морей владычицу Киприду?
Иль, может, черную Гекату? * Ведь всегда ж
Им любо побеждать рассудок гордый наш.
Но время быстрое нам возвращает разум, —
Так к рассудительным прислушайся рассказам.

Д а ф н а

Я слушать не должна твоих речей, пришлец!

Гиппий

О Гермиева дочь, от девичьих сердец
Мы ждем лишь памяти короткой и небрежной.
Так будет речь моя подобна руте нежной.
Припомни, как любовь прекрасно началась,
Я стал в дверях, тебя увидев в первый раз,
Свой отсвет золотой бросали иммортели.
Держала ты иглу. Глаза твои блестели
От удивления. Я оробел. И вот —
Ты говоришь: «Пускай, кормилица, войдет
Желанный гость!» И я, глубокой полон дрожи,
Узнал тогда любовь. И над тобою тоже
Эротов маленьких кружился легкий рой,
Ведя над персями свой хоровод живой.
И стала ты краснеть и опускать ресницы,
И из искусных рук веретену свалиться
Тогда пришлось не раз на старую скамью,
В пурпурный час, когда пернатую семью
Уже манит гнездо под балкой закопченной:
Ведь я рассказывал про путь мой отдаленный,
Где странник каждый миг к опасностям готов,
Про дива всякие, про нравы городов...
А после жаркие томили нас желанья,
И, меда сладостней, текли любви признанья.
На нас и твой отец был любоваться рад.
Затем — твой тихий плач, разлука, мой возврат
И клятвы новые твои. Про их усладу б
Мог рассказать ручей и нимфа, мирт и падуб!

Д а ф н а

Молчи!

Гиппий

Но дрожи ты не в силах побороть!
Ах, Дафна, в этом ты — вся кровь твоя и плоть.
Уже не можешь ты унять свой трепет страстный.
Приди! Так хочет бог. Гони свой страх напрасный.
Любовь есть жизнь. Люби!

Д а ф н а

Молчи! Меня уж нет.

Гиппий

Зачем же прозвучал так страшно твой ответ?
Язык твой ужасом божественным напитан, —
О тайне, над тобой нависшей, говорит он.
Так отвечай же мне! О, что за темный рок
В душе взволнованной родить тревогу мог?
Пред звездами, пред их владычицей Селеной
Я пал к твоим ногам — и деве вожделенной
Объятия с мольбой протягиваю вслед.
Ты обещала ведь! И не откажешь, нет,
Мне, дева? Отказать просящему могло лишь
Одно б безумие. Ужели обездолишь?
Хочу твои стопы и руки целовать,
И волосы, — и ты целуй меня опять!

Д а ф н а

Не трогай! Уходи, я так боюсь расплаты.

Гиппий

Как ждал я слов любви! Их не произнесла ты!

Д а ф н а

Беги! Скорей беги!

Гиппий

Прильну к твоим ногам.

Д а ф н а

О горе, горе мне! О горе, горе нам!

Гиппий

Зачем же ужасом слова твои звучали?
На мертвенных щеках лежит печать печали.
О ненавистное молчанье! Что за страх,
Открой мне, плавает в расширенных зрачках?
Какое колдовство нависло над тобою?
Не зельем ли каким, костями и волшбою
Со щечек пухленьких румянец юный твой
Согнали, заменив печальной синевой?
Не выпила ли ты настой наговоренный,
Что стала мне чужой, как бы опустошенной!

Дафна

Не трогай рук моих.

Гиппий

Нет, это сделал бог:
Земля щадила бы любви своей цветок.
О Дафна, отвечай, кто этот бог ревнивый,
Что позавидовал любви моей счастливой?

Дафна

Беги. Люблю тебя!

Гиппий

Я это знал давно!
Ведь неизбежность нам всегда велит одно.
Она томит сердца божественной тоскою,
Бросая грудь на грудь железною рукою.

Дафна

Я падаю без сил.

Гиппий

Так покорись судьбе!
Ведь это прелести еще придаст тебе.
В бессилье красотой себя ты превзошла бы.
Будь слабою, дитя, — все любящие слабы.

Дафна

Беги!

Гиппий

Нет, ни за что! Останусь, — подожду,
Чтоб ты открыла мне всю тайную беду.

Д а ф н а

Чего ж мне стоило, о жрец под митрой белой,
Чтоб только мать моя в болезнях не скорбела!

Гиппий

Пусть тайну страшную раскроет твой ответ.

Д а ф н а

О сети цепкие, о смертный мой обет!

Гиппий

Что за обет? О, как все стало вдруг уныло!

Д а ф н а

Прощай! ЖИВИ! А я себя похоронила.

Гиппий

Молчи и под землей Гермеса не тревожь.

Д а ф н а

Пастух божественный, ты, Иисус, ведешь
К живому роднику покорных агнцев стадо,—
Какой пустынею идти с тобою надо!
По морю вечности плывешь ты, Иисус, —
На волны горькие взгляни, где я несусь!

Гиппий

Кто этот Иисус — скажи мне, дорогая!

Д а ф н а

Он — тот, из-за кого теряю жениха я.

Гиппий

Как? Вырвал он тебя из этих страстных рук?

Д а ф н а

Я отдана ему, и это мой супруг.

Гиппий

Скажи, как жить должна жена его земная?

Д а ф н а

Как малое дитя, земной любви не зная.

Гиппий

Я не искал тебя, о галилейский бог!
Ты призраком возник среди моих дорог.
Ты угрожаешь мне десницею кровавой.
Так знай, нечистый царь презреннейшей державы —
Душою помрачен, я имя чтил твое,
Не верил я тому — и лишь из-за нее, —
В чем старцы мудрые тебя винят все разом,
О чем нам говорят пророчества и разум.
Я думал, тем богам, Христос, подобен ты,
Что благостно глядят с эфирной высоты.
Но я узнал тебя, злой демон: ты завистлив!
Враг человеческий, нас погубить замыслив,
Ты злым видением тревожишь праздник наш,
И скоро ты весь мир стенаниям предашь.
Ты — беззаконья бог, всех чарами неволишь
И хладной силою, пригодной для того лишь,
Чтоб стыли девушки в объятиях у нас.
Ты — бог всезнающий? Тем лучше! Ты сейчас
Возрадуешься, бог, я сам тебя здесь кличу,
Я жду тебя, иди, бери свою добычу!
Бог смерти, где же ты? Убей меня! Ну что ж!
Но знай: пока я жив, ее ты не возьмешь.

Д а ф н а

О Гиппий, замолчи! Ты, в гневе нечестивом,
Лишь мукам обречешь себя таким порывом.
Ведь Иисуса ты не знаешь. Ты не прав.
Он распят был за нас, той смертью смерть поправ.
И сам он моего не просит посвященья,
Мне гибель суждена, но гибель во спасенье.
Мать за меня дала создателю обет
И думает, что мне блаженства выше нет.
Не мед она дала, а только горечь яда...

Гиппий

Нет, боги любят нас, и жертвы им не надо
Безумной матери, когда не хочет мать
Дочь непорочную избраннику отдать.
О небожители, вам это неугодно,
Когда желает мать, чтоб дочь была бесплодна,
Без дома, без семьи, без мужа, без детей,
Чтобы посмешищем была для всех людей;
Чтоб только землю нам святую тяготила,
Где властвует любви живительная сила;
Чтоб — как в Аиде тень, желаний лишена —
В мертвящей пустоте всегда влеклась она.
И эта девушка — прекраснее найди ты! —
Цветет божественно дарами Афродиты, —
Уже знакома ей любовная мечта,
Уже бывала грудь желаньем поднята.
Ведь то краса земли, то Дафна! Неужели
До старости ей быть бесплодною велели?
Но этим замыслом пришел конец теперь.
Верь, девушка, богам и поцелую верь!
(Целует ее.)

Дафна

Увы, о странный бред, о головокруженье!
Нет сладостней и нет смертельней опьяненья.
Твой поцелуй струит мне прямо в сердце яд.
Такой безумный яд и зелья не струят.

Гиппий

От мужа поцелуй — знак страсти неизменной!

Дафна

Страшись! — Для смертного должна я быть священной!
Сама себя страшусь. Ведь мной владеет бог.
Люблю тебя. Люблю! Уйди ж, не будь жесток!

Гиппий

Любить, как я люблю, бессмертному дано ли?
Я полон, как и ты, невыносимой боли.

Не страждет от любви, не умирает бог,
И божий поцелуй лишь убивать бы мог.
Подруга, ни на что не захочу менять я
Вот эти скорбные и страстные объятья!
Мне мига не вкусить такого в небесах,
Когда ты клонишься на грудь мою в слезах,
Без сил!

Д а ф н а

О дух святой, не попусти, слабею!
В сень голубиных крыл укрой меня скорее.

Гиппий

Как сладко, видишь ты!

Д а ф н а

Любовь меня влечет.

Гиппий

И покорись любви. Так повелел Эрот.

Д а ф н а

Я больше не могу. Я духом ослабела.
О, я твоя, твоя! Бери же, Гиппий, смело
И уноси меня! Не медли, недвижим.
Я всюду за тобой последую. Бежим!
Бросай через седло. Пусть скачет кобылица!
Твоим дыханием дай на скаку упиться.
Ты хочешь — я сама взнуздаю скакуна?
Не медли же. Бежим к той бухте, где видна
Волною мерною колеблемая рея.
Не побоюсь уплыть на зыбком корабле я.
Там гимном свадебным нам зазвучат, мой друг,
Лишь песня моряков да весел дружный стук.
Под вечным роем звезд корабль неудержимый
Нас понесет с тобой все дальше, мой любимый.
Одна надежда ты и вера мне одна.
Я буду лишь тобой, одним тобой полна.
Приди! — Но что со мной? Безумна речь такая!
Что за бесстыдный бред! Совсем с ума сошла я!

Гиппий

Любить избранника — какой же это бред?
И в страсти к жениху бесстыдства, дева, нет!
Да, в море поскорей! Оно волной покорной,
Прекрасной, как любовь, такой же плодотворной,
Нас тихо вынесет, когда наступит срок,
На благовоньями курящийся порог.
С твоим отцом я жду, о Дафна, разговора.

Дафна

О милый мой отец, одна моя опора!
Ведь ты — глава семьи, ты кроток, — и вдвоем
Мы старые твои колени обоймем.
Нет, это сон, а мы — безумные созданья!
Нет, горе лишь сильней от разочарованья.
А мать в судьбе моей сама уж не вольна,
И беззакония не совершит она.

Гиппий

Но не бесчувственна ведь и Каллиста даже,
Ведь женским молоком питалась и она же!
То боги, боги лишь жестокие одни
С таким спокойствием глядят на скорбь: они
Не знают жалости, рожденной из страданий...
Но видано ль когда среди земных созданий,
Чтоб попусту дитя свою молило мать
Ему вторично жизнь для счастья даровать?
Мы. в ноги кинемся. И, тронута слезами,
Мать, смертная, как мы, не устоит пред нами.
Не может быть глухой она к таким мольбам,
Согласьем наконец она ответит нам.

СЦЕНА ДЕСЯТАЯ

Дафна, Гиппий, Каллиста.

Каллиста входит со светильником в руке.
Дафна прячет голову на груди у Гиппия.

Каллиста

Что тут за шум? Какой бесстыдный оскорбитель
Мог дерзко осквернить невинную обитель?

Как гнусный поцелуй, как непотребный крик
В своем неистовстве за стены к нам проник
И в чистом воздухе посеял смерть и тленье?
Ужели, пьяный гость, замыслил нападенье
Ты на одну из тех, кто в полуденный зной
И в темноте ночей туда идет за мной,
Где за живой стеной град высится небесный?
Не на служанку ли ты кинулся бесчестно?
Но слишком ясно мне, здесь двое говорят,
И ваши голоса звучат позорно в лад.
О боже, у меня, под этой крышей, разве
Уж не противятся разврата жгучей язве?
И христианкой бес так завладел ужель,
Что броситься спешит та в первую постель?
Но, кто б ты ни была, скорее на колени!
Тобой владеет дух нечистых вожделений,
В вечерней тишине твой распаленный зов —
Как похотливый лай для всех нечистых псов,
И лишь удар ремня шестидесятикратный
Способен усмирить теперь твой нрав развратный.

Гиппий

Величьем старости ты вся озарена,
Но гневу скорому ты слишком предана!
Под этой кровлею я был плющом увенчан.
На ложе друга я не звал распутных женщин.
Твой богомольный гость не оскорблял святынь,
Да здесь и не было ноги твоих рабынь.
Моя душа полна одною честной думой.
Взгляни на дочь свою, на чистый лик, подумай —
Ведь ею я любим! Люблю ее!

К а л л и с т а

О, страх
Зловещим облаком встал у меня в глазах.
То христианка ли, то дочь ли предо мною?
И смерти не стяжал он этою виною?
Рука язычника в твою посмела лечь!
О, где же ты, Христос, где твой разящий меч?
Взгляни на дерзкого и покарай грозою:
Ведь он же завладел твоей, господь, лозою!

Дафна

Но знай, что мне не жить на свете без него.

Каллиста

Он нечестивое и злое существо.
Прочь, святотатец, прочь! Оставь очаг мой верный
II дочь не отравляй, наглец, своею скверной.
Ты от стыда лицо ладонями закрой
И наугад ищи полуночной порой
Ночлега по себе в гостинице зазорной.
Спеши, чтоб не бежать под розгою проворной.

Гиппий

Бес ярости в твоей бесчинствует груди!
Ты брыжжешь пеною, но только погоди:
Я, женщина, пришел сюда с главой подъятой, —
Ты прогнала и честь, когда гнала меня ты!
И гостя гневными нападками задев,
Ты оскорбила с ним и величавых дев:
Невинность, Веру, Мир, святое Благочестье,
Законы правые с собой готов увесть я.
И душу дочери ты можешь упустить!
Меня же Зевс вернет — с победой, может быть.

Дафна

Мой Гиппий!

Гиппий

Дафна!

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ

Дафна, Каллиста.

Каллиста

Пол я вымою на месте,
Где он ступал ногой, наш мирный дом бесчестя.
Я знаю, что тебя всевышний защитил,
Когда дыханье зла уже лишало сил.

Пред искушеньем пост — спасительные латы,
А имя господа — жестокий меч расплаты.
Так упадем же ниц! Бунтующую плоть
Молитвой слезною старайся побороть!
Так будем ожидать с тоской и божьим страхом,
Чтоб пролил кровь свою Христос над жалким прахом.
Еще один лишь день, — спасительный ковчег
Через развратный наш и скверны полный век
Тебя перенесет (знак божьего избранья!),
Не запятнав тебе души и одеянья.
Я сына божия почуяла приход.
Пришельца каждая могила узнает
И разверзается. Цеп ангельский проворен —
Солому легкую он отделит от зерен.
Взгремела на весь мир небесная труба.
Беги за мною! Жизнь порочна и груба.
Ты видишь — Судия воссел на красной туче.

Дафна

Я умираю, мать, оставь меня, не мучай!
Вот на глаза мои густой ложится мрак.
Дай тихо умереть, обняв родной очаг.

Каллиста

Я помолюсь о нас, облекшись власяницей.

СЦЕНА ДВЕНАДЦАТАЯ

Дафна, затем кормилица.

Дафна

Харита, где же ты? Нам надо торопиться!
Ты знаешь Гиппия, кормилица? Так вот —
Послушай, а не то ведь смерть моя придет.
Ты добрая, не дай мне умереть в печали!
Недавно Гиппия отсюда прочь изгнали.
Он вряд ли далеко — ведь он же любит так!
Сандалий кожаных тяжел печальный шаг.
Харита милая, не упускай мгновений,
Поторопи стопы, забудь о прежней лени!

Беги, спеши, ищи в цветах у родника,
Найди его следы средь зыбкого песка,
Скажи, к нему приду я с первыми звездами,
К тем соснам траурным, нависшим парусами
Над усыпальницей, где из железа дверь.
Нам дорог каждый миг. Не медли же теперь!

К о р м и л и ц а

Бегу, мое дитя, хоть, право, не пристало,
Чтоб по таким делам кормилица бежала.
Не больно хорошо, — но я люблю тебя,
А ведь чего-чего не сделаешь любя!

Д а ф н а

Беги ж! Со жребием мы совладать не можем,
Но ложе смертное мне будет брачным ложем.

Занавес

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Полю Бурже *

Ночь. Тенистая широкая дорога. У дороги — гробница, наполовину скрытая среди сосен. Видна внутренность гробницы, погребальный покой. В стенных нишах — урны с прахом. Вдоль стены — мраморная скамья, посредине — алтарь.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

К о л д у н ь я

Вот и конец пути — стена гробницы той,
Сквозь сосны черные луною залитой.
А дверь железная молчанием одета, —
Ни звуков, ни шагов, ни потайного света.
Но девушка близка и скоро будет тут.
Меня за знахарство и ищут и зовут.
Мне пальцы старые омыло слез немало,
Немало свежих уст морщины целовало!
Влюбленным я нужна. У этих дряхлых ног
В моленьях не один влюбленный изнемог.
И нет по городам большим и малым этим
Служанки, чтоб Меня не называла детям.

Музыка.

Все это так, — а вот живу всегда бедно,
И в лапах голода мне биться суждено...
Но отдых и покой не подобают бедным.
Могилы в серебре под этим светом бледным, —
Начнем же поиски. Нужна для колдовства
Телами мертвецов взращенная трава.

СЦЕНА ВТОРАЯ

Колдунья, епископ Феогнид в сопровождении диакона и верующих, которые поют хором.

Хор верующих

Благословенны те, господь,
Кто за тебя прияли муки
И пыткам отдавая плоть,
К тебе протягивали руки.

Они бежали суеты.
А мы томимся в ожиданье.
Что ж не возносишь к небу ты
И нас в пурпурном одеянье?

Феогнид
(колдунье)

Так, значит, вот мы с кем пересеклись путями!
К могилам праведных молиться вместе с нами
Идешь ты, женщина, не правда ли, скажи?

Колдунья

Тебе отвечу я без трепета и лжи.
Я — только женщина, брожу по свету нищей.
Чтоб ночью обогреть убогое жилище,
Я хворост собирать под соснами должна.

Феогнид

К нам, женщина, иди, когда ты голодна!
«Блаженны нищие, — Христос поведал. — Аще
Ты был богат, то жди себе смолы кипящей».
Вот золото, бери! И в милостыне той
Да славится отец, и сын, и дух святой!

Хор верующих

Господь, блаженство лишь одно
Желанно для твоих созданий:
Укрась одежды полотно
Нам алой розою страданий!

Епископ и хор удаляются.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Колдунья

Меня ты не смиришь, подарком подкупая!
Все ненавистно мне — весь мир, земля скупая,
Беспечный человек, и звери, и цветы.
Я чту лишь зло и смерть среди земной тщеты.
Себе ногтями здесь я выкопала корни.

Слышна песня.

Красавица идти должна бы попроворней.
Меня еще богач о помощи просил, —
Чтоб в тело старое влила я новых сил.
Он ждет, — и чтобы все свершить как можно лучше,
Под платьем волчью шерсть несу и зуб гадючий.
А вот и деточка! Червонец тут как тут.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Колдунья, Дафна, кормилица.

Дафна

(кормилице)

Останься здесь и жди!

Кормилица

Не упускай минут, —
Послушай, дитятко, послушай, цветик милый,
На нехороший путь ты, право же, вступила!

Дафна

(колдунье)

Я за обещанным к тебе сюда пришла.

Колдунья

Я для друзей скора на всякие дела.

Дафна

Бери же и давай!

Колдунья

(дает склянку и получает золотой)

Червонец полновесный.
Как кудри у тебя светлы и как прелестны!

И если милый твой к тебе, дитя, жесток,
То с головы его дай только волосок, —
И вот на твой порог, под властью волхованья,
Он понесет цветы, и слезы, и лобзанья.
(Уходит.)

К о р м и л и ц а
Что, Дафна, шамкала старуха без зубов?
С такими будь всегда к опасностям готов!

Д а ф н а
Открой же двери. Лень твоя невыносима!
Да увеличь огонь лампады негасимой.
Молчи и слушайся!

К о р м и л и ц а
Неладно, что теперь
Открыли ночью мы гробницы этой дверь.
Нельзя молчать и нам, рабам, когда мы правы.

Д а ф н а
Поставь же чаши ты, и яства, и приправы
Здесь на привычный наш, домашний наш алтарь,
Где жертвы щедрые мы приносили встарь.

К о р м и л и ц а
Я в старческих летах веду себя, как дети!

Д а ф н а
Теперь уйди, оставь лишь соль и хлебы эти.
Сама смешаю здесь я черное вино.

К о р м и л и ц а
Покорствуя тебе, скажу я все ж одно:
Подальше от могил, где псы лишь воют рыща,
Иди-ка, дочка, спать в уютное жилище!

СЦЕНА ПЯТАЯ

Д а ф н а
Ни бога не хочу, ни друга обмануть.
Однако слабая затрепетала грудь,

Когда глядела я в тот черный колумбарий.
Мне вдруг почудилось — и там летали в паре,
Милуясь, призраки могильных голубей,
Не позабыв любовь иных, счастливых дней.
Они хоть знали жизнь — и хорошо их праху!
Какому странному подвержена я страху!
Над головой моей скользит за тенью тень.
О, только б жить, дышать, увидеть ясный день!
Напрасные мечты. Пора, пора, — а то ведь
Для друга... для себя мне чаш не приготовить.
В чеканный кубок я налью себе вина.
Вот дева спящая здесь изображена
С амурами, что прочь лететь готовы дружно.
(Открывает склянку колдуньи.)
Теперь я в кубок свой волью того, что нужно.

СЦЕНА ШЕСТАЯ

Дафна, Гиппий.

Гиппий
(на дороге)

Вам, звезды, мой привет! Там, слева, из дупла
Ворона древняя мне голос подала.

Музыка.

О боги правые, не дайте злому сбыться!
Вот сосны черные, вот и сама гробница.

Дафна
(не видя его)

Мой Гиппий, небеса уж ночью залиты.
Нам дорог каждый миг, — ужель не знаешь ты?
Ты медлишь, Гиппий мой. Томлюсь я ожидая.
Ко мне, на грудь мою! Сюда!

Гиппий
(в *дверях гробницы)*

О дорогая!
Беглянка чистая! О Дафна, ты мой рок.

О, поступь тайная твоих прекрасных ног!
Пусть боги долгими вознаградят годами
Старуху, что пришла к ручью между цветами.
Ты вовсе не дитя, кому вся жизнь игра,
В груди твоей душа надежна и храбра.
Иди же без тревог, доверчиво за мною, —
И будет муж тебе опорой и стеною.

Дафна

На мраморной скамье со мною вместе сядь.
И, что грядущее ни стало б замышлять
(Изменчива судьба, надежду подавая),
Не разлучимся мы, пока еще жива я.
Надежда краткая цветет и меж людьми.
Прильни ко мне тесней и за руки возьми, —
И будут общие у нас и кров и ложе.
И я отдам тебе уста... и душу тоже.
Ты веки мне закрыть, мой милый, будь готов.

Музыка.

Гиппий

Последний, Дафна, час в руках одних богов.
О часе нынешнем подумай — и в дорогу!
Спеши, а то придут. Ты слышишь там тревогу?

СЦЕНА СЕДЬМАЯ

Дафна, Гиппий в гробнице. Феогнид и хор верующих опять проходят по дороге.

Хор верующих

Они бежали суеты,
А мы томимся в ожиданье, —
Что ж не возносишь к небу ты
И нас в пурпурном одеянье?

Феогнид
(диакону из хора)

Уже могучий сон всем голову склонил,
Но странно светится одна среди могил.

То виноградарей старинная гробница.
Ужель там колдовство или разбой творится!
Скорей же побеги разведать, Дионис,
Под черную сосну, под этот старый тис
Иди, мой сын! Для нас всегда важны известья
Про черные дела обмана и нечестья.
(Он проходит дальше.)

Диакон Дионис подкрадывается к могиле виноградарей и видит Гиппия и Дафну, сам оставаясь незамеченным. Он нагоняет епископа, ушедшего с хором.
Снова слышится пение верующих.

Д а ф н а

То песня христиан, и звуки те должны
Подняться до святых, что кровью крещены.
Где ж мучеников сонм парит такой порою?

Гиппий

Ко мне, любимая! Плащом тебя закрою.

Д а ф н а

Помедли, Гиппий мой, и не страшись беды,
Я принесла сюда и яства и плоды.
В священной комнате и чаши нам налиты.
Скорей же, Гиппий мой, за стол садись накрытый.
Наш брачный пир готов, и нас, мой милый, тут
И с тонким горлышком кувшин, и вазы ждут,
И чаши, и венки, и соль, и благовонья,
Здесь с лилией сплела и хрупкий анемон я.
Для дедовских теней должны с тобой мы так,
Священным пиршеством, отпраздновать наш брак.
Уже увенчана я гиацинтом томным,
Фиалкой бледною с благоуханьем скромными
Ты благовония расставь везде вокруг.
Теперь себе чело укрась цветами, друг.
Вино смешала я с водой, — бери же чашу!

Гиппий

На праздник голову я розами украшу
Среди пустых могил и в темноте ночной...
Все сделать я готов, — повелевай же мной!
И сам я думаю, что это справедливо —

Сперва воздать богам за наш союз счастливый:
Вот — Гере, что властна в супружеской судьбе,
Охотнице, морской Киприде и тебе,
Эрот, под звездами сияющий лучисто!
Храните для меня, во имя страсти чистой,
Жену, не снявшую девичьих покрывал.

Д а ф н а

Я тоже к небесам хочу поднять фиал.
Ты горькой чаши сам страшился под оливой,
О боже, — посмотри, душа моя пуглива.
Отведать страшно мне напиток налитой,
Устами не коснусь до чаши золотой.

Гиппий

Пей, но и для меня оставь ты половину,
А с ней — дыханья вкус, девически невинный.

Д а ф н а

Я черное вино из чаши пить должна!
Я так хочу! Смотри, уже в руках она.

Гиппий

Так пей, любимая! Так пей за свадьбу нашу.

Д а ф н а

Свершилось! Испила я свадебную чашу.
Так пусть уж более не служит на пиру,
Для бога, чуждого тебе, ее беру.
Нет, на коврах из роз, среди улыбок нежных
Мне не дано узнать о ласках безмятежных.
Удел мой — всем нутром, всей кровью полюбя,
Носить на сердце смерть и всю отдать себя.
Как свет очей твоих томителен и сладок!
Как волосы блестят! Как лоб высокий гладок!
Любимый Гиппий мой, твоих коснулся щек,
Как утренняя мгла, чуть золотой пушок.

Гиппий

От уст твоих летят невидимые пчелы,
И радуется слух на лепет их веселый.
И страсть священная твою вздымает грудь —
Цветок, что лепестки готов уж развернуть.

Д а ф н а

Мой Гиппий, сладостно в лице твоем и стане
Мне узнавать черты геройских изваяний.

Г и п п и й

И руки у тебя, прекрасны и нежны,
Из складчатых одежд ко мне устремлены.

Д а ф н а

А грудь отважная как у тебя прекрасна.

Г и п п и й

В божественных чертах твой дух сияет ясный.

Д а ф н а

Дай обниму тебя!

Г и п п и й

Прижмись к моей груди!

Д а ф н а

О нежность!

Г и п п и й

О огонь желанья!

Д а ф н а

О, приди,
Сожми в объятиях, чтоб не могла без бою
Завистливая смерть нас разлучить с тобою.
Не в лодке плавает по вечерам Харон, —
На черной лошади повсюду рыщет он.
Плодов и молока от друга никогда я
Не получу, одна среди теней блуждая.
Ведь там я окажусь с толпою христиан,
И нам не примирить навеки наших ман *.

Г и п п и й

Не оставайся же в безрадостной их вере, —
Могуществу любви покорны даже звери.

Д а ф н а

Нам снова будет жизнь дарована Христом,
Как древние отцы поведали о том.

Мужчина ты — тебе и размышлять пытливо,
Я — только женщина и верю молчаливо,
Христос — всех мертвых бог, его ты славословь,
Жизнь коротка, увы, но без конца любовь.

Гиппий

Ну, улыбнись, уста не оскверняй напрасно:
То имя с юностью не зазвучит согласно.
Не искушай судьбы. Лишь жизни и любви
Божественный дан смысл. Люби же и живи!

Д а ф н а

Нет, это ты живи, и дольше, Гиппий милый.
Но только вспоминай, что я тебе открыла
(Ведь понимание дает любовь одна!),
Как жизнь при свете дня прекрасна и ясна.
Завету моему внимай, супруг желанный:
Когда в могильный мрак, где рыщут лишь орланы,
Сокроется мой стан, что был тебе так мил,
Оставив только тень без плоти и без сил, —
О христианке той не забывай в разлуке,
Что отдала тебе доверчивые руки.
Не в легкомыслии к тебе она влеклась.
Бывает и в семье раздумий тихий час
(Ведь через твой порог переступив, другая
Там сядет, где могла сидеть у очага я), —
И под вечер, когда жены искрится смех,
На мшистую скамью уйдешь ты ото всех, —
И встану над землей я тенью тиховейной,
И, уст не протянув тебе прелюбодейно,
Я лишь прильну к тебе летучим ветерком.
Мы с мертвыми всегда в общении таком:
Они в листве шумят, они в ветрах разлиты...
Я буду приходить — меня лишь позови ты.

Г и п п и й

Есть милой речи дар в твоих устах. Летит
Сквозь зубки, — чудное изделие Харит, —
Твой лепет ласковый, что муза вдохновила.
Но в мир, запретный нам, к чему глядеть уныло?
Зачем же песню слез мы в пиршество вплели?
И юность, и любовь — вся красота земли

Нам улыбается, но плачешь ты пугливо...
За летом легких Ор последуй торопливо,
Ведь мысли радостью очистить нам пора.
Землей ты вскормлена, дитя. Она добра.
Все в мире хорошо. Ведь ты моя, со мною.
Пускай же жизнь течет, и, с каждою весною
Вкушая новые судьбы своей дары,
Не тронь грядущего сомнительной поры.

Дафна

Как в полдень на ручей ходить была б я рада!

Гиппий

Подруга, в дальний путь уже пускаться надо.
Вот звезды, посмотри, бледнеют. Дорога
Минута каждая. Спешим на берега,
Чтоб видел старый Главк уже на зорьке ранней
Отплытье лучшего из всех земных созданий.
Спешим! Уходит ночь, чудесных тайн полна.

Дафна, бледная, встает и шатается.

Но, Дафна, что с тобой, ты клонишься, бледна!
Какая Ламия * украдкою бросала
Фиалки бледные на этот лоб усталый?
От сводов каменных струится смерть и тлен.
На воздух поскорей, — уйдем из этих стен!

СЦЕНА ВОСЬМАЯ

Дафна, Гиппий, Феогнид, Каллиста, Гермий, рабыни с факелами.

Феогнид

(Гиппию и Дафне, выходящим из усыпальницы)

Не бойтесь, дети, я — Христовых тайн служитель
И пастырь душ людских, как повелел спаситель.
Веду их по пути, что указал господь.
Внимайте же — и страх спешите побороть:
Тебя уже не ждет, дитя, обряд господен,
Цвет юности твоей Христу уж не угоден.
Кто аромат вдыхал, тот и сорвет цветок,
Который господу потребен быть не мог.

Так слушай: я вяжу, и я же разрешаю.
О Гермиева дочь, тебе я возглашаю:
Обеты матери не встанут на пути,
И можешь во плоти супруга ты найти.
Супругу вышнему отныне неугодна,
Ты смертного люби без страха и свободно.
За свадебным столом сидел и сам Христос,
Чудесное вино и в Кане пролилось *.
Ты ж, сын языческий, ты, ложью ослепленный,
Бредущий по земле в какой-то дреме сонной,
Опомнись и внимай апостольским словам,
Чтоб ниспослал господь благословенье вам:
«Муж освятит жену, соединясь с женою, —
То посвящение пред церковью иною».
«Хотите вы вступить в союз? Да будет так!
Муж, вот твоя жена. Жена, вот муж твой. Брак
Отныне нерушим пред троицей единой —
Отца предвечного и царственного сына,
И духа светлого. И плоть едина будь!
За мужем следуй ты. А муж когда-нибудь
Жену свою вернет, не запятнавши, богу, —
Ведь чистое дитя он взял с собой в дорогу.
Меняйтесь кольцами в священный этот час,
Я возложеньем рук благословляю вас.

Гиппий

Святой отец, сам бог с тобою здесь! Но что я?
Ты сам, быть может, бог. О, счастие какое!

Г е р м и й

Да, их соединить пора уж наконец.
И верно, хорошо ты это сделал, жрец!
Пусть будет из быков заколот самый лучший;
С двенадцати столов вино струей текучей
Польется; пастухов с округи соберу
И виноградарей на свадебном пиру...

Д а ф н а

Готовьте же ваш пир, но только похоронный!
Из сети не уйти, создателем сплетенной.
О, как жестоко ты мне протянул, старик,
И жизнь и счастие в последний этот миг!

Г и п п и й

О Дафна милая, что шепчешь ты страдая?
В моей руке твоя совсем как ледяная!

Д а ф н а

Готовьте мирру вы и саван для меня!
Так ты подумал, друг, — тебе не изменя,
Я матери своей и богу изменила
И, полюбив тебя, осталась жить, мой милый?
Пришла я потому, что умереть должна,
И весь мой дар тебе — лишь смерть моя одна.
Про яды слышал ты, что варятся ночами
И фессалийскими настоены цветами?
Я в чаше бледного отведала питья,
И стынет кровь моя, и умираю я.

Г и п п и й

О горе, о тоска! Венок цветущий, падай!

Д а ф н а

Что я свершила, то свершилось. Так и надо.
Любви могущество по мне познайте вы,
Запомнив все, что здесь вы видели, увы!
Пускай же матерей моя отучит доля
Своих детей губить, на мрачный брак неволя.
Будь воля господа, все вышло бы не так.
Жизнь улыбалась мне. Меня манил очаг,
Где, нежности полна, но и сознанья силы,
Жена покорная, дитя бы я растила,
Чтобы его расцвет любовью овевать...
Вот и заря, друзья, и скоро день опять!
Так поспешим туда, где холм алеет низкий,
Где милый мой родник бьет из-под тамариска.
Но ночь ко мне идет, все мраком осеня, —
Скорее, мой супруг, снеси ты сам меня
На ложе, где бы я нарядная лежала.
Сам на меня набрось ты мертвых покрывало.
Прощай, отец, вы все! Живи, любимый мой!

Гермий

Она мертва. Дитя, прощусь навек с тобой.
Убийца ты — жена. Бог с буйной дернул силой, —

И ты уж удила, все в пене, закусила.
И потому-то вот без чувства, без ума
Меня, и дом, и дочь сгубила ты сама.
Да, человек жесток, богами одержимый!
Бежать, свои сады, Элладу, дом родимый,
Твой лоб запятнанный — все кинуть навсегда!
Цветок мой, дочь моя! Ох, горе мне, беда!

Каллиста

А сердце матери — как на копье подъято.
О боже, просвети, когда я виновата,
И накажи меня. Но нет моей вины,
И все дела мои к тебе устремлены,
Во славу господа и людям во спасенье.
Ведь милости твоей я чую дуновенье.
Мой драгоценный дар тебе — слеза моя.
Из глубины скорбей тебя восславлю я,
Твоею мудростью ниспосланную муку.
Ты взял дитя, — твою благословляю руку!

Феогнид

Ты только рвением была ослеплена.
Но в сердце вера есть. Тебя спасет она.
Кладите мертвую лицом к заре востока!

Гиппий

Назад, она моя! Я с ней уйду далеко,
Покину вместе с ней опустошенный свет,
Где больше ни любви, ни красоты уж нет.
Пусть богу мертвецов все на земле подвластно, —
Уйду туда, где жизнь, где свет сияет ясный.
И сосен и дубов нарубит мой топор,
Чтоб для обоих нас один пылал костер.
И в этом пламени и в ярком этом свете
Мы в амиантовой, единой крепкой сети
Покинем мир земной, что мне уже постыл, —
И возлетим к богам, в священный хор светил.

Музыка. Занавес медленно падает, в то время как Гиппий уносит Дафну и восходит на холм в глубине сцены.

Конец

ИОКАСТА

Перевод *А. А. Худадовой*
под редакцией *Е. А. Гунста*

I

— Как, неужели вы кладете лягушек в карманы, господин Лонгмар? Вот гадость!

— Дома, мадемуазель, я распластываю лягушку на дощечке, вскрываю ее и тоненьким пинцетом раздражаю брыжейку.

— Вот ужас! Ведь лягушке больно!

— Летом больно, зимой не очень. Если брыжейка воспалена из-за старых повреждений, боль становится такой острой, что сердце останавливается.

— Чего же ради вы истязаете бедненьких лягушек?

— Ради создания экспериментальной теории боли. Я докажу, что стоики * сами не знают, о чем говорят, и что Зенон * был олухом. Вы не знакомы с Зеноном? И не знакомьтесь. Он отрицал ощущение. А ощущение — это все. Вы получите ясное и полное представление о стоиках, если я скажу вам, что они были скучны, глупы и только прикидывались, будто презирают боль. Полежал бы такой проповедничек, как лягушка, под моим пинцетом, тогда увидел бы, можно ли подавить боль одним усилием воли. Впрочем, способность испытывать боль в высшей степени полезна для животных.

— Да вы шутите! Зачем нужна боль?

— Боль необходима, мадемуазель. Она оберегает каждое живое существо. Если бы мы, например, обжи-

гаясь, не испытывали нестерпимой боли, то так, незаметно, и сгорели бы дотла.

И, взглянув на девушку, Лонгмар добавил:

— К тому же страдание прекрасно. Рише * сказал: «Связь между умственным развитием и болью так тесна, что существами, наиболее развитыми умственно, являются именно те, которые способны страдать сильнее других».

— И вы, разумеется, считаете, что способны страдать сильнее всех на свете. Попросила бы я вас поведать мне о своих страданиях, да боюсь быть нескромной.

— Я уже сказал вам, мадемуазель: Зенон был дураком. Я кричал бы, если б очень страдал. А вы впечатлительны, вместо нервов у вас чувствительные струны; страданья превратят вас в звучный инструмент с клавиатурой в восемь октав и сыграют на ней, когда им вздумается, замысловатые и сложные вариации.

— Попросту сказать, я буду очень несчастлива? Вот противный! Никогда не знаешь, всерьез вы говорите или шутите. А мысли у вас такие мудреные, что, хоть я плохо их понимаю, и то голова идет кругом. Послушайте, раз в жизни будьте умником, если можете, и отвечайте толком. Неужели вы нас действительно покидаете и отправляетесь в дальние края?

— Да, мадемуазель, покидаю. Навеки прощаюсь с госпиталем Валь де Грас *. Не прописывать мне там больше микстурок. Я сам просил откомандировать меня временно в Кохинхину *. В данном случае, как, впрочем, и всегда, я принял это решение после зрелых размышлений. Вы улыбаетесь? Считаете меня ветреным. Но выслушайте мои доводы. Во-первых, я отделаюсь от привратниц, служанок, хозяек гостиниц, коридорных, старьевщиков и прочих ярых врагов моего домашнего благополучия. Больше не увижу, как ухмыляются официанты. Вы не замечали, мадемуазель, что у всех официантов, как на подбор, великолепная черепная коробка? Вот — плодотворнейшее наблюдение... Но не стоит сейчас развивать теории, которые оно подсказывает. Больше не увижу я бульвара Сен-Мишель.

В Шанхае я найду богатый материал по остеологии * и допишу статью о строении зубов у представителей желтой расы. И, наконец, я утрачу румянец, свидетельствующий, по вашим словам, о крепком до неприличия здоровье, и стану смахивать на выжатый лимон, а это куда поэтичнее. В печени у меня произойдут сложные изменения, которые живо возбудят мою любознательность. Согласитесь, ради всего этого стоит отправиться в далекие края.

Так говорил в саду, окружавшем загородный дом, Рене Лонгмар, младший военный врач. Перед домом зеленела лужайка с маленьким прудом посредине и искусственным гротом в дальнем конце, с иудиным деревом и с кустами остролиста вдоль ограды; за оградой раскинулась живописная равнина, по которой бежала Сена, слева извивавшаяся в светло-зеленых берегах, а справа перечеркнутая белой полоской моста и пропадавшая в том необъятном нагромождении крыш, колоколен и куполов, имя которому — Париж. Свет, падавший в мглистой дали на золоченый купол Дворца Инвалидов, преломлялся снопом лучей. То был синий и знойный июльский день; кое-где в небе застыли белые облака.

Девушка, сидевшая в железном садовом кресле и говорившая с Лонгмаром, примолкла, вскинула на него большие ясные глаза, и нерешительная грустная улыбка тронула ее губы.

Неуловим был цвет ее глаз, глядевших робко и до того томно, что все личико, озаренное ими, приобретало какое-то странное, чувственное выражение; нос у нее был прямой, а щеки чуточку впалые. Женщинам не нравилась ее матовая бледность, и они говорили: «У этой барышни совсем нет красок в лице». Рот был великоват, очерчен мягко, а это — признак врожденной доброты и простосердечия.

Рене Лонгмар сделал над собой усилие и снова принялся за свои несносные шутки:

— Ну уж так и быть, признаюсь вам. Я покидаю Францию, чтобы избавиться от своего сапожника. Просто не выношу его грубого немецкого акцента.

Она еще раз спросила, неужели он действительно уезжает. И Рене ответил, сразу став серьезным:

— Поезд отходит завтра в семь пятьдесят пять утра. Двадцать шестого в Тулоне я сажусь на борт «Маджента».

В доме застучали биллиардные шары, и чей-то голос, несомненно южанина, с важностью провозгласил:

— Семь против четырнадцати.

Лонгмар взглянул на игроков, видневшихся за стеклянной дверью, нахмурил брови, неожиданно попрощался с девушкой и быстро зашагал к калитке; он сразу изменился в лице, и на глазах у него выступили слезы.

Таким и увидела Лонгмара девушка, когда его профиль мелькнул над кустами остролиста, за железной оградой. Она вскочила, бросилась к ограде, прижала платок к губам, словно заглушая крик, но вдруг решилась, протянула руки и позвала сдавленным голосом:

— Рене!

И бессильно уронила руки: было слишком поздно, он не услышал.

Она прильнула лбом к железной решетке. Лицо ее мгновенно осунулось, и вся она поникла — все в ней говорило о непоправимой утрате.

Из дома послышался тот же голос — голос южанина:

— Елена! Мадеры!

Это звал дочь г-н Феллер де Сизак. Выпрямившись во весь свой маленький рост, он стоял у доски с железными прутьями — игроки нанизывали на них деревянные колечки, отмечая очки. Он натирал мелом кончик кия, и поза его была весьма картинна. Глаза его искрились из-под чащи бровей. Вид у него был хвастливый и самодовольный, хотя партию он блистательно проиграл.

— Господин Хэвиленд, — обратился он к гостю, — мне хочется, чтобы моя дочь сама попотчевала нас мадерой. Что поделаешь! Человек я патриархальный, ветхозаветный. Думаю, что вы, как подобает островитянину, тонкий знаток всех вин вообще и мадеры в частности. Отведайте-ка моей, прошу.

Господин Хэвиленд посмотрел на Елену тусклыми глазами и молча взял рюмку, которую она принесла на лакированном подносе. То был долговязый, длиннозубый, длинноногий, рыжий и плешивый господин в клетчатом костюме. Он не расставался с биноклем, висевшим у него через плечо.

Елена тревожно взглянула на отца и вышла. Казалось, ей было не по себе от его многословия и неумеренной любезности. Она велела передать, что ей нездоровится, и просила извинить, что не выйдет к обеду.

В столовой, размалеванной под стать бульварной кофейне, сам г-н Феллер де Сизак с шумом наливал, резал, раскладывал по тарелкам. «А вот и лопатка для рыбы!» — возглашал он, хотя лопатка была у него под рукой. Он пробовал лезвие ножа с важностью ярмарочного фокусника и засовывал салфетку за вырез жилета. Он расхваливал свои вина и долго говорил о сухом сиракузском, прежде чем его раскупорили.

За столом, угрюмо и язвительно усмехаясь, прислуживал садовник, крестьянин из пригорода, нанятый на весь год. Он отпускал по адресу хозяина довольно дерзкие замечания, которых г-н Феллер как будто и не слышал.

Господин Хэвиленд, лицо которого было испещрено багровыми прожилками, много ел, наливался кровью, пребывал в меланхолии и молчал. А г-н Феллер де Сизак, хотя и заявил, что о делах говорить не время, почти тотчас же пустился рассказывать, чем он сейчас занимается. Он был поверенным по всевозможным делам — его клиентуру составляли домовладельцы и торговцы, у которых отчуждена была недвижимость. У него появилось немало работы в связи с перепланировкой улиц и бульваров, предпринятой г-ном Османом *.

Очевидно, он и на самом деле неплохо нажился за короткий срок, ибо прежде (об этом он умалчивал) его встречали в районе улицы Рамбюто * в стоптанных сапогах, с папкой под мышкой. Там, где-то на задворках, в темной конторе, ему изредка случалось принимать клиентов — колбасников, попавших в беду. В этой сырой конуре лицо его стало бледным и одутловатым, щеки обвисли.

Прежде на медной дощечке, привинченной к его двери, красовалась фамилия: «Феллер», а в скобках значилось: «де Сизак», как указание на место его рождения:

Феллер (де Сизак).

На новой дощечке, у входа в новое жилище, скобки заменила запятая:

Феллер, де Сизак.

На третьей дощечке, вывешенной после третьего переезда, запятая исчезла и ничто ее не заменило:

Феллер де Сизак.

Теперь у дверей поверенного вообще нет дощечки; он снимает в городе квартиру, украшенную зеркалами, во втором этаже дома на Новой Полевой улице, а в Медоне построил себе дачу. Г-н Феллер — уроженец Сизака, что в Кантальском департаменте, близ Сен-Мамэ-ла-Сальвета; там и поныне его брат держит мельницу.

Как только г-н Феллер де Сизак проведал, что собираются сносить строения в районе Мельничного Холма и расширять улицы возле театра Французской комедии, он тотчас же разослал карточки, проспекты, извещения, а вслед за этим и сам стал посещать домовладельцев и видных коммерсантов, дома которых были предназначены на снос. Делая, как он выражался, «обход», г-н Феллер де Сизак наведался и в отель «Мэрис», к г-ну Хэвиленду, владельцу большого дома, стоявшего у начала Мельничного Холма, близ самого театра. Дом этот принадлежал роду Хэвилендов почти два века.

В 1789 году банкир Джои Хэвиленд основал там контору. Он предоставил крупные средства в распоряжение герцога Орлеанского *, которого считал несомненным преемником Людовика XVI, полагая, что французы ограничатся конституционной монархией. Но ни события в своем безудержном ходе, ни слабовольный герцог не поддержали замыслов дерзновенного банкира. Он переметнулся на сторону двора и стал поддерживать контрреволюцию. При посредничестве

красавицы госпожи Эллиот * он повел тайные переговоры с королевой *. В день десятого августа, когда королевская власть пала окончательно *, он бежал в Англию, но не потерял связей с герцогом Брауншвейгским * и королевским домом. Его кассир Дэвид Эварт, старик восьмидесяти одного года, пожелал остаться в Париже и защищать интересы торгового дома Хэвиленд. Вида на жительство он не добился и, попав из-за этого в разряд подозрительных, был арестован и препровожден в Консьержери *. Четыре с лишним месяца о нем, казалось, и не вспоминали. Наконец 1 термидора * 1794 года он предстал перед революционным трибуналом, был приговорен, как заговорщик, к смертной казни и в тот же день гильотинирован у Тронной заставы, названной тогда заставой Низвергнутой.

Настойчивость и преданность старика спасли банк Хэвиленда от разорения. Но в доме на Мельничном Холме конторы больше не было. Его сдавали в наем.

Дом этот, предназначенный на слом, давно уже почернел от копоти и грязи. Над окнами фасада сохранился орнамент в стиле Людовика XV. На среднем камне арки сводчатых ворот все так же строил героическую гримасу воин в каске, но ныне с одного бока он был выкрашен в синий, с другого — в желтый цвет, потому что приютился между вывесками красильщика и слесаря. Справа и слева от ворот и в проходе за ними висели дощечки с фамилиями переписчиков и театральных портных. Парадная каменная лестница с чудесными коваными перилами была осквернена пылью, плевками и салатными листьями. Над ней стоял едкий щелочной запах. На лестничных площадках слышался детский крик, а через полуотворенные двери квартир видны были женщины в капотах и мужчины в жилетах — так небрежно бывают одеты или усталые труженики, или бездельники.

Таков был дом Хэвиленда, доживавший свои последние дни.

Господин Феллер де Сизак, взявшийся охранять интересы Хэвиленда, осмотрел его владение. Он установил, что длина дома равна тридцати метрам по фасаду,

что в нем есть две лавки с кладовыми, а также тридцать одно помещение, занятое различными мастерскими, да еще сарай, где торговка овощами держала тележку, и мансарда, где строчила на машинке швея. Все это было упомянуто в докладной записке, дабы комиссия по возмещению убытка домовладельцам, назначенная городскими властями, могла определить стоимость владения. Если бы случилось, что дело перенесли в суд, г-н Феллер де Сизак выступил бы в качестве поверенного и защитника.

Господин Феллер де Сизак пригласил г-на Хэвиленда к обеду, сначала в свою парижскую квартиру, а затем на дачу, в Медон. Он потчевал у себя за столом всех клиентов, действуя так по расчету и из гостеприимства. За стаканом вина он умел войти в доверие к людям; за десертом бывал убедителен. К тому же он любил распить бутылочку-другую: пожить в свое удовольствие, как он говорил. В самую бедственную пору своей жизни он залпом выпивал стакан белого вина, закусывая жареными каштанами, за столиком, покрытым клеенкой в общем зале какого-нибудь кабачка. Тут же он давал советы лавочникам, попавшим в затруднительное положение. А теперь он принимал у себя; он обзавелся серебром и столовым бельем с вензелями.

Итак, Феллер де Сизак и Хэвиленд пили кофе. Косые багряные лучи заходящего солнца золотили столовую. Делец, бледные щеки которого еще больше обрюзгли, бросил на гостя проницательный взгляд и сказал:

— Отведайте коньячку, дорогой островитянин.

Он щеголял словом «островитянин». Затем он назвал Англию — Альбионом, однако извинился за такую романтичность.

Хэвиленд выпил коньяк и, попросив стакан вина, заметил:

— Надеюсь, недомогание мадемуазель Феллер не опасно.

Феллер тоже на это надеялся, и Хэвиленд снова погрузился в молчание.

Он поднялся с английской неповоротливостью, усугубленной ломотой в суставах, — у него отнимались ноги

из-за ревматических болей. Перекинув через руку желтое пальто, он вышел за садовую калитку и вдруг произнес:

— Имею честь просить у вас руки вашей дочери, мадемуазель Феллер.

Толстяк, очевидно, намеревался дать уклончивый, но бойкий ответ. Англичанин сунул ему в руки бумагу.

— Тут вы найдете точную опись моего состояния, — сказал он. — Ответ, пожалуйста, пришлите заказным письмом. Не провожайте. Не надо.

И он неуклюже зашагал к станции.

Обычно Феллера ничто не изумляло, но сейчас он был изумлен. Раз двенадцать он быстро обошел вокруг искусственного грота. Луна освещала его пухлые белые щеки — казалось, он надел маску, чтобы скрыть волнение. Он раздумывал: «Как же так? Бывает он у меня, как многие другие, как все. За год я принимаю человек двести незнакомых людей. Он все молчал, видел мою дочь раз шесть и вдруг — смотрите пожалуйста! — просит ее руки. Так, так... Впрочем... Неужели моя Елена ловко разыграла водевильчик?.. Да нет! Я не комедийный папаша, не какой-нибудь там Кассандр *. Я знаю, что творится у меня в доме, и уверен, что бедная моя девочка лишь раза два перемолвилась с ним словом. Боюсь даже, что она отнесется к этому не так, как должно...»

Он прикусил палец и остановился, вперив глаза в одну точку, будто измеряя возникшее перед ним препятствие. Затем решительным шагом двинулся к дому. В столовой он прочел бумагу, которую вручил ему Хэвиленд, а потом поднялся в комнату дочери. Положив сигару на розовую персидскую ткань, украшавшую каминную полку, он уселся, словно врач, у изголовья Елены. Он спросил:

— Ну, как мы себя чувствуем, малютка?

Она не отвечала; помолчав немного, он сказал:

— Сегодня вечером господин Хэвиленд весьма сердечно справлялся о твоем здоровье.

И, помедлив, добавил сочным голосом сытно пообедавшего человека:

— Нравится он тебе?

Он опять не получил ответа. Но свеча, горевшая на камине, осветила широко открытые, не мигающие глаза Елены, нахмуренный лоб, все ее лицо, выражавшее тягостное раздумье. Поэтому г-н Феллер предположил, что дочь знает о намерениях Хэвиленда, и, уже не остерегаясь, нанес внезапный удар. Он сказал:

— Господин Хэвиленд просит твоей руки.

Она ответила:

— Не хочу я выходить замуж. Мне и с тобой хорошо.

Тут он уселся на диванчик, уперся кулаками в колени, и из его горла, обожженного ликерами и умащенного сластями, вылетел хриплый вздох. Он напустил на себя обычный деловой вид.

— Что ж ты, дочурка, не спросишь, как я ему ответил?

— Ну, как ты ответил?

— Дитя мое, я не сказал ничего такого, что налагало бы на тебя какие-либо обязательства. Я решил предоставить тебе свободу. Я не считаю себя вправе навязывать тебе свою волю. Ты ведь знаешь, я не деспот.

Она облокотилась о подушку и сказала:

— Да, ты чудесный отец и не выдашь меня замуж насильно, против моего желанья.

Он сказал благодушным тоном:

— Повторяю, дочка, ты будешь свободна, как ветер, но почему бы нам не потолковать о наших делишках? Я тебе отец, я тебя люблю. И могу говорить с тобой о вещах, которые ты теперь поймешь — ведь ты уже взрослая. Так вот, поговорим же как двое друзей. Нам хорошо живется вдвоем; даже очень хорошо живется. Но у нас нет, что называется, прочного состояния. Я всего достиг своими трудами; но выбился я в люди слишком поздно, слишком поздно! Немало воды утечет, пока я сколочу тебе приданое. Да и кто знает, что нас ждет впереди? Тебе двадцать два года, и партией, которая сейчас тебе подвернулась, пренебрегать не стоит. Осмелюсь даже сказать — это просто находка. Конечно, Хэвиленд не молод. Видишь, дочурка, я ничего не приукрашиваю. Но он джентльмен, настоящий джентльмен. Он очень богат.

Смакуя последнее слово, он похлопал себя по карману, в котором лежала бумага, врученная ему англичанином. И, все больше воодушевляясь, продолжал:

— У Хэвиленда, черт бы его побрал, завидное состояние. У него — доходные дома, леса, фермы, акции — все, что угодно. Великолепно!

Елена поморщилась и передернула плечами. Феллер почувствовал, что был груб.

— Не подумай, дочурка, будто мне хочется выдать тебя замуж, как говорится, по расчету. Конечно, нет. Я тебя люблю и хочу, чтобы ты была счастлива.

Он и в самом деле любил дочь, в его голосе звучала отцовская нежность. Он продолжал:

— Бог свидетель, я хочу одного: чтобы ты была счастлива. Я-то знаю, что такое чувство, и, когда женился на твоей матери, не смотрел, есть ли у нее капиталец. Признаться тебе? Я человек мечтательный, чувствительный. Ах! В глубине души я романтик. Знаешь, чем бы я занимался, если б позволили обстоятельства? Писал бы стихи на лоне природы. Но не удалось мне это, я весь отдался делам. Теперь я увяз в них по горло. Эх, да что толковать! — в жизни не все сладко. Приходится многим жертвовать. Так вот, дочурка, моя мечта — уберечь тебя от тяжких жертв. Хочется мне избавить тебя от житейских невзгод и дрязг. Хватит и того, что твоя бедная мать исстрадалась от них и умерла в трудах... Понимаешь ли, умерла в трудах!

И г-н Феллер провел рукой по глазам. Он был искренно взволнован. На самом же деле его жена умерла от чахотки, у своей родни в Виоре, куда он ее отправил, рассчитывая, что одному легче пробиться; он был упоен, умилен собственными своими словами. Он обхватил руками голову дочери и, осыпая ее поцелуями, сказал в приливе нежных чувств:

— Послушай, Лили; я тебя хорошо знаю; ты создана для благоденствия, для роскоши. Это моя вина. Я был не в меру честолюбив. Находил, что все недостаточно хорошо, недостаточно красиво для тебя. Я воспитал тебя для богатства. Ни к хлопотам по хозяйству,

ни к расчетам ты не приучена. Если ты не будешь богата, то станешь самой несчастной женщиной на свете, и виновником твоего несчастья окажусь я. Какая ответственность лежит на твоем бедном отце! Я не перенес бы горя! Но вот оно, богатство, само стучится к нам в дверь. А ну-ка, отворим ему. Видишь, как я люблю, как обожаю свою дочурку. Я-то знаю, что тебе нужно: любовь не обманывает. Позволь же мне действовать!

Елена с безразличным видом спросила, намерен ли г-н Хэвиленд обосноваться в Париже.

— Да, разумеется! — воскликнул г-н Феллер, ровно ничего об этом не зная.

Он присовокупил, что его будущий зять держится превосходно, что он еще может вскружить голову любой молодой женщине. А сколько в нем чуткости!.. Г-н Феллер просто никогда не представлял себе, что на свете есть такие чуткие люди. Он сделал последнюю ставку: заговорил о собственном особняке, собственном выезде, о драгоценностях.

Елена раздумывала о том, что Рене Лонгмар уехал, уехал далеко и надолго, не сказав, любит ли, не сказав, жалеет ли о разлуке. Хоть бы словечко о том, что он вернется, что будет думать, вспоминать о ней. Так ничего и не сказал! Значит, не любит ее. Да он ничего не любит, кроме своих книг, склянок, скальпеля и пинцетов. Он замечал ее лишь потому, что она охотно его слушала; вот и все. Как всякой другой, как и многим, он и ей говорил уйму глупостей. А что, если он все-таки любит ее тайно, как ей не раз казалось? Ну что ж, она отомстит ему за бегство. И отец прав: она воспитана для богатства, у нее врожденная склонность к роскоши. Да и как устоять? Бороться так утомительно! Первый натиск уже надломил ее. А отец, пожалуй, возобновит атаку.

Елена принадлежала к тем людям, которые заранее примиряются с поражением. К тому же любовь этого иностранца ей льстила. Она угадала по некоторым признакам, сколько искренности и глубины в его любви; человек этот дожил одиноким до преклонных лет, четверть века блуждал по свету, так и не разогнав скуки, ко всем относился холодно, а в нее влюбился

как юноша и, после трех месяцев почти безмолвных посещений, предлагает ей свое имя и состояние, — ведь это необыкновенный, благородный человек, рыцарь, и разве нельзя его полюбить?

Она вскинула свою красивую головку и с каким-то неопределенным выражением прошептала:

— Посмотрим.

II

И в самом деле Елена Феллер была воспитана для богатства. Когда она думала о своем детстве, ей вспоминались дырявые чулки, озябшие ноги, тарелки с противными обрезками колбасы, стоянье в воротах, когда переезжали с квартиры на квартиру, и унылое лицо матери в зимние вечера. Ей вспоминалось, как мать то пела, то сердилась, то хлопотала, то как будто совсем лишалась сил — была и мученицей и мучительницей. Как-то они вдвоем ездили куда-то. Куда? Когда это было? Елена не помнила. Знала лишь одно, что была тогда маленькой. Дело было ночью; мать повернула ее лицом к стене и повелительно сказала: «Спи». Потом бедная женщина сняла с себя рубашку и выстирала ее в тазу. Елене показалось очень забавным, что мама накинула шаль на голое тело и стирает. Зато позже она пришла в ужас, когда догадалась, что мать делала так из-за нищеты.

В детстве Елена была любящим и впечатлительным существом. Она отзывалась на всякое понятное ей страданье. Она раздавала детям бедняков конфеты и лоскутки на кукольные платья. Жил у нее в клетке воробей, которого она пичкала сахаром. И вот однажды он ударился о дверь и разбился насмерть. Воробей был для нее неисчерпаемым источником радостей и печалей. «Праксо воздвигла надгробный памятник цикаде, ибо благодаря ей познала, что все смертно». Слова эти поэт «Антологии» * вкладывает в уста девочки-ионянки. Когда воробья не стало, Елену охватил ужас и долго, долго не покидал ее.

Ее мать, рано поблекшая от нужды, вечно ревновала мужа — разбитного краснобая, полунощника и мота;

бедняжка не знала ни умиротворенности, ни сердечного покоя, ни терпения, а все это необходимо матерям, чтобы искусно и успешно развивать детские души, погруженные в дрему. Не понимая, за что ее то целуют, то колотят, Елена перестала отличать свои хорошие поступки от дурных, и чувства ее притуплялись.

— Гадкая девчонка, ты сведешь меня в могилу, — ни с того ни с сего восклицала г-жа Феллер. — Уж не знаю, чем я прогневила господа бога, за что он послал мне такое чудовище!

Потом раздавались вопли, рыдания, — она сжимала кулаки, с грохотом хлопала дверями. Бедная девочка, чуть дыша, бесшумно, забивалась в свою кроватку и, заливаясь слезами, с тяжелым сердцем засыпала. А утром она пробуждалась под мелодию поцелуев, ласковых словечек, милых песенок, на которые не скупилась мамаша, осчастливленная накануне вечером запоздалыми знаками внимания г-на Феллера. Отца же своего Елена считала очень красивым, очень добрым, очень благородным. Ее восхищали его густые бакенбарды и белые жилеты. Г-н Феллер был для дочери богом, но, как подобает богам, показывался редко. Пропадал он целыми днями, возвращался поздно. Правда, случалось, что после каких-нибудь неудач он вдруг становился примерным семьянином; он отправлялся со своей Лили в зоологический сад, катал ее в экипаже, водил по кофейням, угощая подслащенной водой и даже сиропами. Больше того, папа давал ей пригубить из своего стакана, и она морщилась от горького вкуса абсента. Все это было восхитительно, но редко. И бог вновь исчезал. А г-жа Феллер, разумеется, не становилась от этого менее угрюмой, менее раздражительной. Елена, сидя рядом с ней на стульчике, с обожанием думала о своем папе, и ей мерещился чудесный белый жилет; она была ленива, и праздность ей нравилась. Да и праздность была для нее безопаснее. Г-жа Феллер не обращала внимания на дочку, когда та молча слонялась без всякого дела, но стоило зазвенеть детскому смеху, и она разражалась упреками.

У Елены рано развилось влечение к удовольствиям. У нее была врожденная любовь к роскоши, и она старалась, как могла, приукрасить убогую домашнюю жизнь. Ей нравились лакомства, наряды, и это радовало г-на Феллера, — он знал в них толк.

Ей было семь лет, когда он поместил ее в пансион в Отейле, к монахиням ордена Страстей господних. Белые одежды, белые лица монахинь, мирная обстановка, спокойный, размеренный уклад жизни — все это хорошо подействовало на нее.

Однажды ей сказали, что мать ее уехала путешествовать и больше никогда, никогда, не вернется. Слова «больше никогда» перепугали девочку: ее стали душить рыдания. На нее надели черную блузу и отпустили в сад. Сад этот казался ей огромной таинственной страной, зачарованным миром, землей чудес, где все было одухотворено.

Каждую неделю девочку навещал отец и приносил пирожные. Он был так обаятелен, он сиял от родительской любви и гордости.

Ходатай по делам, набивший руку на темных судебных кляузах, которому так надоело бесплодно бегать по улицам, в тревоге подниматься по лестницам, видеть, как у него перед самым носом захлопываются двери, писать прошения на краешке стола в кабаках, пачкаться во всякой грязи, подчас ловить клиента на танцульках в пригороде, за стаканом глинтвейна, появлялся каждый четверг в приемной у монахинь ордена Страстей господних вычищенный, вылощенный, свежевыбритый, в перчатках, в белоснежной рубашке. Вид у него бывал довольный, лицо отдохнувшее. Его бледные, одутловатые щеки были вполне приличны. Сестра Женевьева, начальница пансиона, уделяла ему много внимания. В дортуаре им грезили две пансионерки-старшеклассницы.

Елена восторгалась отцом.

И в самом деле, г-н Феллер был героичен на свой лад. Как-то, оставшись без гроша, он увидел на столе у одного из своих коллег томик стихов Альфреда де Мюссэ. «Хочется перечитать в сотый раз», — сказал он, беря книгу. И продал ее на набережной букинисту,

зато купил перчатки и на следующий день небрежно застегивал их перед монахиней-привратницей. Пирожные, которые он приносил Елене и ее приятельницам, покупались в лучших кондитерских, а конфеты были в изящных коробках с украшениями и сюрпризами. Однажды сестра Женевьева, питавшая к нему величайшее уважение, посоветовалась с ним о каком-то спорном деле. Не пожалев ни времени, ни сил, он предложил свои услуги. Их соблаговолили принять. Он сиял от счастья и гордости. Ему так хотелось нравиться, что он перевязывал голубыми ленточками докладные записки и елейным тоном обсуждал подробности тяжбы. Перелистывая бумаги перед высокочтимой настоятельницей, он скромно и как бы стыдливо слюнявил палец кончиком языка. Правда, каждая такая беседа была для него пыткой; но то были сладостные муки. Целыми часами он терпеливо слушал объяснения недалекой, недоверчивой, упрямой и учтивой монахини, которая по укоренившейся привычке тут же ловко уклонялась от всех доводов. Его очень смущала эта красивая, бледная, немного рыхлая женщина, которая всегда говорила тихим голосом, потупившись и спрятав руки в широкие рукава. Куда непринужденнее он держался с пригородными кабатчиками или с фабрикантами патентованных гигиенических поясов, — обычными своими клиентами, которые со страшной руганью швыряли на его конторку кипу судебных решений и вызовов в суд.

У настоятельницы были величественные манеры старорежимной аббатисы. Она ни разу не заподозрила, что г-н Феллер нуждается в деньгах, в этом тоже проявлялось ее аристократическое воспитание. Он постоянно ссужал общину деньгами, хотя из-за самой незначительной суммы ему приходилось идти на такие ухищрения, от которых помутился бы ум человека заурядного.

Зато с каким наслаждением он слушал по воскресеньям вечерню на хорах часовни, благоухавшей ирисом и ладаном, отыскивал глазами дочку, которая, склонив голову над молитвенником, сидела между племянницей государственного советника и кузиной

черногорского князя! Он долго любовался чудесными волосами своей девочки, ее чуть угловатыми, но изящными плечиками, обтянутыми коричневым шерстяным платьем, и, чувствуя, как туманятся стекла его очков, сморкался будто в театре после трогательной сцены.

Хлопоты по делам общины ввели его в расход, — зато он приобрел выгодные связи.

«Я — в моде», — думал он, и его жилеты, белые пикейные или бархатные — в узорах, мушках, крапинках — как-то по-новому, с важностью топорщились на его груди.

Елена росла, хорошела. Ее волосы, прежде бесцветные и тусклые, как у матери, теперь отливали золотом. Она была кроткой, ленивой, привередливой, быстро увлекалась и легко приходила в умиление. В трапезной трудно было уговорить ее съесть что-нибудь, кроме салата и хлеба с солью. У нее завязалась дружба с девочкой, у которой она стала проводить праздничные дни. Подруга эта, по имени Сесиль, дочь биржевого маклера, была шестнадцатилетняя девица низенького роста, ребячливая и в то же время взрослая не по летам, кокетливая, не очень злая, но и не добрая, отнюдь не испорченная — по недостатку воображения — и очень богатая. У нее был ум тридцатилетней пустенькой женщины, среди подруг это создавало ей славу исключительной натуры. Сесиль привозила Елену в дом своего отца, в Пасси, и в комнате, обитой шелком, они грызли конфеты. Елена нежилась в этом шелковом гнезде, и что-то в ее душе угасало. Когда она выходила оттуда, все ей казалось померкшим, грубым, отталкивающим. Она впадала в уныние. Она мечтала жить в голубой комнате, лежать на шезлонге и читать романы. У нее начались боли в желудке, которые в конце концов ее надломили. Однажды ночью в монастыре поднялся страшный переполох. Кто-то крикнул: «Пожар!» Все пансионерки вскочили с кроватей и — кто в нижней юбке, кто, накинув одеяло, — гурьбой скатились по лестницам. Позади всех бежали самые младшие и с воплями простирали руки, путаясь ножонками в длинных ночных рубашках. Оказалось, что никакого пожара нет. Сестра Женевьева отчитала «сумасшедших

девчонок», а Елену похвалила за то, что она осталась в постели. Действительно, Елена даже не шелохнулась из какой-то вялости, из страха перед трудностями жизни. Она предоставляла все ходу событий, была безразлична ко всему окружающему, мечтала о драгоценностях, туалетах, собственном выезде, об увеселительных прогулках на яхте и заливалась слезами при одной мысли об отце.

Выйдя из пансиона, Елена умела кланяться в гостиной и играть на фортепиано один-единственный вальс. К ее приезду отцовский дом был заново отделан. Она стала его хозяйкой. У нее была теперь голубая комната, — ее мечта осуществилась. Отец был добр, а щедростью своей напоминал какого-нибудь старика-покровителя. Он водил ее по театрам, после спектакля угощал ужином. Он думал, что поступает хорошо. Елена поняла, что отец, такой добрый, такой покладистый, — совсем не тот джентльмен, которого она видела в монастырской приемной, и это было для нее жестоким разочарованием. Ее коробили его манеры ярмарочного фокусника, трактирные любезности. В монастыре ордена Страстей господних она научилась держаться как подобает в свете; у нее появились аристократические вкусы и стремление во всем сохранять благопристойность.

Грубоватые, несдержанные комплименты, которые ей расточали приятели отца, приводили ее в негодование. Никто и не думал делать ей предложение. Она стала прихварывать, опять начались боли в желудке. Мужчины, которых она встречала у отца, наводили на нее скуку. Все они были похожи друг на друга. Все эти оголтелые дельцы вечно куда-то спешили, суетились, в лихорадочном нетерпении грызли ногти и не жалели ни своих лошадей, ни своих ног, ни жизни. Но вот, наконец, появился человек, который затронул ее сердце.

То был молодой военный врач Рене Лонгмар. Он пришел как-то к Феллеру де Сизаку по поручению своего отца, старого дорожного смотрителя в Арденнах, потом привык к дому на Новой Полевой улице и стал там частым гостем.

Лонгмара нельзя было назвать красивым, зато он был статен и румян; говорил он резко и туманно, но Елене нравилось его общество, она слушала его с удовольствием. Он высказывал такие мысли о религии и морали, что волосы вставали дыбом, но все это занимало ее, хотя и не очень было понятно.

— Человек происходит от обезьяны, — говорил он. Елена возмущалась, и тогда он полушутя, полусерьезно развивал это положение.

Лонгмар представил кое-кого из своих приятелей — так в доме милейшего г-на Феллера создался кружок молодых ученых, на которых, впрочем, хозяин не обращал никакого внимания.

Молодой военный врач высказывал мысли наподобие следующих:

Добродетель такой же продукт, как фосфор и купорос.

Героизм и святость зависят от прилива крови к мозгу.

Только общий паралич создает великих людей.

Боги — имена прилагательные.

Вещественный мир вечно существовал и будет существовать вечно.

— Фу, какой вздор, — говорила Елена.

Но она наслаждалась звуками молодого мужественного голоса, восхищалась, будто какой-то таинственной силой, непосредственностью этого вольнодумца, который по вечерам, потягивая после чая киршвассер, преподносил в дар ей, молоденькой девушке, свои познания, рассказывая вперемешку об удивительных, чудесных и страшных явлениях природы, словно было это данью дикаря, повергающего свои дары к стопам изумленной и польщенной королевы. А тем временем из дома доносились угрюмые голоса, — там толковали о неоплаченных векселях, о решениях коммерческого суда и об оценке строительных работ.

Но вот однажды появилась тень, молчаливо витавшая среди разношерстных гостей г-на Феллера — большая, прямая рыжая тень, и смешная, и благородная. То была неприкаянная душа Хэвиленда. Елена не смешивала его с другими; она находила, что в нем есть изысканность, душевная тонкость, и знала, что

он влюблен в нее, хотя он не перемолвился с ней ни словом.

Лонгмар же, вопреки всем своим научным дерзаниям, был простодушен; он боготворил Елену и восхищался ею втихомолку. Рассказывая о чем-нибудь, он точно щеголял грубыми выражениями, а обращаясь к ней, находил нежнейшие слова. В гостях у нее он всегда был весел — отчасти по свойству характера, а иногда мужественно принуждая себя к веселью, потому что любил ее, но не хотел признаваться ей в любви. Ведь в ожидании лучших времен он жил только на жалование и не сомневался, что мадемуазель Феллер очень богата.

Она вышучивала его, прикидываясь, будто считает его крайне легкомысленным, а может быть и хуже того, но понемногу все глубже привязывалась к нему, и длилось все это до того дня, когда он приехал в Медон и так неожиданно с ней простился.

III

Дом на Мельничном Холме рухнул: вдребезги разлетелся под ударами кирки тот лепной воин, у которого одна щека была выкрашена в синий цвет, а другая — в желтый. Исчез дом, а с ним и та каморка, где некогда был арестован старый кассир Дэвид Эварт, препровожденный оттуда в революционный трибунал, а потом — на гильотину. Некоторое время серая пыль взметалась тучей и крутилась на соседних улицах; люди и лошади вдыхали прах старого здания, и у них першило в горле. Теперь бывшие жильцы, а в их числе и слесарь с красильщиком, не нашли бы и того места, где стоял старый дом.

Владение Феллера де Сизака в Медоне порядком разрослось. Решетчатая ограда, стоявшая прежде довольно близко от дома, отодвинулась, прихватив соседний участок, на котором тотчас же был возведен маленький готический замок из кирпича, с башенками, зубчатыми стенами и бойницами. Вся усадьба именовалась «Виллой де Сизака». Но не успела еще высох-

нуть штукатурка, как в один прекрасный день на ограде появилась дощечка с объявлением, извещавшем о том, что дача, замок и службы продаются или же сдаются в наем.

Сменялись времена года, а объявление все раскачивалось на ветру. От дождя и солнца оно покоробилось и побурело.

Пришла осень, и скорбная тишина спустилась на медонские холмы. Вскоре немецкие солдаты в кожаных касках с ружьями на плече прошли по ним тяжеловесным шагом и расположились в заброшенной даче. Они топили печи навощенными паркетными брусками. Снаряд, залетевший сюда, разворотил крышу. Пришла тягостная зима. Во Францию вторгся враг *, Париж был осажден. В годину народного бедствия Феллер окончательно разорился.

Жестокий удар по конторе на Новой Полевой улице был нанесен еще раньше, когда премьер-министром был Шевандье де Вальдро, когда вышел в отставку префект департамента Сены * и прекратились работы по благоустройству города. Удача изменила Феллеру, и он изменил себе. Он перестал красить бакенбарды, ходил в нечищенных сюртуках и носил очки в черепаховой оправе. Он пытал счастья в игорных домах, бросал на карточный стол луидоры, которые ему изредка перепадали. С той поры, как дочь покинула его дом, его стали навещать рыжие накрашенные девицы, распевавшие на лестницах. Однажды его встретили в Фоли-Бержер под руку с двумя женщинами. В дни осады Парижа он вновь остепенился и основал общество страхования жизни под названием: «Феникс национальной гвардии». Но на общество это никто не обратил внимания.

Елена была замужем; целых четыре года она путешествовала; богатство и беззаботная жизнь пришлись ей по вкусу. Она была стройна, хороша собой, одевалась изысканно; величавая небрежность придавала ей что-то аристократическое, и ею восхищались во всех отелях и казино. Она старалась полюбить мужа. Но

Хэвиленд, при своей честности и высоком благородстве, был невыносимо скучен. Он на все смотрел, все слушал, обо всем говорил и все делал с одинаковой серьезностью. Для него не существовали вещи важные или неважные, а только вещи достойные внимания. Подарив жене бриллианты, он в простоте душевной мучил ее часа два из-за каких-нибудь трех франков, в которых она не могла дать отчета. В его щедрости не было размаха; от его расточительности отдавало скупостью. Он допрашивал молодую жену о всех ее тратах — не для того, чтобы их сократить, а чтобы упорядочить. Он позволял ей сорить деньгами, но при одном условии — что она все будет записывать. Треть его жизни проходила в том, что он считал сантимы с лакеями в отелях. С непреодолимым упорством он добивался, чтобы его не обворовали ни на один грош: ради этого он готов был разориться.

Впрочем, он вычислял все — расстояния, с точностью до метра, долготы, широты, высоты, барометрическое давление, градусы термометра, направление ветра, положение облаков. В Неаполе он определил объем могильного холма Вергилия.

У него была мания все приводить в порядок; он, например, видеть не мог, когда на диване оставляли развернутую газету. Он донимал Елену тем, что раз двадцать в день приносил ей то книгу, то вышивание, лежавшие не на месте. И она вспоминала отца, который забывал окурки на подлокотниках кресел, обитых шелковым штофом. Впрочем, все это были пустяки. Больше всего мучило Елену то, что ей пришлось жить вместе с человеком, который был совершенно лишен воображения. Оно было до того чуждо Хэвиленду, что он не в силах был описать какое-нибудь чувство или занимательно передать какую-нибудь мысль. С той поры, как они поженились, он открывал рот лишь для того, чтобы сообщить какой-нибудь точный, явный, неопровержимый факт. Он, и в этом нет сомнения, был влюблен, был счастлив, что обладает Еленой, но любовь его была подобна мелкому осеннему дождю, который сыплет неслышно, неприметно, моросит непрестанно, пронизывает, леденит.

Хэвиленд держал слугу, который дважды объехал с ним вокруг света. Они были неразлучны. Слуга, француз, по фамилии Грульт, был еще довольно молод, когда Хэвиленд встретился с ним в Авранше. Красотой Грульт не отличался. У него были прямые огненно-рыжие волосы и бегающие зеленые глаза; он хромал. Зато он отличался образцовой аккуратностью и выполнял свои обязанности безукоризненно. Он был женат; его жена — она тоже находилась в услужении у Хэвиленда — оставалась в Париже и стерегла особняк, недавно построенный на бульваре Латур-Мобур.

Хэвиленд занимался химией, и Грульт помогал ему. Хэвиленд ежедневно пичкал себя лекарствами, и Грульт заведовал его дорожной аптечкой. Грульт был на редкость сообразителен. Он умело приготовлял лекарства, слыл мастером на все руки, при случае был хорошим слесарем. Руки у него были костлявые, страшные, с огромными пальцами, и вот эти лапищи справлялись с тончайшей работой; но, несмотря на поразительные способности к любому ремеслу, разборчиво писать он так и не научился. Он придумал свою собственную азбуку, в которой только сам и мог разбираться, и в его счетах, нацарапанных на клочке бумаги, невозможно было различить ни буквы, ни цифры. Каракули, безобразные лапы, расхлябанная походка, лекарственный запах, пропитавший его одежду, пятна, выжженные кислотами на коже, отпугивали от Грульта горничных и кухарок, которые звали его «Хромулей», боялись, как черта, считали, будто он на все способен, а в общем-то признавали, что упрекать его не в чем. Грульт вел себя безупречно.

Елена, которой он внушал безотчетное отвращение, попробовала было от него избавиться, но вскоре поняла, что его услуги необходимы Хэвиленду, и примирилась с тем, что он вечно будет вертеться, прихрамывая, вокруг них. Он, казалось, не затаил обиды и по-прежнему вел себя по отношению к ней, как подобает образцовому слуге.

Неприязнь г-жи Хэвиленд не очень-то испугала Грульта. Он пользовался доверием хозяина и знал, что Хэвиленду не так-то просто с ним расстаться.

Между г-ном Хэвилендом и его слугой Грультом была связующая нить. Вот уже двадцать лет они вместе искали Сэмюэла Эварта.

Господин Хэвиленд был еще совсем ребенком, когда впервые услыхал рассказ о том, как в 1794 году гильотинировали старика кассира Дэвида Эварта. Самоотверженность и упорство этого мужественного человека, который даже перед казнью вел торговые книги, доверенные ему хозяевами, показались наследнику рода Хэвилендов весьма похвальными, ибо по складу своей честной и положительной натуры он был способен понять самопожертвование во имя практической цели. Он ничем не выказал своих чувств, но позже, став хозяином своих поступков и средств, предпринял розыски, чтобы выяснить, не осталось ли у старого счетовода потомков. Он узнал, что Эндрью Эварт, правнук Дэвида по прямой линии, был негоциантом в Калькутте. В самом деле, Эндрью женился на индианке и, вступив в пай с каким-то брамином, основал торговый дом под фирмой: «Эндрью Эварт, Лиссалисали и К°». Хэвиленд, взяв с собой Грульта, отправился на пароходе в Калькутту, рассчитывая найти там Эндрью и сказать ему: «Ваш прадед умер, служа моему прадеду, как истый джентльмен. Позвольте пожать вашу руку. Чем могу служить вам?»

Но когда в 1849 году он приехал в Калькутту, то узнал, что торговое общество «Эндрью Эварт, Лиссалисали и К°» распалось после смерти Эварта, — он умер от холеры в июне 1848 года, оставив вдову и четырехлетнего сына, нареченного Сэмюэлом. Миссис Эварт очутилась без средств и покинула вместе с ребенком город. Хэвиленд долго не мог напасть на ее след. Узнав, что Лиссалисали поселился на острове Бурбон, он отправился туда и разыскал брамина, который теперь давал уроки английского языка детям губернатора колонии. Лиссалисали сообщил Хэвиленду, что вдова Эндрью Эварта заехала с ребенком к своему брату, г-ну Джонсону, бывшему офицеру войск его величества.

Вот и все, что удалось узнать г-ну Хэвиленду; теперь Сэмюэлу Эварту уже было двадцать семь лет; еженедельно в «Таймсе» печаталось объявление, в кото-

ром сообщалось, что эсквайр Мартин Хэвиленд, проживающий в Париже, просит Сэмюэла Эварта сообщить о своем местожительстве, — однако Эварт не подавал признаков жизни.

Уже двадцать пять лет Хэвиленд изо дня в день вел поиски с одинаковым рвением, одинаково неутомимо. Это стало делом его жизни; каждое утро он брался за него, как столяр берется за рубанок. Все нити были в руках Грульта, и он ловко их распутывал.

Особенно полезен он был, когда приходилось выпроваживать какого-нибудь лже-Сэмюэла Эварта, ибо к Хэвиленду уже являлось множество проходимцев под видом сыновей и наследников Эндрью Эварта.

Осенью 1871 года здоровье Хэвиленда пошатнулось; у него начались головокружения и бессонница. Однажды (дело было в начале зимы, когда они жили в Ницце, в вилле «Оливковая роща») Елена, читавшая какой-то роман в гостиной, взглянула на входившего мужа и испуганно крикнула:

— Что у вас с глазами? Посмотрите в зеркало на свои глаза!

Голубые глаза Хэвиленда казались черными. Губы его подергивались, и он бормотал в каком-то исступлении:

— Сэм... Сэм Эварт отыщется.

IV

К концу зимы они вернулись в Париж. Двор особняка был завален чемоданами, сундуками, свертками, и среди них бестолково суетилась супруга Грульта; на ней была кофта из пестренького ситца, да и сама она словно была сделана из этой мнущейся ткани. Толстая и суетливая женщина смахивала на узел тряпья, подталкиваемый невидимой силой. Лицо ее всегда было покрыто испариной, поэтому она то и дело вытирала его своей дряблой рукой. Г-жа Грульт с опаской перебирала картонки под бдительным надзором горничной и теряла голову от разноречивых распоряжений, которые ей надменно отдавала, жеманясь перед

конюхами, эта завитая особа в чепце с лентами, кокетливо откинутыми за спину.

Елена бросила на кресло дорожную шубку, которую Хэвиленд сейчас же аккуратно сложил. Она рассердилась и начала выстукивать на оконном стекле турецкий марш. В пасмурном небе чуть поблескивал купол Дворца Инвалидов. Все вокруг было унылым, серым. Елене стало тоскливо, и она ушла к себе в комнату.

Грульт доложил о приходе г-на Феллера де Сизака. Делец поспешил явиться, чтобы приветствовать зятя и обнять дочь. Сюртук его был наглухо застегнут, цилиндр помят, — этот головной убор уже нельзя было просто отутюжить, а приходилось отпаривать. В тот день Феллер буквально полил его водой, чтобы пригладить непокорные ворсинки и еще разок придать ему лоск. Каблуки у Феллера были до того скошены, сбиты, что, стараясь удержать равновесие, он ходил переваливаясь, словно селезень.

Хэвиленд не подал ему руки. Феллер из кожи лез, чтобы вовлечь в разговор своего «дражайшего островитянина, своего высокочтимого зятя». Металлические переливы его голоса напоминали удары огнива по крупному кремню. Но ни искорки не вспыхнуло в Хэвиленде. Поверенный, раздумывая о том, какой угрюмый нрав у проклятущего англичанина, наперекор всему старался его расшевелить. А зять и не думал спрашивать, как идут у него дела, поэтому Феллер начал сам:

— Кстати! Не скрою от вас, трудные у меня были времена. Я, что называется, пережил кризис.

Да он и не мог скрыть от Хэвиленда свои затруднения, ибо четыре года донимал его просьбами о деньгах. В дни осады, посылая зятю письма с воздушным шаром, с почтовым голубем, помещая объявления в «Дейли телеграф», он просил выслать ему чек на парижского банкира. На первую просьбу Хэвиленд откликнулся, на остальные просто не отвечал. И вот г-н Феллер явился к Чарльзу Симпсону — банкиру, проживавшему на улице Победы, воспользовался именем «любимого и многоуважаемого зятя» и занял

некоторую сумму, прибегнув таким образом к уловке, которую Хэвиленд счел непорядочной и недопустимой.

Итак, Феллер не скрывал своих невзгод. Но теперь, по его словам, он снова встал на ноги: впереди у него прибыльнейшее дело.

Сказав об этом, он глубоко вздохнул и подбоченился, приняв свою обычную позу.

— Речь идет, — сказал он, вперив в карниз наполеоновский взор, — речь идет об одном деле, значение коего, поистине полезное, от вас не укроется. Речь идет о «Рабочем банке», основанном на совершенно новых началах. В наш век, когда исключительно быстрое развитие трудящихся классов ставит в тупик финансиста и составляет, если можно так выразиться, постоянную угрозу для общества в целом, возникла необходимость в учреждении, которое внушило бы пролетариату чувство бережливости. Теперь мы свободны от тех преград, которые прежнее правительство не преминуло бы поставить перед предприятием такого рода, мы должны действовать, и...

В этот миг г-н Феллер де Сизак увидел свой жалкий цилиндр, предательски освещенный одним-единственным солнечным лучом, проникшим в гостиную и, может быть, одним-единственным лучом, проникшим в особняк. Он добавил с силой:

— И действовать безотлагательно.

Затем он спросил, не угодно ли г-ну Хэвиленду ознакомиться с уставом «Рабочего банка». Хэвиленд ответил:

— Нет!

Господину Феллеру де Сизаку очень хотелось, чтобы Хэвиленд получил общее представление о том, как был учрежден «Рабочий банк». Ведь он рассчитывал, что его высокочтимый зять даст ценнейшие советы. Да и почему бы в конце концов не сознаться? Дело достойно внимания крупнейших капиталистов, и его просто замучила бы совесть, не предложи он г-ну Хэвиленду воспользоваться теми благами, которые предназначаются для первых акционеров «Рабочего банка».

Он умолк. Г-н Хэвиленд позвонил, вошел хромой слуга.

— Грульт, уберите сигару, — приказал Хэвиленд.

Грошовая изжеванная сигара потухла на краю столика, куда ее положил Феллер де Сизак, войдя в гостиную.

Затем Хэвиленд в упор посмотрел на Феллера и сказал:

— Советов я вам не дам, ибо вы их не послушаетесь. Денег я вам не дам, ибо вы их не вернете. Вы не джентльмен, нет! Прошу больше ко мне не приходить, да! Видеться с госпожой Хэвиленд можете, когда вам будет угодно, да!

И он вышел.

Господин Феллер, ошеломленный, потрясенный этим ударом, почувствовал, что он — конченый человек, но все же у него хватило мужества, чтобы весело обнять дочь и пошутить с нею. Она ластилась к отцу, как девочка. В характере этого человека было что-то благодушное, родственное ленивой натуре Елены, а главное, он был ее отцом. Женским своим взглядом она сразу подметила, как обтрепались обшлага его рубашки, каким белесым стал воротник сюртука, в каком виде цилиндр, — словом, как убого одет отец. Она начала подозревать истину. Но бедняга Феллер, увидев, что она встревожилась, улыбнулся, начал уверять, будто всецело ушел в дела, будто они идут великолепнейшим образом. Он обвинил себя в том, что, старея, опускается. Спросил, счастлива ли она. Посоветовал крепко любить мужа. Потом горячо обнял ее, а когда сходил по лестнице, так тяжело ступал, словно постарел лет на десять; казалось, он стал ниже ростом; глаза его потухли, подбородок отвис, а голова в помятом цилиндре поникла.

Елена заметила, что муж поссорился с ее отцом. Она почувствовала неприязнь к мужу, хотя и догадалась о причинах разрыва. Они послужили поводом для горьких намеков и как будто беспричинных, необъяснимых ссор.

У Елены была порывистая, увлекающаяся натура, поэтому она вдруг искренне привязалась к племяннику Хэвиленда, Жоржу, и расточала свою неистраченную нежность этому белокурому хрупкому подростку, пре-

хорошенькому, капризному и ласковому. Жорж Хэвиленд родился в Авранше и воспитывался в небольшой английской колонии, но в правилах католической религии; он рано осиротел. Дядя, назначенный его опекуном, поместил его приходящим учеником в коллеж Станислава *. Елена, из самых лучших чувств, совсем избаловала Жоржа. Она сама причесывала его на двадцать ладов, чтобы посмотреть, как будет красивее. По вечерам она отрывала его от уроков и водила на концерт или в театр.

Но все это не заполняло ее существования; она скучала, часто плакала. Она мечтала жить где-нибудь в мансарде, с отцом.

Она уходила из дому и тайком посещала отца, который теперь жил на Римской улице, на пятом этаже нового, недавно отстроенного дома. Ее забавляли поездки в извозчичьей пролетке. Она опускала вуалетку и волновалась так, будто ехала на любовное свидание. У г-на Феллера царил беспорядок, обычный в холостяцкой квартире; на столах, среди бумаг, валялись трубки, диван выцвел, но был мягок и уютен, хоть пружины и были сломаны. Елена целовала отца в обвисшие пухлые щеки и начинала обследовать его комнату. Если случалось, что она находила какую-нибудь принадлежность женского туалета, зонтик, вуалетку, то делала вид, будто ничего не замечает, молчала, закусив губку, но глаза ее смеялись. А Феллер не мог вымолвить слова от нежности и умиления. Она же, разбросав все бумаги, отведав пирожных, выпив вина, вдоволь насмеявшись и взъерошив отцовские бакенбарды, уходила, тяжко вздыхая. На площадке лестницы, поправляя ермолку, сбившуюся от прощальных объятий, Феллер говорил дочке на ухо:

— Люби мужа, всем сердцем люби.

И тогда Елена с отвращением вспоминала о муже. Она забивалась в уголок пролетки, и на фоне кучерской спины ей мерещилось лицо Хэвиленда, тусклые глаза, багровые щеки, напоминавшие непрожаренное мясо, и она брезгливо морщилась. Быть может, в тайниках ее души, в мире прошлого, жил полузабытый, но такой милый, такой родной образ — образ того, кто

уехал и все не возвращается? И быть может, она не раз в тоске вздыхала, думая о том, кто уехал в далекие, далекие края, о том, кто никогда не услышит ее вздоха?

Однажды, когда она сидела, уронив на колени, будто тяжелое, непосильное бремя, вышивку, начатую давным-давно, и смотрела, томясь от скуки, в окошко, словно сосредоточив все свое внимание на незаметных изъянах в стекле, искажающих линии домов, которые возвышались напротив ее дома, вошла горничная и подала визитную карточку, сказав, что какой-то господин просит разрешения видеть г-жу Хэвиленд.

Елена взглянула на карточку, вскочила, поправила локоны, складки юбки и вошла в гостиную оживленная, похорошевшая, грациозно повернув свою лебединую шею и величаво откинув каблучком шлейф.

V

Перед ней стоял Рене Лонгмар. Он был не такой румяный, как прежде. Лицо у него пополнело, черты стали мягче, но все — и желтоватый цвет кожи, и блестящие глаза, обведенные резкими свинцовыми кругами, говорило о том, что не раз он хворал там, среди рисовых полей. А взгляд у него был такой же честный, как и прежде, такими же мягкими были очертания большого рта, такое же открытое выражение лица.

— Видите, земля, оказывается, не так уж велика, — сказала она, — и люди возвращаются отовсюду. Я ничуть не удивлена, что опять вижу вас, и очень вам рада.

Сначала они испытывали какую-то неловкость. За истекшие годы каждый из них жил своей жизнью, неведомой другому. Они старались узнать друг друга. И оттого ли, что Елене хотелось выполнить долг гостеприимства, то ли под влиянием какого-то затаенного чувства, но она первая вымолвила задушевные слова:

— А мы вас не забывали.

Рене, осмелев, погрузился в приятные воспоминания. Он говорил о чаепитиях на Новой Полевой улице, о прогулках по окрестностям Медона, о розовых и белых платьях Елены, цеплявшихся за терновник, о ве-

ликолепных жилетах г-на Феллера, которые, как султан Беарнца *, указывали на место сбора в лесу в часы прогулок, и о глупостях, которые они тогда болтали. Она спросила, кладет ли он по-прежнему лягушек в карманы. Не прошло и четверти часа, а им уже казалось, что они не расставались. Тут он коротко рассказал о своем путешествии, о том, как скучно и тяжело было служить в далеких краях с нездоровым климатом. Она слушала, широко раскрыв красивые, увлажненные глаза. Потом спросила, что он намерен делать. Он сказал, что ему надоело быть военным врачом. Он подаст в отставку, станет сельским врачом, деревенским костоправом; если какую-нибудь девушку-простушку соблазнит жизнь, посвященная выращиванию цыплят под его покровительством, тогда он женится.

Она живо спросила:

— Значит, вы собираетесь жениться?

Но по его ответам поняла, что о женитьбе он и не думает, что на душе у него смутно, тоскливо, и, быть может, в ней живы некоторые воспоминания.

Тут из коллежа вернулся Жорж и нарушил их уединение — уселся рядом, разложив учебники и, как водится у балованных детей, обрадовался развлечению — приходу гостя. Елена не отослала его из гостиной, но велела сидеть тихо и готовить уроки. Врач рассказывал о каком-то случае, приключившемся во время плаванья по океану, а мальчик с шумом перелистывал словарь, грыз ручку и то и дело поднимал голову, слушая рассказ о том, как один матрос живьем ел на палубе морских пауков.

Вошла горничная и доложила Елене, что ее зовет г-н Хэвиленд, — он был болен.

Просторная комната Хэвиленда была заставлена всякими редкостями, размещенными в строжайшем порядке. В углу стояла горка, набитая запечатанными флаконами с ярлыками. На ярлыках было написано: Тахо, Иордан, Симоис, Евфрат, Тибр, Огайо и т. д. Хэвиленд зачерпнул по полбутылки воды из всех

рек, которые довелось ему пересечь. В другой горке красовались образчики всех видов мрамора, какие только есть на свете. Был там и шкаф, отведенный историческим реликвиям, в нем хранились камни, отколотые от стены той темницы, где томился Тассо *, от дома, где родился Шекспир, от хижины Жанны д'Арк и надгробия Элоизы *, листья плакучей ивы с острова святой Елены, стихи Ласенера, написанные им в Консьержери *, подставка для карманных часов, украденная в 1848 году из Тюильри *, гребень, принадлежавший мадемуазель Рашель *, стеклянная трубочка с волосом Джозефа Смита *, мормонского проповедника, и прочие памятки. Некрашеные деревянные столы заставлены были пузырьками, и в комнате стоял тот особый запах, которым всегда пропитаны аптеки.

Хэвиленд лежал на шезлонге, а не на своей железной кровати, ноги его были укутаны дорожным пледом. Он был бледен, красные пятна испещряли его щеки. Потемневшие глаза выходили из орбит.

Он сжал руки Елены с той неутолимой нежностью, которая охватывает человека, когда он чувствует, что расстается с жизнью. Он стал говорить, что любит ее и за все благодарен ей, что совсем расхворался, но надеется выздороветь, ибо лечится по своей системе, которую отлично умеет применять Грульт. Голова у него кружилась, он то и дело умолкал.

Он говорил:

— Должен предупредить вас, Елена, что минутами я невменяем. Это от болезни. И все, что бы я ни говорил в такие минуты, нельзя принимать во внимание. К счастью, дела мои в порядке. Завещание у нотариуса.

Он добавил, что у нее будет пожизненное право пользоваться всем его состоянием, но самый капитал ему пришлось, ибо так требовала справедливость, полошить на имя Жоржа Хэвиленда. Кроме того, он сделал кое-какие распоряжения в пользу Грульта, о чем и сообщил ему. Он снова сжал руки Елены, пристально посмотрел на нее тем странным и скорбным взглядом, который порой у него бывал, заклиная ее выслушать то, что ему еще оставалось сказать.

— Если я умру и если вы не забудете меня, ищите, дорогая, ищите Сэмюэла Эварта и выполните последнюю мою волю в отношении его. Именем господа нашего Иисуса Христа, который приидет и воскресит мертвых, заклинаю вас сделать все возможное для того, чтобы вручить назначенную мною сумму последнему потомку Дэвида Эварта. Он жив; иногда по ночам я вижу его. Если бы он пришел, я узнал бы его. И он придет.

Больной пристально вглядывался в темную портьеру, спадавшую крупными складками, и, протянув дрожащую руку, крикнул:

— Там, там, у двери... Это он, это Сэм Эварт! Видите, в открытом вороте матросской куртки на шее у него выступает багровый след; он перешел к нему от прадеда, от старика Дэвида... Сэм! Сэм!! Боже мой!

От откинулся на шезлонг и впал в забытье. Елена не знала, что делать, и растерянно смотрела на пузырьки с лекарством. Она позвонила; явился Грульт. Лакей довольно грубо отстранил ее и завладел больным.

Ночью ей не спалось, и при свете луны она видела, как ее муж, закутанный в шотландский плед, вылез из окна своей спальни и пошел прямо к колодцу, вырытому у конюшни.

Елена прильнула лицом к стеклу и почувствовала, что у нее от ужаса зашевелились на голове волосы; она замерла, не в силах ни шелохнуться, ни крикнуть. Она видела, как полуодетый Грульт вышел из флигеля, в котором он жил, и прокрался вслед за хозяином. Она видела, как Хэвиленд долго смотрел в глубь колодца, как он поднял голову, протянул руку, будто хотел узнать, с какой стороны дует ветер, а потом снова влез в окно, к себе в спальню. Она видела, как Грульт, пожав плечами, направился к флигелю и, ковыляя с сердитым видом по двору, раздраженно размахивал руками.

У дверей флигеля на миг появилась жена Грульта в чепце с пышной оборкой и в неизменной ситцевой кофте. Елене показалось, будто Грульт, возвратясь к себе, прибил жену.

Хэвиленд сделался лунатиком. Когда Елена вошла к нему в комнату на другой день, то увидела, что он одет, спокоен и молча наклеивает ярлыки на камешки, отбитые от знаменитых памятников. Он надписывал на бумажках, смазанных клеем: Колизей, Катакомбы, Гробница Цецилии Метеллы *. Его глаза вновь стали тускло голубыми и ничего не выражали.

Елена не успокоилась. Она решила не отходить от него. Она дала себе обещание, что будет сама ухаживать за больным и позовет врачей, хотя он самым решительным образом запретил ей это.

В комнату вошел Грульт с бутылкой и стаканом. Он налил в стакан какую-то микстуру и протянул его хозяину, в упор глядя на Елену. Он смотрел на нее с таким развязным и наглым видом, так дерзко, так неуважительно, что она вспыхнула. Хэвиленд выпил микстуру, и вскоре у него снова началось головокруже¬ние, и он словно оцепенел. Его зрачки опять неестественно расширились.

С этого дня Елену начала мучить смутная тревога. Как-то около пяти часов вечера она обнаружила на ковре в своей спальне следы подошв, подбитых гвоздями. Кто-то проходил по спальне от входной двери к туалетной комнате. Чуть приметные следы были видны лишь оттого, что косые лучи солнца стелились по смирнскому ковру и освещали примятый ворс и желтоватые пылинки, выделявшиеся па его сочном и мягком фоне. Елена испугалась и велела горничной осмотреть туалетную, — там все оказалось в порядке. Елена попробовала найти разумное объяснение следам, но это ей не удалось, и она, устав от тревог, впала в обычное свое безразличие.

Когда снова пришел Рене Лонгмар, Елена, поджидавшая его, сделала себе его любимую прическу. Она не удержалась и поведала Лонгмару о том, как ей тоскливо живется, как ее разочаровало замужество. Она чувствовала, что любит его. Ей хотелось прильнуть к его широкой и горячей груди, выплакаться, забыть обо всем. Рене держался спокойно. И чем доверчивее становилась она, тем старательней он убеждал себя, что не должен злоупотреблять ее доверием. Он любил

ее почтительно; она была поэтической мечтой его одинокой жизни, а в прозе у него недостатка не было. В Париже он стал вести прежний образ жизни, вечерами отправлялся в какой-нибудь небольшой театр, а оттуда — ужинать. В его душе был отведен высокий пьедестал для некоего идеального существа, и на этот пьедестал он возвел Елену. Она же, усталая, безвольная, униженная в собственных глазах браком без любви, но скованная приличиями и нравственная по натуре, старалась скрыть от него, что ее влечет к нему, что она готова уступить своему чувству. До сих пор она не знала за собою никакой вины, и согрешить ей казалось просто чудовищным и невозможным.

Она рассказала Рене о болезни мужа. Он покачал головой, не зная, что сказать. Вероятно, г-н Хэвиленд неумело лечит себя. Лонгмар не мог определить болезнь, потому что описанные симптомы не были характерны ни для одного заболевания при естественном его развитии. Он подозревал, что тут сказывается перемежающееся вредное действие какого-нибудь ядовитого лекарства. Он считал, что расширение зрачка, очевидно, вызвано неумеренным употреблением белладонны или атропина. Должно быть, Хэвиленд, чтобы ослабить острые ревматические боли, прибегал к сернокислому атропину, а теперь, судя по всему, злоупотреблял этим лекарством, принимал его в дозах, опасных для жизни. По настоятельному совету Лонгмара она решила еще раз позвать врачей, хотела сама ухаживать за больным.

На следующий день она пошла поговорить с мужем; он был на чердаке в своей мастерской. Хэвиленд старательно строгал доску, ибо он занимался не только химией, но и столярным ремеслом. Он был спокоен, бодр, и Елена подумала, что ей все померещилось. Он рассказал, что проворовался повар, что пришлось его прогнать; а разоблачил мошенника Грульт. Хэвиленд то и дело клал рубанок на верстак и осторожно снимал стружки, попадавшие на кружевной пеньюар жены. Глаза у него были ясные, совсем прежние глаза, и еще никогда он не был до такой степени лишен воображения.

Она думала о Рене, таком живом, таком умном, о разговорах с ним, увлекательных, будто хорошо написанная книга, о его яркой душе, молодой и сильной, — и ненависть переполняла ее сердце, когда она смотрела на старика, водившего по доске рубанком. В обычный час Грульт принес хозяину микстуру. Когда он увидел, что Елена пришла на чердак, куда она еще никогда не поднималась, глаза у него сверкнули, словно у разъяренной кошки.

Как и в прошлый раз, пока Хэвиленд пил микстуру, Грульт нагло смотрел на Елену и ворчал, кривя губы. В эту минуту он был до того безобразен и так откровенно циничен, что она вдруг, словно прозрев, поняла, зачем он сюда пришел, настолько это было ясно, очевидно, несомненно.

Она протянула руки, торопясь отвести стакан от губ старика. Тут Грульт сказал ей на ухо гнусным и властным тоном:

— Нечего ребенком прикидываться!

И она, потеряв волю, побледнела и не произнесла ни слова. Хэвиленд допил микстуру и вытер губы.

Несчастная в ужасе бросилась вниз по ступенькам, ошеломленная, подавленная, своим непомерным малодушием, и ей казалось, что вот-вот перед ней разверзнется бездна.

Она не осмеливалась показаться на глаза мужу, но в тот же вечер узнала от горничной, что у него был сильный бред, а сейчас он отдыхает. Елена облегченно вздохнула, — ведь ей Весь день мерещилось, что он уже умер.

Она думала: «Он жив; еще есть время сказать обо всем, принять меры. И я не буду соучастницей этого...»

Нервное напряжение улеглось, она задремала, и дремота принесла ей отраду и облегчение; ей приснился Рене, сон придал столько обаяния, столько прелести любимому человеку, с которым она была разлучена; потом ее сновидения стали смутны и тягостны. Голова горела, зубы стучали, ее знобило. Она легла в постель, испытывая чувство, похожее на радость, а потом сама

не могла понять, что с ней произошло. Она видела какие-то страшные лица, проплывавшие мимо, и не успевала разобрать, кто перед ней. Куда она попала? Чего от нее хочет толпа чужих людей, наряженных как в маскараде? Что-то горячее и тяжелое давило ей грудь, она тяжело дышала и в ужасе отбивалась. Да это была кошка, большая рыжая кошка, с глазами, то и дело менявшими цвет. Елена поджимала ноги, заслоняла грудь руками. Какая-то монахиня все подходила поправлять одеяло; зачем она здесь? Чужие люди, — их было двое или трое, — никуда не пускали ее. А ведь ей надо было выполнить очень важное дело, такое важное, что его нельзя отложить ни на минуту, но какое именно дело, она и сама не знала. Она кричала: «Ох, голова, бедная моя голова!» Голова у нее так болела, что ей хотелось размозжить себе череп, лишь бы облегчить свои страдания, и она все искала стену, железную стену. Ах, только бы скорее найти! Раскроить себе голову, выпустить кипящую в ней воду. Незнакомый голос твердил: «Льду, еще льду!» Но льда она не чувствовала, она лежала на раскаленном песчаном побережье, у моря расплавленного свинца. Она кричала: «Рене! Рене! Уведите меня в Медонский лес! Неужели вы позабыли те дни, когда собирали для меня букеты из цветущего боярышника?» А потом она впадала в забытье и, очнувшись, превращалась в девочку, в пансионерку, и наизусть, без всякого выражения, читала отрывки из басен и катехизиса. Она бормотала: «Я не могу выучить урока. Сударыня, у меня болит голова. Отведите меня домой. Я хочу к папе».

Однажды Елена очнулась — она была слаба, ей очень хотелось есть. От монахини, которая ухаживала за ней, она узнала, что была три недели тяжело больна, но что опасность миновала. Она сделала над собой усилие, чтобы собраться с мыслями, и спросила:

— А мой муж?

Монахиня попросила ее не волноваться и сказала, что он чувствует себя хорошо.

Елена облегченно вздохнула. Она выздоравливала, но порой ее мучили провалы памяти и какой-то сумбур в голове — обычные последствия воспаления мозга.

Лишь одно чувствовала она ясно: ей страшно увидеться с мужем. У нее началось сердцебиение, когда ей сказали, что Хэвиленд, которому тоже стало лучше, пришел ее навестить.

Он посмотрел на нее с нежностью, сказал, что он очень ее любит, и она впервые увидела улыбку на его строгом лице. Эта улыбка была такой проникновенной, такой сердечной, такой искренней, что взволновала и растрогала Елену. Она заплакала и, как дочь, прильнула к старику.

Она обвила руками его шею, но к нему уже вернулась его обычная холодность.

Елена сделала над собой усилие, и в ее затуманенном сознании возникли те два случая, когда Грульт давал ему питье. Она сжала руки мужа и сказала умоляющим тоном:

— Если вы меня любите, если хотите, чтобы мы оба избежали страшной смерти, то заклинаю вас, сегодня же, сейчас же откажите своему лакею. То, что он сделал... так ужасно... я не могу сказать об этом... Прогоните его! прогоните!

Она забилась в судорожных рыданиях и потеряла сознание. Хэвиленд припомнил, что Елена и прежде неприязненно относилась к лакею, и, увидев, как она ослабла, как взволнована, решил, что она не отдает себе отчета в своих словах; но все же он почел необходимым пожертвовать ради нее слугою и, позвав его в мастерскую, сказал:

— Грульт, нам надо расстаться. Я доволен вами и хотел бы оставить вас при себе до самой своей смерти, да. Но ваше присутствие в этом доме стало невозможным по причинам, о которых я вам сообщать не обязан, нет. Своих распоряжений в вашу пользу я не изменю. Моему слову можете верить. Вы покинете мой дом в пятницу. Обязуюсь платить вам жалованье, покуда вы не устроитесь. Мне будет приятно, если ваша жена останется у меня в услужении; считаю нужным держать с вами непосредственную связь во всем, что касается Сэмюэла Эварта. Больше ничего не имею вам сказать.

Грульт молча поклонился и вышел.

VI

Итак, в пятницу Грульт был уволен. На следующий день Хэвиленд почувствовал себя гораздо лучше, так хорошо он не чувствовал себя уже несколько месяцев. В тот же день он вместе с Еленой, которая почти уже совсем поправилась, поехал кататься в Булонский лес.

Коляска, слегка покачивалась, их обдувало ласковым ветерком, и они чувствовали приятную усталость, которая бывает у выздоравливающих. Елена так истомилась, что решила забыть все свои прежние мечты. Сейчас она всем своим измученным сердцем мирилась со скучным мужем и однообразной жизнью, которые ей были суждены. Упадок сил располагает к кротости. Из эгоистического чувства, свойственного больным, она стала нежно относиться к человеку, который сидел рядом с пей в коляске, прикрыв колени той же меховой полстью, что согревала и ее. Она смотрела, чуть прищурясь, на деревья, на фонари, на пешеходов, которых обгонял экипаж, и на дома, обступившие авеню Елисейских полей, на каретные мастерские и на посыпанные песком аллеи, по которым, в тени, под зелеными сводами деревьев, кривоногие конюхи проваживали лошадей под уздцы; потом — на Триумфальную арку, с нелепой важностью возвышавшуюся над круглой площадью; потом — на авеню, сворачивающее влево, к Булонскому лесу и окаймленное с обеих сторон деревьями английских парков; справа, по аллее, посыпанной песком, проезжали всадники; все утопало в ярком свете весеннего солнца. Дворники уже тащили тележки со шлангами и направляли водяные струи под ноги испуганных лошадей. Не раз Елену обдавало ветерком и по ее лицу скользила тень от промчавшейся виктории *, То вихрем проносилась по авеню какая-нибудь рыжеволосая и бледная особа с накрашенными губами — она правила сама, расставив локти, а грум сидел сзади, скрестив на груди руки. Потом коляска въехала в Булонский лес и замедлила ход; потянуло прохладой. Неторопливо двигалась вереница экипажей; яркие туалеты и веселые лица радовали глаз. Из коляски

в коляску перебрасывались приветствиями, а всадники, улыбаясь, подъезжали к женщинам, которые казались еще прелестней в тени, под приспущенным верхом экипажей. По боковой аллее шли парами рабочие — то была свадебная процессия.

Холодная учтивость мужа, пожалуй, даже нравилась Елене. Она отдавала должное его благовоспитанности, его невозмутимому спокойствию. Его неразговорчивость, бесстрастное выражение лица, несложный ход его мыслей были ей приятны, как приятны были ей внимание и заботы о ее здоровье. Он стал ей дорог с той минуты, как она его спасла. Впрочем, Елена боялась думать; ей доставляла удовольствие легкая усталость и слабость, идущая на убыль. Она с наслаждением, как зябкая кошечка, свертывалась в клубок.

Экипаж остановился, они вышли и отправились в кофейню выпить по стакану молока.

Справа и слева от них за столиками шушукались какие-то старики, слышался приглушенный женский лепет и шуршанье шелка. Напротив Елены сидели три молодых человека и громко спорили. С теми, кто сидел к ней лицом, она не была знакома, зато сразу, по одной только линии плеч, узнала того, кто был обращен к ней спиною и кого почти совсем заслоняла фигура официанта. У нее вдруг заболело под ложечкой, перехватило горло, вспыхнули щеки, и невыразимая тоска стеснила сердце, но в то же время несказанная радость переполнила все ее существо. А Лонгмар, из-за которого она пришла в такое смятение, был далек от мысли, что Елена тут, неподалеку; он продолжал разговор, начавшийся весьма бурно, и высказывал какую-то мысль, по своему обыкновению доводя ее до нелепости.

— Одним только врачом-практиком я и восхищаюсь, — говорил он приятелям, которые, как и он, судя по всему, недурно позавтракали, — одним только Пинелем *. Он никогда не давал пациентам лекарств, опасаясь нарушить или приостановить естественное течение болезни. Он бывал вполне удовлетворен, если ему удавалось определить и классифицировать заболевание, и предусмотрительно воздерживался от лечения. Внимательно, почтительно, бездеятельно следил он за

тем, с каким блеском идет активное развитие процесса в ране. Да, Пинель — настоящий врач!

Слова Лонгмара потонули в громком хохоте его приятелей; все трое заговорили разом, перебивая и не слушая друг друга. У Елены пересохло в горле, в висках у нее стучало, в глазах потемнело, на лбу выступили капельки пота. Муж заметил, что она побледнела, и спросил, не устала ли она и не хочет ли вернуться домой. Елена взглянула на него, и каким же он показался ей отвратительным! Все лицо в багровых пятнах, на щеках, испещренных лиловыми прожилками, шелушится кожа. Глаза тусклые и какие-то пустые. Теперь она готова была возненавидеть его за то, что он выздоровел.

Елена встала, и тут Лонгмар ее увидел. Они обменялись взглядом, и какая-то непреодолимая сила повлекла их друг к другу.

Весь следующий день старик провел в своей спальне; симптомы перемежающейся болезни появились снова и через несколько дней приняли угрожающий характер. В пятницу утром Елена послала за врачом. В тот день на больного было страшно смотреть. Его глаза налились кровью, и казалось, вот-вот выйдут из орбит. Бред у него был буйный. Доктор Эрсан пришел в самый разгар приступа, прописал противоспазматическое и успокоительное лекарство. Но оно почти не оказало действия. Поставив диагноз о неопределенном, но глубоком поражении нервных центров и боясь, что близится роковой конец, врач заявил, что случай серьезный, и просил к вечеру созвать консилиум.

Тем временем Грульт, приказав жене сложить его вещи, сел на извозчика и покинул особняк, как ему было велено.

Елена не отходила от больного. Ее сковал неизъяснимый страх, она не решалась взглянуть на мужа; но внезапно ее охватило непреодолимое любопытство, и она стала разглядывать его, не сводя с него глаз, готова была смотреть и смотреть, даже заплатить за это жизнью. Несчастный отбивался от двух лакеев, которые с трудом удерживали его. Он призывал жену и Сэмюэла Эварта. Голосовые связки у него были по-

вреждены, казалось, говорит не он, а кто-то другой, и оттого было еще страшнее. Жалобно и ласково шептал он, вздыхая, имя жены, но тут же вдруг начинал пронзительно визжать, разражался зловещим хохотом, и эти резкие переходы от грустной нежности к неистовой ярости трудно было объяснить одним только затемнением сознания. А больному воображению Елены эта сцена представлялась во сто крат ужасней. Ей казалось, что всю ее, от затылка до пят, пронизывает металлическая проволока, раскаленная докрасна, а живот и бедра сжимает огненный панцирь.

С обостренным вниманием прислушивалась она к бреду мужа. Ее мучения увеличивались оттого, что она не могла обнаружить в его словах никакого, даже самого туманного смысла. И, право, если бы он сейчас обличил ее словом или указующим перстом, если бы проклял ее, она почувствовала бы облегчение.

В десять часов вечера врачи Эрсан, Герар и Бальдек собрались у постели больного, который вдруг забился всем телом, а потом впал в забытье.

Казалось, он спал. И для Елены началась новая, еще более жестокая пытка. Она снова почувствовала, что по-дружески относится к этому достойному человеку, который так любил ее, почувствовала, что она уважает его. Ей стало до слез жаль мужа, но эти слезы вызвали у нее отвращение, как гнусное лицемерие, — ведь она сама...

Дыхание больного участилось и стало до того затрудненным, что, кроме врачей, всякий, кто его слышал, чувствовал удушье. Костлявые руки были выпростаны и зябким, неловким движением теребили одеяло. Доктор Эрсан взял больного за левую руку. Он установил, что пульс слабеет, что холодеют конечности. Нос заострился. Глаза ввалились. Умирающий обвел комнату взглядом, словно хотел все увидеть и всех узнать в последнее мгновение, запрокинул голову, раза три вздохнул и затих. Доктор Эрсан молча подал знак, что все кончено.

В этот торжественный смертный час Елена стояла, выпрямившись, а когда поняла, что муж скончался, то почувствовала, что земля разверзлась под ее ногами,

и опять ее охватило сладостное ощущение небытия. Она пережила блаженное мгновение, чувствуя, что умирает. О, как отрадно было больше не существовать! Она упала.

Доктора Герар и Бальдек столкнулись в прихожей с коренастым господином, носившим пышные баки и очки в черепаховой оправе; он пожал им руки и сказал проникновенным тоном:

— Усилия ваши, господа, были тщетны, — человеческое искусство, хоть оно и велико, все же ограничено. Корифеи науки не всегда повелевают природой. Я принадлежу к тем, кто чтит даже напрасное мужество. И я заявляю вам, что Феллер де Сизак никогда не забудет ваших просвещенных стараний спасти его высокочтимого и дражайшего зятя.

Затем г-н Феллер неторопливым и степенным шагом направился в буфетную и велел подать себе легкий ужин.

В швейцарской причитала г-жа Грульт, обливаясь потом и слезами.

Доктор Эрсан попросил провести его к г-же Хэвиленд, она нуждалась во врачебной помощи. Елена увидела, что в спальню входит высокий человек в черном, не узнала его, и от страха сознание ее помрачилось. Она крикнула, простирая руки:

— Это не я! Клянусь вам, не я!

VII

После смерти зятя г-н Феллер развил бурную деятельность.

Все видели, как он, одетый во все черное, шел за гробом, рядом с племянником покойного. Процессия медленно двигалась по внешним бульварам *, направляясь к кладбищу Монпарнас, где Хэвиленд, считая родину жены своей родиной, купил место и для нее и для себя. Феллер не привык рано вставать, он не выспался, и у него было бледное, отекшее лицо. Покрасневшие глаза за очками в черепаховой оправе и набухшие веки придавали его физиономии надлежащее выра-

жение усталости и печали. Он был дороден, грузен и поэтому выступал с важностью. Сознавая это преимущество, он старался не худеть, не терять в весе, чтобы сохранить внушительную осанку. Теперь, когда счастье каким-то чудом снова повернулось к нему лицом, его цилиндр весьма сильно отличался от того, который он некогда поставил на столик в особняке Хэвиленда: он был безупречен и глянцевит, с белоснежной подкладкой. Он покоился на согнутой руке г-на Феллера, словно мортира на лафете, наведенная на катафалк. Ботинки г-на Феллера не скрипели, как обычно, — при каждом шаге они издавали нечто вроде вздоха, точно в них притаились два погребальных духа. У дверей готического склепа, куда могильщики опускали гроб, сдержанно покрикивая «эх! эх!» и поплевывая на горящие ладони, натертые веревками, г-н Феллер застыл в неподвижности, с одухотворенным выражением взирая на небо поверх очков. Глядя на него, каждый понимал, что мысль его не останавливалась перед бронзовыми дверями гробницы, а воспаряла в потусторонний мир на крыльях наивозвышеннейшей философии. Так он витал в области идеального и, казалось, сам освободился от всего бренного, пока легкий кашель не напомнил ему, что он жив и что у него тучная грудь. Позади, возвышаясь над ним на целую голову, стояло, выпрямившись, несколько белобрысых и рослых англичан в хорошо сшитых костюмах. В сторонке шептались два дельца — завсегдатаи пивной «Кольмар» и постоянные партнеры Феллера по биллиарду и домино. Слуги столпились на боковой дорожке подле склепа, и при ярком свете отчетливо вырисовывались бакенбарды лакеев, обшитые лентами чепцы и пухлые руки поварих, широкие складки длинных черных брюк, прикрывавших башмаки.

После погребения г-н Феллер де Сизак принимал соболезнования, с видом человека мужественного, но подавленного горем. Он благодарил всех, кто пожелал вместе с ним отдать последний долг покойному. Он притворился, что ему весьма приятно видеть всех присутствующих на кладбище, хотя ни с кем не был знаком. Он горячо пожимал руку каждому, как бы говоря:

«Благодарю! Благодарю! Я буду крепиться. Я буду держаться стойко». Когда пришла очередь двух старых его приятелей-собутыльников, он пренебрежительным жестом протянул им руку, нахмурился и вдруг стал угрюмым и нелюдимым в своей печали. Он побаивался, как бы они ни похлопали его по плечу и не назвали «бедным стариканом».

Он по многу раз принимался выражать всем свою благодарность и в конце концов обратился к кучке людей, которые только что похоронили какого-то мирового судью — они так и не поняли, чего от них хотел незнакомый господин в черном.

А он просто не мог отличить друзей зятя от посторонних, поэтому готов был в тот день распоряжаться всеми похоронными процессиями, если бы они шли мимо него безостановочно.

С этого дня он уже не расставался ни с черным фраком, ни с мрачным и стоическим выражением лица. Он ежедневно приходил в дом Хэвиленда, завтракал там и обедал. После обеда он возлагал руку на голову Жоржа и произносил, чуть не всхлипывая:

— Как я сочувствую этому мальчугану!

В пивной «Кольмар», всякий вечер играя на биллиарде, он восклицал:

— Я потерял не просто зятя, я потерял сына и джентльмена.

Жюли, горничная г-жи Хэвиленд, услышала странный крик, вырвавшийся у ее хозяйки, когда в комнату к ней вошел доктор Эрсан; на следующий день об этом уже шушукались и в бакалейной лавке и в мясной. Слух, что англичанина с бульвара Латур-Мобур отравили и что его жена — соучастница преступления, распространился и через несколько дней долетел до соседних кварталов. Доктор Эрсан, живший на улице св. Доминика, был поражен, когда в следующий понедельник жена передала ему, что в квартале ходят слухи — упорные слухи о преступлении. Занятия наукой и врачебная практика приучили Эрсана, предпринимая расследования, действовать осторожно, и он не допускал, что в данном случае можно подозревать г-жу Хэвиленд. Он ответил жене, что судебная медицина не

собирает пересуды кумушек. Правда, заболевание, от которого скончался г-н Хэвиленд, не было, по его мнению, достаточно ясно определено в протоколе, который он подписал вместе с другими участниками консилиума. Он даже упрекал себя в том, что поступил несколько опрометчиво. Чувствуя за собой вину, он очень хотел, чтобы все это осталось без последствий, и рассчитывал, что так оно и будет.

VIII

Лонгмар задержался в госпитале на утреннем обходе, который из-за тифозной эпидемии тянулся дольше обычного, и попал на кладбище Монпарнас уже после погребения Хэвиленда. Церемония закончилась, но все же он успел увидеть преисполненный твердости и сдержанной скорби профиль г-на Феллера, которого умчала с кладбища пара вороных, в экипаже, предоставленном похоронным бюро. Увидев Феллера, Лонгмар тотчас же повернул назад, и когда он уже проходил между урнами и лепными песочными часами, украшавшими кладбищенские решетчатые ворота, его остановил низенький вертлявый господин, который с самым веселым видом обозвал его приведением, призраком, выходцем с того света и запел красивым, низким голосом арию Роберта: * «Монашки, ваш покой...» Это был Бутэйе, его старый школьный товарищ, который славился в лицее полнейшей неспособностью к наукам и литературе, а теперь стал репортером крупной газеты. Он только что весьма рассеянно выслушал три речи, произнесенные на могиле некоего академика. Подхватив Лонгмара под руку, он сказал:

— Дружище, сегодня мы вместе обедаем у Бреваля!

За обедом Лонгмар, глубоко взволнованный, но, как всегда, шутками прикрывавший свое волнение, много говорил о любви и женщинах и давал вопросам чувства научные объяснения, приправленные философскими каламбурами. За обедом пиля замороженное шампанское. Бутэйе иначе и не обедал. Шампанское было неотъемлемо от его профессии. А вооб-

ще Бутэйе был очень занят: к глубокому своему огорчению, изрядную часть жизни он проводил в поездах. Он присутствовал на открытии памятников во всех городах Франции, сопровождал президента республики в департаменты, пострадавшие от наводнения, присутствовал на аристократических свадьбах, выслушивал доклады о филлоксере, все видел и был самым нелюбознательным человеком на свете. Помыслами его владел только один уголок земного шара — Шату, где у него был свой домик и лодка. Думал он только о своей лодке да о своем домике, а ему приходилось заниматься делами всего мира. Даже ни один пожар на заводах не обходился без него. Лонгмар, разумеется, заговорил о Хэвиленде, о его странностях, о его смерти и вообще об отравлении белладонной. А Бутэйе в это время описывал ему свою лодку; они чудесно понимали друг друга.

Часов около десяти Бутэйе сказал:

— Дружище, бегу в редакцию. Вернусь мигом, — подожди меня в кофейне «Швеция». Там у меня свидание.

В одиннадцать часов они курили, сидя за оцинкованным столиком, на шумном, ярко освещенном бульваре.

Бутэйе говорил:

— Видишь ли, дружище, чуточку укороченное весло удобно держать, а главное, надо его хорошенько заострить, чтобы воду будто ножом резало...

Какой-то парень — житель предместья, в блузе и в кепке, подошел к ним и сказал Бутэйе:

— Нынче ночью не состоится.

Бутэйе дал ему сорок су и отпустил. Вид у него был не очень довольный.

— Вот тебе и заметка на злобу дня, — написал заранее, а она так и проваляется в типографии.

И добавил, чтобы приятель понял, в чем тут дело:

— Бездельник, которого ты сейчас видел, знает обо всем, что творится в тюрьме Ла Рокет *. Он сообщил, что казнь убийцы с улицы Шато-де-Рантье этой ночью не состоится. Кстати, ты ведь врач, скажи-ка: мучается человек, когда ему отрубят голову?

— Ответить на этот вопрос — проще простого, — сказал Лонгмар.

И стал объяснять:

— Жизнь — количество, как сказал Бюффон *, и потому может увеличиваться или уменьшаться. «Жизненный узел» Флуранса * — чепуха. Слушай хорошенько... Если я и согласен с Биша *, что жизнь — совокупность сил, сопротивляющихся смерти, то должен, однако, прибавить, что эти силы более или менее долго сопротивляются конечному распаду. Отсечение головы вызывает полную потерю сознания и, можно сказать, бесповоротно уничтожает чувствительность. Но мускульная жизнь еще продолжается. Не надо смешивать...

Потеряв терпение, Бутэйе перебил его:

— Нет, нет, уж лучше предупредить тебя сразу. Твое объяснение затянется надолго, а я в нем ровно ничего не понимаю. Да и вообще наука мне всегда казалась темной материей. Есть такие запутанные вопросы — например, о бессмертии души или существовании бога!.. К счастью, бог — не злоба дня... Кстати, как фамилия англичанина, на похоронах которого ты сегодня был? Черт возьми, кое-что из твоего рассказа просится на заметку, — конечно, если чуточку присочинить. Так как же?

IX

Грульт, сурово приказав жене уложить его вещи в чемодан, отправился в Авранш, где, как он говорил, у него были дела. И действительно, ему недавно достался по наследству клочок земли в окрестностях Авранша. Он остановился в предместье, на постоялом дворе под вывеской «Красный конь». Люди видели, как он в обществе фермеров и скотоводов осушал графинчики с водкой, которую по местному обычаю пили кофейными чашками. Он был веселее, общительнее, чем обычно, охотно разговаривал, принимал угощение и сам потчевал всю компанию.

В среду он сел в поезд, доставивший его к концу дня в Гранвиль; стояла прескверная погода. Как гово-

рят моряки, налетел шквалистый ветер. Лил дождь; ветер яростно стегал по фонарям и завывал в аллеях. Грульт отправился в старый город и пошел вверх по узкой извилистой уличке, пропахшей рыбой. Шагая, он раскачивался всем телом, а левая его нога, чтобы угнаться за правой, загребала, будто коса в хлебах. Он быстро шел в темноте, прямо по лужам, поднимая целые столбы брызг, ворчал и бранился. Не раздумывая, вошел он в захудалую бакалейную лавочку, где за мелкими зеленоватыми стеклами витрины красовались две банки с леденцами, а под деревянной лестницей виднелась кровать с красным пологом из бумажной материи. Утрамбованный земляной пол местами совсем отсырел, и на нем видны были отпечатки подошв, подбитых гвоздями. Грульт никого там не застал и, не дожидаясь хозяина, прошел через лавчонку, служившую единственным входом в дом.

Он поднялся по лестнице на третий этаж и постучался в дверь, там, где кончались перила. Дверь приоткрылась, и невысокий старик, со свечой, освещавшей его лицо снизу, оглядел посетителя и впустил его в комнату, забитую кипами старых бумаг, растрепанных конторских книг с загнутыми уголками, пухлых, разорвавшихся папок, из которых торчали документы со старыми гербовыми марками, — все это было навалено, нагромождено кучей. За ворохом бумаг и грамот, видимо, сновали мыши, потому что сквозь отдаленный и неумолчный шум ветра в трубах и стук дождя по черепичной кровле в комнате слышался хруст и шорох.

В темном углу стоял во всем убожестве своей наготы узенький облезлый диван с драной обивкой, висевшей клочьями. Пыль окрасила все предметы в один тон. Казалось, и лицо старика покрыто серым налетом. У него не было ни одного зуба, он все время шевелил языком и жевал дряблыми своими губами. Зато его бледно-зеленые глазки так и бегали, наводя на мысль о тех мышах, что грызли стену.

— Вам, значит, хотелось со мной поговорить, — сказал, усаживаясь, Грульт. — Вот он — я. Что новенького?

Старик тихонько провел языком по деснам и заговорил гнусавым и тягучим голосом:

— Рад вас видеть, любезный господин Грульт. Новенькое, если угодно, и есть, а если угодно, и нет: это уж как столкуемся.

Разговаривая, он не спеша поглаживал седую бороду, будто отсчитывал на волосках свои слова.

Грульт перебил его, нетерпеливо заворчав.

— Эх, боже ты мой, — сказал старик, — и прыткий же вы! Я готов, и это так же верно, как то, что меня зовут Танкредом Релином, а вас — Дезире Грультом, сообщить вам решительно все, что вам может пригодиться. Папашу Релина знают на всем побережье от Карольской косы до Бреальских рыболовных промыслов. Ко мне обращается всякий люд — и мелкота и важные особы. Я обделываю дела всех этих господ. Не далее, как вчера, я добился, чтобы господину де Танкарвилю уплатили по векселю. Ах, любезный господин Грульт, деньги-то были почти пропащие! Господин де Танкарвиль сказал мне, — вот собственные его слова: «А я-то, Релин, собирался векселем трубку разжечь». А на той неделе баронесса Дюбок-Марьенвиль...

Грульт прервал его, ударив кулаком по столу. Релин молча пожевал губами, потом опять заговорил тягучим и гнусавым голосом:

— Займемся, если угодно, вашим дельцем. Я всегда готов вам услужить, и мы наверняка столкуемся. Я вручил вам акт о рождении некоего Сэмюэла Эварта и бумаги, необходимые для установления личности этой особы. Передал я вам документы, любезнейший, из рук в руки, не вникая, какой вам от них будет прок. Все это я сделал из одного только желания угодить вам.

— Дальше, — буркнул Грульт, хмуря брови.

— Погодите малость, — сказал старик нормандец по-простонародному, — погодите.

Он облизнул губы и продолжал:

— Я и не думал доискиваться, какая вам выгода от того, что вы раздобыли бумаги Сэмюэла Эварта; я, любезнейший, человек скромный. Ремеслишко у меня такое, что скромность для него — первейшая добродетель. Но предположите-ка, что Сэмюэл Эварт умер.

— Черт возьми, раз умер, значит уж не вернется, — воскликнул Грульт и расхохотался.

— Погодите, — сказал старик (он разглядывал аккуратный ряд булавок на обшлаге своего сюртука), — погодите. Предположим, что некто владеет заверенной выпиской из акта о смерти — о смерти Сэмюэла Эварта, который умер на Джерсее *, не оставив потомства, и что владелец этого документа может предъявить его в надлежащее время.

Грульт растопырил свои огромные руки. Он пришел в ярость от предательства старого сообщника, который, очевидно, собирался обесценить документы, уже доставленные ему за большие деньги.

— Без хитростей! — грубо крикнул он, — валяйте напрямик!

Старик испуганно заморгал, но продолжал спокойным тоном:

— Сказал я об этом лишь затем, чтобы вам услужить. Да, видно, слова мои вам не по душе. Значит, и толковать больше нечего, — распрощаемся приятелями.

Он поднялся и взял с ветхой конторки орехового дерева кувшин с отбитым горлышком, в котором стоял букет незабудок.

— Смотрите-ка, — сказал старик, ставя кувшин на стол, — они у меня всю весну не переводятся. Всякий раз, как прохожу по Картре — там, по бережку, — я собираю незабудки в канаве, что окружает имение господина де Легля. Соберу букетик и несу его в носовом платке...

Он осторожно провел рукой по голубым цветочкам, стряхивая увядшие лепестки.

— Главное — вырвать стебельки с корнем, — продолжал он, — тогда растение будет жить в воде привольно, будто в земле. Эх, боже ты мой! Нет у меня ни жены, ни ребенка, ни пса, ни кошки, а ведь надо к чему-нибудь привязаться: вот я и люблю цветы.

Грульт его не слушал; он кусал губы и грыз ногти. Вдруг он подскочил на стуле и крикнул:

— Акт о смерти Сэмюэла Эварта у вас. Давайте его сюда, он мне нужен, я требую!

Релин исподтишка взглянул на конторку орехового дерева. И, осторожно подняв кувшин с незабудками, поставил его на место. Потом сел и облизнул губы.

— Погодите, — сказал он, — погодите малость. Акт и у меня и не у меня. Может статься, я и достану его, а может статься, не получу. Давайте-ка рассуждать так, будто у меня есть возможность его получить. Поздненько я узнал, что господин Хэвиленд, — в услужении у которого вы состоите уже немало лет, так ведь? — разыскивает этого самого Сэмюэла Эварта. Разумеется, я подумал и ему тоже оказать услугу, любезнейший. Он порадуется известию о бедняге Сэмюэле, который безвременно скончался на острове Джерсее.

Релин замолчал, чтобы понаблюдать за посетителем и посмотреть, не чересчур ли он его разозлил. Но Грульт преспокойно ответил:

— Если вы хотели отправить акт моему хозяину, надо было поторапливаться. Он либо уже умер, либо скоро умрет.

Ростовщик подпер языком левую щеку и уставился своими зелеными глазками на лакея: в его пронизывающем взгляде уже чувствовалась власть над собеседником. Грульту стало не по себе.

— Ах, бедный господин Хэвиленд! Вот тебе и жизнь человеческая! А почему же вы так уверенно говорите, любезнейший, о смерти своего хозяина? Господи боже! Значит, бывают болезни, об исходе которых знаешь заранее? Что ж, надо нам вернуться к делам. У господина Хэвиленда остались наследники, и как же они обрадуются, когда узнают, что случилось с покойным Сэмюэлом Эвартом. У меня одно-единственное желание, любезнейший, — угождать людям.

Грульт опять успокоился. Гусиные лапки в уголках его глаз заиграли в злорадной улыбке. Он заявил:

— Наследники Хэвиленда не дадут вам и двух су за вашу бумажонку. Нечего сказать, умно сделаете, если пошлете ее наследникам! Что вы этим выиграете? Дайте ее мне. Я даже готов кое-что заплатить вам за нее... чуточку позднее.

— Не горячитесь! Расскажите-ка мне о своем дельце. Старик Релин не болтлив. Узнаю, каковы обстоятельства, пораздумаю.

— Нечего мне вам рассказывать.

— Эх, боже ты мой! Вижу, в чем тут суть. Очень уж вы робки, да я вам помогу. Покойному Сэмюэлу Эварту причитается по завещанию бедного господина Хэвиленда кругленькая сумма. Получив благодаря моим стараниям бумаги, устанавливающие личность покойного наследника, вы подыщите какого-нибудь сговорчивого молодого человека, который согласится за приличную мзду явиться к нотариусу покойного господина Хэвиленда под видом этого самого Сэмюэла Эварта и получит предназначенную Эварту сумму. Эх, боже ты мой! Не отпирайтесь... Чего деньгам зря лежать? Да и все равно уже бедняга Сэмюэл протянул ноги... Но, любезнейший господин Грульт, кто вам поручится за честность такого вот Сэмюэла Эварта? Если он все присвоит, то с его стороны это будет нечестно, вам же — пренеприятно. Надо все предусмотреть. Столько подлости видишь в этом мерзком мире! Пообдумайте все. Будьте благоразумны. Ведь я вам только добра желаю.

Старик облизнул губы кончиком языка, острым, как у ящерицы, и продолжал:

— Предупреждаю — берегитесь. Береженого бог бережет. Я знаком с человеком, у которого находится акт о смерти Сэмюэла Эварта. Он не предатель и не лихоимец. Зла он вам не желает, человек он справедливый. Вот что он поручил мне вам сказать: получайте наследство Сэмюэла Эварта, а когда получите, отдадите мне, как посреднику, достаточную долю для передачи этому самому человеку... не половину, разумеется... нет, это было бы чересчур... вымогать не следует... а просто, как говорится, награду, в размере пятидесяти процентов. Иначе этот человек, вопреки моим советам, огласит акт, которым владеет, а это будет весьма досадно для вас, да и мне неприятно.

Пока он держал эту длинную речь, Грульт отошел в тень и как-то весь подобрался. Вдруг он кинулся на старика, схватил его за горло и крикнул:

— Давай акт, старый лихоимец, иначе задушу!

Он пришел в ярость, встретив непредвиденное препятствие.

Релин, который был так желт, тщедушен и костляв, что, казалось, душа в нем еле держится, напряг мускулы и стал сопротивляться с изворотливостью и силой, говорившей о том, как он наловчился в драках с матросами, которые приносили ему в заклад часы, чтобы раздобыть денег на выпивку. Сопротивление еще сильнее разъярило Грульта, в глазах у него потемнело, и он выхватил нож. То был дешевый, остроконечный нож с самшитовой рукояткой, окованной медными кольцами. Грульт всегда держал его при себе для собственного пользования и для услуг ближнему. Вырываясь из его рук, старик упал, ударился об угол камина и поранил лоб. Грульт не выпустил его, упал вместе с ним и сначала увидел белую царапину, а потом и кровь, выступившую из ссадины. Он так испугался крови и криков Релина, что нанес смертельный удар. Мысль у него работала ясно, и он даже выбрал место для этого удара — вонзил лезвие в грудь старика. С минуту — она показалась ему вечностью — он не замечал никаких перемен. Старик все бился в его руках, поводил зелеными глазами, и, открыв рот, сопротивлялся изо всех сил; но вот прошла эта минута, и он вдруг ослаб, как-то весь обмяк, судорожно сжал и разжал руки, словно пытаясь что-то схватить, и больше не шелохнулся.

Его лицо уже не выражало ярости. Казалось, будто он лукаво улыбается во сне.

Грульт взломал острием ножа замок у конторки орехового дерева и начал копаться в бумагах. Он перебирал документы. Пламя догорающей свечи приплясывало, в наступившей тишине мыши громко грызли пол. Грульт рылся в делах, в связках документов, в папках, в выдвижных ящичках и швырял бумаги на труп. Вдруг яркое пламя осветило комнату. Вспыхнула бумага, которой снизу была обернута свеча. Грульт рылся в конвертах, коробках, старых бюварах, портфелях и кожаных бумажниках. Наконец он обнаружил какой-то гербовый листок, сунул его в карман и облег-

ченно вздохнул. Он дунул на оплывшую свечу, чадившую, как плошка, пламя вдруг вспыхнуло, огонь метнулся ему в лицо, опалил ресницы и потух. Грульт ощупью нашел свою фуражку и вышел из комнаты.

В нерешительности постояв на площадке, он бесшумно поднялся по лестнице на чердак и выглянул в слуховое окно, выходившее на улицу. Увидев отблески света на мокрой мостовой, он понял, что бакалейная лавчонка еще не закрыта. Он спрятался за пустыми ящиками и стал ждать. Долго ждал Грульт; колени у него тряслись, в горле пересохло, виски сдавило, он вздрагивал от каждого шороха. Но вот он решил, что дом и улица заснули крепким сном, привязал к блоку, нависавшему над слуховым окошком, веревку с крюком, которым лавочник подцеплял тюки, поднимая их на чердак, и с обезьяньей ловкостью спустился на улицу.

X

Елена выздоровела и жила одной мыслью: надо быть вблизи Рене, надо удержать его, больше с ним не расставаться. Он станет ее заступником, ее силой. Она надеялась забыть о своих ночных страхах, если он будет тут же, в одной комнате с нею. Она выйдет за него замуж, заживет тихо, уютно, под охраной мужа и отца. С ними было связано все ее безгрешное прошлое. Нет! нет! Дурные сны не подкрадутся к подушке, которую она будет взбивать с такой нежностью.

Она не подозревала, что о ней судачит весь квартал.

Надо сказать, что завещание Хэвиленда, которое нотариус вскрыл и огласил в присутствии наследников, не вызвало никаких осложнений. Покойный оставил в пожизненное пользование Елены Хэвиленд, урожденной Феллер, все свое движимое и недвижимое имущество, которое после ее смерти должно было перейти к Жоржу Хэвиленду или его прямым наследникам, если таковые у него будут.

Завещатель назначил Грульту ежегодную ренту в тысячу двести франков.

Состояние несовершеннолетнего Жоржа Хэвиленда в наличных деньгах, находившееся в управлении завещателя, он препоручал старому и почтенному своему другу, парижскому банкиру Чарльзу Симпсону.

Но Чарльз Симпсон упал с лошади, повредил позвоночник и не мог взять на себя заведование делами, которые хотел ему доверить покойный друг. Узнав об этом затруднении, Феллер вознамерился заменить Чарльза Симпсона.

Он при самых различных обстоятельствах говорил о том, как его тревожат дела несовершеннолетнего Жоржа. Однажды, в конце завтрака, когда ему подали коньяк и сигары, он сказал дочери:

— Я так сочувствую мальчугану, будто он мой родной сын. У меня к нему просто отеческая нежность. С таким чувством не совладаешь.

И он продолжал, положив в кофе целую пирамиду сахара:

— Не знаю, чего бы я только не сделал для этого ребенка!

Господин Феллер смотрел, как рушится сахарная пирамида, и грустно улыбался, словно то рушилась надежда быть полезным Жоржу Хэвиленду, надежда, которую он так лелеял.

Затем он проглотил сироп, получившийся от растаявшей пирамиды, и снова улыбнулся.

Елена смотрела на него тревожно. Она догадывалась о том, что он собирается ей предложить.

Феллер выпил рюмку коньяку и сказал:

— Бедняга Симпсон весьма некстати упал с лошади. Вот она, жизнь человеческая! Еще месяц назад он был здоров, полон умственных сил, а вот превратился в идиота... Я чуточку преувеличиваю, говоря, что он был полон умственных сил. Он никогда не умел поставить дела на широкую ногу. Робкого ума был человек. Никогда не рисковал.

Феллер зажег сигару и напыжился. Он-то умел рисковать!

Елена явно была смущена и не отвечала. Феллер молча курил. Во фраке, безупречно одетый, грузный, окутанный дымом, он казался воплощением легендарного

героя, воспарившего в облака, олицетворением некоего божества финансового мира.

Он заговорил снова:

— Симпсон был человек очень холодный, очень сухой. Еще вопрос, стал ли бы он с истинно отеческим чувством печься о питомце, о нашем Жорже.

Он уже не в силах был сдерживаться и пошел прямо к цели. Он стал диктовать Елене письмо, в котором она предлагала членам семейного опекунского совета назначить своего отца опекуном Жоржа Хэвиленда.

Феллер стоял, закинув голову, и говорил с повелительным видом, протягивая указательный палец к начатой странице:

— Пиши, дитя мое, пиши:

«Я уверена, что мой муж одобрил бы этот выбор...»

Услышав эту чудовищную ложь, Елена помедлила в нерешительности. Но, взглянув на отца и увидев, как безмятежно его лицо, какой убежденный у него вид, каким благородством дышит весь его облик, она покорно написала то, что он продиктовал.

Феллер витал в ясных, безоблачных сферах духовного отцовства и сиял чистым светом.

Он сам отнес письмо на почту. Елена осталась одна, и ей стало стыдно, что она предала умершего. Она подумала: «А вдруг он вернется?..» Ей представилось, будто она видит его, и она действительно его увидела, увидела до ужаса отчетливо. Его непроницаемое лицо хранило тайну его мыслей. Она отлично знала, что все это — игра воображения, но не видеть не могла.

Всю ночь Феллер не смыкал глаз. В его голове, повязанной алым фуляром, беспорядочно сновали мысли. Он ворочался в постели, и на ночном столике красного дерева то и дело звенел стакан, ударяясь о графин, стоявший рядом с подсвечником, трубкой и очками. Серебристый звук вторил его мечтам. Предстоящая роль бескорыстного опекуна наполняла его чувством самоуважения. Но это было не все. Он рассчитывал, что дочь будет безотказно снабжать его

деньгами. Наконец-то осуществится великий его замысел, мечта его жизни: возникнет «Общество взаимного доверия. Ссуды под залог», плод его бессонных ночей, его творение. Государство несомненно даст разрешение, ибо Общество будет основано на солидных капиталах. Список членов правления, выбранных из особ титулованных или награжденных орденами, внушит доверие к его платежеспособности. Тут размечтавшийся Феллер увидел, как под пологом его кровати промелькнула страшная тень «Феникса национальной гвардии».

На лбу у него выступил холодный пот, хотя голова и была обмотана шелковой повязкой. Впрочем, Феллер отогнал докучливую тень и снова стал любоваться картинами будущего. Он придумал для «Общества взаимного доверия» эмблему, которая должна будет произвести на всех большое впечатление: пожатие двух рук в кружевных манжетах. Он уже видел это символическое изображение, напечатанное на циркулярах и проспектах, красовавшееся на билетах, векселях, талонах, чеках, акциях, облигациях, квитанционных книжках и высеченное в исполинских размерах на самом фронтоне каменного дома, занимаемого «Обществом взаимного доверия», близ нового здания Оперы. Ибо «Общество взаимного доверия» не преминет купить участок в самом центре города и выстроить там роскошный дом.

Сквозь оконные занавески проникли первые проблески утра, и господин Феллер увидел неоплаченные счета сапожников и рестораторов, разбросанные по всей комнате.

XI

На следующий день после обеда у Бреваля Лонгмар, завтракая в кофейне, просматривал газету. Он взглянул на столбец хроники, подписанной «Наблюдатель», что, как он знал, было псевдонимом Бутэйе, и нахмурил брови, обнаружив следующую заметку:

«Угасла еще одна своеобразная космополитическая личность. Г-н Мартин Хэвиленд, похороны которого состоялись вчера, собрал в своем великолепном особ-

няке, на бульваре Латур-Мобур, оригинальную коллекцию — несколько тысяч бутылок с водой из рек, речек, ручьев, ключей, источников и водопадов всего мира. Г-н Хэвиленд заслуживал внимания как своими коллекциями, так и благотворительностью. Смерть его, которая весьма огорчит бедняков квартала Дворца Инвалидов, по всей вероятности, вызвана злоупотреблением белладонной, которую он принимал от мучившего его острого ревматизма. Так по крайней мере полагают корифеи науки. Мы счастливы, что, будучи хорошо осведомлены, можем осветить должным образом данное и без того прискорбное событие».

Последние строки заметки привели Лонгмара в неистовую ярость. Он решил исполосовать хлыстом физиономию своего приятеля Бутэйе. «Узнать бы только, где обретается эта образина», — воскликнул он в нетерпении. Рене отправился в редакцию популярной газетки и встретил Бутэйе в вестибюле — он стоял между бронзовой уткой и розовым мраморным голубем: голубь приютился на ящике для рукописей, утка — на ящике для писем. Добродушное и оторопелое лицо толстяка-репортера, доверчиво открывавшего зонт (шел дождь), обезоружило Лонгмара, — он даже растрогался, ему вспомнились времена, когда Бутэйе таскал из его парты переводы и беззастенчиво их списывал. Бутэйе, увидав его, заулыбался и крикнул:

— Дружище, вечером обедаем у Бреваля, решено. А сейчас спешу — главный раввин вступает в должность.

Лонгмар преградил ему дорогу, сунул под нос скомканную газету и сказал:

— Что означает последняя фраза твоей заметки? Кто же, по-твоему, неверно освещает «данное событие»? Что подозревают? И кого подозревают? Отвечай.

Бутэйе вытаращил глаза, глядя на Лонгмара и газету. Потом чистосердечно признался:

— Сейчас расскажу, старина. Вставил я это, чтобы заметка была поострей, вот и все. А сколько тут чувства меры, заметь-ка! Занимательно и ничьему доброму имени не вредит. Вот оно — уменье! Итак, решено, сегодня вечером у Эльдера.

Обезоруженный Лонгмар пожал плечами и повернулся к нему спиной. Его измучили самые противоречивые волнения, и нервы у него были возбуждены. То все его раздражало, то умиляло, и он был в каком-то невменяемом состоянии. Сомнений не было, он любил Елену, и любовь вносила в его душу смятение. Все его способности под влиянием чувства любви обострились, и он за неделю написал статью для «Медицинской газеты», впервые сочинил сонет и неожиданно увлекся какой-то цветочницей — он познакомился с ней на танцах и за несколько дней истратил на нее трехмесячное жалованье. Потом статья, сонет и цветочница показались ему пошлыми и скучными. Он протянул еще с неделю, не находя себе места, и в один прекрасный день отправился в особняк на бульваре Латур-Мобур. Времени прошло достаточно, и приличия позволяли ему выразить вдове соболезнование.

Когда он вновь увидел решетчатые ворота, крыльцо в глубине двора, прихожую с большой изразцовой печкой, ему показалось, что он не бывал здесь целую вечность. Он так устал, будто прожил не одну жизнь.

Он ждал Елену в гостиной несколько минут. Когда она вошла, такая бледненькая и казавшаяся выше в черном платье, ему почудилось, будто он видит ее впервые. И не потому, что она очень изменилась. После болезни, несмотря на муки больного воображения, она пополнела, ее щеки округлились. Просто он всегда, когда видел ее, испытывал упоительное чувство новизны. Из-под белокурых кудрей, спускавшихся на лоб, глаза Елены улыбались неуловимой и очаровательной улыбкой. Она заговорила первая; спросила о каком-то пустяке, и Лонгмар вздрогнул. Ответил он невпопад. Она лучше владела собою и наслаждалась его смущением. Он туманно и бегло коснулся горестных воспоминаний; потом, почувствовав себя непринужденнее, завел разговор о будущем.

Она сказала, что светская жизнь ей уже совсем не нравится. Спросила, что он собирается делать. Он ответил, что ему хочется заняться частной практикой — отец, вероятно, даст ему необходимые средства. Она одобрила этот план, — в Сен-Жаме и в парке Нейи у нее

есть друзья, которые составят молодому доктору избранную клиентуру, — она обещала ему свое покровительство и этим связала его будущее со своей жизнью. Она призналась, что еще не решила, чем заняться. Потом добавила, — сказав из любви к нему неправду, — что наследство Хэвиленда, оставленное ей только в пожизненное пользование, не так велико, ибо часть завещана другим наследникам, и она может оказаться совсем не такой уж богатой, как все думают. И добавила: «Вы не станете меня избегать, если я обеднею?» У него оказалось достаточно такта, и он промолчал. О своей любви они не говорили. Но каждый их вздох был как знойное дуновение. Им трудно было дышать; им казалось, будто они витают в каком-то удушливом, но упоительном тумане. Она сказала, что ее лихорадит. Он взял ее руку, чуть сжал, и Елена не отняла ее. Они не понимали, что с ними творится, им хотелось умереть; но вдруг Елена опомнилась. Она отвела руку. По лбу ее пробежала тень. Она задумалась и сказала:

— Я не раз поступала так, как никогда больше не поступлю. Я лучше, чем жизнь, которую я вела.

Эти слова всколыхнули дремлющие воды их воспоминаний, и Рене отвернулся, сдерживая набежавшие слезы. Теперь она взяла его руку. Из прихожей донеслись чьи-то шаги. «Друг мой, друг мой», — промолвила она... И, не договорив, отошла и села в кресло.

Явился г-н Феллер, о котором оповестил скрип ботинок. Он горячо пожал руку доктору, вспомнил вечера на Новой Полевой улице.

— Мы вас воспитали, выработали ваш характер, — сказал он. — Вы наше детище, Рене. Да что и говорить, в моем доме вам довелось увидеть немало любопытнейших типов. Для вас это было школой наблюдательности. Так, значит, вы пространствовали и повидали чужие края, как лафонтеновский голубок? * Ах, море! Море!

Он заговорил о том, как необъятен, как поэтичен океан, и очень воодушевился. Затем попросил позволения разобрать свою корреспонденцию и написать письма.

Он уселся за стол и принялся читать какие-то бумаги, причем все время брюзжал и ворчал от досады,

а может быть, от пренебрежения. Он старался придать важность себе, своим бумагам, записным книжкам и то прикидывался, что сосредоточенно занимается, то напускал на себя легкомысленное безразличие.

Елена и Рене молча смотрели друг на друга, и больше никто не существовал для них на целом свете.

Но вот г-н Феллер застрочил пером по каким-то бумажонкам, с треском подписался, позвонил, как у себя дома, велел отнести письма на почту и вздохнул полной грудью.

Настроение у него изменилось; он стал милым, простым, чуть насмешливым. Он предложил отправиться на прогулку extra muros [1]. Никто о ней и не узнает. Да это и не развлечение. Надо же где-нибудь пообедать. Отчего не съездить в Медон поесть жареной рыбы?

Всем троим нравилось вот так, без долгих сборов, не приглашая чужих, отправляться за город.

В Нижнем Медоне они вошли в беседку, стоявшую на берегу реки. Развязывая ленты шляпы, Елена грациозным движением подняла руки, согнув их, как согнуты бывают ручки амфоры, и Рене с восхищением смотрел на нее. Белокурые ее волосы примялись на лбу, глаза мягко светились. Елена и Рене обменялись таким проникновенным, таким ясным взглядом, что им показалось, будто они тонут друг в друге. Феллер опять заважничал и, тяжело вздыхая, вспомнил о делах. Он потребовал чернил, бумаги, с большим трудом получил грязный пузырек, заржавленное перо и листок голубой почтовой бумаги, исписал его цифрами и сунул в карман. Потом ни с того ни с сего спросил, не знаком ли его молодой друг с кем-нибудь из тулонских фрахтовщиков. Он так напыщенно выговорил «фрахтовщик», точно всю фразу произнес только ради этого звучного слова; вполне вероятно, что так оно и было. Подали обед. Феллер выжал пол-лимона на жареную рыбу со всем изяществом, на какое только была способна его белая, пухлая рука, с короткими пальцами, унизанными перстнями. Он поглядывал сквозь черепаховые очки на Елену и Рене с затаенным желанием напут-

[1] За городские стены (*лат.*).

ствовать и благословить их, как это делается на сцене. Перед ними, на реке, у самого берега, стояла плавучая пристань.

Узкий длинный островок порос тополями, они стеной закрывали горизонт. Мимо плыла душегубка, а с островка женщины в светлых платьях звали гребцов и звонко смеялись. Закат пылал, на реке дрожали блики света; потом небо и вода померкли; свежий ветерок потянул из темной рощи. Рене снял с вешалки черную шаль и накинул ее на плечи Елены. Феллер сыпал любовными историями и кулинарными рецептами. Он внезапно пришел в восхищение от ландшафта и начал воздавать хвалу провидению. Лонгмар ответил, что природа — арена вечной битвы и что все живое существует за счет убийства.

— Ну, это слишком, — отозвался г-н Феллер.

Все трое были счастливы. Уже начинало темнеть. Они долго просидели бы так, позабыв обо всем на свете, но Феллер вдруг вспомнил о существовании кофейни «Кольмар». Он прикинул, что надо поспешить, иначе не успеешь сыграть партию в биллиард с маклерами и с агентами рекламной конторы.

— Дети мои, — сказал он, взглянув на часы и нахмуря густые брови, — мне пора: очень важное свидание. Да и дождь собирается.

Поднялся ветер. Облака стремительно проносились по небу мимо круглой и красной луны, которую будто мчало в противоположную сторону. Они искали узенькую тропинку, которая ведет в Верхний Медон и к станции. Елена шла под руку с Рене. Ночная полутьма сбивала с пути. Они молчали. Вдруг Елена вздрогнула и сказала:

— Мне страшно.

Навстречу им шел какой-то человек в лохмотьях, высокий, худой, длинноногий. Он приподнял соломенную шляпу, и показалась его худая физиономия, просверленная большими и тусклыми глазами. Он протянул руку и шепотом попросил подаяния. Елена прижалась к Рене и потянула его вперед.

— Вы видели, он похож на... Мне страшно.

Даже Рене стало не по себе. И правда, нищий на-

поминал Хэвиленда; к тому же его угрюмое, костлявое лицо выражало такую безысходную тоску, что в воображении вставали страшные черты Хэвиленда, — не того Хэвиленда, каким он был прежде, а каким он, должно быть, стал теперь, и это было тяжелее всего. Они втроем шли вверх по тропинке, окаймленной живой изгородью и заборами. Камешки катились у них из-под ног. Вдруг Елена остановилась; она вглядывалась в темноту. Рене видел только столб, а вокруг него — заросли крапивы. Но Елена, без сомнения, видела что-то иное. Она вскрикнула и упала навзничь. Феллер хотел ее приподнять.

— Не надо ее трогать, — сказал Рене, склонившись над Еленой.

Она лежала неподвижно, без чувств. Шевелились только губы, а в углах рта появилась пена. Невидящие глаза были устремлены в небо. Очнувшись, она ничего не могла припомнить, но чувствовала, что совсем разбита. Когда они подошли к подъезду особняка, Елена стала просить отца, чтобы он переночевал у нее сегодня. Она говорила, что ей все еще страшно. Она протянула Рене руку, но руку ледяную, напряженную, неживую, и посмотрела на него таким унылым, таким растерянным взглядом, что он был глубоко взволнован.

XII

Елена была напугана, все время жила в страхе. Боялась она всего: визитеров, которые приходили к ней, и тех, которые не являлись, хотя она их ждала, боялась шума, тишины, роскошных своих комнат и даже улицы. Она вздрагивала, если встречала знакомых. Прежняя ее подруга по пансиону, Сесиль, которая уже давно вышла замуж за финансиста, приехала с визитом в роскошном наряде. Гостья жеманилась, болтала о пустяках, но чувствовалось, что она сгорает от любопытства, а это было для Елены пыткой. Заметка «Наблюдателя» подстрекнула любопытство Сесиль, однако она поняла, что ей придется уйти, ничего не выведав.

Она уже поднялась и вдруг, передумав, сказала:

— У журналистов совсем нет здравого смысла. Кто же это написал, будто ужасное несчастье, постигшее вас, душечка, изображают в каком-то особом свете?.. Впрочем, я не совсем хорошо представляю себе, что под этим подразумевается.

Елена растерянно ответила:

— Я вас не понимаю... Уверяю вас, я…

Она остановилась, чуть не совершив непоправимую оплошность. Ведь она собиралась отстаивать свою невиновность!

Елена велела отыскать газету с заметкой, прочла ее и потеряла сон.

Тем временем авранШская прокуратура тщательно вела следствие по одному уголовному делу. Некий Релин, ходатай по делам, пользовавшийся довольно скверной славой, был убит у себя дома, на улице Жевр, в Гранвиле. Сначала подозрение пало на портового грузчика, пьяницу и гуляку, заходившего к Релину около пяти часов вечера накануне того дня, когда был обнаружен труп. Лавочник, живший в первом этаже, видел, как грузчик спускался по лестнице и, казалось, был чем-то страшно рассержен. Его долго допрашивали, но признали невиновным и освободили. Судебному следователю пришлось опять предпринять розыски, и он снова обследовал место преступления. Он заметил, что документы, которые преступник вытащил из конторки и, наспех перелистав, бросил на труп, лежали отдельными пачками, причем каждая пачка была в бумажной обложке с фамилией и адресом. Груду бумаг предусмотрительно оставили на месте в том виде, в каком нашли. Тело жертвы вытащили из-под бумаг с тщательными предосторожностями. Одну из обложек убийца бросил поверх других, следовательно, в конце поисков, — она оказалась пустой. На ней была надпись: «Грульт, лакей Хэвиленда, проживает в Париже».

На фамилию Грульт натолкнулись еще раз, уже не в Гранвиле, а в Авранше, при проверке книги для приезжих на постоялом дворе «Красный конь». Грульт еще жил там, когда отдано было распоряжение об его аресте; его задержали.

Елена узнала об этом из газет после ужасной ночи. Ей пригрезился *он.* Видение было жуткое; он стоял перед ней, ни в чем не упрекая ее, в нем не было ни вражды, ни гнева. Но он явился Елене таким, каким его создало ее воображение, в своем новом страшном облике. Как жить, если он будет приходить каждую ночь?

К завтраку приехал Феллер. Она бросилась к нему с безумной нежностью и страхом, умоляя его о чем-то взглядом. И обняла его так крепко, что он сказал:

— Да что с тобой? Ты мне делаешь больно.

Затем он заявил, что никогда не доверял Грульту, — это было поистине неожиданное открытие. Он говорил, что преступление негодяя бросает его в дрожь, но что ночью ему пришла в голову некая мысль, снизошло наитие. Он решил разыскать Сэмюэла Эварта. Сегодня утром он уже отправил письмо по этому поводу во французское посольство в Англии. Он будет продолжать поиски. И в эту минуту острый его взгляд словно собирался просверлить карниз.

Елена жестоко страдала, видя, как отец увлечен делами умершего. Она сказала:

— Папа, а не хотелось бы тебе уехать с дочкой куда-нибудь далеко-далеко?

— Куда же? — спросил он испуганно и добродушно.

Мысль о том, что придется покинуть кофейню «Кольмар», казалась ему самой дикой и чудовищной нелепостью на свете. Он пришел в себя от изумления, поцеловал Елену в лоб и шепнул:

— Ты еще дитя!

Затем, из врожденной склонности к легкому решению всех жизненных вопросов и по бестактной доброте, он, сказал, рассчитывая, что его слова удержат молодую вдову в Париже:

— Наш друг Лонгмар будет безутешен, если ты уедешь.

Но она возразила строгим тоном, что г-н Лонгмар должен думать о браке с молоденькой девушкой и, сложив руки, воскликнула дрогнувшим голосом:

— Господи, господи, как безжалостна жизнь!

Отец сжал ее руки и ответил своим сочным голосом:

— Кому ты говоришь это, дитя мое!

Разложив на столе шагреневый портфель, он скрылся от нее в дыму толстой сигары и начал составлять докладную записку о Сэмюэле Эварте, пропавшем без вести.

С этого дня угрызения совести и страхи Елены начали усиливаться без всякой видимой причины, только из-за игры ее больного воображения. Все чаще, все явственнее становились ее бредовые видения. Ей приходилось напрягать мысль, чтобы отличать их от действительности.

После допроса Грульта было отдано распоряжение произвести обыск в квартире обвиняемого. Однажды утром в особняк явился полицейский комиссар в сопровождении слесаря. Г-же Хэвиленд доложили, что комиссар рассматривает бумаги во флигеле и просит хозяйку через час-другой уделить ему минуту для беседы. Эта весть сразила Елену. Она отчетливо видела, что у нее в комнате сидит муж, обезображенный тлением, но в безукоризненном костюме, невозмутимый и довольный. Она видела, как он перелистывает какой-то журнал с безмятежным видом, будто человек, вернувшийся домой. Глаза его вытекли, в орбиты набилась земля, но он заметил ниточку на скатерти и осторожно снял, как всегда это делал, когда был жив; потом он исчез. Тут Елена испугалась другого. Она была так не искушена в жизненных делах, что вообразила, будто правосудие станет ожесточенно преследовать ее, заставит признаться в самых сокровенных мыслях и отправит на эшафот вместе с Грультом. Ей приходило на память все, что она читала о казни Марии-Антуанетты. Она уже чувствовала, как к ее затылку прикасаются холодные ножницы палача. Она обезумела от ужаса. Шуршание собственного пеньюара доводило ее до полуобморочного состояния.

Около десяти часов она услышала, как хлопнула дверь. Она распахнула окно, не зная зачем — покончить ли с собой, убежать ли. Оказалось, пришел из коллежа ее племянник Жорж. Он сердито швырнул книги на стол, случайно взглянул на Елену и воскликнул:

— Какие у тебя сегодня большущие глаза!

Он раскрыл книгу, собираясь по обыкновению позаняться до обеда, и, надув губы, как подобает всем школьникам-лентяям, стал жаловаться, что очень уж много задано по греческому языку на завтра. Он сел на самый кончик стула, поджав под себя ногу, облокотился о стол и начал нехотя листать словарь. Переводил он, хотя и кривлялся, довольно хорошо. В тетради делал множество клякс и слизывал их языком.

Елена, оцепенев, прислушивалась к каждому звуку и вздрагивала, когда мальчик стучал ногой о перекладины стула. Он подражал строгому и выспреннему тону учителя:

— Обратите внимание, господа, на гармонию стихов Софокла. Мы не знаем, как их произносили, и произносим их как попало, но все же какая гармония! Господин Лабрюньер, вы проспрягаете десять раз глагол «δίδωμι». Какая гармония!

Затем он заговорил обычным своим звонким голоском:

— Тетя, ручаюсь, что наш учитель носит картонные воротнички. Мы зовем его Пифоном *. Знаешь, почему? Как-то он нам сказал: «Господа, Пифон был безобразным, отвратительным и на редкость злобным чудовищем». А Лабрюньер взял да и крикнул из-под парты: «Совсем как вы». Лабрюньер молодчина! Знаешь, тетя, ведь ты — красавица!

Затем его мысли, после стольких скачков, остановились на греческом тексте. Он переводил слово за словом, громко выговаривая греческие, а за ними французские слова, которые и записывал, то и дело умолкая, чтобы пересчитать игральные шарики; его голосок серебристый, как крик свиристели, звенел в комнате:

— Κάρα θεῖον — божественная голова, Ἰοκάστης — Иокасты *, τέθνηκεν — мертвая... Как глупо!.. Она пошла... πρὸς τὰ λεχη νύμφικα — брачные покои... то есть в спальню... Заметьте, господа, какое удачное выражение! А какая гармония!.. Σπῶσα κόμην — рвала на себе волосы, καλεῖ — призывала, Λάϊον — Лайя, νεκρόν — мертвого. Видишь ли, тетя, по-французски это слово означает проповедь, а по-гречески — имя старичка, за которого вышла замуж Иокаста, ну,

а брак не удался. «Она рвала на себе волосы и призывала мертвого Лайя...»

В этом греко-французском бормотании Елена узнала древнюю и возвышенную повесть о женщине, доведенной до отчаяния.

Мальчик, радуясь, что скоро конец, торопился: — Ἐσείδομεν τὴν γυναῖκα κρεμαστήν — мы увидели женщину, которая повесилась. — Он сделал росчерк, продырявив пером бумагу, показал язык, лиловый от чернил, и запел: — Повесилась! Повесилась! Я кончил!

Елена встала, выпрямилась и пошла к себе наверх такой спокойной, такой уверенной, такой твердой походкой, что казалась олицетворением Неизбежности.

Она закуталась в темную шаль, опустила на лицо вдовий креп и сошла вниз по черной лестнице.

XIII

Улица ослепила Елену, и она пошатнулась. В то утро воздух был пронизан каким-то рассеянным, странным светом. Он заливал все вокруг, и каждый предмет выступал с невероятной четкостью. Экипажи, деревья, газетные киоски и прохожие даже издали виднелись до того отчетливо, словно были совсем рядом. Такая прозрачность воздуха угнетала Елену — она ни на что не смотрела, но все видела. Самые безразличные для нее вещи — номера фиакров и буквы на вывесках — до мелочей запечатлевались в ее глазах и утомляли больные нервы. Все, что она видела, как будто насильственно врывалось в нее и причиняло боль. Ей хотелось вернуться домой, но остановиться она была не в силах. Нет, никогда, ни у одного живого существа не был еще так подавлен рассудок. И она шла вперед, словно приняв бесповоротное решение. Ею владела лишь одна мысль, простая, ясная и непреложная, исключавшая все остальное. Елена шла, даже не сознавая, что она идет, как будто ее несли крылья; она чувствовала страшную слабость,

потеряла всякую волю. Она шла. Впереди семенила девочка, несла ребенка и кружку с молоком. Елена следила, как белые капли сбегают на плиты тротуара. Все душевные силы, уцелевшие в ней, сосредоточились на этих каплях. Капельки все падали и наводили на нее необъяснимую тоску.

Она вышла к набережной, и перед ней открылся широкий простор; свет дробился на поверхности реки, прохладный ветерок рябил воду; Елена глубоко вздохнула. Она постояла в нерешительности, потом свернула направо и продолжала свой путь. На набережной д'Орсэ благоухали цветущие сады. Она все шла.

От Паромной улицы до Королевского моста ей мешала идти вереница экипажей, омнибусов, куда-то спешивших людей, проворных мастериц. Она перешла мост, не глядя на воду, еще раз повернула направо, спустилась к берегу по сходням, над которыми склонились ивы, пробралась в купальню, и там ее обдало запахом горячей воды и дегтя.

Служанка в белом переднике приготовляла ванну; Елена терпеливо ждала, покусывая ручку зонта. Она была очень спокойна. Она вошла в кабину и сказала, что позвонит, когда понадобится халат.

Дверца за ней закрылась, и она тотчас же раздвинула коленкоровые занавески, резким толчком распахнула окно, вздохнула полной грудью. Сена катила мелкие, искристые волны. С плавучей прачечной, причаленной к другому берегу, долетали глухие удары вальков. Из-за пестрой ограды мужских купален несся гул.

Елена смотрела на яркий пейзаж беспечным и как будто довольным взглядом. Черная кашемировая шаль обтягивала ее плечи, вдовий креп, откинутый на шляпу, зловещим облачком колыхался у нее над головой, она была хороша, как никогда, и вся дышала тихой негой. Все ближе и громче раздавался шум пароходного винта. Понтон купальни слегка качнуло, и речной пароходик, идущий в Пуэн-дю-Жур, проплыл так близко, что она услышала голоса пассажиров. Двое развязных молодчиков, облокотившиеся о перила палубы, с вожделением посмотрели на Елену, конечно мысленно раздевая ее.

Она их заметила. Она услышала, как старший, блондин с угреватым лицом, сказал приятелю:

— Хороша! Вот бы...

Но пароход уже шел, опустив трубу, под аркой Королевского моста.

Уголки ее губ дрогнули от усмешки, то ли презрительной, то ли довольной.

Она была спокойна; ее блуждающий взгляд был кроток, безмятежен. Она подняла прекрасные свои руки плавным движением, которое пленило бы многих мужчин, провела ладонью по лбу. А потом с безразличным видом отвернулась от всего окружающего и затворила окно. Был полдень.

В два часа она еще не позвонила. В десять минут третьего служанка, удивленная тем, что ее так долго не зовут, приоткрыла дверь кабины и спросила, не нужны ли ее услуги.

Ванна была пуста, зато против двери, между окном и зеркалом, висело что-то большое, черное.

Девушка выбежала и стала звать на помощь.

Елена Хэвиленд повесилась, привязав к крюку галстук своего племянника. Она не рассталась с той черной шалью, которую накинул ей на плечи Рене в беседке месяц тому назад, когда они ездили в Медон. Ее колени были подогнуты, а носки туфель касались пола. Стул, видимо, умышленно был поставлен слева и чуть отклонял тело в сторону, не давая упереться в пол. Голову закрывал вдовий креп. Его приподняли. Лицо распухло, изо рта высунулся черный, вздувшийся язык.

Полицейский комиссар, вызванный на место происшествия, сделал такое замечание:

— Немало видывал я женщин-самоубийц, но в первый раз вижу удавленницу.

XIV

Ужасный и необъяснимый уход из жизни любимой женщины сразил Лонгмара, хотя сначала он и не казался удрученным. Он со страстью занялся медициной. Но стал угрюмым, суровым, грубым. В нем по види-

мости осталась лишь одна хорошая черта: он был добросовестным и дельным врачом. С друзьями он ссорился, цинично относился к женщинам и, оттолкнув всех, кто его любил, остался одиноким. Раздражительность его доходила до того, что он не мог позавтракать в молочной, не поссорившись с официантом, хозяином и кассиршей.

Из-за какого-то бестактного замечания главного врача госпиталя он подал в отставку и в один прекрасный день очутился у своего отца, в глухом уголке, в Арденнах, без книг, без белья, не бритый целых три недели и хмурый.

Бывший дорожный смотритель, сухонький старичок, подстригал деревья, разливал вино в бутылки, чинил расшатанные половицы в комнатах, колол дрова, суетился и ко всем житейским делам относился весьма серьезно. Он пожимал плечами, видя, что его сын целыми днями валяется в саду с потухшей трубкой в зубах и в рваной соломенной шляпе, надвинутой на нос.

Как-то после обеда он признался сыну, что у него на руке «шишка» и что хотя она и не болит, но, сдается ему, растет. Он спросил, как ему быть.

— Никак, — ответил Рене, повернувшись спиной к возмущенному старику.

Часто старик с заступом или с садовыми ножницами в руках будто случайно проходил мимо копны сена, где валялся его сын. Иной раз он говорил:

— Если ты болен, ложись в постель.

Или же:

— Если кто-нибудь придет, прошу тебя, держи себя иначе. Ради твоего же блага говорю.

Рене завел привычку после еды выходить из дома. Уходил он неподалеку и ложился на крутом берегу речки под кустами дикого дрока. Он даже не мечтал. Все ему казалось тягостным, нелепым, скверным; в его печали не было ни прелести, ни красоты. Он пробыл в таком состоянии несколько недель.

И вот однажды, до одури зевая на берегу, он увидел гурьбу детей — они купались голышом в речке и неловко, но все же грациозно переступали с камня на

камень. Русоволосые, румяные малыши хохотали, перекликались, сталкивали друг друга в воду, кричали и плескались, внося оживленье в суровый пейзаж. Лонгмара вдруг осенила удачная мысль. Он кликнул ребятишек, но они бросились от него врассыпную, скользя и цепляясь за мшистые камни, и даже не думали подходить. Какой-то мальчуган притаился под скалой, нависшей над речкой, воображая, что его не видно. Рене поймал его врасплох и вытащил из норки, как угря. Очевидно, лицо у Лонгмара было не злое, потому что малыш перестал его бояться.

— Послушай-ка, звереныш, — сказал доктор. — Хочешь заработать новенькие су? Принеси мне лягушек. Ты, наверное, умеешь ловить лягушек. Я живу вон там, у папаши Лонгмара.

Ему притащили лягушек, и он заперся в комнате, сразу пропитавшейся едким запахом аптеки и табака. Старик Лонгмар, выпалывая цветочные грядки, с довольным видом поглядывал на слуховое оконце, откуда свисала латунная проволока, а на ней — грозди искалеченных лягушек. Теперь, когда сын стал заниматься, старик проникся к нему благоговейным уважением. Он старался сделаться совсем незаметным, ходил по дому на цыпочках, запрещал служанке приводить в порядок постель наверху, пока г-н Рене занимается.

Как-то за столом, чистя грушу, он сказал сыну:

— Не могу ли я тебе помочь выделывать лягушек? Хочешь, например, я построгаю дощечки? Я мог бы их покрасить и даже наклеить слой мелкого песка.

— Наклеить песок на дощечки? Зачем?

Старик объяснил: он думал, что сын делает чучела лягушек и мастерит из них всякие штуки.

— Видел я в Париже, — сказал он, — в зоологических магазинах чучела лягушек, и сделаны они были отменно; одни будто дрались на дуэли и держали крохотные деревянные шпаги, а другие играли в пикет малюсенькими картами; были еще и лягушки, которые сидели в беседке и пили из кукольных стаканчиков. Ловко придумано! Вот я и решил, сынок, что ты мастеришь вещицы в эдаком же роде.

Старик разочаровался, узнав, что сын занимается опытами. По его мнению, такое ребячество простительно было только школьнику. Он снова стал мрачен и, когда, работая в саду, окидывал дом хозяйским взглядом и замечал лягушек, свисавших из окошка, сокрушенно качал головой.

Однажды утром Рене объявил отцу, что уезжает. Прощаясь, оба говорили отрывисто, какими-то сиплыми голосами, с бесстрастными, напряженными лицами — в их расставании чувствовалась угрюмая решительность.

Но пока старик отец, подъезжая к дому, плакал, сморкаясь в клетчатый платок, сын лежал на скамейке в вагоне третьего класса и, раскуривая трубку, смахивал с глаз слезы.

В Реймсе в его купе сели два молодых человека, по виду приказчики. Один из них читал «Пти-Журналь» и делился с приятелем важнейшими новостями:

— Министерский кризис продолжается... Взрыв, происшедший в квартале Гро-Кайу, вызвал смятение... Некий Грульт (Жюст-Дезире) казнен в шесть часов утра, в Гранвиле, на Рыночной площади.

— А что он натворил? — спросил другой.

— Убил какого-то старика. Обвиняли его и в том, что он отравил богача-англичанина, но второе преступление на суде доказано не было. Да разве ты не помнишь дела Грульта?

— Нет, — ответил молодой человек. И, помолчав, добавил: — А подробности есть?

Они прочли вполголоса: «В четыре часа утра роковой механизм...» Остального Лонгмар не слышал.

Молодой человек сложил газету и сказал:

— До последней минуты он уверял, будто убил свою жертву не преднамеренно. Все равно, негодяй он был отъявленный... Знаешь, я не прочь закусить, а ты?

Лонгмар жил в Париже, не выходя из какого-то тупого оцепенения. У него еще осталось несколько сот франков от жалованья, полученного в Кохинхине, они избавляли его от трудов. Вставал он в полдень, отправлялся в Люксембургский сад и сидел там на скамейке, глядя, как осенний ветер взметает опавшие листья.

Он сидел, подперев голову руками, сидел так долго, что на щеках у него появлялись отпечатки кулаков. Когда наступили холода, все чувства в нем замерли. Зимние дни он проводил в маленькой, душной кофейне, даже не проглядывал журналов, даже не играл на биллиарде. Как-то весной он встретил там своего знакомого, Нуйака. Этот толстый волосатый человек, выходец из крестьян, получил изрядное наследство от своего покойного папаши, овернского земледельца, и проматывал деньги, сочетая ненасытность обжоры со скаредностью крестьянина. Но теперь, к сорока годам, он немного остепенился.

У себя в родных краях он купил всеми забытый горячий источник с запущенной водолечебницей и сейчас думал лишь о том, как бы привлечь туда больных. Карманы у него были набиты пузырьками с минеральной водой и проспектами, украшенными заставкой с изображением римских бань и пруда XVI века, который срисован был со старинной миниатюры.

Он протянул Лонгмару бутылочку, говоря:

— Теплая, сернистая, хлористая, щелочная, мышьяковая, йодисто-бромистая и насыщенная углекислым газом.

Потом он начал пространно рассказывать о своем предприятии.

Водолечебница находилась в пятидесяти километрах от Клермона, на берегу озера, у подножья бесподобной базальтовой горы, возвышавшейся, словно пирамида. В деревне жили пятнадцать—двадцать пастухов и около тридцати мужчин и женщин, изуродованных зобом.

Нуйак получил в наследство от отца три-четыре лачуги, собирался их выкрасить, обнести забором и превратить в коттеджи для приезжающих. В гостинице «Цезарь», стоящей против лечебного заведения, пожалуй, поместится тридцать — сорок приезжих. Позже надо будет подумать и об устройстве казино. Начать придется с малого, а там, в будущем, как знать... В заключение он спросил, не хочет ли и Лонгмар принять участие в этом деле.

— Приезжайте, — сказал он, — будете у нас врачом.

Нуйак питал к медицинским способностям бывшего военного хирурга глубочайшее уважение, вызванное единодушным мнением их общих приятелей. Все друзья признавали, что у Лонгмара глаз и рука выдающегося хирурга.

Лонгмар отвечал:

— Ваш источник в захолустье. Никто туда не поедет, разве что несколько золотушных иностранцев, которые там вконец заплесневеют. Я поехал бы лишь при одном условии, что буду жить там зимой и летом.

Он сразу согласился на скудное жалованье, предложенное Нуйаком, твердо уверенным, что доктор его водолечебницы будет вознагражден многочисленной клиентурой, которая будет стекаться на курорт со всего света.

На следующий день Лонгмар объехал весь Париж, покупая одежду, инструменты и книги. Часов в пять вечера, проходя по авеню Елисейских полей, он остановился около открытого кукольного театра. Зеваки в три ряда налегали на канат, протянутый между стволами деревьев и отделявший места, где сидели платные зрители.

Детишки стояли позади нянек, уныло созерцая их юбки да ноги какого-нибудь военного.

В толпе зрителей, но чуть в стороне, Лонгмар увидел сгорбленного, грузного старика, заплывшего нездоровым жиром, на его бледном лице застыло выражение скорбного безразличия. Сюртук его порыжел на воротнике и плечах, сзади вздернулся, а передние полы свисали клином. Старик смотрел на кукольное представление, вернее, его взгляд, устремленный в ту сторону, блуждал между небом и землей с выражением, присущим только ему одному.

Лонгмар с волнением узнал Феллера де Сизака, и воспоминания всколыхнулись в его душе.

Феллер пожал ему руку, хотел что-то сказать, но не нашел слов. Лонгмар с какой-то особой жалостью, с внезапной нежностью сказал ему:

— Поедемте со мной.

— Охотно, — ответил Феллер. — Сегодня вечером у меня нет никаких дел.

Он сказал, что живет на улице Трюфо, а это — в конце Батиньоля.

— Конечно, далековато от центра, — добавил он, — но, знаете ли, при трамвайном сообщении...

Уже стемнело, когда они уселись в закопченном кабачке, на улице Монмартр. Они смотрели друг на друга в каком-то изумлении и не могли отдать себе отчета, день ли, век ли прошел с тех пор, как они виделись в последний раз.

О ней они не говорили. Но обоим казалось, что она тут, рядом.

Лонгмар, раскалывая орехи, сообщил, что уезжает в Мон-Дор, рассказал о том, что будет там делать. Он повторил просто:

— Поедемте со мною.

Старик испуганно вытаращил глаза и воскликнул:

— Бросить Париж! Немыслимо! А дела? Жизнь кипит только в Париже.

Лонгмар, охваченный жалостью, все же не мог не улыбнуться:

— Едемте! Там вы будете инспектором, контролером, распорядителем.

Такие чины вскружили голову бедному старику, и он заявил, что хотя его содействием уже заручилось одно предприятие, в котором... и для которого... но если он, как человек опытный, может принести некоторую пользу... Они условились встретиться на следующий день. Лонгмар шел по мосту и думал:

«Чувство это сильнее меня, мне все представляется, что он мой тесть».

Курортный сезон прошел для Нуйака не так уж плохо. На воды приехали лечиться несколько русских и одна семья из Лиона. Г-н Феллер похаживал у источника и пробовал воду с видом знатока. Чем он в, сущности ведал — было неизвестно. Разумеется, Нуйак не принял бы Феллера на службу. Однако он платил ему — но деньгами Лонгмара.

— Постарайтесь уверить старика, будто вы платите ему жалованье, — попросил Нуйака доктор, — и

главное, не говорите, что он получает мое. А я обойдусь.

Он дал несколько советов русским, его вызывали в горные селенья, когда гуляки, выходя в воскресенье из кабака, ухитрялись вывихнуть себе ногу. Но вот улетели ласточки, уехали и путешественники, только не стаей, а парами или в одиночку, друг за другом.

Пришла зима. В долине лежал снег. На гранях порфировых глыб и в расщелинах, черневших между гранитными скалами, висели, как сталактиты, огромные ледяные сосульки. На склонах стояли величавые ели, смутно рисуясь в тумане, будто призраки. Море тьмы заслоняло горизонт. Со стен водолечебницы, расписанных красными и коричневыми фресками в античном вкусе, чешуйками отпадала краска. Напротив ванного заведения, в зале нижнего этажа гостиницы «Цезарь», г-н Феллер играл в домино с хозяином номеров. Лонгмар курил трубку, положив ноги на решетку камина. Он пощупал себе пульс на левой руке большим пальцем правой и пробормотал:

— Жар, тяжесть и острая боль в подвздошной области, кашель, подавленность, невралгические боли в правом плече. Все признаки налицо: у меня явное воспаление печени.

И впервые за целый год, четыре месяца и шесть дней он улыбнулся.

ТОЩИЙ КОТ

Перевод *А. А. Худадовой*
под редакцией *Е. А. Гунста*

I

Порывистый ноябрьский ветер три дня подряд хлестал по людному предместью, сейчас окутанному сумерками. В лужах дробился свет газовых рожков. Прохожие и лошади месили ногами черную грязь, покрывавшую тротуар и мостовую. По улице шли мастеровые с инструментами за плечами, женщины несли из харчевен жаркое в мисках, прикрытых тарелками; все шагали, подставляя спину под дождь и понурив голову, будто вьючные животные.

Господин Годэ-Латеррас, облаченный в узкий черный костюм, вместе с толпой взбирался по грязной улице к вершине Монмартра. Зонт, уже давно истерзанный бурями, трепетал над гордо вскинутой головой г-на Годэ-Латерраса, подобно крылу большой подстреленной птицы. Нижняя челюсть г-на Латерраса выдавалась вперед, а лоб был скошен, поэтому он без труда мог придавать лицу горизонтальное положение и, не поднимая глаз, взирать сквозь дырочки в щелке на темные тучи. То шагая с лихорадочной поспешностью, то выступая с задумчивой медлительностью, он очутился в глухом, грязном закоулке. Он прошествовал мимо ванного заведения, вдоль решетчатой изгороди, окаймленной мокрыми голыми кустами, и, чуть помедлив, вошел в дешевую кухмистерскую, набитую посетителями,

которые тоже одеты были в черное помятое поношенное платье и молча ели, вдыхая кухонный чад и омерзительный серный запах, напоминавший о соседстве ванного заведения.

Господин Годэ-Латеррас поклонился буфетчице, сидевшей за стойкой, как умел кланяться только он, — запрокинув голову и с достоинством улыбнувшись. Повесив на крючок потертый и помятый цилиндр, он сел к засаленному мраморному столику и пригладил волосы, как обычно это делал, когда размышлял. Газ со свистом горел в лампе, освещая его лохматую гриву и характерное для мулата лицо, как будто вылинявшее под снегом и дождями европейских зим и словно запачканное, и его морщинистые руки с плоскими ногтями, усеянными молочно-белыми пятнышками.

Не подозвав официанта, не взглянув на буфетную стойку, он вынул из кармана газету, закинул голову и погрузился в чтение. Нехотя он оторвался от газеты и принялся за телячий студень, который уже отведали остальные, тихие и смиренные посетители. Они расходились, исчезая во мраке за сплошной завесой дождя. Только какой-то угрюмый беззубый господин все еще жевал изюм. Мулат допил вино из графинчика, на дне которого остался густой осадок и кусочки пробки, вытер губы, свернул салфетку, сунул газету в карман, прижав ее к груди, словно борец — своего противника, затем поднялся, снял с вешалки цилиндр и шагнул к двери. Он уже ринулся было в сырую мглу ночи, но тут из двери, дочерна измазанной грязными руками, прихрамывая выполз краснолицый, лоснящийся от жира человечек. Г-н Годэ-Латеррас приветствовал хозяина харчевни на свой лад — запрокинув голову.

— Здравствуйте, господин Годэ, — сказал толстяк. — До чего же дрянная погода и сколько от нее вреда! Кстати, господин Годэ, сделайте одолжение, дайте мне завтра немного денег в счет долга. Сами знаете, не в моих привычках досаждать людям, да у самого большой платеж на этой неделе.

Годэ-Латеррас, картавя, отвечал с какой-то детской наивностью и риторической напыщенностью, что ему должны заплатить, что завтра же он непременно потре-

бует некоторую сумму у своего издателя или в редакции газеты, что он просто ума не приложит, как мог он запамятовать о своем долге, но что все это — сущие пустяки.

Толстяк не проявил ни малейшего восторга, выслушивая эти обещания. Он протянул жалобным голосом:

— Не забудьте же обо мне, господин Годэ. До свиданья, господин Годэ.

И г-н Годэ-Латеррас юркнул в рассеченный дождем мрак, где исчезли, все до единого, тощие завсегдатаи глухого Купального тупика. Он волен был идти куда глаза глядят. И побрел к Монмартрской возвышенности, осажденной бурей и залитой дождем. Пронесся вихрь и чуть не сбил мулата с ног; предательский ветер ринулся под зонт и вывернул его наизнанку. Г-н Годэ-Латеррас попытался возвратить этому ценному и полезному приспособлению свойственную ему округлую форму, но шелк оторвался и черным флагом повис на остове зонта. Г-н Годэ-Латеррас карабкался, осененный этим нелепым и мрачным стягом, по ступеням крутой лестницы Котэнского прохода, превратившегося в бурный поток. Он слышал только, как булькает вода под его ногами и как таинственно шушукаются ветры. Смутные тени некоего издателя и некоего редактора, известных лишь одному ему, маячили где-то очень далеко. Он одолел восемьдесят ступеней и остановился перед узкой дверью, освещенной висячим фонарем, который со скрипом раскачивался на перекладине и мигал будто подслеповатый глаз. Г-н Годэ вошел в дом и тихонько прокрался мимо швейцарской.

Но кто-то постучал в перегородку, и ему пришлось вернуться. С замиранием сердца отворил он стеклянную дверь. Из каморки послышался чей-то угрюмый голос, не то мужской, не то женский, и сообщил, что на комоде лежит письмо на его имя.

Мулат взял письмо, спустился по пяти осклизлым ступенькам и вошел к себе в комнату. Он зажег свечу и стал настороженно рассматривать конверт.

Дело в том, что почта уже давно не доставляла ему приятных вестей. Но когда он распечатал письмо и начал читать, его белые зубы блеснули в простодушной

улыбке. Детская его душа приуныла в нищете, но готова была воспрянуть при малейшей удаче. И сейчас г-н Годэ вновь обрел жизнерадостность.

Он вывернул карманы, наскреб немного табачной пыли, перемешанной с хлебными крошками и шерстинками, и набил коротенькую трубочку; затем с удовольствием лег на диван, покрытый грязною простыней, и стал нараспев читать письмо, которое его так обрадовало:

«Сударь,
я проездом в Париже; привез своего сына, Реми, из Нанта, где он учился. Вспомнил о вас — не согласитесь ли вы подготовить его к экзамену на бакалавра. В области образования, как и во всем остальном, я сторонник передовых идей. Не угодно ли вам позавтракать с нами в субботу, в одиннадцать часов, в «Гранд-отеле»? Тогда мы и поговорим о делах. Преданный вам

А. Сент-Люси».

Господин Годэ-Латеррас, пропев письмо, зажег трубку и погрузился в волны дыма и грезы. Неожиданное письмо было даром судьбы. Незадолго до падения Империи * он познакомился в Париже у одного из видных представителей демократических кругов с г-ном Сент-Люси, который даже ответил на его визит. «В те времена, — вспоминал мулат, — я писал статьи для Большой всемирной энциклопедии. Тогда я снимал превосходно обставленный номер в гостинице на улице Сены. Пожалуй, у меня где-то хранится визитная карточка любезнейшего этого господина». Он протянул худую смуглую руку, нащупал на камине старую коробку из-под сигар, набитую бумажками, и стал их перебирать.

Очевидно, готовясь переезжать с квартиры на квартиру, он высыпал в коробку все, что было в ящике письменного стола, наполнявшегося исподволь, ибо сверху оказались бумаги более давних лет. Он открыл конверт, вызвавший в нем далекие, смутные воспоминания: «Э, да это письмо братца, который торгует кофе в Сен-Поле, — подумал он. — Его-то не влекло

в Париж; он не одержим Идеей, не то, что я!» И г-н Годэ-Латеррас прочел первое, что попалось ему на глаза:

«Вероятно, ты знаешь из газет, что над Бурбоном пронесся циклон * и уничтожил все плантации. Я влип в скверную историю. А ты по-прежнему тискаешь вздорные статейки в парижских газетках?»

— Жалкая личность, жалкая! — прошептал г-н Годэ-Латеррас, облокотившись на подушку. И, развернув еще одно письмо, написанное тем же почерком, прочел:

«Послать тебе денег не могу: у нас на острове большой урожай кофе, пришлось потратить все средства и закупить его по сходным ценам — на рынке было полно кофе и продавался он по дешевке. Дельце состряпал выгодное. Сам понимаешь, нет у меня возможности послать тебе денег. Из Парижа вернулся Дюран и сообщил, что ты принимаешь участие в уличных беспорядках. Смотри, свернешь себе шею, а приятели станут говорить, что тебя подослала полиция. Когда тебе надоест валять дурака, возвращайся на Бурбон. Будешь сторожить мои склады. Должность как раз для бездельников, значит тебе вполне подходит».

— Сторожить его склады, какое кощунство! — вскричал г-н Годэ-Латеррас.

И он отшвырнул письмо нечестивца. В ящике оказалась уйма приглашений на гражданские панихиды, решений суда, повесток, накладных, вырезок из газет. Г-н Латеррас взял вырезку, на обороте которой красовалась реклама мозольного оператора — босая нога на табурете, — и прочел следующие строки, вызвавшие улыбку на его простодушном лице:

«Один из умнейших людей нашего времени, один из отважнейших пионеров прогресса, г-н Годэ-Латеррас, креол с острова Реюньон, завершает работу над своей книгой «О роли черной расы в возрождении общества». Одна из важнейших глав этого замечательного труда скоро появится в «Литературной воронке».

«К сожалению, — подумал г-н Годэ, — когда глава подготовлялась к печати, «Литературная воронка» покончила счеты с жизнью. И ведь сколько газет так погибает в самом расцвете!»

Наконец, в ворохе визитных карточек он нашел ту, которую искал. Он сосредоточенно посмотрел на нее и прочел:

Алидор Сент-Люси,
адвокат,
бывший министр народного просвещения и морского флота,
член палаты депутатов,
председатель художественной комиссии Гаити.
Париж, «Гранд-отель».

И г-ну Годэ-Латеррасу в клубах дыма, застилавших комнату, представился исполин-мулат, приехавший с острова Гаити, щедро расточавший злато и улыбки. Тут он задул свечу и уснул.

Во сне ему мерещились призраки. Тень хозяина харчевни из Купального тупика наступала на него, прихрамывая, и повторяла с ужасающей вкрадчивостью: «Не забудьте же обо мне, господин Годэ».

Дождь лил не переставая; только около девяти часов утра в комнате показался жалкий отблеск света, успевшего загрязниться, пока он добирался сюда. В окне видна была глухая стена соседнего пятиэтажного дома, самого высокого в переулке. Стена этого здания, увенчанного плоской итальянской крышей с кирпичной балюстрадой, покрыта была бугорками, трещинами, щелями, мокрыми пятнами и плесенью; возвышаясь метров на пять-шесть над комнатой г-на Годэ-Латерраса она погружала ее в вечную тьму. Между окном и стеной был проход в два шага шириной, усеянный салатными листьями, яичной скорлупой и обрывками бумажных змеев. Мулат проснулся, посмотрел на стекла, залитые дождем, и взялся за тяжелые ботинки, оставившие на полу влажный след. Все же он надел их и, завершив свой скромный туалет, прихватил останки зонта и вышел из комнаты. Проходя мимо каморки привратника и услышав невнятное ворчание, он сказал:

— Госпожа Александра, сейчас займусь вашим счетчиком.

Он поднялся по десяти верхним ступеням Котэнского прохода, миновал, утопая в потоке грязи, унылый фасад швейцарского шале и строительные леса церкви «Упование нации». В конце улицы Лепик он остановился как вкопанный перед мастерской упаковщика, чтобы не наступить на две соломинки, прилепившиеся крест-накрест к мокрому тротуару. Предотвратив опасность (ибо он не сомневался, что наступить на крест — значит навлечь на себя беду), он вновь обрел душевное величие и вскинул свою благородную голову. Как и подобает победителю на поприще разума, он шествовал к самому сердцу Парижа и высоко нес железный остов растерзанного зонта о восьми спицах, будто замысловатое оружие, изобретенное каким-нибудь воинственным дикарем.

II

Господин Алидор Сент-Люси, сын богатого купца из Порт-о-Пренса, изучил юриспруденцию в Париже и вернулся на Гаити *, дабы присутствовать при коронации Сулука *, провозглашенного императором и нареченного Фаустином Первым. У богача мулата были основания побаиваться черного монарха. Но он отважно ринулся навстречу опасности и с таким рвением стал поддерживать черную политику своего повелителя, что в императорском дворце на него обратили внимание. Его назначили главным прокурором Верховного суда в Порт-о-Пренсе, и он тотчас же повелел расстрелять кое-кого из своих сограждан, не питая к ним, впрочем, ни малейшей злобы. Император вручил ему портфель министра народного просвещения и министра морского флота, но г-н Сент-Люси, приметив, что втихомолку крепнет оппозиция, взял отпуск и отправился поразвлечься во Францию.

Из Парижа он посредством пламенных писем примкнул к революции, положившей конец кровавым забавам черного императора, и вернулся на Гаити, где его избрали депутатом в парламент. Первым его дея-

нием в Законодательном собрании был проект «касательно» сооружения покаянного монумента, посвященного душам усопших — жертвам тирании. Среди этих жертв имелись и такие, кому бывший императорский прокурор особенно обязан был воздвигнуть памятник.

Проект обсудили, предложение приняли голосованием и гражданина Алидора Сент-Люси назначили председателем комиссии, призванной осуществить это государственное мероприятие. Тут г-н Алидор и понял, какую пользу он может извлечь из поста председателя. Как только на острове начинались расстрелы, он брал паспорт и отправлялся в Париж для переговоров со скульпторами относительно проектов покаянного памятника. Он любил Париж за его маленькие театры, за кофейни, где велись политические споры. Так минуло двадцать лет, а художественная комиссия все еще действовала.

У г-на Алидора Сент-Люси, красавца мулата, была могучая и гибкая фигура. Широкое, медно-красное лицо было моложаво и, невзирая на приплюснутый нос, отличалось внушительным выражением, особенно с той поры, как лоб облысел и засиял, отливая бронзой. Он не считал нужным скрывать свою величавую старость и не красил седеющую, коротко подстрижен¬ную бородку. О своей внешности он очень заботился, щеголял белыми жилетами и лакированными ботинками, душился крепкими приторными духами.

И сейчас, благоухая духами, облаченный в сюртук английского покроя, который отлично облегал его могучий стан, он шагал взад и вперед по комнате, поджидая наставника; сын же его тем временем рисовал уродцев на книжной обложке, а лакей накрывал на три прибора стол, придвинутый поближе к камину.

Макеты монумента в память жертв тирании, эскизы, наброски, фотографии, планы, чертежи, рисунки, выполненные китайской тушью, листки с расчетами загромоздили весь номер. На подзеркальнике стояла пирамидка из раскрашенного гипса, осененная золочеными пальмовыми ветвями, а на секретере — терракотовая колонка, на которой восседала фигура, смахивающая на крылатую обезьяну, внизу же красовалась надпись: «Духу негритянской свободы». Фотография,

лежавшая у зеркала, на камине, изображала негритянку, которая стояла около саркофага и возлагала на него свиток с такими простыми словами: «Художественная комиссия под председательством г-на Сент-Люси» — и ничего более.

На полу валялась чугунная рука; эта огромная рука высовывалась из-под портьеры, будто из громадного, — подстать ей, — рукава, и сжимала в кулаке ярлычок: «Деталь памятника. Проект 17 Е. Д.».

Три поджаристых булочки лежали на салфетках. Г-н Сент-Люси взглянул на часы. То ли булки с поджаристой корочкой, смазанной яичным белком, возбудили у него аппетит, то ли он опасался, что ждет понапрасну, но его бархатные глаза, только что излучавшие такой мягкий свет из-под припухших век, вдруг блеснули хищным блеском. Но они снова стали смотреть ласково, когда лакей раздвинул портьеру и появился г-н Годэ-Латеррас. Сперва показался лишь подбородок, а под ним крупный кадык, торчавший над белым галстуком: это г-н Годэ-Латеррас кланялся.

— Мой сын Реми, — сказал г-н Сент-Люси, представляя гостю молодого человека, который нехотя отложил недоконченный набросок и лениво, вразвалку подошел к ним.

То был красивый юноша со смуглым, свежим лицом. Он поводил скучающими глазами и словно подставлял для поцелуя свои пухлые чувственные губы.

Сели за стол. Сент-Люси был вдвое шире Годэ-Латерраса. Теплый, золотистый тон кожи мулата с острова Гаити будто стал еще сочнее по сравнению с цветом лица гостя, который, казалось, вымазался в саже и не стер ее как следует. У мулата с острова Бурбон было худое, помятое, жалкое лицо, но оно выражало такую наивную важность и такую ребяческую гордость, что люди относились к нему с сочувствием и состраданием, как относятся к ученым собакам и неудачливым гениям.

Они обсудили дело, которое их свело, между двумя блюдами: почками, жаренными в масле, и зеленым горошком. Г-н Годэ-Латеррас начал первый.

— Итак, дружок, — сказал он, обращаясь к своему

будущему ученику и похлопывая его по плечу, — мы намерены добиваться ученой степени в здешнем древнем университете?

Господин Алидор клюнул на приманку и отозвался, с небрежным видом кроша булку:

— Как я вам и писал, милейший Годэ. Между прочим, я с трудом достал ваш адрес. Выручил Бранд... Знаете, этот портной, Бранд, — ему совершенно случайно удалось узнать, где вы живете. Оказывается, он тоже хотел вас видеть.

— Возможно, — заметил Годэ-Латеррас и взмахнул рукой, словно собираясь оттолкнуть кого-то.

— Я рассчитываю, как вам и писал, что вы подготовите этого юнца к экзамену на бакалавра и сделаете из него человека.

Господин Годэ-Латеррас откинулся на спинку стула, выпятил грудь и, придав лицу горизонтальное положение, заявил:

— Прежде всего, любезнейший Сент-Люси, я обязан изложить вам свои убеждения. Когда дело касается принципов, я непреклонен. Я — человек железной воли, ее можно сломить, зато никому ее не согнуть.

— Знаю, знаю, — отвечал г-н Сент-Люси и все крошил булку.

— Образование, которое я дам вашему сыну, будет свободно от всяких предрассудков.

— Знаю, знаю...

— Я помогу нашему Реми блистательно выдержать экзамен на степень гражданина. Я подготовлю его не столько к завоеванию премии на конкурсе в университете, сколько к законодательной деятельности в республике Гаити. И мне дела нет до этих выживших из ума педантов, которые царят в университете!

Бывший министр любил порассуждать, по смотрел на вещи практически; поэтому он слегка нахмурился, давая понять, что при ученике нельзя вести такие речи. Однако вольнодумец-наставник, воодушевленный высокими идеями, воскликнул:

— Университет, да ведь это — монополия! Университет, да ведь это — рутина! Университет, да ведь это — враг! Война университету!

Тут он положил руку на плечо молодого мулата, который сидел с безразличным видом, ничему не удивляясь, и произнес:

— Друг мой, я подготовлю вас к экзамену на бакалавра и открою вам истины первостепенной важности. А когда я вас выпестую, вы предстанете перед экзаменаторами в Сорбонне как их судья, ибо не им быть вашими судьями! Вы скажете всем этим Каро * и Тайландье: * «У меня есть принципы, а у вас нет их. Человек железной воли, Годэ-Латеррас, вот кто развил мой ум». О, да эти господа еще узнают меня!

Пока он говорил, юный Реми как ни в чем не бывало набивал карманы сахаром, который украдкой таскал из сахарницы.

Господину Алидору нравились витиеватые речи; такая подготовка к ученой степени была, по его мнению, великолепна, но все же опасна. Однако характер у него был упрямый, и он не отступился от мысли доверить сына креолу с острова Бурбон.

— Реми, — сказал он, небрежно вынимая из кармана золотой, — сбегай за сигарами, да скажи, что для меня.

Они остались вдвоем, но г-н Алидор все крошил булку и молчал. У него была особенная манера молчать — таинственная и внушительная. А помолчав, он мягким тоном, подобающим человеку с весом, заявил будущему наставнику, что речь идет о подготовке к экзамену на бакалавра, то есть о деле главным образом практического значения, что надо без всяких отклонений придерживаться программы, что, в общем, вся суть в греческом и латинском языках, а не в истинах первостепенной важности.

— Разумеется, разумеется, — ответил человек железной воли.

Его спросили, доводилось ли ему преподавать. Ответ был туманный. Пришлось коснуться вопроса о жалованье.

Бывший министр предложил наставнику двести франков в месяц.

Тут г-н Годэ-Латеррас совсем запрокинул голову и жестом дал понять, что он выше таких мелочей.

Реми принес сигары. Вместе с ним в комнату вошел стройный красивый человек с золотистой бородой, спускавшейся на грудь, — он не снял мягкую шапочку, похожую на берет, которую носил, сдвинув на косматый затылок.

— Добро пожаловать, Л а б а н н , — сказал Сент-Люси, не вставая. — Сигару хотите?

Но Лабанн молча вынул из кармана пенковую трубку, отделанную янтарем, и кисет с гербом Бретани. Затем он обошел комнату и с видом знатока стал рассматривать фотографию, красовавшуюся на камине. Взглянув искоса на терракотовый столбик, он спросил:

— Уж не печник ли притащил вам эту модель трубы?

Он повернулся к позолоченной пирамиде, прикидываясь, будто видит нечто удивительное, прищурился и сказал:

— Забыли проделать отверстие для монет.

Его никто не понял. Он добавил:

— Да ведь это просто-напросто копилка.

— Ничего не поделаешь, — с философским спокойствием возразил г-н Сент-Люси. — Приходится брать, что дают. Вот ведь от вас, Лабанн, проекта никак не добьешься.

— Тружусь, — ответил скульптор. — Кстати, вчера я прочел в медицинском журнале прелюбопытную статью о «пигментации» у представителей черной расы. А сегодня утром купил на Вольтеровской набережной *, у знакомого букиниста, трактат о геологическом строении Антильских островов.

— И чего ради вы это делаете? — удивился г-н Сент-Люси, который был совсем сбит с толку, хоть и хорошо знал гостя...

— Когда я собираюсь выполнить какой-нибудь скульптурный замысел, — ответил Лабанн пренебрежительным тоном, — то не прикоснусь к глине, пока не прочту тысячи полторы книг. Все — во всем. Разрабатывать тему, отрывая ее от ц е л о г о , — прием надуманный и порочный... Кого я вижу!.. Да вы ли это, Годэ? Какими судьбами? А я вас и не заметил.

Мулат с острова Бурбон, прислонившись к камину и заложив правую руку за борт сюртука, язвительно усмехнулся.

Скульптор разжег трубку и продолжал:

— Ведь я не воплощаю собой силу природы, грубую силу. Ведь я не пичуга, высидевшая вот этакую образину (и он показал трубкой на духа негритянской свободы). — Я — воплощение разума, сознания, и в свою скульптуру вкладываю мысль.

Господин Алидор Сент-Люси одобрительно кивнул, но все же начал упрашивать скульптора сделать хотя бы эскиз, набросок и представить его комиссии. Ведь он через неделю уезжает на Гаити.

Лабанн растянулся на диване и погрузился в глубокое раздумье.

Засим он вытряхнул пепел из трубки, сплюнул на ковер и, внимательно разглядывая лепной орнамент, украшавший потолок, проговорил:

— По какому праву мы творим воображаемые существа? Фидий или Микеланджело, или художник Икс создают человеческую фигуру, и она полна жизни, она запечатлевается в глазах наших, пленяет наше воображение. Это — Афина в Парфеноне, Моисей или Нимфа в Аньере. О них говорят, ими грезят. Ведь на свет появилось еще одно существо! Что же оно совершит? Внесет сумятицу в умы, растлит сердца, собьет с толку разум и станет издеваться над людьми. Любое произведение искусства, любое творение человеческого гения — опасная иллюзия и преступное надувательство. Ваятели, живописцы и поэты — плуты высшей марки и прославленные врали, больше ничего. Я сам, увидев в Лувре Антиопу *, целых полгода был в нее влюблен, как болван. Другими словами, негодяй Корреджо полгода издевался надо мной.

Вы не знакомы с моим другом, моралистом Браншю? Он — урод, но это ему и в голову не приходит. Он беден и гениален. Он знает греческий так, что во всех кофейнях только диву даются; он читал Гегеля. Сидит он на одном хлебе и пьет сырую воду; поклюет, как птичка, и пишет великие творения в городских садах, а пойдет дождь — под сводом ворот.

Приходит, когда ему вздумается, ночевать ко мне в мастерскую. Как-то ночью он написал на стене очень остроумный и ученый комментарий к «Федону» *. Таков Браншю. В прошлом году я одолжил ему фрак и отвел к некоей русской княгине, — я собирался лепить ее поясной портрет. Но ей хотелось, чтобы бюст был из мрамора, я же видел его только в бронзе. Создаешь только то, что видишь, поэтому бюста не получилось. Княгиня искала преподавателя литературы для своей дочки, Феодоры, редкостной красавицы. И вот я посоветовал пригласить Браншю, его соизволили принять. Благодаря моей рекомендации и его худобе заплатили ему за месяц вперед. Он купил две рубашки, снял меблированную комнату и познал вкус ливерной колбасы. На шестом уроке, рассказывая о композиции гомеровской эпопеи, он как бешеный ущипнул княжну Феодору; княжна убежала с пронзительным визгом. Моралист не уходил, он готов был искупить свою вину. Он женился бы на своей сиятельной ученице, если бы это потребовалось. Но его просто выгнали. Вечером я застал его у себя в мастерской: «Увы, — воскликнул он, заливаясь слезами, — меня погубил Сен-Прё. О Юлия! О Жан-Жак! *» Стало быть, Руссо написал свой дивный, исполненный страсти роман и создал «Юлию влюбленную и павшую так гордо» только ради того, чтобы мой друг, моралист Браншю, наглупил.

Господин Алидор Сент-Люси чуть не зевнул. А его сын подпер щеки кулаками и слушал, будто попав на представление в театре. Годэ-Латеррас с горящими глазами и выпяченной грудью готовился к уничтожающей отповеди. Но Лабанн поднялся, подошел к столику, взял газету и, отрывая от нее клочок, чтобы разжечь трубку, пробежал ее глазами по привычке, свойственной заядлому любителю чтения. Вдруг он спросил:

— Скажите, Сент-Люси, вы-то верите в демократию?

Услышав такие слова, г-н Годэ-Латеррас выпрямился, и восклицание его напомнило сухой треск, который слышится, когда заряжают пистолет. А бывший министр в ответ загадочно улыбнулся.

Лабанн изложил свои убеждения. Он любил аристократию. Ему хотелось, чтобы она была сильной, прекрасной и безжалостной. Он утверждал, что благодаря ей расцвело искусство. Он сетовал, что уже нет изысканных и жестоких нравов военной знати белых времен,

— Мы живем в скучные времена, — прибавил о н . — Вы отняли у политики две ее неотъемлемых принадлежности: кинжал и яд, сделали ее беспорочной, нудной, глупой, болтливой и обывательской. Без Борджа общество угасает *. У вас не будет ни выдающихся статуй, ни мраморных дворцов, ни сладкоречивых и великодушных куртизанок, ни отточенных сонетов, ни музицирования в садах, ни золотых кубков, ни утонченных преступлений, ни опасностей, ни приключений. Счастье у вас будет такое пошлое, такое глупенькое, что хоть подыхай с тоски. Так оно и будет!

Уже несколько минут г-на Годэ-Латерраса передергивало, как это бывает, когда человек еле сдерживает раздражение.

— Великолепно, великолепно! — воскликнул он. — Вы блещете остроумием, господин Лабанн. Но, знаете, иные шутки звучат, как богохульство.

Он схватил цилиндр, пожал руку своему ученику и вышел в прихожую вместе с Алидором, которому хотел кое-что сказать.

Лабанн услышал звон монет, затем Алидор вернулся.

— Вот простачок! — заметил Лабанн. — Но человек он не плохой.

— Тише! — остановил его хозяин. И он шепнул ему что-то на ухо; Лабанн заметил:

— Знал бы я, что вашему сыну нужен наставник, привел бы своего друга, моралиста Браншю. Ну, прощайте, я иду в *квартал.*

Так именовал он чудеснейший из всех кварталов — Латинский квартал.

Сент-Люси попросил скульптора указать Реми, не знавшему Париж, какую-нибудь хорошую гостиницу поблизости от Люксембургского сада.

Уже Лабанн, приглаживающий свою сверкающую бороду, и Реми, торс которого по отличительной расовой особенности, казалось, вот-вот отвинтится, спускались рядышком по золоченой лестнице отеля, когда г-н Сент-Люси, перегнувшись через перила, окликнул сына и сказал ему:

— Да, чтобы не позабыть, предупреждаю тебя: я, вероятно, не попаду к генералу Телемаху. А если ты проведаешь его, то мне неприятности не причинишь, а твоей матери будет приятно. Телемах живет в Курбевуа, рядом с казармой. Прощайте, прощайте!

III

Реми очень смутно помнил родной дом в Порт-о-Пренсе, роскошный особняк в стиле Людовика XVI, полный изувеченными статуями и полустертыми эмблемами, потрескавшиеся ветхие стены внутреннего дворика, обсаженного банановыми деревьями, массивные, украшенные головами сфинксов кресла красного дерева, в которых он спал в тени, во всеобъемлющей полдневной тишине; нижний город, сверкающий, пестрый, живописный, будто обширный базар, и лавку крестной матери Оливетты. Сколько раз он прятался за ящиками и таскал у негритянки бананы или плоды сапотилы. Он помнил мать; ее горящие глаза, горделивый нос, чувственный рот и пышная смуглая грудь, видневшаяся в вырезе белого муслинового корсажа, врезались в его детскую память. Сколько раз он видел, как мать, надушенная крепкими духами, стоит, вскинув голову, как слезы навертываются ей на глаза, как резко и пренебрежительно отвечает она рассерженному Алидору; однажды отец, заскрежетав зубами, бросился на нее и ударил тростью по плечам, самым прекрасным плечам на Антильских островах.

Видел Реми и многое другое. Видел обстрел Порт-о-Пренса, пожары, грабежи, резню и казни, и снова резню, и снова казни. Видел Реми труп своей крестной матери Оливетты, — она лежала между бочками с вышибленными днищами, а вокруг валялись мертвецки пьяные убийцы, опившиеся виски.

А потом Реми долго плыл морем и как-то вечером сошел на берег в городе, залитом светом. Франция сразу понравилась ему. В Нанте его определили в пансион на Замковой улице; там он влачил однообразное прескучное существование, перебираясь из класса в класс, и вечно дрожал от холода. Весь долгий урок он, бывало, сосал леденцы и рисовал карикатуры. По четвергам и воскресеньям воспитанники, выстроившись парами, гуляли под старыми вязами бульвара Фосс вдоль широкой и светлой Луары. Реми недолюбливал эти походы под ветром и дождем. И он увиливал от прогулок, прикидываясь больным; его отправляли в лазарет, он лежал там, укрывшись одеялом и свернувшись клубком, как боа за стеклом в музее. Мускулы у него на ногах были стальные, и он, перемахнув через стену, ограждавшую пансион, бегал на другой конец города за ромом: по ночам в дортуаре варили пунш. Науками он себя не утруждал, рисовал на тетрадках портреты учителей, перешел в класс риторики, ничего в ней не понял, а то, что знал, перезабыл, и вот его отправили в Париж, где он попал под опеку г-на Годэ-Латерраса.

Уже три недели Сент-Люси плыл морем, а наставник, приступив к своим педагогическим обязанностям, возил ученика на империале омнибусов от бульвара Сен-Мишель до холмов Монмартра и от церкви св. Мадлены до Бастилии. И вдруг он исчез на целую неделю. Реми, водворенный Лабанном под кровлю превосходной гостиницы на улице Фельянтинок, вставал в полдень, отправлялся завтракать, прогуливался по солнцепеку, взирал с восхищением — потому что в нем еще сидел дикарь — на стеклянные побрякушки, выставленные в витринах, а около пяти заходил в кафе и пил, смакуя, терпкий вермут. Он стал уже забывать о своем наставнике, пропадавшем восемь дней, как вдруг утром, на девятый, получил телеграмму: г-н Годэ-Латеррас назначал ему свиданье в два часа дня на мосту Святых отцов.

В этот день приморозило, и на Сену налетал пронзительный северный ветер. Реми стоял рядом с полицейским у чугунного основания одной из четырех гип-

совых статуй, поеживался и от скуки наблюдал, как разгружают у пристани св. Николая баржу с бычьими рогами. Он прождал полчаса и уже подумывал, не забежать ли в соседнее кафе, когда из ворот Лувра выплыл г-н Годэ-Латеррас с папкой под мышкой.

— Я назначил вам свиданье, — заявил он Реми, — ибо нам с вами надлежит купить фундаментальнейшие книги. Меня не тревожат Вергилий и Цицерон, — если они вам понадобятся, вы без труда найдете их у букинистов на улице Кюжа. Мое дело — книги глубокомысленные, которые разовьют в вас самосознание человека и гражданина.

Они скоро очутились на набережной Вольтера и вошли в книжную лавку.

— Есть у вас сочинения Прудона, Кине, Кабе и Эскироса? * — спросил г-н Годэ-Латеррас.

Сочинения эти в лавке нашлись. На глазах покупателей отобранные книги стали укладывать в стопку, которая росла, как башня, чему Сент-Люси был немало удивлен.

— Сударь, — обратился он в простоте душевной к книготорговцу, который уже обвязывал сверток бечевкой, — вложите-ка туда два-три романа Поль де Кока. Я начал читать его роман в Нанте, и мне ужасно понравилось. А классный наставник отнял.

Книготорговец с достоинством ответил, что романов он «не держит», и собирался было завязать бечевку, но Годэ-Латеррас остановил его. Оказалось, он поразмыслил и решил взять на время у своего ученика два первых тома «Истории Франции» Мишле * для справки. Выйдя на улицу, они пожали друг другу руку, и Годэ-Латеррас, со ступеньки омнибуса, крикнул:

— Позубрите вечерком Кине! Дерзайте!

С минуту его силуэт чернел на самом верху омнибуса, а потом слился с фигурами простых смертных, сидевших на скамейках империала.

Наступил вечер. Реми не очень спешил домой, где его ждали фундаментальнейшие книги, и пошел по бульвару Сен-Мишель в танцевальный зал Бюлье. Он уже был у расписанного в мавританском стиле подъезда, куда мимо любопытных мастеровых и мастериц,

стоявших полукругом, толпой входили студенты, приказчики и девицы, как вдруг под фонарем на другой стороне улицы заметил золотистую бороду Лабанна. Деревья заиндевели, ветер рвал пламя газового рожка, а скульптор стоял и читал газету.

Сент-Люси подошел к нему и сказал:

— Извините, что я помешал вам... Вероятно, вы читаете увлекательную статью.

— Ничего подобного, — отвечал Лабанн, пряча газету в карман. — Машинально читал какую-то чепуху. А не зайти ли нам к «Тощему коту»?

Оказавшись в тесных, грязных, темных, закоптелых и омерзительных трущобах улицы св. Иакова, они вошли в кофейню, которая заставлена столиками и разделена стеклянной перегородкой, затянутой белыми занавесками. Всюду — на стенах, на перегородке и даже на потолке — виднелись картины. Почти все эти наброски были аляповаты, сделаны в резкой манере, а от ярких мазков рябило в глазах; было душно, сквозь табачный дым еле пробивался мерцающий свет двух газовых рожков. Сент-Люси, большой любитель живописи, сразу же приметил самые кричащие полотна: ворона на снегу, нагую старуху с опущенной головой, кусок говяжьей вырезки в газете, и высоко оценил бродячего кота, который стоял на крыше между трубами, — на фоне огромной рыжей луны вырисовывалась его тощая черная спина, изогнутая горбом, как средневековый мост. Вещь эта, кисти молодого, выдающегося импрессиониста, служила вывеской для заведения. За столиками пили и курили молодые люди.

Невысокая, пухленькая женщина, причесанная очень старательно, в белоснежном переднике, который парусом вздувался на ее груди, умильно посмотрела на Лабанна, причем в ее живых глазах, казалось, то и дело вспыхивал порох. Она напомнила скульптору, что он обещал сделать терракотового кота, для которого уже было приуготовлено место на витрине, между блюдами сосисок с кислой капустой и мисками компота из чернослива.

— Я размышляю о вашем коте, о Виргиния-кормилица, — отвечал Лабанн, — но еще не вижу его в меру

тощим и в меру изголодавшимся. Да и прочел я пока всего лишь пять-шесть книг о котах.

Виргиния примирилась с долгим ожиданием и даже сказала, что со стороны Лабанна очень любезно привести нового знакомого; она добавила, что г-н Мерсье и г-н Дион уже здесь; затем она удалилась за стеклянную перегородку, подошла к крану, и стала с шумом мыть стаканы.

Лабанн и Реми уселись за столик, за которым уже сидело двое подвыпивших посетителей, и Сент-Люси тотчас же был обоим представлен. Креол тут же узнал, что г-н Дион, худощавый, белобрысый юнец, поэт-лирик, занятия же г-на Мерсье, чернявого человечка в очках, весьма неопределенны и весьма важны. В пивной было жарко, и Сент-Люси блаженствовал; его толстые губы расплывались в улыбке, а Виргиния следила за ним из-за перегородки задорными глазами и находила, что он очень красив, очень благовоспитан, восхищалась его ровным смуглым цветом лица, напоминавшим ей блеск латунных кастрюль, которые она так хорошо чистила. Как все стареющие, влюбчивые женщины, она была очень чистоплотна.

Поэт Дион вкрадчивым тоном, с какой-то слащавой и вместе с тем язвительной усмешечкой, спросил Лабанна, что творится с епископом Гозленом *.

С некоторых пор в «Тощем коте» много толковали о статуе епископа Гозлена, якобы заказанной скульптору Лабанну для одной из ниш новой ратуши. Лабанн, не оспаривая и ничем не подтверждая слухов, говорил, что не видит Гозлена стоящим в нише. Он видел Гозлена не иначе как в епископском кресле.

Сент-Люси осушил кружку пива.

— Знаете, мы задумали основать журнал, — заявил юный Дион, — Мерсье обещал дать нам статью. Не правда ли, Мерсье? А вы, Лабанн, будете у нас писать об искусстве. Надеюсь, и вы нам что-нибудь принесете, господин Сент-Люси. Рассчитываем, что вы осветите колониальный вопрос.

Сент-Люси, юноша бывалый, ничему не удивлялся. Он пил, ему было тепло, он был доволен.

— Крайне сожалею, что не могу быть вам полезным, — отвечал он, — но я недавно из Нанта, учился

там в пансионе, и понятия не имею о колониальном вопросе. К тому же вообще не пишу,

Дион изумился. Он не постигал, как можно не писать. И решил, что креолы — большие чудаки.

— А вот я в первом номере напечатаю свою «Неистовую любовь», — сказал он. — Вы знаете мою «Неистовую любовь»?

Я стар, я изнемог от горестей былых,
Мечтаю утонуть во мраке кос твоих.

— Неужели вы сами это сочинили? — воскликнул Сент-Люси с искренним восхищением. — Чудесно!

И он осушил кружку пива. Он был в восторге.

— А средства для журнала у вас есть? — спросил скептик Лабанн.

— Разумеется, — ответил поэт. — Бабушка дала мне целых триста франков.

Лабанн не нашелся что ответить. Он стал листать ветхие книжонки, которые купил еще днем в лавках на набережной.

— Прелюбопытная книжица, — сказал он, — рассматривая томик с красным обрезом, — сочинение Сомеза * — Salmasius'a, о ростовщичестве — de usuris. Преподнесу ее Браншю.

Тут все заметили, что нынче вечером в «Тощем коте» не видно Браншю.

— Как поживает бедняга Браншю с Тиком? — спросил поэт. — Все припадает к ногам русских княжен? Хоть бы статью написал для журнала.

Сент-Люси спросил Лабанна, кто такой Браншю с Тиком, не тот ли это преподаватель литературы, о котором недавно шла речь в «Гранд-отеле»?

— Тот самый. Да вы его увидите, молодой человек, — ответил Лабанн. — Запомните, что он зовется попросту Клодом Браншю. Нос у него длиннющий, вдобавок дрожит от нервного возбуждения и как-то странно — волнообразно — подергивается: потому-то мы его так и окрестили. Кстати, Браншю с Тиком, — муж стоический, как сам Катон Утический *.

— Господин Сент-Люси, — сказал поэт, — я прочту вам свои стихи, мне хочется услышать ваше суждение до того, как они будут напечатаны.

— Не надо, не надо! — крикнул Мерсье, и его круглая рожица, полуприкрытая очками, сморщилась. — Читайте ему свои стихи, когда останетесь вдвоем.

Тут речь зашла об эстетике. Дион считал, что поэзия — язык «естественный и исконный».

Мерсье ответил язвительным тоном:

— Не стихи, а крик — вот что такое язык первобытный и исконный. Первые люди на земле не завывали:

Я в божий храм вошел предвечного молить *.

Говорили они так: «ух, ух, ух, ма, ма, ма, квак!» Подождите-ка, вы ведь не математик? Нет. Ну, так с вами и спорить нечего. Я спорю только с теми, кто владеет методом математического анализа.

Лабанн стал утверждать, что поэзия — возвышенное уродство, дивный недуг. Он считал, что изысканная поэма тождественна изысканному преступлению, вот и все.

— Позвольте, — перебил его Мерсье, поправляя очки, — а как у вас обстоит дело с математическим анализом? Судя по вашим ответам, я увижу, стоит ли вас опровергать.

А Сент-Люси, опустошив еще одну кружку, подумал: «Новые друзья у меня чудаки, но прелесть что за люди».

Он решительно ничего не понимал в споре, разгоравшемся все сильнее, и, потеряв запутанную нить словопрения, стал разглядывать посетителей с наивным и дерзким видом. Он встретился глазами с толстушкой Виргинией, которая стояла у дверей застекленной перегородки и, вытирая свои красные руки, томно смотрела на него.

Он подумал: «Прелесть, что за женщина!»

А осушив еще одну кружку, окончательно утвердился в этом мнении.

Пивная пустела. Остались одни основатели журнала;

перед ними на столе возвышались две стопки блюдечек, будто две фарфоровые башни, воздвигнутые в некоем китайском городе.

Виргиния уже собиралась закрыть ставнями витрину, как вдруг дверь распахнулась и вошел долговязый бледнолицый субъект в коротенькой летней куртке, с поднятым воротником. Он шагал, выбрасывая вперед огромные плоские ступни в дырявых ботинках.

— А вот и Браншю, — закричали основатели журнала. — Как поживаете, Браншю?

Вид у Браншю был угрюмый.

— Лабанн, — обратился он к скульптору, — вы, надеюсь, только по рассеянности унесли ключ от мастерской? Ведь если бы я не застал вас здесь, мне не миновать бы ночлега под открытым небом.

Браншю говорил с цицероновской изысканностью. А глаза его тем временем, по милости нервного тика, таращились с ужасающим выражением, по носу, от переносицы до ноздрей, пробегала судорога, зато из уст его исходили приятные и чистые звуки.

Лабанн отдал ему ключ и извинился. Браншю не пожелал выпить ни пива, ни кофе, ни коньяка, ни ликера. Ничего не пожелал выпить.

Дион попросил его написать статью для журнала, и моралиста пришлось долго упрашивать.

— Возьмите комментарий к Федону, что Браншю набросал угольным карандашом на стене моей мастерской, — сказал Лабанн, — спишите комментарий, а если хотите, можете отнести в типографию всю стену.

Как только Браншю перестали уговаривать, он обещал написать статью.

— Это будет, — заявил он, — оригинальнейшее исследование о философах.

Он откашлялся, по обыкновению ораторов, придвинул к себе пустой стакан и произнес с расстановкой:

— Моя точка зрения такова. Существуют две породы философов: те, которые стоят позади этого бокала, как, например, Гегель, и те, которые стоят между

бокалом и мной, как, например, Кант. Вам понятна моя точка зрения?

Дион понимал его точку зрения, и Браншю продолжал:

— Знаете ли вы, что я делаю, когда философ — позади бокала...

Тут Виргиния поубавила свет в одном газовом рожке, погасила другой и возвестила, что уже половина первого ночи и что пора расходиться по домам. Браншю, Мерсье и Лабанн, нагнувшись, прошли друг за дружкой под опущенной железной шторой. А Сент-Люси, оставшийся в потемках наедине с Виргинией, обнял ее и несколько раз наугад поцеловал в шею и ухо. Сначала Виргиния отбивалась, а потом притихла, замерев в объятиях мулата.

Тем временем Браншю, шагая по тротуару, говорил Лабанну:

— Что ж, мне бокал поставить позади философа? Нет. Или философа поставить...

— Где же вы пропали, Сент-Люси? — крикнул поэт Дион, рассчитывавший, что по дороге домой будет услаждать слух креола своими стихами.

Но Сент-Люси не отозвался.

IV

В то утро шел снег. За витриной «Тощего кота» чуть слышался приглушенный шум колес. Скупой белесый свет падал на полотна, украшавшие стены, и чудилось, что на картинах изображены трупы. Реми сидел за столиком в пустой кофейне и уплетал бифштекс с картофелем, а Виргиния, сложив руки под белым передником, неподвижно стояла рядом и с благоговением наблюдала, как он ест.

— Хорош, не правда ли? — пылко вопрошала она. — Сыты ли вы? В кухне у меня припасен отличный ломтик холодного ростбифа, не угодно ли? Да вы ничего не пьете!

Он ел, он пил, а она с обожанием созерцала его. Она говорила:

— Отведайте швейцарского сыра; со слезой, вкусный. Господин Потрель ужасно любил швейцарский сыр со слезой.

И Реми ел. Виргиния подала на сладкое компот и фрукты. Она долго в самозабвенном восторге любовалась им, потом, вздохнув, промолвила:

— Пожалуй, я глупость сделала. Ведь вы поступите, как все мужчины, господин Сент-Люси. Все вы на один лад. Зато таких женщин, как я, на свете мало. Уж если привяжусь к кому, то на всю жизнь. Ведь я рассказала вам, как обошелся со мной Потрель. Честное слово, порядочные люди так не поступают! Чего я только для него не делала... Белье ему чинила, в огонь кинулась бы ради него. Ведь и ум-то у него был, и талант, и все прочее. А оказался неблагодарной тварью, вот и все!

И толстуха возвела скорбный взор к изображению Тощего Кота, будто призывая его в свидетели чер¬ной неблагодарности Потреля.

Ее необъятная грудь заколыхалась, тройной подбородок дрогнул, и она закончила глухим голосом:

— Подумать только, что и сама я не знаю, разлюбила ли его! Если и ты меня бросишь, ума не приложу, что со мной будет. Приходи вечерком, голубчик... Чего пожелаете, господа?

Последние слова она произнесла с улыбкой, обращаясь к двум вошедшим посетителям.

Сент-Люси блаженствовал. На экзаменах он провалился. Зато он грелся у гостеприимных очагов, смеялся сочным, чувственным смехом, развлекался всем, что видел и слышал, и ни о чем не тревожился. Виргиния не скрывала своего благоволения к Реми, и посетители «Тощего кота» стали относиться к нему с почтением. Женщины особой метой отмечают своих избранников.

Мастерская Лабанна казалась ему еще уютнее комнаты Виргинии. Правда, у Лабанна никогда не топилась печь. Реми это не нравилось, ибо он там рисовал и начал писать красками. Лабанн говорил:

— У юнца есть способности к рисованию. Мысли нет, зато карандашом владеет. А я, право, пришел

к заключению, что надо быть таким же олухом, как Потрель, чтобы лепить так же хорошо.

Годэ-Латеррас пытался прибрать Реми к рукам. Иногда около полудня, спустившись с высот Монмартра на империале омнибуса, он входил в комнату ученика и, едва переводя дух, возглашал:

— Позубрите Тацита! Дерзайте!

Он изрекал напыщенным тоном: «Nox eadem Britannici necem atque rogum conjunxit» [1]. Но тут же становился в тупик перед какой-нибудь грамматической трудностью и выходил из положения, пускаясь в весьма туманные разглагольствования о великом писателе, который, по его словам, заклеймил тиранов каленым железом.

Закончив на этом урок, он поднимался, прихватывал с самым невинным видом два-три томика сочинений Прудона или Кине, лежавших нетронутыми на комоде, и, сунув книги под мышку, говорил, что они нужны ему для кое-каких исследований. Реми прощался с ними навеки. Через несколько месяцев от огромной связки книг осталось лишь несколько разрозненных томов. В конце концов Реми отнес их книгопродавцу на улицу Суфло, и вопрос о фундаментальнейших трудах уже больше не поднимался.

V

Время текло. Г-н Годэ-Латеррас урывками давал уроки своему ученику. «Тощий кот» не заполнял все существование Реми, и он охотно оставался дома, лакомясь заморскими сластями, купленными у бакалейщика-креола на улице Тронше. С той поры, как погода стала теплее, Реми по утрам отворял окно и смотрел на улицу. Ему нравилось наблюдать, как бегут рысцой лошади — сверху казалось, будто шеи у них тонкие, спины длинные, а крупы широкие. Он смотрел на женщин, проходивших мимо дверей гостиницы, но видел только тульи шляпок и волосы, пышные сзади юбки, а у иных под самым подбородком — живот.

[1] Одна и та же ночь принесла Британнику гибель и погребальный костер (*лат.*).

Он подмечал, как они грациозно покачиваются или же смешно переваливаются, идя своей легкой, а быть может, и трудной дорогой. Его забавляли картинки жизни, мелькавшие перед ним, и он не портил зрелища раздумьем. Ведь под густой шевелюрой этого юноши еще не зарождалась ни одна серьезная мысль. Но всего больше его манил дом, возвышавшийся напротив и словно выставлявший напоказ свой новый каменный фасад в пять окон на каждом этаже. В полуотворенные окна видны были обои, деревянные панели столовой, края золоченых рам, уголок буфета. На расстоянии все словно становилось меньше (ибо улица была широкая), приобретало пропорции и очарование игрушек. Люди, хлопотавшие в своих гнездах, представлялись ему куклами тонкой, чудесной работы. Стоило какому-нибудь жильцу высунуть в окно мансарды заспанную физиономию, поглядеть, прищурившись, на солнце, или подставить под его лучи плешивую голову, как креол надолго приходил в веселое расположение духа и вдохновлялся на дюжину набросков, которые тут же и рвал в клочки. За несколько дней он узнал мирок, живший своей жизнью в нескольких метрах от его окна в огромном каменном улье. На балконе шестого этажа капитан в отставке (никем другим он быть не Мог) сеял в ящик с землей семена цветов. Пониже слуги вывешивали на подоконники меховые ковры. Иногда Реми видел, как перед креслами, дремлющими под чехлами, у стены, выкрашенной в белый цвет, прохаживается щетка. В нижнем этаже за высокой конторкой стоял письмоводитель и без устали что-то строчил.

Но особенно влекло взоры Реми к окнам пятого этажа. Ему никогда не доводилось увидеть там ничего необычного, ничего таинственного, соблазнительного, ничего такого, что кружит голову молодого человека. Окна пятого этажа примечательны были лишь клеткой с чижами и крохотным горшочком с цветком. За этими окнами жила дама не первой молодости, степенная, деятельная и очень спокойная; то в одном, то в другом окне появлялось кроткое лицо этой дамы; ее поредевшие, но все еще красивые волосы уложены были

венцом, а на темени белел, пожалуй, слишком широкий пробор. У ее дочери, еще совсем девочки, носившей короткие платьица, тоже были чудесные волосы, такие же белокурые, как у матери, но еще светлей, еще блестящей, густые, пышные — целая копна, разделенная надвое ниточкой пробора. Девочка, живая, как мальчишка, не могла усидеть на месте.

Реми, сам того не замечая, познакомился с укладом их жизни и стал с интересом следить за ее однообразным ходом. Он знал часы еды и уроков, время прогулок, время, когда уносили с балкона в комнату клетку с птицами, дни, когда дочка, прихватив книги и тетради, отправляется к учительнице. Он знал, что обе по воскресеньям выходят из дома в одиннадцать часов с молитвенником в руках. Обычно же девочка в десять часов утра усаживалась за пианино, медная скоба которого блестела у окна в золоченой гостиной. Реми видел, как две красных ручки, две детских ручки неистово носятся по клавишам и разыгрывают гаммы, которых он не слышит. Но долго не усидишь на табурете перед фортепиано. Как не подойти к окошку, а если оно затворено, как не приподнять белую занавеску, не взглянуть с откровенным любопытством на улицу, не прижаться лицом к стеклу, да так, что кончик носа сплющится и побелеет; потом девочка вдруг исчезала так же неожиданно, как и появлялась, без видимых причин, будто, вспорхнув, улетала птичка. И у матери и у девочки было детское выражение глаз; широко открытые, ясные глаза, не ведающие грез, казалось говорили: «Ничто не смущало и не смутит наш сердечный покой». Мать, вероятно, уже давным-давно овдовела, и в ней чувствовалась безмятежность. В ее плавных, но не изящных движениях, в ее неустанной, но не суетливой заботливости сквозило добродушие, свойственное полным женщинам. Барышня была порывиста. Барышне, например, как-то вздумалось распахнуть дверь на балкон, перевеситься через перила и окликнуть двух подруг, с которыми она ходила на уроки закона божьего. Она ничуть не смутилась, когда мать велела ей вернуться в комнату и послала, как понял Реми, горничную за двумя этими юными деви-

цами, которые, поднявшись, сказали, вероятно, что-то смешное, потому что три подруги дружно рассмеялись. Девичий смех издали доносился до слуха Реми, напоминая тот тихий звон, который слышится, когда пересыпаешь жемчужины.

Каждое утро Реми проходил мимо Люксембургского сада и, глядя сквозь решетчатую ограду, любовался кудрявой муравой лужаек и зарослями тропических растений, окутанными дымкой легкого тумана. На улице Карно он входил в мастерскую Лабанна. Ключ лежал под соломенным половиком.

Мастерская была завалена книгами, словно склад букиниста. Целые колонны возвышались вокруг заброшенных, незаконченных скульптур, покрытых заскорузлыми чехлами. Груды книг валялись на полу. Приходилось ступать прямо по сафьяновым переплетам. Пестрели кожаные корешки с золотым тиснением и виньетками, красные и пестрые обрезы, полуоторванные желтые, синие, красные обложки. Уголки фолиантов были загнуты и надорваны, картон расслоился, кожа покоробилась. Нетронутый слой пыли покрывал груды литературных произведений и научных трудов.

Стен давным-давно не белили. Вверху они были голы, а на высоте человеческого роста испещрены надписями, сделанными углем, — частью по-гречески, частью по-французски. Это и был комментарий к «Федону», вдохновенно начертанный Браншю после бессонной ночи. Дверь была вкривь и вкось исписана, причем разными почерками.

Повыше других красовались прописные буквы, нацарапанные перочинным ножом, — надпись гласила:

Женщина горше смерти.

Закругленные буквы другой были выведены рисовальным карандашом, и она гласила:

Академики — обыватели. Кабанель * — парикмахер.

Третья надпись, курсивом — ее начертал графит, — гласила:

О тело женское, как в древности античной,
Священный гимн поешь ты красоте пластичной.
Поль Дион.

Фраза, криво написанная мелом, гласила:

Принесла чистое белье. В понедельник приду за грязным, оставьте у привратника.

Еще одно изречение — его угольным карандашом набросал Лабанн — гласило:

Афины! вовеки благословенный град, если бы ты не существовал, мир доныне не познал бы, что такое красота.

Фраза, выведенная шпилькой, чуть поцарапавшей краску, гласила:

Лабанн — скаред. Плевать я на него хотела.
Мария.

Были на этой двери и еще кое-какие надписи.

В углу, у печки, на книгах и газетах валялась попона. Газеты, книги и попона представляли собою ложе Браншю.

Однажды, когда Браншю восседал на попоне, погрузившись в размышления о Демосфене, немецких профессорах и княжне Феодоре, Реми трудился над наброском кувшина для воды, высунув от усердия язык. Ему понадобилось стереть какую-то линию, и он спросил у философа, не завалялся ли у него в кармане кусочек хлебного мякиша. При этом он нечаянно назвал его господином Браншю с Тиком. Браншю, ставший от неудач очень раздражительным, вытаращил глаза. Сильнейшая дрожь пробежала по его носу. И моралист ушел вне себя от ярости.

Поэт Дион, которого он застал в пивной, и Лабанн, который отыскался на набережной, у книжных ларьков, вмешались в это дело. Поэт Дион жаждал отмщения; но скептик Лабанн оказался мягкосердечным и уговорил Браншю пойти на мировую. Ведь Реми не питал к Браншю никакой злобы.

Месяца два моралист и креол жили в мире. Но Браншю, которому суждено было всю жизнь страдать по милости женщин, к несчастью начал нежно поглядывать на хозяйку «Тощего кота». А когда физиономия Браншю выражала нежность, он до ужаса смахивал на эпилептика. Он не сводил выпученных, налитых кровью глаз с перепуганной Виргинии, и та всем твер-

дила, что боится его. На каждом шагу она давала понять философу, как он ей противен и как возмущена ее добродетель: при этом она украдкой бросала томные взоры на Реми, а Браншю терзался муками ревности. Он страдал, он злился.

Первой его жертвой был мягкосердечный Лабанн, который оказался вдвойне виноватым перед ним — ведь он давал философу средства к существованию и оказывал ему кое-какие услуги. Каждое утро Бран-- с важностью вручал ему ключ от мастерской, и каждое утро скульптор с невозмутимым видом водворял этот ключ под соломенный половик — там Браншю и находил его ежевечерне.

Миновали июль и август. Браншю стал желчным, недоверчивым, грубым. У него появились замашки великого человека. Он презирал женщин, утверждая, что они существа низменные. Он притворялся, будто и не смотрит на Виргинию, и надменным тоном заказывал ей пиво бутылками, за которые платил Лабанн.

Он пускался в заумные рассуждения об искусстве.

— На днях я видел в музее, — говорил он, — изображение Мамонта, вырезанное кремнем на пластинке из слоновой кости. Изображение это относится к доисторическим временам, оно древнее всех старейших цивилизаций. Создал его безмозглый дикарь. Но оно свидетельствует об эстетическом чувстве, куда более возвышенном, чем все наипрекраснейшие творения Микеланджело. Это изображение и идеально и правдиво. А лучшие современные художники либо правдой жертвуют ради идеала, либо идеалом — ради правды!

Изрекая это, он сердито смотрел на Лабанна. А Лабанн был доволен. Он соглашался и развивал мысль своего друга-философа.

— Искусство, — говорил он, — приходит в упадок по мере того, как преуспевает мысль. В Греции, во времена Аристотеля, ваятели перевелись. Художники — существа низшего порядка. Они похожи на беременных женщин: родят и сами не знают как. Пракситель породил свою Венеру, как мать Аспазии породила Аспазию: естественно, бездумно. Афинские и римские ваятели не читали пастора Винкельмана *.

Они ничего не смыслили в эстетике, зато породили Тезея, стоящего в Парфеноне, и Августа, стоящего в Лувре. Человеку мыслящему не дано создавать прекрасное и великое.

Браншю отвечал с ехидством:

— В таком случае какой же вы скульптор? Ведь вы считаете себя человеком мыслящим? Правда, мне еще не доводилось видеть, чтобы из ваших рук вышло что-либо, хотя бы чуть-чуть похожее на статую, бюст или барельеф. Вы даже не можете показать ни одного макета, ни одного наброска, и вот уже пять лет, как не прикасались к стеку. А если вы держите мастерскую только для того, чтобы дать мне приют, то мой долг перед вами и перед самим собою — предупредить вас, что мне ничего не стоит найти пристанище и в другом месте. Насколько мне известно, я не давал вам права угнетать меня своими благодеяниями.

Но философ, невзирая на свое духовное величие, недолго удерживался на таких высотах. Он поддался слабости. Он позабыл о мамонте и грезил одной Виргинией. Он пребывал в мрачном унынии. Впрочем, и в его жизни был проблеск. Как-то утром он встретился с Виргинией, которая, возвращаясь с рынка, несла две корзины, обливалась потом, сопела, кашляла и мучилась одышкой — предвестницей астмы; он пошел за ней и добился позволения нести корзинку с мясом. Он был в восторге. И от радости потерял голову. Он окрылился надеждой, осмелел. Однажды вечером он прошмыгнул на кухню, где Виргиния мыла тарелки, и стиснул ее в объятиях. Она уронила тарелку и пронзительно взвизгнула. Нет, даже княжна Феодора так не визжала.

Поднялась кутерьма. Поэт Дион ликовал. Глаза Мерсье сверкали сквозь стекла очков. Лабанн пожимал плечами. Реми, чуть-чуть раздосадованный, возрадовался: он нашел способ отомстить. То была месть, достойная мальчишки и дикаря, но он заранее облизывался от удовольствия. Он затаил ее в своем сластолюбивом, ленивом сердце — так рачительная хозяйка прячет в шкаф банку с вареньем.

Поэт снова заговорил о том, что собирается основать журнал. В прошлом году попытка не удалась, ибо

триста франков, подаренных бабушкой, ушли на всякие хозяйственные расходы. Но Дион только что получил еще триста франков.

— Нужно придумать название, ** твердил он.

Разошлись часа через два, перебрав уйму бессмысленных или избитых названий.

На следующий день поэт Дион приветствовал общество, собравшееся в «Тощем коте», возгласом под стать античному:

— Нашел: «Мысль»!.. «Мысль», новый журнал.

И вообразив, будто он уже держит в руках журнал, поэт наклонил набок голову, откинул со лба волосы, разметавшиеся в художественном беспорядке, и с сияющим лицом мысленно прочел слова, напечатанные крупным шрифтом: «Мысль», новый журнал; редактор Поль Дион».

— Что же это за мысль? — спросил скептик Лабанн, поглаживая рыжую бороду.

— Мысль, что математика — основа всему, черт возьми! — ответил Мерсье.

— Мысль, что поэзия и идеал выше прозы и действительности, — ответил Дион.

— А также может статься, — вставил моралист Браншю елейно-язвительным тоном, потирая нос, по которому пробегала судорога, — может статься, мысль о новой морали, теорию которой я намерен изложить, если это доставит вам удовольствие.

Лабанн заметил, что следовало бы назвать журнал не «Мыслью», а «Мыслями», поскольку у каждого из них — своя.

Однако все поддержали первый вариант названия, и поэт Дион набросал на листке почтовой бумаги ручкой, которой Виргиния писала счета, содержание первого номера:

1. Обращение к читателю — Поль Дион.
2. Статья на философскую, еще не вполне определенную тему — Клод Браншю.
3. Статья на еще более неопределенную тему об искусстве — Эмиль Лабанн.
4. Поэма «Возлюбленная, что нас в могилу сводит» — поэт Поль Дион.
5. Нечто весьма туманное на тему о науках — Гийом Мерсье.

Театральные рецензии и библиографию редактор брал на себя.

Итак, с содержанием было покончено; где-то на захолустной уличке, в. квартале Сент-Андре-дез-Ар, Дион выкопал какого-то полуразорившегося владельца типографии, который и взялся печатать журнал, — впрочем, без малейшего восторга. Унылая фигура хозяина типографии — низенького, плешивого и невзрачного человечка, чем-то напоминала огарок свечи, сгоревшей на сквозняке. Его дела были плохи. То был типограф отчаявшийся, но все же — типограф. Он печатал. Он присылал корректуры, Дион правил их в кофейнях, испещряя листы жирными пятнами. Но следует признаться, что, хотя главному редактору «Мысли» прислали стихотворения из разных уголков Европы, рукописей все же не хватало. И номеру предстояло стать совсем тонким, — тем более что Браншю, сочиняя философскую статью, все терял и терял страницы рукописи под сводами ворот, а Лабанн намеревался прочесть сто пятьдесят томов, прежде чем написать первые строки очерков об искусстве. Статья Мерсье существовала, но и почерк, и стиль, и идеи у автора, под стать его одежде, были такие куцые, что произведение это вполне могло бы уместиться на стеклах его очков. А поэму «Возлюбленная, что нас в могилу сводит» уже третий раз правили в корректуре.

И вот тут Сент-Люси, секретарь редакции, обещал поэту Диону, что представит его г-ну Годэ-Латеррасу, и заверил, что его наставник согласится написать статью. Наступил тот достопамятный вечер, когда г-н Годэ-Латеррас спустился с империала омнибуса и вошел в заведение Виргинии. Он вертел трость с набалдашником, как человек, знающий себе цену, и под восхищенный шепот, встретивший его появление, прошествовал по кофейне во всем своем африканском величии, которое было чуть смягчено креольской томностью. Когда поэт Дион, обращаясь к нему, назвал его «дорогой мэтр», он улыбнулся как идол, обнажив при этом все зубы. Но вдруг на его лице снова появилось скорбное и надменное выражение. Он увидел Лабанна, безразличный взгляд которого блуждал по комнате, про-

биваясь сквозь табачный дым. Годэ-Латеррас знал, что Лабанн как-то раз вознамерился изобразить его в величественной позе, с циферблатом на животе. С той поры г-н Годэ стал считать, что Лабанн принадлежит к числу самых безнравственных скептиков. Побуждаемый этой мыслью, он придал своей физиономии горизонтальное положение и, обратившись к Диону и Мерсье, изрек:

— Молодые люди, остерегайтесь скептицизма. Его ядовитое дыхание иссушает душу в самом ее расцвете.

Он обещал дать в журнал неизданную главу своего объемистого труда относительно роли черной расы в обновлении человечества.

И г-н Годэ развил свою идею. Проказа христианства, которая уже восемнадцать веков губит семью белых народов, не осквернила черную расу.

Он рассказал, что однажды, когда ему не было и одиннадцати лет, он гулял по берегу моря и, пред лицом бесконечности, сказал себе: «Пусть что угодно твердят священники, но я не поверю, будто христианство хоть что-нибудь сделало для уничтожения рабства».

Из пивной его провожала целая свита. Сент-Люси знаком остановил омнибус. Г-н Годэ всем пожал руки, потом дружески обнял ученика и отвел его в сторонку:

— Знаете, я позабыл кошелек, — сказал он. — Что поделать — рассеянность! Одолжите-ка несколько су.

Затем, ловко подхватив серебряную монету и зажав ее в кулаке, г-н Годэ вскарабкался на империал и возгласил:

— Дерзайте, Реми! Зубрите Тацита!

VI

Господа экзаменаторы и во второй раз, как и следовало ожидать, провалили Реми. А представление Реми о сущности этих экзаменов становилось все туманнее, все фантастичнее. Ничего удивительного в его неудачах не было, но г-н Годэ-Латеррас объяснял их по-своему, и тогда выплывало что-то подозрительное и непонятное.

— Не вас они провалили, а м е н я , — твердил наставник, — в меня метили, когда подвергали вас испытанию, поверьте. Да, господа из Сорбонны не прощают мне последней моей статьи.

От таких слов у Реми голова шла кругом, и он задавался вопросом, уж не означает ли экзамен по литературе на степень бакалавра вступление в тайное общество? Зима прошла в приятной спячке. Его немного растормошило робкое апрельское солнце, осветившее стены домов.

На крышах чирикали воробьи. Отставной капитан засевал семенами зеленые ящики. Окна, которые так долго были наглухо затворены и помутнели, теперь распахнулись навстречу еще неяркому свету и вешнему теплу. Реми с прошлого лета потерял из виду милых обитательниц пятого этажа, забыл о них думать, а теперь обрадовался, снова увидев клетку с чижами и медную скобу фортепиано.

И когда он снова заметил мать и дочь в гостиной, украшенной позолотой, он чуть было не поклонился им, как давнишний знакомый. У них в гостях был какой-то старичок; он сидел на диване, положив шляпу и зонт на колени, и, очевидно, что-то ласково говорил. Он поднимал руку, и Реми казалось, будто он слышит его слова:

— Как выросла Мари (или Жанна, или Луиза)! Стала совсем взрослой.

Реми было немного досадно — чужой расположился на диване у его милых дам. Не то чтобы старичок ему не нравился. Напротив! Лицо у старичка было доброе. Но Реми не знал, кто он такой. Ему пришло на ум, что у соседок есть от него какие-то свои тайны, а раньше он об этом и не подозревал. Всего сразу не сообразишь! Он захлопнул окно и дулся до следующего дня. Наутро он отворил окошко — просто хотелось убедиться, на прежнем ли месте клетка с чижами. И увидел, что девушка надела круглую шляпку, покусывает ручку зонтика и от нетерпения приплясывает, как жеребенок, — она всегда так делала, когда ждала мать, которая ужасно долго завязывала перед зеркалом ленты своей шляпки. Но ведь не может же сорокапятилетняя

женщина одеться мигом, как девушка, — раз-два и готово, вспорхнула, словно птичка.

В тот день мать по обыкновению тщательно осмотрела, как одета дочь. Серое платьице, очевидно, было не в порядке, потому что мать сделала замечание, а ей в ответ начали нетерпеливо передергивать плечиками, капризничать, топать ножкой и всем видом выражать полное отчаяние. Но все же барышне пришлось расстег¬нуть пуговки на корсаже и кто-то притворил окно; однако не прошло и минуты, как оно снова само распахнулось. И Реми увидел, что мать держит серое платьице и что-то зашивает, а барышня ждет в короткой нижней юбочке и корсете. Вот она обернулась и заметила, что на нее смотрит студент. И очаровательным движением, как ребенок, озябший в ванночке, она руками прикрыла грудь. Губы у нее быстро зашевелились — должно быть, она воскликнула: «Мама, мама!»

А мать спокойно пожала плечами, и выражение лица у нее было такое, словно она сказала:

— Велика важность!

И она с пренебрежительным видом захлопнула окно.

С того дня Реми, сам не зная отчего, сдерживал себя и не следил неотступно за обитательницами пятого этажа. Но как-то ему пришло в голову, что вдруг они уедут и он их больше не увидит. От этой мысли ему взгрустнулось. Он стал серьезней, рассудительней. Он раздумывал о том, что степень бакалавра, как полагает и сам г-н Годэ-Латеррас, совсем уж не такая важная вещь, и решил сделаться художником. Живопись! Вот она — четкая и прекрасная цель. Потом он вспомнил о Телемахе и подумал: «Надо его навестить».

VII

После вторичного провала Реми г-н Годэ-Латеррас, по горло занятый общественной деятельностью, махнул на него рукой. Разлука с наставником не очень огорчила Реми; он стал заниматься живописью в мастерской Лабанна. Несравненный ваятель, откопав в лавчонке

букиниста на набережной Малакэ томик стихов Колардо *, пребывал в восторженном настроении.

— Колардо — величайший из французских поэтов, — твердил он.

В городе, среди каменных стен и асфальта, стояла удушливая жара, а моралист Браншю ходил в теплом пальто с длинным ворсом и похож был, как говорили его приятели, на скифа в звериной шкуре. Мысль о женщине не покидала его, и он стал еще раздражительнее. У него пропал аппетит, и он съедал свой грошовый хлебец безо всякого удовольствия. Зато он сгорал от неутолимой жажды. Однажды, когда Реми в сотый раз рисовал под руководством Лабанна кувшин, в котором зимой грели воду на печке, Браншю схватил этот сосуд, служивший художнику натурой, и отправился за водой. Вскоре моралист вернулся, не вытерев носа и бороды, с которой струилась вода, и тут Реми метнул на него многообещающий взгляд. Браншю призывал молнии и жаждал аквилона. Он вырывал страницы из самых замечательных книг Лабанна, дабы запечатлеть на них свои смутные, но страшные мысли. Гроза освежила город и ослабила нервное напряжение моралиста.

Шло время, и, пока шло время, снова появились в неспокойном сентябрьском небе бумажные змеи, на сумрачном октябрьском горизонте — туманы, у дверей винных погребков — жаровни с каштанами, в ручных тележках — апельсины, за спиной савояра — волшебный фонарь, а на рождество, в Новый год и на крещенье под кровлями, белыми от снега, в теплых комнатах — запах жареного гуся. Но сердца Браншю время не изменило.

Наступило крещенье; в тот день Реми, проходя часа в четыре вместе с поэтом Дионом по площади св. Сюльпиция, увидел, что четыре каменных епископа покрылись ледяной коркой, а вода у их ног в бассейне замерзла. Он потер руки и расхохотался:

— Прохладно будет тут, на площади, в полночь.

Потом они потолковали о каком-то письме, которое только что послали с рассыльным, и оба они — Реми в приливе бурного веселья, а Дион — с удовольствием смакуя, все повторяли первые строки этого письма:

«Вы брюнет, а я блондинка; вы сильны, а я слаба. Я понимаю вас и люблю». Они, видно, затеяли какую-то гнусную мистификацию, восхищались и гордились своей изобретательностью.

В тот вечер Браншю обедал в «Тощем коте» вместе со стареющим Мерсье, физиономия которого так осунулась, что казалось, сейчас исчезнет под очками, с Лабанном, вот уже целую неделю рьяно изучавшим книгу, посвященную учтивым нравам XVII века, с поэтом Дионом и Сент-Люси. Виргиния подала суп с капустой, распространивший весьма сильный аромат. Философ Браншю оттолкнул дымящуюся тарелку, которую протянул ему Лабанн. От такой зловонной похлебки можно задохнуться, заявил он. Неужели Лабанн не имеет понятия о том, какое питание нужно избранным натурам?

Вошел рассыльный, спросил, нет ли здесь г-на Браншю, и вручил ему жемчужно-серый конверт, благоухавший ирисом и украшенный синим вензелем. Философ читал, и нервная судорога сводила его нос. Затем он положил письмо в карман фрака (фрак ему дал Лабанн) и обвел присутствующих загадочным взглядом. Вся кровь — его едкая и жидкая кровь — бросилась ему в голову, и лицо, усеянное угрями, побагровело. Он весь преобразился. Нос его запылал, словно от какого-то внутреннего огня. Дион созерцал кайму салфетки. Реми ножом сооружал в солонке горы и долы и будто забыл обо всем на свете, созерцая полярные пейзажи в миниатюре, которые он то созидал, то разрушал, по своей прихоти, словно какой-нибудь всемогущий лапландский божок. Беседа, прерванная приходом рассыльного, не клеилась. Один Лабанн говорил с воодушевлением: он был поглощен мыслью об учтивых нравах XVII века и сожалел о Людовике XIV.

— Король-солнце не стоил Цезаря Борджа, — рассуждал он, — но я его предпочитаю правам человека и бессмертным принципам.

Браншю беспрестанно опускал руку в карман фрака, что-то прижимая к сердцу. Он погрузился в мечты, с его потрескавшихся распухших губ то и дело слетали поэтические слова о том, что любовь возрождает человека. В одиннадцать часов философ собрался уходить;

он почистил жилет обшлагом — так проявилась необыкновенная изысканность его манер и неумеренная забота о своей внешности.

— До завтра, — сказал ему Лабанн.

Философ пробормотал нечто загадочное о том, что, быть может, его больше не увидят, и удалился, выступая так плавно, будто парил в воздухе. А немного погодя вышли из «Тощего кота» и Дион с Лабанном.

Наступила полночь; моралист во фраке шагал вокруг фонтана четырех епископов. Запоздалые прохожие торопливо пересекали площадь. Вода выплескивалась из бассейна, подмерзая на асфальте, и Браншю не раз случалось поскользнуться. Порывистый ветер теребил фалды его фрака. Но моралист, будто слепая лошадь, вертящая жернов, все кружил и кружил, огибая каменный бассейн. Молоденькая мастерица, очевидно задержавшаяся на любовном свидании, прошла по пустынной площади, навстречу ветру, быстрым и упругим шагом, как ходят настоящие парижанки. На часах мэрии пробило час, а моралист все кружил. Только звучные, мерные шаги двух полицейских нарушали ночную тишину. В половине второго философ подошел к фонарю и еще раз прочел благоуханную записку:

«Вы брюнет, а я блондинка, вы сильны, а я слаба. Я понимаю вас и люблю. Жду сегодня вечером, в полночь на площади св. Сюльпиция, возле фонтана».

Свидание было назначено, — сомнений нет. И, заняв свой пост, философ снова стал кружить. Иней запорошил его алмазной пылью. Вымокшие полы фрака тяжело свисали. На площади было пусто. Он еще долго кружил. Наконец обманутый, подавленный, философ упал в отчаянии на скамейку и долго так просидел, не двигаясь, закрыв лицо руками. Когда он поднялся, ему показалось, будто вдали промелькнули Дион и Сент-Люси и исчезли в темноте, свернув на улицу Онорэ-Шевалье. В больном уме Браншю мелькнула догадка, и его нос задрожал от негодования.

На следующий день он картинно накинул на плечи попону и объявил Лабанну, что намерен убить Сент-Люси.

— Я не дорожу своей жизнью, — сказал он, — а еще меньше — жизнью этого мальчишки.

Лабанн тщетно пытался успокоить философа.

А в это время Реми, не ведая ни тревог, ни злобы, нежился под мягким, теплым пуховым одеялом и думал: «Однако ж, надо мне на днях навестить генерала Телемаха».

VIII

Телемах с ермолкой на голове и в белом фартуке стоял на пороге своего кабачка и, улыбаясь, грелся в лучах ясного утреннего солнца, заливавшего светом пыльную улицу, обсаженную чахлыми платанами. Направо взор его упирался в казарму, откуда доносились звуки горна, а налево — в округлую Императорскую площадь, посреди которой возвышался пьедестал, лишившийся статуи. По обе стороны широкой улицы тянулись низкие дома и незастроенные участки, где рядами висело белье, выстиранное в прачечных. Винные лавчонки, стоявшие на перекрестках, выходили окнами на пустыри и были размалеваны красно-бурой краской, чтобы привлечь внимание и еще издали возбудить жажду у солдат и мастеровых. Все остальное — и стены и пустыри — было уныло серым. Фасад двух четырехэтажных домов, возвышавшихся против заведения Телемаха, оштукатуренный и украшенный фигурными столбиками, сводчатыми окнами, бюстами в нишах, растрескался, облупился и обветшал, разбитые стекла были заклеены бумагой, а из окошек свисало тряпье. На пыльной улице ребятишки играли с собаками. Солдаты не спеша шагали к крутому берегу реки, женщины в гладких юбках несли ведра и корзины.

Питейное заведение Телемаха было выкрашено красной краской; на витрине виднелись блюда с говяжьей вырезкой и бифштексами. Телемах держал за уши бездыханного кролика и улыбался. Яркие белки узких и чуть раскосых глаз блестели на его темном скуластом лице, цветом напоминавшем черное дерево; нос у него был приплюснутый, губы толстые. В черных коротких и курчавых волосах не белело ни единого седого

волоска. Зато ровная лысина увеличивала его покатый лоб, обнажала часть темени и доходила до остроконечной макушки.

Мирогоана, сидя на задних лапках, с любопытством смотрела на людей, на животных и на вещи. Она не ведала страстей и безмятежно, со спокойной душой грелась на солнышке. Иногда она поднимала умную голову и слизывала кровь, запекшуюся на мордочке кролика, которого держал Телемах. И, вполне удовлетворенная этим тонким лакомством, повиливала хвостом, продолжая созерцать улицу.

Телемах вывернул шкурку кролика, словно перчатку, положил на стол освежеванную тушку, отливавшую богатой гаммой тонов, умело разрубил ее на куски и уложил на блюдо.

Затем он вернулся в харчевню, перед которой зеленел садик с беседками. Мигом приготовив из кролика рагу, он присел возле красной медной кастрюли, шипевшей на плите, и задумался. Его глаза, будто только что наведенные на лице новенькой куклы, смотрели невидящим взглядом. Очевидно, Телемах созерцал сейчас не кафельную печку, не оцинкованный прилавок и не столики, покрытые клеенкой, а нечто совсем иное, ибо он напевал странную, нежную мелодию и, казалось, разговаривал с невидимками. Но вот он взглянул на рагу, которое, как говорят повара, томилось на медленном огне, и приказал собаке:

— Мирогоана, стереги!

Мирогоана понимающе посмотрела на хозяина и с важным видом уселась на каменном пороге. Телемах поднялся в большую комнату, оклеенную яркими обоями, на которых без конца повторялся один и тот же рисунок — охота на кабана. Комната, обстановка которой состояла из орехового шкафа, кровати с белым коленкоровым пологом и четырех столов, служила одновременно спальней хозяину кабачка и столовой для воскресных посетителей. Телемах достал из шкафа шкатулку, поставил ее на стол и осторожно открыл. Шкатулка была набита вещами, завернутыми в фуляр и бумагу. Телемах вытащил красную шаль, за ней эполеты с пышной бахромой, серьги, в виде больших колец, крест,

планшетку с никому неведомыми орденами и большую треуголку, отделанную галуном и двумя огромными кистями из мишуры. Разложив все эти сокровища, Телемах посмотрел на них с детским восхищением, потом надел на курчавую голову шляпу с кистями, болтавшимися в разные стороны, завернулся в красную шаль своей жены Оливетты и взглянул на себя в зеркальце.

Перед ним промелькнула вся его жизнь и те времена, когда он был генералом. Вновь увидел он ослепительную картину коронования его величества, Фаустина Первого, голубые мантии герцогов, принцев и графов, алые одеяния баронов; черный лик императора, увенчанного золотой короной; увидел Оливетту в платье со шлейфом, увидел, как доставили ее в паланкине и как ей отвели место среди дам, собравшихся в церкви. Ему пригрезились пестрые наряды, выстрелы из пушек, звуки военного оркестра и возгласы: «Да здравствует император». Потом он, словно наяву, увидел пышные празднества в императорском дворце, когда зажигались свечи, сверкали хрустальные люстры, а белые муслиновые корсажи, обтягивающие дивные черные бюсты придворных дам, трещали по швам в бешеном вихре танцев. Словно наяву увидел он солдат, выстроившихся перед ним на безводной равнине, освещенной солнцем. Они построились в боевом порядке, взяли на караул. А он, Телемах, заложив руки за спину, совсем как Наполеон на гравюрах, обходил ряды и повторял:

— Молодцы, ребята!

А потом в его воображении возникли уже далеко не радужные картины. Он вспомнил события, погубившие его. Когда в декабре 1851 года Сулуку, который с царственным всемогуществом дал волю своему ребяческому, трусливому и жестокому характеру, вздумалось пойти войной на республику Сан-Доминго *, генерал Телемах, во главе своей бригады, вошел в экспедиционный корпус, отданный под командование генерала Вольтера Кастора, владетельного графа Коровьего острова. Император заявил в воззвании к армии: «Офицеры, унтер-офицеры, солдаты! Жителей востока, воло-

пасов из Сан-Доминго, мы обратим в бегство! Вперед!» Генерал Телемах, преисполненный доверия к императору, надел треуголку с кистями, нацепил на грудь императорский военный орден святого Фаустина и широкую ленту гаитянского ордена Почетного легиона и, блестя галунами и позументами, с важным видом зашлепал босыми ногами во главе черных полков, которые шли в авангарде, — и очень изумился, когда на опушке банановой рощи грянул оглушительный ружейный залп. Он был так поражен, возмущен, ошеломлен, что обернулся к войскам и, изменившись в лице, воскликнул со свойственной ему непосредственностью:

— Император издевается над бедными солдатами!

При таких словах генерала вся бригада пустилась наутек, только пятки засверкали. Телемах не пожалел своих ног, мускулистых, как у обезьяны, и, высунув язык, обогнал всех и вновь занял свое место во главе колонны, не помышляя о ружьях, палатках, патронташах и ящиках с сухарями, брошенных на дороге. Сулук, уведомленный об этой военной операции, затрясся от страха и для храбрости повелел расстрелять генерала Вольтера Кастора. Он приказал арестовать генерала Телемаха, и тот неделю скрывался в мангровых зарослях. Французский консул, но просьбе красавицы Сент-Люси, дал Телемаху убежище и переправил его на борт «Наяды», державшей путь на Марсель.

Когда Телемах вспомнил об этом, вид у него сделался такой, какой бывает у побитой смышленой собаки, и он снова завернул в фуляр кресты, эполеты и треуголку. Он опасливо посмотрел в окно, удостоверился, что на улице нет прохожих, водворил драгоценную шкатулку на место, запер шкаф, спустился в харчевню и подлил воды в кастрюлю, в которой, благоухая, шипело рагу.

Стрелки часов, висевших над стойкой, показывали одиннадцать. К стеклянным дверям, взметая тучу пыли, примчалась гурьба нечесаных мальчишек в рубашонках, торчавших сзади из штанишек. Пронзительные крики неслись из этой тучи пыли.

На пороге появился Телемах — он нес миску с остатками дичи и объедками жаркого, аккуратно заверну-

тыми в бумагу. Мирогоана с сосредоточенным и деловитым видом стояла на пороге и, виляя хвостом, следила за раздачей пищи.

Малыши, толкаясь, осаждали ноги Телемаха, который, гнусавя на особый лад, скомандовал:

— Равняйсь!

Ребята построились и, руки по швам, жадно смотрели на него, тараща глазенки и вытянув шеи.

Телемах с важной, но веселой миной оглядел их и приказал:

— Слушать перекличку. Первый... второй... третий...

И каждый получил свою долю. Номера первый, второй и третий убежали, прижимая лакомые кусочки к животу, притаились в укромных уголках и, недоверчиво озираясь, накинулись на еду.

— Четвертый... пятый... шестой...

Номер шестой, рыжеволосый мальчишка, так толкнул хромого мальчугана — номер четвертый, что тот уронил куриную косточку прямо в сточную канаву.

Мирогоана насторожила ухо, четвертый номер подобрал кость, а генерал Телемах, снабдив свою армию продовольствием, вернулся к кухонным делам. Удостоверившись, что рагу тушится надлежащим образом, он вытащил из сундука деревянное ружьецо, выкрашенное в красный цвет, и позвал Мирогоану. Она подошла, опустив ухо, с таким видом, будто хотела сказать:

«Господи! И кому это нужно? Как глупо понапрасну усложнять жизнь! Лично мне эти фокусы не доставляют ни малейшего удовольствия. Но я готова на все, лишь бы угодить своему хозяину Телемаху».

И Мирогоана встала на задние лапки и прижала к розовому животу деревянное ружьецо.

— На караул! Смирно!

Мирогоана ловко выполнила команду. Но вдруг она пошатнулась, опустилась на все четыре лапки, уронила ружье и побрела, отряхиваясь, к порогу.

— Плохо, никуда не годится, — сказал ей Телемах. — Завтра начнем сызнова.

Тут Мирогоана два раза тявкнула. Потом стала перебегать от порога к печке, стуча когтями по кафельному полу.

В лавку вошел Реми в соломенном шлеме — головной убор, излюбленный гребцами, — и представился Телемаху, который так обрадовался, что не мог вымолвить ни слова, и повернулся спиной к гостю, собираясь откупорить бутылочку белого вина.

— Да вы ли это, мусью, — наконец заговорил негр, вы ли, мусью Реми, сынок мусью министра и крестник моей бедной женушки Оливетты, которая торговала рисовой водкой, кокосовыми орехами и сапотилами? Жестокие мулаты убили Оливетту в ее лавке, в Порт-о-Пренсе, и выдули всю водку, и про это подробнейшим образом пропечатано в «Вестнике Гаити». Сам консул, мусью Морель-Липас, дал мне прочесть. Очень я горевал — Оливетта была славная баба. Как же я рад, что вижу вас, мусью Реми! Оливетта была в летах, когда мы поженились. Люди смеялись: берет Телемах в жены старуху; да Телемах-то знал: чем старше женушка, тем вкуснее стряпает. Присядьте же, мусью Реми! Вот белое винцо, уж оно-то не успеет состариться — мы его мигом разопьем.

И негр расхохотался. Он откупорил бутылку, сдул с горлышка сургуч и, наполнив стаканы, задумчиво сказал:

— Жизнь вечно не длится, зато смерть длится вечно.

И вытянув толстые губы трубочкой, шепнул на ухо Сент-Люси:

— Там, наверху, спрятаны у меня в мешке денежки, и немалые — хочу поставить памятник Оливетте, да покрасивей.

И он снова расхохотался. Затем он осведомился, как поживает г-жа Сент-Люси, — уж какая была красавица! — и полюбопытствовал, что поделывает Реми в Париже.

— Готовлюсь к экзамену на бакалавра, — отвечал, позевывая, Реми.

Телемах понятия не имел о том, что такое бакалавр, но решил, что, должно быть, это «штука важная».

Он чокнулся, прищурив ласковые глаза. Потом спросил, не собирается ли Реми стать генералом?

— Хорошее это дело, — со вздохом добавил он, — хорошее дело. Но и у генералов бывают неприятности.

Реми, смеха ради, осведомился:

— Телемах, ведь вы были генералом во времена этой злой обезьяны Сулука?

Телемах смешался. Его толстые губы задрожали. Он пробормотал:

— Не годится так обзывать императора, мусью Реми.

Отец рассказывал Реми, что Телемах смертельно боится Сулука, воображая, будто император еще жив. Поэтому Реми прибавил:

— Вы, кажется, опасаетесь, что тень Сулука явится ночью, схватит вас за ноги и утащит? Уже десять лет его величества нет в живых.

Негр медленно покачал головой и сказал:

— Враки, мусью Реми.

Реми попытался убедить его, что все знают о смерти Сулука, что он умер в 1867 году на Ямайке. Но негр ответил:

— Да нет же, мусью Реми! Император вовсе не умер, он скрывается.

И неуступчивый Телемах нахмурил брови.

Из медной кастрюли несся вкусный запах жаркого и пряностей. Негр снова просиял и воскликнул, заливаясь смехом:

— Сейчас мы с вами позавтракаем, мусью Реми.

Он накрыл стол в беседке, увитой диким виноградом. За садиком кабатчика зеленели грядки салата. Насыпь версальской железной дороги заслоняла горизонт. Реми стал рассеянно смотреть на убогий сельский пейзаж, но тут вернулся Телемах; он улыбался, растягивая рот до ушей, и поглядывал на Реми сквозь клубы пара, окутавшего блюдо, которое он держал обеими руками.

— Вот это — вкусная штука, мусью Реми, — заметил он.

И они позавтракали с отменным аппетитом. Мирогоана, которой было поручено сторожить харчевню, пока они завтракали, то и дело поглядывала на них со смиренным видом.

Они уничтожили рагу из кролика, запили его аржантейльским вином и долго смаковали сыр бри со свежим хлебом.

— Вам тут отлично живется, Телемах, — заметил Реми; сам он чувствовал себя здесь превосходно.

Но человек уж так устроен, что он ненасытен в своих желаниях; поэтому Телемах ответил со вздохом:

— Знаете, мусью Реми, чего недостает у меня в заведении? Моего портрета, нарисованного масляными красками, в золоченой раме. Мой портрет над стойкой — вот была бы красивая штука. Там, наверху, в мешочке у меня припрятаны деньжата на памятник Оливетте. Взял бы я оттуда немножко для художника, который срисовал бы с меня портрет.

Сент-Люси ответил, что портрет у генерала будет и при этом без ущерба для гробницы крестной.

— Я живописец, — сказал он восхищенному Телемаху. — В следующий раз принесу холст, ящик с красками и сделаю ваш портрет.

Двое солдат, о приходе которых возвестил лай Мирогоаны, заказали пиво. Пока Телемах пропадал в погребе, у Реми погасла трубка, и он пошел к стойке за спичками. И вдруг он увидел, что по улице шагает тот самый старичок, который сидел в гостиной, украшенной позолотой, у дам с улицы Фельянтинок. Именно тот самый старичок, и бакенбарды у него такие же и такой же зонт.

— Телемах, Телемах! — крикнул молодой человек.

Крышка погреба приподнялась, и появился Телемах, словно подземный дух, — правда, дух добрый. Он хохотал, держа в руках две бутылки пива, которые собирался откупорить и подать солдатам, сидевшим за столиком. Но Реми с силой потянул удивленного Телемаха за полу белой куртки и потащил к порогу харчевни,

— Вы не знаете, Телемах, кто такой вон тот старик? — спросил он, показывая пальцем на сгорбленную спину прохожего.

Негр прижал бутылки к груди и ответил, заливаясь смехом:

— Еще бы не знать, мусью Реми, Это мой домовладелец. А зовется он — мусью Сарьет. Попрошу-ка, чтобы он чердак починил.

Реми, не отпуская его, поспешно сказал:

— Телемах, не приставайте к старику с починками.

И спросил чуть ли не угрожающим тоном:

— А за помещение вы платите, Телемах?

Как могло только в голову прийти, что кабатчик, который уже двадцать один год живет в доме, не платит за помещение?

Затем Реми узнал, что г-н Сарьет слывет богачом, почти всегда живет в Нормандии, где у него имение, и измеряет зонтом всякие памятники.

Молодой человек пришел в восторг и воскликнул:

— Телемах! Ваш портрет — за мною. Я изображу вас генералом, в наряде, достойном ярмарочного лекаря, — с красным султаном на шляпе и с двойными эполетами.

Но выражение лица Телемаха стало серьезным и печальным.

— Важная это была бы штука, мусью Реми, — сказал о н . — Но не делайте этого: император рассердится. Он спрятался. Нарисуйте меня во фраке и чтобы на манишке у меня блестело три бриллиантовых запонки.

Реми шагал по Сен-Жерменской улице, и хоть он не умел рассуждать и никогда не удивлялся тому, что происходит вокруг него и в нем самом, он сейчас вопрошал себя, отчего он почувствовал такое смятение, когда увидел старика — друга двух дам с улицы Фельянтинок.

IX

Долго размышлял моралист Браншю о письме, написанном на жемчужно-серой бумаге, и о свидании у фонтана в крещенскую ночь, пока, наконец, все это не предстало перед ним в идеальном свете. Философ уже не думал о кровопролитном поединке с С е н т - Л ю с и , — напротив, он решил, что креол совершенно непричастен ко всем достопамятным событиям. Особое внутреннее чувство помогло Браншю познать истинную причину всего, что с ним приключилось. И хотя Реми во всеуслышание сознался, что сам написал письмо на жемчужно-серой бумаге, моралист с пренебрежением отнесся к его

словам, ибо безошибочная интуиция подсказала философу, что письмо это написано изысканной и безутешной женщиной, на редкость благородной по душе и происхождению. Он сделал ряд выводов, доступных лишь для мозговых извилин метафизика, и доказал себе с неоспоримой очевидностью, что женщина эта — датская принцесса, что зовется она Врангой и что, облекшись в дивный причудливый наряд, который подчеркивал поэтическую грусть ее облика, она уже хотела отправиться к фонтану четырех епископов, но вдруг упала, сраженная смертью, в своем будуаре, среди экзотических растений, аромат коих — символ ее любви к Браншю, был упоителен и смертоносен.

И моралист, постепенно воссоздавая все эти прекрасные и грустные события, благодаря самоуглубленному анализу и сосредоточенным размышлениям, рассказывал о них своему другу Лабанну, который не находил в его речах ничего несообразного.

Обнаруживая все новые и новые обстоятельства в жизни Вранги, Браншю в конце концов преисполнился печали, о которой пожелал всем поведать.

— Я должен покарать себя неслыханными муками, искупить то невиданное преступление, которое я совершил, погубив избранную натуру, изящную, как породистая лошадь, и мудрую, как Ипатия *.

Скорбная судорога сводила его выразительный нос. Вранга стала единственной темой его разговоров: умершая заполнила всю его жизнь. Он дошел до такого отчаяния, что забывал надевать фрак Лабанна. Он облачался в попону, будто в саван, и так бродил, с надменным и унылым видом, по бульвару Сен-Мишель.

— Видите сами, — говорил он, когда его останавливали приятели, — я в трауре.

И указывал на какую-то тряпицу, смахивающую на траурный креп и обвивающую некое подобие шляпы.

А пока философ Браншю оплакивал принцессу Врангу, Сент-Люси все больше охладевал к хозяйке «Тощего кота». Он не решался оставаться с ней наедине и не отходил от приятелей, даже если ему нужны были

спички, лежавшие на столе, рядом с краном, у которого Виргиния вечно ополаскивала стаканы.

Он остепенился и рьяно занялся живописью. К тому же в мастерской Лабанна появился художник — мускулистый, коренастый детина, работавший с неистовством, — он рисовал целыми днями, расстегнув на мохнатой груди рубашку, засучив рукава и не говоря ни слова. На его простом, загорелом лице, изрытом оспинами и украшенном жесткой бородкой, нельзя было ничего прочесть; круглые глаза смотрели пристально, но ничего не выражали. Это и был Потрель, тот самый Потрель, которого Виргиния обвиняла в неблагодарности. Он вернулся из Фонтенебло *, где провел два года, занимаясь живописью, теперь он занимался живописью в мастерской Лабанна, пока не освободилось помещение, которое он снял на Монмартре.

Потрель был молчалив — он не обладал даром речи. Склонясь над холстом с палитрой в руке и прищурившись, он отвечал на разглагольствования Лабанна одним лишь словом: «Возможно», причем выговаривал его по слогам, попыхивая обкуренной носогрейкой.

Однажды Лабанн сказал ему:

— Совершенство недостижимо. Поэтому художник не в состоянии создать совершенство.

— Возможно, — отвечал Потрель.

И продолжал писать.

К нему приходил натурщик — прехорошенький мальчишка-итальянец, плакса и пройдоха, таскавший у него табак. Сент-Люси теперь мог рисовать нагое тело. Время от времени Потрель вставал с табурета, чтобы размять ноги, делал Реми отрывистые и четкие замечания, а потом снова принимался за работу.

Впрочем, однажды утром он долго сидел, то почесывая бороду, то грызя ногти. Когда Реми спросил, почему он бездельничает, Потрель указал на окошко и буркнул:

— Вот эта чертова штуковина мешает мне писать.

«Штуковиной» оказалось солнце, заливавшее мастерскую ослепительным светом.

Потрель много ел. Он ходил в извозчичьи кабачки. Когда Реми заговаривал о «Тощем коте», Потрель только

усмехался. Но однажды он спросил, сохранились ли у Виргинии ее роскошные формы. Наконец, после долгих и тщетных попыток, Реми удалось как-то вечером затащить его в заведение на улице св. Иакова. Виргиния покраснела, как пион, и угостила неблагодарного толстым ломтем ветчины.

— Кушайте, господин П о т р е л ь , — говорила она. — Вкусная, нежная, просто во рту тает. Видите, какой жирок — белый-пребелый; да что же вы ничего не пьете? Попробуйте-ка пива; в прошлом месяце разлила его по бутылкам. Прежде вам пиво нравилось.

Потрель ел и пил, а Виргиния, стоя у его стула, улыбалась ангельской улыбкой и, млея от удовольствия, смотрела, как этот молчаливый и могучий муж отправляет себе в рот кусок за куском.

Реми вышел из пивной, но хозяйка не обратила на это никакого внимания. И он облегченно вздохнул, как человек, сбросивший с плеч тяжкое бремя.

Возвращаясь к себе, он увидел, что привратник, служивший в доме, где жили его дамы, входит в винную лавочку, а жена привратника болтает с зеленщицей довольно далеко от парадного. И его вдруг осенила удачная мысль; он вошел в швейцарскую, где не было ни души, и постарался разузнать фамилию дам с пятого этажа. На почтовом ящике виднелась надпись, гласившая: «Г-жа Лурмель, рантье».

На следующий день он увидел, что барышня Лурмель, стоя у окна, наливает воду для птиц в фарфоровую чашечку. И он посмотрел на нее с невольной симпатией и с живым интересом. Она увидела его и медленно отвела свои наивные и задорные глаза. Он заметил, что она стала совсем взрослой и очень хороша собой.

В те дни Реми часто наведывался в Курбевуа, и портрет Телемаха мало-помалу вырисовывался на полотне. Портрет получился прескверный. Но Телемах был в восторге. По вечерам, закрыв лавчонку, он водружал портрет на стол, между двумя свечами, и отплясывал каланду или нежно мурлыкал гнусавым голосом:

Канга до ки ля,
Канга ли.

Мирогоана, сидя на задних лапах, с важным видом присутствовала при этой церемонии. Как-то раз она до того умилилась, что лизнула еще не подсохший нос портрета. Правда, изъян устранили без труда.

Однажды Телемаху взгрустнулось при мысли, что рядом с ним на холсте не увековечена и Оливетта в алой шали. Но он тотчас же примирился со своей участью и снова пустился в пляс.

X

Реми, проснувшись, вспомнил о том, что вчера он закончил портрет Телемаха и что это — произведение в своем роде замечательное. Затем он с удовольствием увидел в окно, как в комнате напротив две ручки ударяют по клавишам фортепиано; ручки стали гораздо белее и ударяли по клавишам с большим чувством. Но он заметил, что люстру заточили в кисейный чехол, а в квартире, обычно такой тихой, царит суматоха.

Ручки захлопнули крышку фортепиано, исчезли, а потом снова появились с сафьяновыми саквояжами и шляпными картонками. Реми, предчувствуя какое-то важное событие, не покидал наблюдательного поста и следил за подступами к подъезду. Он простоял на карауле два часа и наконец увидел, что из дома вышел привратник, нагруженный целой пирамидой чемоданов и картонок, что у дверей остановилась наемная карета, а немного погодя горничная г-жи Лурмель принесла еще груду баулов и картонок и принялась все это заталкивать в карету.

Тут Реми схватил ящик с красками, выгреб все деньги из секретера, сунул их в карман и, не надев шляпы, в домашней куртке и ночных шлепанцах, опрометью сбежал по лестнице. Карета, в дверцах которой мелькнула оборка женского платья, уже катила по мостовой под шаткой пирамидой вещей, когда Реми остановил какую-то пролетку и велел удивленному извозчику мчаться вдогонку.

Оба экипажа пересекли Париж, въехали во двор вокзала Сен-Лазар и тут остановились. Реми в своем

домашнем облачении пошел вслед за дамами и вместе с ними поднялся по вокзальной лестнице. Барышня Лурмель обернулась и окинула взглядом чудака-путешественника, которого, конечно, отлично узнала. Она смотрела на него с насмешливым и каким-то восторженным удивлением. Он подошел к билетной кассе одновременно с г-жой Лурмель и, услышав, что она попросила два билета до Авранша, тоже взял билет до Авранша и облегченно вздохнул. Было двенадцать минут пятого, а поезд отходил без двадцати пяти минут пять. Г-жа Лурмель с дочкой пошли сдавать вещи в багаж. Реми не нужно было выполнять никаких формальностей, но ему необходимо было кое-что купить. Он побежал на улицу Пепиньер, в магазин готового платья, взял, не глядя, два-три костюма и расплатился с торговцем, который чуть было не препроводил подозрительного покупателя в полицию. Но вдруг Реми крикнул с отчаянием:

— А ботинки! Ботинки-то!

Хозяин лавки, красивый еврей с козлиным лицом, сладкой улыбкой и жестким взглядом, холодно ответил, что «обуви не держит».

— А вы мне свои отдайте! — крикнул Реми, совсем потеряв голову.

Еврей, не на шутку встревоженный, нахмурился так грозно, что Реми улизнул в своих шлепанцах, прихватив одежду, в которую и облачился по дороге в уличной сутолоке, среди бела дня. Он кинулся в соседнюю лавку, схватил там шляпу и уплатил на лету. Было двадцать семь минут пятого. Реми бросился бежать и за три минуты до отхода поезда влетел в зал ожидания, по которому, вероятно, еще никогда не ступал пассажир в шлепанцах. Он вошел, и его приветствовали очи-фиалки — они будто говорили ему: «Мы вас ждали. Право, вид у вас довольно странный — кожа такая смуглая, новенький костюм надет кое-как, а на ногах шлепанцы. Но нас это ничуть не пугает и не сердит. Мы находим, что вы славный, да и лицо у вас смелое, а это нам нравится. Вот и все, что мы можем вам сказать. Насчет остального — обращайтесь к маме». Все это говорили очи-фиалки, зато взгляды г-жи Лур-

мель выражали тревогу; так бывает встревожена курица, когда подманивают ее цыпленка, бросая ему хлебные крошки.

Реми из скромности не вошел в то купе, где ехали мамаша и дочка, а водворился в другом конце поезда. Он сидел на скамье и раздумывал о том, где, когда и на что купить ботинки, потом сосчитал деньги и, обнаружив, что у него осталось еще двадцать один франк тридцать пять сантимов, приободрился. И тут он задался вопросом, уж не влюбился ли он в мадемуазель Лурмель?

XI

Спустя неделю после отъезда Реми на г-на Годэ-Латерраса внезапно напало педагогическое рвение и он направил свои стопы, с томиком Тацита в кармане, в гостиницу на улице Фельянтинок. Там он узнал, что его ученик скрылся. Тучка скользнула по его челу, по благородному челу, которое, будь оно зеркалом, отражало бы лишь небеса, тихоокеанских чаек да созвездия Старого и Нового света. У людей возвышенного ума чаще, чем у людей заурядных, бывают предчувствия. И у Годэ-Латерраса появилось предчувствие. Вот почему, позабыв о давнишней вражде, он отправился в мастерскую Лабанна.

Скульптор, пребывавший вне времени и пространства, не мог ничего ему сказать. Зато он проводил Латерраса к кормилице-Виргинии, которая приписала исчезновение Реми безысходному горю, но какому именно, объяснять не стала, хотя и намекнула, что она сама, кажется, причастна к случившемуся. Если г-н Сент-Люси принял роковое решение из-за неразделенной любви, как она того опасается, то она просто в отчаянии. Но ведь на всех не угодишь, если ты не из породы тех женщин, которых сейчас столько развелось. Да ничего особенного она и не делала, — напрасно г-н Реми приревновал ее к г-ну Потрелю. Под конец Виргиния заявила, что она честная женщина и что совесть ее чиста. Она призвала Тощего Кота, взиравшего на них с полотна, в свидетели своего высоконравственного пове-

дения и удалилась в закуток, где обычно ополаскивала стаканы.

Господин Годэ-Латеррас с озабоченным видом взобрался на высоты Монмартра. На следующее утро он спустился оттуда на империале омнибуса и опять появился в мастерской, которая превратилась в его штаб-квартиру. Тут он застал моралиста Браншю, облаченного в попону и трудившегося над трактатом о любви. Он был поглощен своим замыслом и тотчас же о нем поведал.

— Настоящая любовь, — изрек он, — может возникнуть лишь в том случае, если мужчина и женщина никогда не встречались. Полная гармония двух душ бывает лишь в вечной разлуке. Одиночество — непременное условие всеобъемлющей страсти.

Господин Годэ-Латеррас не поддался соблазну и не вступил в словесный поединок в столь возвышенных сферах. Он спросил, не видел ли моралист г-на Сент-Люси.

Браншю не знал об исчезновении креола, но когда услышал эту новость, его вдруг осенила догадка. Он сразу постиг многое. Он решил, что исчезновение Реми тесно связано со смертью прекрасной принцессы Вранги. Моралист был убежден, что странное поведение Сент-Люси в дни событий, которые предшествовали и сопутствовали прискорбной и поэтической кончине принцессы, должно было породить глубочайшее раскаяние в молодом человеке, по виду ветреном, а на деле вероломном.

— Принцессе Вранге суждено было умереть, — добавил философ с невозмутимым видом. — Ей нужно было умереть, дабы любовь, которую она питала ко мне, осуществилась в абсолюте. Но господин Сент-Люси множество раз перехватывал письма, которые принцесса посылала мне и содержание которых я восстановил по наитию; он с дьявольской иронией вручил мне только последнее письмо; это преступление, по-видимому, и довело его до самоубийства.

Пока Браншю говорил, нос его подергивался, выделяясь на мертвенно-бледном лице, покрытом красными пятнами, взгляд блуждал, глаза налились кровью. Тут очень кстати явился Лабанн и вывел на улицу

незадачливого наставника, который от растерянности стал размахивать над головой зонтиком.

— Бедному моему моралисту, — воскликнул Лабанн, — еще никогда не приходили в голову такие возвышенные идеи! Будь у него в мозгу одна крупица фосфора, он был бы гением! Но ему достались две крупицы. Вся беда в этом.

Лабанн вспомнил, что Сент-Люси с восторгом рассказывал ему о чернокожем генерале — кабатчике из Курбевуа. Скульптор сказал, что, может быть, они получат кое-какие сведения у негра; к тому же Лабанну хотелось посмотреть на Телемаха.

Они взобрались на империал конки и доехали до площади Этуаль. Лабанн по привычке вошел в первую попавшуюся кофейню и начал без умолку разглагольствовать за кружкой пива. Г-н Годэ-Латеррас пускался в пространные возражения. А Лабанн отвечал, не слушая. Так они развивали великолепнейшие теории. Вдруг скульптор щелкнул пальцами и воскликнул:

— А ведь можно придать терпимый вид сему предмету.

Предметом была Триумфальная арка.

— И сделать это совсем просто. Но вот увидите, никто и не подумает об этом. А нужно всего-навсего вот что: рассадить у основания некоторое количество сапожников, писцов, торговцев жареной картошкой — кстати, чад был бы тут весьма уместен. Пусть бы на жалких лавчонках красовались безграмотные и аляповато размалеванные вывески. И пусть бы разрешили строителям лавчонок вытаскивать камни из монумента, особенно по углам: линии стали бы мягче. То тут, то там зияли бы дыры — хорошо было бы засыпать их землей и посеять буковые орешки и желуди. Буки, дубы распушили бы на различной высоте свои зеленые кроны и нарушили бы унылое однообразие серых стен, а корни, пробиваясь в каменной кладке, покрыли бы ее живописными, извилистыми трещинами. Плюща бы сюда побольше. Да в нем недостатка не будет, ведь он превосходно уживается на камнях. Ветры и птицы посеют в щелях, засыпанных пылью, дикий левкой —

ведь дикому левкою по вкусу старые стены! — и уйму всяких злаков. Камнеломка, любящая сырость, ежевика и дикий виноград вырастут и размножатся где попало. На верхушке монумента настроить голубятен. Под сводами слепят гнезда ласточки. А к вечеру на карнизы будут слетаться стаи ворон, приманкой им будут дохлые сони и полевые мыши. И тогда-то на Триумфальную арку, если ее станут поддерживать с такой разумной заботой, будут взирать поэты, ее будут рисовать художники, и она прослывет произведением искусства. Человек, кружку пива!

Вечерело. Скульптор и мыслитель решили, что не стоит никуда ехать, и сели на трамвай, идущий к Монпарнасу.

XII

Пока г-жа Лурмель с дочкой устраивались в сером каменном домике под соломенной кровлей в тихом селении на морском берегу, неподалеку от Авранша, Реми, радостный и овеянный соленым ветерком, шел в соседнюю деревню на ярмарку, прихватив ящик с красками. У него осталось всего-навсего четырнадцать франков семьдесят сантимов, зато появились башмаки. Вокруг площади рядами стояли возы. Под деревьями, посаженными в шахматном порядке, смешалось все: румяные лица, обрамленные русыми бородами, телячьи спины, испачканные высохшим навозом, рога, рыльца поросят, лоснящиеся крупы, белые чепчики. С телег стаскивали свиней, и они пронзительно визжали, заглушая слитый гул голосов и рев скота. Женщины с золотыми цепочками, надетыми поверх бумажных косынок, и в гладких юбках неподвижно стояли на страже возле повозок, а мужчины в синих блузах с топорщившимися складками тем временем обделывали дела, потягивая сидр в кабачке, полном мух.

Реми вошел в кабачок, дверь которого была украшена веткой остролиста, уселся за столиком и разложил бумагу с карандашами. Он нарисовал одного крестьянина, потом другого, потом третьего, дотом

вообще всех, кто на него смотрел. За каждый портрет он просил двадцать су. Но кошельки не развязывались.

— Приведите-ка своих милых, — предложил художник, — мигом их нарисую.

В толпе зашумели, и несколько подвыпивших парней с хохотом подтолкнули к Реми какую-то толстушку. На щеках у нее рдел багровый румянец, и она хохотала до упаду. Реми сделал набросок — девушку можно было узнать по чепцу и крестику. Один из веселых парней порылся в вязаном кошельке, протянул художнику серебряную монетку и, старательно сложив рисунок вчетверо, сунул его за пазуху.

Все сошлись на том, что парижанин превосходно передает сходство, и Реми вернулся в деревню с несколькими серебряными монетами в кармане.

Он переночевал на захолустном постоялом дворе, в той деревушке, где поселилась и г-жа Лурмель, и с утра отправился на золотистый пляж, где рядами стояли пестрые купальные кабинки.

Море голубело на горизонте, медленно поднимался прилив, и сверкающая зеленоватая волна, отороченная пеной, с шумом катилась по песку. Небо в легкой влажной дымке, то коварное небо, что и ласкает, и обжигает белую кожу горожан, замыкало округлый горизонт. Ветерок, дувший с океана, играл оборками женских платьев. Хрупкие парижанки в купальных костюмах, с волосами, подобранными под резиновые чепчики, бежали навстречу волне. Реми заметил мадемуазель Лурмель — ее фиолетовый шарф развевался по ветру.

Он чуть было не кинулся на шею девушке, но тут, у поворота дорожки, терявшейся на песчаном берегу, показался г-н Сариет с неизменными седыми бакенбардами и неизменным зонтом.

— Здравствуйте, господин Сариет, — сказал Реми изумленному старику.

Не прошло и четверти часа, как они стали добрыми друзьями.

— Я большой любитель памятников старины, — говорил г-н Сариет, — и знаете ли, я целых три недели измерял стены аббатства на горе Сен-Мишель; измерения я производил зонтом. Такая уж у меня привычка.

Вот, например, высота каменных стен аббатства в среднем равна семидесяти двум зонтам, а внутренних колонн храма — по крайней мере тридцати семи зонтам, трем набалдашникам и двум металлическим наконечникам.

Господин Сариет пришел в восторг, когда узнал, что Реми — художник. Они сговорились вместе обойти весь Авраншский округ. Решили, что г-н Сариет будет измерять исторические памятники, а Реми их зарисовывать.

— Представьте меня госпоже Лурмель, — попросил Реми.

И когда старик произнес: «Господин Реми Сент-Люси, сын господина Сент-Люси, бывшего министра Гаити», Реми поклонился г-же Лурмель, онемевшей от удивления, и девушке, которая широко раскрыла свои фиалковые глаза и расцвела в улыбке.

В тот вечер г-жа Лурмель и ее дочь сидели у окна, облокотившись на подоконник, вдыхали воздух, насыщенный солью, и смотрели, как над сверкающим морем всходит луна.

— Но послушай, доченька, — говорила г-жа Лурмель, — ведь нам ничего неизвестно ни о его семье, ни о состоянии, ни о поведении.

— Но послушай, мамочка, ведь я же люблю его! — воскликнула девушка с той беззастенчивостью, которая свойственна неиспорченным натурам.

— Что ты, право, говоришь, Жанна! — возразила мать. — Ты же его совсем не знаешь.

Жанна ответила, и что-то ласковое, но задорное, было в ее прекрасных лучистых глазах:

— Я его не знаю, мама, но я его узнаю.

XIII

Господин Алидор Сент-Люси накануне вечером приехал в Париж, но все еще не видел сына. Он тщетно искал его по всему вокзалу, тщетно прождал его в гостинице. Он был раздосадован; его нервы расша-

тались от долгого путешествия, и даже в гостинице, в покойной постели ему всю ночь мерещилась качка на пароходе и тряска в курьерском поезде. Проснулся он не в духе. Суставы поламывало, болела голова.

Сейчас он сидел, развалясь, на извозчике, который вез его по тряской мостовой, и с раздражением думал о воспитании сына, о потворстве г-на Годэ-Латерраса. Прошло целых четыре года, а Реми все еще не бакалавр. Напрасно выбрал он в наставники этого бедного, хоть и достойнейшего человека. Алидор ждал большего от Годэ-Латерраса: в кофейне, где велись политические споры, он поражал своим красноречием и непреклонным стоицизмом. Кроме того, Алидор негодовал, что сын не встретил его, как подобает, на вокзале. Откуда-то несся запах жареного мяса, дразня аппетит г-на Алидора. Экипаж еле-еле полз, поднимаясь в гору; тощая кляча, понурив голову, покорно подставляла спину под кнут. Наконец кучер молча остановил экипаж. Перед дверцами возвышалось сто шестьдесят ступеней Котэнского прохода.

Алидор вышел и дал монету в сто су кучеру — верзиле с чумазым, угреватым лицом; тот молча зажал ее зубами. Началась немая сцена. Кучер, настоящий великан, не спеша поворачиваясь на козлах, пошарил в одном из карманов, вынул кошелек и застыл, глядя на свою клячу, делавшую какие-то судорожные движения, затем начал исследовать второй карман, по вдруг тронул лошадь и дал ей пройти несколько шагов вперед, в сторону от проезжавшей телеги, которая ничуть не угрожала его экипажу; потом вывернул наизнанку карманы красного жилета и в конце концов показал раздосадованному седоку семь су. Больше сдачи не набралось, не было мелочи. Алидор с разъяренным видом повернулся к нему спиной и услыхал, как кучер, ворча, хлестнул лошадь. Безупречные лаковые ботинки поскрипывали на выщербленных плитах Котэнского прохода и взбирались, ступень за ступенью, по крутой лестнице, залитой, хоть лето и было в разгаре, вонючей и липкой жижей. Наконец, прошаркав по скользким ступеням, проложенным между домами, г-н Алидор дернул за ручку звонка в виде оленьей

ножки, висевшую у двери, покрытой плесенью. Ждать пришлось довольно долго, наконец дверь приотворилась, и показалась голова, обмотанная куском пестрой ткани. Достойнейший муж спросонья натянул впопыхах брюки, с которых осыпалась присохшая грязь. В воздухе стоял запах сырости и табака. Зеленоватый дневной свет, пройдя все закоулки и потускнев, с трудом пробивался сквозь мутные стекла. К стенам булавками были приколоты политические карикатуры. На умывальнике возвышалась груда засаленных и растрепанных книг. На письменном столе, вперемежку со словарями и рукописями, валялись куски хлеба, мыло и гребенка. Нищенская обстановка говорила о такой укоренившейся лени и безалаберности, что г-н Сент-Люси, увидев комнату, сразу постиг характер наставника, как будто целых двадцать лет ходил за ним по пятам из кофейни в кофейню. Бедняга-креол пытался держаться с достоинством, чтобы хоть этим скрасить убожество своего жилья.

— Прошу прощения, — сказал он бывшему министру, — что я принимаю вас в неприглядной келье современного отшельника.

Он добавил, выпрямившись:

— Ведь мы — ученые-бенедиктинцы * девятнадцатого века!

И он украдкой рассовывал по карманам гребенку, мыло и хлебные корки, осквернившие его письменный стол.

Сент-Люси пришлось признаться себе, что его не обманули, а обманулся он сам. Да и мог ли Годэ-Латеррас кого-нибудь обмануть? Бездельник и неряха был жалок, но именно чувство жалости было чуждо душе Алидора Сент-Люси. Ему оставалось только пенять на самого себя, но этого-то он и не мог простить дуралею-наставнику. Его охватила ярость, он стиснул зубы и бросал вокруг недобрые взгляды. Но немного погодя он с каким-то особенным удовольствием решил скрыть гнев. И сказал, придавая своему спокойному голосу, присущему человеку сильному, чуть ли не вкрадчивое выражение:

— Любезный господин Годэ, извините, что я поднял вас с постели. — И какой же взгляд он бросил на то,

что вежливо наименовал постелью! — Мой первый визит — к вам. Сейчас мы с вами нагрянем к Реми. Я его предупредил о своем приезде, но он не обратил на это никакого внимания. Хочется мне отодрать его за уши.

Услышав слова Алидора, наставник задрожал от страха, и как ни откидывал он голову, а все время видел перед собой загадочное лицо мулата.

Он попытался улыбнуться и пробормотал, запинаясь, что как раз на нынешний день освободил Рене от занятий и что его ученик, должно быть, отправился погулять за город.

Несчастный выигрывал всего лишь день. Он провел его в розысках, устал, но ничего не добился.

Наутро, ровно в восемь часов, Сент-Люси снова появился в келье, где ученый-бенедиктинец XIX века навел кое-какой порядок. Годэ-Латеррас наценил белый галстук, а на его лице появилось стоическое выражение, придававшее ему столько внушительности во время всяческих церемоний. Но сейчас его терзал не только страх перед бывшим министром Сулука. Ему уже не доверяли в кухмистерской, в Купальном переулке, за душой у него не было и двадцати су, он совсем обнищал. Часть двестифранкового жалованья, которое он ежемесячно получал в гаитянском консульстве, вечно уходила на уплату долгов всяким поставщикам. Ибо он был человеком честным. А остававшейся суммы хватало не надолго. Больше всего на свете он любил сорить деньгами.

Он пошел следом за г-ном Алидором Сент-Люси, вне себя от тревоги, которая сначала его оглушила, ослепила, повергла во прах, а потом мало-помалу довела до безразличия. Он очнулся, услышав, что гаитянин велит извозчику ехать на улицу Фельянтинок, и попытался выгадать еще несколько часов.

— Любезный господин Алидор, — сказал он, — скорее всего мы застанем Реми только после полудня, когда я обычно прихожу на урок.

Недоверчивый и скрытный мулат стал подозревать, что от него скрывают какую-то тайну. С особым злорадством он постарался все запомнить и ответил добродушным, безмятежным тоном:

— Что ж, господин Годэ, тогда поедемте завтракать. Вы, вероятно, проголодались.

Завтракали в кофейне на бульваре. Наставник ел мало и с ужасом смотрел, как могучий мулат поглощает мясо, чтобы поддержать свои силы. Никогда еще Алидор не казался ему таким огромным, таким широкоплечим. Из манжет, застегнутых золотыми запонками, у бывшего министра высовывались мускулистые, бронзовые ручищи; он обращался к наставнику с детской ласковостью. Он с наивным видом опускал ресницы, чтобы притушить жестокий блеск своих глаз. И эта наивная доверчивость усиливала муки наставника. На столе появились сигары и ликер: завтрак затянулся. Однако кончился и он. И вот пролетка, за которой посылали официанта, повезла папашу с учителем на улицу Фельянтинок.

Ученый муж все уповал на чудо. Он даже почти верил, что по воле провидения Реми сидит дома и трудится над Тацитом.

Первые же слова хозяйки гостиницы их сразили.

— Господин Реми куда-то пропал, — сообщила о н а , — надо заявить в полицию.

Алидор повернулся к наставнику и скрестил руки. Ничто не дрогнуло в его матовом, смуглом лице, но губы его побелели, а глаза налились кровью. Он стиснул зубы и спросил гортанным голосом:

— Где он? Вы за него отвечаете!

И своей могучей рукой он схватил наставника за плечо, но г-н Годэ, поскольку земля не разверзлась под ним тут же, у конторы гостиницы, закинул голову и стал созерцать лестничную клетку. Даже в час крушения всех надежд он по-прежнему был велик духом. Г-н Сент-Люси огляделся, увидел медные подсвечники, стоявшие в ряд на столике, ключи с ярлыками и рекламу фирмы ликеров — предметы, свидетельствующие о европейской цивилизации. Когда б он увидел вокруг бесплодные холмы, крутые откосы оврага или манговые леса родного острова, то, право, не утерпел бы и с наслаждением задушил бы наставника. Он сдерживался из уважения к европейским нравам и сказал лишь одно:

— Не отпущу вас, покуда вы его не найдете.

И они начали колесить на извозчике по городу. Наставник стал проводником мулата, который все время молчал. Годэ-Латеррас обедал с гаитянином в роскошных ресторанах, где ему с приятностью улыбались официанты и где он ел вкусные блюда. По вечерам он поднимался по лестнице отеля, по ковру, заглушавшему звуки шагов, и тень его спутника, выросшая до невероятных размеров, неотступно поднималась рядом. Он входил в великолепную комнату, и дверь за ним запирали, а утром ключ щелкал в замочной скважине, вновь призывая его к роскошной и мучительной жизни. Они садились на извозчика, ждавшего их на улице, и весь день разъезжали. Были они и у «Тощего кота». Виргиния дала Алидору понять, что принимает живое участие в судьбе его сына. Она даже белье чинила г-ну Реми. Ради него она готова в огонь и воду. Не из тех она женщин, которых в наше время развелось так много.

— Поезжайте в морг, — добавила она, горестно вздохнув.

И она убежала в кухню, а через минуту снова появилась с красным носом, заплаканными глазами и принесла счет, по которому г-н Реми не уплатил.

К тому же она воспользовалась случаем и напомнила г-ну Годэ, что он задолжал ей за все съеденное и выпитое. Но человек с железной волей позабыл дома кошелек. Впрочем, он больше уже не боролся с обстоятельствами. Тюрьма на колесах изнурила его. От «Тощего кота» его поволокли в мастерскую Лабанна.

Скульптор объявил, поглаживая свою блестящую бороду, что он все еще не видит покаянного памятника жертвам тирании. Пока он изучает флору Антильских островов. Он показал г-ну Сент-Люси мольберт, почти похороненный под грудой книг.

— Мольберт принадлежал Реми, — заметил скульптор, — мальчишка уже ловко стал рисовать.

— Так значит сын у меня художник? — удивленно воскликнул Сент-Люси.

И он привычным жестом втолкнул наставника в пролетку, ждавшую их у дверей. Побывали они и в полицейском управлении; побывали они и у Диона, который

сочинял поэму, сидя под скрещенными рапирами. А рядом, на книжном шкафу, красовался череп в бархатной полумаске с кружевной оборкой. Побывали они у Мерсье и его сожительницы-акушерки, дородной и краснощекой женщины. Побывали и в отдаленнейшей части Батиньоля *, в мастерской живописца Потреля. Побывали у некоей девицы Мари, побывали и у девицы Луизы, которая стала заигрывать с бывшим министром и называть его «папочкой».

Однажды, превосходно позавтракав и завидев извозчика, который вот-вот должен был его умчать, Годэ-Латеррас попросил г-на Сент-Люси разрешить ему съездить домой за рубашкой и носками. Но тот даже не ответил, а приказал кучеру остановиться у первой попавшейся лавки, торгующей бельем.

В тот день они отправились к Телемаху. Мирогоана, которой никогда еще не доводилось видеть, чтобы перед харчевней ее хозяина останавливался экипаж, забила тревогу. А Телемаха охватил благоговейный ужас, когда из экипажа вышел бывший министр императора.

— Это вы, мусью Сент-Люси! — проговорил он и замер с открытым ртом.

Он исподтишка поглядывал на экипаж, — не спрятался ли там Сулук. Успокоившись на этот счет, он улыбнулся Годэ-Латеррасу и спустился в подвал за пивом.

Пока его не было г-н Сент-Люси внимательно разглядывал портрет в золоченой раме, висевший над стойкой.

— Красивая штука, не правда ли, мусью? — спросил негр, голова которого показалась на поверхности земли. — Это, мусью, ваш сын нарисовал мой портрет. Мусью Реми — просто колдун.

Папаша метнул на наставника взгляд, дышавший черной ненавистью. И это было все.

Телемах, узнав от бывшего министра, что Реми исчез, долго о чем-то раздумывал. Прищурившись, будто кот, впавший в дремоту, он, казалось, взглядом советовался с Мирогоаной. Наконец тряхнул головой и произнес важным и проникновенным тоном:

— Мусью, молодого человека похитила любовь! Все молодые люди от любви беснуются — как братец

Ваду, когда он пляшет на клетке со змеей. Старушка стряпуха — это очень хорошо. Но красотка-девчонка — это тоже хорошо.

Телемах замолчал.

— А вы знаете, где мой сын? — спросил Сент-Люси,

— Знаю, мусью, — ответил Телемах, — он там, где девчонка.

Его спросили, где же красотка, о которой он говорит.

— Не знаю, мусью, — ответил он.

И улыбнулся, как малый ребенок.

Большего г-ну Сент-Люси не удалось добиться. Он втолкнул наставника, державшего пакет с носками и рубашками, в пролетку и велел Телемаху сообщить обо всем, что удастся разузнать о Реми.

XIV

Телемах облачился во фрак. В партикулярном платье у него был такой представительный вид, что швейцар в отеле, не колеблясь, указал ему на парадную лестницу.

— Здравствуйте, мусью, — сказал Телемах Алидору, который был одет в розовую куртку и панталоны со штрипками. — Я знаю, где мусью Реми. Там, где девушка, а девушка в Авранше, на море.

Тут он объяснил, что не раз примечал, как юношу интересует г-н Сариет, домовладелец из Курбевуа, и решил, что все дело тут в какой-нибудь девице. От жены мясника и от булочницы он узнал, что г-н Сариет, человек неразговорчивый, — опекун девицы, которая лишилась отца и жила вместе с матерью на улице Фельянтинок. Девица, говорили, прехорошенькая. И пронюхав, что г-н Сариет поехал навестить свою подопечную в деревушку близ Авранша, Телемах решил, что мусью Реми тоже отправился в Авранш. Он уверял, что сам братец Иосиф, прорицатель, так ловко не отгадал бы загадку, даже если бы сплясал на клетке со змеей.

Господин Сент-Люси поспешил выпустить из темницы наставника, который уже начал привыкать к своей

роскошной, необыкновенной жизни, и велел ему укладывать вещи. При этих словах, полных жестокой иронии, Годэ-Латеррас возвел к потолку глаза — они напоминали глаза собаки или мученика и придавали его облику что-то трогательное. Мальчишке-рассыльному велено было купить для него несколько носовых платков, и наставнику пришлось ехать бок о бок с мулатом по нормандской железной дороге.

Путешественники провели ночь в Авранше. Утром мягкий свет посеребрил песчаный берег бухты, в глубине которой темнела зубчатая пирамида — гора Сен-Мишель. Алидор притащил Годэ-Латерраса к дилижансу, ходившему в приморскую деревушку. Бывший министр занял лучшее место впереди, а пленника усадил под брезентовой покрышкой, между двумя ящиками, которые так и впивались ему в бока.

Приехав на взморье, где в тот день была приятная, нежаркая погода, Сент-Люси тотчас же нанял комнату на постоялом дворе и запер свою жертву на ключ. Он засыпал вопросами хозяйку, и та сказала, что г-н Реми взял ящик с красками и пошел вместе с г-ном Сариетом к береговым скалам. Алидор поспешил туда и действительно минут через десять увидел Реми, который преспокойно писал утесы. Алидору страстно захотелось и отколотить сына тростью и сжать его в объятиях. Пока он колебался, не зная, какому порыву поддаться, Реми бросился ему на шею.

Куда делся хмурый юнец, с которым отец расстался четыре года тому назад! Перед ним стоял сильный, энергичный и жизнерадостный молодой человек. Лицо у него было открытое и улыбающееся.

— Как я счастлив, что ты приехал, папа! — воскликнул он. — А я собирался тебе написать. Вот познакомься с господином Сариетом, а он представит тебя госпоже Лурмель и ее дочери.

Господин Сариет, измерявший зонтом прибрежные скалы, прервал свое занятие и поклонился.

Вечером, когда на небе появились полчища звезд, г-н Алидор Сент-Люси с изысканной креольской любезностью предложил руку г-же Лурмель, приглашая ее пройтись по берегу.

Реми шел рядом с Жанной и любовался ее ресницами: казалось, будто они отбрасывают голубоватые ночные тени на ее круглые щечки. Она вскинула свои ясные глаза, напоминавшие фиалки, омытые росой, взглянула на молодого человека и промолвила, сверкая зубками, по которым скользнул луч луны:

— Вот моя мама совсем, совсем не понимала, почему вам вдруг вздумалось путешествовать в одно время с нами, да еще без шляпы, в шлепанцах и курточке. А я сразу поняла, что вы просто решили на мне жениться.

Господин Алидор сказал сыну, когда они остались наедине, причем его голос звучал и ласково и ворчливо:

— Девушка очень мила. Ты такой не заслуживаешь. Напрасно я не рассказал госпоже Лурмель о твоих похождениях в Париже, повеса. А научился ты по крайней мере рисовать?

Тут он вдруг ударил себя по лбу и воскликнул:

— Да ведь я забыл про этого болвана Годэ, — он так и сидит взаперти!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА

Перевод *Е. Ф. Корша*
под редакцией *Е. А. Гунста*

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ПОЛЕНО

24 декабря 1861 года

Я переоделся в халат и надел туфли; отер слезу, выступившую мне на глаза от холодного, резкого ветра, задувавшего с набережной. В камине пылал яркий огонь, озаряя мой кабинет. На оконных стеклах распустились листьями папоротника ледяные узоры, скрыв от меня Сену, ее мосты и Лувр династии Валуа *.

Придвинув кресло и столик к топке, я занял место, милостиво оставленное мне Гамилькаром. Перед решеткою камина, на перинке, клубком свернулся Гамилькар, уткнувшись носом в лапы. Густой и легкий мех его вздымался от ровного дыхания. Когда я подошел, он мягко глянул агатовыми зрачками сквозь полусомкнутые веки и тотчас их закрыл, подумав: «Ничего, это друг».

— Гамилькар! — обратился я к нему, вытягивая ноги. — Гамилькар, дремлющий принц обители книг и ночной страж, ты защищаешь от подлых грызунов рукописи и книги, приобретенные старым ученым благодаря его скромным сбережениям и неослабному усердию. Среди безмолвия библиотеки, хранимой твоею воинской доблестью, Гамилькар, спи в неге, подобно султанше: ибо ты сочетаешь в облике своем грозный вид татарского воина с ленивой грацией восточной

красавицы. Героический и сластолюбивый Гамилькар, спи до того часа, как в лунном свете запляшут мыши перед *Acta Sanctorum* [1] ученых болландистов *.

Начало этой речи понравилось Гамилькару, вторившему ей горловым звуком, похожим на клокотанье чайника. Но, как только я возвысил голос, Гамилькар, прижав к голове уши и морща полосатый лоб, предупредил меня, что декламация такого рода вовсе неуместна.

Он мыслил:

«Этот старокнижник говорит без толку, а вот наша Тереза произносит слова, всегда исполненные смысла и реального значения, то возвещая еду, то обещая порку. Знаешь, о чем идет речь. Этот же старик соединяет звуки, не значащие ничего».

Так думал Гамилькар. Предоставив ему свободу размышлять по-своему, я раскрыл книжку и стал читать с особым интересом, ибо то был каталог рукописей. Не знаю чтения более легкого, приятного и завлекательного, нежели чтение каталогов. Данный каталог, составленный в 1824 году библиотекарем сэра Томаса Ралея, господином Томпсоном, грешит, правда, чрезмерной краткостью и не дает той точности, какую архивисты моего поколения первыми ввели в палеографию и дипломатику *. Он оставляет место для разных пожеланий и догадок. Вот почему, быть может, при чтении его я погружаюсь в состояние, какое в натуре, больше одаренной воображеньем, следовало бы назвать мечтательностью. Я мирно отдавался блужданью своих мыслей, когда моя домоправительница угрюмо доложила, что меня спрашивает г-н Кокоз.

Кто-то действительно проник за ней в библиотеку. Это был человек маленького роста — бледный, тщедушный человечек в поношенной визитке. Человечек направился ко мне, приветствуя меня улыбочками и кивками головы. Но он был очень бледен и, несмотря на молодость и живость, имел вид больного. При взгляде на него я мысленно представил себе раненую белку. Под мышкой он принес зеленый узел и водрузил его

---

* Acta Sanctorum — «Жития святых» (*лат.*).

на стул, затем, развязав четыре конца свертка, открыл передо мною кипу желтых книжек.

— Сударь, я не имею чести быть вам знаком, — сказал он. — Я книжный агент, представитель главных столичных фирм, и в надежде, что вы почтите меня своим доверием, беру на себя смелость предложить вам несколько новинок.

Боги милостивые! Боги праведные! Что за новинки предложил мне гомункул * Кокоз! Первый том, врученный мне, оказался «Историей Нельской башни» с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана *.

— Это книга историческая, — пояснил он, улыбаясь, — история правдивая.

— В таком случае она скучная, — ответил я, — ибо книги исторические, когда не лгут, бывают очень нудны. Я сам пишу книги правдивые, и если б, на свое несчастье, вы стали предлагать любую по домам, то рисковали бы носить ее в вашей зеленой сарже до конца дней своих, не находя даже кухарки, способной по наивности купить такую книгу.

— Разумеется, сударь, — согласился человечек чисто из любезности.

И, продолжая улыбаться, показал мне «Любовь Элоизы и Абеляра» *, но я дал ему понять, что в моем возрасте не до любовных приключений.

Все еще с улыбкой, он предложил мне «Игры для развлечения общества»: правила игры в пикет, безик, экарте, вист, шашки, шахматы и кости.

— Увы, — сказал я, — если хотите мне напомнить правила безика, верните на землю старого друга моего Биньяна, с которым играл я в карты каждый вечер до той поры, когда все пять академий торжественно свезли его на кладбище, или низведите до вздорности игр человеческих серьезный ум Гамилькара, спящего перед вами на подушке, теперь единственного, кто разделяет со мною вечерние досуги.

Улыбка человечка стала бледной и тревожной.

— Вот, — сказал он, — новый сборник развлечений в обществе: шутки, каламбуры, а также способ превращать красную розу в белую.

Я ответил, что розы уже давно со мною не в ладах, а шуток с меня достаточно и тех, какие дозволяю я себе в научных изысканиях, помимо своей воли.

Гомункул протянул мне последнюю книгу с последней своей улыбкой:

— Вот «Сонник», разъясняющий всевозможные сны: о золоте, ворах, о смерти, о падении с высокой башни... Это самый полный.

Я взял каминные щипцы и, оживленно помахивая ими, ответил моему коммерческому гостю:

— Да, мой друг, но и эти сны, как тысяча других, веселых и трагичных, все сводятся лишь к одному — сну жизни; а даст ли ваша желтая книжонка его разгадку?

— Конечно, сударь, — ответил гомункул. — Книга самая полная и недорогая: франк двадцать пять сантимов.

Я не продолжил разговора с книгоношей. Не стану утверждать, что произнес именно те слова, какие привожу. Возможно, что в письменной передаче я их немного и распространил. Очень трудно соблюсти буквальную истину даже в дневнике. Но если самые слова были не совсем те, то смысл их передан верно.

Я кликнул домоправительницу, так как звонков у меня в квартире нет.

— Тереза, проводите, пожалуйста, господина Кокоза; а впрочем, у него есть книга, быть может интересная для вас. Это «Сонник». Буду счастлив преподнести его вам.

Тереза ответила:

— Коли нет времени грезить наяву, так уж во сне-то и подавно, слава богу! У меня довлеет дневи злоба его, а злобе — день, и каждый вечер я могу сказать: «Господи, благослови меня, отходящую на покой». Не вижу снов ни стоя, ни лежа и не принимаю свой пуховик за черта, как то случилось с моей родственницей. А ежели позволите мне сказать, так, по-моему, книг здесь и без того достаточно: у вас, барин, их не одна тысяча, и от этих-то голова у вас идет кругом, а с меня хватит и моих двух — молитвенника да поваренной книги.

С этими словами Тереза помогла человечку запаковать в зеленую саржу его товар.

Гомункул Кокоз больше не улыбался. Его унылое лицо выражало такое страдание, что я раскаялся в своих насмешках над столь несчастным человеком. Я вернул его, сказав, что мельком подметил у него экземпляр «Истории Эстеллы и Неморена», что очень люблю пастухов и пастушек и охотно бы купил за сходную цену историю этих двух безупречных любовников.

— Я отдам вам эту книгу за франк двадцать пять, — ответил мне Кокоз с сияющим от радости лицом. — Это историческая книга, вы будете довольны. Теперь я знаю, что вам подходит. Вижу, вы знаток. Завтра принесу вам «Папские преступления». Отличная книга. Доставлю любительский экземпляр, с картинками.

Я попросил его не беспокоиться, но все же он ушел довольный. Когда зеленый узел вместе с книгоношей исчез во мраке коридора, я спросил домоправительницу, откуда к нам свалился этот жалкий человечек.

— Подлинно, что свалился, — ответила она. — К нам он свалился с крыши, где живет с женой.

— Вы говорите, Тереза, — у него жена? Чудно! Женщины престранные создания. Наверно, это плохонькая женщина.

— Хорошо не знаю, какова она, — ответила Тереза, — но вижу каждый божий день, как она треплет по лестнице свои шелковые платья в сальных пятнах. Глаза у нее так и светятся, а по чести говоря, разве такие глаза и шелковые платья подобают женщине, которую приютили тут из милости? И на чердак-то их пустили только на время, пока чинится крыша, лишь ради того, что муж болен, а жена в интересном положении. Привратница как раз сегодня говорила про нее, что она с утра почувствовала схватки, и сейчас ее уложили в постель. Очень им нужен этот ребенок!

— Тереза, он несомненно им не нужен. Но природа захотела, чтобы они произвели на свет ребенка; она поймала их в свою ловушку. Нужно примерное благоразумие, чтобы избегнуть хитростей природы. Так пожалеем их и не станем осуждать. А что до шелковых платьев, то нет женщины, которая бы не любила их. Дщери Евы любят наряды. Вы сами, Тереза, такая степенная, р а з у м н а я, — а какой крик вы поднимаете,

если не окажется у вас белого фартука, когда вам надо подавать к столу. Скажите-ка, есть ли у них на чердаке все необходимое?

— Ну, откуда у них быть? Муж, которого вы видели, был агентом по ювелирной части, как сказывала мне привратница, и неизвестно почему бросил торговать часами. Теперь торгует альманахами. Разве это приличное занятие? И никогда я не поверю, что бог дарует свое благословение торговцу альманахами. А, между нами, жена его, судя по всему, — дрянь: где день — где ночь. Сдается мне, она годна воспитывать ребенка, как я — играть на гитаре. Невесть откуда взялись они, но только я уверена, что прибыли они по Нищей дорожке из Беззаботной стороны.

— Откуда бы ни прибыли, они несчастны, Тереза, а на чердаке холод.

— Еще бы! Крыша прохудилась в нескольких местах, и дождевая вода проходит на чердак. У них нет ни белья, ни мебели. Ни столяр, ни ткач не работают, думается мне, на эдаких христиан.

— Очень печально, Тереза. И вот вам — христианка, а обеспечена необходимым хуже, чем сей язычник Гамилькар. Что говорит она сама?

— С такими людьми я никогда не разговариваю. Не знаю, ни что она говорит, ни что она поет. А поет она целый день. Я слышу ее с лестницы, и когда ухожу из дома и когда возвращаюсь.

— Ну что ж! Наследник Кокоза может сказать, как яйцо в деревенской загадке: «Мать произвела меня с песней». Подобный же случай был и с Генрихом Четвертым. Жанна д'Альбре *, почувствовав предродовые боли, запела старинное беарнское песнопение:

Божья матерь с конца моста,
Помоги мне в этот час.
За меня проси у бога, —
Чтоб не тяжки были роды,
Чтоб сыночка мне родить.

Конечно, производить на свет несчастных неразумно. Но, милая моя Тереза, это происходит ежедневно, и всем философам мира не удается изменить этот глупый обычай. Госпожа Кокоз ему последовала — и поет.

И хорошо делает. Скажите-ка, Тереза, вы варите сегодня суп?

— Варю, и сейчас самое время снять пену.

— Очень хорошо! Но не преминьте, Тереза, отлить из котелка добрую мисочку бульона и отнести ее нашей сверхсоседке, госпоже Кокоз.

Моя домоправительница было ушла, но я добавил весьма кстати:

— Тереза, прежде всего будьте добры позвать вашего приятеля дворника: накажите ему взять у нас в сарае хорошую вязанку дров и отнести ее к Кокозам на чердак. И особливо пусть не забудет положить в вязанку большое полено — настоящее рождественское полено. Что же касается гомункула, прошу вас, если он придет опять, не пускать дальше моей двери — ни его самого, ни желтых его книжек.

Сделав эти мелкие распоряжения с утонченным эгоизмом старого холостяка, я снова принялся за чтение каталога.

С каким трепетом, с каким волнением, с каким смятением обнаружил я там заметку, которую я даже не могу сюда переписать без дрожи в руке:

Златая легенда Иакова Генуэзца (Иакова Ворагинского), французский перевод, маленькое in quarto.

Эта рукопись XIV века, кроме довольно полного перевода известного сочинения Иакова Ворагинского, содержит: 1) жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея; 2) поэму «О чудесном погребении святого Жермена Осэрского». Перевод, жития и поэма принадлежат перу клирика Жана Тумуйе.

Рукопись, на тонком пергаменте, заключает большое количество титульных букв и две миниатюры изящного письма, но плохой сохранности: одна изображает «Сретенье господне», другая — «Венчанье Прозерпины» *.

Какое открытие! Пот выступил у меня на лбу, и затуманились глаза. Я вздрогнул, покраснел и, не в силах говорить, испытывал потребность громко крикнуть.

Какое сокровище! Сорок лет я изучаю христианскую Галлию, в особенности — славное аббатство Сен-Жер-

мен-де-Пре *, откуда вышли короли-монахи, основатели нашей французской династии. И, несмотря на преступную неполноту такого описанья, мне было ясно, что рукопись исходит из этого великого аббатства. Об этом говорило все: жития, добавленные переводчиком, относились все к основанию аббатства благочестивым королем Хильдебертом. Особо знаменательно житие святого Дроктовея, первого аббата моего дорогого аббатства. Французская поэма, касающаяся погребения святого Жермена, вела меня в самый неф досточтимой базилики, этой колыбели всей христианской Галлии.

Златая легенда сама по себе является пространным и вместе с тем изящным произведением. Иаков из Ворагина, дефинитор ордена святого Доминика и архиепископ генуэзский, собрал в XIII веке предания о католических святых и составил такой богатый сборник, что по монастырям и замкам воскликнули: «Вот *Златая легенда!» Златая легенда* отличается особой полнотою в части итальянской агиографии *. Галлам, алеманнам, Англии отведено там небольшое место. Великие святые Запада видны этому генуэзцу сквозь дымку густого, холодного тумана. Поэтому германские, аквитанские и саксонские переводчики этого прекрасного житийника взяли на себя заботу добавить к его рассказу жизнеописания своих святых.

Я прочел и сличил немало рукописей *Златой легенды.* Мне знакомы и те, что описал мой ученый коллега господин Полен Парис * в отличном каталоге рукописей королевской библиотеки. Две из них особо привлекли мое внимание. Одна — XIV века, содержащая перевод Жана Беле; другая, веком моложе, заключает в себе извод Жака Винье. Обе из собрания Кольбера * и помещены на полках славной Кольбертины заботами библиотекаря Балюза *, чье имя я не могу произнести, не снявши свою шапочку, ибо даже в тот век гигантов эрудиции Балюз поражает нас своим величием. Мне известен очень любопытный свод из собрания Биго; я знаком с семьюдесятью четырьмя печатными изданиями, начиная с достопочтенного их предка, готического страсбургского издания, начатого

в 1471 и законченного в 1475 году. Но ни одна из этих рукописей, ни одно издание не содержат житий святых Фереоля, Феруция, Жермена, Винцента и Дроктовея, ни в одном нет имени Жана Тумуйе, — словом, ни одна не исходит из аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Все они в сравнении с рукописью, описанною господином Томпсоном, — солома рядом с золотом. И вот я видел своими глазами, осязал своими руками неопровержимое свидетельство о существовании этого памятника. Но что же сталось с самим памятником? Сэр Томас Ралей окончил дни на берегах озера Комо, взяв туда с собою часть благородных своих сокровищ. Куда ушли они по смерти этого тонкого любителя старины? Куда девалась рукопись Жана Тумуйе?

«Зачем, — подумал я, — зачем узнал я о существовании этой драгоценной книги, раз мне не суждено ею владеть или ее увидеть! Я устремился бы за ней в жгучую глубь Африки или во льды полярных стран, когда б узнал, что она там. Но я не знаю, где она. Не знаю, хранится ль под тройным запором в железном шкафу ревнивого библиомана, или плесневеет на чердаке у невежды. Я содрогаюсь при мысли, что, может быть, вырванные из нее листы служат покрышкой для банок с огурцами у какой-нибудь хозяйки».

30 августа 1862 года

Истомленный гнетущею жарой, я тихо шел по северной стороне набережных, у самых стен домов, и в теплой их тени лавки старинной мебели, гравюр и старых книг тешили мои глаза и говорили моему уму. Гуляя и разыскивая книги, я наслаждался мимоходом несколькими громкозвучными стихами поэта из Плеяды *, смотрел на изящный маскарад Ватто *, ощупывал глазами двоеручный меч, стальной подбородник, морион *. Что за массивный шлем и какая тяжелая кираса, синьор! Доспехи гиганта? Нет, панцирь насекомого. Тогдашние люди были одеты в панцирь, как майский жук: их слабость была внутри. В противопо¬ложность им — наша сила внутри, а душа наша, во всеоружии знания, живет в тщедушном теле.

Вот пастельный портрет старинной дамы: лицо в нем полустерлось и помутнело, словно тень, чему-то улыбается; видна рука в ажурной митенке, держащая на атласных коленях болонку в лентах. Чарующей грустью наполнил меня этот образ. Да посмеются надо мною те, кто в душе своей не носит полустершейся пастели!

Как лошадь, зачуявшая конюшню, я ускоряю ход, приближаясь к своей квартире. Вот человеческий улей, — там есть и у меня своя ячейка, и я откладываю в ней чуть горьковатый мед науки. Тяжело взбираюсь по лестнице. Еще несколько ступенек — и я у своей двери. Но я не столько вижу, сколько угадываю по шуршанью шелка, что мне навстречу спускается женщина. Останавливаюсь и прижимаюсь к перилам. Идущая навстречу дама — без шляпы, молодая — и поет; в сумраке глаза и зубы ее сверкают, ибо она смеется ртом и взглядом. Верно, это какая-нибудь соседка, и одна из самых дружелюбных. На руках у ней хорошенький ребенок — мальчик, совершенно голый, точно сын богини; на шейке серебряная цепочка с образком. Я вижу, как сосет он большой палец и глядит на меня глазами, широко раскрытыми на старую, но для него новую вселенную. Мать в это время смотрит на меня лукавой загадочно; останавливается, кажется краснеет и протягивает ко мне маленькое существо. У ребенка хорошенькая складочка на шее, на запястье, и с головы до ног по розовому телу смеющиеся ямочки.

Мать с гордостью показывает его мне и мелодично говорит:

— Сударь, не правда ли, хорош мой мальчик?

Она берет его ручку, прикладывает ему к губам и отводит розовые пальчики по направлению ко мне.

— Деточка, пошли господину поцелуй. Он добрый: он не хочет, чтобы маленькие дети зябли. Пошли же ему поцелуй.

И, прижав к себе ребенка, она с кошачьим проворством исчезает в глубине коридора, ведущего, судя по запаху, на кухню.

Вхожу к себе.

— Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать

с хорошеньким мальчишкой на руках, она без шляпы, — кто это может быть?

Тереза отвечает, что это г-жа Кокоз.

Смотрю на потолок, как бы ища там поясненья. Тереза напоминает мне о жалком книгоноше, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена.

— А сам Кокоз? — спросил я.

Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения г-жи Кокоз. Мне сообщили, что вдова утешилась; я последовал ее примеру.

— Однако, Тереза, быть может, там, на чердаке, госпожа Кокоз терпит в чем-нибудь нужду?

— Вы, сударь, крепко попали бы впросак, — ответила Тереза, — если бы стали заботиться об этой твари. Ее решили выдворить с чердака, когда починили крышу. Но она живет там, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала. С чердака она уедет, когда ей вздумается, да и уедет-то в карете. Помяните мое слово!

С минуту Тереза думала, затем изрекла такую сентенцию:

— Хорошенькое личико — небесное проклятье.

Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурнушкой, без малейшей привлекательности, я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей:

— Э! Э! Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико.

Не подобает искушать ни единое созданье в мире, даже самое святое.

Тереза потупила глаза и отвечала:

— Хоть я и не была, что называется, красавицей, но и нельзя сказать, чтоб и не нравилась. И кабы захотела, могла бы поступить, как прочие.

— Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу. А я для отдыха прочту несколько страниц из Морери *. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед вкусно пахну-

щая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина.

Сказав это, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии.

7 мая 1863 года

Зиму провел я в духе мудрецов — in angello cum libello [1], и ласточки с набережной Малакэ по возвращении своем вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется; а тратить дни свои на старые тексты — это еще не жизнь.

Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какою веет сама жизнь. Равновесие моего ума (не смею в том признаться и самому себе) нарушено со знаменательного часа, когда мне открылось, что существует рукопись Жана Тумуйе.

Странно, из-за нескольких листков старого пергамента я утратил покой; но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ: он обладает самим собою. Богач, желающий все большего, — жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия — беседа с человеком тонкого и уравновешенного ума или обед с другом — не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с той минуты, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни днем, ни ночью; мне не хватает ее ни в радости, ни в горе; не хватает ни в труде, ни в отдохновении.

Я невольно вспоминаю свое детство: как мне теперь понятны всемогущие желанья первых моих лет!

С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дрянной лавчонке на Сенской улице, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, — не знаю. Я горд был тем, что я мальчик; я презирал девчонок и с нетерпеньем ждал поры (увы! наставшей), когда колючая бородка мне защетинит подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормле-

[1] В уголке и с книжкой (*лат.*).

ния своей деревянной лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на ее окне. То были мужские игры, думается мне. Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости и у Геркулесов! Но кукла, что полюбилась мне, была ли по крайности красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой. На щеках — по красному пятну, короткие дряблые руки с ужасными деревянными кистями и длинные раскоряченные ноги. Цветастая юбка заколота на талии двумя булавками; как сейчас вижу их черные головки. То была кукла дурного тона, от нее отдавало предместьем. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле нет изящества и вида, что она груба, то¬порна. Но, несмотря на это, я любил ее, — любил именно за это. Любил только ее. Мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не совал своей лошадке в рот стебельков гелиотропа и вероники. Эта кукла была для меня всем. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виргинию пройти со мною мимо лавки на Сен-кой улице. Там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку: «Господин Сильвестр, уж поздно, маменька вас забранит». В то время г-ну Сильвестру и брань и порка были нипочем. Но нянька поднимала его, как перышко, и г-н Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего.

Я был несчастлив. Безотчетный, но непреоборимый стыд не позволял мне откровенно рассказать матери о предмете моей любви. Отсюда все мои страданья. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятья и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым — еще более желанной и дорогой.

И вот в один прекрасный день, памятный мне навеки, я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался дядей капитаном оттого, что при Ватерлоо он выпустил

последний французский заряд, и оттого, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал их в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красивым. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками с брандебурами, а особенно своим уменьем ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне не понятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек — было видно и слышно одного его. Мой замечательный отец не разделял, мне кажется, моего восторженного преклонения перед дядей Виктором, который отравлял его своею трубкою, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии. Матушка моя, при всей сестринской снисходительности к капитану, иногда просила его пореже выказывать свою любовь к графину с водкой. Но я был чужд всякому недовольству и упрекам: мне дядя Виктор внушал живой восторг. Поэтому с чувством гордости входил я в маленькую квартирку на улице Генего, где он проживал. Завтрак, накрытый на столике перед камином, состоял из закусок и сластей.

Капитан пичкал меня пирожными и неразбавленным вином, рассказывал мне о многих несправедливостях, коих стал жертвою. Он выражал особенное недовольство Бурбонами, но упустил сказать мне, кто такие были Бурбоны, а я, не знаю почему, вообразил, что Бурбоны — это лошадиные барышники, обосновавшиеся в Ватерлоо *. Капитан, переставая говорить лишь для того, чтобы налить вина, обвинял множество еще каких-то стервецов, мерзавцев и пройдох, неведомых мне совершенно, но глубоко ненавистных. За сладким мне послышалось, что капитан отзывается о моем отце, как о человеке, которого водят за нос; но я не очень-то уверен, так ли понял. В ушах у меня шумело, и мне мерещилось, что столик пляшет.

Дядя надел сюртук с брандебурами, взял цилиндр, и мы спустились на улицу, чрезвычайно вдруг изменившуюся, на мой взгляд. Мне казалось, что я давно здесь не был. Все же, когда мы очутились на Сенской улице, мысль о кукле вновь завладела мной и привела меня в

необычайный восторг. Голова моя пылала. Я решился на великий шаг. Мы проходили мимо лавки; кукла была все там же, за стеклом, с теми же красными щеками и огромными ногами и в той же цветастой юбке.

— Дядя, — промолвил я с усилием, — не купите ли вы мне эту куклу?

И стал ждать ответа.

— Купить мальчишке куклу, черт возьми! — громовым голосом воскликнул дядя. — Ты хочешь осрамить себя! И это страстное желание вызвала в тебе такая баба! Поздравляю тебя, дружище! Если эти вкусы сохранятся у тебя и ты еще в двадцать лет будешь выбирать себе таких же кукол, предупреждаю: мало приятного получишь ты от жизни, а у товарищей своих прослывешь изрядным простофилей. Проси у меня саблю, ружье — я их куплю тебе, мой мальчик, на последний грош своей пенсии. Но купить куклу, тысяча громов! Покрыть тебя позором! Ни за что в жизни! Если бы я увидал, что ты играешь расфуфыренной на такой манер девкой, то, милостивый государь, хоть вы и сын моей сестры, я не признал бы вас своим племянником.

От его слов у меня так сжалось сердце, что лишь гордость, дьявольская гордость помешала мне заплакать.

Дядя, сразу успокоившись, вернулся к мыслям о Бурбонах, но я так и остался подавленный его негодованьем, чувствуя невыразимый стыд. Мое решенье созрело быстро. Я дал себе обет не терять чести: я отказался навсегда и твердо от куклы с красными щеками. В этот день я познал суровую отраду жертвы.

Капитан! Пусть вы при жизни ругались, как язычник, курили, как швейцар, и пили, как сапожник, да будет все-таки почтенна ваша память, — не только потому, что и всегда вы были молодцом, но также потому, что вашему племяннику в коротеньких штанишках открыли чувство героизма. Высокомерие и лень сделали вас, о дядя Виктор, почти невыносимым, но под брандебурами вашего сюртука билось великое сердце. Мне помнится, что вы носили в петлице розу. Этот цветок, обычно преподносимый вами продавщицам в

магазинах, этот цветок, с его великодушно открытым сердцем, облетающий по воле всех ветров, был символ вашей славной юности. Вы не пренебрегали ни вином, ни табаком, но вы пренебрегали своей жизнью. У вас нельзя было научиться, капитан, ни деликатности, ни здравому смыслу, но меня, в том возрасте, когда мне нянька утирала нос, вы научили самоотречению и чувству чести, чего я не забуду никогда.

Вы давно покоитесь на кладбище Монпарнас под скромною плитою с эпитафией:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН АРИСТИД-ВИКТОР МАЛЬДАН
ПЕХОТНЫЙ КАПИТАН
КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА.

Не такую надпись вы, капитан, готовили для вашей бренной оболочки, повидавшей столько полей битв и столько злачных мест. Среди ваших бумаг нашли вот эту горькую, но гордую эпитафию, которую, вопреки вашей последней воле, не решились поместить над вашею могилой:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН
ЛУАРСКИЙ РАЗБОЙНИК *.

— Тереза, завтра мы отнесем венок из иммортелей на могилу луарского разбойника.

Но Терезы здесь нет. Да и как ей оказаться близ меня на кругу Елисейских полей? Там, у конца аллеи, рисуется на фоне неба гигантский пролет Триумфальной арки *, хранящей внутри на сводах имена соратников дяди Виктора. Под вешним солнцем зазеленели на деревьях первые, еще бледные и зябкие листочки. Мимо меня мчатся коляски в Булонский лес. Гуляя, я дошел до этой людной аллеи и безотчетно стал перед ларьком, где продают пряники и прохладительные напитки в графинах, заткнутых лимонами. Мальчикнищий, в рубище на исцарапанном, проглядывающем сквозь лохмотья теле, смотрит широко раскрытыми глазами на эти роскошные сласти, предназначенные не для него. Свое желанье он выражает с бесстыдством невинности. Круглые глаза его уставились на большого пряничного человечка. Это — генерал, слегка по-

хожий на дядю Виктора. Я плачу деньги, беру его и подаю бедняжке, но он не смеет протянуть руку, наученный преждевременным опытом — не верить в счастье; он смотрит на меня с тем видом, какой бывает у больших собак, и словно говорит: «С вашей стороны жестоко смеяться надо мной».

— Ну, глупыш, — сказал я своим обычным ворчливым тоном, — бери, бери и ешь; ты счастливее, чем я был в твои годы; ты можешь следовать своим наклонностям, не нанося себе бесчестья.

А вы, дядя Виктор, вы, чей мужественный облик напомнил мне этот пряничный генерал, придите достославной тенью и научите, как мне забыть теперь мою другую куклу. Мы — вечные дети и вечно тянемся за новою игрушкой.

В тот же день

В моем уме семейство Кокоз причудливейшим образом сочеталось с клириком Жаном Тумуйе.

— Вот что, Тереза, — начал я, бросаясь в свое кресло, — расскажите мне, здоров ли маленький Кокоз, прорезались ли у него первые зубки, и дайте мне туфли.

— Зубкам полагалось быть уже давно, но я их не видала. В первый погожий весенний день мать исчезла вместе с ребенком, бросив мебель и все пожитки. На чердаке после нее нашли тридцать восемь банок из-под помады. Ну мыслимое ли это дело! За последнее время у нее бывали посетители; и надо думать, что она сейчас не в девичьем монастыре. Племянница привратницы сказывала, что повстречалась с Кокозихой где-то на Бульварах, и та ехала в коляске. Говорила я вам, что кончит она плохо.

— Тереза, эта женщина не кончила ни хорошо, ни плохо. Чтобы судить о ней, дождитесь конца ее жизни. И не болтайте слишком много с привратницей. Госпожу Кокоз я встретил лишь однажды на лестнице, и мне казалось, что своего ребенка она очень любит. Эту любовь надо ей зачесть.

— Правда, по этой части малыш был не обижен. Во всем квартале не сыскать другого, чтобы так был

откормлен, обряжен и ухожен. Каждый божий день она повязывает ему чистый нагрудничек и с утра до вечера поет ему песенки, а он смеется.

— Тереза, один поэт сказал: «Ребенок, не видевший улыбки матери, не достоин ни трапезы богов, ни ложа богинь» *.

8 июля 1863 года

Узнав о ремонте каменного настила в часовне богоматери в Сен-Жермен-де-Пре, я отправился туда, надеясь разыскать какие-нибудь надписи, вскрытые рабочими. И не ошибся. Архитектор указал мне на могильный камень, отставленный к стене. Намереваясь разобрать высеченную на нем надпись, я опустился на колени и в сумраке древнего амвона прочел вполголоса слова, от которых усиленно забилось мое сердце:

Здесь покоится инок обители сей Жан Тумуйе,
сотворивший оклад серебряный на бороду
святого Винцента и святого Аманта
и на ноги младенцев, невинно убиенных.
При жизни был мужем честным и храбрым.
Творите молитву по душе его.

Я осторожно стер носовым платком пыль, покрывшую это надгробие; мне хотелось его поцеловать.

— Он, он, Жан Тумуйе! — воскликнул я.

И это имя, отпрянув от высоких сводов, с грохотом, точно разбившись, упало мне на голову.

Заметив немое степенное лицо привратника, поспешившего ко мне, я устыдился своего восторга и шмыгнул меж двух причетников, собиравшихся окропить меня святой водой.

А все же это мой Жан Тумуйе! Нет более сомненья: переводчик *«Златой легенды»,* автор житий святых Жермена, Винцента, Фереоля, Феруция и Дроктовея был, как я и предполагал, монахом в Сен-Жермен-де-Пре. И каким еще хорошим монахом — благочестивым и щедрым! Он обложил серебром подбородок, голову и ноги, чтобы защитить надежной оболочкой драгоценные останки. Но смогу ли я когда-нибудь ознакомиться с его твореньем, или суждено и этому открытию только умножить мои печали?

20 августа 1869 года

«Я нравлюсь немногим, а испытываю всех, я — радость добрых и ужас злых, я, порождающий и разрушающий заблуждения, готов расправить свои крылья. Если в полете быстром несусь я над годами, не ставьте мне этого в вину».

Кто это говорит? Старик, чересчур мне знакомый, — Время.

Шекспир, закончив третье действие «Зимней сказки» *, останавливается, чтобы маленькая Пэрдита успела «взрасти и в мудрости и в красоте», и, открыв снова сцену, поручает древнему Косоносцу дать зрителям отчет о днях, так долго тяготевших над головой ревнивого Леонта.

Подобно Шекспиру, я в этом дневнике предал забвенью длинный промежуток жизни и, следуя примеру поэта, вызываю Время для объяснения пробела за шесть лет. В самом деле, вот уже шесть лет, как мной не вписано ни строчки в эту тетрадь, и теперь, когда я снова взялся за перо, мне, увы, не приходится описывать Пэрдиту, «в прелести возросшую». Молодость и красота — верные подруги поэта. Эти чарующие виденья нас, грешных, посещают лишь изредка. Мы не умеем удержать их. Когда бы тень какой-нибудь Пэрдиты силою неизъяснимого каприза задумала проникнуть в мою голову, она жестоко бы ушиблась о кучу заскорузлых пергаментов. Счастливцы поэты! Их седина не устрашает колеблющиеся тени Елен, Франческ, Джульетт, Юлий и Доротей *. А одного носа Сильвестра Бонара достаточно, чтобы весь рой великих возлюбленных пустился в бегство.

Однако же прекрасное я чувствовал, как и любой другой, — я все же испытал когда-то таинственные чары, какими наделила одушевленные созданья непостижимая природа: живая глина вызывала во мне трепет, который создает любовников и поэтов. Но ни любить, ни воспевать я не умел. В душе моей, загроможденной грудой старинных текстов и древних форм, я обретаю вновь, как миниатюру в чердачном хламе, ясное личико с глазами цвета барвинка... Бонар!

Друг мой! Вы старый сумасброд! Лучше читайте каталог, присланный вам сегодня утром от флорентийского книгопродавца. Это каталог рукописей, и он сулит вам описанье нескольких вещей, достойных внимания и сохраненных итальянскими и сицилийскими любителями старины. Вот что приличествует вам и подходит к вашему обличью.

Читаю и вскрикиваю. Гамилькар, с годами приобретя пугающую меня степенность, взирает на меня с упреком и как бы задает вопрос — есть ли в этом мире покой, ежели нельзя вкушать его возле меня, такого же старика, как и он сам?

Радость моего открытия нуждается в наперснике, и с излияниями счастливого человека я обращаюсь к безмятежному Гамилькару.

— Нет, Гамилькар, нет, покой не от мира сего; и то спокойствие, какого вы жаждете, несовместимо с трудами жизни. И кто сказал вам, что мы стары? Послушайте, что я читаю в этом каталоге, а после скажете, время ль отдыхать:

«Златая легенда» Иакова Ворагинского; французский перевод XIV века, сделанный клириком Жаном Тумуйе.

Превосходная рукопись, украшенная двумя миниатюрами, замечательной работы и отличной сохранности, изображающими: одна — Сретенье господне, другая — Венчанье Прозерпины.

Вслед за *«Златой легендой»* идут жития святых Фереоля, Феруция, Жермена, Дроктовея, XXVIII страниц, и Чудесное погребение святого Жермена Осерского, XII страниц.

Эта драгоценная рукопись, входившая в собрание сэра Томаса Ралея, теперь хранится в кабинете рукописей г-на Микеланджело Полицци, в Джирдженти».

Гамилькар, вы слышите? Рукопись Жана Тумуйе находится в Сицилии, у Микеланджело Полицци. О, если б этот человек любил ученых! Напишу ему.

Я это тотчас же и сделал. В письме я просил синьора Полицци предоставить мне рукопись клирика Тумуйе,

сообщая, на каком основании решаюсь я считать себя достойным подобной благосклонности. Одновременно я предлагал в его распоряжение кое-какие неизданные тексты, принадлежащие мне и не лишенные интереса. Я умолял его ответить поскорее и под своей подписью привел весь перечень своих почетных званий.

— Барин! Барин! Куда вы так бежите? — кричала испуганная Тереза, стремглав спускаясь по лестнице с моею шляпою в руке.

— Несу письмо на почту, Тереза.

— Господи боже! Ну можно ли так убегать — без шляпы, словно помешанный!

— Да, Тереза, я помешался. Но кто же не помешан? Давайте скорее шляпу.

— А перчатки, барин? А зонтик?

Я уже был внизу, но все еще слышал ее оханье и крики.

10 октября 1869 года

Я ждал ответа от синьора Микеланджело Полицци, плохо скрывая нетерпенье. Мне не сиделось на месте; у меня появились резкие движенья; я шумно раскрывал и захлопывал книги. Однажды мне случилось сбросить локтем том Морери. Гамилькар, в то время умывавшийся, сразу остановился, подняв над ухом лапу, и глянул на меня сердитым оком. Такой ли шумной жизни мог ожидать он под моей кровлей? Не существовало ли между нами безмолвного условия — жить в тишине? А я нарушил этот договор.

— Мой бедный друг, — ответил я ему, — я жертва своевольной страсти, обуревающей меня и мной руководящей. Страсти — враги покоя, я согласен; но без них в мире не было бы ни промышленности, ни искусств. Всяк дремал бы голый на навозной куче, а ты, Гамилькар, не спал бы каждый день в обители книг, на шелковой подушке.

Я не мог далее развить перед Гамилькаром теорию страстей, ибо Тереза подала письмо. На нем был штемпель Неаполя, и оно гласило:

«Высокославный синьор!

Действительно, я владею несравненным манускриптом *Златой легенды,* не ускользнувшим от вашего просвещенного внимания. Важнейшие причины повелительно и тиранически противятся тому, чтобы я расстался с ним хоть на единый день, хоть на единую минуту. Для меня будет великой радостью и честью предоставить его вам в моем джирджентском скромном доме, украшенном и озаренном вашим присутствием. В нетерпеливой надежде на ваше прибытие осмеливаюсь назвать себя вашим, господин академик, покорным и преданным слугой.

Микеланджело Полицци, виноторговец и археолог в Джирдженти (Сицилия)».

Ну что ж! Поеду в Сицилию:
Extremum hunc, Arethusa, mihi concede laborem [1].

25 октября 1869 года

Я принял решение и приготовился к отъезду, оставалось лишь уведомить Терезу. Должен признаться, что я долго не решался объявить ей о моем отъезде. Я опасался ее насмешек, попреков, слез и увещаний. Я думал: «Она добрая старушка; ко мне привязана, она станет удерживать меня; а богу одному известно, что если ей чего захочется, то за словами, жестами и криком она не постоит. В данном случае на помощь будут призваны — привратница, матрацница, семь сыновей фруктовщика и полотер; все станут на колени в круг у ног моих, начнется плач; и это будет так безобразно, что я им уступлю, лишь бы их не видеть».

Вот те ужасные картины, те больные думы, какие вызвал страх в моем воображении. Да, страх, страх плодовитый, как говорит поэт, породил всех этих чудовищ в моем мозгу. На этих задушевных страницах говорю, как на духу: я боюсь своей домоправительницы. Я знаю, что ей известна моя слабость, и это ли-

[1] Дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечный * (*лат.*).

шает меня мужества при столкновеньях с нею. А столкновенья эти очень часты, и в них я уступаю неизменно.

Но все же приходилось объявить Терезе о моем отъезде. Она вошла в библиотеку с охапкой дров, чтобы развести огонь, — «вздуть огонек», как говорит она, — ибо по утрам свежо. Я искоса рассматривал ее, пока она сидела на корточках, скрыв голову под колпаком камина. Не знаю, откуда появилась во мне храбрость, но я не колебался. Я встал и, прохаживаясь по комнате, произнес небрежно, с особою лихостью, присущей трусам:

— Да-а! Кстати... кстати, Тереза... я уезжаю в Сицилию...

Сказав, я выжидал в большой тревоге. Ответа не было. Голова Терезы и большой чепчик оставались по-прежнему в камине; я наблюдал за ней: ничто в ее особе не выдавало ни малейшего волненья. Она совала щепки под дрова, только и всего.

Наконец я снова увидел ее лицо: оно было спокойно, — так спокойно, что в душе я даже возмутился. «Истинно, нет сердца у этой старой девы, — подумал я. — Она предоставляет мне уехать, даже не воскликнув «ах!». Неужели для нее отъезд ее старого хозяина такая малость?»

— Ступайте, — сказала, наконец, она, — но возвращайтесь к шести. У нас к обеду кушанье, которое не может долго ждать.

Неаполь, 10 ноября 1869 года

— Co tra calle vive, magne e lave a faccia.

— Понимаю, мой друг: «За три сантима напьешься, наешься и умоешься», и все это можно совершить любым арбузным ломтем с твоего лотка. Но западные предрассудки, пожалуй, не позволят мне вкушать с должной невинностью это простое чувственное удовольствие. Да и как я буду сосать арбуз? В этой толпе мне уж и так стоит немалого труда держаться на ногах. Какая шумная и сияющая ночь в Санта-Лючии! В лавчонках, освещенных многоцветными фонариками, вздымаются горы фруктов. Прямо на открытом воздухе топятся плиты, в котлах кипит вода, на сково-

родках шипит сало. Запах жареной рыбы и горячего мяса щекочет мне ноздри, и поневоле я чихаю. Тут замечаю, что из кармана сюртука исчез мой носовой платок. Меня толкает, несет и вертит во все стороны народ, самый веселый, самый болтливый, самый живой и самый юркий, какой можно себе представить; вот молодая кумушка, — как раз в то время, когда я любовался ее великолепными черными волосами, она толчком упругого и мощного плеча отбросила меня на три шага назад, но невредимым, и прямо в объятия любителя макарон, подхватившего меня с улыбкой.

Я в Неаполе. Как я сюда добрался с бесформенными и изуродованными остатками багажа, сказать я не могу по той причине, что и сам того не знаю. Я путешествовал все это время в каком-то испуге и охотно верю, что в этом светлом городе у меня еще недавно был вид филина на солнце. Но нынче вечером дело обстоит гораздо хуже! Собираясь наблюдать народные нравы, я пошел на Strada di porto *, где и нахожусь сейчас. Вокруг меня жизнерадостные люди теснятся кучками перед съестными лавками, и я колышусь, как обломок кораблекрушения, по воле этих живых волн, ласкающих даже тогда, когда они вас заливают. Ибо в живости неаполитанского народа есть что-то мягкое и ублажающее. Меня не толкают, меня укачивают; и эти люди, качая меня и так и сяк, достигнут, думается мне, того, что я засну в стоячем положении. Попирая плиты из лавы на Strada, я любуюсь грузчиками и рыбаками, которые ходят, говорят, поют, курят, жестикулируют с поразительной быстротой, бранятся и целуются. Они живут всеми чувствами одновременно и в безотчетной мудрости соразмеряют свои желанья с быстротечностью нашей жизни. Я подошел к бойко торгующему кабачку и над его дверью прочел следующее четверостишие на неаполитанском наречии:

Amice, alliegre magnammo e bevimmo
Nfin che n'ce stace noglio a la lucerna:
Chi sa s'a l'autro munno n'ce vedimmo?
Chi sa s'a l'autro munno n'ce taverna?

[1] Портовая набережная (*итал.*).

Ешь, пей, мой друг, и позабудь печали,
Покуда в лампе масло остается:
Мы на том свете свидимся едва ли,
Да едва ль таверна там найдется.

Подобные советы давал своим друзьям и Гораций *. Ты их воспринял, Постум; * и ты вняла им, Левконоя *, прекрасная мятежница, хотевшая проникнуть в тайны будущего. Теперь это будущее стало прошлым и нам известно. Воистину — ты мучила себя напрасно из-за такой малости, и друг твой оказался умным человеком, советуя тебе быть мудрой и цедить твои греческие вина: «Sapias, vina liques» *. Да и сама прекрасная страна и ясное небо располагают к спокойным вожделениям. Но бывают души, терзаемые возвышенной неудовлетворенностью: то наиболее благородные. Ты, Левконоя, была из их числа; и я, на склоне дней своих прибыв в тот город, где сияла твоя краса, почтительно приветствую твою меланхолическую тень. Души, подобные твоей, при христианстве стали святыми, и *«Златая легенда»* полна их чудесами. Твой друг Гораций оставил потомство менее благородное, и одного из его правнуков я вижу в этом кабатчике-поэте, который разливает вино в чаши под своей эпикурейской вывеской.

А все-таки жизнь доказывает правоту твоего друга Флакка, и философия его одна сообразуется с ходом вещей. Взгляните-ка на этого парня, — он прислонился к решетке, увитой виноградом, глядит на звезды и ест мороженое. Он не нагнулся бы поднять ту старую рукопись, которую я ищу с такими трудностями. Воистину, человек скорее создан, чтобы есть мороженое, нежели копаться в древних текстах.

Я продолжал бродить среди пьющих и поющих. Встречались и влюбленные: обнявшись за талию, они ели красивые плоды. Очевидно, человек не добр от природы, ибо вся эта чужая радость вызывала во мне большую грусть. Толпа так простодушно и открыто вкушала жизнь, что свойственная мне, старому писаке, стыдливость приходила в трепет. К тому же я был в

[1] Будь же мудра, вина цеди (*лат.*).

отчаянье, не понимая слов, звучавших вокруг меня. Для филолога это унизительное испытание. Итак, я находился в полном унынии, как вдруг слова, произнесенные за моей спиной, привлекли мое внимание.

— Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним. У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?

Какой-то женский голос произнес все это по-французски. Прежде всего мне было неприятно слышать, что я старик. Разве в шестьдесят два года бывают стариками? Не так давно на мосту Искусств коллега мой Перро д'Авриньяк сделал мне комплимент по поводу моей моложавости, а в возрастах он понимает, вероятно, лучше, чем эта молоденькая пеночка, поющая о моей спине, если только пеночки поют и до ночам. У меня сутулая спина, она сказала! Да! Да! Кое-что об этом я подозревал, но больше этому не верю, раз это мнение какой-то там пичужки. Я, разумеется, не поверну и головы, чтобы взглянуть на говорившую, хотя уверен, что эта женщина красива. Почему?

Да потому, что только голос женщин, которые красивы или были красивыми, нравятся или нравились, может иметь столько приятных модуляций и серебристое звучанье, где слышится и смех. Из уст дурнушки польется речь, быть может, мелодичнее и слаще, но, конечно, не столь звучная и без такого милого журчанья.

Эти мысли возникли у меня меньше, чем в секунду, и тотчас же, убегая от этих незнакомцев, я бросился в самую гущу неаполитанской толпы, а из нее шмыгнул в извилистый vicoletto [1], освещенный лишь лампадкой перед Мадонною в нише. Тут, лучше поразмыслив на досуге, я осознал, что та красивая дама (она, наверное, была красива) высказала обо мне благожелательное мнение, и оно заслуживало моей признательности.

«Димитрий, этот старик, наверное, француз. Мне его жаль, он такой растерянный. Поговорите с ним! У него добрая сутулая спина, не правда ли, Димитрий?»

---

[1] Переулочек (*итал.*).

От этих милых слов не подобало мне пускаться в бегство. Скорее надлежало учтиво подойти к звонкоречивой даме, склониться перед ней и молвить так: «Сударыня, помимо своей воли, я слышал сказанное вами. Вы желали оказать услугу бедному старику. Она уже оказана: само звучание французской речи мне доставляет наслажденье, за что и приношу вам благодарность». Конечно, мне следовало обратиться к ней с такими или подобными словами. Несомненно она француженка, потому что самый звук голоса у ней французский. Голос французских женщин самый приятный в мире. Он пленяет иностранцев не менее, чем нас. В 1483 году Филипп Бергамский * сказал об Орлеанской деве: «Речь ее была нежна, как речь ее землячек». Спутника ее зовут Димитрием; он несомненно русский. Это богатые люди, влачащие по свету свою скуку. Богатых приходится жалеть: блага жизни их только окружают, но не затрагивают их глубоко, — внутри себя они бедны и наги. Нищета богатых достойна жалости.

К концу этих размышлений я очутился в проходе, или, выражаясь по-неаполитански, в sotto portico, шедшем под таким множеством арок и далеко выступающих балконов, что никакой свет с неба туда не проникал. Я заблудился и, по-видимому, был обречен всю ночь разыскивать дорогу. Чтобы спросить о ней, надо было встретить хоть одну живую душу, а я отчаялся кого-либо увидеть. С отчаянья свернул я наудачу в улицу, или, вернее говоря, в ужасающую трущобу. Такой она была на вид, такой и оказалась, ибо, войдя туда, я через несколько минут увидел двух мужчин, пустивших в ход ножи. Нападение они вели больше языком, нежели клинком, и по их ругани между собой я понял, что это соперники в любви. Пока эти милые люди занимались свои делом, меньше всего в мире помышляя обо мне, я благоразумно свернул в соседнюю уличку. Некоторое время брел я наобум и, наконец, в унынии уселся на какую-то каменную скамейку, досадуя на себя за то, что столь нелепо по таким закоулкам бежал я от Димитрия и его звонкоречивой спутницы.

— Здравствуйте, синьор. Вы из Сан-Карло? Слышали диву? Так поют только в Неаполе.

Я поднял голову и узнал своего хозяина. А сидел я у фасада гостиницы, под собственным окном.

Монте-Аллегро, 30 ноября 1869 года

Я, мои проводники и мулы отдыхали по дороге из Шьякки на Джирдженти в трактире бедной деревеньки Монте-Аллегро, жители которой, изнуренные малярией, дрожали на солнце от озноба. Но это все еще греки, и жизнерадостность их противостоит всему. Некоторые из них с веселым любопытством толпились около трактира. Какой-нибудь рассказ, сумей я передать его, отвлек бы их от бедствий жизни. Вид у них смышленый, а женщины, увядшие и загорелые, изящно носят длинный черный плащ.

Вдали перед собой я вижу изъеденные морским ветром развалины, где не растет даже трава. Сумрачная грусть пустыни царит на этой чахлой земле, с трудом питающей своей растрескавшейся грудью несколько кактусов, ободранных мимоз и карликовых пальм. В двадцати шагах от меня по рытвине белеют камни, точно дорожка из рассыпанных костей. Проводник мне объяснил, что это был ручей.

Уже две недели, как я в Сицилии *. Приплыв в Палермскую бухту, которая открылась с моря между двумя голыми могучими массивами — Пеллегрино и Катальфано, а дальше выгнулась вдоль «Золотой раковины», поросшей миртами и апельсинными деревьями, я так был восхищен всем этим видом, что решил побывать на острове, столь благородном по своим преданиям и столь красивом очертаньями своих холмов. Я, старый, поседелый на варварском Западе пилигрим, отважился ступить на эту классическую землю и, подрядив себе проводника, выехал из Палермо в Трапани, из Трапани в Селинонте, из Селинонте в Шьякку, которую покинул сегодня утром, направляясь в Джирдженти, где должен найти рукопись Жана Тумуйе. Красоты, виденные мною, настолько свежи в моей памяти, что старанье описать их считаю напрасным трудом.

К чему мне портить путешествие нагромождением заметок? Любовники, любящие истинной любовью, не описывают своего счастья.

Отдаваясь грусти настоящего и поэзии былого, под обаяньем прекрасных образов в душе и гармоничных, чистых линий перед глазами, я пил в трактире Монте-Аллегро густую влагу крепкого вина, как вдруг увидел, что в залу входит молодая красивая женщина в соломенной шляпке и в платье из небеленого фуляра. У нее темные волосы и черные блестящие глаза. По походке я признал в ней парижанку. Она села. Хозяин поставил перед ней стакан холодной воды и положил букет из роз. Когда она вошла, я встал, из скромности немного отдалился от стола и сделал вид, что разглядываю благочестивые картинки на стенах. В это время я хорошо заметил, как она, посмотрев на мою спину, выразила легким жестом изумление. Я подошел к окну и стал глядеть на расписные одноколки, проезжавшие по каменистой дороге, окаймленной кактусами и берберийскими смоковницами.

Пока она пила ледяную воду, я смотрел на небо. В Сицилии испытываешь неизъяснимое наслаждение, когда пьешь холодную воду и вдыхаешь дневной свет. Я тихо прошептал стихи афинского поэта: *

О свет божественный,
Златого дня сияющее око.

Между тем дама-француженка разглядывала меня с особым любопытством, и я, хотя не позволял себе смотреть на нее более, чем допускало приличие, все же чувствовал на себе ее глаза. По-видимому, у меня есть дар угадывать направленные на меня взоры, даже когда они и не встречаются с моими. Многие считают себя обладателями этой таинственной способности; на самом деле тут нет ничего таинственного, а нам об этом говорит какой-нибудь признак, почти ускользающий от нас, — настолько он неуловим. Вполне возможно, что отраженье глаз красивой дамы я видел на оконных стеклах.

Когда я повернулся к ней, взгляды наши встретились.

Черная курица пришла поклевать в плохо подметенной комнате.

— Ты хочешь хлеба, колдунья, — сказала молодая дама, бросая ей крошки со стола.

Я узнал голос, который слышал ночью в Санта-Лючии.

— Простите, сударыня, — сказал я тотчас же. — Хотя мы с вами не знакомы, но я обязан выполнить свой долг, поблагодарив вас за вашу заботливость о старике-соотечественнике, блуждавшем в поздний час по улицам Неаполя.

— Вы узнаете меня, — ответила она. — Я вас узнала тоже.

— По спине?

— А! Вы слышали, как я сказала мужу, что у вас добрая спина. В этом нет ничего обидного. Мне будет очень жаль, если я огорчила вас.

— Наоборот, сударыня, вы мне польстили. И ваше наблюдение, по крайней мере в своей основе, мне кажется и справедливым и глубоким. Выражение бывает разное не только в чертах лица. Есть руки умные и руки, лишенные воображенья. Есть лицемерные колени, эгоистические локти, плечи наглые и спины добрые.

— Верно, — сказала она. — Но я узнала вас и по лицу. Мы уже встречались, не знаю только где — в Италии или в других местах. Мы с князем много путешествуем.

— Не думаю, чтобы я имел счастливый случай встретить вас. Я старый отшельник. Всю жизнь провел за книгами и мало путешествовал. Вы это видели по моей растерянности, возбудившей ваше сочувствие. Я сожалею, что вел сидячую и замкнутую жизнь. Несомненно кое-чему учишься из книг, но, странствуя, научаешься гораздо большему.

— Вы парижанин?

— Да, сударыня. Вот уже сорок лет, как я живу почти безвыездно в одном и том же доме. Правда, этот дом стоит на берегу Сены, на месте, самом знаменитом и самом красивом в мире. Из моего окна видны Тюильри и Лувр, башни Собора богоматери и Новый мост,

башенки Дворца правосудия и стрелка Сент-Шапель. Все эти камни говорят: они рассказывают мне чудесную историю Франции.

Эти сведения, видимо, приятно удивили молодую женщину.

— Вы живете на набережной? — оживленно спросила она.

— На набережной Малакэ, в четвертом этаже, в доме торговца гравюрами. Меня зовут Сильвестр Бонар. Имя мало кому известное, но оно принадлежит члену Академии, и с меня довольно, что мои друзья его не забывают.

Она взглянула на меня с особым выраженьем изумления, симпатии, умиленности и грусти, но я не понимал, чем мог такой простой рассказ вызвать столь разные и столь живые чувства.

Я ждал, не объяснит ли мне она причину этого, но в залу вошел колосс, печальный, кроткий, молчаливый.

— Мой муж, князь Трепов, — представила она его. И, указав ему на меня, сказала: — Господин Сильвестр Бонар, член Французской академии.

Князь поклонился, чуть поведя плечами. Плечи у него были высокие, широкие и мрачные.

— Друг мой, я огорчен, что прерываю ваш разговор с академиком Бонаром, — сказал он, — но повозка готова, и нам необходимо поспеть в Мелло засветло.

Она встала, взяла розы, поднесенные хозяином, и вышла из трактира. Я последовал за нею, князь в это время присматривал за упряжкой мулов и пробовал, надежны ли подпруги и ремни. Остановившись под навесом из виноградных лоз, она сказала мне с улыбкой:

— Мы едем в Мелло; это отвратительная деревушка в шести милях от Джирджентн, и вам никогда не догадаться, зачем мы туда едем. Не пытайтесь. Мы едем за спичечным коробком. Димитрий собирает спичечные коробки. Он перепробовал все виды коллекций: собачьи ошейники, форменные пуговицы, почтовые марки. Но теперь его интересуют только спичечные коробки — картонные коробочки с хромолитографиями. Мы уже собрали пять тысяч двести четырнадцать раз-

личных образцов. Найти некоторые из них нам стоило огромного труда. Так, например, мы знали, что в Неаполе выделывались коробки с портретами Гарибальди и Мадзини *, но эти коробки полиция изъяла, а фабриканта посадили в тюрьму. Благодаря усиленным расспросам и розыскам мы нашли такую коробочку у одного крестьянина, который продал нам ее за сто лир и донес на нас полиции. Сбиры * осмотрели наш багаж. Коробочки они там не нашли, но драгоценности мои забрали. С той поры и у меня явился интерес к этой коллекции. Чтобы ее пополнить, мы летом едем в Швецию.

Я испытывал (следует ли говорить об этом?) какую-то сочувственную жалость к этим упорным коллекционерам. Я бы, конечно, предпочел, чтобы супруги Треповы собирали в Сицилии античные мраморы, расписные сосуды или же медали. Мне бы хотелось, чтобы у них был интерес к развалинам Агригента * и поэтическим преданиям Эрикса *. Но в конце концов они составляли коллекцию, они были моими собратьями, и мог ли я подсмеиваться над ними, не осмеивая слегка и самого себя?

— Теперь вы знаете, — добавила она, — зачем мы путешествуем по этой ужасной стране.

От такого эпитета моя симпатия угасла, я даже почувствовал негодованье.

— Эта страна не ужасна, сударыня, — ответил я. — Эта земля — земля славы. Красота нечто столь благородное, столь величественное, что векам варварства не удается истребить ее совсем — чтоб не осталось от нее следов, достойных преклонения. Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами *, и греческая Муза, огласившая своим божественным стихом Менал и Аретузу, еще поет мне здесь — на оголенной горе и в этом высохшем ручье. Да, сударыня, в последние времена земли, когда наш шар, необитаемый, подобно теперешней луне, покатится в пространстве бледным трупом, земля, несущая развалины Селинунта, сохранит, среди всеобщей смерти, остатки красоты, и тогда по крайности, тогда не будет празднословных уст, хулящих это одинокое величие.

Едва успев произнести эти слова, я почувствовал их глупость. «Бонар, — сказал себе я, — ты старый человек, изживший жизнь над книгами, ты не умеешь разговаривать с женщинами». По счастью для меня, все это рассуждение было понятно княгине Треповой не более, чем греческий язык.

Она мне ласково ответила:

— Димитрию скучно, и мне скучно. У нас есть спичечные коробки! Но и спичечные коробки надоедают. Когда-то у меня бывали горести, и тогда я не скучала; горести — это большое отвлечение.

Смягчившись перед духовный нищетой этой красивой женщины, я сказал:

— Мне жаль, что у вас нет ребенка, сударыня. Будь он у вас, была бы у вас цель жизни, ваши мысли стали бы серьезней и в то же время утешительней.

— У меня есть сын, — ответила она. — Мой Жорж большой, почти мужчина: ему уж восемь лет! Я люблю его не меньше, чем когда он был еще малюткой, но это все уже не то.

Она дала мне розу из своего букета, улыбнулась и сказала, садясь в повозку:

— Вы не можете себе представить, господин Бонар, как я рада, что встретилась с вами. Надеюсь, мы увидимся в Джирдженти.

Джирдженти, в тот же день

Я устроился, как мог, в моей lettica. Lettica — повозка без колес, или, если угодно, носилки, стул, который несут два мула, один впереди, другой сзади. Способ старинный. Изображение таких носилок мне попадалось в рукописях XIV века. Тогда мне в голову не приходило, что когда-нибудь подобные носилки понесут меня из Монте-Аллегро в Джирдженти. Нельзя ручаться ни за что.

В течение трех часов мулы позванивали колокольчиками и постукивали копытами об известковую землю. Тем временем, пока в просветах живых изгородей из алоэ по обе стороны дороги медлительно тянулись пустынные виды, напоминавшие Африку, я мечтал о

рукописи клирика Жана Тумуйе и жаждал ее с простодушной горячностью, умилявшей меня самого, — так много детской невинности и трогательного ребячества я находил в этом желании.

Запах розы, сильнее ощутимый к вечеру, напомнил мне о княгине Треповой. На небе засияла Венера. Я мечтал. Княгиня Трепова — женщина красивая, крайне простая и очень близкая к природе. У ней кошачьи понятия. Я не заметил в ней и признака какой-нибудь благородной любознательности, которая так волнует мыслящие души. И тем не менее она по-своему выразила глубокую мысль: «Когда есть горести, то не скучаешь». Значит, ей известно, что в этом мире самым надежным развлеченьем являются для нас тревоги и страдание. Великих истин не открывают без горя и труда. Через какие ж испытания дошла княгиня Трепова до этой истины?

Джирдженти, 1 декабря 1869 года

Наутро я проснулся в Джирдженти, у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем Агригенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер тысяча триста лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне благодаря усталости проспать всю ночь.

Современный Джирдженти построил над Акрополем античного Агригента небольшие и тесно сдвинутые домики, а среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное — пустынно. Вода и жизнь покинули Агригент. Вода, божественная Нестис агригентца Эмпедокла *, так необходима живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джирдженти, находящийся от города в трех километрах, ведет большую торговлю. «Итак, — думал я, — в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале находится рукопись клирика Жана

Тумуйе». Я попросил указать мне дом синьора Микеланджело Полицци и направился туда.

Синьора Полицци я застал в то время, когда он, с головы до ног одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик.

Он назвал меня превосходительством, сказал, что этот день отметит белым камешком, и усадил меня на стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам.

— Искусство! Искусство! — воскликнул синьор Полицци, снова воздевая руки к небу. — Искусство! Какое величие! Какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство!

И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо.

— Я восстанавливаю старинные картины, — сказал он мне. — О! Старые мастера! Какая душа! Какой гений!

— Значит, это верно: вы одновременно и антиквар, и живописец, и торговец винами? — спросил я.

— И весь к услугам вашего превосходительства. Сейчас у меня есть такое zucco [1], что каждая его капля — пламенная жемчужина. Я хочу угостить им вашу милость.

— Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, синьор Полицци, не ради бутылок.

Он:

— Значит, ради картин. Вы любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи.

[1] Дзукко, сорт вина (*итал.*).

Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе; да, ваше превосходительство, его шедевр: «Поклонение пастухов»! Жемчужина сицилийской школы!

Я:

— С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда.

Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне, и я, не без щемящей тоски в сердце, заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревает.

Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в таком роде:

— Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью *Златой легенды,* принадлежащей, как вы писали, вам.

При этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл рот и глаза и выказал признаки сильнейшего волнения.

— О! Рукопись *Златой легенды!* Жемчужина, ваше превосходительство, рубин, алмаз! Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами рай. Какая нежность! А краски, похищенные с венчика цветов, ведь это мед для глаз! Сам Джулио Клозио * не создавал лучшего!

— Покажите мне ее, — сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду.

— Показать! — воскликнул Полицци. — Как же я покажу ее, ваше превосходительство? Ее у меня уже нет. Уже нет!

Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы не помешал. Но он остановился сам, не причинив себе ни малейшего вреда.

— Как? — сказал я в гневе. — Как? Вы заставили меня приехать в Джирдженти из Парижа, чтобы показать мне рукопись, а когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно! Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении.

Кто бы увидал меня тогда, имел бы довольно точное представленье о взбесившемся баране.

— Это возмутительно! Возмутительно! — повторял я, протягивая вперед дрожащие руки.

Микеланджело Полицци опустился на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, беспорядочно поникли на лоб.

— Я отец, ваше превосходительство, отец! — воскликнул он, сжимая руки.

И сквозь рыдания добавил:

— Рафаэлло — мой сын, сын моей жены, смерть которой я оплакиваю пятнадцать лет, — Рафаэлло, ваше превосходительство, хотел устроиться в Париже; он снял там лавку на улице Лафит, чтобы торговать старинными вещами. Я отдал ему все ценное, что было у меня, — я отдал лучшие свои майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров — и какие картины, синьор! Я ими ослеплен даже теперь, когда вижу их только в воображенье! Все подписные! Напоследок я дал ему рукопись *Златой легенды.* Я отдал бы ему и плоть и кровь свою. Единственный сын! Сын моей святой жены!

— Итак, когда я ехал в глубь Сицилии за рукописью Жана Тумуйе, полагаясь на ваше слово, эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит, в полуторах километрах от моего дома!

— Она была там, святая истина! — ответил мне Полицци, вдруг просветлев. — И там находится еще и сейчас, ваше превосходительство, по крайней мере я так думаю.

Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал:

— Вот адрес моего сына. Ознакомьте с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянс, эмали, картины, ткани — полный выбор художественно-бытовых вещей, вся roba и, клянусь честью, все — старинное. Зайдите к нему: он вам покажет рукопись *Златой легенды.* Две миниатюры чудесной сохранности!

По малодушию я взял протянутую мне карточку.

Этот человек злоупотребил моей слабостью, вторично предложив мне ознакомить общество с именем Рафаэлло Полицци.

Я уже коснулся дверной ручки, как мой сицилианец схватил меня за локоть. Вид у него был вдохновенный.

— Ах, ваше превосходительство! — сказал он. — Наш город — что это за город! Он породил Эмпедокла. Эмпедокл! Какой великий человек, какой великий гражданин! Какая смелость мысли, какая доблесть! Какая душа! Там, над портом, есть статуя Эмпедокла, перед которой я снимаю шляпу всякий раз, как прохожу. Когда же сын мой Рафаэлло уезжал в Париж, чтобы открыть антикварный магазин на улице Лафит, я проводил его до порта и у подножия статуи Эмпедокла дал ему отцовское благословение. «Помни Эмпедокла!» — сказал я. Ах, синьор, как нужен теперь нашему злосчастному отечеству новый Эмпедокл! Хотите, ваше превосходительство, я провожу вас к статуе? Я буду вашим гидом при осмотре развалин. Я покажу вам храм Кастора и Поллукса, храм Олимпийского Юпитера, храм Юноны Лукинийской, античный колодец, могилу Феронта и Золотые ворота. Все гиды путешественников — ослы. Я хороший гид; не желаете ли вместе со мной заняться раскопками? И мы откроем сокровища. У меня есть уменье, настоящий дар раскапывать! Я открываю шедевры в отвалах рудников — там, где ученые не находили ничего.

Наконец мне удалось освободиться от него. Он побежал за мной по лестнице, остановил внизу и шепнул:

— Ваше превосходительство, послушайте: я сведу вас в город, я покажу вам наших джирджентинок! Сицилианки, синьор, — это античная красота! Хотите, я предоставлю вам крестьяночек?

— Подите вы к черту! — крикнул я в негодовании.

Я выбежал на улицу, он же остался у порога и развел руками.

Когда я был уже вне поля его зрения, я в изнеможении сел на камень и, охватив руками голову, стал размышлять.

«Для того ли, — думал я, — для того ли приехал я в Сицилию, чтобы выслушивать такие предложения?»

Полицци, разумеется, мошенник, сын его — такой же. Но что они замыслили? Я этого не мог распутать. Пока же чувствовал себя униженным и сокрушенным.

Услышав легкий шаг и шелест платья, я поднял глаза и увидел княгиню Трепову, идущую ко мне. Она

мне не дала подняться с камня и, взяв мою руку, ласково сказала:

— Я вас искала, господин Бонар. Какая радость, что я вас встретила. Мне хочется, чтобы у вас осталось приятное воспоминание о нашей встрече. Правда, мне так бы этого хотелось!

Когда она произнесла это, мне померещилось, что под ее вуалью мелькнула улыбка и слеза.

Князь тоже подошел, накрыв нас своей огромной тенью.

— Покажите, Димитрий, покажите господину Бонару вашу драгоценную добычу.

И покорный гигант протянул мне коробок от спичек, безобразный картонный коробок, украшенный сине-красной головой — судя по надписи, головою Эмпедокла.

— Вижу, сударыня, вижу. Но мерзостный Полиц-и, — не советую вам посылать к нему господина Трепова, — навек меня поссорил с Эмпедоклом, а портрет не того сорта, чтобы этот древний философ стал мне любезней.

— Коробок некрасивый, — промолвила она, — но редкий. Таких не найти. Приходится их покупать на месте. В семь часов утра Димитрий был уже на фабрике. Как видите, мы не теряли даром времени.

— Конечно, вижу, — ответил я с досадой, — зато я потерял время и не нашел того, за чем приехал в такую даль.

Видимо, она заинтересовалась моей неудачей.

— У вас какая-нибудь неприятность? — спросила она с участием. — Не могу ли я помочь вам? Быть может, вы поделитесь со мною вашим горем?

Я стал рассказывать. Мое повествование было длинно, но, видимо, тронуло ее, ибо вслед за ним она мне задала ряд мелких вопросов, воспринятых мной как доказательство ее большого интереса. Ей захотелось знать точное заглавие рукописи, внешний вид ее, формат и век; она спросила адрес Рафаэлло Полицци.

Я дал его, исполнив этим (о судьба!) то самое, о чем просил меня мерзкий Микеланджело Полицци.

Иной раз трудно бывает остановиться. Я начал снова жаловаться и проклинать судьбу. На этот раз княгиня Трепова только засмеялась.

— Почему вы смеетесь? — спросил я.

— Потому что я злая женщина.

И, вспорхнув, оставила меня на камне, смятенного и одинокого.

Париж, 8 декабря 1869 года

Мои нераспакованные чемоданы еще загромождали всю столовую. Я сидел за столом, уставленным теми вкусными вещами, какие производит французская страна для любителей покушать. Я ел шартрский паштет, — а одного его достаточно, чтобы любить отечество. Тереза, став против меня и сложив руки на белом фартуке, глядела на меня с благоволеньем, тревогой и жалостью. Гамилькар терся о мои ноги, от радости пуская слюни.

Мне пришел на память стих старого поэта:

Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил *.

«Ну что ж, — мне думалось, — я прогулялся зря и возвращаюсь с пустыми руками; но так же, как Улисс, я совершил прекрасный путь».

Выпив последний глоток кофе, я попросил у Терезы мою палку и шляпу, которые она дала мне недоверчиво: она боялась, что я опять уеду. Я успокоил ее, распорядившись, чтобы обед был приготовлен к шести часам.

Идти куда глаза глядят по улицам Парижа, где я благоговейно люблю все мостовые и каждый камень, — одно уж это большое удовольствие. Но у меня имелась цель, и шел я прямиком на улицу Лафит. Я не замедлил найти там лавку Рафаэлло Полицци. Она выделялась множеством старинных картин, подписанных художниками неравного значения, но, несмотря на это, имевших нечто родственное между собою, что наводило бы на мысль о трогательном братстве дарований, когда бы ни свидетельствовало о проделках кисти Полицци-старшего. Лавку, полную этих сомнительных шедевров, оживляли мелкие предметы стари-

ны: кинжалы, кубки, кувшины, медное художественное литье, испано-арабские блюда с металлическим отсветом и терракотовые вазы.

На португальском кресле из тисненной гербами кожи лежал экземпляр часослова Симона Вотра *, открытый на листе с астрологическим рисунком; старик Витрувий * раскрыл на сундуке свои мастерские гравюры кариатид и теламонов *. Весь этот кажущийся беспорядок, таивший нарочитое распределенье, этот мнимый случай, разбросавший вещи, чтобы подать их в благоприятном свете, могли бы увеличить недоверие мое, но сама фамилия — Полицци — внушала мне такое недоверие, что, будучи безграничным, оно не могло уже расти.

Синьор Рафаэлло, представлявший как бы единую душу всех этих противоречивых и несвязанных форм, показался мне флегматичным молодым человеком, чем-то вроде англичанина. Он ни в коей мере не выказывал тех исключительных способностей по части мимики и декламации, какие проявлял его отец.

Я объяснил, что привело меня к нему; он отпер шкаф, вынул оттуда рукопись и положил на стол, где я мог исследовать ее, как мне угодно.

Никогда в жизни я так не волновался, если не считать нескольких месяцев из моей юности, воспоминание о коих, живи я хоть сто лет, останется в душе моей до самого последнего мгновенья таким же свежим, как и в первый день.

Да! Это была рукопись, описанная библиотекарем сэра Томаса Ралея. Да, рукопись клирика Жана Тумуйе! Ее я видел, осязал! Сочинение самого Иакова Ворагинского было значительно сокращено, но это мало меня трогало. Неоценимые добавления монаха из Сен-Жермен-де-Пре были налицо. А это главное! Мне захотелось прочесть житие святого Дроктовея, — я не мог: я читал все строчки сразу, и в голове моей шумело, как на водяной мельнице в деревне ночью. Однако я установил, что написанье букв рукописи является неоспоримо подлинным. Два изображения — Сретенья господня и Венчанья Прозерпины — отличались грубостью рисунка и крикливостью тонов. Силь-

но попорченные в 1824 году, как то свидетельствует каталог сэра Томаса, они с тех пор вновь приобрели свежесть. Это чудо меня не поразило. Впрочем, какое мне было дело до двух миниатюр! Жития и поэма Жана Тумуйе — вот где сокровище. Из него я черпал взглядом все, что могли уловить мои глаза.

Приняв равнодушный вид, я спросил у синьора Рафаэлло о цене рукописи и в ожидании ответа молил небо, чтобы цена ее не превзошла моих сбережений, сильно пострадавших от дорого стоившего путешествия. Синьор Полицци ответил мне, что этой вещью он располагать не может, так как она больше не его, а назначена к продаже с аукциона в Доме торгов вместе с другими рукописями и несколькими инкунабулами *.

То был жестокий для меня удар. Я сделал усилие, чтобы прийти в себя, и смог ответить нечто вроде следующего:

— Вы удивляете меня. Ваш отец, которого я видел не так давно в Джирдженти, меня уверил, что вы являетесь владельцем этой рукописи. Не вам давать мне повод сомневаться в словах вашего отца.

— Действительно, я владел ею, — ответил совершенно просто Рафаэлло, — но я больше не владею. Эту драгоценную рукопись я продал одному любителю, не разрешившему мне называть его фамилию, а теперь, по причинам, тоже не допускающим огласки, он вынужден продать свое собрание. Почтив меня своим доверием, он поручил мне составить каталог и руководить продажей, имеющей быть двадцать четвертого декабря сего года. Если вы соблаговолите дать мне свой адрес, я буду иметь честь послать вам каталог, находящийся в печати, и описание *Златой легенды* вы найдете в нем под номером сорок вторым.

Я дал свой адрес и ушел.

Приличная степенность сына не нравилась мне так же, как и непристойное кривлянье отца. В глубине души я проклинал уловки этих низких торгашей. Мне было ясно, что два мошенника между собою сговорились и выдумали эту распродажу на аукционе через присяжного оценщика, чтобы взвинтить цену на ру-

копись, которую хотелось мне приобрести, но избежать при этом возможных нареканий. Я был у них в руках. Желанья, хотя бы и самые невинные, имеют ту плохую сторону, что подчиняют нас другому человеку и ставят нас в зависимость. Такая мысль была мучительна, однако она не отбила у меня охоты владеть твореньем клирика Тумуйе. Размышляя на эту тему, я собирался перейти через улицу, но остановился, чтобы пропустить карету, ехавшую мне навстречу, и сквозь стекло увидел княгиню Трепову, мчавшуюся на паре вороных, с кучером в мехах, похожим на боярина. Меня она не видела.

«Пусть она найдет то, что ищет, — подумал я, — или, вернее, что подойдет ей. Вот мое пожеланье в оплату за жестокий смех, каким она встретила мое злосчастие в Джирдженти. У нее душа синицы».

И, грустный, я добрался до мостов.

Вечно равнодушная природа, не торопясь и не опаздывая, привела и день 24 декабря. Я отправился во дворец Бюльон и занял место в зале № 4, у самого стола, где предстояло сидеть присяжному оценщику Булузу и эксперту Полицци. Зала постепенно наполнялась знакомыми мне лицами. Я пожал руки нескольким старым букинистам с набережных; но осторожность, какую внушает людям, даже наиболее доверчивым, всякая большая заинтересованность, понудила меня скрывать причину моего необычного присутствия во дворце Бюльон. Наоборот, я расспросил этих господ о том, что в данной распродаже, организованной Полиции, могло привлечь их интерес, и слушал с удовольствием, как разговор шел совершенно о других предметах, а не о моем.

Любители и просто любопытные мало-помалу напол¬нили всю залу; опоздав на полчаса, присяжный оценщик, вооруженный молотком слоновой кости, секретарь, эксперт с каталогом и аукционист, снабженный деревянной чашей на длинной палке, появились на эстраде и с мещанской торжественностью заняли свои места. Служители выстроились около стола. Когда присяжный аукционист возвестил начало распродажи, все притихли.

Сначала продали по низким ценам довольно заурядное собрание «Preces piae» [1] с миниатюрами. Само собой разумеется, миниатюры отличались полнейшей свежестью.

Низкие надбавки ободрили толпу мелких торговцев стариной, которые смешались с нами и стали чувствовать себя непринужденно. В свой черед старьевщики, ждавшие, когда для них откроют соседний зал, тоже подошли, и овернские шутки покрывали слова аукциониста.

Великолепный экземпляр «Иудейской войны» вновь оживил внимание. Эту вещь оспаривали долго. «Пять тысяч франков, пять тысяч», — объявил аукционист среди молчания изумленных старьевщиков. Семь-восемь осьмигласников вновь низвели нас до дешевых цен. Толстая простоволосая старьевщица в широкой кофте, прельстившись величиною книги и скромностью надбавок, завладела одним из осьмигласников за тридцать франков.

Наконец эксперт Полиции выложил на стол и номер сорок два: «Златая легенда», французская рукопись, неизданная, две превосходные миниатюры, оценка — три тысячи франков.

— Три тысячи! Три тысячи! — взвизгнул аукционист.

— Три тысячи, — сухо повторил присяжный оценщик.

В висках у меня гудело, я сквозь туман заметил, что множество серьезных лиц повертывается к рукописи, когда служитель носил ее по зале в раскрытом виде.

— Три тысячи пятьдесят! — произнес я.

Я был испуган звуком собственного голоса и смущен, увидев, что взоры всех присутствующих обратились на меня.

— Три тысячи пятьдесят справа! — крикнул аукционист, подхватив мою надбавку.

— Три тысячи сто! — перебил Полицци.

Тут началась героическая схватка между мною и экспертом.

---

[1] «Благочестивые наставления», сборник проповедей (*лат.*).

— Три тысячи пятьсот!

— Шестьсот!

— Семьсот!

— Четыре тысячи!

— Четыре тысячи пятьсот!

Затем чудовищным скачком Полиции сразу прыгнул на шесть тысяч.

Шесть тысяч франков — это было все, чем я располагал. Все, что я мог дать. Я рискнул на невозможное.

— Шесть тысяч сто! — крикнул я.

Увы, и невозможное оказывалось недостаточным.

— Шесть тысяч пятьсот, — спокойно откликнулся Полицци.

Я потупил голову и открыл рот, не решаясь сказать ни да, ни нет аукционисту, кричавшему мне:

— Шесть тысяч пятьсот, за мной; не за вами, справа, а за мной! Без недоразумений! Шесть тысяч пятьсот!

— Ясно! — подхватил присяжный оценщик. — Шесть тысяч пятьсот. Точно и ясно. Кто больше?.. Нет покупателя выше шести тысяч пятисот?

Торжественная тишина царила в зале. Вдруг я почувствовал, как трескается у меня череп: то стукнул молоток присяжного аукциониста, одним сухим ударом по столу безвозвратно оставив номер сорок два за Полицци. И тотчас перо секретаря забегало по гербовой бумаге, протоколируя одной строкой это великое событие.

Я был убит, мне нужен был воздух и покой. Однако с места я не тронулся. Мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать. Надежда упорна. И она явилась. Я подумал, что новым обладателем *Златой легенды* мог оказаться великодушный и образованный библиофил, который допустит меня к рукописи и даже позволит опубликовать ее существенные части. Вот почему, когда окончились торги, я подошел к эксперту, сходившему с эстрады.

— Господин эксперт, — спросил я, — вы купили номер сорок второй по поручению или для себя лично?

— По поручению. Мне было приказано не упускать его ни за какую цену.

— Не можете ли вы мне сказать имя покупателя?

— Крайне огорчен, что не могу исполнить вашей просьбы. Но это строго мне воспрещено.

Я отошел в отчаянии.

30 декабря 1869 года.

— Тереза, неужели вы не слышите, что уже четверть часа, как к нам звонят?

Тереза не отвечает. Она судачит в каморке у привратницы. Ну конечно! Так-то вы поздравляете старого хозяина с днем ангела? Канун святого Сильвестра, а вы бросили меня? Увы! Если в этот день я и услышу голоса сердечных пожеланий, то прозвучат они из-под земли, ибо все, кто некогда меня любил, давно покоятся в могиле. Сам не знаю, что делаю я в этом мире. Опять звонят! Я неохотно расстаюсь с камином и, сутулясь, иду отворять дверь. Что же я вижу на площадке? То не заплаканный Амур, и я не старик Анакреон *, — то мальчуган лет восьми-девяти. Он один; он поднимает голову, чтобы меня увидеть. Щеки его краснеют, но вздернутый носик имеет плутоватый вид. На шляпе перья, на курточке широкий воротник из кружев. Хорошенький мальчишка! Обеими руками он держит сверток, не меньше, чем он сам, и спрашивает, я ли господин Сильвестр Бонар. Отвечаю: «Да». Он мне вручает сверток, говорит, что это посылает мама, и убегает вниз по лестнице.

Спускаюсь на несколько ступенек, перегибаюсь через перила и вижу, как вьется в спирали лестницы маленькая шляпа, словно перышко по ветру. Прощай, мальчуган! Я бы охотно с ним поговорил. О чем бы только я его спросил? Неделикатно расспрашивать детей. К тому же сверток разъяснит все лучше, чем посланец.

Сверток весьма большой, но не особенно тяжелый. У себя в библиотеке снимаю ленты и бумагу, в которую он запакован, и нахожу... Что это?.. Полено, отличное полено, настоящее рождественское полено, но легкое и, думается мне, пустое. В самом деле, я замечаю, что оно из двух кусков, соединенных крючками и открывающихся на шарнирах. Откидываю крючки... и меня засыпали фиалки. Они падают на мой стол, мне на

колени, на ковер. Проскальзывают за жилет и в рукава. Я весь ими надушен.

— Тереза! Тереза! Подайте вазы, и с водой! Вот фиалки, присланные, не знаю, из какой страны и чьей рукой, но несомненно из страны благоуханной и рукой прелестной. Старая ворона, вы слышите меня?

Я разложил фиалки на письменном столе, и они покрыли его весь душистым цветником. Но что-то есть еще в полене... книга, рукопись. Это... не смею верить, но нет сомненья... Это «Златая легенда», рукопись клирика Жана Тумуйе. Вот Сретенье господне, а вот Похищение Прозерпины, вот житие святого Дроктовея. Я созерцаю эту старину, благоухающую фиалками. Переворачиваю страницы, между которыми проникли бледные цветочки, и в том месте, где житие святой Цецилии, нахожу карточку, гласящую: *Княгиня Трепова.*

Княгиня Трепова! Ведь это вы так мило и прослезились и смеялись под ясным небом Агригента, ведь это вас угрюмый старец принял за маленькую сумасбродку! Я убежден сегодня в вашем прекрасном редкостном сумасбродстве! И старичок, обрадованный вами превыше меры, пойдет и поцелует ваши руки, возвращая такую драгоценность, а точным и роскошным изданием ее вам будут обязаны наука и он сам.

В эту минуту вошла ко мне Тереза; она была взволнована.

— Угадайте, сударь, кого я сию минуту видела в карете с гербами у нашего подъезда?

— Госпожу Трепову, кого же больше! — воскликнул я.

— Никакой госпожи Треповой я не знаю, — отвечала экономка. — Та женщина, что я сейчас видала, одета словно герцогиня, а с ней мальчишка, весь в кружевах. И эта дамочка — Кокоз! Вы еще послали ей полено, когда она рожала, тому восемь лет. Я сразу ее признала.

— Так это, — спросил я, оживившись, — так это госпожа Кокоз, вы говорите? Вдова торговца альманахами?

— Она самая! Дверца кареты была открыта, когда мальчишка выбежал от нас и влезал в карету. Она почти

не изменилась. Да этаким-то женщинам с чего и стариться? Заботы у них нет. Кокозиха стала только подороднее. Тогда ее пустили в дом из милости... И такой женщине приезжать сюда в карете, разрисованной гербами, величаться бархатом да брильянтами! Это ли не срам!

— Тереза! — крикнул я страшным голосом. — Говорите об этой даме не иначе, как с уваженьем, а не то мы с вами поссоримся. Несите севрские вазы для фиалок, дарующих обители книг прелесть, какой здесь не бывало никогда.

Пока Тереза, вздыхая, доставала севрские вазы, я созерцал рассыпанные по столу фиалки, разлившие кругом меня свое благоухание — как будто аромат пленительной души, и я спросил себя, как мог я не узнать в княгине Треповой вдову Кокоз? Но слишком коротко было мое свиданье с молодой вдовой, когда она на лестнице показала мне голенького малыша. С бо́льшим основаньем я мог винить себя за то, что прошел мимо души пленительно красивой, ее не разгадав.

— Бонар, — сказал я про себя, — ты можешь разбираться в старинных текстах, но читать книгу жизни ты не умеешь. В княгине Треповой ты видел только птичью душу, а эта сумасбродка потратила из благодарности к тебе больше рвенья и ума, чем это ты делал ради услуги другому человеку. Она по-царски отплатила тебе за полено, посланное ей на родины... Тереза, были вы сорокой, теперь становитесь черепахой! Дайте же воды для этих пармских фиалок!

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ЖАННА АЛЕКСАНДР

I

Люзанс, 8 августа 1874 года

Когда я сошел с поезда на станции Мелен, ночь разливалась тишиной над молчаливыми полями. От земли, нагретой за день палящим солнцем, — «тучным солнцем», как говорят жнецы в долине Вира, — шел крепкий, теплый запах. Над самой почвой медлительно струились ароматы трав. Я отряхнул с себя вагонную пыль и вздохнул ожившей грудью. Мой саквояж, набитый благодаря стараньям экономки бельем и туалетной мелочью — munditiis, — казался мне таким легким, что я помахивал им, как машет школьник сумкой с книжками, выходя из школы.

О, если бы я был еще приготовишкой! Но уже лет шестьдесят без малого прошло с тех пор, как моя мать покойница, собственноручно намазав виноградным вареньем ломоть хлеба, положила его в корзиночку, надела ее мне на руку и, снарядив меня, отвела в пансион господина Дулуара, стоявший между садом и двором в углу Коммерческого проезда, хорошо знакомого воробьям. Огромный господин Дулуар приветливо улыбнулся нам и погладил меня но щеке — несом-

ненно для лучшего выраженья нежности, которую я внезапно пробудил в нем помимо своей воли. Но как только матушка, вспугнув воробьев, пересекла двор, господин Дулуар перестал улыбаться, он уже не выказывал мне нежности, наоборот: казалось, он рассматривал меня как маленькое существо, крайне неприятное. После мне довелось узнать, что чувства такого рода он питал ко всем своим ученикам. Он наделял нас ударами ферулы с проворством, совершенно неожиданным при его грузной корпуленции. Однако нежность первого свиданья возвращалась к нему всякий раз, когда он разговаривал с матерями в присутствии детей и, хваля наши способности, окидывал нас всех любящим взглядом. Все же хорошим было время, проведенное на партах г-на Дулуара с маленькими товарищами, которые, подобно мне, и плакали и веселились от всей души, с утра до вечера.

Через полвека с лишком эти воспоминанья всплывают в моей душе совершенно ясными и свежими, — здесь под этим звездным, с тех пор ничуть не изменившимся небом, чьи неизменные и тихие светила увидят непреложно, как множество других таких же школьников, каким был я, станут такими же седовласыми и склонными к катарам учеными, каким стал я.

Вы, звезды, сиявшие над легкомысленными или тяжелодумными головами моих забытых предков, при вашем свете я чувствую, как просыпается во мне мучительное сожаленье. Мне бы хотелось иметь потомство, чтобы оно вас видело тогда, когда меня не станет. Я был бы и отцом и дедом, если бы того желали вы, Клементина, когда ваши щечки дышали юной свежестью под розовой шляпкой… Но вы вышли замуж за Ахилла Алье, богатого помещика из Ниверне, отчасти дворянина, ибо отец его, простой крестьянин, скупая национальные поместья, вместе с землей и замками своих господ купил их родовой архив. Я вас не видел с вашего замужества, но уверен, что ваша жизнь в деревенской усадьбе протекла благополучно, тихо и безвестно. Однажды я узнал случайно от друга вашего, что вы ушли из этой жизни, оставив дочь, похожую на вас. С этой вестью, против которой двадцать

лет тому назад восстали бы все силы моей души, в меня вошло как бы великое молчание; чувство, охватившее меня всего, было не острой скорбью, а спокойной, глубокой грустью души, послушной великим наставлениям природы. Я постиг, что то, что я любил, — лишь призрак. Но память о вас всегда пребудет очарованьем моей жизни. Ваш милый образ, медленно увянув, сокрылся под густой травой. Юность вашей дочери прошла. Краса ее несомненно исчезла... А я всегда вас вижу Клементиной с белокурыми кудрями под розовою шляпкой.

Красавица ночь! С великодушной томностью царит она над миром животных и людей, освобождая их от повседневного ярма; и благотворное ее влиянье я ощущаю на себе, хотя в силу шестидесятилетней привычки воспринимаю вещи лишь по знакам, их представляющим. В этом мире для меня живут одни слова — настолько я филолог. Каждый по-своему свершает грезу жизни. Я творю ее в моей библиотеке, и когда пробьет мой час, пусть бог возьмет меня к себе с моей стремянки, приютившейся у полок, забитых книгами.

— Э! Ей-богу, это он! Здравствуйте, господин Бонар! Куда это вы шествовали, пустившись наудачу, когда я ждал вас у станции с кабриолетом? Сойдя с поезда, вы как-то ускользнули от меня, и я ни с чем ехал домой в Люзанс. Давайте же ваш саквояж, влезайте и садитесь со мною рядом. Знаете ли вы, что отсюда до усадьбы добрых семь километров?

Кто это во всю мочь кричит мне из кабриолета? Г-н Поль де Габри, племянник и наследник г-на Оноре де Габри, пэра Франции с 1842 года *, недавно скончавшегося в Монако. В самом деле, это г-н Поль де Габри; к нему-то я и ехал с чемоданом, упакованным моей домоправительницей. Этот превосходный человек вместе со своими двумя зятьями недавно получил в наследство именье дяди, происходившего из старого служилого рода и собравшего в люзанском замке библиотеку, богатую рукописями, из коих некоторые восходят к XIII веку. Именно для составленья их описи и каталога ехал я в Люзанс по просьбе Поля де Габри,

отец которого, любезный человек и выдающийся библиофил, при жизни поддерживал со мной отменно вежливые отношения. Сын, правду говоря, не унаследовал высоких склонностей отца. Г-н Поль отдался спорту: он знает толк в лошадях и собаках, и думаю, что из всех знаний, способных утолить или обмануть неиссякаемую любознательность людей, знание псарни и конюшни — единственное, каким владеет он вполне.

Нельзя сказать, чтобы встреча с ним явилась для меня неожиданностью, раз наше свиданье было заранее обусловлено, но, признаюсь, я так увлекся естественным теченьем своих мыслей, что у меня вылетели из головы и люзанский замок и его хозяева, а когда помещик меня окликнул в самом начале моего пути, который дальше стлался, как говорится, длинной лентой, то в первое мгновенье голос г-на Поля резнул мне уши, словно какой-то чуждый звук.

Опасаюсь, что моя физиономия выдала эту несуразную рассеянность тем выраженьем бестолковости, какое часто у меня бывает при общении с людьми. Саквояж мой водворился в кабриолете, и я последовал туда же. Хозяин мне понравился своею откровенностью и простотой.

— Я ничего не смыслю в ваших старых пергаментах, — сказал он мне, — но у нас найдется, с кем вам поговорить. Помимо здешнего священника, который пишет книги, и доктора, весьма любезного, хотя он и либерал, вы встретите кое-кого, кто с вами и поспорит: это моя жена. Ее нельзя назвать ученой, но, думается, нет той вещи, какой бы она не понимала. К тому же рассчитываю, с божьей помощью, удержать вас у себя подольше, и тогда вы встретитесь с мадемуазель Жанной, обладательницей волшебных пальчиков и ангельской души.

— Барышня, столь счастливо одаренная, ваша родственница? — спросил я.

— Нет, — ответил г-н Поль, устремив взгляд на уши лошади, стучавшей копытами по голубоватой от луны дороге. — Это юная подруга моей жены, круглая сирота. Ее отец вовлек нас в рискованное денежное

предприятие, мы выпутались из него, но это обошлось нам дорого.

Затем он покачал головой и, меняя разговор, предупредил меня о той запущенности, в какой найду я парк и замок, совершенно необитаемый в течение тридцати двух лет.

От г-на Поля я узнал, что, живя здесь, его дядя, Оноре де Габри, был беспощаден к браконьерам и дядины сторожа по ним стреляли, как по кроликам. Один из браконьеров, мстительный крестьянин, получивший от самого помещика заряд дроби прямо в лицо, подстерег его однажды вечером из-за деревьев на аллее и только чуть-чуть промахнулся, задев пулей кончик уха.

— Мой дядя, — добавил г-н Поль, — пытался рассмотреть, откуда был направлен выстрел, но не увидел ничего и обычным шагом вернулся в замок. Наутро он вызвал управляющего и приказал запереть парк и дом, чтобы ни одна живая душа не могла туда войти. Он строго запретил чего-либо касаться, что-либо поддерживать или чинить в имении или постройках до своего возвращенья. В заключение он процедил сквозь зубы, что вернется к пасхе или к троице, как то поется в песне *, но так же, как и в песне, троица прошла, а о нем ни слуху ни духу. В прошлом году он умер в Каннах, и мы с зятем первыми вошли в замок, заброшенный уже тридцать два года. Посреди гостиной мы увидали выросший каштан. А чтобы гулять по парку — в нем еще надо провести аллеи.

Спутник мой замолк, и среди шуршанья насекомых, копошившихся в траве, был слышен только мерный топот лошадиной рыси. В неясном лунном освещении копны хлеба, расставленные на полях по обе стороны дороги, походили на высоких белых женщин, стоявших на коленях, и я отдался великолепию наивных обольщений ночи. Проехав в густой тени проспекта, мы повернули под прямым углом и покатили по господскому проезду, в конце которого внезапно появился черной массой замок с башенками наверху. Мы ехали мощеной дорогой, подходившей к красному двору и пересекающей ров с проточной водой взамен

давно разрушенного подъемного моста. Потеря подъемного моста, думается мне, явилась тем первым унижением, какое претерпела эта воинственная усадьба, прежде чем приняла миролюбивый вид, с каким она встретила меня. Отраженье звезд в темной воде сверкало дивной чистотой. Г-н Поль, как вежливый хозяин, провел меня на самый верх, до моей комнаты, расположенной в конце длинного коридора, и, извинившись за то, что не может меня представить своей супруге в такой поздний час, пожелал мне доброй ночи.

Комната моя, побеленная и обитая бирюзовой тканью, носит отпечаток галантной прелести XVIII века. Еще теплая зола, свидетельствуя, с каким стараньем изгоняли сырость, наполняла камин, доска которого служила опорой фарфоровому бюсту королевы Марии-Антуанетты. На белой раме тусклого, в пятнах, зеркала два медных крючка, куда в старину дамы вешали свои цепочки, предлагали теперь свои услуги моим часам, которые я тщательно завел, ибо, вопреки положеньям телемитов *, считаю, что человек только тогда хозяин времени, являющегося самой жизнью, когда разбил он время на часы, минуты и секунды — то есть на частицы, соответствующие кратковременности самой жизни человека.

И я подумал, — жизнь нам кажется короткой только потому, что мы бездумно прилагаем к ней мерило наших легкомысленных надежд. Всем нам, как старику в басне, во что бы то ни стало надо добавить к нашей постройке еще одно крыло *. Прежде чем умереть, я хочу закончить историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре. Время, даруемое богом каждому из нас, подобно драгоценной ткани, по которой мы вышиваем, кто как может. Я ткал своим утком различные цветы филологической науки. Так протекали мои мысли. И в тот момент, когда повязывал я голову фуляром, размышления о времени вернули меня к прошлому, и пока минутная стрелка вторично сделала оборот, я вспомнил вас, Клементина, дабы благословить вас в потомстве вашем, прежде чем загашу свечу и стану засыпать под кваканье лягушек.

II

Люзанс, 9 августа

За завтраком не раз имел я случай оценить беседу г-жи де Габри, сообщившей, что замок посещают привидения, в частности дама «с тройною складкой на спине», при жизни отравительница, а после смерти — неприкаянная душа. Нет, мне не передать, как много остроумия и жизни сумела вложить г-жа де Габри в это старинное повествование кормилиц. Мы пили кофе на террасе, где могучий плющ обвил и вырвал из каменных перил балясины, повисшие теперь среди сплетений сладострастного растения, как фессалийки в объятиях кентавров-похитителей.

Замок с башенками на углах, имевший очертания фургона, в результате последовательных перестроек утратил свой истинный характер. То было обширное, почтенное сооружение — и только. Мне показалось, что за тридцать два года запустения оно не потерпело особого ущерба. Но когда г-жа де Габри привела меня в большую гостиную нижнего этажа, я там увидел вспучившийся пол, гнилые плинтусы, потрескавшуюся обшивку стен, почернелую роспись простенков, на три четверти отставшую от рам. Выросший посреди гостиной каштан раздвинул паркетные дощечки и обращал к выбитым окнам широкие султаны своей листвы.

Не без тревоги взирал я на это зрелище, соображая, что богатая библиотека Оноре де Габри, находящаяся в соседней комнате, так долго подвергалась вредоносным влияниям. И все же, созерцая молодой каштан в гостиной, я не мог не подивиться великолепной мощи природы и непреоборимой силе, побуждающей каждый зародыш претвориться в жизнь. Зато я опечалился при мысли, что усилия, какие употребляем мы, ученые, чтобы сберечь и сохранить вещи умершие, — это усилия и многотрудные и тщетные. Все, что отжило, является необходимой пищей для новых видов бытия. Араб, построивший себе жилище из мрамора пальмирских храмов *, — более философ, чем все хранители музеев Парижа, Лондона и Мюнхена.

Люзанс, 11 августа

Слава богу! Библиотека, окна которой выходят на восток, избегла непоправимого ущерба. Кроме увесистого ряда старинного «Обычного права» in folio, насквозь проеденного сонями, книги в зарешеченных шкафах остались невредимы. Весь день я провел, классифицируя рукописи. Солнце вливалось в высокие незанавешенные окна, и я, не прерывая чтения, иной раз очень интересного, все время слышал, как грузно бились о стекла отяжелевшие шмели, трещала деревянная обшивка стен и мухи, пьяные от света и жары, жужжали, кружась у меня над головой. К трем часам гуденье их усилилось настолько, что я приподнял голову от документа, крайне ценного для истории Мелена XIII века, и начал наблюдать за концентрическим полетом этих, по выраженью Лафонтена, «животинок». Должен констатировать, что действие жары на крылья мухи совсем иное, чем на мозги архивиста-палеографа, ибо я испытывал большое затруднение в мыслях и довольно приятное оцепенение, из коего я вышел, лишь сделав резкое усилие. Колокол, возвестив обед, прервал на середине мою работу, и я наспех переоделся, чтобы явиться в приличном виде перед г-жою де Габри.

Обильная трапеза сама собою затянулась. У меня талант, пожалуй выше среднего, дегустировать вино. Хозяин, заметив мои способности, оценил меня настолько, что в мою честь раскупорил отборную бутылочку шато-марго. Я с уваженьем пил это вино высокой породы и благородных свойств, букет которого и вкус превыше всех похвал. Эта пылкая роса, проникнув в мои вены, воодушевила меня юношеским жаром. Сидя возле г-жи де Габри на террасе, в сумерках, окутывающих тайной расплывшиеся очертания деревьев, я имел удовольствие передавать умной хозяйке свои впечатления живо, с большим чувством, что крайне удивительно в человеке, каким являюсь я, то есть в человеке без всякого воображения. Свободно, не прибегая к старинным текстам, описал я ей нежную грусть вечера и красоту родной земли, которая питает нас не только хлебом и вином, но мыслями,

верованиями и чувствами и примет всех нас в материнское свое лоно, как маленьких детей, уставших от длительного дня.

— Господин Бонар, — обратилась ко мне моя очаровательная собеседница, — видите эти старые башни, эти деревья, это небо; как естественно родились в такой обстановке персонажи сказок и народных песен! Вон тропинка, по которой Красная Шапочка шла в лес за орехами. Это изменчивое, всегда подернутое дымкой небо бороздили колесницы фей, а северная башня могла скрывать под островерхой крышей старуху пряху, веретеном которой укололась Спящая Красавица.

Я продолжал обдумывать ее прелестные слова, в то время как г-н Поль, попыхивая крепкою сигарой, рассказывал мне о некоей тяжбе, затеянной им с общиной из-за отвода какого-то ручья. Г-жа де Габри, почувствовав вечернюю прохладу, от которой не могла ее защитить шаль, простилась с нами и ушла к себе. Я решил не возвращаться в свою комнату, а вновь пойти в библиотеку и продолжить разбор рукописей. Несмотря на уговоры г-на Поля, побуждавшего меня лечь спать, я вошел в то помещение, какое назову по-старинному книгохранилищем, и взялся за работу при свете лампы.

Прочтя страниц пятнадцать, написанных, как видно, невежественным и рассеянным писцом, ибо мне было трудновато улавливать их смысл, я сунул руку за табакеркой в зияющий карман сюртука, однако это естественное и как бы инстинктивное движение на сей раз стоило мне известного труда и утомления; тем не менее серебряную коробочку я открыл и взял оттуда несколько крупинок пахучего порошка, но они разлетелись по манишке, оставив мой нос в дураках. Я уверен, что нос мой выразил негодованье, так как он очень выразителен. Он не раз выдавал самые сокровенные мои мысли, особенно в Кутанской публичной библиотеке, где я, под носом у коллеги моего Бриу, выискал картуларий * Нотр-Дам-дез-Анж.

Какая то была радость! Мои маленькие тусклые глаза в очках не выдали ее ничем. Но, увидав один мой

нос картошкой, трепещущий от радости и спеси, Бриу смекнул, что у меня находка. Он заприметил том, который я держал, запомнил место, куда я, уходя, его поставил, взял его сейчас же вслед за мной, тайком списал и наскоро издал мне на смех. Но, думая поддеть меня, поддел лишь самого себя. Его издание кишит ошибками, и я с удовлетворением отметил в нем ряд крупных промахов.

Возвращаюсь к исходному моменту: я заподозрил, что тяготит мой ум только гнетущая сонливость. Перед моими глазами лежал старинный договор, а его значение оценит всякий, если скажу, что в нем упоминается садок для кроликов, запроданный священнику Жану д'Эстурвилю в 1212 году. Чувствуя, насколько важен этот факт, я все-таки не уделил ему того внимания, какого требовал подобный документ. Что я ни делал, мои глаза всё обращались к концу стола, хотя там не было ни одного предмета, имеющего важность с научной точки зрения. На этом месте лежал лишь большой немецкий том, переплетенный в свиную кожу, с медными гвоздями на досках переплета и толстыми валиками на корешке. То был прекрасный экземпляр компиляции, достойной одобрения лишь за ее гравюры на дереве и хорошо известной под именем *Нюрнбергской летописи.* Том стоял на среднем своем обрезе благодаря чуть приоткрытым доскам переплета.

Не знаю, сколько времени этот старинный фолиант притягивал к себе без видимой причины мои взоры, как вдруг их захватило зрелище столь необычное, что даже человек, лишенный всякого воображенья, — вроде меня, — поразился бы им живейшим образом.

Я вдруг увидел, не заметив, когда она явилась, маленькую даму, сидевшую на книжном корешке, согнув в колене одну ногу, другую свесив, — почти в той позе, какую принимают, садясь на лошадь, амазонки в Булонском лесу или в Гайд-Парке. Дама была такою маленькой, что ее болтавшаяся ножка не доходила до стола, где стлался змейкой шлейф ее платья. И все же ее лицо и стан могли принадлежать лишь взрослой женщине. Полнота груди, округлость талии не оставляли ни малейшего сомнения на этот счет, —

даже у старого ученого вроде меня. Добавляю, без боязни ошибиться, что она была красавица и вида гордого, ибо занятия иконографией издавна приучили меня определять характер внешности и чистоту типа. Лицо дамы, так неожиданно усевшейся на краешке *Нюрнбергской летописи,* дышало благородством с примесью своенравия. У нее был облик королевы, и притом капризной; по одному выражению ее глаз я заключил, что где-то она пользовалась большою властью и очень фантастично. Рот у нее был властный и иронический, а синие глаза под безукоризненными дугами бровей смеялись, но с каким-то внушающим тревогу выражением. Мне часто приходилось слышать, что темные брови весьма идут блондинкам, — а эта дама была блондинка. В общем, она производила впечатление величия.

Однако ж моя дама была с бутылку ростом, и если бы не мое благоговенье перед ней, я бы мог свободно ее спрятать в заднем кармане сюртука, поэтому должно казаться непонятным, чем же ее особа вызывала представление о величии. Но в самых пропорциях дамы, сидящей на *Нюрнбергской летописи,* была такая горделивая стройность, такая величавая гармония, в позе было столько свободы и благородства, что мне она представлялась большой. Чернильница, которую она разглядывала с насмешливым вниманием, как будто заранее читая в ней слова, готовые оттуда выйти на кончике моего пера, — могла бы оказаться для нее достаточно глубоким бассейном, чтобы зачернить вплоть до подвязок ее чулки из розового шелка с золотыми стрелками; но, несмотря на это, повторяю: при всей своей игривости она казалась мне большой и величавой.

Наряд ее, под стать наружности, был исключительно великолепен. Он состоял из серебряно-золотого парчового платья и красно-оранжевой бархатной мантии на беличьем меху. Головной убор на манер двурогой диадемы светился жемчугом чистой воды и сиял, как месяц. В белой ручке она держала палочку, привлекавшую мое внимание, тем более законное, что занятия археологией научили меня довольно точно распознавать по некоторым отличительным знакам действующих лиц сказаний и истории. В данном случае такое знание

мне пригодилось. Разглядев палочку, я установил, что она вырезана из веточки орешника. «Так это палочка феи, — сообразил я, — а следовательно, дама, держащая ее, — фея».

Радуясь тому, что, наконец, узнал, с кем имею дело, я попытался сосредоточить мысли, чтобы обратиться к ней с почтительным приветствием. Каюсь, мне было бы приятно научно рассказать этой особе о роли ей подобных как среди племен саксонских и германских, так и на латинском Западе. Такая речь мне мыслилась удачным способом выразить даме благодарность за появленье перед старым эрудитом, противно непреложному обычаю родственных ей созданий показываться лишь простодушным детям да темным мужикам.

«Но, становясь феей, не перестаешь быть женщиной, — подумал я. — И раз госпожа Рекамье *, как говорил мне Ж.-Ж. Ампер *, гордилась впечатлением, какое красота ее производила на мальчишек-трубочистов, — значит и сверхъестественная дама, сидящая на *Нюрнбергской летописи,* будет польщена, услышав, как ученый станет научно трактовать ее, подобно образку, медали, фибуле или печати». Но это намерение, дорого стоившее моей застенчивости, оказалось и вовсе неосуществимым, когда я увидел, что дама, сидящая на *Летописи,* проворно вынула из сумочки, висевшей сбоку, орешки, — такие маленькие, каких не видывал я в жизни, — и стала грызть их зубками, бросая скорлупу мне в нос, а ядрышки жевать с средоточенностью ребенка, сосущего грудь матери.

В этом случае я поступил так, как того требовало достоинство н а у к и , — я промолчал. Но скорлупа вызывала у меня неприятную щекотку, тогда я заслонил рукою нос и тут же убедился с великим изумлением, что очки сидят на самом его кончике и даму вижу я не сквозь стекла, а поверх — вещь непостижимая, так как мои глаза, сильно пострадавшие от древних текстов, не могут без очков отличить дыню от графина, даже поставленного под самым моим носом.

Этот нос, столь замечательный своей массивностью, окраскою, и формой, вполне законно привлек вни-

мание феи, и она, схватив гусиное перо, торчавшее султаном из чернильницы, провела мне по носу его бородкой. В компании мне случалось иной раз подвергаться безобидным проделкам барышень, которые, включив меня в свою игру, предлагали поцеловать их в щеку сквозь спинку стула или давали мне гасить свечу, но сразу поднимали ее так высоко, что я не мог ее задуть. До сей поры, однако, ни одна особа их пола не изощрялась надо мной в таких причудливых капризах и не щекотала мне ноздрей моим же собственным пером. По счастью, я вспомнил наставленье дедушки-покойника, обычно говорившего, что дамам все позволено и все идущее от них есть милость и благоволенье. Поэтому скорлупки и перо я воспринял как милость и благоволенье и попытался улыбнуться. Больше того — я заговорил!

— Сударыня, — произнес я с достоинством и вежливо, — вы посещением своим оказываете честь не мужику и не сопливому мальчишке, а библиофилу, который счастлив знакомством с вами и знает, что некогда вы посещали стойла и спутывали гривы кобылицам, пили молоко из пенящихся крынок, нашим дедам сыпали за шиворот колючки, из очага выбрасывали искры добрым людям прямо в нос, — короче говоря, вносили в дом веселье и сумятицу. Сверх того, вы можете похвастать, как вечерами очень забавно пугали в рощах загулявшиеся парочки. Мне казалось, что вы исчезли навсегда уже три столетия тому назад. Возможно ли, сударыня, что я вижу вас теперь, во времена железных дорог и телеграфа? Моя привратница, когда-то бывшая кормилицей, вашей истории уже не знает, а сосед-малыш, хотя нянька еще и утирает ему нос, стоит на том, что вы не существуете совсем.

— А вы на этот счет какого мнения? — серебристым голоском спросила она, молодцевато повернув свою королевскую фигурку и нахлестывая корешок *Летописи,* словно то был гиппогриф *.

— Не знаю, — ответил я, протирая глаза.

Этот ответ, отличный глубоко научным скептицизмом, произвел на мою собеседницу весьма неблагоприятное впечатление.

— Господин Сильвестр Бонар, — сказала она, — вы тупица. Я и всегда подозревала это. Любой мальчишка, бегающий по улицам с торчащей из штанишек рубашонкой, знает меня лучше, чем все очкастые людишки разных ваших институтов и ваших академий. Знание — ничто, воображенье — все. Существует только то, что воображаешь. Меня воображают. По-моему, это и значит — существовать. Обо мне мечтают — я являюсь. Все лишь мечта. И поскольку нет никого, кто бы мечтал о вас, Сильвестр Бонар, то это вы не существуете. Я зачаровываю мир; я везде: в луче лунного света, в журчанье скрытого ключа, в говоре трепещущей листвы, в белых парах, что по утрам поднимаются с низин лугов, в розовом вереске — повсюду!.. Всякий, кто меня видит — меня любит. Люди вздыхают, люди дрожат, напав на легкий след моих шагов, шуршащих опавшею листвою. Я вызываю у детей улыбку, я наделяю остроумием кормилиц, даже самых толстых. Склонясь над колыбелью, я шалю, я утешаю, я навеваю сон, а вы еще сомневаетесь в моем существовании! Сильвестр Бонар, под вашей фуфайкой — ослиная шкура!

Она умолкла; ее тонкие ноздри раздувались от негодованья, и покамест я, невзирая на свою досаду, любовался героическим гневом этой маленькой особы, она провела моим пером в чернильнице, как в озере веслом, и бросила перо мне в нос, острием вперед.

Я отер лицо, почувствовав, что все оно забрызгано чернилами. Она исчезла. Лампа погасла; лунный луч пронизывал окно и упадал на *Летопись.* Свежий ветер, поднявшись незаметно, развеял мою бумагу, перья и облатки для заклейки. Стол оказался весь в чернильных пятнах. Я не закрыл окна, пока была гроза. Какое упущенье!

III

Люзанс, 12 августа

Согласно обещанию я написал моей домоправительнице, что жив и невредим. Но о том, что заснул вечером при открытом окне в библиотеке и получил насморк, я воздержался сообщить, ибо эта превосход-

ная женщина пощадила бы меня в своих укорах не больше, чем парламенты щадили королей. «В вашем возрасте — и быть таким неразумным», — сказала бы она. По простодушию, она уверена, что с возрастом становишься разумнее. Я в этом смысле представляюсь ей исключением.

Не имея тех же оснований утаивать это приключенье от г-жи де Габри, я рассказал ей свой сон с на¬чала до конца. Рассказал таким, каким я его видел и записал в этом дневнике. Искусство вымысла мне чуждо. Тем не менее возможно, что в рассказе, а также в записи я вставил там и сям некоторые обстоятельства и выражения, каких и не было сначала, — конечно, не ради извращения истины, а скорее по тайному желанию уточнить и прояснить все то, что оставалось темным или смутным, а может быть, и уступая тому влеченью к аллегориям, какое с детства я воспринял от греков.

Госпожа де Габри слушала меня не без удовольствия.

— Ваше видение очаровательно! — сказала она. — И для таких видений необходим очень живой ум.

— Значит, я умен, когда сплю.

— Когда мечтаете, — поправила она, — а вы мечтаете всегда.

Я понимаю, что, выразившись так, г-жа де Габри просто хотела мне доставить удовольствие, но само это намерение уже заслуживает всей моей признательности, и я лишь из чувства благодарности и ради нежного воспоминанья отмечаю ее слова в этой тетради, которую я буду перечитывать до самой смерти, а кроме меня, никто читать не станет.

Последующие дни употребил я на окончание инвентаря рукописей люзанской библиотеки. Несколько слов, вырвавшихся у г-на де Габри в минуту откровенности, неприятно поразили меня, и я решил вести работу иначе, нежели начал. От него узнал я, что состояние Оноре де Габри, управляемое плохо с давних нор, особенно пострадало при разорении некоего — не названного мне — банкира и перешло наследникам бывшего пэра Франции лишь в виде заложенной недвижимости и безнадежных векселей.

Господин Поль, по соглашению с наследниками, решил продать библиотеку, мне же предстояло изыскать наиболее выгодные способы ее продажи. Как человек, совершенно чуждый торговым сделкам и денежным делам, я для совета решил привлечь одного из моих друзей-книгопродавцев. Я написал ему, чтоб он приехал ко мне в Люзанс, а в ожидании его приезда, взяв трость и шляпу, отправился в окрестности осматривать церкви, так как в некоторых из них сохранились надгробные надписи, еще не восстановленные должным образом.

С этой целью покинул я своих хозяев и стал паломником. Каждый день обследовал я кладбища и церкви, посещал священников и деревенских нотариусов, ужинал в трактирах вместе с разносчиками и прасолами, засыпал на простынях, надушенных лавандой, и так провел я целую н е д е л ю , — не забывал, конечно, о покойниках, но вместе с тем вкушал тихую, глубокую отраду, наблюдая, как живые совершают свой каждодневный труд. В области, составлявшей предмет моих исканий, я сделал лишь маловажные открытия, а следовательно, они порадовали меня радостью умеренной, зато здоровой и никоим образом не утомительной. Я восстановил несколько интересных эпитафий, присоединив к этому малому сокровищу ряд деревенских кухонных рецептов, любезно сообщенных мне добрым священником.

Обогащенный такими знаниями, вернулся я в Люзанс и шествовал по красному двору, с затаенным самодовольством буржуа, идущего к себе домой. В этом сказалась доброта моих хозяев; и то чувство, какое ощутил я на пороге, доказывает лучше всяких рассуждений всю прелесть их гостеприимства.

Я прошел до большой гостиной, не встретив никого, и молодой каштан, раскинувший свою широкую листву, мне показался другом. Но то, что я затем увидел на консоле, меня так сильно поразило, что я обеими руками поправил на носу очки, а себя ощупал с целью убедиться хотя бы внешним образом, что я еще живу. В одно мгновение у меня мелькнуло двадцать мыслей, и самой основательной из них была та, что я сошел

с ума. Мне представлялось невозможным, чтобы видимое мной существовало, но и нельзя было не признать в этом нечто существующее. Поразивший меня предмет стоял, как было сказано, на консоле, под мутным и пятнистым зеркалом.

В этом зеркале я разглядел и, могу сказать, впервые увидал совершенный образ изумления. Но я сейчас же оправдал себя и согласился сам с собой, что изумила меня вещь, на самом деле изумительная.

Я продолжал рассматривать предмет все с прежним, не слабевшим от раздумья удивлением, тем более что сам предмет давал возможность изучать его в полной неподвижности. Устойчивость и неизменность этого феномена не допускали мысли о галлюцинации. Я совершенно не подвержен нервным недугам, расстраивающим зрение. Причиной их обычно являются неправильности в действии желудка, а у меня желудок, слава богу, работает отлично. К тому же обманом зрения сопутствуют обстоятельства особого, анормального порядка; они действуют на самих галлюцинирующих и внушают им какой-то ужас. Ничего подобного со мной не происходило, и предмет, который я видел, хотя сам по себе и невозможный, являлся мне в условиях естественной реальности. Я заметил, что он трехмерен, окрашен и отбрасывает тень. О! Как я рассматривал его! Слезы выступили мне на глаза, и я был вынужден протереть очки.

В конце концов пришлось мне покориться очевидности и констатировать, что передо мною фея — фея, которая мне снилась вечером в библиотеке. Это была она, она, я утверждаю. Все тот же вид ребячливой королевы, гибкая и гордая фигурка, в руках ореховая палочка, на голове — двурогая диадема, и парчовый шлейф по-прежнему змеится у ее крошечных ножек. То же лицо, тот же рост. Это действительно она; и, всякие сомнения устранило то, что она сидела на корешке старинной толстой книги, схожей с *Нюрнбергской летописью*. Ее недвижность ободрила меня только отчасти, и, говоря по правде, я боялся, как бы она не вынула из сумочки орешки и вновь не стала бы швырять скорлупки мне в лицо.

Так я стоял с открытым ртом и опустивши руки, когда до слуха моего донесся голос г-жи де Габри.

— Вы, господин Бонар, рассматриваете вашу фею? — сказала мне хозяйка. — Ну как? Похожа?

Речь короткая, но пока я слушал, я успел определить, что эта фея — статуэтка из цветного воска, вылепленная еще неопытной рукой. Феномен, получивший таким путем рациональное истолкование, все же озадачивал меня. Как и благодаря кому получила дама *Летописи* материальное бытие? Вот что не терпелось мне узнать.

Обернувшись к г-же де Габри, я заметил, что она не одна. Юная девица в черном стояла рядом с нею. Глаза, нежно-серые, как небо Иль-де-Франса, выражали одновременно смышленость и наивность. Руки, немного хрупкие, заканчивались беспокойными кистями, тонкими, но красными, как подобает рукам девочек. Затянутая в мериносовое платье, она напоминала молодое деревце, а большой рот свидетельствовал о прямоте ее души. Не могу выразить, до какой степени эта девочка понравилась мне с первого же взгляда. Нельзя было назвать ее красивой, но ямочки на ее подбородке и щеках смеялись, и во всей ее наивной и угловатой фигуре было что-то хорошее и честное.

Мой взор переходил от статуэтки к девочке, и я увидел, как зарделась она румянцем, откровенным, густым, нахлынувшим волной.

— Так что же? — вновь спросила хозяйка, уже привыкшая к тому, что я рассеян и что меня надо переспрашивать по нескольку раз. — Это в самом деле та особа, которая для свиданья с вами влезла в окно, оставленное вами незатворенным? Она была весьма дерзка, а вы весьма неосторожны. Словом, узнаете ли вы ее?

— Да, это она, — ответил я. И здесь, на консоле, я вижу ее вновь такою, какою видел на столе в библиотеке.

— Если это так, — ответила г-жа де Габри, — то в таком сходстве повинны прежде всего вы, человек, по вашим словам, безо всякого воображенья, однако способный описывать сны живыми красками; потом я — тем, что удержала в памяти и сумела верно передать

ваш сон; наконец, и в особенности, мадемуазель Жанна, — тем, что она по моим точным указаниям вылепила из воска эту статуэтку.

Говоря так, г-жа де Габри взяла девушку за руку. Но Жанна высвободилась и побежала в парк.

Госпожа де Габри окликнула ее:

— Жанна! Можно ли быть такой дикаркой! Идите сюда, я вас пожурю!

Но все напрасно — беглянка скрылась за листвою. Г-жа де Габри села в единственное кресло, уцелевшее в разрушенной гостиной.

— Уверена, — сказала мне она, — что мой муж уже говорил вам о Жанне. Мы очень ее любим, она замечательная девочка. Скажите правду, как вы находите эту статуэтку?

Я отвечал, что сделана она с большим умом и вкусом, но автору ее недостает и навыка и школы; впрочем, я крайне тронут всем тем, что сумели вышить юные персты по канве рассказа такого простака, так блестяще изобразив сновиденье старого болтуна.

— Я спрашиваю вашего мнения об этом потому, что Жанна бедная сирота, — сказала г-жа де Габри. — Как вы думаете, сможет ли она зарабатывать немного денег такими статуэтками?

— Нет! — ответил я. — Да тут не о чем особенно жалеть. Она девушка, вы говорите, любящая и нежная, — я верю вам и верю ее лицу. В жизни художника бывают увлеченья, которые выводят и благородные души из границ умеренности и порядочности. Это юное создание вылеплено из любвеобильной глины. Выдавайте ее замуж.

— Но у нее нет приданого, — возразила г-жа де Габри.

Затем, слегка понизив голос, продолжала:

— Вам, господин Бонар, я могу сказать все. Отец этой девочки был известный финансист. Он ворочал большими делами. Ум у него был предприимчивый и обольстительный. Его нельзя назвать бесчестным человеком: обманывая других, он прежде всего обманывался сам. В этом, пожалуй, и заключалось наиболь-

шее его искусство. Мы находились с ним в близких отношениях. Он заворожил нас всех: мужа, дядю и моих кузенов. Крах его наступил внезапно. В этой беде погибло на три четверти и состояние дяди. Поль вам об этом говорил. Мы лично пострадали гораздо меньше, да у нас и нет детей!.. Отец Жанны умер вскоре после разорения, не оставив ровно ничего, — вот почему я говорю, что он был честным человеком. Имя его должно быть вам известно по газетам: Ноэль Александр. Жена его была очень мила и некогда, я думаю, была хорошенькой, только любила покрасоваться. Но, когда супруг ее разорился, она вела себя с достоинством и мужеством. Через год после его смерти умерла и она, оставив Жанну круглой сиротой. Из собственного состояния, довольно значительного, ей ничего не удалось спасти. Г-жа Ноэль Александр, в девицах Алье, была дочерью Ашия Алье из Невера.

— Дочь Клементины! — воскликнул я. — Умерла Клементина, умерла и дочь ее! Почти все человечество состоит из мертвецов: так ничтожно количество живущих в сравнении со множеством отживших. Что это за жизнь — короче памяти людской!

И мысленно я сотворил молитву:

«Клементина! Оттуда, где вы находитесь теперь, взгляните в сердце, с годами охладевшее, но от любви к вам когда-то полное кипучей крови, и скажите, не оживает ли оно при мысли о возможности любить то, что остается на земле от вас? Все преходяще, как были преходящи вы и ваша дочь; но жизнь бессмертна, — вот эту жизнь в ее бесконечно обновляющихся образах и надлежит любить.

Роясь в своих книгах, я был ребенком, который перебирает бабки. Жизнь моя напоследок ее дней приобретает новый смысл, интерес и оправданье. Я — дедушка. Внучка Клементины бедна. Я не хочу, чтобы кто-нибудь другой, кроме меня, заботился о ней и наделил ее приданым».

Заметив, что я плачу, г-жа де Габри тихонько удалилась.

IV

Париж, 16 апреля

Святой Дроктовей и первые аббаты Сен-Жермен-де-Пре уже лет сорок занимают мое внимание, но я не знаю, удастся ли мне написать историю их до того, как я приобщусь к ним. Я стар уже давно. В прошлом году один собрат мой по Академии жаловался при мне на мосту Искусств, как скучно стариться. «Но пока известно только это средство долго жить», — отвечал ему Сент-Бев. Я воспользовался этим средством и знаю ему цену. Горе не в том, что жизнь затягивается, а в том, что видишь, как все вокруг тебя уходит. Мать, жену, друзей, детей — эти божественные сокровища — природа и создает и разрушает с мрачным безразличием; в конечном счете оказывается, что мы любили, мы обнимали только тени. Но какие милые бывают среди них! Если бывает, что в жизни человека проскальзывает тенью живое существо, то у меня такою мимолетной тенью была девушка, которую я любил, когда и я был молод (хотя это кажется теперь невероятным). А все-таки воспоминанье об этой тени до сей поры есть лучшая реальность моей жизни.

В римских катакомбах на одном из христианских саркофагов начертано заклятье, страшный смысл которого я понял лишь со временем. Там говорится: «Если нечестивец осквернит эту могилу, пусть он переживет всех своих близких». Как археолог, я раскрывал гробницы, тревожил прах, чтобы собрать смешавшиеся с прахом обрывки тканей, металлические украшенья, геммы. Я делал это из любознательности ученого, далеко не чуждой благоговейного почтения. Да не постигнет меня никогда проклятье, начертанное на могиле мученика одним из первых апостольских учеников! Да и как оно могло бы поразить меня? Мне не приходится бояться пережить близких: пока здесь на земле есть люди, всегда найдутся среди них достойные любви.

Увы! Способность любить слабеет и теряется с годами, как и другие силы человеческого духа. Так учит опыт — вот что меня приводит в ужас. Разве я уверен, что не понес и сам такой великой утраты?

Разумеется, я и понес бы ее, когда б не эта счастливая встреча, вернувшая мне молодость. Поэты воспевают источник юности: он существует, он бьет из-под земли на каждом шагу. А люди проходят мимо, не вкушая из него!

Моя жизнь переставала быть полезной, но с той поры, как я нашел внучку Клементины, она приобрела вновь оправдание и смысл.

Сегодня я «набираюсь солнца», как говорят в Провансе, — набираюсь на террасе Люксембургского дворца *, у статуи Маргариты Наваррской. Солнце весеннее, пьянящее, как молодое вино. Сижу и размышляю. Из головы моей бьют мысли, как пена из бутылки пива. Они легки и забавляют меня своею искрометностью. Я мечтаю, — думается, что это позволительно старичку, который издал тридцать томов старинных текстов и двадцать шесть лет сотрудничал в «Вестнике ученых». Я чувствую удовлетворение, выполнив свой жизненный урок настолько хорошо, насколько это было для меня возможно, и до конца использовав посредственные способности, отпущенные мне природой. Мои старания оказались не совсем напрасны, и — в скромной доле — я содействовал тому возрожденью исторических работ, какое пребудет славой этого неугомонного века. Я несомненно попаду в число десяти—двенадцати ученых, раскрывших Франции древние памятники ее литературы. Обнародование мной поэтических произведений Готье де Куэнси * заложило основу здравой методологии и стало вехой. Только в суровом старческом успокоении я присуждаю себе эту заслуженную награду, и богу, который видит мою душу, известно, причастны ли хоть в малой доле гордость и тщеславие той оценке, какую я даю себе.

Но я устал, в глазах у меня мутится, рука дрожит, и свой прообраз я вижу в тех гомеровских стариках, которые но слабости держались вдалеке от боя * и, сидя на валах, стрекотали, подобно кузнечикам в траве.

Так протекали мои мысли, когда трое молодых людей шумно уселись по соседству от меня. Не знаю, приехал ли каждый из них в трех лодках, как обе-

зьяна в басне Лафонтена *, но верно то, что втроем они заняли двенадцать стульев. Я с удовольствием их наблюдал, — не потому, чтобы они представляли собою нечто из ряда вон выходящее, но в них я увидел то честное и жизнерадостное выраженье, какое присуще юности. То были студенты. В этом я убедился не столько по книгам в их руках, сколько по самому характеру их облика. Ибо все, кто занимается умственным трудом, узнают друг друга с первого же взгляда по какому-то признаку, общему им всем. Я очень люблю молодежь, и эти юноши мне нравились, несмотря на несколько вызывающие и диковатые манеры, поразительно напоминавшие мне время моего учения. Они, однако, не носили, как мы, длинных волос, ниспадавших на бархатные куртки; не разгуливали, как мы, с изображеньем черепа; не восклицали, как мы: «Проклятие и ад!» Одеты они были прилично, и ни в их костюмах, ни в речи не чувствовалось ни малейшего подражания средневековью. Следует добавить, что они не оставляли без внимания проходивших по террасе женщин и некоторым из них давали оценку в довольно ярких выражениях. Однако их суждения на эту тему не заходили так далеко, чтобы я был вынужден покинуть свое место. Впрочем, когда молодежь прилежна к занятиям, я не сержусь на ее шалости.

Один из них отпустил какую-то вольную шутку.

— Что это значит? — воскликнул с легким гасконским выговором самый низенький и самый черный из троих. — Это нам, физиологам, пристало заниматься живой материей. А вы, Жели, как все ваши собратья, архивисты-палеографы, живете только в прошлом, ну и занимайтесь вашими современницами — вот этими каменными женщинами!

И он указал пальцем на статуи женщин старой Франции, во всей своей белизне стоявшие полукругом под деревьями террасы. Эта шутка, сама по себе пустячная, все же довела до моего сведения, что тот, кого звали Жели, был студентом Архивной школы *. Из последующего разговора я узнал, что сосед его, блондин, бледный как тень, неговорливый и саркастичный, был его товарищем по школе и звался Бульмье. Жели и

будущий врач (желаю ему со временем стать им) разглагольствовали с большой фантазией и жаром. Поднявшись до умозрительных высот, они играли словами и говорили глупости, свойственные умным людям, — иными словами глупости ужасные. Нет нужды добавлять, что они изрекали самые чудовищные парадоксы. И в добрый час! Не люблю молодых людей чрезмерно рассудительных.

Студент-медик, посмотрев заглавие книги, бывшей в руках у Бульмье, сказал:

— Вот как! Читаешь Мишле?

— Да, я люблю романы, — серьезно ответил Бульмье.

Жели, выделявшийся своей красивой стройной фигурой, властной манерой и бойкой речью, взял книгу и, перелистав, сказал:

— Это Мишле в его последней манере, лучший Мишле. Нет больше повествований. Есть только гнев, восторги, эпилептический припадок из-за фактов, которые он не удостаивает излагать. Детские выкрики, капризы беременной женщины! Воздыхания и ни одной законченной фразы! Поразительно! — и он вернул книгу товарищу.

«Это дурачество занятно, — подумал я, — и не так уж бессмысленно, как может показаться. В последних писаниях нашего великого Мишле действительно есть некоторая взволнованность, я бы даже сказал — трепетность».

Но студент-провансалец начал утверждать, что история не что иное как упражнение в риторике, достойное всяческого презрения. По его мнению, единственной и настоящей историей является естественная история человека. Мишле был на правильном пути, когда рассказывал о фистуле Людовика XIV, но тут же опять въехал в старую колею.

Высказав эту основательную мысль, юный физиолог присоединился к группе проходивших мимо приятелей. Оба архивиста, редкие гости в этом саду, чересчур отдаленном от улицы Паради-о-Маре *, остались одни и повели беседу о своих занятиях. Жели, кончавший третий курс и готовивший диссертацию, тут же с юношеским восторгом изложил тему. По

правде говоря, тема показалась мне удачной, тем более что я и сам подумывал разработать в ближайшее же время ее существенную часть. Дело шло о Monasticon gallicanum [1]. Юный ученый (именую его так в виде предсказания) хотел дать объяснение ко всем доскам, гравированным в 1690 году для сочинения, которое Дом Жермен * отпечатал бы и сам, когда бы не помеха, неустранимая, непредвидимая и неизбежная для всех. Умирая, Дом Жермен все же оставил рукопись законченной, в полном порядке. Доведется ли мне сделать то же со своей? Но не в этом дело. Как я понял, г-н Жели намеревался посвятить археологическую заметку каждому аббатству, изображенному скромными граверами для Дом Жермена.

Друг спросил Жели, все ли рукописные и печатные источники по этому предмету ему известны? Тут я насторожился. Они сначала обсуждали подлинные документы и, должен признаться, делали это с достаточною методичностью, несмотря на множество нескладных каламбуров. Затем они дошли до современных критических работ.

— Читал ли ты заметку Куражо? * — спросил Бульмье.

«Хорошо», — подумал я.

— Да, — отвечал Жели, — работа добросовестная.

— А ты читал в «Историческом обозрении» статью Тамизе де Ларока? * — спросил Бульмье.

«Хорошо», — подумал я вторично.

— Да, — отвечал Жели, — и я нашел там ряд полезных указаний.

— А ты прочел «Обзор бенедиктинских аббатств в тысяча шестисотом году» Сильвестра Бонара?

«Хорошо», — подумал я в третий раз.

— Ей-богу, нет! — ответил Жели. — Да и не знаю, стану ли читать. Сильвестр Бонар — дурень.

Обернувшись, я заметил, что тень уже дошла до того места, где я сидел. Становилось свежо, и я почел нелепым получить ревматизм, слушая дерзости двух самонадеянных юнцов.

---

[1] Галльские монастыри (*лат.*).

«Ну, ну! — сказал себе я, поднимаясь. — Пусть этот болтливый птенчик напишет диссертацию и защитит ее. Он попадет к коллеге моему Кишра * или другому профессору, которые ему покажут, что он еще не оперился. Считаю его просто сквернословом. И на самом деле все сказанное им о Мишле, как подумаю сейчас об этом, несносно и переходит всякие границы. Так говорить о старом талантливом учителе! Это гадко!»

17 апреля

— Тереза, дайте мне новую шляпу, лучший сюртук и палку с серебряным набалдашником!

Но Тереза глуха, как куль с углем, и медлительна, как правосудие. Тому причиной ее годы. Хуже всего то, что она воображает, будто хорошо слышит и легка на ногу, и, гордясь шестидесятилетней честной службой в доме, обслуживает старика хозяина с самым бдительным деспотизмом.

Что я вам говорил!.. Вот и теперь она не хочет дать мне палку с серебряным набалдашником, опасаясь, как бы я ее не потерял. Правда, я довольно часто забываю зонты и трости в омнибусах и книжных лавках. Но сегодня я имею полное основание взять мою старинную трость с серебряным чеканным набалдашником, где изображен Дон-Кихот в тот момент, когда он, держа копье наперевес, стремится в бой с ветряными мельницами, а Санчо Панса, воздевая руки к небу, тщетно заклинает его остановиться. Эта палка — все, что получил я из наследства дяди, капитана Виктора, который при жизни больше походил на Дон-Кихота, чем на Санчо Пансу, и так же любил драки, как другие их боятся.

Уже тридцать лет ношу я эту палку при каждом знаменательном или торжественном выходе своем из дома, и две фигурки — господина и оруженосца — вдохновляют меня и подают советы. Мне чудится, я слышу их. Дон-Кихот мне говорит:

«Крепко размышляй о вещах великих и знай, что мысль — единственная реальность в мире. Возвышай природу до себя, и да будет для тебя вселенная лишь

отблеском твоей героической души. Бейся за честь; только это достойно мужчины; а если тебе случится получить раны, лей свою кровь, как благодатную росу, и улыбайся».

А Санчо Панса говорит мне так:

«Оставайся, приятель, тем, чем создал тебя всевышний. Предпочитай корку хлеба, лежащую в твоей суме, жареным овсянкам на кухне господина. Повинуйся хозяину, умному и безумному, и не забивай свои мозги вещами бесполезными. Бойся драк: искать опасности — значит искушать бога».

Но, если несравненный рыцарь и бесподобный оруженосец пребывают как образ на моей палке, — они существуют как действительность в глубинах моей души. Во всех нас есть и Дон-Кихот и Санчо Панса, и мы прислушиваемся к ним; но если даже нас убеждает Санчо Панса, то восхищаться должно только Дон-Кихотом... Однако довольно болтовни... Пойдем к г-же де Габри по делу, выходящему из круга обычной жизни.

Тот же день

Я застал г-жу де Габри уже одетой в черное и надевающей перчатки.

— Я готова, — сказала она.

«Готова», — такой я находил ее всегда для добрых дел.

Мы сошли с лестницы и сели в карету.

Не знаю, какое тайное наитие боялся я рассеять, прервав молчанье, но вдоль широких пустых бульваров мы ехали, не проронив ни слова, лишь глядя на кресты, надгробья и венки, ждущие у продавца своих могильных потребителей.

Карета остановилась у последних пределов земли живых, перед воротами, где начертаны слова надежды.

Мы шли по кипарисовой аллее, затем свернули на узкую дорожку, проложенную среди могил.

— Здесь, — сказала г-жа де Габри.

На фризе, украшенном опрокинутыми факелами, была вырезана надпись:

СЕМЬЯ АЛЬЕ И СЕМЬЯ АЛЕКСАНДР

Вход к памятнику замыкала решетка. В глубине, над алтарем, покрытым розами, высилась мраморная доска с именами, среди которых я прочел имя Клементины и дочери ее.

То, что я почувствовал при этом, было нечто глубокое и смутное, что выразимо только звуками прекрасной музыки. В старой душе моей я услыхал мелодию небесно-нежных инструментов. С величавой гармонией похоронного гимна мешались приглушенные звуки песнопения любви, ибо душа моя сливала в одно чувство и мрачную серьезность этой минуты и дорогую сердцу прелесть былого.

Покидая могилу, благоухающую розами, принесенными г-жой де Габри, мы прошли по кладбищу, ни слова не сказав друг другу. Когда мы снова очутились среди живых, язык мой развязался.

— Пока я шел вслед за вами по этим немым аллеям, — сказал я г-же де Габри, — я думал о тех ангелах, с которыми, по словам легенд, встречаются на таинственном рубеже жизни и смерти. Вы привели меня к могиле, неведомой мне, как почти все, что относилось к покоящейся там, среди своих родных; и вот ее могила вновь вызвала переживанья, единственные в моей жизни, а в этой тусклой жизни они — как одинокий свет среди дороги ночью: свет отдаляется тем больше, чем дальше от него уводит путь. На склоне жизни я нахожусь почти у конца спуска, и все же, обернувшись, каждый раз я вижу этот свет таким же ярким. Воспоминания теснятся в душе моей. Я — словно старый, мшистый и корявый дуб, что будит стайки певчих птиц, колебля свои ветви. К сожалению, песня моих птиц стара, как мир, и занимательна лишь для меня.

— Эта песня меня пленит, — сказала мне она. — Поделитесь же со мной воспоминаниями и расскажите мне все, как старой женщине: причесываясь сегодня утром, я нашла у себя три седых волоса.

— Встречайте появленье их без грусти, — ответил я, — время ласково лишь с теми, кто принимает его с лаской. И через много лет, когда ваши черные пряди подернутся налетом серебра, вы облечетесь новою

красой, не такой яркой, но более трогательной, чем первая, и вы увидите, что муж ваш будет любоваться этой сединой, как черным локоном, который он получил от вас в день свадьбы и носит в медальоне на груди своей, точно святыню. Эти бульвары широки и малолюдны. Здесь мы можем говорить спокойно, продолжая путь. Сначала я расскажу о своем знакомстве с отцом Клементины. Но не ждите ничего замечательного, ничего особенного, иначе вас постигнет большое разочарование.

Господин де Лесе жил на проспекте Обсерватории, в третьем этаже старинного дома, оштукатуренный фасад которого с античными бюстами и большой заросший сад явились первыми образами, запечатлевшимися в моих ребяческих глазах; и когда пробьет неизбежный час, то несомненно они последними мелькнут под отяжелевшими моими веками, ибо в этом доме я родился, а в этом саду, играя, научился чувствовать и познавать какие-то частицы нашей древней вселенной. Часы чарующие, часы святые, когда душа со всей своею свежестью обнаруживает мир, ради нее облекшийся ласкающим сияньем и таинственной прелестью. Ведь и на самом деле, сударыня, вселенная — лишь отблеск нашей души.

Матушка моя была созданием, весьма счастливо одаренным. Как птицы, она пробуждалась вместе с солнцем и походила на них своею домовитостью, родительским инстинктом, всегдашнею потребностью петь и какой-то резвой грацией, которую я очень чувствовал, хотя и был совсем дитя. Она являлась душою дома, наполняя его своей хозяйственной и радостною хлопотливостью. Если моя мать отличалась живым характером, то у отца, напротив, была вялая натура. Я вспоминаю безмятежное его лицо, где временами мелькала ироническая улыбка. Человек он был усталый и любил свою усталость. Сидя в большом кресле у окна, он читал с утра до вечера, и это от него унаследовал я любовь к книгам. У меня в библиотеке есть экземпляры Рейналя и Мабли *, испещренные от первой до последней страницы его пометками. Было совершенно безнадежно ожидать, чтобы он занялся чем-ни-

будь серьезно. Когда же матушка пыталась милыми уловками вывести его из состояния покоя, он качал головой с непреклонной кротостью, составляющей силу бесхарактерных людей. Он приводил в отчаянье бедную женщину, не способную проникнуться такою созерцательною мудростью и в жизни понимавшую лишь повседневные заботы и радость повсечасного труда. Она считала его больным и опасалась усиления болезни. Но причина его апатии была другая.

В тысяча восемьсот первом году отец мой, поступив в Морское управление при Декре *, выказал настоящий администраторский талант. В то время морской департамент развивал большую деятельность *, и мой отец с тысяча восемьсот пятого года стал начальником второго административного отдела. В этом году император, осведомленный министром об отце, потребовал от него доклад относительно организации английских морских сил. Эта работа, проникнутая, неведомо для министерского редактора, глубоко либеральным и философским духом, была закончена только в тысяча восемьсот седьмом году, приблизительно через полтора года после разгрома адмирала Вильнева при Трафальгаре. Со времени этого злосчастного дня Наполеон и слышать не хотел о кораблях; он гневно перелистал докладную записку и бросил ее в огонь, крикнув: «Слова! Слова! Слова!» Отцу передавали, будто император был так разгневан, что топтал сапогом рукопись в пылающем камине. Впрочем, такая у него была привычка в раздражении сгребать ногами жар, пока не опалит себе подошвы.

Отец мой так и не мог оправиться от этой немилости, а бесполезность всех его усилий сделать хорошее дело, конечно, и была причиной той апатии, в какую впал он позже. Наполеон, однако, по возвращении с острова Эльбы призвал его и поручил ему составление бюллетеней и прокламаций к флоту в патриотическом и либеральном духе. После Ватерлоо отец мой, скорее опечаленный, чем изумленный, остался в стороне, и его не беспокоили. Но общий приговор гласил, что он якобинец, кровопийца, один из тех людей, с которыми не знаются. Старший брат моей матери, Виктор

Мальдан, пехотный капитан, переведенный на половинный оклад в тысяча восемьсот четырнадцатом году, а в тысяча восемьсот пятнадцатом получивший чистую отставку, своим задорным поведением усугублял те неприятности, какие причинило отцу падение империи. Капитан Виктор кричал в кофейнях и на общественных балах, что Бурбоны продали Францию казакам, первому встречному показывал трехцветную кокарду *, спрятанную в шляпе за подкладкой, вызывающе ходил с палкой, точеный набалдашник которой отбрасывал тень в виде силуэта императора.

Если вы не видели, сударыня, некоторых литографий Шарле *, то не можете вообразить себе наружность дяди Виктора, когда он, стянутый по талии сюртуком, расшитым брандебурами, с воинским крестом и букетиком фиалок на груди, прогуливался нелюдимым франтом по Тюильрийскому саду.

Праздность и нетерпимость сообщили дурной тон политическим его пристрастиям. Он оскорблял людей, которых заставал за чтением «Котидьен» или «Белого знамени» *, и вынуждал их драться с ним на дуэли. Таким путем он ранил, себе на горе и бесчестье, шестнадцатилетнего мальчика. Словом, мой дядя Виктор — полная противоположность человеку здравомыслящему, а поскольку он каждый божий день являлся к нам завтракать и обедать, то его дурная слава переходила и на наш дом. Мой бедный отец жестоко страдал от выходок своего гостя, но, как человек добрый, не закрывал дверей для капитана, презиравшего его всем сердцем.

То, что я рассказываю вам, мне стало ясным много позже. Но тогда мой дядя-капитан вызывал во мне самый искренний восторг, и я давал себе слово походить на него в будущем возможно больше. Одним прекрасным утром я, чтобы положить начало сходству, подбоченился и стал ругаться, точно басурман. Моя чудесная мать дала мне оплеуху так проворно, что прежде чем заплакать, я некоторое время стоял ошеломленный. Вижу до сих пор старое, обитое желтым трипом кресло, за которым я лил в тот день бесчисленные слезы.

Я тогда был человечком совсем маленьким. Однажды утром отец, по своему обычаю, взяв меня на руки,

улыбнулся мне с тем ироническим оттенком, который придавал какое-то особое обаяние вечной его кротости. Пока я, сидя у него на коленях, играл его седыми волосами, он говорил мне о вещах, не очень мне понятных, но сильно занимавших меня именно своей таинственностью. Мне помнится, но, впрочем, без большой уверенности, что в это утро он мне рассказывал о короле Ивето, как о нем поется в песне *. Вдруг мы услышали громкий треск, и наши окна задребезжали. Отец спустил меня с колен; его дрожащие протянутые руки болтались в воздухе, лицо застыло, стало белым, глаза — огромными. Он попытался говорить, но зубы стучали друг о друга. Наконец он смог пробормотать: «Они его расстреляли!» Я не знал, о чем шла речь, и чувствовал какой-то смутный ужас. Позже я узнал, что говорил он о маршале Нее *, который пал седьмого декабря тысяча восемьсот пятнадцатого года у стены, окружавшей пустырь, смежный с нашим домом.

Около того же времени я на лестнице часто встречал старика (возможно, что он был и не очень стар); его маленькие черные глазки сверкали необычайно живо на смуглом неподвижном лице. Мне он казался неживым, или по крайней мере живущим иначе, нежели другие. У господина Денона *, куда водил меня отец, я видел мумию, привезенную из Египта; и я искренне воображал, что мумия Денона пробуждалась, когда была одна, выходила из своего золоченого ящика, надевала фрак орехового цвета, пудреный парик и становилась господином де Лесе. Даже и теперь, сударыня, отвергнув это мнение как неосновательное, должен признаться, что господин де Лесе сильно походил на мумию Денона. Этого достаточно, чтобы понять, какой фантастический ужас он мне внушал.

На самом деле господин де Лесе был мелкий дворянин и большой философ. Этот ученик Мабли и Руссо кичился отсутствием предубеждений, а такое притязание уже само по себе являлось большим предубеждением. Я говорю, сударыня, о современнике минувшего века. Боюсь, что не умею быть понятным вам, и уверен, что не могу вас заинтересовать. Все это так от нас да-

леко! Но я по возможности буду краток. Впрочем, ничего занимательного я не обещал, а ожидать великих приключений в жизни Сильвестра Бонара вы и не могли.

Госпожа де Габри просила меня продолжать, что я и сделал в следующих выражениях:

— Господин де Лесе был резок с мужчинами и учтив с дамами. Он целовал руку у моей матери, не приученной нравами республики и империи к такой любезности. Через него соприкоснулся я с эпохой Людовика Шестнадцатого. Господин де Лесе был географ, и, думаю, никто так не гордился тем, что занимается обликом нашей планеты. При старом режиме он принялся за земледелие по-философски и растратил на это свои поля — все, до единого арпана. Не имея больше ни клочка земли, он завладел всем земным шаром и, основываясь на сообщениях путешественников, составил великое множество карт. Вскормленный чистейшей сутью «Энциклопедии», он не ограничивался тем, что размещал людей на таком-то градусе, минутах и секундах широты и долготы. Он занялся — увы! — их счастьем. Следует заметить, что все люди, занимавшиеся счастьем народов, делали своих ближних весьма несчастными. Господин де Лесе был роялист-вольтерьянец, — порода довольно распространенная в те времена среди «бывших». Он был геометром больше д'Аламбера, философом больше Жан-Жака и роялистом больше Людовика Восемнадцатого. Но любовь его к королю была ничто в сравнении с его ненавистью к императору. Он участвовал в заговоре Жоржа, покушавшегося на жизнь первого консула; * следствие или не знало о нем, или пренебрегло им, но его не было в числе обвиняемых. Этой обиды он никогда не мог простить Наполеону; он звал его корсиканским людоедом и говорил, что никогда бы не доверил ему и одного полка, — настолько жалким воякой он его считал.

В тысяча восемьсот тринадцатом году господин де Лесе, давно вдовевший, женился, лет пятидесяти пяти, на очень молодой женщине, которую привлек к рисованию географических карт, но она, подарив его дочерью, умерла от родов. В кратковременный период ее

болезни за ней ходила моя мать; она же позаботилась о том, чтобы у ребенка было все необходимое. Ребенка нарекли Клементиной.

Это рождение и эта смерть положили начало знакомству моей семьи с господином де Лесе. Выйдя в то время из ребяческого возраста, я стал мрачен и отупел: я лишился пленительного дара чувствовать и видеть, события и вещи больше не увлекали меня своей манящей новизной, — а в этом и состоит очарованье детских лет. Вот почему и не осталось у меня воспоминаний о времени после рождения Клементины; знаю только, что немного месяцев спустя меня постигло такое горе, что мысль о нем еще теперь сжимает мое сердце. Я потерял мать. Великое молчание, великий холод и великий мрак вдруг завладели нашим домом.

Я впал в какое-то оцепененье. Отец отправил меня в лицей, и только там с большим трудом мне удалось выйти из нравственного столбняка.

В конце концов я оказался не совсем тупицей, и мои преподаватели выучили меня всему, чему хотели, иными словами, немного латинскому и греческому языкам. Я имел дело только с древними. Научился ценить Мильтиада * и восхищаться Фемистоклом *. Сдружился с Квинтом Фабием *, — разумеется, постольку, поскольку для меня была возможна дружба с таким великим консулом. Гордый этими высокими знакомствами, я больше не удостаивал взглядом маленькую Клементину и старого ее отца; к тому же они скоро уехали в Нормандию, причем я даже не соблаговолил поинтересоваться, вернутся ли они.

Однако же они вернулись, сударыня, они вернулись! Силы природы, небесные влияния, таинственные власти, ниспосылающие людям дар любви, вы знаете, как я увидел снова Клементину! Они вошли в наше печальное жилище. Господин де Лесе ходил уже без парика. Несмотря на лысину с косицами седых волос над багровыми висками, все говорило в нем о здоровой старости. Но кто это с ним под руку? Божественное, лучистое создание, озарившее своим присутствием нашу старую поблекшую гостиную, — ведь это же не видение, это Клементина! Говорю поистине: синие глаза ее, глаза,

как барвинок, мне показались чем-то сверхъестественным; и до сих пор я не могу себе представить, чтобы эти две живые драгоценности подверглись тяготам жизни и тленью смерти.

Она немного смутилась, здороваясь с моим отцом, которого не знала. Цвет лица у нее был розоватый, чуть приоткрытые губы улыбались, навевая мечты о бесконечности, — вероятно, потому, что ее улыбка не передавала никакой определенной мысли, а выражала только радость жизни и счастье быть прекрасной. Лицо под розовою шляпкой сияло, как драгоценность в раскрытом ларчике; на ней был кашемировый шарф поверх белого муслинового платья со сборками на талии, а из-под его подола виднелся носок ботинка цвета мордоре... Не улыбайтесь, сударыня, — это моды того времени; и я не знаю, есть ли в теперешних столько простоты, свежести и благонравной прелести.

Господин де Лесе сообщил нам, что навсегда возвращается в Париж, где намерен заняться выпуском исторического атласа, и охотно бы устроился в прежней своей квартире, если она не занята. Мой отец спросил мадемуазель де Лесе, довольна ли она возвращением в Париж. Она была довольна, ибо ее улыбка стала лучезарной. Улыбалась она и окнам, открытым в зеленый, залитый светом сад; улыбалась и бронзовому Марию, сидящему среди развалин Карфагена * над циферблатом наших часов в гостиной; улыбалась старым креслам, обитым желтым трипом, и бедному студенту, не смевшему поднять на нее глаза. С этого дня как я полюбил ее!

Но вот мы уже добрались до Севрской улицы, и скоро будут видны ваши окна. Я очень плохой рассказчик и потерпел бы неудачу, если бы, сверх чаяния, мне вздумалось писать роман. Я долго вас подготовлял к самому рассказу, но передам его лишь в нескольких словах, ибо существует известная утонченность, особое изящество души, — их может оскорбить старик, самоугодливо распространяясь о любовных чувствах, хотя бы самых чистых. Пройдемте еще несколько шагов по этому бульвару, окруженному монастырями с коло-

кольнями, и пока дойдем мы с вами до той вон — маленькой, рассказ мой будет уже кончен,

Господин де Лесе, узнав, что я кончаю Архивную школу, почел меня достойным сотрудничать в его историческом атласе. Требовалось в последовательном ряде карт установить то, что старик философ называл превратностями царств, начиная с Ноя и кончая Карлом Великим. Голова господина де Лесе являлась складом всех научных заблуждений восемнадцатого века относительно древних времен. В исторической науке я принадлежал к школе новаторов и был в том возрасте, когда плохо умеют притворяться. Присущее старику своеобразное понимание, или, вернее, непонимание варварских времен, его упорное желание видеть в глубокой древности честолюбивых государей, лицемерных и жадных прелатов, добродетельных граждан, философов-поэтов и других персонажей, существовавших только в романах Мармонтеля *, ужасно огорчали меня и первоначально вызывали с моей стороны всяческие возражения, несомненно весьма разумные, но совершенно бесполезные, а временами и опасные. Господин де Лесе был очень вспыльчив, а Клементина очень красива. В их обществе я проводил часы мучительные и сладостные. Я был влюблен. Я стал малодушен и скоро уступил всем его требованиям по поводу того исторического и политического облика, какой наша земля, носившая и Клементину, должна была иметь в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона *.

По мере того, как мы чертили карты, мадемуазель де Лесе раскрашивала их акварелью. Склонившись над столом, она двумя пальчиками держала кисть; тень от ресниц падала ей на щеку, окутывая полузакрытые глаза чарующею светотенью. Время от времени она поднимала голову, и тогда я видел ее чуть приоткрытый рот. В красоте ее была такая выразительность, что простое дыхание казалось у нее вздохом, а позы, самые обычные, погружали меня в глубокую задумчивость. Любуясь ею, я соглашался с господином де Лесе в том, что Юпитер деспотически царил в гористых областях Фессалии, а Орфей поступил неосторожно, вверяя духовенству преподавание философии. До сих пор

не знаю, был ли я малодушным, или был героем, когда делал эти уступки упрямому старику.

Мадемуазель де Лесе, надо сказать, не уделяла мне особого внимания. Такое равнодушие мне представлялось настолько справедливым и естественным, что я даже и не думал жаловаться; я страдал от этого, но сам того не сознавая. У меня была надежда: мы дошли только до первого ассирийского царства.

Каждый вечер господин де Лесе приходил к моему отцу пить кофе. Не знаю, что их связывало, ибо трудно встретить две натуры, до такой степени противоположные. Отец мой мало чему дивился и многое прощал. С годами он возненавидел всякие преувеличения. Своим мыслям он придавал множество оттенков и никогда не присоединялся к какому-либо мнению без всевозможных оговорок. Эти привычки осторожного ума выводили из себя старого дворянина, сухого и резкого; причем сдержанность противника нисколько не обезоруживала старика, совсем наоборот. Я чуял опасность. Этой опасностью был Бонапарт. Отец не питал к нему никакой нежности, но, послужив под его началом, не любил, когда его бранили, особенно к выгоде Бурбонам, за которыми он числил кровные обиды. Господин де Лесе, более чем когда-либо легитимист и вольтерьянец, возводил к Бонапарту начало всех зол, социальных, политических и религиозных. При таком положении вещей больше всего меня тревожил капитан Виктор. Мой грозный дядя после смерти своей сестры, умевшей сдерживать его, стал окончательно невыносим. Арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости *. Падение Карла Десятого придало дерзости старику бонапартисту, и он проделывал всякого рода вызывающие штуки. Наш дом, чересчур тихий для него, он посещал уже не так усердно. Но изредка, в часы обеда, он появлялся перед нами весь в цветах, как некий мавзолей. Садясь за стол, он по обыкновению ругался во все горло, а между кушаньями хвастался своими любовными успехами былого удальца. По окончании обеда он складывал салфетку епископскою митрой, выпивал полграфинчика водки и торопливо уходил, как человек, испуганный мыслью, что придется провести неко-

торое время без выпивки, с глазу на глаз со старым философом и молодым ученым. Я чувствовал, что если в один прекрасный день он встретится с господином де Лесе, то все пропало. Этот день настал!

На сей раз капитана было почти не видно под цветами; он до такой степени походил на памятник во славу подвигов империи, что хотелось надеть ему на каждую руку по венку из иммортелей. Он был необычайно доволен, и первой особой, осчастливленной его хорошим настроением, оказалась кухарка, которую он обнял за талию, когда она ставила на стол жаркое.

После обеда он отодвинул в сторону стоявший перед ним графинчик, сказав, что «прикончит» водку, когда подадут кофе. Я с трепетом спросил его, не угодно ли ему, чтобы кофе подали сейчас же. Дядя Виктор был очень недоверчив и совсем не глуп. Моя стремительность показалась ему подозрительной, ибо он как-то особенно глянул на меня и сказал:

— Терпение, племянничек! Не полковому мальчишке трубить отбой, черт побери! Вы, господин магистр, что-то очень торопитесь увидеть, есть ли у меня на сапогах шпоры.

Было ясно: капитан понял, что мне хотелось удалить его пораньше. Зная дядю, я был уверен, что он останется. Он и остался. В моей памяти запечатлелись малейшие обстоятельства этого вечера. Дядя был особенно весел. Одна мысль, что он здесь в тягость, поддерживала его прекрасное настроение. И, право же, он превосходным солдатским стилем рассказал какую-то историю о монашке, трубаче и пяти бутылках шамбертена, имевшую, вероятно, большой успех по гарнизонам, но рассказать ее вам я бы не решился, даже если бы и помнил. Когда мы перешли в гостиную, он указал на запущенную каминную решетку и со знанием дела объяснил нам употребление трепеля для полировки меди. О политике ни слова. Он берег силы. Среди развалин Карфагена пробило восемь ударов. Это был час господина де Лесе. Несколько минут спустя господин де Лесе с дочерью вошли в гостиную. Вечер начался как обычно. Клементина села за вышивание у лампы с абажуром, который оставлял в легкой тени ее кра-

сивую головку и сосредоточивал освещение на ее пальчиках, отчего они почти светились. Господин де Лесе, заговорив о комете, предсказанной астрономами, развил по этому поводу свои теории, которые при всей своей рискованности свидетельствовали об известной умственной культуре. Мой отец, имевший познания в астрономии, высказал ряд здравых мыслей, закончив своим вечным: «А, впрочем, как знать?» Я со своей стороны привел мнение нашего соседа из обсерватории — великого Араго *. Дядя Виктор утверждал, что кометы влияют на качество вин, в подтверждение чего рассказал одну веселую трактирную историю. Я был так доволен этим разговором, что с помощью недавно мной прочитанного изо всех сил старался поддержать его, пространно разбирая химический состав легких созвездий, которые рассеяны в небесном пространстве на миллиардах километров, но могли бы уместиться в одной бутылке. Отец, немного удивленный моим красноречием, поглядывал на меня с обычной благодушной иронией. Но нельзя же пребывать все время в небесах. Глядя на Клементину, я заговорил о комете из алмазов, которой я накануне любовался в витрине ювелира. На этот раз меня осенило невпопад.

— Племянник! — воскликнул капитан Виктор, — твоя комета ничто в сравнении с кометой, сверкавшей в волосах императрицы Жозефины, когда императрица приехала в Страсбург раздавать армии кресты.

— Эта маленькая Жозефина весьма любила украшения, — сказал господин де Лесе между двумя глотками кофе. — Я не корю ее за это: невзирая на легкомыслие, в ней было кое-что хорошее. Она ведь из Ташеров и оказала Буонапарте большую честь, выйдя за него замуж. Ташеры — не бог весть что, но Буонапарте — совсем ничто.

— Что вы хотите этим сказать, маркиз? — спросил капитан Виктор.

— Я не маркиз, — сухо ответил де Лесе. — А хочу сказать, что Буонапарте было бы весьма под стать жениться на одной из людоедок, описанных капитаном Куком * в своем «Путешествии», — голых, татуиро-

ванных, с кольцом в ноздрях, с наслаждением пожирающих гнилое человеческое мясо.

«Я это предвидел», — подумал я и в этой мучительной тревоге (о, жалкое человеческое сердце!) прежде всего отметил верность моего предвидения. Должен сказать, что капитан ответил в высоком стиле. Он подбоченился, окинул господина де Лесе пренебрежительным взглядом и произнес:

— Кроме Жозефины и Марии-Луизы, господин видам, у Наполеона была еще одна жена. Эту подругу его вы не знаете, а я видал ее вблизи, — на ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров, а на груди сверкает почетный крест: ей имя — Слава.

Господин де Лесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес:

— Ваш Буонапарте — потаскун.

Отец мой неторопливо встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину де Лесе:

— Каков бы ни был человек, умерший на острове святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой шурин трижды ранен под его орлами. Умоляю вас, милостивый государь и друг мой, впредь этого не забывать.

Что оказалось невозможным для выспренней и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца: оно повергло господина де Лесе в неистовую ярость.

— Я забыл, моя вина! — воскликнул он, бледный, стиснув зубы и с пеною у рта. — Селедочный бочонок всегда пахнет селедкой, и когда послужишь проходимцам...

При этих словах капитан схватил его за горло. Думаю, что он бы задушил его, не будь здесь дочери и не будь меня.

Отец мой, скрестивши руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов мне удалось разнять их. Господин де Лесе сделал знак дочери и вышел.

Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед.

— Мадемуазель, — сказал я, не помня себя и сжимая ее руку, — я люблю вас! Люблю!

На секунду она задержала мою руку в своей; рот ее чуть приоткрылся. Что собиралась она сказать? Но вдруг подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась, кивнув мне головой.

После этого я ее уже никогда больше не видел. Ее отец переехал к Пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина, Ашиля Алье.

Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой; мое существование, без больших радостей и без больших страданий, было довольно счастливо. Но с давних пор зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец: «Господи, ныне призови к себе раба твоего». Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить, при вашей помощи, остаток своих сил.

Последние слова я произнес в передней у де Габри я уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала:

— Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна.

— Ах, — воскликнул я. — Мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун.

Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением — такой наивности у старика она не ожидала.

Госпожа де Габри мне пояснила:

— Опекун Жанны Александр — господин Муш, нотариус в Леваллуа-Перэ. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, — он человек серьезный.

— Боже мой! С кем же, по-вашему, мне, в моем возрасте, сговариваться, как не с серьезными людьми?

Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря:

— С теми, кто похож на вас. А господии Муш далеко не из таких людей; он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пансион в районе Терн, где ей живется не очень хорошо.

Я поцеловал руку у г-жи де Габри, и мы расстались.

Со 2 по 5 мая

Опекуна Жанны, мэтра Муша, я повидал в его конторе: маленький, тощий и сухой; цвет лица пыльный, как его бумаги. Это — животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал мэтра Муша: у него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения; но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за мэтром Мушем: он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими.

Мэтр Муш счастлив, восхищен, — так он сказал мне, — моим участием к его питомице. Но он думает, что на земле живут не для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения, — так мало занимателен он сам. Он боится, что, доставляя его питомице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал г-жу де Габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях.

Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца (все исходящее от нотариуса Муша — узаконенного образца): в первый четверг каждого месяца посещать мадемуазель Жанну Александр в пансионе Префер, по улице Демур, в районе Терн.

В первый же четверг мая я направился к мадемуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характера мадемуазель Виргинии Префер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Оробелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодной приемной, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такою беспощадною старательностью, что я в унынии решил остаться у порога; но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными с т у л ь я м и, — и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.

На камине, в большой золоченой раме, стояла таблица с заголовком витиеватой «готикой»: *Почетная доска,* — но в числе многих имен, написанных на ней, я не имел удовольствия встретить имя Жанны Александр. Перечитав несколько раз имена учениц, заслуживших похвалу мадемуазель Префер, я забеспокоился, не слыша никаких шагов. В своих педагогических владеньях мадемуазель Префер, наверное, достигла бы абсолютной тишины небесных сфер, если бы не бесчисленные стаи воробьев, облюбовавших ее двор как место сбора, чтобы там чирикать сколько влезет. Приятно было слышать их. Но скажите на милость, как их увидеть сквозь матовые стекла? Приходилось ограничивать себя зрелищем приемной, украшенной по всем четырем стенам сверху донизу рисунками пансионерок. Здесь были хижины, цветы, весталки, капители, завитки и непомерная голова сабинского царя Тация, подписанная: «Этель Мутон».

Довольно долго я дивился той энергии, с какою выделила мадемуазель Мутон чащу бровей и свирепые очи древнего воителя, но вдруг слабый шорох, слабее шороха опавшего листка, скользящего по ветру, заставил меня обернуться. Правда, это был не опавший лист, а... мадемуазель Префер. Сложив руки, она скользила по зеркальной поверхности паркета, как некогда святые девы *Златой легенды* по хрустальной глади вод.

Но при других условиях мадемуазель Префер, я думаю, не вызвала бы у меня представления о девах, любезных душе мистика. Лицом она напомнила мне яблоко, хранившееся всю зиму на чердаке запасливой хозяйки. Накинутая на плечи пелерина с бахромой сама собой не представляла ничего особенного, но мадемуазель Префер ее носила так, словно то была священная одежда или знак отличия высоких должностей.

Я объяснил цель своего визита и вручил ей разрешение.

— Вы виделись с господином Мушем? — сказала она. — Он в добром здравии? Это такой почтенный человек, такой...

Она не кончила и устремила взор к потолку. Мой взор направился вслед и натолкнулся на бумажную спиральку в виде кружев, подвешенную на месте люстры и, по моим соображениям, предназначенную приманивать мух, а тем самым отвлекать их от золоченых рам почетной доски и зеркала.

— Встретившись с мадемуазель Александр у госпожи де Габри, — сказал я, — я имел возможность оценить прекрасный характер и живой ум этой девушки. Когда-то я был знаком с ее дедом и бабкой и склонен ту симпатию, какую внушали они мне, перенести и на нее.

Вместо ответа мадемуазель Префер, глубоко вздохнув, прижала к сердцу таинственную пелерину и снова углубилась в созерцание бумажной спирали.

Наконец она сказала:

— Если вы знали супругов Ноэль-Александр, то мне хочется думать, что вы, так же как я и господин Муш, горько сожалеете о безумных спекуляциях, которые довели их до разорения, а дочь — до нищеты.

При этих словах я подумал, что быть несчастным — великий грех и что его не прощают тем, кто долго был предметом зависти. Их падение и мстит за нас и льстит нам, а мы безжалостны.

Я признался наставнице со всею откровенностью, что совершенно чужд финансовым делам, и спросил, довольна ли она мадемуазель Александр.

— Это ребенок без узды! — воскликнула мадемуазель Префер.

И она приняла позу, указанную высшей школой верховой езды, изображая символически то положение, какое создает ей ученица, так трудно поддающаяся дрессировке; затем, вернувшись к чувствам более спокойным, продолжала:

— Девочка не глупа. Но не может заставить себя приобретать знания на основе нравственных принципов.

Что за странная особа эта мадемуазель Префер! Ходит она, не поднимая ног, а говорит, не двигая губами. Не задерживая своего внимания на этих особенностях, я ответил, что, конечно, принципы — вещь отличная, и в этом отношении я полагаюсь на ее просвещенность, но в конечном счете раз человек усвоил знание чего-либо, не все ли равно, каким путем он этого достиг.

Мадемуазель Префер тихо покачала головой. Затем, вздохнув, сказала:

— Ах, господин Бонар, люди, чуждые делу воспитания, имеют о нем весьма ложные понятия. Я верю, что говорят они с самыми добрыми намерениями, но они поступили бы лучше, гораздо лучше, когда бы положились в этом на компетентных лиц.

Я не упорствовал и спросил ее, могу ли я теперь же увидеть мадемуазель Александр.

Она рассматривала пелеринку, словно отыскивая в сплетеньях бахромы, как в книге для гаданий, нужный ей ответ, и, наконец, сказала:

— Мадемуазель Александр сейчас будет репетировать других. Здесь старшие учат младших. Это называется взаимным обучением... Но я бы очень сожалела, если бы вы обеспокоили себя напрасно. Я велю ее позвать. Разрешите только, для порядка, вписать ваше имя в книгу посетителей.

Она села к столу, раскрыла толстую тетрадь и, вытащив из-под пелерины письмо мэтра Муша, которое она туда засунула, начала писать, спросив:

— Бонар, одно «р», не правда ли? Простите, что останавливаюсь на этой подробности. Но мое мнение,

что у собственных имен своя орфография. Здесь пишут диктанты на имена собственные... имена исторические, разумеется.

Вписав ловкою рукою мое имя, она спросила, не может ли к нему прибавить какое-нибудь звание, вроде — бывший коммерсант, чиновник, рантье или что-либо подобное. В ее списке имелась графа для званий.

— Боже мой! Уж если вы, мадемуазель, хотите непременно заполнить эту графу, поставьте: академик.

Я видел перед собой все ту же пелеринку мадемуазель Префер, но той мадемуазель Префер, которая была в нее одета, вдруг не стало. Это была другая личность — приветливая, ласковая, милая, сияющая счастьем. Глаза ее улыбались, улыбались и морщинки на лице (в большом количестве), улыбался рот, но лишь одним углом. Она заговорила: голос был под стать ее виду — он сделался медовый:

— Так вы сказали, что наша милая Жанна очень умна? Я это сама заметила и горжусь тем, что наши мнения сошлись. Эта девица внушает мне поистине большой интерес. Правда, она немного резва, но у нее есть то, что я зову счастливым характером. Впрочем, извините, что я злоупотребляю вашим драгоценным временем.

Она позвонила, вошла служанка, больше прежнего растерянная и оробелая, и затем исчезла, получив распоряжение уведомить мадемуазель Александр, что г-н Бонар, академик, ждет ее в приемной.

Мадемуазель Префер едва успела мне признаться, что проникнута глубоким уважением ко всем без исключения постановлениям Академии, как вошла Жанна, — запыхавшись, красная, словно пион, широко раскрыв глаза и болтая руками, — очаровательная в своей наивной угловатости.

— В каком вы виде, милое дитя! — с материнской нежностью посетовала мадемуазель Префер, оправляя ей воротничок.

Действительно, вид у Жанны был довольно чудной. Волосы, зачесанные назад, выбивались из-под сетки; худые руки, запрятанные до локтей в люстриновые

рукава, красные, обмороженные кисти рук, видимо стеснявшие ее; чересчур короткое платье, не закрывавшее слишком широких чулок и стоптанных ботинок; веревочка для прыганья, завязанная вместо пояса вокруг талии, — все это делало Жанну девицей мало представительной.

— Баловница! — вздохнула мадемуазель Префер, на этот раз приняв вид уже не матери, а старшей сестры.

Затем она исчезла, скользя по паркету, точно призрак.

Я обратился к Жанне:

— Сядьте, Жанна, и поговорите со мной как с другом. Вам здесь не нравится?

Она замялась, потом с покорной улыбкой ответила:

— Не очень.

Держа в руках концы веревочки, она молчала.

Я спросил ее, неужели она, такая большая, все еще прыгает через веревочку.

— О нет! — торопливо ответила она. — Когда служанка сказала, что меня ждет какой-то господин, я учила малышей прыгать. А веревочку я обвязала вокруг талии, чтобы не потерять. Это неприлично. Извините меня, пожалуйста. Но я так не привыкла принимать посетителей!

— Боже праведный! Почему ваша веревочка могла бы оскорбить меня? Монахини ордена святой Клары подпоясывались веревкой, а это были святые девы.

— Вы очень добры, что пришли меня проведать и говорите со мною так. Я забыла поблагодарить вас, когда вошла, но я уж очень была удивлена. Давно ли вы видели мадам де Габри? Будьте так добры, расскажите мне о ней.

— Госпожа де Габри здорова, — ответил я. — Она в своем прекрасном люзанском имении. Могу о ней сказать вам, Жанна, то, что отвечал старый садовник, когда справлялись у него о владелице замка, его хозяйке: «Барыня на своем пути». Да, госпожа де Габри на своем пути. Вы, Жанна, знаете, насколько этот путь хорош и каким ровным шагом она идет по нему. Недавно, до отъезда ее в Люзанс, я был с ней далеко, очень

далеко, и говорили мы о вас. Мы говорили о вас, дитя мое, на могиле вашей матери.

— Мне очень приятно, — сказала Жанна.

И она заплакала.

Я не мешал девичьим слезам из уваженья к ним. Затем, пока она вытирала себе глаза, я попросил рассказать, как ей живется в этом доме.

Я узнал, что она одновременно и ученица и наставница.

— И вам приказывают, и вы приказываете. Такое положение вещей встречается нередко в жизни. Претерпите его, дитя мое.

Но из ее слов я понял, что ни ее не учили, ни она не учила, а на ее обязанности лежало одевать детей младшего класса, умывать их, учить благоприличию, азбуке, шитью, устраивать им игры и после молитвы укладывать их спать.

— Ах, вот что мадемуазель Префер называет взаимным обученьем! — воскликнул я. — Не могу скрыть от вас, Жанна, что мадемуазель Префер мне совсем не нравится, — хотелось бы, чтобы она была добрее.

— О! Она такая же, как большинство людей, — ответила Жанна. — Хороша с теми, кого любит, и плоха с теми, кого не любит. Но меня-то, думается, она не очень любит.

— А господин Муш? Что он собою представляет, Жанна?

Она поспешно ответила:

— Умоляю, не говорите со мной о нем. Умоляю.

Я внял этой горячей, почти строгой просьбе и переменил тему разговора.

— Вы продолжаете и здесь лепить из воска? Я не забыл феи, которая так поразила меня в Люзансе.

— У меня нет воска, — ответила она, уронив руки.

— Нет воска в пчелином царстве! — воскликнул я. — Я принесу вам воска всех цветов, прозрачного, как драгоценные камни.

— Благодарю вас, сударь, но не делайте этого. Здесь у меня нет времени лепить куклы. Правда, я начала маленького святого Георгия для госпожи де

Габри, совсем маленького, в золоченом панцире; но малыши приняли его за куклу, стали им играть я разломали на кусочки.

Она вынула из кармана передника фигурку с вывороченными руками и ногами, которые едва держались на проволочном каркасе. Это зрелище и веселило и печалило ее; веселость взяла верх, и Жанна улыбнулась, однако ее улыбка вдруг замерла.

В дверях приемной с любезным видом стояла мадемуазель Префер.

— Милая деточка! — вздохнув, произнесла нежным тоном начальница пансиона. — Боюсь, что она вас утомляет. Кроме того, минуты ваши драгоценны.

Я попросил ее отбросить эту иллюзию и, встав, чтобы проститься, вынул из карманов несколько плиток шоколада и другие сласти, принесенные с собой.

— О, — воскликнула Жанна, — тут хватит на весь пансион!

Дама в пелерине вмешалась.

— Мадемуазель Александр, поблагодарите же господина Бонара за его щедрость.

Жанна довольно угрюмо посмотрела на нее, затем, обернувшись ко мне, сказала:

— Благодарю вас, господин Бонар, за лакомства, а в особенности за то, что вы были так добры и навестили меня.

— Жанна, — сказал я, пожимая ей обе ручки, — оставайтесь хорошей девочкой и не падайте духом. До свиданья!

Уходя с пакетиками печенья и шоколадом, она нечаянно стукнула ручками скакалки о спинку стула. Возмущенная мадемуазель Префер прижала под пелеринкой обе руки к сердцу, и я уже готовился увидеть, как отлетит ее схоластическая душа.

Когда мы остались одни, к ней вернулось ясное спокойствие, и должен сказать, не льстя себе, что она мне улыбнулась широкою улыбкой.

— Мадемуазель, — сказал я, пользуясь ее добрым настроением, — я заметил, что Жанна Александр несколько бледна. Вы лучше меня знаете, сколь бережного, внимательного отношения требует переходный

возраст, в каком она находится. Я бы вас обидел, если бы стал поручать ее вашим заботам более настойчиво.

Эти слова, казалось, восхитили ее. Она самозабвенно уставилась в спираль на потолке и, молитвенно сложив руки, воскликнула:

— Как великие люди умеют снисходить до самых мелочей!

Я ей заметил, что здоровье девушки — не мелочь, и откланялся. Но она меня остановила на пороге и доверительно сообщила:

— Простите мою слабость. Я женщина — и тщеславна. Не могу скрыть от вас, какою честью считаю для себя присутствие члена Академии в моем скромном учебном заведении.

Я простил слабость мадемуазель Префер и, в эгоистическом ослеплении, думая только о Жанне, всю дорогу задавал себе вопрос: «Как нам быть с этим ребенком?»

2 июня

Сегодня я проводил на Марнское кладбище своего старинного и уже дряхлого коллегу, согласившегося умереть, как говорил Гете. Великий Гете, отличаясь необычайной жизненной силой, был убежден, что умирают лишь тогда, когда этого хотят, — то есть когда силы, сопротивляющиеся конечному распаду, совокупность которых и есть жизнь, оказываются разрушенными все до единой. Другими словами, он думал, что умирают тогда, когда уже не могут больше жить. Прекрасно! Дело только во взаимном понимании, и превосходная мысль Гете, если в нее вникнуть, сведется к песенке о Ля Палисе *.

Итак, мой славный коллега согласился умереть благодаря убедительности двух или трех апоплексических ударов, из коих последний не вызвал никаких возражений. При его жизни я мало с ним общался, но, видимо, когда его не стало, я оказался его другом, ибо наши коллеги с проникновенными лицами и веско заявили мне, что я должен держать шнур покрова и говорить речь на могиле.

Очень плохо прочтя маленькую речь, написанную мной насколько можно лучше, — что еще не значит хорошо, — я отправился гулять по рощам Виль-д'Авре, и, даже не очень крепко опираясь на палку капитана, шел по затененной деревьями тропинке, куда дневной свет падал золотыми дисками. Никогда еще запах травы и влажных листьев, никогда еще красота неба и могучее спокойствие деревьев не волновали так глубоко моих чувств, всей души, и среди этой тишины, звеневшей каким-то непрестанным тонким звоном, я ощущал томление и чувственное и благочестивое.

Я сел под купой молодых дубков. И здесь я дал себе обет не умирать, или по крайней мере не соглашаться умирать раньше, чем вновь не посижу под дубом, среди деревенского покоя и простора, где стану размышлять о природе души и о конечных целях человека. Пчела с коричневым тельцем, сверкавшим на солнце, как темно-золотой доспех, уселась на сумрачно-великолепный цветок мальвы, широко раскрывшийся на пушистом стебельке. Разумеется, столь обычное зрелище я видел не впервые, но в первый раз я наблюдал его с такою благожелательной и сочувственной любознательностью. Я приметил, что между насекомым и цветком существует полная взаимосклонность и множество замысловатых отношений, каких до сей поры я даже не предполагал.

Пчела, напившись нектара, опять куда-то устремилась смелым лётом. Я с трудом поднялся и размял ноги.

— Прощайте! — сказал я пчелке и цветку. — Прощайте! О, если бы я мог еще пожить, чтобы проникнуть в тайну ваших гармоничных отношений. Я очень утомлен. Но человек так создан, что отдыхает от одной работы, лишь взявшись за другую. Цветы и насекомые, коль будет на то божья воля, дадут мне отдохнуть от филологии и дипломатики. Сколько мудрости в древнем мифе об Антее. Я коснулся земли — и я стал новым человеком, и в шестьдесят восемь лет желанья новых знаний рождаются в моей душе, как на дуплистом кряже старой ивы пушатся новые побеги.

4 июня

В такие нежно-серые утра, окутывающие все предметы какой-то бесконечной прелестью, я люблю смотреть из своего окна на Сену и ее набережные. Я видал лазурное небо, в светозарной ясности раскинувшееся над Неаполитанским заливом. Но наше небо, небо Парижа, — более оживлено, благожелательно и одухотворено: как человеческий взгляд, оно то улыбается, то угрожает, то ласкает, то становится грустным, то веселым. Сейчас оно льет мягкий свет и на людей и на животных, свершающих в Париже свой каждодневный трудовой урок. Вдали, на противоположном берегу, грузчики у пристани святого Николая выгружают бычьи рога, а подносчики, выстроясь в ряд на сходнях, непринужденно перебрасывают с рук на руки сахарные головы до трюма парохода. На северной набережной извозчичьи лошади вытянулись линией в тени платанов и, уткнувшись мордами в торбочки, спокойно жуют овес, пока их краснолицые кучера пропускают стаканчик у стойки виноторговца, высматривая утреннего седока.

Букинисты выносят свои ящики на парапет. Эти славные торговцы духовной пищей, все время живущие на воле, в развевающихся по ветру блузах, так хорошо обработаны воздухом, дождями, заморозками, туманами, снегами и палящим солнцем, что стали похожи на старинные соборные статуи. Все они — мои друзья, и, проходя мимо их ящиков, я не премину вытащить оттуда книжку, какой у меня не было, хоть я и не подозревал, что ее мне не хватает.

Возвратившись домой, я слышу крики Терезы, обвиняющей меня в том, что я всё рву карманы, а дом набиваю старой бумагой и привлекаю этим крыс. На этот счет Тереза рассудительна; и именно потому, что она рассудительна, я не слушаюсь, ибо, несмотря на свой спокойный вид, всегда предпочитал безрассудство страстей мудрости бесстрастия. Но поскольку мои страсти не из числа тех, какие вспыхивают, опустошают и убивают, толпа не видит их. А все-таки они меня обуревают, и не раз случалось, что из-за нескольких страниц, написанных неведомым монахом или отпечатан-

ных скромным учеником Петера Шефера *, я терял сон. И если это благородное горение во мне угасает, то лишь потому, что и сам я мало-помалу угасаю. Наши страсти — это мы. Мои старинные книги — это я. Я стар и ссохся, как они.

Легкий ветерок метет вместе с уличной пылью крылатые семена платанов и былинки сена, избежавшие лошадиного рта. Эта пыль — пустяк, конечно, но, видя, как она клубится, я вспоминаю, что в детстве смотрел на вихри такой же пыли, — и душа старого парижанина взволнована. Все то, что открывается передо мной из моего окна: слева — горизонт, доходящий до холмов Шайо, благодаря чему я вижу Триумфальную арку словно каменную глыбу, и Сену — реку славы, и ее мосты, и липы на террасе Тюильри, и расчеканенный, как драгоценность, Лувр эпохи Ренессанса, а справа, к Новому мосту (Pons Lutetiae Novus dictus, как читаешь на старых гравюрах) — древний и глубокочтимый Париж с его шпилями, башнями, — все это моя жизнь, это я сам; и я был бы ничем без всех этих вещей, что отражаются во мне тысячью оттенков моей мысли, животворят меня и вдохновляют. Вот почему я люблю Париж любовью безграничной.

А все-таки я утомлен и чувствую, что отдых невозможен в этом городе, который столько думает, научил думать и меня и постоянно заставляет думать. Как не волноваться среди всех этих книг, раз они будят и утомляют любознательность, не давая ей удовлетворенья? То надо разыскать какую-нибудь дату, то установить точное местонахождение какого-нибудь селения или узнать, что в сущности обозначает такой-то очень интересный старинный термин. Слова?.. Ну да! Слова. Я филолог и, следовательно, их владыка; а они — мои подданные; и, как хороший государь, я отдаю им свою жизнь. Но разве мне нельзя когда-нибудь отречься? Мне видится, что где-то, далеко отсюда, на опушке леса, стоит домик, где я найду необходимый мне покой до той поры, когда я буду объят иным покоем, более великим и на сей раз непреложным. Я мечтаю о скамейке у порога и о полях, полях — куда ни глянет глаз. Но хорошо, если бы там, рядом со мной, мне улыбалось

свеженькое личико, отражая и сосредоточивая в себе всю окружающую свежесть; я буду думать, что я дедушка, и пустота в моей жизни заполнится.

Я человек не злой, однако раздражаюсь я легко, и все мои работы доставляли мне не меньше огорчений, чем радостей. Не знаю, как случилось, но в это время я подумал о той весьма неосновательной и не стоящей внимания дерзости, какую допустил по отношению ко мне три месяца тому назад мой юный друг в Люксембургском саду. Я называю его другом не иронически, ибо люблю прилежную молодежь со всеми ее заблуждениями и дерзновеньями. Но все же юный друг мой преступил границы. Великий учитель Амбруаз Парэ *, заставший хирургию в руках цирюльников и шарлатанов, первый начал перевязывать артерии и поднял хирургию до современной высоты, но в старости подвергся нападкам всех лекарских учеников, едва умевших держать ланцет. Оскорбительно вызванный к ответу молодым ветрeником, который, возможно, был прекрасным сыном, но не умел уважать других, старый учитель ответил юноше в своем трактате «О мумии, о единороге, о ядах и чуме». «Прошу его, — сказал великий ученый, — прошу, если у него имеются какие-либо возражения на мой ответ, пусть он отбросит злобу и мягче поступает с добрым стариком». Этот ответ, вышедший из-под пера Амбруаза Парэ, изумителен; но, исходи он от деревенского костоправа, поседевшего в работе и осмеянного каким-нибудь юнцом, ответ такого рода тоже был бы достоин похвалы.

Могут подумать, что я припомнил это только по мелкому злопамятству. Я сам подумал так и осудил себя за то, что привязался к мнению юнца, не отдающего себе отчета в своих словах. Но, к счастью, размышления мои на эту тему приняли иное направление, — и только из-за этого я и заношу их в свою тетрадь. Мне вспомнилось, как в том же Люксембургском саду я, на двадцатом году жизни (тому почти полвека), гулял с несколькими товарищами. Мы говорили о наших старых учителях, и кто-то случайно упомянул Пти-Раделя *, почтенного ученого, который впервые бросил некоторый свет на происхождение этрусков,

но имел несчастье составить хронологическую таблицу любовников Елены. Таблица эта нас очень насмешила, и я воскликнул: «Пти-Радель дурак не в пяти буквах, а в двенадцати томах».

Такого рода юношеские речи слишком легковесны, чтобы тяготить совесть старика. О, если бы и в битве жизни мне было суждено пускать лишь столь же невинные стрелы. Но сегодня я задаю себе вопрос: что, если и я за время своей жизни совершил, сам того не подозревая, нечто такое же смешное, как хронологическая таблица любовников Елены? Вследствие прогресса знаний становятся ненужными те самые работы, которые больше всего способствовали этому прогрессу. Поскольку эти работы уже не приносят явной пользы, молодежь искренне думает, что они никогда ничем и не были полезны, она пренебрегает ими; и стоит ей найти в них слишком устарелую идею, чтобы она осмеяла всё. Вот почему я в двадцать лет подтрунивал над Пти-Раделем и его таблицей любовной хронологии; вот почему вчера в Люксембургском саду мой юный и непочтительный друг...

Октавий, рассуди, уместен ли твой ропот:
За что щадить того, кто беспощаден сам! *

6 июня

Был первый четверг июня. Я закрыл книги и распростился со святым аббатом Дроктовеем, полагая, что он вкушает райское блаженство и не особенно торопится увидеть свое имя и подвиги прославленными здесь, на земле, в скромной компиляции, вышедшей из-под моего пера. Сказать ли?.. Мальва и посетившая ее пчела, замеченные мной на прошлой неделе, влекут меня сильнее, чем все старинные митрофорные аббаты. Еще сегодня Тереза изловила меня на том, что я рассматриваю в лупу цветы левкоев, стоявших на кухонном окне. В книге Шпренгеля *, прочитанной мною в дни ранней юности, когда я читал всё без разбору, есть несколько соображений о любви цветов; и вот теперь, после полувекового забвенья, они приходят мне на ум, пробуждая во мне такую любознательность, что я с

грустью думаю, зачем не посвятил скромных своих способностей изучению насекомых и растений.

Так размышлял я, отыскивая галстук. Но, тщетно перерыв множество ящиков, я призвал на помощь Терезу. Она явилась, ковыляя.

— Сударь, надо было сказать мне, что вы уходите, я бы и подала вам галстук.

— А не лучше ли, Тереза, класть его в такое место, где бы я мог его найти без вашей помощи?

Тереза не удостоила меня ответом.

Тереза не оставляет больше ничего в моем распоряжении. Чтобы получить носовой платок, я должен обращаться к ней, а поскольку она глуха, немощна и сверх того совсем теряет память, я изнываю от этих постоянных недостач. И в то же время она злоупотребляет своей домашней властью с такой невозмутимой гордостью, что у меня не хватает мужества совершить государственный переворот против правительницы моих шкафов.

— Галстук, Тереза! Слышите вы? Галстук! А если вы доведете меня до отчаяния еще новой проволочкой, то мне понадобится не галстук, а веревка, чтобы повеситься.

— Значит, вы очень торопитесь? Вашему галстуку деваться некуда. У нас ничто не пропадает, потому как я слежу за всем. Только дайте время его найти.

«Так вот результат полувековой преданности! — подумал я. — Ах, если бы неумолимая Тереза, на мое счастье, хотя бы раз, один раз в жизни, нарушила свои служебные обязанности, если бы хоть на минуту провинилась — она не забрала бы такой неколебимой власти надо мною, и я бы смел по крайней мере ей противиться. А можно ли противиться добродетели? Страшны люди, не имеющие слабостей: к ним не подступишься. Вот вам Тереза: ее не на чем поймать, ни одного порока. У нее нет сомнения ни в самой себе, ни в боге, ни в окружающем. Это крепкая женщина, евангельская мудрая дева, и если она неведома людям, то хорошо знакома мне. Она мне представляется держащей лампу — простую лампу, какая светит под балкой деревенской крыши, и эта лампа не угаснет ни-

когда в ее протянутой руке, — тощей, крепкой, искривленной, как виноградная лоза».

— Тереза, галстук! Несчастная, разве вы не знаете — сегодня первый четверг июня, и меня ждет мадемуазель Жанна. Хозяйка пансиона, конечно, приказала натереть в приемной пол; я уверен, что сейчас в него можно смотреться, и когда я там переломаю себе кости, а этого не миновать, — то я стану развлекаться, рассматривая в нем, как в зеркале, свой грустный лик; но, взяв за образец милого и удивительного героя, изображенного чеканью на палке дяди Виктора, я постараюсь явить душу стойкую и лицо веселое. Полюбуйтесь этим ярким солнцем. Оно позолотило набережные, и Сена улыбается в сиянии бесчисленных морщин. Город в золоте; желтоватая пыль колышется над строем его прекрасных контуров, как будто волосы на голове... Тереза, галстук!.. О! Сегодня я понимаю чудака Кризаля, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха *. Я последую его примеру и впредь буду класть галстуки между листами Acta Sanctorum [1].

Тереза не препятствовала мне говорить и молча искала галстук. Я услыхал, что кто-то тихо позвонил к нам.

— Тереза, звонят! Дайте галстук и ступайте открывать. Или идите лучше открывать, а галстук, с божьей помощью, дадите мне потом. Но только, пожалуйста, не стойте между дверью и комодом, как, извините за выражение, иноходец между двумя седлами.

Тереза пошла к двери, словно на врага. Моя замечательная домоправительница стала весьма негостеприимна. Всякий чужой ей подозрителен. Ее послушать, так это настроение основано на долгом житейском опыте. У меня не оказалось времени сообразить, даст ли тот же самый опыт, но произведенный другим исследователем, такой же результат. В кабинете меня ждал мэтр Муш.

Мэтр Муш еще желтее, чем я думал. У него синие очки, и глаза бегают за ними, как мыши за ширмами.

---

[1] Деяния святых (*лат.*).

Мэтр Муш извиняется за беспокойство в момент... Он не дает определения моменту, но, думается, он хотел сказать — когда я без галстука; не по моей вине, как вам известно. Впрочем, мэтр Муш, хотя об этом и не знает, видимо нисколько не обижен. Он только боится, что навязчив. Я успокаиваю его лишь отчасти. Он говорит, что явился побеседовать со мной в качестве опекуна мадемуазель Александр, Для начала он предложил мне не считаться с теми ограничениями, какие раньше он находил нужным внести в данное нам разрешенье посещать мадемуазель Жанну в пансионе. Отныне заведение мадемуазель Префер будет для меня открыто ежедневно с двенадцати до четырех. Ввиду внимания, какое я уделяю его питомице, он считает своим долгом познакомить меня с особой, которой она вверена. Мадемуазель Префер он знает уже давно и доверяет ей вполне. По его словам, мадемуазель Префер женщина просвещенная, благонамеренная и благонравная.

— У мадемуазель Префер есть принципы, — сказал он мне, — а это редко в наше время. Теперь все изменилось, и наша эпоха хуже предыдущих.

— Тому порукой моя лестница, — ответил я: — двадцать лет тому назад она была такой, что я всходил по ней совершенно беспрепятственно, а теперь я задыхаюсь, и у меня подкашиваются ноги на первых же ступеньках. Она испортилась. Точно так же как книги и журналы: некогда без труда проглатывал их при лунном свете, а ныне при самом ярком солнце они смеются над моей любознательностью и представляются какой-то черно-белой рябью, когда я без очков. Подагра донимает мои руки и ноги. Все это — злые проделки времени.

— Не только это, — серьезно продолжил мэтр Муш, — настоящее зло нашей эпохи состоит в том, что решительно никто не доволен своим положением. В обществе сверху донизу, во всех классах, господствует болезненная, беспокойная жажда благосостояния.

— Боже мой! Неужели вы думаете, что жажда благосостояния — это знамение нашего времени? Ни в одну эпоху люди не имели охоты к плохой жизни. Они всегда

стремились улучшить свое положение. Это постоянное усилие вело к постоянным революциям. Оно продолжается, только и всего!

— Ах, господин Бонар, сразу заметно, что вы живете среди книг, вдали от деловой жизни! — ответил мэтр Муш. — Вы не видите, как я, столкновений интересов, борьбы из-за денег. От мала до велика, во всех кипит одно и то же. Все отдались необузданному стяжательству. То, что я вижу, приводит меня в ужас.

Я спрашивал себя, неужели мэтр Муш пришел ко мне нарочно для изложения своей добродетельной мизантропии, но из его уст я услыхал и более утешительные речи. Мэтр Муш изобразил мне Виргинию Префер как личность достойную почтения, уважения, симпатии, преисполненную чести, способную на преданность, образованную, скромную, целомудренную, умеющую читать вслух и класть вытяжной пластырь. Я понял, что мрачную картину всеобщего растления он рисовал лишь для контраста, с целью выделить добро¬детели учительницы. Мне было сообщено, что заведение на улице Демур в большом спросе, доходно и пользуется общим уважением. Подтверждая свои слова, мэтр Муш простер руку в черной шерстяной перчатке. Затем добавил:

— Благодаря моей профессии у меня есть возможность знать свет близко. Каждый нотариус — немного духовник. Я счел своим долгом, господин Бонар, доставить вам эти благоприятные сведения в тот момент, когда счастливый случай свел вас с мадемуазель Префер. Прибавлю только одно: эта особа, абсолютно не осведомленная о моем визите к вам, недавно говорила мне о вас с глубокой симпатией. Повторив ее слова, я бы ослабил их, да и не мог бы передать их, не обманывая, так сказать, доверия мадемуазель Префер.

— Не обманывайте, сударь, не обманывайте, — ответил я. — По правде говоря, я и не подозревал, что мадемуазель Префер хоть сколько-нибудь меня знает. Во всяком случае, раз вы имеете по старой дружбе на нее влиянье, я воспользуюсь вашим расположением ко мне и попрошу вас походатайствовать перед вашим другом за мадемуазель Жанну Александр. Этот

ребенок, — а она действительно ребенок, — перегружен работой. В одно и то же время она и ученица и наставница, а потому сильно утомляется. Кроме того, боюсь, что ей дают слишком чувствовать ее бедность, она же натура благородная, и унижения могут довести ее до открытого противодействия.

— Увы! Необходимо подготовить ее к жизни, — ответил мэтр Муш. — На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям.

— На земле существуют, чтобы любить добро и красоту и давать волю всем своим желаньям, если они благородны, великодушны и разумны, — горячо возразил я. — Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть.

Мне почудилось, что мэтр Муш расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно:

— Подумайте о том, господин Бонар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно, имея в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником и дочь его воспитывается почти из милости...

— О! господин Муш! — воскликнул я. — Вот этого не надо говорить. Говорить так — значит самому вознаграждать себя, а это было бы уже неправильно.

— Пассив наследства, — продолжал нотариус, — превосходил актив. Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней.

Он предложил мне дать подробные разъяснения; я отказался — по неспособности понимать денежные дела вообще, а мэтра Муша в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал:

— Нельзя учиться весело.

— Учиться можно только весело, — ответил я. — Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее; а здоровая, живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум.

Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью, — такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории, с благородно трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделье я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами; я бы дарил ей птиц, чтобы, кормя их, она узнала цену капле воды и крошке хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее — возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю воспитание девицы!

— Преклоняюсь, — ответил мэтр Муш, складывая руки в черных шерстяных перчатках.

Он встал.

— Вы понимаете, конечно, — сказал я, провожая его, — что я не собираюсь навязывать мадемуазель Префер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместную с укладом даже лучших пансионов. Я только умоляю вас склонить мадемуазель Префер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений.

С бледной и таинственной улыбкой мэтр Муш стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом и с ними будут очень считаться.

Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона.

6 июля

Мэтр Муш так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда от дел уходят, я еще связан тысячью нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах и академиях. Я обременен почетными должностями; в одном лишь министерстве у меня их добрых семь. Правления и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же как и я охотно бы отделался от них. Но привычка сильнее и меня и их, а потому я, ковыляя, взбираюсь по казенным лестницам. После моей смерти старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Меж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце.

Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция *, которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти.

— Разве это так необходимо? — сказала она ему. — Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза.

Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии.

— Добрый вечер, мой друг, — сказала маркиза, пожимая ему руку, — скоро я увижу, выигрывает ли бог при личном знакомстве с ним.

Вот как умирали красавицы, друзья философов. Такой конец бесспорно не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслия такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасенья и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже, — вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую... Но шш... Как бы Та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя. Я еще могу и без нее поднять свою вязанку *.

Жанну я нашел очень довольной. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов да зелени, — и теперь получала возможность работать над своим злосчастным святым Георгием.

Улыбаясь, она сказала мне:

— Я знаю, что всем этим обязана я вам.

Я заговорил о другом, но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня.

— Я вижу, вас занимает какая-то мысль, — сказал я. — Поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, а это будет недостойно ни меня, ни вас.

Она ответила:

— Нет! Я вас слушала; но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер, должно быть, очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне.

И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся.

— Вас это удивляет? — спросил я.

— Очень.

— Почему же?

— Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились мадемуазель Префер.

— Значит вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком?

— О нет! Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились мадемуазель Префер. И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас.

— В самом деле?

— Она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице.

— Вот как? Что же вы думаете по этому поводу? — спросил я.

Она долго смотрела неподвижным взглядом на потертое сукно своих ботинок и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье. Наконец, подняв голову, сказала:

— Мне что-то подозрительно. Не правда ли, ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь? Знаю, что я опрометчива, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это?

— Нет, Жанна, конечно не сержусь.

Должен признаться, ее недоумение передалось и мне, в моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой: «Тревожит то, чего не понимаешь».

Но Жанна, улыбаясь, продолжала:

— Она меня спросила... угадайте! Она спросила: любите ли вы хороший стол?

— А как воспринимали вы этот поток расспросов?

— Я ей ответила: «Не знаю, мадемуазель». А мадемуазель сказала мне: «Вы дурочка. Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знайте, мадемуазель, что Сильвестр Бонар — одна из знаменитостей Франции».

— Тьфу пропасть! — воскликнул я. — А вы что думаете об этом?

— Я думаю, что мадемуазель Префер права. Но мне совсем не хочется (это нехорошо так говорить)... совсем не хочется, чтобы мадемуазель Префер была в чем-нибудь права.

— Ну, так будьте довольны, Жанна: мадемуазель Префер не права.

— Нет! Нет! Она вполне права. Но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключенья, а этого я не могу, — я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель Префер.

— Послушайте меня, Жанна, — ответил я серьезно. — Мадемуазель Префер стала хороша с вами, будьте же и вы хороши с ней.

Она сухо возразила:

— Для мадемуазель Префер очень легко стать хорошей со мной, мне же очень трудно быть с ней хорошей.

Придав особую серьезность своим словам, я возразил на это:

— Дитя мое, авторитет наставников является священным. Ваша начальница вам заменяет мать, которую вы потеряли.

Едва я произнес эту торжественную глупость, как мне пришлось жестоко в ней раскаяться. Жанна побледнела, глаза ее наполнились слезами.

— О! Господин Бонар! — воскликнула она. — Как можете вы говорить такие вещи? Именно вы?

Да, как я мог сказать такую вещь?!

Она повторяла:

— Мама! Милая мама! Бедная мама!

Случайно я не остался глупым до конца. Не знаю, как это произошло, но могло казаться, что я тоже плачу. В моем возрасте уже не плачут — вероятно, коварный кашель вызвал слезы на мои глаза. Словом, тут можно было ошибиться. Жанна и ошиблась. О! Какая чистая, какая лучезарная улыбка сверкнула под ее влажными красивыми ресницами, словно летнее солнце в ветвях после дождя. Мы взялись за руки и так сидели, счастливые, не говоря ни слова.

— Дитя мое, — сказал я наконец, — я очень стар, и много тайн жизни, которые вы постигнете мало-помалу, для меня уже не тайны. Верьте мне: будущее создается прошедшим. Все, сделанное вами для того, чтобы жить здесь хорошо, без горечи и ненависти, послужит вам когда-нибудь для радостной и мирной жизни в своем доме. Учитесь терпеть и будьте кротки. Кто терпелив, тот страдает меньше. А когда у вас будет настоящий повод жаловаться, я приду и выслушаю вас. Если обидят вас, то вместе с вами будут обижены госпожа де Габри и я.

— Как ваше здоровье, дорогой господин Бонар?

Этот вопрос, сопровождаемый улыбкой, задала мадемуазель Префер, потихоньку прокравшись в приемную. Первой моей мыслью было послать ее ко всем чертям, второю — констатировать, что рот ее пригоден для улыбок, как кастрюля для игры на скрипке, третьей — ответить вежливостью на вежливость и выразить надежду, что мадемуазель Префер вполне здорова.

Она услала Жанну гулять в сад, затем, возложив одну руку на пелерину, другую простирая по направ-

лению к почетной доске, указала мне имя Жанны Александр, написанное почерком рондо на первом месте.

— С глубокою отрадою я вижу, что вы довольны поведением этого ребенка, — сказал я. — Для меня нет ничего приятнее. А этот удачный результат я склонен приписать вашей сердечной чуткости. Я взял на себя смелость послать вам несколько книг, интересных и поучительных для молодых девиц. Просмотрев эти книги, вы решите, можно ли их дать мадемуазель Александр и ее подругам.

В своей признательности хозяйка пансиона дошла до умиления и рассыпалась в благодарностях. Чтобы положить этому конец, я сказал:

— Сегодня прекрасная погода.

— Да, — ответила она, — и если так пойдет и дальше, то мои девочки будут резвиться в хорошую погоду.

— Вы говорите, разумеется, о каникулах. Но у мадемуазель Александр нет родителей, ей некуда отсюда выйти. Что же будет она делать в этом большом пустом доме?

— Мы предоставим ей возможно больше развлечений. Я сведу ее в музеи и...

Она замялась, затем добавила, краснея:

— ... и к вам, если позволите.

— Вот как! — воскликнул я. — Это замечательная мысль.

Мы расстались в самых дружеских чувствах: я питал их к ней, потому что добился желаемого; она питала их ко мне — бескорыстно, а это, по учению Платона, ставит ее на высшую ступень в иерархии душ *.

Я все же с дурным предчувствием вводил эту особу к себе в дом. Мне бы хотелось, чтобы Жанна находилась не в таких руках. Мой склад ума чужд умственному складу мадемуазель Префер и мэтра Муша. Я никогда не знаю, почему они говорят то, что говорят, и поступают так, как поступают; в них есть таинственная глубь, которая меня смущает. Как мне сейчас сказала Жанна: «Тревожит то, чего не понимаешь».

В мои годы, увы, знаешь хорошо, как мало непорочности бывает в жизни; хорошо знаешь, сколько теряется от долгого пребывания в этом мире, и чувствуешь доверие лишь к юности.

16 августа

Я ждал их. Откровенно говоря, ждал с нетерпением. Чтобы склонить Терезу к хорошему приему, я пустил в ход все свое уменье быть вкрадчивым и быть приятным, но этого оказалось мало. Они пришли. Честное слово, Жанна была очень элегантна. Конечно, ей далеко до бабушки. Но сегодня я впервые заметил, что у нее приятная наружность, — обстоятельство, весьма полезное для женщин в этом мире. Она улыбнулась, и обитель книг повеселела.

Я подглядывал за Терезой, я наблюдал, не смягчится ли суровость старой домоправительницы при появлении юной девушки. Я увидал, как ее тусклые глаза, потом лицо с отвислой кожей, впалым ртом и острым подбородком старой всемогущей феи обратились к Жанне... и больше ничего.

Мадемуазель Префер, вся в синем, то подходила, то отступала, припрыгивала, семенила ногами, восклицала, вздыхала, опускала глаза, поднимала глаза, рассыпалась в учтивостях, робела и смелела, вновь робела и опять смелела, почтительно склонялась, — короче, выкидывала штуки.

— Сколько книг! — воскликнула она. — И вы их все прочли, господин Бонар?

— К сожалению, да, — отвечал я. — Потому-то я ровно ничего не знаю, ибо здесь нет книги, которая не опровергала бы другую, и, ознакомившись со всеми, не знаешь, что же думать. Вот до чего я дошел, мадемуазель.

Тут она позвала Жанну, чтобы поделиться с нею впечатлениями. Но Жанна смотрела в окно.

— Как красиво! — сказала она. — Люблю смотреть, как течет река. Это вызывает столько дум!

Когда мадемуазель Префер сняла шляпку, открыв лоб, обрамленный белокурыми кудряшками, Тереза ухватила ее шляпу, заявив, что не любит, когда на

мебели валяется всякое тряпье. Затем она подошла к Жанне и, называя милой барышней, попросила у нее ее «уборы». Барышня отдала Терезе шляпку и короткую мантилью, освободив от них свою хорошенькую шейку и стройный стан, как будто для того, чтобы их нежный контур обрисовался четче на фоне ярко освещенного окна, и я подумал: уж лучше бы полюбовался ею кто-нибудь другой, а не дряхлая служанка, завитая барашком хозяйка пансиона и старый архивный палеограф.

— Вы смотрите, как Сена искрится на солнце, — заметил я.

— Да, — ответила Жанна, облокотясь о перила. — Будто пламя течет. А посмотрите вон туда, какой прохладной она кажется у берега — там, где отражаются в ней ивы. Этот уголок мне нравится больше всего.

— Я вижу, вас влечет к себе река. Что бы вы сказали, если бы мы, с согласия мадемуазель Префер, отправились в Сен-Клу на пароходе? Мы его еще застанем ниже Королевского моста.

Жанне очень понравилась моя идея, а мадемуазель Префер была готова на все жертвы. Но моя экономка не собиралась так просто отпустить нас. Она увела меня в столовую, куда я с трепетом последовал за ней.

— Сударь, — сказала она, когда мы оказались наедине, — сами вы никогда ни о чем не позаботитесь, и обо всем приходится думать мне. Счастье, что память у меня хорошая.

Я не счел момент удобным для разрушенья этой смелой иллюзии. Она продолжала:

— Вы так и уйдете, не сказавши мне, что любит барышня. Вам, сударь, трудно угодить, но по крайности вы знаете, что хорошо. Не то, что эти молодые, — в кухне они ничего не смыслят. Частенько что ни есть лучшее считают никуда негодным, а дрянь хорошим по случаю того, что желудок у них еще не установился, — тут уж и не знаешь, как с ними быть. Скажите, барышня любит голубей с горошком и профитроли?

— Милая Тереза, делайте по своему усмотрению — и будет очень хорошо. Дамы удовлетворятся нашим обычным скромным столом.

Тереза сухо возразила:

— Я говорю о барышне: нельзя, чтобы она ушла из нашего дома не подкрепившись. А насчет этой кучерявой старой девы, так, ежели мой обед ей не по вкусу, пусть сосет свои пальцы. Мне наплевать.

Со спокойной душой вернулся я в обитель книг, где мадемуазель Префер вязала так безмятежно, как будто у себя дома. Я сам чуть не поверил этому. Правда, сидя у окна, она занимала не много места. Но она так хорошо подобрала себе скамеечку и стул, точно они и были сделаны по ней.

А Жанна не спускала глаз с картин и книг, окидывая их любовным взглядом, как на прощанье.

— Вот, — сказал я, — перелистайте для развлеченья эту книгу, в ней прекрасные гравюры: она, наверно, вам понравится.

И я раскрыл альбом костюмов, гравированных Вечельо; только не банальную копию, сделанную современными художниками, а, будьте любезны, великолепный, почтенный экземпляр первоиздания, благородного, как благородны дамы, изображенные там на пожелтелых, приукрашенных временем листах.

Перелистывая с наивным любопытством гравюры, Жанна сказала:

— Мы говорили о прогулке, а вы мне предлагаете целое путешествие. Большое путешествие!

— Так вот, мадемуазель, для путешествия надо располагаться поудобнее. Вы же сидите на кончике стула, а стул стоит на полу одной ножкой, и ваши колени устанут от Вечельо. Сядьте хорошенько, поставьте стул прямо, а книгу положите на стол.

Улыбаясь, она повиновалась и сказала:

— Взгляните, вот прекрасный костюм! (То был костюм догарессы.) Как это благородно и какие величавые внушает мысли! Да, роскошь все-таки красива!

— Таких мыслей не высказывают, мадемуазель, — заметила хозяйка пансиона, поднимая от работы свой неправильный носик.

— Это очень невинно, — ответил я. — Бывают широкие натуры с врожденной склонностью к великолепию.

Неправильный носик тотчас опустился.

— Мадемуазель Префер тоже любит роскошь, — сказала Жанна, — она вырезывает из бумаги транспаранты для ламп. Это роскошь недорогая, но все же роскошь.

Вернувшись к Венеции, мы знакомились с патрицианкой, одетой в шитый далматик, как вдруг послышался звонок. Я подумал, что это мальчик из булочной со своей корзинкой, но дверь в обитель книг открылась и... Старый Сильвестр Бонар! Ты только что желал, чтобы глаза иные, а не поблекшие и не в очках, увидели твою любимицу во всем ее очарованье, и вот желания твои осуществились нежданно и негаданно. И так же, как неразумному Тезею, какой-то голос говорит тебе: *

> Страшись небес, страшись: уготовляя мщенье,
> Пошлют они тебе желаний исполненье.

Дверь в обитель книг растворилась, и появился красивый, хорошо сложенный молодой человек, сопровождаемый Терезой. Эта простодушная старуха умеет только отворять и затворять входную дверь; она не смыслит ничего в тонкостях передней и гостиной. Не в ее обычае докладывать или просить обождать. Она или выталкивает людей па лестницу, или валит их вам прямо на голову.

Итак, красивый молодой человек передо мною, — но, право, не могу же я сразу запереть его, как опасного зверя, в соседней комнате. Жду его объяснений; он, не смущаясь, излагает их. Но, думается мне, он все-таки заметил девушку, которая, склонившись над столом, перелистывает Вечелью. Гляжу я на него — и либо сильно ошибаюсь, либо я где-то его видел. Его зовут Жели. Это имя я когда-то слышал. Словом, господин Жели (Жели так Жели) весьма хорош собою. Он говорит, что учится на третьем курсе Архивной школы и вот уже год с четвертью или года полтора готовит выпускную диссертацию на тему о бенедиктинских аббатствах в 1700 году. Он только что прочел мои работы по поводу Monasticon и убедился, что не может как следует закончить диссертацию без моих советов, — это прежде всего, и без одной рукописи, находящейся

в моем владении и представляющей собой не что иное, как приходо-расходную книгу Цистерненского аббатства с 1663 по 1704 год.

Сообщив эти обстоятельства, он передал мне рекомендательное письмо за подписью славнейшего из моих собратий.

Ага! Я вспомнил: г-н Жели — это тот самый молодой человек, который в прошлом году под каштанами назвал меня дурнем. Развернув рекомендательное письмо, я думаю:

«Так! Так! Бедняга! ты далек от подозренья, что я тебя подслушал и знаю, как ты мыслишь обо мне... или по крайней мере мыслил в тот день, ибо юные головы так ветрены. Безрассудный юноша, ты у меня в руках! Ты очутился в логовище льва, и, право, столь внезапно, что старый лев, застигнутый врасплох, не знает, как поступить ему с добычей. Однако, старый лев, останешься ли ты дурнем и сейчас? Если ты не дурак, то был им. Ты был глупцом, когда у статуи Маргариты Валуа стал прислушиваться к словам господина Жели, был глупцом в квадрате, когда ты выслушал его, и глупцом в кубе, если не забыл того, чего не следовало слышать».

Пожурив старого льва, я умолил его быть милосердным, он не заставил тащить себя за шиворот и сразу так повеселел, что еле сдержал радостное рычанье.

По тому, как я читал письмо своего коллеги, я мог сойти за малограмотного. Это тянулось долго, и г-н Жели мог бы соскучиться, но он смотрел на Жанну и терпеливо сносил свою участь. Жанна время от времени поворачивала голову в нашу сторону. Нельзя же сидеть не шелохнувшись, не правда ли? Мадемуазель Префер поправила свои кудряшки, а грудь ее вздымалась от тихих вздохов. Надо сказать, что такими вздохами нередко бывал почтен и я.

— Очень рад быть вам полезным, господин Жели, — промолвил я, складывая письмо. — Вы занимаетесь изысканиями, сильно увлекавшими и меня самого. Я сделал, что мог. Знаю, так же как и вы, — и даже лучше, — сколько надо еще сделать. Рукопись, которую вы просите, в вашем распоряженье: вы можете взять ее с собой; но она не из маленьких, и я боюсь...

— Ничего, большие книги мне не страшны, — сказал Жели.

Я попросил молодого человека обождать и пошел в кабинет за книгой, но сначала не находил ее и даже отчаялся найти, заметив по верным признакам, что Тереза навела порядок в кабинете. Однако книга была так велика и так толста, что Терезе не удалось запрятать ее совсем. Я насилу ее поднял и порадовался тому, что она достаточно увесиста.

«Постой, мой мальчик, — молвил я с улыбкой, которой полагалось быть очень саркастической, — постой: сейчас ее взвалю я на тебя, она натрудит тебе сначала руки, а потом и мозги. Это и будет первой местью Сильвестра Бонара, а затем посмотрим».

Вернувшись в обитель книг, я услыхал голос Жели, говорившего Жанне:

— Венецианки красили волосы желтой краской. Краска у них была медово-желтого и золотистого оттенка. Но бывает натуральный цвет волос, гораздо красивее, чем цвет золота и цвет меда.

Жанна ответила задумчивым, сосредоточенным молчаньем. Я догадался, что в дело замешался плут Вечелью и что они, склонясь над книгой, рассматривали догарессу и патрицианок.

Я появился с огромным фолиантом в надежде, что Жели поморщится: ноша была под стать носильщику и до боли оттянула мне руки. Но юноша поднял ее, как перышко, и, улыбаясь, сунул под мышку. Затем он поблагодарил меня коротко (что я ценю), напомнил о необходимости моих советов и, условившись о дне следующей беседы, весьма непринужденно откланялся нам всем...

Я сказал:

— Милый юноша.

Жанна перевернула несколько страниц Вечелью, ничего не ответив.

Мы отправились в Сен-Клу.

Сентябрь — декабрь

Визиты к старику шли своим чередом, за что я был глубоко благодарен мадемуазель Префер, которая в обители книг добилась признанного за ней места. Теперь

она говорит: мой стул, моя скамеечка, моя этажерка. Этажеркой ей служит полочка, откуда она выгнала шампанских поэтов, водворив на их место свой рабочий мешочек. Она очень любезна, и надо быть чудовищем, чтобы не полюбить ее. Я ее терплю в полном смысле этого слова. Да и чего не стерпишь ради Жанны? Обители книг она придает очарованье, и мысленно я наслаждаюсь им даже тогда, когда Жанны нет. Она мало образованна, но очень даровита, и когда я хочу показать ей что-нибудь красивое, оказывается, что сам я многого не видел, а красоту мне раскрывает Жанна. Если я до сих пор не мог добиться, чтобы она следила за ходом моих мыслей, то часто мне доставляло удовольствие следить за остроумною причудливостью ее мыслей.

Будь я более благоразумен, я подумал бы о том, чтобы сделать ее полезным человеком. Но разве в жизни не полезно быть милой? В ней нет красоты, но есть большое обаянье. А обаятельность, пожалуй, стоит уменья штопать чулки. Кроме того, я не бессмертен, и она еще не будет старой, когда мой нотариус (не Муш, конечно) прочтет ей некую бумагу, подписанную мной на днях.

Я не согласен, чтобы кто-нибудь другой заботился о ней и наделил ее приданым. Сам я не богат, наследие отца не приумножилось в моих руках, — роясь в старых текстах, капитала не накопишь. Но мои книги, по ценам, существующим теперь на этот благородный товар, кое-чего стоят. Вот здесь, на этой полке, стоят несколько поэтов XVI века, которых будут оспаривать банкиры у владетельных особ. Я полагаю, что этот Часослов Симона Вотра не пройдет незамеченным в аукционном зале Сильвестра, так же как и «Praeces piae», переработанные для королевы Клавдии. Я старательно собирал и хранил те редкие и замечательные экземпляры, какие населяют обитель книг, и долго верил, что для моей жизни они необходимы, как воздух или свет. Я очень их любил и до сих пор еще не в силах удержать себя, чтоб им не улыбнуться или не приласкать их. Этот сафьян так приятен глазу, тонкий пергамент так нежен на ощупь! Каждая из этих книг, в силу того или другого присущего ей достоинства, заслуживает уважения порядочного человека. Какой другой владелец

сумеет должным образом их оценить? Почем знать, не даст ли новый хозяин погибнуть им в забвении, или не искалечит их причудою невежды? В чьи руки попадет этот несравненный экземпляр «Истории аббатства Сен-Жермен-де-Пре», где на полях сам автор, Дом Жак Буйар собственноручно сделал очень важные пометки?.. Мэтр Бонар, ты старый сумасброд. Сегодня Тереза, бедное создание, прикована к постели жестоким ревматизмом. Должна прийти Жанна со своей дуэньей, и, вместо того чтобы подумать об их приеме, ты размышляешь о разных пустяках. Сильвестр Бонар, помяни мое слово, тебе ни в чем не преуспеть.

И точно — я вижу из окна, как они выходят из омнибуса. Жанна спрыгивает, словно кошечка, а мадемуазель Префер доверила крепкой руке кондуктора свою особу со стыдливой грацией Виргинии, уцелевшей при кораблекрушенье * и на этот раз безропотно позволившей себя спасти. Жанна поднимает голову, видит меня и делает мне неуловимый знак сердечной дружбы. Я замечаю, что она хорошенькая. Все же не так, как ее бабушка. Но ее прелесть стала радостью и утешеньем такому старому безумцу, каков я. А что подумают о ней безумцы юные (они еще встречаются) — не знаю; да это и не мое дело... Но неужели надо повторять тебе, мой друг Бонар, что Тереза слегла в постель и ты должен сам отворить дверь?

Отворяй, дедушка Мороз... звонит Весна.

Действительно, это Жанна, вся розовая Жанна. Мадемуазель Префер, запыхавшись и негодуя, отстала на целый этаж.

Я объявил им, что домоправительница захворала, и предложил пообедать в ресторане. Но Тереза, всемогущая и на одре болезни, решила, что обедать надо дома. По ее мнению, люди приличные не обедают в ресторанах. К тому же она предусмотрела все. Для обеда все куплено, приготовит его швейцариха.

Дерзновенной Жанне вздумалось пойти взглянуть, не нужно ли чего больной старухе. Вы, разумеется, хорошо представляете себе, что ее быстро выпроводили в гостиную, однако не так сурово, как можно было опасаться.

— Уж коли, не дай бог, явится нужда за мной ходить, — было ей сказано, — так я найду кого другого, а не такую милочку, как вы. Мне надобен покой. А для этого товара на вашем рынке нету лавочки под вывеской «Молчи-помалкивай». Идите-ка резвиться, а не сидите тут. Это нездорово: старость прилипчива.

Передав нам эти слова, Жанна добавила, что ей очень нравится язык старой Терезы. В ответ на это мадемуазель Префер упрекнула ее в отсутствии изысканного вкуса. Я сделал попытку оправдать Жанну свидетельством многих ревнителей родной речи, утверждавших, что они учились родному языку у грузчиков с сенной пристани и у старых прачек. Но у мадемуазель Префер вкусы чересчур изысканны, и мои доводы ее не убеждают.

Тем временем Жанна с умоляющим лицом попросила у меня разрешения надеть белый фартук и пойти на кухню заняться обедом.

— Жанна, — ответил я серьезно, по-хозяйски, — чтобы колотить тарелки, бить блюда, уродовать кастрюли и вышибать днища в котелках, я думаю, вполне достаточно противного существа, поставленного Терезой на работу в кухне, ибо сейчас мне чудится там грохот разрушенья. Во всяком случае, вам, Жанна, я поручаю изготовление десерта. Ступайте за белым фартуком, я повяжу его вам собственноручно.

Я торжественно завязал на ее талии полотняный фартук, и она бросилась в кухню готовить, как позже мы узнали, тонкие блюда.

Мне не пришлось хвалить себя за этот распорядок, ибо мадемуазель Префер, оставшись со мной наедине, повела себя так, что я встревожился. Тяжко вздыхая, она взглянула на меня горящими и влажными от слез глазами.

— Мне жаль вас, — начала она, — такой человек, как вы, человек исключительный, живете одиноко, в обществе грубой служанки, — ведь, что ни говорите, она груба! Какое ужасное существованье! Вам нужны покой, уход, внимание и всяческая заботливость; вы можете и заболеть. Каждая женщина, без исключений, почла бы честью носить ваше имя и разделять вашу жизнь. Нет!

Исключенья быть не может: так говорит мне сердце.

И это сердце, готовое ежеминутно выпрыгнуть, она прижала обеими руками.

Я был буквально в отчаянии. Я попытался указать мадемуазель Префер, что не намерен на склоне дней менять свой образ жизни и чувствую себя счастливым ровно настолько, насколько это допускает моя натура и судьба.

— Нет! Вы не счастливы! — воскликнула она. — Вам нужна душа, способная понять вас. Выйдите из вашего оцепененья, посмотрите вокруг себя. У вас широкий круг отношений, прекрасные знакомства. Академик не может не бывать в обществе. Глядите, судите, сравните. Здравомыслящая женщина вам не откажет в своей руке. Я женщина, и мой инстинкт не может обмануть меня; какое-то чувство мне говорит, что счастье вы найдете в браке. Женщины такие преданные, такие любящие (не все, конечно, но найдутся) и к тому же очень неравнодушны к славе! У вашей кухарки нет больше сил; она глуха, она калека. Вдруг что-нибудь случится с вами ночью! Видите, при одной мысли об этом я дрожу.

Она действительно дрожала; она жмурила глаза, сжимала кулаки и отбивала ногами дробь. Мое уныние дошло до крайнего предела. С каким неимоверным жаром она опять заговорила!

— Ваше здоровье! Ваше драгоценное здоровье! Я бы с восторгом отдала всю кровь свою для сохранения жизни ученого, литератора, человека заслуженного, академика. Я презирала бы женщину, не сделавшую этого. Послушайте, я знала жену одного великого математика, который делал вычисления целыми тетрадями и наполнял ими все шкафы в своей квартире. У него была болезнь сердца, он таял на глазах. И рядом с ним я видела его жену — совершенно спокойной! Я не сдержалась и однажды сказала ей: «Дорогая, у вас нет сердца. Я бы на вашем месте... я бы... просто не знаю, что бы сделала!»

В изнеможении она остановилась. Мое положение было ужасно. Высказать мадемуазель Префер начистоту

мое мнение о ее советах — нечего было и думать. Ибо поссориться с ней — значило потерять Жанну. А потому я отнесся мягко к происшедшему. Кроме того, она была моей гостьей; это соображенье помогло мне сохранить известную учтивость.

— Я очень стар, мадемуазель, — ответил я, — и опасаюсь, что ваши советы немножко запоздали. Во всяком случае, я подумаю. А теперь придите в себя. Вам хорошо бы выпить стакан сахарной воды.

К моему великому изумлению, эти слова разом утихомирили ее, и она спокойно уселась в своем углу, у своей полочки, на своем стуле, положив ноги на свою скамейку.

Обед совсем не удался. Мадемуазель Префер ушла в мечты и не обратила внимания на это. Обычно я весьма чувствителен к такого рода злоключеньям, но оно так веселило Жанну, что в конце концов и я повеселел. Несмотря на свой преклонный возраст, я до сих пор не знал, что курица, сырая с одного бока и сожженная с другого, представляет собою нечто крайне забавное, — этому научил меня звонкий смех Жанны. Наша курица вызвала множество остроумных замечаний, уже забытых мною, и я был восхищен тем, что ее зажарили так нелепо.

Конец обеда был не лишен прелести, когда юная девушка в белом фартуке, тоненькая, стройная, подала приготовленное ею самой блюдо из взбитых белков. В бледно-золотистом соусе они блестели, целомудренно сверкая и распространяя тонкий аромат ванили. Жанна их поставила на стол с невинной грацией шарденовской хозяйки *.

В глубине души я был встревожен. Мне казалось почти немыслимым поддерживать добрые отношения с мадемуазель Префер, в которой разыгрались брачные страсти. Уйдет учительница — прощай и ученица! Когда же эта добрая душа пошла надевать свою мантилью, я воспользовался минутой, чтобы совершенно точно узнать, сколько Жанне лет. Ей оказалось восемнадцать лет и один месяц. Я посчитал на пальцах, и вышло, что ее совершеннолетие наступит лишь через два года и одиннадцать месяцев. Как быть все это время?

Расставаясь со мною, мадемуазель Префер взглянула на меня так выразительно, что у меня по телу забегали мурашки.

— До свиданья, — внушительно сказал я Жанне. — Выслушайте меня: друг ваш стар, и вы можете потерять его. Обещайте никогда не терять самое себя, и я буду спокоен. Да хранит вас бог, дитя мое!

Заперев дверь, я растворил окно, чтобы еще раз взглянуть на Жанну, когда она пойдет по улице. Ночь была сумрачная, и я лишь смутно различил две тени, скользившие по темной набережной. До меня донесся неумолчный глухой рокот города, и сердце мое сжалось.

15 декабря

Фульский король хранил золотой кубок *, подаренный ему на память любимой женщиной. Близкий к смерти и чувствуя, что пьет в последний раз, король забросил кубок в море. Эту тетрадь воспоминаний я храню, как старый властелин туманных морей хранил чеканный кубок, и так же, как утопил он драгоценный дар любви, сожгу я свой отчет о жизни. Конечно, не из надменной скрытности и себялюбивой гордости я уничтожу этот памятник скромной своей жизни, но из опасенья, что вещи, мне дорогие и святые, по неискусности моей будут казаться смешными или пошлыми.

Говорю это безотносительно к последующему. Спору нет, я был смешон, когда, явившись по приглашению мадемуазель Префер обедать, сидел в бержерке (то была действительно бержерка) по правую руку от этой тревожащей меня особы. Стол накрыт был в маленькой гостиной. Щербатые тарелки, разнокалиберные стаканы, ножи, болтавшиеся в черенках, и вилки, бурые от ржавчины, — все, что сразу отбивает аппетит у порядочного человека, оказалось налицо.

Обед, как доверительно мне сообщили, устроен был ради меня — одного меня, хотя на нем присутствовал и мэтр Муш. Взбрело же в голову мадемуазель Префер, что в отношении масла у меня сарматский вкус: * поданное масло оказалось совершенно прогорклым.

Жаркое отравило меня вконец. Зато я с удовольствием слушал, как мэтр Муш и мадемуазель Префер высказывались о добродетели. Я сказал «с удовольствием», а надлежало сказать — со стыдом, ибо выраженные ими чувства были слишком тонки для грубой моей натуры.

На основании их слов мне было ясно, как день, что преданность для них — хлеб насущный, а самопожертвование необходимо им, как воздух и вода. Заметив, что я не ем, мадемуазель Префер изо всех сил старалась преодолеть то, что по доброте своей называла моей скромностью. Жанны не было на этом торжестве, потому что, как мне сказали, ее присутствие, противное уставу, нарушило бы равенство, столь необходимое среди такого количества юных учениц.

Унылая служанка подала скудный десерт и ускользнула, словно тень.

Тогда мадемуазель Префер с большой восторженностью сообщила мэтру Мушу все, о чем говорила мне в обители книг, когда хворала моя домоправительница: свое восхищенье академиком, свой страх, что я в болезни окажусь один, уверенность, что женщина интеллигентная почтет за честь и счастье делить со мною жизнь; она не скрыла ничего, наоборот — добавила еще не мало новых глупостей. Мэтр Муш одобрительно кивал головой и щелкал орехи. Выслушав весь этот вздор, он приятно улыбнулся и спросил, каков был мой ответ.

Положив одну руку на сердце, другой указывая на меня, мадемуазель Префер воскликнула:

— Он такой любящий, такой недосягаемый, такой великий и такой добрый! Он ответил... Но нет, не мне, простой женщине, говорить словами академика, — довольно, если я передам их суть. Он ответил: «Да, я понимаю вас, и я согласен».

С этими словами она взяла мою руку. Мэтр Муш, растроганный, поднялся с места и завладел другой моей рукой.

— Поздравляю вас, господин Бонар, — сказал он мне.

Бывали в моей жизни случаи, когда меня брал страх, но никогда я не испытывал такого омерзительного ужаса.

Я высвободил руки и, встав, чтобы придать возможно большую значительность своим словам, произнес:

— Мадемуазель, или в то время я плохо выразился, или сейчас я плохо понял вас. В обоих случаях необходимо привести все в ясность. Позвольте, мадемуазель, высказаться напрямик. Нет, я не понял вас; нет, я ни на что не соглашался: мне совершенно неизвестно, какие виды на меня вы можете иметь, если только вы их имеете. Во всяком случае, жениться я не собираюсь. В моем возрасте это было бы непростительным безумием, и я еще сейчас не представляю, как вы, такая здравомыслящая женщина, могли мне посоветовать жениться. Я даже имею все основания думать, что ошибся и ничего подобного вы мне не говорили. В таком случае простите старика, отвыкшего от света, не созданного для разговора с дамами и глубоко огорченного своей ошибкой.

Мэтр Муш тихонько сел на свое место и, так как орехи были съедены, стал резать пробку.

Несколько секунд мадемуазель Префер разглядывала меня жесткими кругленькими глазками, каких я у нее еще не видел, затем вновь обрела свою слащавую любезность. Медовым голосом она воскликнула:

— Ах, эти ученые! Эти кабинетные люди! Совсем как дети! Да, господин Бонар, вы настоящий ребенок.

Обернувшись к притихшему и занятому пробкой нотариусу, она молящим голосом сказала:

— О! Не осуждайте его! Не осуждайте! Не думайте о нем плохого, прошу вас. Не думайте! Неужели мне надо вас просить об этом на коленях?

Мэтр Муш исследовал со всех сторон пробку, ничем другим не проявив себя.

Я был в негодовании; судя по жару в голове, щеки мои, должно думать, сильно раскраснелись. Это обстоятельство оправдывало те слова, которые я услыхал сквозь шум в висках:

— Наш бедный друг меня пугает. Господин Муш, будьте добры отворить окно. Мне кажется, ему поможет компресс из арники.

Я выбежал на улицу с невыразимым чувством отвращения и ужаса.

20 декабря

Целую неделю я ничего не слышал о заведении Префер. Не в силах оставаться дольше без вестей о Жанне и полагая сверх того, что у меня есть долг перед самим собою — не отступать, я направил путь свой в Терн.

Приемная мне показалась еще более холодной, сырой, неуютной и коварной, а служанка еще более испуганной и молчаливой, чем когда-либо. Я спросил Жанну, и спустя довольно долгое время явилась сама мадемуазель Префер, степенная, бледная, с поджатыми губами и жестким взглядом.

— Господин Бонар, — произнесла она, скрестив под пелериной руки, — я крайне сожалею, что не могу вам разрешить увидеться сегодня с мадемуазель Александр, но это невозможно.

— Почему же?

— Причины, обязывающие меня просить вас сократить количество ваших посещений, носят особо щекотливый характер, и я прошу вас избавить меня от неприятности излагать их вам.

— Мадемуазель, я уполномочен опекуном Жанны видеть ее хоть каждый день. Какие же могут быть у вас основания идти наперекор желаньям мэтра Муша?

— Опекун мадемуазель Александр (она налегла на слово «опекун», как на солидную точку опоры) желает так же горячо, как я, положить конец вашим домогательствам.

— Если так, благоволите изложить мне основания его и ваши.

Она взглянула на бумажную спираль и с грозным спокойствием ответила:

— Вы этого хотите? Как ни тягостно для женщины объяснение такого рода, я уступаю вашим требованиям. Мой дом, милостивый государь, дом уважаемый. На мне лежит ответственность: я обязана, подобно матери, блюсти каждую из учениц. Ваши домогательства по отношению к мадемуазель Александр не могут продолжаться без вреда для этой девушки. Мой долг их прекратить.

— Я вас не понимаю, — ответил я.

И это была истинная правда. Она добавила с расстановкой:

— Люди, самые уважаемые и совсем не склонные к подозрениям, истолковывают ваши домогательства в таком духе, что я обязана прекратить их возможно скорее и в интересах пансиона и в интересах мадемуазель Александр.

— Мадемуазель, — вскричал я, — на своем веку я слышал много глупостей, но ни одна не может сравниться с той, какую вы только что сказали!

Ответ ее был прост:

— Ваши оскорбления меня не задевают. Когда исполняешь долг, чувствуешь себя неуязвимой.

Она прижала пелерину к сердцу — на этот раз не для того, чтобы удержать его, а несомненно с целью приласкать за благородство.

— Мадемуазель, — сказал я, указывая на нее пальцем, — вы возбудили негодование старика. Постарайтесь, чтобы старик забыл о вас, и не прибавляйте новых дурных дел к тем, какие мне уже открылись. Предупреждаю, я не оставлю попеченья о мадемуазель Александр. Горе вам, если вы чем-нибудь обидите ее.

По мере того как горячился я, мадемуазель Префер становилась спокойнее и с удивительным хладнокровием ответила:

— Милостивый государь, для меня достаточно ясен характер вашего интереса к этой девице, и я должна избавить ее от того попечения, каким вы мне грозите. Принимая во внимание более чем двусмысленную интимность вашего сожительства с домоправительницей, мне следовало бы еще раньше оградить невинного ребенка от соприкосновения с вами. Так я и сделаю на будущее время. Если же я до этих пор была чересчур доверчивой, то в этом упрекнуть меня имеет право только мадемуазель Александр, а не вы; но благодаря мне она слишком чиста, слишком простодушна, чтобы заподозрить характер той опасности, какой подвергали ее вы. Надеюсь, вы не заставите меня разъяснить все это ей.

«Ну, бедный Бонар, — подумал я, пожав плечами, — надо же было тебе дожить до сей поры, чтоб узнать,

какой бывает злая женщина. Теперь ты знаешь это в совершенстве».

Я вышел, не ответив, и с удовольствием заметил по внезапному румянцу, залившему лицо хозяйки пансиона, что мое молчанье задело ее гораздо больше, чем слова.

Я проходил двор, поглядывая во все стороны в надежде увидеть Жанну. Она подстерегала меня и бросилась ко мне.

— Жанна, если тронут хоть один ваш волос, напишите мне. Прощайте!

— Нет! До свиданья!

Я ответил:

— Да! Да! До свиданья! Пишите мне!

Я пошел прямо к г-же де Габри.

— Господа в Риме. Разве вы этого не знали?

— Правда! Госпожа де Габри писала мне об этом.

В самом деле, она писала мне, и я, видно, совсем потерял голову, если забыл об этом. Слуга, наверное, так и думал, ибо он посмотрел на меня, как будто говоря: «Господин Бонар впал в детство», и перегнулся через перила лестницы взглянуть, не выкинул ли я чего-нибудь необычайного. Я сошел с лестницы как подобает, и он разочарованно вернулся в комнаты.

Придя домой, я узнаю, что в гостиной сидит Жели. Этот юноша меня усердно посещает. У него, конечно, нет основательных суждений, но ум незаурядный. На этот раз его приход только смутил меня. «Увы! — подумал я. — Сейчас скажу своему юному другу какую-нибудь глупость, и он тоже подумает, что я «сдаю». Однако не могу же я объяснить ему, что мне сделали предложение жениться, что обозвали меня развратником, что Тереза на подозрении, а Жанна остается в руках злодейки. Нечего сказать, прекрасное состояние духа, чтобы толковать о Цистерненских аббатствах с молодым, да еще недоброжелательным ученым! Вперед, однако же, вперед!»

Меня остановила Тереза.

— Какой вы красный, сударь! — произнесла она с укоризной.

— Это всё весна, — ответил я.

— Весна! В декабре-то месяце? — воскликнула она.

Действительно, сейчас декабрь. Ах! Что у меня за голова, — нечего сказать хороша опора для бедной Жанны!

— Тереза, возьмите палку и, если это осуществимо, поставьте в такое место, где я могу ее найти. — Здравствуйте, господин Жели. Как поживаете?

Без даты

На следующий день старик хотел подняться — и не мог. Невидимая рука, державшая его в постели, была сурова. В полном смысле слова прикованный к постели, старик покорился и решил не двигаться, но его мысли копошились.

Очевидно, у него был сильный жар, ибо мадемуазель Префер, аббаты из Сен-Жермен-де-Пре и дворецкий г-жи де Габри являлись ему в самых причудливых образах. Вот и сейчас дворецкий вытянулся у него над головой, строя гримасы, точно химера на соборном водостоке. Мне чудится, что в комнате очень много, чересчур много народа.

Обстановка этой комнаты — в старинном духе; на стене, оклеенной обоями с зелеными «травами», висит портрет моего отца в парадной форме и портрет матери в кашемировом платье. Я это знаю, и знаю даже, что тут все основательно поблекло. Но стариковской комнате нет нужды быть кокетливой; достаточно, чтобы она была опрятной, а об этом заботится Тереза. К тому же комната довольно своеобразна, и это нравится моей душе, все еще немного ребячливой и склонной к пустякам. На стенах и среди предметов обстановки есть вещи, которые обычно беседуют со мной и меня тешат. Но что им нужно от меня сегодня? Они брюзжат, грозятся и строят рожи. Вот статуэтка, слепок с богословской Добродетели из Собора богоматери, что в Бру, такая наивная и грациозная обычно, теперь кривляется и показывает мне язык. А вот прекрасная миниатюра, где самый трогательный из учеников Жана Фуке * изобразил себя в то время, когда он, стоя на коленях, препоясанный веревкою сынов святого Франциска *,

подает свою книгу доброму герцогу Ангулемскому; но кто же вынул ее из рамы и подменил большой кошачьей головой, уставившейся на меня фосфорическими глазами? Травы на обоях тоже превратились в головы, зеленые и безобразные... Нет, нет, сегодня, как и двадцать лет тому назад, это набойчатые травы, и больше ничего... Нет, я был прав: то головы с глазами, носом, ртом, — да, головы!.. Понимаю: они одновременно и травы и головы. Хорошо бы их не видеть.

Там, справа, красивая миниатюра францисканца вернулась на свое место, но мне все кажется, что я удерживаю ее на этом месте тяжким напряженьем воли и стоит мне устать, как снова появится там гадкая кошачья голова. У меня нет бреда: я хорошо вижу Терезу у изножия моей кровати, хорошо слышу то, что она мне говорит; и я бы ей ответил с полной ясностью ума, если бы не был так занят, удерживая все окружающие предметы в присущем им обличье.

Вот и доктор. Я за ним не посылал, но рад его видеть. Это старинный сосед, он мало поживился от меня, но я его люблю. Если я не говорю ему ничего толкового, то по крайней мере все сознаю и даже по-своему лукавлю, подмечая его жесты, взгляды, малейшие складки на его лице. Доктор хитер, и, право, не знаю, что думает он о моем состоянии. Мне приходит на ум глубокомысленное изречение Гете; я говорю:

— Доктор, старик согласился только заболеть, но б*о*льшего он не уступит природе в этот раз.

Ни доктор, ни Тереза не смеются моей шутке. Очевидно, не поняли.

Доктор уходит. Вечереет. Всевозможные тени образуются, как облака, и тают в складках полога. Тени толпой проходят мимо меня, сквозь них мне видится недвижное лицо верной моей служанки. Вдруг крик, пронзительный крик, крик скорби раздирает мой слух. «Жанна, это вы меня зовете?»

Смерклось, и тени стали у моего изголовья на всю долгую ночь.

На заре я успокаиваюсь; покой, безграничный покой объемлет меня всего. Не лоно ли твое мне раскры¬ ваешь, господи?

Доктор совсем развеселился. Видимо, я, встав на ноги, оказываю ему большую честь. Послушать его, так на мое старческое тело обрушились неисчислимые недуги.

Эти недуги — ужас для человека, а их названия — ужас для филолога; они — словесные гибриды, полулатинские, полугреческие, с окончаниями на *ит* — для воспалительного состояния и на *алгия* — для болезненных процессов. Доктор перечисляет их с достаточным количеством прилагательных на *ый,* характеризующих их отвратительные свойства. Короче говоря, добрый столбец из медицинского словаря.

— Вашу руку, доктор. Вы вернули меня к жизни, я вас прощаю. Вы возвратили меня моим друзьям, благодарю вас. Вы говорите, что я прочен. Конечно, конечно, но я порядком зажился. Я — старая мебель, весьма похожая на кресло моего отца. Этому добродетельному человеку оно досталось по наследству, и он сидел в нем с утра до вечера. Мальчуганом, я взбирался на ручки этого древнего кресла раз двадцать за день. Пока оно держалось крепко, никто не обращал на него внимания. Но оно захромало на одну ногу, и стали говорить, что это хорошее кресло. Затем оно охромело на три ноги, поскрипывало четвертой и почти обезручело. Только тогда стали восклицать: «Какое прочное кресло!» Дивились тому, что, не имея ни одной ручки и твердо стоящей ножки, оно все же сохраняло форму кресла, кое-как держалось и до известной степени было пригодно. Наконец волос из его обивки вылез, и оно приказало долго жить. А когда наш слуга Киприан распилил его на части, чтобы сложить в дровяной сарай, возгласы изумления усилились: «Замечательное, чудесное кресло! На нем сидел Пьер-Сильвестр Бонар, купец-суконщик, его сын Эпименид Бонар и Жан-Батист Бонар — начальник третьего морского отделения, философ-пирроник *. Какое почтенное, могучее кресло!» На самом деле это было отжившее кресло. Вот, доктор, и я такое кресло. Вы считаете меня крепким потому, что я выдержал приступы таких бо-

лезней, какие прикончили бы изрядное количество людей совсем, а меня доконали только на три четверти. Весьма благодарен. Но это нисколько не мешает мне быть чем-то непоправимо поврежденным.

С помощью многозначительных греческих и латинских слов доктор стремится доказать мне, что я в хорошем состоянии, — для убеждения такого рода язык французский слишком ясен. Я все же даю себя уговорить и провожаю доктора до двери.

— И в добрый час! — говорит мне Тереза. — Вот как надо выпроваживать лекарей. Стоит вам принять его таким манером еще разика два-три, он больше не придет, а оно и к лучшему.

— Вот что, Тереза, раз уж я опять стал молодцом, не лишайте меня писем. Наверно, их накопилась целая кипа, и не давать мне их читать теперь было бы злодейством.

Немного поломавшись, Тереза подала мне письма. Но что толку? Я просмотрел конверты, и ни один не был надписан той милой ручкой, которую хотелось бы мне видеть здесь, перелистывающей Вечелью. Я отбросил в сторону всю пачку, не говорившую мне больше ничего.

Апрель — июнь

Дело было жаркое.

— Подождите, я обряжусь почище и сегодня еще пойду с в а м и , — сказала Тереза, — как в прошлые разы, возьму складной стул, и мы посидим на солнышке.

Право, Тереза считает меня немощным. Не спорю, я несомненно болен, но всему бывает конец. Особа по имени Болезнь давно ушла, и вот уже три месяца, как ее спутница — Поправка, дама с бледным и приятным лицом, мило со мною распрощалась. Слушайся я своей экономки, я бы стал просто-напросто господином Арганом * и напоследок дней своих надел бы себе на голову ночной колпак с лентами... Только не это! Я решил пойти один. Тереза решила иначе: в руках у нее складной стул, она желает мне сопутствовать.

— Тереза, завтра мы будем сидеть на солнце, у стены «Маленького Прованса», сколько вашей душе угодно. Но сегодня у меня спешные дела.

Дела! Она думает, что речь идет о деньгах, и толкует мне, что это не к спеху.

— Тем лучше! Но в нашем мире, кроме таких дел, бывают и другие.

Я молю, ропщу, спасаюсь бегством.

Погода довольно хорошая. Благодаря извозчику и божьему неоставленью я выполню свое намерение.

Вот и стена с надписью синими буквами: *Женский пансион мадемуазель Виргинии Префер.* Вот и решетчатые ворота, готовые широко распахнуться на парадный двор, если бы их отворяли. Но замок заржавел, и железные листы, прикрепленные к решетке изнутри, охраняют от нескромных взглядов юные души, которые мадемуазель Префер, ничтоже сумняшеся, наставляет в скромности, чистосердечии, справедливости и бескорыстии. Вот забранное решеткою окно с грязными стеклами — очевидно, в помещении для прислуги, — мутное и единственное око, открытое во внешний мир.

А вот и боковая дверца, куда я столько раз входил, теперь для меня запретная; я снова вижу ее решетчатый «глазок». Каменный приступок к ней сносился, и я своими близорукими даже в очках глазами все же различаю те белые царапинки, какими его исчертили подбитые гвоздями ботинки проходивших учениц. Не могу ли пройти по нему и я? Мне кажется, что в этом угрюмом доме Жанна страдает и втайне зовет меня. Нет, мне нельзя уйти отсюда. Тревога овладевает мной; я звоню. Испуганная служанка отворяет дверь боязливее чем когда-либо. Отдан приказ: мои свиданья с мадемуазель Жанной запрещаются. Я по крайней мере справляюсь о ее здоровье. Служанка, поглядев направо и налево, говорит мне, что Жанна здорова, и тут же захлопывает дверь перед моим носом. И я опять на улице.

Как много раз с тех пор бродил я вдоль этой же стены и проходил мимо боковой дверки, пристыженный и сокрушенный мыслью, что я сам слабее того ребенка, у которого нет в мире другой поддержки, кроме меня.

10 июня

Я превозмог в себе гадливость и отправился к мэтру Мушу. Прежде всего я обнаружил, что в конторе стало еще больше пыли и плесени, чем в прошлом году. Опять передо мной нотариус с его скупыми жестами и бегающими позади очков зрачками. Я приношу свои жалобы. Он отвечает... Но стоит ли в тетради, хотя бы и предназначенной к сожженью, закреплять воспоминание о пошлом негодяе? Он оправдывает мадемуазель Префер, так как давно оценил ее ум и характер. Воздерживаясь говорить по существу спора, он должен сказать, что внешняя сторона дела не в мою пользу. Это мало меня тревожит. Он добавляет (и это тревожит меня сильнее), что небольшая сумма, хранившаяся у него и предназначенная для воспитания его подопечной, уже исчерпана и он восхищен бескорыстием мадемуазель Префер, согласной держать у себя мадемуазель Жанну при настоящих обстоятельствах.

Чудесный свет, свет ясного дня, непорочною волной вливается в такое пакостное место и освещает такого человека; на улице он затопляет своим блеском все убожество густо населенного квартала.

Как ласков этот свет, как давно он наполняет мои глаза и как скоро я перестану наслаждаться им! Погруженный в думы, заложив руки за спину, я бреду вдоль укреплений и, сам не знаю как, вдруг оказываюсь среди тощих палисадников в глухом предместье. На краю пыльной дороги мне встретилось растение с ярким и в то же время сумрачным цветком, как будто созданным для единенья с чистейшею и благороднейшею скорбью. Это аквилегия. Наши отцы звали ее перчаткой богородицы. Но богородица, лишь превратив себя в малютку, чтобы явиться детям, могла бы сунуть пальчики в узкие коробочки цветка.

Вот толстый шмель хочет насильно протискаться в цветок; однако хоботок его не достигает до нектара, и старания лакомки напрасны. Наконец шмель отступается и вылетает весь обсыпанный пыльцой. И вновь летит своим тяжелым лётом, — но в предместье, загрязненном копотью заводов, цветы редки. Он воз-

вращается к аквилегии и в этот раз, проткнув венчик, высасывает нектар через проделанное им отверстие; я не поверил бы такой смышлености шмеля. Это поразительно. Цветы и насекомые восхищают меня все больше, но мере того как я внимательнее наблюдаю их. Я уподобляюсь доброму Ролену *, который восторгался цветами своих персиковых деревьев. Мне бы хотелось иметь красивый сад и жить на лесной опушке.

Август — ноябрь

У меня явилась мысль пойти воскресным утром и выждать час, когда воспитанницы мадемуазель Префер идут в приходскую церковь к обедне. Я видел, как они с серьезной миной прошли попарно, маленькие впереди. Меж ними было три одинаково одетых, кругленьких, чванливых коротышки, и я признал в них барышень Мутон. Их старшая сестра — та самая художница, которая нарисовала страшную голову Тация, сабинского царя. Сбоку суетилась, хмуря брови, помощница начальницы с молитвенником в руке. Средний возраст, а за ним старший прошли шушукаясь. Но я не видел Жанны.

Спрашивал в министерстве народного просвещения, имеются ли в недрах его папок отзывы об учебном заведении по улице Демур. Я добился того, что туда послали инспектрис. Они вернулись и дали наилучший отзыв. По их заключению, пансион Префер может считаться образцовым. Если я потребую обследования, — мадемуазель Префер наверняка получит академические пальмы *.

3 октября

Сегодня четверг, отпускной день в пансионе, поэтому я встретил в начале улицы Демур трех барышень Мутон. Поклонившись их матери, я спросил у старшей, лет двенадцати, как поживает ее подруга мадемуазель Жанна Александр.

Барышня Мутон ответила мне одним духом:

— Жанна Александр — мне не подруга. Ее держат в пансионе из милости, а потому заставляют подметать классные комнаты. Так говорит мадемуазель.

Три барышни Мутон зашагали дальше, а г-жа Мутон двинулась за ними по пятам, окинув меня через свое объемистое плечо недоверчивым взглядом.

Увы! Я дошел до подозрительных поступков. Г-жа де Габри вернется в Париж не ранее чем через три месяца. Без нее у меня нет ни сообразительности, ни такта; я только неудобная, тяжелая и вредная машина.

Однако же нельзя терпеть, чтобы Жанна оставалась служанкой в пансионе и подвергалась оскорблениям со стороны нотариуса Муша.

28 декабря

Погода была пасмурная и холодная. Стемнело. Я позвонил у боковой дверцы спокойно, как человек, которому уже ничто не страшно. Как только робкая служанка отворила, я сунул ей в руку золотой, пообещав такой же, если она даст мне возможность повидать мадемуазель Александр. Ответом было:

— Через час, у решетчатого окна.

И она захлопнула передо мной дверь с такою силой, что шляпа дрогнула у меня на голове.

Я добрый час прождал среди метели, затем подошел к окну. Ничего. Бушевал ветер, и густо падал снег. Рабочие с инструментом на плече, наклонив голову от густых хлопьев снега, шли мимо и наталкивались на меня. Ничего. Я опасался, что меня заметили. Я знал, что, подкупая служанку, поступал нехорошо, но нисколько не жалел об этом! Кто при нужде не умеет выйти из рамок общих правил — тот человек нестоящий. Прошло еще четверть часа. Ничего. Наконец окошко приоткрылось.

— Это вы, господин Бонар?

— Это вы, Жанна? В двух словах, что с вами?

— Чувствую себя хорошо, очень хорошо!

— Еще что?

— Меня поместили в кухне, и я подметаю классы.

— В кухне? Подметальщица? Боже милосердный!

— Да. Потому что опекун больше не платит за меня.

— Опекун ваш негодяй.

— Значит, вы знаете?

— Что?

— О, не вынуждайте меня говорить об этом. Лучше умереть, чем оказаться с ним вдвоем.

— Почему же вы мне не написали?

— За мной следили.

В один миг у меня созрело решение, и уже ничто не в силах было изменить его. Правда, мелькнула мысль, что я не вправе это делать, но эту мысль я презрел. Решившись, я стал благоразумен. Я начал действовать с исключительным спокойствием.

— Жанна, сообщается ли со двером та комната, где вы находитесь? — спросил я.

— Да.

— Вы можете сами отпереть дверь?

— Да, если никого нет в швейцарской.

— Идите поглядите и старайтесь, чтобы вас не увидели.

Я стал ждать, наблюдая за дверью и окном.

Секунд через шесть-семь Жанна вновь появилась за решеткой. Наконец-то!

— Служанка в швейцарской, — сказала она.

— Хорошо. Есть у вас чернила и перо?

— Нет.

— А карандаш?

— Есть.

— Просуньте его мне.

Я вынул из кармана старую газету и, несмотря на ветер, едва не задувавший фонари, и снег, слепивший мне глаза, смастерил, как мог, бандероль, адресованную мадемуазель Префер.

Надписывая адрес, я задал Жанне несколько вопросов.

— Когда приходит почтальон, он ведь опускает корреспонденцию в ящик и звонит? Прислуга открывает ящик и то, что там находит, сейчас же относит к мадемуазель Префер? Так делают при каждой разноске почты, да?

Жанна ответила, что, кажется, все происходит именно так.

— Увидим. Жанна, пойдите посмотрите еще раз и, как только служанка выйдет из швейцарской, отворяйте дверь и выходите на улицу.

С этими словами я сунул газету в ящик, резко позвонил и спрятался в соседнем подъезде.

Я пробыл там несколько минут. Вдруг дверца вздрогнула, слегка приотворилась, и в нее просунулась юная головка. Я охватил ее руками и привлек к себе:

— Идемте, Жанна, идемте.

Она тревожно смотрела на меня. Вероятно, она боялась, не сошел ли я с ума. Наоборот, я действовал с большим умом.

— Идемте, идемте, дитя мое.

— Куда?

— К госпоже де Габри.

Она подхватила меня под руку. Некоторое время мы бежали, точно воры. Бег — занятие, мало подходящее для человека моего телосложенья. Едва не задохнувшись, я остановился и оперся на нечто, оказавшееся жаровней продавца каштанов, который пристроился возле винной лавки, где пили извозчики. Один из них спросил, не требуется ли нам карета. Конечно! Нам требуется карета. Человек с кнутом, поставив стакан на оловянную стойку, влез на козлы и тронул лошадь. Мы были спасены.

— Ух! — воскликнул я, отирая лоб, ибо, несмотря на холод, пот с меня катился градом.

Странное дело: Жанна, по-видимому, лучше сознавала значенье только что содеянного нами. Она была очень серьезна и явно встревожена.

— В кухне! — воскликнул я с негодованьем.

Она покачала головой, как бы говоря: «Там или в другом месте, не все ли мне равно». При свете фонарей я с болью в сердце увидал, как похудело и вытянулось ее личико. Я больше не находил той живости, тех резких порывов, того изменчивого выраженья лица, которые так нравились мне в ней. Взгляд вялый, движенья связанные, вид угрюмый. Я взял ее за руку — руку жесткую, наболевшую и холодную. Бедняжка много выстрадала. На мои расспросы она спокойно рассказала, как мадемуазель Префер однажды вызвала ее к себе,

обозвала ее чудовищем и гадюкой, а за что — неизвестно.

Мадемуазель добавила: «Вы больше не увидите господина Бонара, который давал вам вредные советы и очень дурно поступил со мною». Я ей ответила: «Этому, мадемуазель, я не поверю никогда». Мадемуазель дала мне пощечину и отослала в класс. Весть, что я вас больше не увижу, окутала меня каким-то мраком. Вам знакомы вечера, когда бывает грустно от окружающей вас темноты? Так вот, представьте себе, что это длится недели, месяцы. Однажды я узнала, что вы говорите с начальницей в приемной; я вас подстерегла, и мы сказали друг другу «до свиданья». Мне стало немного легче. Спустя некоторое время мой опекун приехал, чтобы взять меня к себе на четверг. Я отказалась. Он очень мягко заметил, что я капризница, и оставил меня в покое. Но через день ко мне явилась мадемуазель Префер с таким злым видом, что я даже испугалась. В руках у ней было письмо. «Мадемуазель, — обратилась она ко мне, — ваш опекун ставит меня в известность, что ваши деньги пришли к концу. Не бойтесь: я не собираюсь выгонять вас, но полагаю, вы сочтете справедливым, что вам надо работать за свое содержание».

После этого она заставила меня убирать в доме, а иногда по целым дням держала взаперти на чердаке. Вот, господин Бонар, что произошло, пока вы не бывали. Если бы я и могла писать вам — не знаю, стала ли бы я это делать: я не верила, чтоб вы могли взять меня из пансиона; а раз меня не принуждали ходить к господину Мушу, спешить было нечего. Ждать я могла и в кухне и на чердаке.

— Жанна, — воскликнул я, — хотя бы нам пришлось бежать даже в Океанию, мерзкая Префер вас больше не получит! Клянусь вам в том великой клятвой. А почему бы нам не поехать в Океанию? Климат там здоровый, в одном журнале я как-то видел, что там имеются даже фортепьяно. Покамест едем к госпоже де Габри, — на наше счастье, она дня три-четыре тому назад вернулась в Париж; мы оба младенцы, и нам очень нужна помощь.

Пока я говорил, лицо ее бледнело и темнело, взор затуманился, полуоткрытые губы стянула горестная складка. Она упала головой мне на плечо и потеряла сознание.

Я взял ее на руки и, как уснувшего ребенка, понес по лестнице к г-же де Габри. Выбившись из сил от усталости и волнения, я опустился на банкетку на площадке лестницы. Здесь Жанна скоро пришла в себя.

— Это вы! — сказала она, открывая глаза. — Я рада.

В таком состоянии мы постучались в двери нашего друга.

Пробило восемь часов. Г-жа де Габри радушно приняла ребенка и старика. Не подлежит сомненью, что она была изумлена, но она не расспрашивала нас.

— Мы оба пришли отдать себя под ваше покровительство, — сказал я. — И прежде всего мы просим дать нам поужинать. По крайней мере — Жанне, а то сейчас, в карете, она от слабости упала в обморок. Мне же в такой поздний час нельзя съесть ни кусочка, иначе я проведу мучительную ночь. Надеюсь, господин де Габри здоров?

— Он дома, — ответила она.

И тотчас велела доложить ему о нашем приходе.

Я с удовольствием увидел его открытое лицо и пожал его большую руку. Все четверо мы перешли в столовую. И когда Жанне подали холодную говядину, к которой она не прикоснулась, я начал рассказ о нашем приключении. Поль де Габри попросил разрешения закурить трубку, затем стал молча меня слушать. Когда я кончил, он почесал в густой короткой бороде.

— Черт возьми! — воскликнул он. — В неприятную историю вы себя впутали, господин Бонар!

Заметив, что Жанна смотрит большими испуганными глазами то на него, то на меня, он мне сказал:

— Пойдемте.

Я последовал за ним в кабинет, где на темных обоях сверкали при свете ламп охотничьи ножи и карабины. Усадив меня на кожаный диван, он заговорил:

— Что вы наделали, что вы наделали, великий боже! Сманивание малолетних, похищение, увод! Весе-

ленькое дельце навязали вы себе на шею. Вам угрожает ни много ни мало — тюремное заключение от пяти до десяти лет.

— Боже милосердный! — воскликнул я. — Десять лет тюрьмы за спасение невинного ребенка!

— Таков закон! — ответил г-н де Габри. — Видите ли, господин Бонар, законы я знаю довольно хорошо, — не потому, что проходил юриспруденцию, но в качестве люзанского мэра мне самому пришлось учиться, чтобы учить своих подчиненных. Муш — мерзавец, Префер — пройдоха, а вы... не нахожу достаточно выразительного словца.

Раскрыв библиотечный шкаф, где лежали собачьи ошейники, хлысты, шпоры, стремена, сигарные ящики и несколько справочников, он вынул уголовный кодекс и начал перелистывать:

— «Преступления и проступки... незаконное лишение свободы»... это не ваш случай. «Увод малолетних» — вот это ваш... «Статья триста пятьдесят четвертая. Всякий, кто обманом или силою уведет или подстрекнет увести малолетних, или же увлечет их за собой, сманит или переместит, или кого-либо подстрекнет увлечь, сманить или переместить с того места, куда они помещены лицами, коим они подчинены или вверены, подлежит наказанию тюремным заключением. Смотри Уголовный кодекс, статья двадцать первая и двадцать восьмая... Двадцать первая. — Срок заключения не менее пяти лет... Двадцать восьмая. — Приговор о тюремном заключении влечет за собой лишение прав состояния». Ясно, не так ли, господин Бонар?

— Совершенно ясно.

— Продолжим: «Статья триста пятьдесят ш е с т а я. — Если похитителю не исполнилось еще двадцати одного года, он наказуется только...» Это к вам не относится. «Статья триста пятьдесят седьмая. — В случае, если похититель женится на похищенной им девице, преследование против него может быть возбуждено только по жалобе тех лиц, кои, на основании гражданского кодекса, имеют право требовать признания брака незаконным, и осуждение может иметь место только после окончательного постановления о расторжении

брака». Не знаю, входит ли в ваши планы женитьба на мадемуазель Александр. Как видите, свод законов — добрый малый и дает вам лазейку. Но шутки неуместны: положение ваше скверное. Как мог человек, подобный вам, вообразить, будто в Париже, в девятнадцатом веке, можно безнаказанно похищать юных девиц? У нас теперь не средние века, и умыкание не разрешается.

— Напрасно вы думаете, что умыкание было разрешено старинным правом, — ответил я. — Об этом вы найдете у Балюза повеление короля Хильдеберта, данное в Кельне в пятьсот девяносто третьем или пятьсот девяносто четвертом году. А кто не знает знаменитого указа, данного в Блуа в мае тысяча пятьсот семьдесят девятого года, категорически устанавливающего, что тот, кто прельстит юношу или юницу моложе двадцати пяти лет браком или другим каким посулом, помимо желания, воли или нарочитого согласия отца, матери и опекунов, подлежит смертной казни! «А в равной мере... — прибавляет указ, — а в равной мере будут особливо наказаны все те, кто соучаствовал в означенном похищении, и все те, кто споспешествовал советом, подмогою и пособничеством, какого бы рода оно ни было». Таковы точные или близкие к этому выражения указа. Сейчас вы ознакомили меня со статьей наполеоновского кодекса, которая избавляет похитителя от преследования в случае его женитьбы на похищенной им девице, и я припоминаю, что в бретонском обычном праве похищение, в случае последующего брака, было ненаказуемо. Но этот обычай повел к злоупотреблениям и был отменен около тысяча семьсот двадцатого года. Последнюю дату я даю вам с точностью до десяти лет. Память моя стала плоха, и миновали времена, когда я мог без передышки наизусть продекламировать полторы тысячи стихов «Жерара Руссильонского» *. О капитулярии * Карла Великого, устанавливающем *виру* за умыкание, я вам не говорю, ибо, наверно, он у вас на памяти. Вы видите, дорогой господин де Габри, что при трех династиях старой Франции умыкание рассматривалось как преступление наказуемое. Большая ошибка думать, будто средние века были эпохою хаоса. Наоборот, вы убедитесь...

Господин де Габри прервал меня, воскликнув:

— Вы знаете указы Блуа, Балюза, Хильдеберта и капитулярии, а не знаете кодекса Наполеона! *

Я ответил, что этого кодекса действительно не читал никогда, и г-н де Габри, видимо, был этим поражен.

— Понимаете ли вы теперь все значение того, что вы сделали?

По правде говоря, я еще не понимал. Но мало-помалу благодаря весьма толковым разъяснениям г-на Поля я пришел к сознанию, что меня будут судить не по моим намерениям, которые невинны, а по моему деянию, заслуживающему осуждения. Тогда я впал в отчаянье и стал сокрушаться.

— Что же делать?! — воскликнул я. — Что делать?! Неужели я погиб безвозвратно и погубил вместе с собою бедную девочку, желая ее спасти?

Господин де Габри молча набил трубку и зажигал ее так медленно, что его доброе широкое лицо минуты три-четыре светилось красным отблеском, как у кузнеца перед кузнечным горном. Затем он произнес:

— Вы спрашиваете, что делать. Не делайте ничего, дорогой господин Бонар. Ради бога и вашей пользы, не делайте ничего. Ваши дела и так плохи, не путайтесь в них сами, а то наделаете новых бед. Обещайте только отвечать за все, что буду делать я. Завтра с утра я повидаю мэтра Муша, и если он, как мы и думаем, подлец, я найду средство обезвредить его, хотя бы в это замешался сам черт. Все зависит от Муша. Сейчас уже поздно отвозить мадемуазель Жанну обратно в пансион, и на эту ночь моя жена возьмет ее к себе. Вот это именно и есть соучастие в преступлении, но мы таким образом избавляем девушку от двусмысленного положения. Вы же, дорогой, возвращайтесь поскорее на набережную Малакэ, и если туда придут за Жанной, вам будет нетрудно доказать, что у вас ее нет.

Пока мы разговаривали, г-жа де Габри хлопотала, чтобы уложить спать свою гостью. Я видел, как по коридору прошла горничная, перекинув через руку простыни, надушенные лавандой.

— Вот нежный и благородный запах, — заметил я.

— Как же иначе? Мы ведь деревенские жители, — ответила мне г-жа де Габри.

— О! Если бы и я мог стать деревенским жителем! — ответил я. — Удастся ли когда-нибудь и мне вдыхать, подобно вам в Люзансе, запахи полей, живя под кровлей, затерявшейся в листве! А если это пожеланье слишком притязательно для старика, оканчивающего жизнь, я хочу по крайней мере, чтоб мой саван был надушен лавандой, как эти простыни.

Мы условились, что наутро я приду к ним завтракать. Однако мне строго запретили являться раньше двенадцати. Жанна, обнимая меня, молила не отвозить ее обратно в пансион. Мы расстались растроганные и смущенные.

У себя дома, на площадке лестницы, я застал Терезу в состоянии тревоги, доводившей ее до ярости. Она высказывала ни много ни мало, как мысль о том, чтобы впредь запирать меня на ключ.

Какую ночь провел я! Ни на одно мгновенье я не сомкнул глаз. То я смеялся, как мальчишка, удаче моей проделки, то видел с неизъяснимою тоской, как меня тащат в суд и как, сидя на скамье подсудимых, я держу ответ за преступленье, которое я совершил столь естественно. Я был в ужасе, и все же не чувствовал ни укоров совести, ни сожалений. Солнце заглянуло ко мне в комнату и весело играло на изножии кровати, а я сотворил молитву:

— Боже, создавший небо и росу, как сказано в «Тристане» *, суди меня в праведности твоей не по деяниям, а по замышлениям моим, праведным и чистым, — и я воскликну: «Слава в вышних богу, и на земле мир и в человецех благоволение! В руки твои предаю похищенное мною дитя! Соверши то, чего не мог совершить я: сохрани его от всех врагов. И да благословенно будет имя твое!»

29 декабря

Войдя к г-же де Габри, я увидел Жанну совсем преобразившейся.

Не взывала ли она, как я, при первых утренних лучах к тому, кто создал небо и росу? Сладость душевного покоя была в ее улыбке.

Госпожа де Габри позвала Жанну, чтобы закончить ее прическу, ибо милая хозяйка захотела уложить собственноручно волосы доверенному ей ребенку. Придя немного ранее условленного часа, я помешал завершить ее прелестный туалет. В наказание меня заставили одного ждать в гостиной. Вскоре ко мне присоединился г-н де Габри. Он, видимо, пришел из города, ибо на лбу его остался след от шляпы. Лицо выражало радостное оживленье. Я не счел удобным задавать ему вопросы, и мы все вместе пошли завтракать. Когда слуги кончили подавать на стол, г-н Поль, приберегавший свой рассказ до кофе, сказал нам:

— Итак, я был в Левалуа.

— Вы видели мэтра Муша? — оживленно спросила г-жа де Габри.

— Нет! — ответил он, приглядываясь к нашим лицам, выказавшим разочарованье.

Насладившись пристойное время нашим беспокойством, этот чудесный человек добавил:

— Мэтра Муша больше нет в Левалуа. Мэтр Муш покинул Францию. Послезавтра будет неделя, как он улепетнул, прихватив с собою деньги своих клиентов, — довольно кругленькую сумму. Контора оказалась запертой. Об этом событии мне рассказала его соседка, с немалым количеством проклятий и всяких пожеланий. Нотариус сел в поезд, отходивший в семь часов пятьдесят пять минут, и сел не один: он увез с собой дочь местного парикмахера. Этот факт мне подтвердил и полицейский комиссар. Поистине, мог ли мэтр Муш убраться более кстати?! Задержись он на неделю — и в качестве представителя общества он потянул бы вас, господин Бонар, в суд как преступника. Теперь нам нечего бояться. За здоровье мэтра Муша! — воскликнул он, наливая арманьяк.

Мне бы хотелось жить подольше, чтоб долго помнить это утро. Мы сидели вчетвером в большой белой столовой за столом из навощенного дуба. У г-на Поля веселость здоровая, чуть даже грубоватая, и он пил арманьяк большими глотками. Молодчина! Г-жа де Габри и мадемуазель Александр мне улыбнулись, и эта улыбка вознаградила меня за мои страдания.

Войдя к себе в квартиру, я подвергся самым язвительным упрекам Терезы, которая отказывалась понимать мой новый образ жизни. Я, по ее мнению, выжил из ума.

— Да, Тереза, я безумный старик, а вы безумная старуха. Все это верно. Да поможет нам бог, Тереза, даровав нам новые силы, ибо у нас есть новые обязанности. Но дайте полежать мне на этом канапе, стоять я больше не могу.

15 января 1877 года

— Здравствуйте, господин Бонар, — говорит Жанна, отворяя мне дверь, в то время как запоздавшая Тереза ворчит во мраке коридора.

— Мадемуазель, прошу вас величать меня торжественно моим званием и говорить мне: «Здравствуйте, мой опекун».

— Все устроилось? Уже? Какое счастье! — восклицает Жанна, хлопая в ладоши.

— Устроилось, мадемуазель, в городском присутствии, перед мировым судьей, и с сего дня вы подчиняетесь моей власти... Вы смеетесь, моя питомица? Я вижу по вашим глазкам: какая-то сумасбродная мысль мелькает в вашей головке. Новое чудачество?

— О нет, господин... опекун. Я поглядела на ваши седые волосы. Они вьются по полям вашей шляпы, как жимолость по балкону; они очень красивы, и так мне нравятся.

— Сядьте, моя питомица, и, если можно, не говорите больше пустяков; у меня с вами будет серьезный разговор. Выслушайте меня. Я думаю, вы не стремитесь вернуться к мадемуазель Префер?.. Нет. А что бы вы сказали, если бы для завершения вашего образования я вас оставил здесь до... а до чего? Ну, как говорится, навсегда.

— О! — воскликнула она, покраснев от радости.

Я продолжал:

— Там, позади, есть маленькая комнатка, и Тереза приготовила ее для вас. Вы замените там старинные книги, как день сменяет ночь. Пойдите с Терезой посмотреть, годится ли комната для жилья. С госпожой

де Габри мы сговорились, что уже сегодня вы ляжете спать в той комнате.

Она бросилась туда, но я вернул ее.

— Слушайте дальше, Жанна. До сей поры вам удавалось быть желанной гостьей в глазах моей домоправительницы, хотя по своему нраву она, как все старики, довольно нелюдима. Считайтесь с ней. Я сам почел за должное считаться с ней и терпеть ее выходки. Советую вам, Жанна, уважать ее. Говоря так, я не забываю, что она служанка моя и ваша, но этого она не забудет и сама. А вы должны уважать в ней ее почтенный возраст и честную душу. Это скромное существо долго жило достойным образом и с этим свыклось. Терпите непреклонность этой прямой души. Умейте приказывать; она сумеет повиноваться. Ступайте, дочь моя. Устройте вашу комнату, как вам покажется удобным для труда и отдыха.

Направив Жанну таким напутствием по стезе хорошей хозяйки, я принялся за чтение одного журнала, хотя руководимого и молодыми людьми, но отличного. Тон его резкий, но дух ревностный. Статья, прочитанная мной, по своей решительности и твердости превосходит все, что писалось в дни моей юности. Поль Мейер *, автор статьи, смело клеймит каждую ошибку.

Мы не были такими безжалостными судьями. Наша снисходительность шла далеко. Она была готова хвалить заодно и ученого и невежду. А надо уметь порицать, это суровый долг. Я вспоминаю маленького Раймона (так его звали). Он ничего не знал, был крайне ограничен, но очень любил свою мать. Мы старались не выдавать невежество и тупость такого хорошего сына, и благодаря нашей снисходительности маленький Раймон стал академиком. Матери его уже не было в живых, а почести сыпались на него дождем. Он стал всемогущ, к великому ущербу своих собратий и науки. Но вот пришел мой юный друг по Люксембургскому саду.

— Добрый вечер, Жели. Вид у вас сегодня радостный. Что с вами произошло, дорогой мой юноша?

Произошло то, что он весьма прилично защитил диссертацию и числится на хорошем счету. Вот о чем

ставит он меня в известность, добавляя, что мои работы, когда о них шла речь на этом заседании, вызывали у профессоров безоговорочные похвалы.

— Вот и отлично, Жели; я счастлив, что моя старая репутация соединяется с вашей молодой известностью. Вы знаете, я живо интересовался вашей диссертацией, но за домашними делами забыл, что защищали вы ее сегодня.

Мадемуазель Жанна как раз явилась осведомить его насчет этих домашних дел. Шалунья впорхнула легким ветерком в обитель книг, воскликнув, что ее комната — просто чудо! Увидав Жели, она густо покраснела. Но от судьбы своей не уходил еще никто.

Я подметил, что оба в этот раз застенчивы и не разговаривают друг с другом.

Тише, Сильвестр Бонар! Наблюдая за своей питомицей, вы забываете, что теперь вы опекун. Вы им являетесь с сегодняшнего утра, и новая должность уже налагает на вас щекотливые обязанности. Бонар, вы обязаны ловко устранить этого молодого человека, вы обязаны... Э! разве я знаю, что обязан делать?..

Жели делает выписки из моего уникального экземпляра «Ginevera delle dare donne» [1]. Я наудачу взял с ближайшей полки книгу, — раскрываю ее и с благоговением вступаю в середину трагедии Софокла *. Старея, я проникаюсь любовью к двум мирам античности, и отныне поэты Греции и Рима стоят в обители книг на высоте моей руки. Я читаю слова сладостного и светозарного хора, текущие медленным речитативом среди бурного действия, — хора фиванских старцев «Ἔρως ἀνίκατε...» [2] «Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы, летишь через моря и посещаешь хижины, тебя не избежит бессмертный, как не избегнет ни единый человек в его быстротекущей жизни; и всяк безумствует, тобою одержимый». Когда прочел я эту пленительную песню, передо мною встала фигура Антигоны в ее ненарушимой чистоте. Какие образы, какие боги и богини носились

---

[1] «Жизнеописание знаменитых женщин» (*итал.*).

[2] Эрот непобедимый (*греч.*).

в небе, чистейшем из небес! Слепой старец, царь-нищий, долго бродил, держась за Антигону *, и, наконец, сошел в священную гробницу, а дочь его, прекрасная, как все прекраснейшие образы, когда-либо зачатые человеческой душой, противится тирану и благочестиво погребает брата. Она любит сына тирана, а сын любит ее. И когда она идет на казнь, постигшую ее за благочестье, старцы поют:

«Эрот непобедимый, ты залетаешь в богатые дома, покоишься на нежных щеках юной девы...»

Я не эгоист. Я мудр. Мне нужно воспитать эту девушку; она слишком юна, чтобы выдать ее замуж. Нет, я не эгоист, но нужно подержать ее несколько лет у себя, только со мной. Разве она не может подождать до моей смерти? Будьте покойны, Антигона, старый Эдип вовремя сойдет в священную гробницу.

А сейчас Антигона помогает Терезе чистить репу. Она говорит, что это занятие подходит ей, так как оно родственно скульптуре.

Май

Кто бы узнал обитель книг? Теперь везде стоят цветы. Жанна права: в голубой фаянсовой вазе эти розы очень красивы. Они с Терезой каждый день ходят на рынок и покупают там цветы. Цветы действительно очаровательные создания природы. Надо будет осуществить мое намеренье и там, в деревне, изучить их со всей той методичностью, на какую я способен.

А что мне делать здесь? Погубить вконец глаза старинными пергаментами, которые мне ничего ценного уже не говорят? Когда-то с благородным пылом я рылся в древних текстах. Что же надеялся я там найти? Дату благочестивого вклада, имя монаха-изографа * или писца, стоимость хлеба, поля или вола, административное или судебное постановление, — все это, но и другое — нечто таинственное, смутное и возвышенное, то, что подогревало мое воодушевление. Но шестьдесят лет искал я это «нечто» и не мог найти. Те, кто стоили больше меня, — учителя, великие Фориели и Тьери *, открывшие так много, — умерли в работе, также не

открыв это «нечто», безыменное и бестелесное, но без чего здесь, на земле, не зачалось бы ни одно творение ума. Теперь, благоразумно разыскивая только то, что я могу найти, я больше ничего не нахожу и, вероятно, никогда не кончу «Историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре».

— Опекун, угадайте, что у меня в носовом платке?

— По всей видимости, цветы, Жанна?

— О нет, не цветы. Смотрите!

Я смотрю и вижу маленькую серую головку, вылезающую из платка. Это серый котенок. Платок раскрывается, котенок прыгает на ковер, отряхивается, поднимает одно ухо, потом другое и настороженно изучает обстановку и людей.

Еле переводя дыхание, является Тереза с корзинкой на руке. Скрытность не ее порок; она в запальчивости упрекает барышню за то, что та приносит в дом неведомую кошку. В оправданье Жанна рассказывает, «как все это вышло». Проходя вместе с Терезой мимо аптеки, она видит, что аптекарский ученик пинком выкидывает на улицу котенка. Котенок, в изумлении и замешательстве, спрашивает себя: остаться ли ему на улице, среди прохожих, которые его толкают и пугают, или вернуться в аптеку, рискуя снова вылететь оттуда на кончике ботинка? Жанна считает положение котенка критическим и понимает причину замешательства. Вид у котенка глупый; она думает, что этому виною нерешительность. Она берет его на руки. Не чувствуя себя покойно ни на улице, ни в помещении, он соглашается остаться на руках в пространстве. Успокоив его лаской, Жанна говорит аптекарскому ученику:

— Если котенок вам не нравится, то не надо бить его, лучше отдайте мне.

— Берите, — отвечает аптекарь.

— И вот... — добавляет в заключение Жанна.

И ласковым голосом она обещает котенку всяческие лакомства.

— Он очень худ, — говорю я, разглядывая это жалкое создание, — к тому же очень некрасив.

Жанна не находит его некрасивым, но признает, что

вид у него еще глупее прежнего, — на этот раз не вследствие нерешительности; по ее мнению, такое досадное выраженье запечатлелось на его физиономии от удивления. Если бы мы поставили себя на его место, думает она, то согласились бы, что ему трудно понять что-нибудь в превратностях своей судьбы. Мы смеемся бедному животному в глаза, но оно продолжает быть комически серьезным. Жанна намеревается взять котенка на руки, но он прячется под стол и не хочет вылезать оттуда, даже увидев блюдце с молоком.

Мы уходим; блюдце пусто.

— Жанна, у вашего питомца вид плачевный, нрава он скрытного; хорошо, если в обители книг он не наделает таких дел, что придется возвратить его в аптеку. Пока же необходимо дать ему какое-нибудь имя. Я предлагаю назвать его Дон Гри де Гутьер [1], но это, пожалуй, длинновато. «Пилюля», «Пластырь» или «Касторка» короче, да и лучше тем, что напоминают о его происхождении. Как вы скажете?

— «Пилюля» подошло бы, — ответила Жанна, — но великодушно ли, называя его таким именем, все время напоминать ему о тех несчастьях, от которых мы его избавили? Это значит заставлять его платить за наше гостеприимство. Будем милостивее и дадим ему красивое имя в надежде, что он его заслужит. Смотрите, как он глядит на нас: он видит, что речь идет о нем. Он уже не так глуп с тех пор, как перестал чувствовать себя несчастным. От несчастия глупеешь, я это знаю хорошо.

— Ну что ж, если хотите, Жанна, назовем вашего любимца Ганнибалом. Вам сразу не понять, насколько удачно это имя. Но надо заметить, что его предшественник в обители книг — ангорский кот, с которым я обычно делился своими мыслями, как с мудрой, неболтливой личностью, — звался Гамилькаром. Естественно, что это имя родит другое, и Ганнибал сменяет Гамилькара.

На этом мы и согласились.

— Ганнибал! Поди сюда! — крикнула Жанна.

---

[1] Дон Серый из водосточного желоба (*франц.*).

Ганнибал, испугавшись необычной звучности своего собственного имени, забился под книжный шкаф — в такое узкое пространство, что там не поместилась бы и крыса.

Вот как достойно носят великое имя!

Сегодня я был в настроении работать и окунул уже в чернильницу кончик пера, как вдруг послышался звонок. Если впоследствии какой-нибудь бездельник станет читать эти листы, измаранные стариком без воображенья, он будет смеяться над тем, что в моем рассказе то и дело раздаются звонки, не вводя при этом в действие ни нового лица, ни нежданной сцены. В театре — как раз наоборот. Господин Скриб * всегда отворяет двери с умыслом, для вящего удовольствия барышень и дам. Это искусство. Я бы скорее повесился, чем написал бы водевиль, — не из презрения к жизни, а по той причине, что не мог бы выдумать ничего завлекательного. Выдумать! Для этого необходимо таинственное наитие. А для меня бы дар такого рода стал роковым. Представьте себе, что я вдруг выдумаю какого-нибудь монашка в своей истории аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Что бы сказали молодые ученые? Какой скандал в Архивной школе! Вот Академия не скажет ничего, да и подумает не больше. Мои собратья пишут мало, а читают еще меньше. Они придерживаются мнения Парни *, который говорил:

Да, жить в покое безразличья —
Высокой мудрости удел.

Жить возможно незаметнее, чтобы жить возможно лучше, — вот чего добиваются эти подсознательные буддисты. Мудрее этой мудрости, пожалуй, нет. Все это по поводу звонка Жели.

Этот молодой человек совершенно изменил характер своего поведения. Теперь степенность сменила легкомыслие, а молчаливость — болтовню. Жанна следует его примеру. Мы находимся в периоде сдерживаемой страсти. Как я ни стар, но в этом я не ошибаюсь: дети любят друг друга сильно и глубоко. Теперь Жанна стала избегать Жели и прячется в свою комнату, когда он входит в библиотеку. Но как она умеет находить

его в себе самой, когда она одна! Уединяясь каждый вечер, она с ним говорит своей игрой на фортепиано в стремительном трепещущем звучании, этом новом выраженье обновленной ее души.

Что ж! Отчего и не сказать? Отчего не признаться в своей слабости? Если я скрою от себя свой эгоизм, станет ли он менее достоин порицанья? Итак, скажу: да, я ждал другого; да, я рассчитывал беречь ее для одного себя, как свое дитя, как внучку, — не навсегда, и даже не долго, но все же несколько лет. Я стар. Разве не могла б она повременить? Кто знает, с помощью подагры и артрита я, может быть, не слишком злоупотребил бы ее терпеньем? Вот чего я желал, на что надеялся. Свои расчеты я делал без нее и без этого молодого вертопраха. Расчет мой оказался плох, но просчет от этого не менее жесток. Впрочем, мне кажется, друг мой Сильвестр Бонар, ты осуждаешь себя довольно легкомысленно. Если тебе хотелось сохранить эту девицу при себе еще несколько лет, то это было столь же в ее интересах, как и в твоих. Ей нужно многому учиться, а ты ведь не такой учитель, чтоб им пренебрегать. Когда нотарий Муш, впоследствии так кстати занявшийся мошенничеством, почтил тебя своим визитом, ты с жаром увлекшейся души изложил ему свою систему воспитанья. И все старания твои были направлены на то, чтобы осуществлять эту систему. Жанна — неблагодарная, а Жели — прелестник.

Однако же, раз я не выгоняю его вон, что было бы невежливо и гадко, моя обязанность принять его; уже довольно долго сидит он в маленькой гостиной против севрских ваз, милостиво подаренных мне королем Луи-Филиппом. Хотя по их фарфору написаны «Жнецы» и «Рыбаки» Леопольда Робера, Жанна и Жели единодушно находят эти вазы отвратительными.

— Дорогой юноша, простите, что я не сразу принял вас. Я заканчивал работу.

Я говорю правду: размышление — это работа. Но Жели понимает иначе, он думает, что дело идет об археологии, и желает мне закончить поскорее «Историю аббатов Сен-Жермен-де-Пре». И только доказав свой интерес ко мне, он наконец спрашивает, как поживает

мадемуазель Александр. Я отвечаю: «Очень хорошо», но сухим тоном, чтобы подчеркнуть мой нравственный авторитет опекуна.

После минутного молчания мы беседуем о школе, о новых книгах и об успехах исторических наук. Мы вдаемся в общие места. Общие места — удобное прибежище. Я стараюсь привить Жели хотя немного уваженья к тому поколению историков, к которому я сам принадлежу. Я говорю ему:

— История была искусством и допускала всякие причуды воображения, а в наше время она стала наукой, где нужно действовать строго методически.

Жели просит разрешенья не согласиться с моим взглядом. Он заявляет, что, по его мнению, история не наука и не станет ею никогда.

— Прежде всего, — говорит он, — что такое история? Письменное изображение событий прошлого. Но что такое событие? Что это — любой факт? «Ни в коем случае! — говорите вы. — Это факт достопримечательный». А как же судит историк, является ли факт достопримечательным или нет? Он судит произвольно, следуя своему вкусу, прихоти, представлению, — словом, как художник; ведь факты по своей собственной природе не делятся на исторические и неисторические. Кроме того, факт есть нечто крайне сложное. Сможет ли историк представить факты во всей их сложности? Нет, это невозможно. Он их представит, отбросив большинство тех частностей, из коих они и состоят, а следовательно — урезанными, искалеченными и не похожими на то, чем они были. О связи же между фактами не приходится и говорить. Если факт, именуемый историческим, подготовлен, — что возможно, — одним или несколькими фактами неисторическими и в качестве таковых неизвестными, — скажите, пожалуйста, какое у историка есть средство определить взаимоотношения всех этих фактов? И, при всем этом, господин Бонар, я еще предполагаю, что у историка перед глазами свидетельства бесспорные, в действительности же он верит тому или другому свидетелю, руководясь только чутьем. История не наука; это искусство, и преуспеть в ней можно лишь воображеньем.

В этот момент Жели напоминает мне того юного безумца, который некогда рассуждал при мне вкривь и вкось у статуи Маргариты Наваррской в Люксембургском саду. Вот на одном из поворотов разговора мы сталкиваемся носом к носу с Вальтером Скоттом, но мой юный отрицатель рассматривает его как личность «старомодную», как «трубадура», как «фигурку с бронзовых часов». Это его собственные выражения.

— Однако, — говорю я, разгоряченный защитой славного отца Люции и Пертской красавицы *, — в его чудесных романах все прошлое живет; это — история, это — эпопея!

— Старая рухлядь, — заявляет Жели.

Поверите ль, этот несмышленыш утверждает, будто ни один ученый не может представить себе точно, как жили люди за пять-шесть веков до нас, потому что с большим трудом себе рисуешь, какие они были десять—пятнадцать лет тому назад. Для него историческая поэма, исторический роман, историческая живопись — отвратительно фальшивый жанр!

— Во всех искусствах художник изображает только свою душу, — добавляет Жели, — и в какой бы костюм ни одевал он свое творение, оно по духу современно художнику. Чему дивимся мы в «Божественной Комедии», как не великой душе Данте? Что в мраморах Микеланджело необычайно, как не сама личность Микеланджело? Художник либо отдает своим твореньям собственную жизнь, либо вырезает марионеток и одевает кукол.

Сколько парадоксов и непочтительности! Но дерзновенья молодежи меня не огорчают. Жели встает и вновь садится; я отлично знаю, чем он озабочен и кого он ждет. Вот он говорит мне о своем заработке в полторы тысячи франков, к которому надо прибавить доход в две тысячи, полученный в наследство. Меня не проведешь такою откровенностью. Я знаю хорошо: все эти расчеты он преподносит, желая осведомить меня, что человек он установившийся, порядливый, пристроенный, с доходом, — одним словом: годен для женитьбы. Что и требовалось доказать, как говорят геометры.

Раз двадцать он вставал и вновь садился. В двадцать первый он поднимается и, не дождавшись Жанны, уходит огорченный.

Как только он ушел, Жанна является в обитель книг, якобы присмотреть за Ганнибалом. Она огорчена и жалостным голосом зовет своего любимца, чтобы дать ему молока. Узри печальный лик, Бонар! Смотри, тиран, на дело рук своих! Ты разлучил их, но лик у них един; и ты по одинаковому выраженью видишь, что, невзирая на тебя, они едины в мыслях. Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло! * Вот что значит быть опекуном! Взгляните на нее: став на колени, она руками держит головку Ганнибала.

Да! Ласкай это глупое животное! Жалей его! Вздыхай над ним! Нам ведомо, коварная, куда стремятся ваши вздохи и что причиной ваших жалоб.

Все это — картина, и я смотрю на нее долго; взглянув затем на библиотеку, я говорю:

— Жанна, мне наскучили эти книги; давайте продадим их.

20 сентября

Кончено: они помолвлены. Жели сирота, как и Жанна, и просит у меня ее руки через своего профессора, моего коллегу, высокочтимого за свои знания и свой характер. Но, праведное небо, что это за посланец любви! Медведь — не пиренейский, а кабинетный; а эта разновидность еще страшнее.

— Правильно это или неправильно (по-моему, неправильно), но Жели не придает значения приданому; он вашу питомицу берет в одной сорочке. Скажите — да, и конец делу. Только поскорее, а то мне хочется вам показать лотарингские жетоны, довольно любопытные, каких вы и не видывали, я в том уверен.

Вот точные его слова. Я отвечал, что поговорю с Жанной, и тут же с немалым удовольствием заявил ему, что моя питомица с приданым.

Вот оно, приданое, — моя библиотека! Анри и Жанна бесконечно далеки от подозрений на этот счет, вообще же меня считают богаче, чем я есть, — это факт. У меня вид старого скупца. Вид, разумеется, весьма обманчи-

вый, но благодаря ему я пользуюсь большим уважением. Никого на свете не уважают так, как скаредного богача.

Я говорил с Жанной, но разве нужно было мне выслушивать ее, чтобы услыхать ее ответ? Кончено! Они помолвлены.

Ни с характером, ни с обликом моим не вяжется — подсматривать за этой юной парой, чтобы потом записывать их слова и поступки. Noli me tangere [1] — вот требование истинной любви. Я знаю свой долг — уважать тайну девственной души, о коей я пекусь. Пусть эти дети друг друга любят! Ничто из долгих излияний, ничто из их невинных безрассудств не отразится в тетради старого опекуна, чья власть была легка и длилась так недолго!

Впрочем, я не сижу сложивши руки: у них свои дела, а у меня свои. Я самолично составляю каталог моей библиотеки, имея в виду продать ее с аукциона. Эта работа меня и огорчает и занимает. Я тяну ее, быть может, дольше, чем это требуется, и перелистываю без необходимости и пользы все эти экземпляры, столь дорогие моей мысли, моим глазам, моей руке. Это — прощанье, а в природе человека всех времен было — длить прощанье.

Вот толстый том; за тридцать лет он столько мне служил в работе, — могу ли я расстаться с ним без должного почтенья, как к старому слуге? А этот укреплял меня своею здравою доктриной, — разве я не обязан напоследок приветствовать его, как своего учителя? Но всякий раз, когда мне попадается том, который ввел меня в ошибку иль огорчил меня неверной датой, пробелом, ложью и прочими напастями в археологии, — я говорю с горькой радостью: «Прочь, прочь от меня, предатель, обманщик, лжесвидетель, уйди подальше vade retro [2], — пусть ты, напрасно оцененный на вес золота из-за твоей ложной, ворованной известности и

---

[1] Не тронь меня (*лат.*).

[2] Начало фразы из евангелия: «Изыди, сатана» (*лат.*).

красивого сафьянового одеянья, — пусть ты войдешь в витрину биржевого маклера-библиомана: тебе его не совратить, ибо он читать тебя не будет».

Книги, подаренные мне на память, я отложил, чтобы сохранить их навсегда. Когда я ставил в этот ряд и рукопись «Златой легенды», мне захотелось ее поцеловать в воспоминанье о княгине Треповой, которая, даже возвысившись и разбогатев, осталась мне признательной и, в качестве моей должницы, явилась моею благодетельницей. Итак, у меня есть неприкосновенный фонд. Вот когда познал я преступленье! По ночам меня обуревали всякие соблазны, к рассвету они делались непреодолимы. И пока все в доме спали, я вставал и крадучись выходил из спальни.

Силы тьмы, виденья, ночи, если бы, задержавшись у меня и после крика петуха, вы посмотрели, как я на цыпочках тихонько крадусь в обитель книг, вы б не воскликнули, подобно княгине Треповой в Неаполе: «У этого старика добрая спина!» Я входил; Ганнибал, выпрямив струною хвост, терся о мои ноги. Я хватал с полки том, какой-нибудь почтенный средневековый экземпляр или благородного поэта Ренессанса, — драгоценность, сокровище, снившееся мне всю ночь, — я уносил его и втискивал в глубь шкафа с заповедными твореньями, уже набитого битком. Страшно сказать: я крал приданое у Жанны. И, совершив такое преступленье, я бодро принимался за составление каталога, пока не приходила ко мне Жанна посовещаться относительно какой-нибудь детали приданого или туалета. Я никогда не мог взять в толк, о чем шла речь, по незнакомству с современной портняжной и белошвейной терминологией. Вот если бы невеста XIV века чудом пришла поговорить со мной о тряпках — в добрый час! Я понял бы ее язык. Но Жанна — не моей эпохи; я отсылаю мою питомицу к г-же де Габри, которая ей заменяет мать.

Ночь наступает, ночь настала! Облокотясь о подоконник, мы смотрим в темное широкое пространство, усеянное светящимися точками. Жанна, склонясь на перила, рукою охватила лоб, — вид у нее печальный. Я слежу за ней и говорю себе: «В каждой перемене,

даже самой желанной, есть своя грусть, ибо то, с чем мы расстаемся, — часть нас самих; нужно умереть для одной жизни, чтобы войти в другую».

Словно отвечая на мою мысль, Жанна говорит:

— Милый опекун, я очень счастлива, а все же так хочется поплакать!

21 августа 1882 года

Страница восемьдесят седьмая... Еще строк двадцать, и моя книга о насекомых и растениях закончена. Страница восемьдесят седьмая, и последняя...

«Как мы видели, насекомые имеют огромное значение в жизни растений: посещая цветы, они берут на себя перенос пыльцы с тычинок на пестик. Цветок как бы приуготовлен и приукрашен в ожидании этого брачного посещения. Мне думается, я доказал, что нектарник цветка выделяет сладкую жидкость, которая привлекает насекомых, а тем самым заставляет их производить прямое или перекрестное оплодотворение. Наиболее частым является последний способ. Я показал, как у цветов окраска и аромат рассчитаны на привлеченье насекомых, а внутреннее их строение — на то, чтобы насекомые, проникая в венчик, откладывали на рыльце пестика налипшую на них пыльцу. Шпренгель, мой уважаемый учитель, говорил по поводу пушка, который выстилает венчик лесной герани: «Мудрый творец природы не создал ни одной пушинки бесполезно». В свою очередь я говорю: «Если полевая лилия, упоминаемая в евангелии, одета роскошнее царя Соломона, то ее пурпурная мантия — это мантия брачная, и роскошный пурпур необходим для продолжения ее потомства [1]».

---

[1] Господин Сильвестр Бонар не знал о том, что очень известные натуралисты еще до него исследовали отношения между растениями и насекомыми. Он не знал работ господина Дарвина, работ доктора Германа Мюллера, а также наблюдений сэра Джона Леббока. Следует отметить, что заключения Сильвестра Бонара очень близки к заключениям этих трех ученых. Не так практически полезно, но довольно интересно заметить, что сэр Джон Леббок, как и г-н Бонар, — археолог, на склоне лет отдавшийся естественным наукам. (*Прим. издателя.*)

*Броль *, 21 августа 1882 года*

Броль! Мой дом — последний, в конце деревни, если идти к лесу. Дом со щипцом, с аспидной крышей, отливающей на солнце радугой, как голубиная грудь. Флюгер на крыше снискал мне больше уважения в округе, чем все мои работы по истории и филологии. Нет мальчишки, который бы не знал бонаровского флюгера. Он заржавел и при ветре пронзительно скрипит. Временами он перестает работать, как и Тереза, которая ворчит, но терпит помощь молодой крестьянки. Дом невелик, но я живу удобно. Моя комната в два окна, — первая, куда заглядывает солнце. Над нею — комната детей: Жанна и Анри приезжают сюда два раза в год.

Там же стояла и кроватка маленького Сильвестра. Это был хорошенький ребенок, но очень бледный. Когда он играл на траве, мать следила за ним тревожным взглядом и поминутно бросала шитье, чтобы взять его к себе на колени. Бедному малютке не хотелось засыпать. Он говорил, что когда спит, уходит далеко, очень далеко, где темно, где чудятся ему такие вещи, которых он боится и не хочет видеть.

Тогда мать звала меня, и я садился у его кроватки; горячей, сухой ручонкой он брал меня за палец и говорил:

— Крестный, ты мне расскажешь про что-нибудь?

Я сочинял всевозможные сказки и рассказы, а он серьезно слушал. Ему все нравилось, но одна сказка пленила его детскую душу больше всех: сказка о синей птице *. Когда кончал я, он говорил:

— Еще! Еще!

Я начинал сначала, и его бледное с голубыми жилками личико никло к подушке.

Доктор на все наши вопросы отвечал:

— Ничего особенного!

Да! У маленького Сильвестра не замечалось ничего особенного. В прошлом году, однажды вечером, отец позвал меня:

— Пойдемте: маленькому хуже.

Я подошел к постельке, у которой недвижно стояла мать, прикованная к ней всеми силами души.

Маленький Сильвестр тихо обратил ко мне зрачки, все время уходившие под веки и не желавшие спускаться.

— Крестный, — сказал он, — больше не надо сказок.

Да, ему больше не понадобилось сказок.

Бедная Жанна! Бедная мать!

Я слишком стар, чтобы сохранить чувствительность, но смерть ребенка поистине мучительная тайна.

Сегодня отец и мать вернулись на полтора месяца под кровлю старика. Вон они рука об руку идут из леса. Жанна в черной тальме, у Анри на соломенной шляпе — креп; но оба блещут юностью и нежно улыбаются друг другу, улыбаются земле, что носит их, воздуху, что овевает их, и свету, который они видят отраженным в глазах друг друга. Из своего окна я машу им платком, и они дарят улыбкой мою старость.

Жанна легко взбегает по лестнице, обнимает меня и шепчет на ухо слова так тихо, что я не столько слышу, сколько угадываю их. В ответ я говорю:

— Да благословит вас бог, Жанна, вас и вашего мужа, в самом отдаленном потомстве вашем. Et nunc dimittis servum tuum, Domine [1].

[1] Ныне отпущаеши раба твоего, господи (*лат.*).

КНИГА МОЕГО ДРУГА

Перевод *Н. А. Коган*
под редакцией *И. С. Татариновой*

КНИГА ПЬЕРА

31 декабря 188...

Nel mezzo del cammin di nostra vita...
«Земную жизнь пройдя до половины...» [1]

Этот стих, которым Данте начинает первую песнь «Божественной Комедии», сегодня вечером пришел мне на память, быть может, в сотый раз. Но только теперь он растрогал меня.

С каким интересом я снова мысленно повторяю его и каким нахожу его значительным и глубоким! Ведь сейчас я могу применить его к себе. И я теперь нахожусь на том рубеже, где был Данте, когда древнее солнце отметило первый год XIV столетия. И я прошел до половины путь жизни, если предположить, что путь этот равен для всех и ведет к старости.

Боже мой! Я двадцать лет тому назад знал, что старость неизбежна. Знал, но не ощущал. В ту пору половина этого пути столь же мало волновала меня, как и путь в Чикаго. Ныне, преодолев подъем, я оглядываюсь назад, чтобы охватить единым взглядом пространство, которое я прошел так быстро; стих флорентийского поэта настраивает меня мечтательно, и я охотно провел бы всю ночь перед камином, воскрешая призраки. Увы! Тени усопших столь зыбки!

---

[1] Перевод М. Лозинского.

Отрадно думать о милом прошлом. Ночное безмолвие располагает к воспоминаниям. Тишина приманивает тени усопших: по природе своей они застенчивы и пугливы и лишь во мраке и уединении тихонько беседуют со своими живыми друзьями. Занавеси на окнах задернуты, портьеры тяжелыми складками спадают на ковер; только одна дверь приоткрыта — и туда невольно обращены мои взоры. Там брезжит матовый свет; там слышится спокойное и тихое дыхание, и даже я не могу отличить дыхания матери от дыхания детей.

Спите, милые, спите!

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Я мечтаю, сидя у угасающего камина, и мне чудится, что этот мирный дом и комната, где чуть мерцает дрожащий свет ночника и откуда веет непорочным д ы х а н и е м , — уединенная гостиница на большой, уже наполовину пройденной мною дороге.

Спите, милые, завтра мы снова двинемся в путь!

Завтра! Было время, когда в этом слове таилось для меня пленительное очарование. Когда я произносил его, передо мной вставали неведомые и волшебные образы, которые манили меня и шептали: «Идем!» Я так любил жизнь в ту пору! Как влюбленный, я слепо верил в нее и никогда не думал, что она, ко всем безжалостная, может быть суровой и ко мне.

Я не виню ее. Мне она не нанесла тех ран, которые нанесла многим другим. Порой, при всем своем безразличии, она даже мимоходом ласкала меня. Взамен того, что она похитила у меня или в чем отказала, она подарила мне такие сокровища, по сравнению с которыми все, чего я желал, — лишь тлен и суета. И все же я утратил надежду и теперь не в силах слышать: «До завтра!», не испытывая тревоги и печали.

Нет! Я больше не доверяю жизни, моей былой подруге. Но я все еще люблю ее! Покуда я вижу, как она озаряет своим божественным лучом три чистых чела, три любимых чела, я буду повторять, что она прекрасна, и буду славить ее.

Бывают часы, когда все поражает меня, когда самые простые явления вызывают во мне таинственный трепет.

Так, в это мгновение мне кажется, что память — волшебная сила, что дар воскрешать прошедшее столь же изумителен и драгоценен, как дар провидеть будущее.

Воспоминание — благо. Ночь тиха, я сгреб головни в камине и раздул огонь.

Спите, милые, спите!

Я пишу воспоминания детства

для вас троих.

I. ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

I

Чудища

Меня всегда удивляло, что люди говорят, будто они ничего не помнят о своем раннем детстве. А вот я сохранил самые яркие воспоминания о той поре, когда был малым ребенком. Правда, все это отрывочные картины, но тем ослепительнее выступают они на смутном и таинственном фоне. Хотя мне еще довольно далеко до старости, но эти милые моему сердцу воспоминания словно выплывают из бесконечных глубин прошлого. Мне кажется, что в ту пору мир сиял великолепием новизны и яркостью красок. Будь я дикарем, я полагал бы, что мир столь же юн, или, если хотите, столь же стар, как и я. Но, увы, я совсем не дикарь. Я прочел много книг о древности земли и о происхождении видов и с грустью отмечаю кратковременность жизни каждой особи по сравнению с долговечностью рода. Итак, я знаю, что еще недавно у меня была кроватка с сеткой в просторной комнате старинного особняка, который впоследствии разрушили, чтобы очистить место для новых зданий Школы изящных искусств. В нем-то и проживал мой отец, скромный врач и страстный коллекционер всяких редкостей. Кто сказал, будто дети ничего не пом-

нят? Я как сейчас вижу эту комнату, зеленые обои с разводами и прелестную цветную гравюру, изображавшую, как я впоследствии узнал, Павла, переносящего Виргинию на руках через Черную реку *. В этой комнате я пережил необычайные приключения.

У меня была, как я уже упомянул, кроватка с сеткой; днем она всегда стояла в углу, а на ночь матушка выдвигала ее на середину комнаты, верно для того, чтобы я был поближе к ее кровати, широкий полог которой внушал мне страх и восхищение. Уложить меня спать было нелегко. Тут пускались в ход и слезы, и мольбы, и поцелуи. Но и это еще не все! Я убегал в одной рубашонке и прыгал, как кролик. Матушка вытаскивала меня из-под стола или кресла и снова укладывала спать. Вот было весело!

Но стоило мне только лечь в постель, и сейчас же меня обступали какие-то совсем не похожие на моих домашних существа. У них были длинные носы, словно клювы у аистов, щетинистые усы, выпяченные животики, а ноги совсем как петушьи лапки. Я видел их в профиль, посреди щеки у каждого был круглый глаз, они проходили друг за другом, держа в руках метлы, вертела, гитары, клистиры и какие-то неведомые инструменты. Они были так безобразны, что лучше было бы им вовсе не показываться. Но надо быть справедливым: они бесшумно скользили вдоль стены, и ни один, даже тот, что шел последним, самый крошечный, у которого сзади торчали мехи для поддувания, не приближался к моей кровати. По-видимому, какая-то сила притягивала их к стенам, вдоль которых они скользили, плоские, как тени. Меня это немножко успокаивало. Но все же я не засыпал, ну как сомкнуть глаза в такой компании ! Я глядел внимательно. И однако (еще новое чудо!) вдруг я оказывался в комнате, залитой солнцем, и видел перед собой матушку в розовом капоте, не понимая, куда же исчезли и ночь и чудища!

— Ну и соня! — смеясь, говорила матушка.

Верно, я был ужасным соней.

Вчера, гуляя по набережным, я увидал в лавочке торговца гравюрами один из редко попадающихся

теперь альбомов, — гротески, созданные искусной и твердой иглой лотарингца Калло *. В пору моего детства тетушка Миньо, наша соседка, торговавшая эстампами, вывешивала их на каменную ограду, и каждый день, отправляясь гулять и возвращаясь домой, я любовался гравюрами Калло. Эти чудища запечатлевались в моем мозгу, и вечером, лежа в кроватке с сеткой, я вновь видел их перед собой, но не узнавал. О волшебник Жак Калло!

Небольшой альбом, который я перелистал, воскресил в моей памяти целый забытый мир, и я почувствовал, как в моей душе словно взвилась благоуханная пыль, в облаке которой проносились дорогие призраки.

II

Дама в белом

В ту пору в одном с нами доме жили две дамы, одна ходила вся в белом, другая — вся в черном.

Не спрашивайте у меня, были ли они молоды: этого я не понимал. Но я знаю, что от них хорошо пахло и что у них было много замечательных вещей. Моя матушка была очень занята и не сближалась с соседями, она редко бывала у этих дам, зато я любил заходить к ним, особенно когда они пили чай, потому что дама в черном угощала меня пирожными. Итак, я отправлялся в гости один. Надо было пройти через двор. Матушка наблюдала за мной из окна и стучала в стекло, когда я слишком задерживался, глядя на кучера, чистившего лошадей. С трудом взбирался я по лестнице с железными перилами, крутые ступени ее не были приспособлены для детских ножек. Зато войдя в гостиную, я бывал полностью вознагражден за свой труд: в комнате было множество вещей, приводивших меня в восторг. Но ничто не могло сравниться с двумя маленькими фарфоровыми болванчиками, стоявшими на камине по обе стороны часов. Они покачивали головами и высовывали язычки. Я узнал, что они из Китая, и дал себе слово побывать там. Вот только трудно было заставить няню повести меня туда. Я воображал, что

Китай находится за Триумфальной аркой, но попасть туда мне никак не удавалось.

В гостиной у дам был еще ковер с цветами, на котором я любил кувыркаться, и мягкий и уютный диванчик, превращавшийся по моему желанию то в лодку, то в коня, то в коляску. Дама в черном, помнится, довольно полная, была очень добрая и никогда не журила меня. Дама в белом бывала порой нетерпелива и резка, но она так прелестно смеялась! Мы отлично ладили втроем, и я решил, что кроме меня в комнату с болванчиками никого не будут пускать. Дама в белом, которой я сообщил свое решение, правда, посмеялась надо мной, но я настаивал на своем, и она обещала исполнить все, что я хочу.

Обещала. Но однажды я застал в этой комнате какого-то господина: он сидел на моем диванчике, протянув ноги на мой ковер, и весело болтал с моими дамами. Он даже передал им письмо, которое они, прочитав, возвратили ему. Мне это не понравилось, и я попросил сахарной воды, потому что мне хотелось пить, а главное чтобы привлечь к себе внимание. И действительно, господин взглянул на меня.

— Это наш маленький сосед, — пояснила дама в черном.

— Единственный ребенок. Не правда ли? — спросил господин.

— Да, — ответила дама в белом, — но как вы догадались?

— Да ведь сразу видно, что он избалован, — ответил господин, — такой назойливый и любопытный. Поглядите, как он уставился на нас.

Дело в том, что я хотел получше разглядеть его. Не буду льстить себе, но я прекрасно понял из разговора, что у дамы в белом есть муж, занимающий какой-то пост в далекой стране, что гость привез от этого мужа письмо, что его благодарили за услугу и поздравляли с назначением на должность первого секретаря. Все это не понравилось мне и, желая наказать даму в белом, я не захотел поцеловать ее на прощанье.

В тот же день за обедом я спросил у отца, что такое «секретарь». Отец ничего не ответил, а матушка объяс-

пила, что это небольшой письменный стол, где хранят бумаги [1]. Как это может быть? Меня уложили спать, и одноглазые чудища заскользили поодиночке вокруг моей кроватки, гримасничая больше обычного.

Вы заблуждаетесь, если думаете, что на следующий день я еще помнил о господине, которого застал у дамы в белом, — я совсем забыл о нем, и не моя вина, что он сам напомнил о себе. Он имел дерзость опять появиться у моих приятельниц. Не знаю, было это через десять дней или через десять лет после его первого посещения. Теперь я склонен думать, что это было через десять дней. Удивительно, как этот господин, посмел занять мое место. На этот раз я как следует рассмотрел его и не нашел в нем ничего привлекательного. У него были очень блестящие волосы, черные усы, черные бакенбарды, бритый подбородок с ямочкой, стройная фигура, великолепный костюм, а главное, — самоуверенный вид. Он говорил о министерстве иностранных дел, о театральных постановках, о модах, о книжных новинках, о вечерах и балах, на которых он тщетно надеялся встретить моих дам. И они слушали его. Ну разве так разговаривают! Неужели он не мог рассказать, как это делала дама в черном, о странах, где стоят скалы из леденцов и текут ручьи из сиропа?

Когда он ушел, дама в черном сказала, что он очаровательный молодой человек. А я сказал, что он старик и урод. Дама в белом весело рассмеялась. Что в этом было смешного? Но так или иначе она смеялась над тем, что я говорил, а может быть, она меня вовсе и не слушала. У дамы в белом были эти два недостатка и еще третий, приводивший меня в отчаяние: она могла плакать, плакать, плакать без конца. Матушка говорила, что взрослые никогда не плачут. О! она не видела, как плакала, упав в кресло, дама в белом, держа распечатанное письмо в руке, запрокинув голову и закрывая глаза носовым платком. Это письмо (теперь я мог бы побиться об заклад, что оно было анонимное) причинило ей много горя. Как жаль! Ведь она умела так очаровательно

[1] Секретарь и секретер (письменный стол) по-французски обозначаются одним словом: «secrétaire».

смеяться! После этих двух встреч я решил сделать ей предложение. Она ответила, что у нее уже есть большой муж в Китае, а теперь будет еще маленький муж на набережной Малакэ; так мы и договорились, и она угостила меня пирожным.

Но господин с черными бакенбардами приходил очень часто. Однажды, когда дама в белом рассказывала, как она выпишет мне из Китая голубых рыбок и удочку, чтобы их удить, ей доложили о его приходе. Уже по тому, как мы с ним взглянули друг на друга, было ясно, что мы враги. Дама в белом сказала, что ее тетушка (она имела в виду даму в черном) ушла за покупками в магазин «Китайских болванчиков». Я видел, что болванчики стоят на камине, так зачем же куда-то идти, если хочешь что-нибудь у них купить. Но ведь каждый день наталкиваешься на вещи, которые так трудно понять. Господин как будто нисколько не огорчился отсутствием дамы в черном и сказал даме в белом, что им необходимо серьезно поговорить. Она кокетливо уселась на диванчик и приготовилась слушать. А он глядел на меня и, видимо, был чем-то смущен.

— Славный мальчик, — сказал он наконец, погладив меня по голове. — Но…

— Это мой маленький муж, — пояснила дама в белом.

— Нельзя ли отправить его к маме. Я не хочу, чтобы кто-нибудь слышал то, о чем мы будем говорить.

Она уступила.

— Душенька, — обратилась она ко мне, — пойди поиграй в столовую и не возвращайся, покуда я не позову. Ступай, душенька.

Я ушел опечаленный. А между тем столовая была очень занятной комнатой: там на стенных часах была картинка, изображавшая гору на морском берегу, на этой горе — церковь, а наверху синее небо. И, когда часы били, на волнах качался кораблик, из тоннеля выбегал паровозик с вагончиками, а в небо подымался воздушный шар. Но, если на душе грустно, ничто не радует. Да и картинка на стенных часах не двигалась. По-видимому, паровозик, кораблик и воздушный шар

пускались в путь через каждый час, а час — ведь это так долго! По крайней мере тогда это было долго. К счастью, кухарке понадобилось что-то в буфете и, увидев, какой я грустный, она дала мне варенья, которое подсластило мою сердечную горечь. Но когда варенье было съедено, я снова заскучал. Стенные часы еще ни разу не били, а мне уже казалось, что мое печальное одиночество длится бесконечно долго. Порой из соседней комнаты доносился голос гостя, он то о чем-то умолял даму в белом, то как будто сердился на нее. Вот и хорошо! Но когда же они наговорятся? Я прижимался носом к окну, вытаскивал из мягких стульев волос, расширял дырочки в обоях, обрывал у занавесей бахрому. Чего только я не делал! Скука ужасная вещь! Наконец мое терпение лопнуло, я бесшумно подкрался к двери, которая вела в комнату с китайскими болванчиками, и потянулся к дверной ручке. Я прекрасно понимал, что это стыдно и нехорошо, но чувствовал при этом какую-то гордость.

Я распахнул дверь. Дама в белом стояла, прислонившись к камину, а господин опустился перед ней на колени и широко расставил руки, словно хотел ее поймать. Он был красный, как петушиный гребень, глаза у него вылезли на лоб. Ну можно ли доводить себя до такого состояния?

— Замолчите, сударь, — говорила дама в белом, волнуясь и порозовев более обычного, — замолчите! Если вы любите меня, замолчите, не заставляйте меня сожалеть...

Казалось, она боится его и изнемогает.

Заметив меня, он быстро встал, и мне думается, что у него мелькнула мысль вышвырнуть меня в окно. Но она не стала меня бранить, как я того ожидал, а обняла и назвала «душенькой».

Затем она посадила меня на диванчик, прильнула к моей щеке и долго тихонько плакала. Мы были одни. Желая утешить ее, я сказал, что господин с бакенбардами злой и что у нее не было бы огорчений, если бы она, как мы договорились, дружила со мной одним. Но как бы там ни было, взрослые ведут себя иногда очень странно.

Только что мы успокоились, как вошла дама в черном с покупками.

Она спросила, не приходил ли кто-нибудь.

— Да, господин Арну, но он забежал только на минутку, — равнодушно ответила дама в белом.

Я-то знал, что это неправда. Но ангел-хранитель дамы в белом, очевидно, избравший меня на этот день помощником, приложил свой невидимый перст к моим устам.

Я больше не встречал г-на Арну, и ничто не омрачало с тех пор моей любви к даме в белом, вот потому-то, верно, я и не сохранил о ней никакого воспоминания. Еще вчера, то есть тридцать лет спустя, я не знал, что с ней сталось.

Вчера я отправился на бал в министерство иностранных дел. Я вполне согласен с мнением лорда Пальмерстона, утверждавшего, что если бы не развлечения, жизнь была бы вполне сносной. Моя повседневная работа не изнуряет меня ни физически, ни умственно, и мне даже удалось заинтересоваться ею. Меня утомляют официальные приемы. Я знал, что на балу в министерстве будет скучно и что ехать туда бесполезно, я это знал и все же поехал, ибо человеку свойственно мыслить разумно, а поступать неразумно. Не успел я войти в гостиную, как доложили о посланнике*** с супругой. Я уже не раз встречался с посланником; его тонкое лицо носит следы утомления, вызванного не только трудами на дипломатическом поприще. Говорили, что он бурно прожил молодость, в мужском обществе о нем рассказывали множество пикантных историй. Его пребывание в Китае, лет тридцать тому назад, особенно богато приключениями, о которых любят поболтать в тесном кружке за чашкой кофе. Жены его я не имел чести знать, она показалась мне женщиной лет за пятьдесят. Она была вся в черном, ее былую красоту, еще не совсем увядшую, чудесно оттеняли великолепные кружева. Я был очень счастлив, когда меня ей представили, ибо бесконечно ценю беседу с пожилыми женщинами. Под звуки скрипок молодые женщины танцевали, она же вела со мной непринужденный разговор и случайно упомянула, что когда-то жила в старинном особняке на набережной Малакэ.

— Вы были дамой в белом! — воскликнул я.

— Действительно, сударь, — ответила она, — я тогда одевалась только в белое.

— А я, сударыня, был вашим маленьким мужем.

— Не может быть, сударь! вы сын добрейшего доктора Нозьера? Вы очень любили пирожные. А сейчас тоже любите? Ну, так приходите к нам, я вас угощу. По субботам у нас собираются к чаю близкие друзья. Как тесен мир!

— А дама в черном?

— Теперь дама в черном — это я. Моя бедная тетушка скончалась в год войны. В последнее время она часто вас вспоминала.

Во время нашей беседы господин с седыми усами и бакенбардами почтительно поклонился с чопорной грацией былого красавца супруге посла. Мне показалось, что я где-то видел этот подбородок.

— Господин Арну, — сказала она, — наш старый друг.

III

Дарю тебе эту розу

Мы жили в большой квартире, наполненной множеством необычайных вещей. На стенах висели боевые доспехи дикарей, черепа и скальпы, к потолку были подвешены пироги с веслами, бок о бок с чучелами кайманов; в горках разместились птицы, гнезда, ветви коралла и бесконечное множество разных скелетиков, злобных и коварных. Я тогда еще не знал, какое соглашение заключил мой отец с этими чудовищными существами, теперь я знаю: соглашение коллекционера. Мой отец, такой разумный и бескорыстный, мечтал засунуть всю природу в шкаф. В интересах науки, — как он говорил и думал, на самом же деле удовлетворяя свою манию коллекционера.

Вся квартира была набита чудесами природы. Только маленькая гостиная не подверглась вторжению, там не было ни зоологии, ни минералогии, ни этнографии, ни тератологии; там не было ни змеиной чешуи, ни панцирей черепах, не было никаких костей, никаких крем-

невых стрел, никаких томагавков, — только розы. Обои в маленькой гостиной были усеяны розами, розы в бутонах, нераспустившиеся, скромные, все одинаковые и все прелестные.

Матушка, имевшая зуб против сравнительной зоологии и френологии, обычно проводила день в маленькой гостиной за своим рабочим столиком. Я играл на ковре у ее ног с барашком, у которого уцелели три ноги; но когда-то у него были все четыре, и потому он и не удостоился чести фигурировать в тератологической коллекции моего отца рядом с двухголовыми кроликами; у меня был также паяц, двигавший руками и пахнувший краской; очевидно, в ту пору я обладал богатым воображением: паяц и барашек олицетворяли для меня разнообразных героев тысячи занимательных драм. Когда с барашком или паяцем случалось что-нибудь особенно интересное, я рассказывал об этом матушке. И всегда совершенно напрасно. Просто удивительно, что взрослые никогда толком не понимают малышей. Матушка была невнимательна. Она не очень вникала в то, что я говорил. Это был ее главный недостаток. Но она умела как-то особенно глядеть на меня своими большими глазами и говорить: «Ах ты, дурачок», — за это ей все прощалось.

Однажды в маленькой гостиной, отложив вышивание, она взяла меня на руки и, показывая цветок на обоях, сказала:

— Дарю тебе эту розу.

И чтобы распознать этот цветок, она иглой нацарапала на нем крестик.

Никогда ни один подарок не доставлял мне большей радости.

IV

Дети короля Эдуарда

— Какой у меня лохматый сынок — настоящий разбойник! Господин Баланс, причешите его «под детей короля Эдуарда» *.

С такими словами матушка обратилась к г-ну Балансу, — весьма искусному хромому старику парик-

махеру, самый вид которого напоминал мне о тошнотворном запахе горячих щипцов и внушал страх потому, что у него были жирные от помады руки, и потому, что, когда он меня подстригал, волосы обязательно попадали мне за воротник. Поэтому я вырывался и не давал надевать мне белый халат и повязывать вокруг шеи салфетку, а он уговаривал:

— Неужели, дружок, тебе нравится ходить растрепой, словно ты сейчас только сошел с плота «Медузы» *?

Я помню его певучий говор южанина, помню, как по всякому поводу он рассказывал о гибели корабля «Медузы» и о том, как он сам уцелел, натерпевшись всевозможных бед, как они плавали на плоту, как тщетно подавали сигналы бедствия, как питались человечиной — он говорил с добродушием человека, видящего все в розовом свете. Г-н Баланс был человек жизнерадостный.

По-моему, в этот день г-н Баланс ужасно долго возился с моими волосами, и когда я, наконец, взглянул на себя в зеркало, то увидел нелепую прическу. Ровно подстриженная челка, словно чепчик, закрывала мне лоб до самых бровей, а на щеки волосы свисали, словно уши у легавой собаки.

Матушка была в восхищении: Баланс действительно причесал меня под детей короля Эдуарда. Она сказала, что и одет-то я в черную бархатную курточку и теперь остается только запереть меня вместе со старшим братом в башню.

— Пусть только посмеют, — с очаровательным задором прибавила она, поднимая меня на руки.

И, крепко обняв, донесла до экипажа, — мы отправлялись в гости.

Я спросил, что это за неизвестный брат и что за страшная башня.

И матушка, обладавшая божественным терпением и жизнерадостной наивностью, свойственными тем, чье назначение в этом мире любить, рассказала мне детским и поэтическим языком, как двое сыновей короля Эдуарда, красивые и добрые мальчики, были похищены у матери и задушены злым дядей Ричардом в одной из темниц Лондонской башни.

Вдохновившись, вероятно, какой-нибудь картинкой, которая была в то время в моде, она присочинила, что собачка лаем предупредила своих хозяев о приближении убийц.

Под конец матушка добавила, что это очень давняя история, но такая трогательная и прекрасная, что ее постоянно изображают на картинках и в театре и что все зрители плачут и что она тоже плакала.

Я сказал, что это, верно, очень злой человек довел до слез ее и всех остальных.

Она ответила, что, наоборот, это, верно, человек с возвышенной душой и большим талантом, но я не понял ее. В ту пору я не находил никакой отрады в слезах.

Экипаж остановился на Иль-Сен-Луи перед незнакомым мне старым домом, и мы поднялись по каменной лестнице, истертые и потрескавшиеся ступени которой глядели на меня очень неприветливо.

На первой же площадке послышался лай собачонки. «Вот она, — подумал я, — вот собачка детей Эдуарда», и страх, внезапный, непобедимый, безумный страх обуял меня. Ну, конечно, лестница ведет в башню, а я, подстриженный под принца и в черной бархатной курточке, — сын Эдуарда. Меня убьют! Я не хочу! Уцепившись за платье матери, я кричал:

— Уведи меня отсюда! Уведи! Я не хочу подниматься в башню.

— Да не кричи же, дурачок!.. Ну идем, идем, душенька, не бойся! Ах, какой впечатлительный ребенок... Пьер, Пьер, ну будь же умницей, маленький мой.

Но я ничего не слыхал: судорожно цепляясь за ее юбку, я кричал, задыхался, выл. Я с ужасом озирался, осматривая темные углы, которые в своем неистовом страхе населил призраками.

На мои крики дверь на площадке лестницы распахнулась и появился старик, в котором я, несмотря на свой страх и его фригийский колпак и халат, узнал моего друга Робена, Робена, моего друга, приносившего мне раз в неделю печенье в тулье своего цилиндра. Это был Робен собственной персоной, но я не мог понять, каким образом он оказался в башне, — ведь я не знал, что страшная башня — обыкновенный дом, что дом этот

стар и потому естественно, что старый господин живет в нем.

Он протянул нам навстречу руки, держа в левой табакерку, а между указательным и большим пальцами правой — понюшку табаку. Это был он.

— Входите, сударыня, моя жена чувствует себя лучше. Она будет вам очень рада. Но, кажется, Пьер чего-то испугался? Уж не боится ли он нашей собачки? Сюда, Финетта!

Я успокоился, я сказал:

— Вы живете в гадкой башне, господин Робен!

Тут матушка ущипнула меня за руку, чтобы я — я прекрасно это понял — не попросил печенья у моего друга Робена, а я как раз собирался это сделать.

В желтой гостиной супругов Робен собачка Финетта оказалась большим для меня развлечением. Я играл с ней, и я отлично запомнил, что она лаяла на убийц детей короля Эдуарда, и потому поделился с ней пирожком, который мне дал г-н Робен. Но долго заниматься одним и тем же трудно, особенно ребенку. Мои мысли перепархивали с одного предмета на другой, словно птички с ветки на ветку, и снова возвращались к детям короля Эдуарда. Составив о них определенное представление, я поспешил поделиться им с кем-нибудь. Я дернул г-на Робена за рукав:

— Знаете что, господин Робен? Если бы мама была в Лондонской башне, она не позволила бы злому дяде задушить подушкой детей короля Эдуарда.

Кажется, Робен не понял всей глубины моей мысли, но когда мы вновь оказались вдвоем с матушкой на лестнице, она взяла меня на руки и воскликнула:

— Дурачок ты мой, дай я тебя поцелую!

V

Кисть винограда

Мне жилось хорошо, мне жилось очень хорошо. В моем представлении отец, мать, няня были добрыми великанами, свидетелями первых дней мироздания, неизменными, вечными, единственными в своем роде.

Я был уверен, что они охранят меня от всякого зла, и возле них чувствовал себя в полной безопасности. Мое доверие к матушке было беспредельно. Когда я теперь припоминаю это божественное, это дивное доверие, мне хочется послать воздушный поцелуй тому маленькому человечку, каким я был в ту пору, и те, кому ведомо, сколь трудно сохранить в этом мире чувство во всей его неприкосновенности, поймут этот порыв души.

Мне жилось хорошо. Тысяча предметов, одновременно знакомых и таинственных, занимала мое воображение, тысяча вещей, незначительных самих по себе, но являвшихся частью моей жизни. Жизнь эта была очень маленькой, но все же это была жизнь, а следовательно, средоточие явлений, центр вселенной. Не улыбайтесь тому, что я говорю, либо улыбнитесь ласково и вдумайтесь: ведь любое существо, даже какая-нибудь собачонка, и та — центр вселенной.

Я радовался, что вижу и слышу. Лишь только матушка приоткрывала свою шифоньерку, как я уже испытывал волнующее, полное поэзии любопытство. Что там в шкафу? Боже мой! Чего там только не было! Белье, душистые саше, картонки, коробочки. Я подозреваю теперь мою дорогую матушку в слабости к коробочкам. У нее их было великое множество, и самых разнообразных. Эти коробочки, трогать которые мне не разрешалось, наводили меня на глубокие размышления. Игрушки также занимали мое детское воображение, во всяком случае — игрушки обещанные и ожидаемые, так как в игрушках, которые я получил, не было никакой тайны, и следовательно — никакого очарования. Но как прекрасны были игрушки, о которых я мечтал! Другим чудом было бесконечное множество черточек и фигур, которое можно извлечь из пера или карандаша. Я рисовал солдатиков: вместо головы я делал кружок и над ним кивер. Лишь после ряда наблюдений я догадался, что кивер следует нахлобучить до самых бровей. Мне нравились цветы, духи, пышно убранный стол, нарядные одежды. Я гордился своим беретом с пером и узорчатыми чулками. Но каждой отдельной вещи я предпочитал вещи в их совокупности: дом, воздух, свет, как знать, что еще!

Словом, самое жизнь! Безграничная нежность окружала меня. Так нежится пичужка в своем пуховом гнезде.

Мне жилось хорошо. Мне жилось очень хорошо. Однако я завидовал другому ребенку. Его звали Альфонсом, а как дальше — я не знал, может быть никак. Его мать была прачкой и ходила по стиркам. Альфонс весь день слонялся по двору или по набережной, а я глядел из окна на его чумазую рожицу, выгоревшие спутанные волосы, на его рваные штанишки и стоптанные башмаки, в которых он шлепал по лужам. Альфонс околачивался возле кухарок и получал от них порой объедки пирога, но чаще подзатыльники. Иногда кучера посылали его накачать воды, и он гордо притаскивал полное ведро, побагровев от натуги и высунув язык. А я завидовал ему. Ведь ему не надо было заучивать наизусть басен Лафонтена, ему нечего было опасаться упреков за пятно на курточке. Он не обязан был говорить: «Добрый день, сударь», «Добрый вечер, сударыня», — тем людям, дни и вечера которых, добрые или недобрые, вовсе не интересовали его. Правда, у него не было Ноева ковчега и заводной лошадки, как у меня, но зато он мог играть, как ему вздумается, и с пойманными воробьями, и с собаками, такими же бездомными, как он, и даже с лошадьми в конюшне, до тех пор, пока кучер не выгонял его оттуда метлой. Он был свободен и смел. Со двора, где он чувствовал себя полновластным хозяином, он глядел на меня, смотревшего в окно, как на птицу, заключенную в клетку.

В этом дворе было так весело: там сновали слуги, там были птицы и животные. Двор был большой. По стене дома замыкавшей его с юга, вилась старая узловатая и тощая виноградная лоза, а выше помещались солнечные часы, — дожди и солнце уничтожили на них цифры, и теневая стрелка, неприметно скользящая по камню, поражала меня. Из всех призраков, которые я здесь тревожу, призрак этого старого двора — самый необычайный для современных парижан. У них дворы в четыре квадратных метра. Над ящиками с провизией, нависающими друг над другом за окнами всех пяти этажей, виден клочок неба величиною с носо-

вой платок. Это знаменует прогресс, но не очень полезно для здоровья.

Однажды случилось, что наш веселый двор, куда по утрам хозяйки приходили с кувшинами за водой и где служанки часов в шесть вечера мыли салат в цинковых сетках, перекликаясь с конюхами, случилось, что этот двор разрыли. Его разворотили, чтобы вновь замостить, но так как все время лил дождь, то на дворе образовалась страшная грязь, и Альфонс, живший в этой грязи, словно сатир в лесу, перепачкался с головы до пят. Он с восторженным пылом ворочал булыжники разрушенной мостовой и, заметив, что я кисну у окна наверху, поманил меня сойти вниз. Меня так и тянуло поиграть с ним, поворочать булыжники. У меня ведь не было в детской булыжников. Дверь квартиры оказалась не запертой. Я сбежал вниз, во двор.

— Ну вот и я! — заявил я Альфонсу.

— На, тащи булыжник, — сказал он.

Вид у него был свирепый, голос звучал хрипло. Я повиновался. Вдруг я почувствовал, что кто-то вырвал булыжник и подхватил меня на руки: возмущенная няня тащила меня домой. Она вымыла меня марсельским мылом и принялась стыдить за то, что я играю с таким озорником, бродяжкой, непутевым уличным мальчишкой.

— Альфонс — невоспитанный мальчик, — добавила матушка. — Это не его вина, а его несчастье, но воспитанные дети не должны водиться с детьми невоспитанными.

Я был очень вдумчивым и смышленым малышом. Я запомнил слова матушки, и, сам не знаю почему, они слились в моем воображении с тем, что мне рассказывали о пр*о*клятых детях, когда я рассматривал картинки в нашей старой библии *. Мои чувства к Альфонсу совершенно изменились. Я уже не завидовал ему, о нет! Он внушал мне ужас и жалость. «Это не его вина, а его несчастье». Эти слова вызвали у меня тревогу за Альфонса. Как хорошо, матушка, что вы так поговорили со мной, что уже в самом нежном моем возрасте вы открыли мне невиновность униженных. Ваши слова были прекрасны! Мне следовало помнить их всю жизнь.

На этот раз во всяком случае они возымели свое действие, и я был растроган участью проклятого ребенка. Однажды, когда он мучил во дворе попугая нашей старой соседки, я наблюдал за этим мрачным и всесильным Каином, сокрушаясь, как добренький Авель. Счастье, увы, рождает Авелей. Я придумывал, чем бы доказать несчастному мое сострадание. Не послать ли ему воздушный поцелуй. Но его свирепая физиономия показалась мне мало подходящей для этого, и мое сердце отвергло такой дар. Я долго раздумывал, что бы такое ему подарить. Смущение мое было велико. Отдать заводную лошадку, у которой, кстати сказать, были уже оторваны хвост и грива, такой подарок все же показался мне слишком щедрым. И разве, подарив лошадку, докажешь свое сострадание? Для проклятого ребенка нужен иной дар. Может быть, цветок? В гостиной стояли букеты цветов. Но цветок ведь это тоже что-то вроде поцелуя. Я не был уверен, что Альфонс любит цветы. В глубоком раздумье обошел я столовую и вдруг радостно захлопал в ладоши: нашел!

На буфете стояла ваза с чудесным виноградом из Фонтенебло. Я влез на стул, выбрал длинную и тяжелую гроздь, заполнявшую чуть ли не всю вазу. Бледно-зеленые виноградины отливали золотом и, верно, так и таяли во рту, и все-таки я их не попробовал. Я побежал к маминому рабочему столику и достал оттуда клубок ниток. Мне было запрещено трогать что бы то ни было в нем. Но нельзя же всегда быть послушным! Я привязал виноградную кисть к нитке; высунувшись из окна, я позвал Альфонса и стал осторожно спускать гроздь во двор. Чтобы не прозевать ее, проклятый ребенок откинул со лба космы рыжих волос и, когда дотянулся до кисти, рванул ее вместе с ниткой, потом посмотрел вверх, высунул мне язык, показал нос и убежал вместе с моим виноградом, — только я его и видел! Мои маленькие друзья не приучили меня к подобному обращению. Сначала я был возмущен. Но меня успокоило следующее размышление: «Хорошо, что я не послал ему ни поцелуя, ни цветка».

При этой мысли моя досада рассеялась. Это лишний раз доказывает, что, если самолюбие удовлетворено, все прочее не имеет значения.

Но все же, когда я подумал о том, что мне придется сознаться матушке в моей проделке, я сильно приуныл. И напрасно. Матушка, правда, побранила меня, но довольно добродушно — я это заметил по ее смеющимся глазам.

— Надо дарить свое, а не чужое, — сказала она, — и надо дарить умеючи.

— Да, в этом тайна счастья, и очень немногим она известна, — заметил отец.

Ему-то она была известна!

VI

Златоокая Марсель

Мне было пять лет, и мое тогдашнее представление о мире пришлось впоследствии изменить. А жаль! Оно было такое очаровательное. Однажды, когда я с головой ушел в рисование человечков, матушка позвала меня, нисколько не думая, что мешает мне. Матерям свойственно подобное легкомыслие.

На этот раз она хотела принарядить меня. Я не ощущал в этом никакой надобности, а неприятностей предвидел множество, я не давался, гримасничал, я был несносен.

Матушка сказала:

— Приедет твоя крестная, а ты неодет, фу, какой стыд!

Крестная! Я ни разу не видел ее, не имел о ней никакого понятия. Даже не предполагал, что она существует. Но я очень хорошо знал, что такое крестные, — я читал о них в сказках и видел их на картинках. Я знал, что крестная мать — это фея. Я уже не противился, и моя дорогая матушка могла причесывать и умывать меня, сколько ей было угодно. Я думал о крестной. Мне было очень любопытно познакомиться с ней. И хотя обычно я приставал с вопросами, тут я не спрашивал о том, что жаждал узнать. Почему?

Вы спрашиваете почему? Ах, да потому, что я не смел, потому, что феи, по моим представлениям, должны быть окружены молчанием и тайной, потому что в чувстве есть что-то очень заветное, и даже самая неискушенная душа инстинктивно оберегает это заветное, потому что для ребенка, так же как и для взрослого, есть много необъяснимого, потому что, еще не зная моей крестной, я уже любил ее.

Я очень удивлю вас, но, к счастью, истина порой таит в себе нечто непредвиденное, и это делает ее приемлемой... Моя крестная была прекрасна. Я сразу узнал ее, как только увидел; да, ее я и ждал, да, она моя фея. Я восхищенно смотрел на нее, нисколько не удивляясь. На этот раз в виде исключения природа не обманула детских грез о прекрасном.

Крестная взглянула на меня — глаза ее сияли золотом. Она улыбнулась, и я увидел такие же маленькие зубки, как мои. Она заговорила, — голос ее был звонок и пел, словно лесной ручеек. Она поцеловала меня, ее уста были свежи, и я доныне еще ощущаю на своей щеке ее поцелуй.

Глядя на нее, я испытывал бесконечно сладостное чувство, и эта встреча была, по-видимому, чарующей, ибо воспоминание о ней не омрачено ни одной досадной мелочью: оно полно для меня светлой наивной прелести. Крестная протягивает мне навстречу руки, а губы ее приоткрыты для улыбки и поцелуя — вот какой неизменно предстает передо мною крестная.

Она взяла меня на руки и сказала:

— Сокровище мое, дай я погляжу, какого цвета у тебя глазки.

И добавила, играя моими локонами:

— Он русый, но с возрастом потемнеет.

Моя фея провидела будущее. Однако ее добрые пророчества исполнились не целиком. Волосы у меня теперь не русые, но уже и не черные.

На следующий день она прислала мне подарки, которые не заинтересовали меня. Я жил в мире книжек, картинок, пузырька с клеем, коробочек с красками — всего, что обычно занимает развитого и хрупкого мальчика, с детских лет уже домоседа, наивно приобщаю-

щегося посредством своих игрушек к восприятию форм и красок, которое дает столько восторгов и столько мук.

Подарки моей крестной не соответствовали моим привычкам. Это был набор спортивного и гимнастического инвентаря: трапеции, канаты, брусья, гири — все, что требуется для развития в ребенке физической силы и мужественной грации.

К несчастью, у меня уже выработалась привычка к усидчивым занятиям, пристрастие к кропотливому вырезыванию по вечерам при лампе, живое восприятие картинок, и я отрешался от занятий будущего художника только в припадках буйного веселья, жажды разрушения, и тогда с увлечением играл в шумные беспорядочные игры: в разбойников, кораблекрушения, пожары. Приборы из лакированного дерева и железа казались мне холодными, тяжелыми, невыразительными, бездушными, пока крестная, учившая меня, как ими пользоваться, не вдохнула в них частицу своего очарования. Она смело орудовала гирями или, отводя назад локти и просунув за спину палку, объясняла, что нужно для развития грудной клетки.

Однажды она посадила меня к себе на колени и обещала подарить настоящий корабль с парусами, с пушками, глядящими из люков. Крестная говорила о мореходстве, словно истый морской волк. Она не забывала ни марса, ни юта, ни вантов, ни бомбрамселей, ни брамстеньги. Она так и сыпала необычайными словами, как будто бы ей было приятно их произносить. Верно, они напоминали ей об очень многом. Феи, они ведь скользят над водою.

Я не получил обещанного корабля. Но никогда, даже в детском возрасте, мне не нужно было владеть вещью, чтобы наслаждаться ею, и корабль феи долгие часы занимал мое воображение. Я видел его. Я вижу его и доныне. Это уже не игрушка. Это призрак. Он бесшумно плывет по туманному морю, а на борту его мне чудится недвижимо стоящая женщина, ее руки безжизненно повисли, большие глаза широко раскрыты и невидящий взор устремлен вдаль.

Мне не суждено было больше увидать мою крестную.

Уже в ту пору я правильно понимал ее характер. Я чувствовал, что она рождена пленять и любить, что в этом ее назначение в мире. Увы! Я не ошибся! Впоследствии я понял, что Марсель (так ее звали) только это и делала.

Много лет спустя я узнал кое-что о ее жизни. Марсель и моя матушка познакомились в монастырском пансионе. Но матушка была на несколько лет старше и слишком благоразумна и уравновешена, чтобы стать близкой подругой Марсели, которая вкладывала в дружбу страстность и пылкость. Молоденькая пансионерка, внушавшая Марсели самые нежные чувства, была дочь коммерсанта, толстая, насмешливая и ограниченная. Марсель не сводила с нее глаз, из-за какого-нибудь слова или жеста подруги проливала потоки слез, приставала к ней с клятвами, то и дело устраивала сцены ревности, писала ей на уроках письма в двадцать страниц, и толстушка, выведенная, наконец, из терпения, заявила, что ей все это надоело и пусть ее оставят в покое.

Бедная Марсель была так удручена и опечалена, что матушка почувствовала к ней жалость. Вот тогда-то они и подружились, незадолго до того, как моя мать покинула пансион. Они обещали друг другу вновь свидеться и сдержали слово.

Отец Марсели был прекрасным человеком — обаятельным, умным, но лишенным всякого здравого смысла. Прослужив двадцать лет во флоте, он вдруг бросил службу. Все удивлялись. Но удивляться следовало тому, что он так долго служил. Он был ограничен в средствах и потому скуповат.

Как-то раз в дождливый день, глядя в окно, он увидел жену и дочь, которые шли пешком, с трудом справляясь с юбками и зонтами. Тут только он вспомнил, что у них нет экипажа, и это открытие глубоко огорчило его. Он тотчас же обратил все свое имущество в деньги, продал драгоценности жены, занял у друзей и помчался в Баден. Так как ему был известен безошибочный прием игры, то он начал крупно играть, надеясь выиграть лошадей, коляску и ливрейного лакея. Спустя неделю он возвратился домой без

гроша, но еще сильнее уверовав в свой безошибочный прием.

У него оставалось еще небольшое поместье в Бри, где он и занялся разведением ананасов. Через год ему пришлось продать поместье, чтобы уплатить за оранжереи. Тогда он пустился изобретать машины и даже не заметил, как скончалась его жена. Он представлял проекты и докладные записки в министерства, в палаты, в Академию, в научные общества — всюду! Иногда его планы были изложены стихами. Тем не менее он все же доставал деньги, он существовал. Существовал каким-то чудом! Но Марсель не видела в этом ничего особенного и все перепадавшие ей деньги тратила на шляпки.

Для такой девушки, какою была в ту пору моя мать, подобный образ жизни был непостижим, и она трепетала за Марсель. Но она любила Марсель.

— Если бы ты знал, — в сотый раз повторяла она, — если бы ты знал, как она была хороша в те годы!

— Ах, мамочка, я не сомневаюсь в этом.

Однако между ними произошел разрыв, и причиной была нежная страсть, о которой отнюдь не следует умалчивать, как мы умалчиваем об ошибках дорогих нам людей, но не мне судить об этой страсти, как мог бы это сделать посторонний человек. Не мне судить о ней, да и не в моих это возможностях. Моя мать была невестой молодого врача, который вскоре на ней женился. Это был мой отец. Марсель была очаровательна, вам это уже известно. Она внушала любовь и дышала любовью. Мой отец был молод. Они видались, говорили друг с другом. Что еще могу я сказать?.. Моя мать вышла замуж и больше не встречалась с Марселью.

Но после двухлетнего изгнания златоокая красавица была прощена. Прощена от всего сердца, ее даже попросили быть моей крестной матерью. К этому времени она уже вышла замуж. Это, как мне кажется, много способствовало примирению. Марсель обожала своего мужа, черномазого урода, который плавал на коммерческом судне с семилетнего возраста и, как я сильно подозреваю, торговал неграми. В Рио-де-Жанейро у него было поместье, и он увез туда мою крестную.

Мать не раз говорила:

— Ты вообразить себе не можешь, какой у Марсели был муж: настоящий урод, обезьяна, — обезьяна, одетая с головы до пят во все желтое. Он не владел ни одним языком, только понемножку говорил на всех языках. Он изъяснялся криками, жестами, вращая глазами. А глаза у него действительно были замечательные. Не думай, сынок, что он родился где-то за морем, — добавляла моя мать, — он коренной француз, уроженец Бреста. Его фамилия Дюпон.

Для матушки «за морем» означало все, что не было Европой, и это сокрушало отца, автора многочисленных трудов по сравнительной этнографии.

— Марсель была без ума от своего мужа, — продолжала матушка. — В первое время после свадьбы мы стеснялись навещать их. Нам казалось, что мы мешаем. Года три-четыре она была счастлива. Я говорю «счастлива», потому что каждый бывает счастлив на свой лад. Когда она приехала во Францию... Ты не помнишь, ты был слишком мал...

— Нет, мама, очень хорошо помню.

— Ну, так вот, пока она гостила во Франции, ее урод приобрел там, у себя на островах, отвратительные замашки: он напивался пьяным в портовых кабаках бог знает с кем. Ему всадили в спину нож. При первом же известии об этом Марсель поехала к нему. Она выхаживала мужа с тем изумительным пылом, который вкладывала во все, что делала. Но у него пошла кровь горлом, и он умер.

— А разве Марсель не вернулась обратно во Францию, мама? Почему я больше не видел крестной?

На этот вопрос моя мать ответила не сразу.

— Овдовев, она осталась в Рио-де-Жанейро, поддерживала знакомство с морскими офицерами, и это сильно ей повредило. Не думай о ней плохо, сынок. Марсель была женщиной своеобразной, поступавшей не так, как все. Но принимать ее стало неудобно.

— Мама, я не думаю ничего плохого о Марсели; вы только скажите, что же с ней сталось?

— Ее полюбил морской лейтенант, что вполне естественно, но он скомпрометировал ее, так как эта победа

льстила его самолюбию. Я не хочу называть его; теперь он контр-адмирал, и ты не раз с ним обедал.

— Как! это В.? Краснощекий толстяк? Ну, мама, этот адмирал иной раз, после обеда, рассказывает пикантные анекдоты о женщинах.

— Марсель безумно любила его. Она следовала за ним повсюду. Понимаешь, мальчик, я не знаю всех подробностей. Но конец ее был ужасен. Оба находились в Америке, где именно, затрудняюсь сказать: я никогда не могла запомнить географические названия. Марсель ему надоела, и под каким-то предлогом он покинул ее и возвратился во Францию. Поджидая его в Америке, она из парижской газетенки узнала, что он бывает в театре с какой-то актрисой. Она не могла совладать с собой и, хотя ее мучила лихорадка, отплыла во Францию. Это было ее последнее путешествие. Она скончалась на борту корабля, и тело твоей бедной крестной, сынок, зашитое в холст, бросили в море.

Вот что рассказала мне матушка. Это все, что я знаю. Но всякий раз, когда хмурится небо и жалобно воет ветер, моя крылатая мечта летит к Марсели, и я говорю ей:

— Несчастная страждущая душа, несчастная душа, скиталица по древнему океану, баюкавшему самые юные земные любови, о милый мне призрак, о моя крестная и моя фея! Будь благословенна самым преданным из тех, кто любил тебя, единственным, быть может, кто не забыл тебя! Будь благословенна за тот дар, который ты положила мне в колыбель уже одним тем, что склонилась над нею; будь благословенна за то, что открыла мне, когда моя мысль еще только пробуждалась, муки, даруемые красотой душам, алчущим постичь ее, будь благословенна тем, кого ты, когда он был ребенком, подняла на руки, чтобы посмотреть, какого цвета его глаза. Ребенок этот был самым счастливым и, смею утверждать, самым преданным из твоих друзей. Ему ты отдала свой самый щедрый дар, великодушная женщина, ибо вместе с объятиями ты открыла перед ним беспредельный мир грез.

VII

Запись, сделанная на рассвете

Вот жатва, собранная за одну зимнюю ночь, колосья воспоминаний. Развею ли я их по ветру? Или, перевязав в сноп, отнесу в житницу? Они будут, думается мне, полезной пищей для умов.

Один из лучших и ученейших людей, Эмиль Литтре, высказал пожелание, чтобы каждая семья завела свой архив и свою историю нравов. «С тех пор, — говорит он, — как мудрая философия научила меня глубоко уважать традицию и сохранять прошлое, я не раз сожалел, что в средние века семьи горожан не подумали о том, как хорошо было бы вести краткую летопись, в которой отмечались бы важнейшие домашние события, и передавать семейные записи от поколения к поколению до тех пор, пока не вымрет род. Как поучительна для нашей эпохи была бы такая хроника, несмотря на всю свою краткость! Сколько утрачено опыта и любопытных сведений, которые можно было при желании и чувстве преемственности сохранить для потомства!»

И вот я осуществляю по мере своих сил пожелание мудрого старца: эта запись будет сохранена и положит начало летописи рода Нозьеров. Будем бережно хранить прошлое. Без прошлого не создать будущего.

II. НОВЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

I

Пустынь Ботанического сада

Я не умел читать, носил штанишки с разрезом, плакал, когда няня утирала мне нос, но меня снедала жажда славы. Да, это правда. В самом нежном возрасте я лелеял мечту немедленно прославиться и вечно жить в памяти людей. Расставляя на обеденном столе оловянных солдатиков, я придумывал всевозможные способы, как бы это осуществить. Если бы я мог, то отправился бы завоевывать бессмертие на бранном поле и уподобился бы одному из тех игрушечных генералов, которых тискал в ручонках, вверяя им судьбу армий, расставленных на клеенке.

Но не от меня зависело обзавестись конем, мундиром, полком и врагами — всем тем, что неотделимо от бранной славы. Вот потому-то я и решил стать святым. Это не так сложно и приносит большую славу. Моя матушка была набожна. Ее набожность, столь же обаятельная и столь же искренняя, как она сама, глубоко трогала меня. Матушка часто читала мне «Жития святых», я слушал с восторгом, и моя душа была полна изумления и любви. Итак, я знал, как праведники господни достигали святой и подвижнической жизни.

Я знал, какое дивное благоухание источают розы мученичества. Но мученичество это крайность, которая не привлекала меня. Я не помышлял также о проповеди слова господня и об обращении неверных, — это превышало мои силы. Я избрал умерщвление плоти, как дело и более легкое и более надежное.

Не теряя времени, я предпринял этот подвиг, я отказался от завтрака. Матушка, не подозревавшая о моем новом призвании, решила, что я нездоров, и с такой тревогой взглянула на меня, что мне стало стыдно. Но я продолжал постничать. Затем, вспомнив Симеона Столпника, жившего на столбе, я взобрался на ведро в кухне; но жить там мне не пришлось, так как Жюли, наша служанка, без долгих разговоров согнала меня. Соскочив с ведра, я с рвением устремился по пути самосовершенствования и решил подражать Николаю Патрасскому, раздавшему все свое имущество бедным. Окно в кабинете отца выходило на набережную. Я выбросил из этого окна штук десять монеток, подаренных мне, потому что они были новенькие и блестящие; вслед за ними я выбросил мраморные шарики, волчок, кубарь с кнутиком из кожи угря.

— Вот глупый ребенок! — сказал отец, закрывая окно.

Я почувствовал гнев и стыд, услыхав подобное мнение, но быстро сообразил, что отец, не будучи святым, как я, не разделит со мной славы праведников. Эта мысль очень меня утешила.

Когда меня стали одевать на прогулку, я, следуя примеру блаженного Лабрия, сорвал со своей шляпы перо. Лабрий, получив какую-нибудь старую засаленную шапку, прежде чем надеть ее на голову, не забывал вывалять ее в грязи. Матушка, узнав о моей выходке с раздачей имущества и со шляпой, пожала плечами и тяжко вздохнула. Я действительно огорчал ее.

На прогулке я шел опустив глаза, чтобы не развлекаться посторонними предметами, руководствуясь наставлением, часто встречающимся в «Житиях святых».

Возвратясь домой со своей душеспасительной прогулки я, совершенствуясь в святости, сделал себе власяницу, напихав за шиворот волос из старого кресла.

Но мне пришлось испытать новые напасти: Жюли застигла меня как раз в ту минуту, когда я подражал сынам св. Франциска. Не вникнув в смысл моего поступка, она обратила внимание лишь на его внешние проявления и, увидав, что я прорвал обивку кресла, в простоте душевной отшлепала меня. Размышляя о скорбных происшествиях истекшего дня, я познал, как трудно стать праведником в лоне собственной семьи. Я понял, почему св. Антоний и св. Иероним спасались в пустыне среди львов и скорпионов, и решил на следующий день удалиться в скит. Местом для своего отшельничества я избрал лабиринт Ботанического сада. Там я хотел жить в созерцании, прикрыв, как св. Павел, свою наготу пальмовыми листьями. Я думал: «Там, в саду, найдутся съедобные корни; а на вершине холма есть хижина. Я буду жить среди тварей земных; лев, вырывший своими когтями могилу для св. Марии Египетской, конечно, придет за мной и позовет меня отдать последний долг другому пустыннику, когда тот скончается где-нибудь по соседству. Мне, как св. Антонию, будут являться козлоногий человек и конь с человечьим торсом. Быть может, ангелы под пенье псалмов вознесут меня на небо».

Мое решение покажется менее странным, если я скажу, что Ботанический сад уже давно был для меня святым местом, чем-то вроде земного рая, изображение которого я видел в моей старой библии с картинками. Няня часто водила меня гулять в Ботанический сад, и я испытывал там чувство райского блаженства. Даже небо казалось там чище и выше, и среди облаков, проплывавших над клеткой с попугаями, над загоном для тигров, над ямой медведей и над домом слона, я смутно различал бога Саваофа с белоснежной бородой, в лазоревом одеянии, простершего надо мной, над антилопой и газелью, над голубкой и кроликом свою благословляющую десницу, а когда я сидел под сенью кедра ливанского, я видел, как сквозь листву голову мою осеняло сияние, которое излучали персты бога-отца. Животные кротко смотрели на меня, брали из моих рук пищу, и я вспоминал рассказы матушки об Адаме и о днях первобытной невинности. Земные твари, собран-

ные здесь, как некогда в ковчеге праотца Ноя, в моих детских глазах были исполнены особой прелести. И ничто не омрачало моего рая. Меня не смущало присутствие нянек, солдат и продавцов лакричной воды. Наоборот, мне было хорошо среди смиренных и малых сих, мне, из них самому малому. Все казалось понятным, светлым, ласковым, потому что в бесконечной наивности я все сводил к своим детским идеалам.

Я уснул, твердо решив удалиться в чащу Ботанического сада, чтобы нравственно усовершенствоваться и уподобиться тем великим святым, красочные жизнеописания которых я помнил.

На следующее утро я не изменил решения. Я сообщил его матушке. Она рассмеялась.

— Кто надоумил тебя стать отшельником в лабиринте Ботанического сада? — спросила она, причесывая меня и все еще смеясь.

— Я хочу прославиться, — ответил я, — хочу, чтобы на моих визитных карточках стояло: «Отшельник Ботанического сада и праведник божий», как на папиных карточках стоит: «Лауреат Медицинской академии и секретарь Антропологического общества».

Тут матушка уронила гребенку, которой причесывала меня.

— Пьер! — воскликнула она, — Пьер! Да ведь это же глупо и грешно! Ах, я бедная, бедная. Мой сынок сошел с ума в том возрасте, когда и ума-то еще нет.

И, повернувшись к отцу, она спросила:

— Друг мой, вы слыхали, что сказал Пьер? Семилетний малыш хочет прославиться.

— Милый друг, — ответил отец, — вы увидите, что когда ему исполнится двадцать лет, он почувствует отвращение к славе.

— Дай бог, — сказала матушка, — я не люблю тщеславных людей.

Богу было угодно, чтоб отец мой оказался прав. Как король Ивето *, я отлично обхожусь без славы и вовсе не стремлюсь запечатлеть имя Пьера Нозьера в памяти потомков.

И все же теперь, когда, печальный и одинокий, я прогуливаюсь, окруженный роем далеких воспоминаний,

по Ботаническому саду, меня охватывает непреодолимая потребность поведать неизвестным друзьям о моей былой мечте прожить жизнь анахоретом, словно эта детская мечта может озарить улыбкой мысли моих ближних.

Прав ли я был, что уже в шестилетнем возрасте отказался от военного поприща и с той поры не мечтал стать солдатом? Пожалуй, теперь я слегка сожалею об этом. В военной службе есть свое достоинство. Солдату ясен его долг, тем более что рассуждения тут недопустимы. Человек, который может обсуждать свои поступки, вскоре замечает, как часто он бывает не прав. Только священнослужители и солдаты не ведают мук сомнений.

Но к мечте стать отшельником я возвращался всякий раз, когда мне казалось, что жизнь — великое зло, иначе говоря: ежедневно. Но ежедневно природа тащит меня за уши и возвращает к развлечениям, в которых протекает жизнь скромных людей.

II

Дядюшка Лебо

В «Воспоминаниях» Генриха Гейне встречаются портреты, изумительные по своему реализму, и все же овеянные поэзией. Таков портрет Симона Гельдерна, дяди поэта. Это был, — говорит Генрих Гейне, — большой чудак, отличавшийся чрезвычайно скромной и в то же время чрезвычайно оригинальной внешностью: невысокий, невозмутимо спокойный, с бледным и суровым лицом, с правильным греческим носом, несомненно на треть более длинным, чем носы, украшавшие греков. Он одевался по старинной моде, носил короткие штаны, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками и, как было принято в то время, довольно длинную косу. Когда этот старичок семенил по улицам, коса болталась во все стороны, перекидываясь с одного плеча на другое, словно издеваясь над своим владельцем за его же спиной.

У старого чудака была возвышенная душа, и его скромный редингот, фалды которого напоминали хво-

стик трясогузки, облекал последнего рыцаря. Но отнюдь не странствующего. Он безвыездно жил в Дюссельдорфе, в своем «Ноевом ковчеге». Так прозвали унаследованный им от отца домик за изящно вырезанный над дверью ковчег, раскрашенный в яркие цвета. Там он предавался своим любимым занятиям: наивному гелертерству, библиомании и страсти к бумагомарательству, печатаясь преимущественно в политических газетах и неизвестных журналах.

Лишь ревностная забота об общественном благе понуждала к писательству бедного чудака Симона Гельдерна. Давалось оно ему не легко. Даже мыслить и то стоило ему огромных усилий. Он писал сухим, устаревшим стилем, которому научился в иезуитских школах. «Но именно дядя, — говорит Генрих Гейне, — оказал огромное влияние на мое умственное развитие, и я ему бесконечно обязан. Как ни различны были наши взгляды, его литературные упражнения, надо сказать довольно жалкие, пробудили во мне охоту писать».

Старик Гельдерн напоминает мне другой образ, но боюсь, что он покажется бледным и лишенным обаяния, ибо существует только в моих воспоминаниях. Я, верно, никогда не овладею искусством создавать фантастические и вместе с тем правдивые портреты, тайну которого знали Рембрандт и Генрих Гейне. А жаль! Оригинал стоит того, чтоб его изобразил умелый художник.

Да, и у меня был свой Симон Гельдерн, внушивший мне с детских лет духовные интересы и страсть к писательству. Его звали Лебо; ему, быть может, я обязан тем, что вот уже пятнадцать лет мараю бумагу, записывая свои мысли. Не знаю, благодарить ли мне его. Во всяком случае, он внушил своему ученику страсть, столь же невинную, как и его собственная.

Его страстью было составлять каталоги. Он составлял все новые и новые каталоги. Когда мне было десять лет, я восторгался им, я полагал, что составлять каталоги куда прекраснее, чем выигрывать сражения. С той поры мой вкус несколько испортился, но в сущности не до такой степени, как это можно предполагать.

Дядюшка Лебо, как его называли, еще и до сей поры кажется мне достойным похвал и зависти, и если, вспоминая этого старого друга, я иногда усмехаюсь, то моя веселость полна теплоты и нежности.

Дядюшка Лебо был очень стар, когда я был очень молод, поэтому мы великолепно ладили.

Все в нем вызывало у меня доверчивое любопытство: очки, надетые на большой нос картошкой, румяное и полное лицо, жилет в цветочках, просторное стеганое пальто с оттопыренными карманами, набитыми старыми книгами, весь его добродушный и чудаковатый облик. Он носил низкую шляпу с широкими полями, вокруг которых вились, словно жимолость по перилам балкона, его седые волосы. Все, что он говорил, было просто, кратко, занимательно, образно, как детская сказка. Дядюшка Лебо был большим ребенком и развлекал меня, не прилагая к этому никакого старания. Он был близким другом моих родителей, считал меня смышленым и спокойным мальчиком и охотно приглашал к себе домой, где его навещали только крысы.

Он квартировал в старом доме, выходившем фасадом на крутую улицу, которая вела к Ботаническому саду и на которой, думается мне, в то время жили все парижские бочары и торговцы пробками. Мне никогда не забыть стоявшего там запаха бурдюков и бочек. В сопровождении старой служанки Нанон я проходил через палисадник, подымался на крыльцо и входил в удивительно оригинальное жилище. Гостей встречали мумии, стоявшие вдоль стен в передней; одна была заключена в золоченый футляр, иссохшие тела других были прикрыты только почерневшими лохмотьями; еще одна, освобожденная от погребальных перевязей, пялила на вас эмалевые глаза и скалила белые зубы. Такой же страшной казалась мне и лестница: на стенах висели цепи, железные ошейники, огромные тюремные ключи толщиною в руку.

От дядюшки Лебо можно было ожидать, что он, подобно Бувару, включит в свою коллекцию даже старую виселицу *. Во всяком случае, ему принадлежала веревочная лестница Латюда * и дюжина кляпов. Четыре комнаты его квартиры мало чем отличались одна от другой.

Они были завалены до самого потолка книгами, загромождавшими все полки, куда были также запиханы карты, медали, воинские доспехи и знамена, почерневшие картины и обломки каменных или деревянных скульптур. На колченогом столе и на сундуке, источенном червями, возвышались горы разрисованного фаянса.

Все, что можно было повесить, висело на потолке в самом жалком положении. В этом хаотическом музее все одинаково покрывал слой пыли, под которым трудно было разобрать отдельные предметы, казалось державшиеся только потому, что паук оплел их густой паутиной.

Дядюшка Лебо, по-своему понимавший методы хранения предметов искусства, запрещал Нанон смахивать пыль с полок. Любопытнее всего было то, что в этом развале все вещи выглядели либо печальными, либо насмешливыми и злобно косились на пришельцев. Мне чудилось, что это целый народ, заколдованный злыми духами.

Обычно дядюшка Лебо сидел у себя в спальне, загроможденной, как и прочие комнаты, но менее пыльной, ибо тут старой служанке дозволялось, в виде исключения, орудовать веником и щеткой. Добрую половину комнаты занимал длинный стол, усеянный кусочками картона.

Мой старый друг в халате с разводами и в ночном колпаке с простодушным увлечением работал за этим столом. Он составлял каталоги. А я, широко раскрыв глаза, затаив дыхание, дивился ему. Он составлял каталоги книг и медалей. Вооружившись лупой, он покрывал карточки аккуратным бисерным почерком. Я не представлял себе, что может существовать более интересное занятие. Я ошибался. Нашелся издатель, напечатавший каталоги дядюшки Лебо, и тогда я увидел, как мой друг правил корректуру. Он ставил на полях гранок какие-то таинственные значки. И тут я понял, что это и есть самое интересное занятие в мире, и оробел от восхищения.

Мало-помалу я набрался храбрости и дал себе слово, что в свое время буду тоже править гранки. Мое желание

так и не осуществилось, о чем я не очень скорблю, узнав из разговоров с моим другом-писателем, что пресытиться можно всем, даже правкой корректуры. Но тем не менее на мое призвание мой старый друг Лебо оказал несомненное воздействие. Своеобразная обстановка в его доме с детства приучила меня к древним и редкостным формам, направила мою мысль и привила мне интерес к былому. Сам Лебо, изо дня в день весело и спокойно трудившийся на поприще науки, своим примером внедрил в меня жажду познания. Наконец, именно благодаря ему я пристрастился к чтению, стал усердным комментатором старинных текстов и пишу мемуары, которые никогда не будут напечатаны.

Мне было двенадцать лет, когда незаметно скончался этот милый старый оригинал. Вы сами понимаете, что его каталог так и остался в гранках и не был напечатан. Нанон продала мумии и прочие редкости антикварам; было это четверть века тому назад.

На прошлой неделе, на аукционе в особняке Друо я увидел одну из тех маленьких Бастилий, которые патриот Палуа в 1789 году высекал из камня разрушенной крепости, предлагая за скромную плату муниципалитетам и отдельным гражданам. Эта модель не представляла большой редкости, была громоздка, тем не менее я рассматривал ее с каким-то инстинктивным любопытством и почувствовал волнение, разобрав у подножия одной из башенок полустертую надпись: «Из коллекции г-на Лебо».

III

Бабушка Нозьер

Нынче утром мой отец казался очень расстроенным. Матушка была чем-то озабочена и говорила шепотом. В столовой портниха шила траурные платья.

За завтраком все сидели грустные, чего-то не договаривали. Я прекрасно чувствовал: что-то случилось,

И вот пришла мама, вся в черном и под траурной вуалью; она позвала меня:

— Пойдем, душенька.

Я спросил куда. Она ответила:

— Пьер, слушай хорошенько, что я скажу. Твоя бабушка Нозьер... знаешь, папина мама... сегодня ночью скончалась. Пойдем простимся с ней и поцелуем ее в последний раз.

И я увидел у матушки на глазах слезы. На меня это, видимо, произвело сильное впечатление, потому что, несмотря на протекшие годы, оно еще не изгладилось, но впечатление настолько смутное, что я не в силах передать его словами. Не могу сказать, чтобы оно было грустное. Во всяком случае, грусть эта не была гнетущей. Пожалуй, для этого впечатления, в котором полностью отсутствовал элемент реального, подходит только одно слово, одно-единственное — «романическое».

Дорогой я все время думал о бабушке, но никак не мог себе представить, что же такое с ней случилось.

Умерла! Я не понимал, что это значит. Только чувствовал, что мгновение сейчас торжественное.

Чем ближе мы подходили к осиротевшему дому, тем сильнее, разумеется, работало мое воображение, и мне казалось, что смерть бабушки наложила печать на все вокруг; утренняя тишина на улицах, оклики соседей и соседок, торопливые шаги прохожих, стук кузнечного молота — всему причиной была смерть бабушки. С этой мыслью, всецело овладевшей мною, я связывал и красоту деревьев, и мягкость воздуха, и сияние неба, впервые замеченные мною.

Я чувствовал, что вступаю в таинственный мир, и когда, дойдя до угла улицы, увидел хорошо знакомые садик и флигель, то почувствовал какое-то разочарование, не найдя в них ничего необычайного. Птицы пели.

Мне стало страшно, и я взглянул на мать. Ее взор, исполненный благоговейного трепета, был устремлен в одну точку. И я посмотрел туда же.

И тогда я увидел, что сквозь занавешенные окна бабушкиной спальни мерцает свет, бледный и тусклый. И этот свет при ярком сиянии дня казался бесконечно унылым. Чтобы не видеть его, я опустил голову.

Мы поднялись по узкой деревянной лестнице и прошли по квартире, где царила глубокая тишина.

Когда матушка протянула руку, чтобы открыть дверь в спальню, мне захотелось удержать ее... Мы вошли. Сидевшая в кресле монахиня поднялась и уступила нам место у изголовья кровати. На кровати, закрыв глаза, покоилась бабушка.

Мне показалось, что голова ее стала тяжелой, словно камень, — так глубоко ушла она в подушки. Я очень ясно видел бабушку. Белый чепчик прикрывал волосы; она казалась моложе, чем обычно, хотя и была очень бледна.

О, как мало походил этот покой на сон! И откуда появилась на ее лице лукавая и упрямая усмешка, на которую было так горестно глядеть?

Мне почудилось, что веки ее чуть вздрагивают, это впечатление, вероятно, создавал трепетный отблеск двух горевших на столе свечей, — они стояли рядом с тарелкой, в которой мокла в святой воде буксовая веточка.

— Поцелуй бабушку, — сказала мне мать.

Я повиновался. Нет, никакими словами, никогда не передать мне то ощущение холода, которое охватило меня.

Я опустил глаза и услышал, как всхлипывала мать.

Право, не знаю, что бы со мною было, если бы меня не увела из спальни бабушкина горничная.

Она взяла меня за руку, привела в игрушечную лавку и сказала:

— Выбирай!

Я выбрал самострел и забавлялся, стреляя горохом в листья на деревьях.

О бабушке я забыл.

Только вечером, взглянув на отца, я вспомнил свое утреннее настроение. Моего несчастного отца нельзя было узнать. У него было распухшее, лоснящееся, воспаленное лицо, в глазах стояли слезы, губы дергались!

Он не слышал того, что ему говорили, и был какой-то подавленный и раздражительный. Матушка сидела рядом и надписывала адреса на конвертах с траурной каймой. Ей помогали родные. Меня научили, как складывать письма. Нас собралось за большим столом

человек десять. Было душно. Я занимался новой интересной работой и чувствовал себя важной персоной.

После смерти бабушка стала жить для меня другой жизнью, более значительной, чем первая. С необычайной ясностью представлял я себе все, что она говорила и делала, а мой отец каждый день рассказывал о ней так живо, что вечером, за столом, нам казалось, будто она разделяет с нами трапезу. Почему не сказали мы дорогому призраку того, что сказали Учителю ученики, шедшие в Эммаус: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». О! Каким очаровательным привидением была моя бабушка! В голове не укладывалось, что эта старушка в кружевном чепце с зелеными лентами может ужиться в загробном мире. Представление о смерти совсем не вязалось с ней. Умирать подобало монахам или красавицам героиням, но не такой старушке, какой была бабушка, всегда нарядная, веселая, ветреная.

Я расскажу вам, что узнал о ней не с чужих слов, а сам, когда она была еще жива.

Бабушка отличалась легкомыслием, бабушка была снисходительна по части морали, бабушка была не более набожна, чем птичка. Вы бы только видели, как лукаво поглядывала она по воскресеньям на нас с матушкой, когда мы отправлялись в церковь. Ей казалось смешной та серьезность, с какой матушка относилась ко всем делам как нашего, так и загробного мира. Она легко прощала мне все прегрешения, а также, разумеется, и прегрешения более тяжкие, чем мои. Она говорила:

— Вот увидите, он своему отцу много очков вперед даст.

Она имела в виду, что я стану ярым танцором и великим женолюбом. Она мне льстила. Единственное, что она одобрила бы, будь она жива (ей было бы теперь сто десять лет), это мое легкое отношение к жизни и счастливую снисходительность, за которые я заплатил не слишком дорого, поступившись некоторыми моральными и политическими убеждениями. В бабушке все эти свойства были вполне естественными и потому особенно привлекательными. Она скончалась, так и не по-

дозревая в себе этих качеств. Мне до нее далеко, ибо я сознаю, что я человек терпимый и общительный.

Бабушка принадлежала к XVIII веку. И это было видно. Жаль, что никто не записал ее воспоминания. Написать их сама она была неспособна. Но моему отцу, пожалуй, лучше было заняться ими, чем измерять черепа папуасов и бушменов. Каролина Нозьер родилась в Версале 16 апреля 1772 года; она была дочерью врача Дюсюэля, ум и характер которого ценил Кабанис *. Это был тот самый Дюсюэль, который в 1786 году лечил дофина, болевшего легкой формой скарлатины. Придворная карета ежедневно приезжала за ним в Люсьен, где он скромно жил в небольшом домике, среди книг и гербариев, как истый последователь Жан-Жака *. Однажды карета возвратилась во дворец без него: врач отказался приехать. При следующем визите возмущенная королева сказала:

— Сударь, вы о нас забыли!

— Ваше величество, — ответил Дюсюэль, — такой упрек обижает меня, но он делает честь вашим материнским чувствам, и я не имею права сердиться. Не беспокойтесь, я внимательно пользую вашего сына. Меня задержала крестьянка, у которой начались роды.

В 1789 году Дюсюэль выпустил в свет брошюру, которую я всегда раскрываю с чувством уважения и читаю с улыбкой. Ее заглавие: «Пожелания гражданина», а эпиграф: «Miseris succurrere disco» [1]. В начале брошюры автор из своего сельского уединения шлет пожелания счастья французам. Далее в простоте душевной намечает принципы, на которых зиждется народное благополучие: это разумная свобода, обеспеченная Конституцией. В заключение он призывает всех чувствительных людей быть признательными Людовику XVI, королю свободного народа, и возвещает возврат золотого века.

Спустя три года гильотинировали его пациентов, бывших одновременно и его друзьями. Его самого заподозрили в умеренных взглядах и по приказу Севрского комитета отправили в Версаль, в монастырь

[1] Учись помогать несчастным (*лат.*).

францисканцев, превращенный в дом заключения. Придя туда, весь в пыли, более похожий на старого бродягу, чем на врача-философа, он опустил на землю узелок, в котором лежали произведения Рейналя * и Руссо, сел на стул и сказал со вздохом:

— И это награда за пятьдесят лет добродетельной жизни!

К нему подошла, держа в руках таз и губку, молодая и обворожительная женщина, которую он сразу не приметил.

— Нас, вероятно, гильотинируют, сударь, — сказала она, — так не разрешите ли вымыть вам пока что лицо и руки? А то вы похожи на дикаря.

— Чувствительная женщина! — воскликнул Дюсюэль, — здесь ли, в этом вертепе зла, надлежало мне встретить вас? Ваш возраст, ваша внешность, ваше поведение — все говорит о том, что вы невиновны.

— Я виновна лишь в том, что оплакивала лучшего из королей, — ответила прекрасная пленница.

— У Людовика Шестнадцатого, конечно, были свои достоинства, но как велика была бы его слава, если бы он остался верен великой Конституции! — ответил мой прадед.

— Как, сударь! — воскликнула молодая женщина, выжимая мокрую губку, — вы якобинец и принадлежите к партии разбойников?

— Как, сударыня! вы принадлежите к партии врагов Франции? — простонал не успевший домыться Дюсюэль. — Неужели такое сострадательное сердце бьется в груди аристократки!

Это была г-жа де Лавиль, она носила траур по королю. Все четыре месяца их заключения она то и дело упрекала Дюсюэля и вместе с тем то и дело придумывала, чем бы услужить ему. Против ожидания их не отправили на гильотину, а по ходатайству депутата Бателье помиловали и выпустили на волю; г-жа де Лавиль стала впоследствии самым близким другом моей бабушки, которой в ту пору шел двадцать второй год; она уже три года была замужем за гражданином Данже, служившим батальонным адъютантом в Верхне-Рейнском добровольческом полку.

— Он очень красивый мужчина, — говорила бабушка, — но я не уверена, что, встретив его на улице, я его узнаю.

Бабушка утверждала, что виделась с мужем всего пять раз, в общем не больше шести часов. Она вышла за него замуж из чисто детского каприза — она захотела носить чепец «Нация». Ей не нужен был муж, а ему нужны были все женщины в мире. Он ушел; она не стала удерживать и нисколько на него не сердилась.

Устремившись в погоню за славой, Данже оставил жене в наследство денежные расписки своего брата, Данже де Сент-Эльм, офицера в армии принца Конде, и связку писем от эмигрантов. Этого было вполне достаточно, чтобы привести бабушку, а с ней вместе еще человек пятьдесят, на гильотину.

Бабушке это не раз приходило в голову, и при каждом обыске в квартале она повторяла: «Ох! надо сжечь бумаги моего дорогого муженька». Но мысли бабушки так и порхали. Все же однажды утром она взялась за дело.

И вовремя!..

Усевшись перед камином, она выбросила на диван бумаги из письменного стола и принялась перебирать их. Спокойно раскладывала она их на пачки, в одну сторону те, которые можно оставить, в другую — те, которые надо уничтожить, читала строчку то тут, то там, пробегала глазами то одну, то другую страницу, и ее мысли переходили от одного воспоминания к другому, подбирая мимоходом крохи былого. Вдруг она услышала, что открывают входную дверь. Тотчас же, по какому-то внезапному наитию, она решила, что пришли с обыском.

Схватив бумаги в охапку, она сунула их под диван, чехол которого доходил до полу, и ногой подтолкнула подальше. Уголок одного конверта, словно ухо беленькой кошки, еще выглядывал из-под дивана, когда в комнату вошел делегат Комитета общественной безопасности, а за ним — шесть членов секции, вооруженные ружьями, саблями и пиками. Г-жа Данже встретила их, стоя перед диваном. Она надеялась, что еще не все

потеряно, что из тысячи шансов на спасение у нее остался хотя бы один, и была крайне заинтересована, что произойдет дальше.

— Гражданка, — обратился к ней председатель секции, — на тебя донесли, что ты состоишь в переписке с врагами республики. Мы пришли, чтоб конфисковать все твои бумаги.

Член Комитета общественной безопасности сел на диван и стал писать протокол обыска.

Они перерыли все в столах, взломали замки, выпотрошили ящики. Не найдя ничего, они переворошили содержимое комодов, перевернули картины, штыками разодрали тюфяки и кресла, но все напрасно! Ружейными прикладами простукали стены, обследовали печи, подняли несколько половиц, но только зря потратили время. Наконец, после трехчасовых бесплодных поисков и ни к чему не приведшего погрома, ушли уставшие, раздраженные и пристыженные, пригрозив вскоре вернуться. Но заглянуть под диван не догадались.

Через несколько дней, возвращаясь из Французской Комедии, бабушка наткнулась у подъезда своего дома на какого-то изможденного, мертвенно-бледного человека, обросшего седой всклокоченной бородой; он бросился к ее ногам.

— Гражданка Данже, я Альсид. Спасите меня!

Тут бабушка узнала его.

— Боже мой! — воскликнула она, — неужели это вы, господин Альсид, вы — мой учитель танцев? Но на что вы похожи, господин Альсид!

— Я приговорен к смерти, гражданка. Спасите меня.

— Попытаюсь, но я сама под подозрением, а кухарка у меня — якобинка. Идемте. Только смотрите не попадайтесь на глаза швейцару, он член муниципального комитета.

Поднявшись по лестнице, очаровательная г-жа Данже заперлась в комнате вместе с несчастным Альсидом. У него зуб на зуб не попадал, и, дрожа как в лихорадке, он повторял:

— Спасите, спасите меня!

Глядя на его жалобную физиономию, она чуть не рассмеялась. Однако положение было критическое.

«Куда бы его запрятать?» — размышляла бабушка, оглядывая шкафы и комоды.

Не найдя подходящего места, она решила спрятать его к себе в постель.

Она отодвинула от стены две верхних перины и на освободившееся место втолкнула Альсида. От этого постель казалась неубранной. Затем она разделась, легла в постель и позвонила кухарке.

— Зоя, мне нездоровится, принесите курицу, салат и стакан бордо. Ну, что новенького, Зоя?

— Что новенького? Открыт заговор мерзавцев аристократов; им, видно, не терпится попасть на гильотину! Но санкюлоты не дремлют! Не беспокойтесь! Швейцар говорил, что в нашем квартале ищут какого-то негодяя Альсида и что нынче ночью могут прийти с обыском и к вам.

Лежа под перинами, Альсид слышал это утешительное сообщение. Когда Зоя вышла, на него напала такая нервная дрожь, что кровать заходила ходуном, он сопел и хрипел на всю комнату.

— Вот так история, — пробормотала очаровательная г-жа Данже.

Она скушала куриное крылышко и дала несчастному Альсиду хлебнуть глоток бордо.

— О сударыня! О господи!.. — причитал он.

А затем принялся громко стонать, что было вполне понятно, но во всяком случае не остроумно.

«Так, — подумала г-жа Данже, — теперь не хватает только, чтобы пришли члены муниципалитета».

Не успела она подумать, как раздался стук ружейных прикладов на площадке лестницы; Зоя ввела четырех членов муниципалитета и тридцать солдат национальной гвардии.

Альсид замер и затаил дыхание.

— Вставайте, гражданка, — сказал один из национальных гвардейцев.

Другой заметил, что гражданке неудобно одеваться при мужчинах.

Третий, увидав бутылку вина, схватил ее, отхлебнул, и все поочередно стали к ней прикладываться.

Один из солдат, видимо большой весельчак, присел на кровать к г-же Данже и потрепал ее по подбородку.

— Вот досада, мордочка такая хорошенькая, а сама аристократка, и придется чикнуть ей шейку.

— Ну, ну, — сказала г-жа Данже, — вы, я вижу, любезные люди! Принимайтесь за дело и ищите попроворнее то, что вам надо отыскать, а то мне страшно хочется спать!

Они провели в комнате два томительно долгих часа. Двадцать раз то один, то другой, проходя мимо кровати, заглядывали под нее. Наконец, наговорив дерзостей, они ушли.

Не успел последний солдат исчезнуть за дверью, как г-жа Данже, просунув голову между стеной и кроватью, позвала:

— Господин Альсид, господин Альсид!

— Боже мой! Нас могут услышать. Господи Иисусе!.. Пожалейте меня, сударыня.

— Ну и страху же я натерпелась из-за вас, господин Альсид, — сказала бабушка. — Вы не подавали признаков жизни, я и решила, что вы уже умерли, и как подумала, что лежу на мертвеце, так чуть в обморок не упала! Нехорошо, господии Альсид! Ежели ты не умер, так надо хоть сказать! Никогда не прощу вам, что натерпелась такого страху.

Ну разве моя бабушка не прелесть? Ведь правда же, она отлично вела себя в истории с несчастным Альсидом. На следующий день она спрятала его в Медоне и таким образом спасла.

Трудно заподозрить дочь философа Дюсюэля в том, что она верила в чудеса или пыталась заглянуть в потусторонний мир. Она была совсем не религиозна, и ее здравый смысл, надо сказать несколько ограниченный, восставал против всего таинственного. Однако эта рассудительная особа рассказывала всем, кому не лень было слушать, о чудесном происшествии, свидетельницей которого ей довелось быть.

Навещая своего отца в доме заключения в Версальском монастыре францисканцев, она познакомилась с г-жой Лавиль, тоже заключенной там. Выйдя на волю, г-жа Лавиль поселилась на улице Ланкри в том

же доме, где проживала моя бабушка. Обе квартиры выходили на одну площадку.

Госпожа Лавиль жила вместе с младшей сестрой — Амелией.

Амелия была высокая, красивая девушка. Ее бледное лицо в рамке черных волос поражало своей необыкновенной выразительностью. Глаза ее, временами томные, временами пламенные, искали вокруг что-то неведомое.

Она вступила в монашеский орден в Аржантьере, но не приняла пострига, и судьба ее пока еще не определилась. В ранней юности Амелия, как говорили, испытала горести неразделенной любви, которую ей пришлось подавить.

Казалось, что Амелию снедает тоска. Иногда она разражалась беспричинными слезами. Порой могла целыми днями сидеть неподвижно, тупо глядя перед собой, порой упивалась книгами религиозного содержания. Ее томили несбыточные мечты, терзали ужасные муки.

Арест сестры, казнь друзей, которых гильотинировали как заговорщиков, и непрерывные тревоги окончательно сломили ее и без того подорванный организм. Она страшно исхудала. Ее до смерти пугал барабанный бой, ежедневно призывавший членов городских секций к оружию, пугали люди в красных колпаках, вооруженные пиками, дефилирующие мимо ее окон с песней «Ça ira!», а затем на нее нападал столбняк, который сменялся нервным возбуждением. Припадки отличались страшной силой и порождали странные явления. Амелия стала видеть вещие сны, сбывавшиеся к удивлению окружающих.

Целыми ночами она бродила по комнатам и не то во сне, не то наяву слышала далекие шумы, стоны жертв. Порой, выпрямившись во весь рост, она простирала руки в темноту и, указывая на что-то невидимое, произносила имя Робеспьера.

— У нее верные предчувствия, она предсказывает несчастье, — говорила ее сестра.

В ночь с девятого на десятое термидора, бабушка вместе со своим отцом сидела в квартире двух сестер.

Все четверо были очень возбуждены и обсуждали важные события истекшего дня, пытаясь предугадать их исход: тирана, арестованного по декрету, препроводили в Люксембургский дворец, но привратник не впустил его, и тогда он был направлен на набережную Орфевр, в полицию, откуда был освобожден коммунарами и доставлен в мэрию...

Там ли он сейчас? и если там, то какой: униженный или угрожающий? Все четверо были очень напуганы и не слышали ничего, разве только бешеный галоп лошадей конных нарочных, рассылаемых Анрио *. Они ждали, то предаваясь воспоминаниям, то высказывая опасения или пожелания. Амелия сидела молча.

Вдруг она громко вскрикнула.

Было половина второго ночи. Склонившись над зеркалом, Амелия, казалось, созерцала трагическую сцену.

Она бормотала:

— Я вижу, вижу его! Какой бледный! Изо рта льет кровь; зубы выбиты, челюсть раздроблена! Слава, слава создателю! Кровопийца захлебнется в собственной крови.

Выговорив это как-то странно, нараспев, она в ужасе вскрикнула и упала замертво.

В это самое мгновение в зале совещаний, в мэрии, Робеспьера поразила пуля, которая раздробила ему челюсть и положила конец террору.

Моя бабушка, хоть и была вольнодумкой, твердо верила в это видение. Как вы это объясните?

Я объясняю это тем, что, несмотря на свое вольнодумство, бабушка верила в дьявола и в оборотней. В юности вся эта чертовщина ее забавляла, — говорят, она любила гадать. Впоследствии ее обуял страх перед дьяволом, но было уже поздно: он крепко держал ее, и теперь она уже не могла не верить в него.

Девятое термидора вновь сделало сносной жизнь маленького общества с улицы Ланкри. Бабушка от всей души наслаждалась этой переменой, но не таила в сердце злобы против революционеров. Они не вызывали ее восхищения — никто, кроме меня, не вызывал ее восхищения, — но и не возбуждали в ней ненависти.

Ей и в голову не приходило сводить с ними счеты за пережитый ею страх. Возможно потому, что бабушка вовсе и не переживала особого страха. Но главное то, что бабушка была «синей» *, — «синей» в душе. А ведь кто-то сказал, что синие всегда останутся синими.

Между тем Данже продолжал свою блистательную карьеру на поле брани. Этот неизменный баловень судьбы был разорван пушечным ядром в битве при Абенсберге 20 апреля 1808 года, когда он, в полной парадной форме, вел в бой свою бригаду.

Бабушка, прочтя «Монитер» *, узнала, что она овдовела, а храбрый генерал Данже, «увенчанный лаврами, предан земле».

— Как жаль! Такой красавец! — воскликнула она.

Спустя год она вышла замуж за Ипполита Нозьера, чиновника министерства юстиции, честного и веселого человека, игравшего на флейте с шести до девяти утра и с пяти до восьми вечера. На этот раз брак оказался удачным. Они были любящими супругами и, так как оба были уже не очень молоды, относились снисходительно друг к другу: Каролина прощала Ипполиту его вечную флейту, а Ипполит прощал Каролине ее сумасбродные выходки. Они жили счастливо.

Мой дед Нозьер известен как автор «Тюремной статистики» (Париж, Королевская типография, 1817—1819 гг., 2 тома, in 4°) и сборника «Дочери Момуса», новые песни (Париж, изд. автора, 1821, in 18°).

Его донимала подагра, но даже она не в силах была лишить его жизнерадостности, несмотря на то, что мешала ему играть на флейте. В конце концов она его одолела. Я не знавал своего деда, но у меня сохранился его портрет. Он изображен в синем фраке, курчавый, словно барашек, и с глубоко ушедшим в галстук подбородком.

— Я буду горевать о нем до самой смерти, — говорила моя восьмидесятилетняя бабушка, вдовевшая уже лет пятнадцать.

— Вы совершенно правы, сударыня, — сказал ей один из ее старинных друзей. — У Нозьера были все достоинства, необходимые образцовому супругу.

— Все достоинства и все недостатки, — поправила его бабушка.

— Как, сударыня? Разве, чтобы быть идеальным мужем, надо иметь недостатки?

— А как же, — ответила бабушка, пожимая плечами, — надо не иметь пороков, а это большой недостаток.

Она умерла 4 июля 1853 года на восемьдесят первом году жизни.

IV

Зуб

Если бы люди прилагали столько же стараний к тому, чтобы жить незаметно, сколько прилагают к тому, чтобы выделяться среди других, они избежали бы многих огорчений. Я рано это усвоил на собственном опыте.

Был дождливый день. Мне подарили полное снаряжение кучера: фуражку, кнут и вожжи с бубенчиками. Бубенчиков было очень много. Я запряг лошадь, то есть самого себя, потому что я был и кучером, и лошадью, и каретой. Мой путь проходил по коридору из кухни в столовую. Столовая великолепно заменяла деревенскую площадь. Буфет красного дерева, около которого я перепрягал лошадей, без труда сходил за гостиницу «Белый конь»; коридор был большой дорогой с сменявшимися ландшафтами и неожиданными встречами. В этом узком и темном коридоре я наслаждался широким горизонтом, и в знакомых стенах переживал те неожиданности, которые так красят путешествия. Ведь в ту пору я был великим волшебником! Я мог по собственной прихоти вызвать к жизни любые существа и по своему усмотрению распоряжаться природой. Увы! впоследствии я утратил этот дивный дар, зато я наслаждался им в полной мере в тот дождливый день, когда был кучером.

Мне следовало бы удовольствоваться этим наслаждением. Но разве человек бывает когда-нибудь доволен! Меня обуяло желание удивить, изумить, ослепить зрителей. Бархатная фуражка и бубенцы уже не радо-

вали меня, потому что никто ими не любовался. Услыхав, что отец разговаривает с матерью в соседней комнате, я ворвался туда с топанием и грохотом. Несколько мгновений отец наблюдал за мной, а затем, пожав плечами, сказал:

— Мальчик не знает, чем заняться. Надо отдать его в пансион.

— Но он еще так мал, — возразила матушка.

— Ну что же, мы и поместим его к самым маленьким, — ответил отец.

Эти слова я расслышал явственно, последующие я не разобрал, и если теперь я передаю их в точности, то лишь потому, что мне часто их повторяли.

Отец добавил:

— У мальчика нет ни братьев, ни сестер, он растет один, вот у него и развивается склонность к мечтательности, которая впоследствии будет вредить ему. Одиночество возбуждает воображение, — я заметил, что он и сейчас уже фантазер. От сверстников, с которыми он столкнется в школе, он приобретет жизненный опыт. Из общения с ними он усвоит, что такое люди. Из общения с нами он этого не усвоит, потому что и вы и я для него что-то вроде добрых гениев. С товарищами ему придется быть на равной ноге, жалеть их, защищать, убеждать, драться с ними. Они научат его, что такое жизнь в обществе.

— Друг мой, — спросила матушка, — а вы не боитесь, что среди этих детей могут встретиться и дурные?

— Даже и дурные дети будут ему полезны, — ответил отец. — Если он умен, то научится отличать их от хороших, а это очень нужное знание. К тому же вы можете присмотреться к школам нашего квартала и выбрать подходящую, куда ходят дети, получающие дома такое же воспитание, как и наш Пьер. Природа людей одинакова везде, но, как говорили в старину, «пестуют» их в каждой среде по-разному. При заботливом уходе в течение ряда поколений вырастили изысканный цветок; чтобы взлелеять этот цветок, понадобилось столетие, но он может увянуть в несколько дней. Общение с неразвитыми детьми может, без пользы для них,

дурно повлиять но развитие нашего сына. Благородство мыслей дается богом, благородство манер воспитывается на примерах и передается по наследству. Благородство мыслей выше благородства происхождения. Оно — прирожденное и находит подтверждение в собственном очаровании, тогда как благородное происхождение подтверждается старинными грамотами, в которых не знаешь, как и разобраться.

— Вы правы, друг мой, — ответила матушка. — Завтра же я поищу школу для нашего мальчика. Я постараюсь выбрать такую, как вы советуете, и наведу справки, хорошо ли идут там дела, потому что денежные заботы отвлекают мысли наставника и ожесточают его характер. Какого вы мнения, друг мой, о школе, которой руководит женщина?

Отец ничего не ответил.

— Какого вы мнения? — переспросила матушка.

— Об этом следует подумать, — сказал отец.

Сидя в кресле за пузатым письменным столом, он уже несколько мгновений рассматривал какую-то косточку, заостренную с одного конца и стершуюся с другого. Он вертел ее в руках, разглядывая со всех сторон, и, наверное, представлял себе ее прошлое, и я вместе с моими бубенцами уже перестал существовать для него.

Матушка, облокотившись о спинку кресла, продолжала думать о своем.

Отец показал ей противную на вид косточку и сказал:

— Вот зуб человека ледникового периода, жившего во времена мамонтов в унылой и пустой пещере; теперь она почти вся заросла диким виноградом и жимолостью, а около нее стоит красивый белый дом, где мы прожили два летних месяца в год нашей свадьбы. Два счастливых месяца! В доме был старинный рояль, ты, моя дорогая, ежедневно играла Моцарта, и вдохновенные прекрасные звуки лились из раскрытых окон, оглашая долину, в которой пещерный человек слышал лишь рев тигра.

Мать склонила голову на плечо отца. Он продолжал:

— Этот человек знал только страх и голод. Он походил на зверя. У него был низкий вдавленный лоб, и когда брови его сдвигались, на лбу появлялись безобразные морщины, челюсти выдавались громадными буграми, зубы торчали. Видите, какой острый и длинный зуб.

Таков был первобытный человек. Но постепенно, после длительных и огромных усилий, люди стали менее жалкими и дикими; от упражнений их органы изменились. Привычка мыслить развила мозг; лоб стал выше; теперь, когда ему уже не надо было разрывать зубами сырое мясо, зубы стали не такие длинные, а челюсти не такие сильные. Человеческое лицо приобрело духовную красоту, и на женских устах расцвела улыбка.

При этих словах отец поцеловал в щеку улыбающуюся матушку. Затем, торжественно подняв над головой зуб пещерного человека, воскликнул:

— О древний человек! О ты, от которого уцелел лишь этот мощный и свирепый зуб! Воспоминание о тебе глубоко волнует меня; я уважаю и люблю тебя, о мой предок! В то непроницаемое прошлое, в котором ты покоишься теперь, я шлю тебе дань моей благодарности, — я знаю, сколь многим я обязан тебе, я знаю, от скольких бед я избавлен твоими стараниями. Ты, правда, не помышлял о будущем, в твоей темной душе чуть брезжил свет разума, твоей заботой были пища да кров. Но все же ты был человеком. Смутный идеал влек тебя к красоте и добру. Тебе трудно жилось, но ты жил не напрасно, и жестокую жизнь, доставшуюся тебе в удел, ты сделал менее тяжелой для твоих детей. Они в свою очередь потрудились над ее улучшением. Каждый внес что-нибудь новое, один изобрел жернов, другой колесо. Все что-нибудь придумывали, и непрестанное усилие стольких умов на протяжении тысячелетий создало чудеса, которые теперь украшают жизнь. И каждый раз, когда люди изобретали новое ремесло или клали начало новому промыслу, они тем самым создавали новые моральные качества и рождали новые свойства. Они дали покровы женщине, и мужчины познали ценность красоты.

Мой отец положил доисторический зуб на письменный стол и обнял мать.

Он продолжал:

— Итак, этим предкам мы обязаны всем, всем, даже любовью!

Я хотел дотронуться до зуба, внушившего моему отцу непонятные для меня речи. Я подошел к столу, желая взять зуб, но на звон моих бубенчиков отец обернулся, серьезно взглянул на меня и сказал:

— Не тронь! Задача еще не выполнена: мы были бы менее великодушны, чем пещерный человек, если бы в свою очередь не стали работать над тем, чтобы сделать жизнь наших детей лучше и спокойнее нашей. Для этого надо овладеть двумя тайнами: надо уметь любить и познавать. Наука и любовь созидают жизнь.

— Конечно, друг мой, — ответила матушка, — но чем дольше я думаю, тем все более склоняюсь к мысли, что воспитание такого маленького мальчика, как наш Пьер, надо доверить женщине. Мне говорили о мадемуазель Лефор. Завтра пойду повидаю ее.

V

Откровение поэзии

Мадемуазель Лефор держала в предместье Сен-Жермен пансион для малолетних; она согласилась брать меня к себе с десяти до двенадцати и с двух до четырех. Я уже заранее вообразил себе всякие ужасы про этот пансион, и, когда няня в первый раз повела меня туда, я решил, что пропал.

Поэтому я очень удивился, когда увидел в большой комнате пять-шесть девочек и с десяток мальчиков, которые хохотали, гримасничали и шалили. Я решил, что они закоренелые грешники.

Зато мадемуазель Лефор, как я заметил, была очень грустна. В ее голубых глазах стояли слезы, а губы были полуоткрыты.

Светлые букли спускались вдоль ее щек, словно печальные ветви плакучей ивы, склоненные над водой. Она смотрела невидящим взором, унесясь куда-то мечтой.

Кротость этой печальной барышни и резвость детей успокоили меня. Когда я подумал, что меня ждет та же участь, что и нескольких маленьких девочек, все мои опасения мало-помалу рассеялись.

Мадемуазель Лефор дала мне аспидную доску и грифель и посадила рядом с мальчиком, моим сверстником; у него были живые глаза и смышленое лицо.

— Меня зовут Фонтанэ, а тебя как?

Потом он спросил, что делает мой отец. Я ответил, что он врач.

— А мой папа — адвокат, — сообщил Фонтанэ. — Это лучше.

— Почему?

— Разве ты не знаешь, что лучше быть адвокатом?

— Нет, не знаю.

— Ну, значит, ты дурак.

У Фонтанэ был изобретательный ум. Он посоветовал мне разводить шелковичных червей и показал Пифагорову таблицу, которую «составил сам». Я восхищался и Пифагором и Фонтанэ.

Сам я знал только басни.

Уходя, я получил от мадемуазель Лефор хорошую отметку, но никак не мог понять, на что она нужна. Матушка объяснила мне, что почести не имеют никакой практической пользы, Затем спросила, чем я занимался в первый день. Я ответил, что глядел на мадемуазель Лефор.

Она посмеялась надо мной, но я сказал правду. Я всегда склонен был воспринимать жизнь, как зрелище. Я никогда не был настоящим наблюдателем, потому что для наблюдений необходима система, у меня же никакой системы нет. Наблюдатель управляет своими зрительными восприятиями, зритель отдается впечатлению. Я родился зрителем и полагаю, что на всю жизнь сохраню наивность, свойственную парижским зевакам, которых все занимает; даже в зрелом возрасте они сохраняют бескорыстную детскую любознательность. Единственное зрелище, нагонявшее на меня тоску, было зрелище театральное. Житейские представления, наоборот, всегда интересовали меня, начиная с представлений, которые я увидел в пансионе мадемуазель Лефор.

Итак, я продолжал разглядывать мою учительницу и, укрепившись в мысли, что она грустит, спросил Фонтанэ, почему она такая грустная. Фонтанэ, не утверждая ничего определенного, приписал это угрызениям совести и припомнил, что грустное выражение вдруг появилось на лице мадемуазель Лефор в тот далекий день, когда она отняла у него деревянный кубарь, не имея на то никакого права, и почти тотчас же совершила еще одно злодеяние: желая заглушить жалобы ограбленного, она нахлобучила ему на голову дурацкий колпак.

Фонтанэ полагал, что человек, запятнавший себя подобными преступлениями, должен навек утратить радость и покой. Но его объяснение не убедило меня, и я стал искать другого.

По правде говоря, неумолчный гул, царивший в классе, не благоприятствовал каким бы то ни было размышлениям. Ученики, не стесняясь, дрались на глазах мадемуазель Лефор, которая хотя и присутствовала в классе, но душой была далеко. В комнате стоял невообразимый шум, и было темно от тучи учебников и хлебных корок, которыми мы швыряли друг в друга. Только малыши сидели спокойно, держась руками за собственные ножки и высунув языки, и с кроткой улыбкой смотрели на потолок.

Случалось, что мадемуазель Лефор все с тем же видом сомнамбулы врывалась в этот хаос и карала невиновных. Затем она вновь замыкалась, как в башню, в свою печаль. Вы только подумайте, что творилось в голове восьмилетнего мальчика, полтора месяца среди адского шума писавшего на грифельной доске:

Безвестным голод свел в могилу Мальфилатра.

Это был заданный мне урок. Бывало, я сжимал голову руками, пытаясь сосредоточиться, но меня преследовала мысль о грусти мадемуазель Лефор. Я непрерывно думал о нашей опечаленной наставнице. Фонтанэ подогревал мое любопытство странными рассказами. Он уверял, что по утрам из комнаты мадемуазель Лефор доносятся жалобные стоны и звон цепей.

— Она уже давно, месяц тому назад, читала всему классу какую-то историю, как будто в стихах, и плакала, — припоминал он.

В рассказе Фонтанэ слышался ужас, который пронизал и меня. Уже на следующий день я убедился, что рассказ этот не выдумка, во всяком случае что касается чтения вслух; вот относительно звона цепей, при воспоминании о котором Фонтанэ бледнел, я так ничего и не узнал; полагаю, что это гремели каминные щипцы и кочерга.

Вот что произошло на следующий день.

Мадемуазель Лефор, постучав по столу линейкой, водворила тишину, кашлянула и начала глухим голосом:

Бедная Жанна!

Выдержав паузу, она прибавила:

Всех дев прекраснее в своем селенье Жанна,

Фонтанэ подтолкнул меня локтем и прыснул со смеху. Мадемуазель Лефор негодующе взглянула на него и затем продолжала повествовать о бедной Жанне таким печальным голосом, словно читала покаянные псалмы. Возможно, и даже вполне вероятно, что повесть от начала и до конца была в стихах, но я могу передать ее только так, как запомнил. Надеюсь, что в моем прозаическом изложении читатель уловит разбросанные там и сям крупинки поэтического вдохновения.

Жанна была невестой; она дала слово молодому и мужественному горцу. Счастливца-пастуха звали Освальдом. Все уже было готово для праздника Гименея. Подружки Жанны принесли ей фату и венок. Счастливица Жанна! Вдруг ею овладевает какое-то оцепенение. Смертельная бледность покрывает ее щеки. Освальд спускается с гор. Он спешит к Жанне и говорит: «Не моя ль ты подруга?» Она отвечает: «Дорогой Освальд, прощай, я умираю!» Бедная Жанна! Гроб был ей брачным ложем, и колокола деревенской церкви, вместо того чтобы сзывать на венчание, сзывали на погребение.

В этом рассказе было много выражений, которые я слышал впервые и не понимал, но все в целом пока-

залось мне таким печальным и прекрасным, что при чтении я почувствовал трепет. Очарование меланхолии открылось мне в нескольких стихах, хотя я был не в силах передать точный их смысл. Человеку, если только он не стар, нет надобности понимать, чтобы чувствовать. Непонятное может волновать, и правильно говорят, что неясное пленяет юные души.

Сердце мое было переполнено, из глаз брызнули слезы, и ни гримасы Фонтанэ, ни его насмешки не могли остановить моих рыданий. А между тем в ту пору я был уверен в превосходстве Фонтанэ надо мной. Я усомнился в нем только после того, как Фонтанэ стал помощником министра.

Мои слезы были приятны мадемуазель Лефор, она подозвала меня и сказала:

— Пьер Нозьер, вы плакали; вот вам крест почета. Знайте, что стихи эти написаны мною. У меня есть толстая тетрадь, исписанная такими же красивыми стихами, но я все еще не нашла издателя. Ведь это же ужасно? Это просто непостижимо!

— Мадемуазель, — ответил я, — как я рад! Теперь я знаю, почему вы такая печальная. Вы любите бедную Жанну, которая умерла в селенье. Вы думаете о ней, и вам ее жалко; вот вы и не замечаете, что творится в классе, правда?

К сожалению, эти слова не понравились ей. Она сердито взглянула на меня и сказала:

— Жанна — это вымысел. Вы глупы. Отдайте крест и ступайте на место.

Я возвратился, плача, на свое место. Но на этот раз я плакал от жалости к самому себе и должен признаться, что в этих слезах не было той сладости, как в тех, что я проливал над судьбою бедной Жанны. Еще одно обстоятельство увеличивало мое смятение. Я не знал, что такое вымысел. Не знал этого и Фонтанэ.

Придя домой, я спросил матушку.

— Вымысел — это ложь, — ответила она.

— Ах, мама, вот несчастье, значит Жанна — ложь?

— Какая Жанна? — спросила матушка.

Всех дев прекраснее в своем селенье Жанна.

И я рассказал ей историю Жанны так, как она запечатлелась у меня в памяти.

Мать ничего не сказала, но я слышал, как она шепнула отцу:

— Какие пошлости внушают ребенку.

— Да, действительно страшные пошлости, — сказал отец, — но что понимает старая дева в педагогике? У меня своя теория насчет системы воспитания, и я когда-нибудь изложу ее вам. По-моему, ребенку в возрасте Пьера надо рассказывать о нравах животных, потому что у него те же вкусы и то же развитие, что и у них. Пьер способен понять верность собаки, преданность слона, хитрость обезьяны — вот об этом и надо ему рассказывать, а не о какой-то Жанне, селенье, колоколах и прочей чепухе.

— Бы правы, — ответила матушка, — ребенок и животное прекрасно понимают друг друга, — оба близки к природе. Но, друг мой, поверьте мне, есть кое-что более понятное детям, чем обезьяньи хитрости. Это благородные подвиги великих людей. Героизм ясен, как день, даже для маленького мальчика, и если рассказать Пьеру, как умер шевалье д'Асс*ас* *, он поймет это не хуже, чем мы с вами.

— Ах! — вздохнул отец, — я, наоборот, полагаю, что в разные эпохи, в разных странах и разные люди по-разному понимают героизм. Но это не существенно. То, что существенно в жертве, — это сама жертва. Пусть цель, ради которой жертвуют собой, — иллюзия, самоотвержение остается все же фактом, и этот факт — самый великолепный убор, которым человек может украсить свое нравственное убожество. Милый друг, ваше прирожденное благородство помогло вам лучше, чем мне мой опыт и размышления, — вы постигли эти истины. Я включу их в мою теорию.

Так рассуждали отец с матушкой.

Через неделю я в последний раз среди невообразимого шума писал на грифельной доске:

Безвестным голод свел в могилу Мальфилатра.

Мы с Фонтанэ одновременно покинули пансион мадемуазель Лефор.

VI

Тевтобош

Мне кажется, нельзя быть совсем заурядным человеком, если ты вырос на набережных Парижа, против Лувра и Тюильри, близ дворца Мазарини, на берегу славной Сены, струящей свои воды меж башен, башенок и шпилей старого Парижа. Там, от улицы Генего до улицы Бак, букинисты, антиквары и торговцы эстампами щедро выставляют напоказ прекраснейшие произведения искусства, редчайшие свидетельства былого. В каждом ящике под стеклом столько причудливого изящества и забавной чепухи, столько соблазна для глаз и ума. Прохожий, умеющий смотреть, обязательно вынесет для себя какую-нибудь мысль, как птица улетает с соломинкой для гнезда.

Кроме книг, тут есть и деревья, и тут проходят женщины — значит, это самое прекрасное место в мире.

В пору моего детства этот рынок редкостей был гораздо богаче, чем теперь, старинной мебелью, старинными гравюрами, старыми картинами и старыми книгами, резными налоями, китайскими вазами, эмалью, муравленой посудой, золотым позументом, парчой, гобеленами, книгами с заставками и первыми изданиями в сафьяновых переплетах. Все эти прелести предлагались тонким ценителям и ученым знатокам, у которых в те времена их еще не оспаривали биржевые маклеры и актрисы. Мы с Фонтанэ сроднились с этими вещами еще тогда, когда ходили в белых вышитых воротниках, в коротких штанишках и с голыми икрами.

Фонтанэ жил на углу улицы Бонапарта, где у его отца-адвоката была контора. Квартира моих родителей соприкасалась с крылом особняка Шимэ. Мы с Фонтанэ были соседями и друзьями. По праздникам, взяв обручи и мячи, мы отправлялись играть в Тюильри и, проходя по насыщенной ученостью набережной Вольтера, бродили, как два старых любителя, от одного книжного ларя к другому, заглядывали в окна антикваров и составляли себе своеобразное предста-

вление обо всех этих странных вещах, уцелевших от прошлого, от далекого таинственного прошлого.

Да, да! Мы бродили, разглядывали старинные книги, рассматривали картинки.

Нас это очень занимало. Но у Фонтанэ, должен сказать, не было того почтения к старине, какое питал к ней я. Он смеялся над старинными блюдами с выщербленными краями и над святыми епископами с отбитыми носами. Фонтанэ уже и тогда был тем передовым человеком, выступления которого с трибуны парламента вам потом доводилось слышать. Я приходил в ужас от его непочтительности. Меня коробило, когда он называл старыми грымзами причудливые портреты предков. Я был консерватором. Кое-что от консерватизма я сохранил до сих пор и при всей своей философии остался другом старых деревьев и сельских священников.

Я отличался от Фонтанэ еще одной чертой: то, чего я не понимал, вызывало во мне восхищение. Я обожал книги за семью печатями, а в ту пору все или почти все было для меня такой книгой за семью печатями. Фонтанэ, наоборот, любил рассматривать только те вещи, польза которых была для него ясна. Он говорил: «Вот видишь, здесь шарнир, — это открывается. Тут винтик, — это можно разобрать». У Фонтанэ был практический ум. Должен сказать, что он мог восторгаться батальными картинами. Так «Переход через Березину» волновал его. Лавка торговца оружием интересовала нас обоих. Когда мы наблюдали, как г-н Пти-Претр, в зеленом саржевом фартуке, ходит среди копий, лат, круглых и четырехугольных щитов, как он, прихрамывая словно Вулкан *, идет в конец мастерской за старинным мечом, как кладет его на верстак, зажимает в железные тиски, чтобы отполировать лезвие или починить рукоятку, мы были уверены, что присутствуем при священнодействии, а г-н Пти-Претр казался нам исполином. Онемев от восторга, мы не отходили от витрины. Черные глаза Фонтанэ сверкали, и умное смуглое личико оживлялось.

Вечером, вспоминая виденное, мы приходили в волнение, и тысяча восторженных планов зарождалась у нас в голове.

Как-то Фонтанэ сказал мне:

— А что, если сделать из картона и серебряной бумаги от шоколада латы, такие, как в лавке у господина Пти-Претра!

Идея была превосходна. Но нам не удалось ее осуществить. Я соорудил шлем, а Фонтанэ принял его за шапку чародея.

Тогда я сказал:

— А что, если нам устроить музей?

Блестящая мысль! Но для начала мы могли выставить в качестве экспонатов с полсотни мраморных шариков да дюжину кубарей.

И вдруг Фонтанэ осенило в третий раз. Он воскликнул:

— Напишем «Историю Франции» со всеми подробностями, в пятидесяти томах.

Это предложение привело меня в восторг, от радости я взвизгнул и захлопал в ладоши. Мы порешили, что завтра с утра приступим к делу, хотя нам и задано было выучить наизусть страницу из «De Viris» *.

— Со всеми подробностями! — повторял Фонтанэ, — надо написать со всеми подробностями.

Точно так же думал и я. Со всеми подробностями!

Нас отправили спать. Но еще добрые четверть часа я лежал в кровати и не засыпал, — так возбуждала меня благородная мысль написать «Историю Франции» в пятидесяти томах, со всеми подробностями.

Итак, мы начали составлять историю Франции. Право, не помню уже почему, но начали мы с короля Тевтобоша. Так полагалось по плану работы. В первой же главе мы столкнулись с королем Тевтобошем, который был ростом в тридцать футов, как в этом убедились, измерив его случайно найденный скелет. С первого же шага столкнуться с таким гигантом! Встреча была ужасна! Даже Фонтанэ изумился.

— Придется перескочить через Тевтобоша, — сказал он.

Я не решился.

«История Франции» в пятидесяти томах застряла на Тевтобоше.

Увы! как часто в моей жизни я возобновлял это единоборство книги и гиганта! Как часто, приступая к крупному произведению или к руководству большим делом, я натыкался на какого-нибудь Тевтобоша, в просторечии именуемого судьбой, случайностью, необходимостью! Я решил благодарить и славить всех этих Тевтобошей, которые, преградив мне опасные пути к славе, предоставили меня моим двум верным хранительницам: безвестности и посредственности. Обе они берегут и любят меня. Могу ли я не отвечать им тем же!

Что же касается Фонтанэ, моего умного друга Фонтанэ, адвоката, члена департаментского совета, председателя всевозможных обществ и депутата, то просто диву даешься, глядя, как он ловко шмыгает между ног у всяких Тевтобошей общественной жизни, о которых я давно разбил бы себе нос, будь я на его месте,

VII

Престиж аббата Жюбаля

С сердцем, преисполненным страха и гордости, вошел я в приготовительный класс. Наш классный наставник, аббат Жюбаль, сам по себе был совсем нестрашный; он не был похож на человека жестокого, он скорее был похож на барышню. Но сидел он на высокой черной кафедре, и это меня пугало. У г-на Жюбаля были вьющиеся волосы, кроткий голос и кроткий взор, белые руки, добрая душа. Он был похож на барашка, пожалуй, больше, чем то пристало наставнику. Матушка, увидав его как-то в приемной, пробормотала: «Какой молодой!» И сказано это было особенным тоном.

Я перестал бояться Жюбаля, как только почувствовал к нему невольное восхищение. Случилось это в то время, когда я отвечал урок: стихи аббата Готье о первых королях Франции.

Я залпом произносил каждую строку, так, словно вся она состояла из одного-единого слова:

БылпервымФарамонизфранкскихкоролей
КтоГаллиейвладелсдружиноюсвоей,
Хлодвигвошелв КамбреаМеровейбылстрог...

Тут я запнулся и несколько раз повторил: строг, строг, строг. Меня выручила рифма, оказавшаяся не только приятной, но и полезной, она помогла мне вспомнить, что Меровей «Лютецию сберег» *... Но вот от чего сберег? Этого я никак не мог сказать, так как совершенно забыл. Должен признаться, что меня это мало волновало. Я воображал себе Лютецию почтенной дамой. Я был доволен, что ее от чего-то сберегли, но ее дола в сущности очень мало интересовали меня. К сожалению, г-н Жюбаль, видимо, придавал большое значение тому, чтобы я сказал, от какой же опасности была спасена эта самая Лютеция. Я повторял: «Э... Меровей был строг... э-э-э». Я готов был сложить оружие, если бы только это было принято в приготовительном классе.

Мой сосед Фонтанэ подсмеивался надо мной, а г-н Жюбаль полировал ногти. Наконец он сказал:

— «От гнева гуннов он Лютецию сберег». Если вы забыли этот стих, господин Нозьер, то вам следовало его заменить, а не застревать на одном месте. Вы бы могли сказать:

«От гуннских полчищ он Лютецию сберег»,

или:

«От черных гуннских орд Лютецию сберег»,

или еще лучше:

«От божьей кары он Лютецию сберег».

Слова можно изменить, лишь бы не ломать размера.

Я получил плохую отметку; но аббат Жюбаль очень вырос в моих глазах благодаря своему поэтическому таланту. Его авторитету суждено было еще возрасти в моих глазах.

В обязанности аббата Жюбаля входило преподавать грамматику по Ноэлю и Шапсалю, а также «Историю Франции» по книжке аббата Готье, но он не пренебрегал и нашим религиозно-нравственным воспитанием.

Однажды, не помню по какому случаю, он, приосанившись, заявил нам:

— Дети мои, если бы вам пришлось принимать министра, вы, конечно, поспешили бы радушно угостить его у себя в доме, как представителя монарха. Так какие же почести должны вы оказывать священникам, представителям бога на земле? Ведь насколько господь

бог выше земных царей, настолько же священнослужитель выше министров.

Я никогда не принимал у себя министров и рассчитывал еще долго не принимать их. Я был даже уверен, что если бы какой-нибудь министр и посетил наш дом, то матушка отправила бы меня обедать с няней, как это, к сожалению, случалось, когда у нас бывали званые обеды. Тем не менее я прекрасно понял, что священнослужитель — лицо достойное всяческого уважения, и, применяя эту истину к аббату Жюбалю, испытывал сильное смущение. Я вспомнил, что нацепил в его присутствии бумажного плясуна на спину Фонтанэ. Ведь это, пожалуй, непочтительно? Прицепил бы я бумажного плясуна на спину Фонтанэ в присутствии министра? Конечно, нет! А между тем я прицепил плясуна, правда, украдкой, но все же в присутствии аббата Жюбаля, который выше всякого министра. Плясун даже показывал язык! Я прозрел. Меня мучила совесть. Я решил почтительно относиться к аббату Жюбалю, и, если мне когда и случалось засовывать на уроках камешки за шиворот Фонтанэ или рисовать человечков на кафедре самого аббата Жюбаля, то, делая это, я по крайней мере вполне сознавал всю тяжесть своего проступка.

Вскоре мне пришлось убедиться в духовном величии аббата Жюбаля.

Я находился в церкви с двумя-тремя товарищами, ожидая очереди на исповедь. Смеркалось. В отблесках неугасимой лампады мерцали золотые звезды на подернутом тьмой своде. На клиросе неясным видением расплывалось изображение пречистой девы. Алтарь был уставлен золочеными вазами с цветами, запах ладана разливался в воздухе; чуть виднелись различные предметы. И даже скука, скука, от которой так страдают дети, приобретала тут в церкви какой-то мягкий оттенок. Мне чудилось, что за алтарем начинается рай.

Стемнело. Вдруг я заметил аббата Жюбаля, направлявшегося с фонарем к клиросу. Преклонив колени, он открыл решетку и поднялся по ступеням алтаря. Я следил за ним: он развязал сверток, вынул гирлянды искусственных цветов, похожие на те вишневые ветки, которые в июле продают старухи на улицах. Я с восхи-

щением глядел, как мой наставник подходит к Непорочному зачатию. Вы засунули в рот щепотку гвоздиков, господин Жюбаль. Сперва я испугался: уж не собираетесь ли вы их проглотить, — нет, вы просто хотели иметь их под рукой. Вы влезли на табуретку и принялись прибивать гирлянды вокруг ниши, где стояла статуя богоматери. Время от времени вы слезали с табуретки, чтобы издали посмотреть на плоды своей работы, и вы были довольны. Вы разрумянились, глаза сияли, вы улыбались бы, не будь у вас во рту гвоздиков. А я от всей души любовался вами. И хотя фонарь, стоявший на полу, очень смешно освещал вам ноздри, я находил, что вы прекрасны. Я понял, что вы выше всех министров, о чем вы так тонко намекнули нам в вашей речи. Я решил, что выигрывать сражения, сидя в полной парадной форме верхом на белом коне, куда менее прекрасно и заманчиво, чем развешивать цветочные гирлянды по стенам церкви. Я понял, что мое призвание — подражать вам.

В тот же вечер я принялся дома подражать вам и, взяв у матушки ножницы, изрезал на гирлянды всю бумагу, какая только попалась мне под руку. Мои тетради пострадали. Особенно сильно пострадало французское упражнение.

Это было упражнение, написанное по учебнику Кокампо, книга которого была жестокой книгой. Я отнюдь не злопамятен и, если бы имя этого автора не было столь звучным, я великодушно забыл бы о нем. Но как забыть «Кокампо»! Я не хочу использовать против него это случайное обстоятельство, но да будет мне дозволено усомниться в необходимости прибегать к таким тягостным упражнениям, чтобы изучить родной язык, которому матушка прекрасно обучила меня, просто разговаривая. Матушка так восхитительно говорила по-французски!

Но аббат Жюбаль был глубоко убежден в пользе Кокампо, и так как он не мог вникать в мои доводы, он поставил мне плохую отметку. Учебный год прошел без особых событий. Фонтанэ разводил у себя в парте гусениц. Я, чтоб не отстать от него, тоже стал разводить гусениц, хотя они вызывали во мне отвращение. Фонтанэ ненавидел Кокампо, эта ненависть сближала нас. При одном упоминании имени Кокампо мы, сидя на партах,

строили друг другу выразительные гримасы и обменивались многозначительными взглядами. Это была наша месть. Фонтанэ сообщил мне, что, если и в следующем классе нас будут учить по Кокампо, он сбежит и поступит юнгой на большой корабль. Я одобрил это решение и заявил, что сбегу вместе с ним. Мы поклялись в вечной дружбе.

В день раздачи наград мы с Фонтанэ были неузнаваемы. Верно, потому, что аккуратно пригладили волосы. Наши новые курточки и длинные белые штанишки, тиковый балдахин, толпа родителей, эстрада, украшенная флагами, — все возбуждало во мне то волнение, какое вызывают пышные зрелища. Книги и венки возвышались ослепительной грудой, и я мучительно пытался отгадать, что достанется на мою долю, и трепетал, сидя на скамье. Более благоразумный Фонтанэ не вопрошал судьбу. Он сохранял поразительное спокойствие. Поворачивая во все стороны свою лисью мордочку, он с изумлявшим меня самообладанием обращал мое внимание на нескладный нос какого-нибудь отца, на смешную шляпку какой-нибудь матери.

Грянула музыка. Директор в сутане и парадной короткой пелерине, вместе с незнакомым генералом в мундире и при регалиях, появился на эстраде во главе всех преподавателей. Все учителя были тут. Они разместились позади генерала, соответственно своему рангу: сперва помощник директора, затем преподаватели старших классов, затем г-н Шувер — учитель пения, г-н Труйон — учитель чистописания, и сержант Морен — учитель гимнастики. Аббат Жюбаль появился последним и сел позади всех на жалкую табуретку, которая за отсутствием места стояла на эстраде только тремя ножками, четвертой же упиралась в полотнище. Но даже это скромное место не удержалось за аббатом Жюбалем. Пришли еще какие-то люди и оттеснили его в самый дальний угол, где его скрыл большой флаг. Наконец его заставили столом, и все было кончено. Фонтанэ весьма забавляло его упразднение, я же был очень смущен тем, что особу, столь изощренную в декоративном искусстве и в поэзии и являвшуюся представителем бога на земле, сунули в угол, словно трость или зонтик.

VIII

Фуражка Фонтанэ

Каждую субботу нас водили к исповеди. Тот, кто сможет объяснить зачем, доставит мне истинное удовольствие. Я с большим уважением относился к исполнению этой религиозной обязанности, но она доставляла мне много неприятностей. Не думаю, чтобы исповедник действительно интересовался моими грехами, мне же на самом деле было нелегко в них каяться. Главное затруднение заключалось в том, чтобы их отыскать. Надеюсь, вы поверите мне, если я скажу, что в десять лет я еще не обладал такими душевными свойствами и не знал таких методов анализа, которые помогли бы мне разумно обследовать мою совесть.

Однако иметь грехи было необходимо: если нет грехов, нет и исповеди. Правда, мне дали небольшую книжечку, содержавшую перечень всех грехов. Оставалось только выбрать. Но даже выбрать было нелегко. Грехов было такое множество и все такие непонятные: татьба, симония, любоначалие, прелюбодейство, вожделение. В этой книжечке я читал: «Грешен в том, что предавался отчаянию», «Грешен в том, что внимал злословию». Это тоже меня очень смущало.

Вот почему я обычно придерживался главы о рассеянности. Рассеянность во время церковной службы, рассеянность во время трапез, рассеянность во время собраний. Я каялся во всем, и достойная сожаления пустота моей совести причиняла мне глубокий стыд.

Я чувствовал себя униженным отсутствием грехов.

Но однажды я вспомнил о фуражке Фонтанэ. Наконец-то нашелся грех: я был спасен!

Начиная с этого дня я слагал каждую субботу к ногам духовника тяжесть фуражки Фонтанэ.

Тот ущерб, какой я наносил добру моего ближнего в образе фуражки Фонтанэ, внушал мне каждую субботу живое беспокойство о спасении моей души. Я насыпал в фуражку песок, забрасывал ее на деревья, откуда ее приходилось сбивать камнями, словно недозревший плод, я стирал ею вместо тряпки рисунки, сделанные мелом на классной доске, я швырял ее через люк в глу-

бокий подвал, и, когда Фонтанэ после уроков все же удавалось ее извлечь, она представляла собою жалкую тряпку.

Но ей покровительствовала какая-то фея: на следующее утро фуражка вновь красовалась на голове Фонтана, против всякого ожидания преобразившись в чистую, благопристойную, чуть ли не элегантную. И так ежедневно. Доброй феей была старшая сестра Фонтанэ. Одно это уже свидетельствовало о том, что она хорошая хозяйка.

Часто, когда я стоял на коленях в исповедальне, фуражка Фонтанэ — по моей вине — плавала в бассейне на дворе. Я чувствовал себя тогда в несколько щекотливом положении.

Что побуждало меня ополчаться на эту фуражку? Месть.

Фонтанэ преследовал меня за мой необычный, старинного фасона, школьный ранец, подаренный мне на мою беду дядей, человеком расчетливым. Ранец был велик для меня, я был мал для него. Да и ранец этот не походил на ранец по той простой причине, что никогда им и не был. Это был старый портфель, растягивавшийся словно гармоника, а дядин башмачник приделал к нему ремни.

Я ненавидел этот портфель и не без основания. Но теперь мне кажется, что он не был таким безобразным и не заслуживал сыпавшихся на него оскорблений. Он был из красного сафьяна, с широкой золотой каймой, а над его медной застежкой красовалась корона и сильно исцарапанный герб. Портфель был на выцветшем, когда-то голубом шелку. Уцелей он до сего времени, с каким бы вниманием я отнесся к нему! Ведь насколько я припоминаю, корона была королевская, а на щите виднелись (если только это мне не приснилось) три лилии, плохо соскобленные перочинным ножиком, вот почему я и подозреваю, что портфель принадлежал какому-нибудь министру Людовика XVI.

Но Фонтанэ не принимал в соображение его прошлое и, лишь только замечал у меня за спиной ранец, тотчас же швырял в него снежками или конскими каштанами, смотря по сезону, а мячиком — в любую пору года.

Как Фонтанэ, так и другие товарищи выдвигали против моего ранца только одно обвинение: его оригинальность. Он не был похож на все прочие ранцы, отсюда все несчастия. Дети отличаются жестоким стремлением к равенству. Они не терпят ничего выдающегося, ничего самобытного. Мой дядя не учел этого свойства, когда поднес мне свой пагубный дар. У Фонтанэ был ужасный ранец, перешедший к нему по наследству от двух старших братьев, такой истрепанный, что истрепать его больше уже не было никакой возможности, кожа лопнула и разодралась, вместо исчезнувших пряжек были подвязаны веревочки, но в нем не было ничего оригинального, и потому он не причинял Фонтанэ никаких неприятностей. Но стоило мне с портфелем за спиной показаться во дворе пансиона, как тотчас же подымался крик, свист, меня пинали, толкали, сшибали с ног. Фонтанэ говорил, что я «изображаю черепаху», и влезал на мой панцирь. Фонтанэ не был тяжел, но я чувствовал себя униженным. И как только мне удавалось вскочить на ноги, я сейчас же набрасывался на его фуражку.

Увы! Фуражка Фонтанэ была по-прежнему новенькой, а мой ранец был несокрушим. И наши злодейства по воле неумолимого рока цеплялись одно за другое, как преступления в древнем роде Атридов *.

IX

Последние слова Деция Муса *

Нынче утром, роясь в ящиках букинистов на набережных, я нашел среди дешевых книг том из разрозненного собрания сочинений Тита Ливия *. Перелистывая книгу, я наткнулся на следующую фразу: «Остатки римской армии под покровом ночи достигли Канузии», и эта фраза навела меня на мысль о г-не Шотаре. А уж если я вспомню г-на Шотара, то долго не могу отделаться от мысли о нем. Возвращаясь домой к завтраку, я все еще думал о г-не Шотаре. А так как я улыбался, меня спросили, почему я улыбаюсь.

— Потому, что я вспомнил господина Шотара.

— Кто же такой Шотар и почему при воспоминании о нем ты улыбаешься?

— Сейчас расскажу. Если я наскучу вам, притворитесь, что слушаете, и не мешайте мне воображать, что надоедливый рассказчик рассказывает свои истории не самому себе.

Мне исполнилось четырнадцать лет, и я учился в третьем классе. У нас был учитель по имени Шотар, краснощекий, как старый монах, да он и был монахом.

Брат Шотар, один из самых кротких агнцев в пастве святого Франциска, в 1830 году послал к черту свою сутану и облачился в светскую одежду, так и не усвоив искусства изящно одеваться. Чем был вызван поступок брата Шотара? Одни говорили — любовью, другие говорили — страхом и уверяли, что после «трех славных дней» народ-победитель *, случалось, запускал кочерыжками в капуцинов монастыря***, и тогда брат Шотар, желая уберечь своих преследователей от столь тяжкого греха, как оскорбление капуцина, перемахнул через монастырскую ограду.

Славный брат Шотар был человеком ученым. Он получил ученую степень, стал преподавателем и благополучно дожил, блистая сединами, румянцем и багровым носом, до того дня, когда я и мои сверстники предстали у подножия его кафедры.

Ну и воинственный же был наш преподаватель третьего класса! Вы бы только видели его, когда, потрясая латинской книгой, он вел к Филиппам армию Брута *. Какое мужество! Какое величие души! Какой героизм! Но для своих героических подвигов он сам выбирал время, и это время не было современностью. В жизни г-н Шотар был застенчив и робок. Его очень легко было напугать.

Он боялся воров, бешеных собак, грома, экипажей — всего, что вблизи или издали может причинить вред порядочному человеку.

Я не погрешу против истины, если скажу, что лишь его тело пребывало среди нас, душа же парила в античном мире. Этот превосходный человек сражался вместе с Леонидом при Фермопилах *, на корабле Фемистокла в Саламинском бою, бок о бок с Эмилием Павлом в битве

при Каннах; весь в крови, падал в Тразименское озеро, где рыбак нашел впоследствии его перстень римского всадника. Он оказывал неповиновение Цезарю и богам при Фарсале; потрясал обломками меча над трупом Вара в Герцинских лесах. Да, это был грозный воин.

Господин Шотар, решивший дорого продать свою жизнь на берегах Эгос-Потамоса и гордившийся тем, что ему суждено было испить чашу-освободительницу в осажденной Нумансии, как и все искусные полководцы, не гнушался прибегать к самым вероломным военным хитростям.

— Одна из военных хитростей, к которой следует прибегать, — сказал нам однажды г-н Шотар, комментируя текст Элиана *, — это завлечь неприятельскую армию в ущелье и там раздавить ее под обломками скал.

Однако он не упомянул, часто ли вражеская армия любезно соглашалась подвергнуться такому избиению. Но я тороплюсь перейти к тому, чем прославился г-н Шотар среди своих учеников.

Темами для наших латинских и французских сочинений он избирал битвы, осады, искупительные и умилостивительные жертвоприношения, и, разбирая в классе наши произведения, проявлял весь блеск своего красноречия. И его слог и его декламация на обоих языках отличались тем же воинственным пылом. Иногда ему случалось прерывать ход своих мыслей, чтобы наложить на нас заслуженные кары, но и в этих вводных предложениях голос его звучал все так же героически. Он говорил одинаковым тоном то за консула, увещевающего войска, то за учителя третьего класса, распределяющего наказания, и повергал умы учеников в смятение, ибо нельзя было отличить, когда говорит учитель, а когда — консул. Однажды он превзошел самого себя, произнеся бесподобную речь. Эту речь мы все заучили наизусть, я записал ее в тетрадь, не изменив ни слова.

Вот она в том виде, в каком я ее слышал тогда и слышу сейчас, потому что в моих ушах до сих пор еще звучит монотонно торжественный зычный голос г-на Шотара.

Последние слова Деция Муса

Готовясь отойти в царство теней и вонзая шпоры в бока горячего коня, Деций Мус в последний раз обернулся к своим боевым соратникам и сказал:

— Если вы не будете соблюдать тишину, я вас всех оставлю после уроков. Я отхожу к бессмертным для спасения родины. Гибель ожидает меня. Я умру ради общего блага. Господин Фонтанэ, вы перепишете десять страниц из латинского учебника. Так по великой мудрости своей повелел Юпитер Капитолийский, извечный хранитель Вечного Города. Господин Нозьер, если я не ошибаюсь, вы опять даете господину Фонтанэ списывать с вашей тетради, как он имеет обыкновение делать, знайте, что я пожалуюсь вашему отцу. Справедливо и необходимо, чтобы гражданин жертвовал собой для общего блага. Не плачьте надо мной, но завидуйте моей участи. Глупо смеяться без всякой причины, господин Нозьер. В четверг вы останетесь в классе. Мой пример будет жить среди вас. Господа, ваше хихиканье возмутительно и недопустимо. Я уведомлю директора о вашем поведении, и из Элизия, отверстого теням усопших героев, увижу, как девы Республики будут венчать гирляндами цветов подножия моих изваяний.

Я был в ту пору необычайно смешлив, — это свойство полностью проявилось, когда я услыхал последние слова Деция Муса, и, когда г-н Шотар, дав нам самый основательный повод для смеха, заявил, что смеяться без причины глупо, я уткнулся носом в словарь и уже ничего не помнил. Кому в пятнадцать лет не случалось неудержимо смеяться под градом нотаций, тот не изведал одного из величайших наслаждений.

Однако не следует думать, что в классе я тратил время только на пустяки. На свой лад я был неплохим маленьким ученым классиком. Я глубоко чувствовал очарование и благородство, таившиеся в том, что так удачно окрестили «изящной словесностью»,

Я уже и тогда любил прекрасную латынь и прекрасный французский язык и не утратил этой любви и по сей день, несмотря на советы и примеры моих более

удачливых современников. Со мной случилось то, что обычно случается с людьми, когда их убеждения презирают. Я гордился тем, что, возможно, было смешным. Я продолжал быть приверженным к литературе и так и остался классиком. Пусть меня называют эстетом и книжником, но я убежден, что шесть-семь лет занятий классической литературой сообщают уму, подготовленному к ее восприятию, такое благородство, такое изящество, силу и красоту, которых не достичь никакими иными средствами.

Что касается меня, то я с упоением читал Софокла и Вергилия. Г-н Шотар, — я должен это признать, — с помощью Тита Ливия, навевал мне божественные грезы! Дети обладают волшебным даром воображения. Сколько дивных образов зарождается в мозгу шалунов-мальчишек! Когда г-н Шотар не давал мне повода к неистовому смеху, он вызывал во мне восторг.

И неизменно, когда он своим зычным голосом старого проповедника медленно произносил фразу: «Остатки римской армии под покровом ночи достигли Канузии», я видел, как при свете луны, среди опустошенных полей, в молчании идут по дороге между двумя рядами могил усталые воины, держа в руках обломки мечей, бледные, окровавленные, запыленные, в помятых шлемах, в потускневших погнутых латах. И это смутное, медленно таявшее видение, было так торжественно, так мрачно, так величаво, что сердце замирало у меня в груди от скорби и восхищения.

X

Коллеж

Я расскажу вам, о чем напоминают мне каждый год беспокойное осеннее небо, первые обеды уже при лампе и листья, желтеющие на деревьях. Я расскажу вам, что я вижу в первые дни октября, проходя по Люксембургскому саду, немного унылому, но особенно прекрасному, ибо в эту пору листья один за другим облетают и падают на белые плечи статуй. Я вижу, как по этому саду, вприпрыжку, словно воробышек, идет в кол-

леж мальчуган с большим ранцем за плечами, засунув руки в карманы. Я вижу его только мысленно, потому что он — призрак; этот призрак — я сам, каким был двадцать пять лет тому назад. Право, этот малыш нравится мне. Когда он жил, я совсем о нем не думал, но теперь, когда его уже нет, я очень люблю его. Он был лучше всех прочих «я», приобретенных мною позднее, когда я уже утратил его. Он был большим шалуном, но не злым, и я должен отдать ему справедливость: воспоминание о нем не омрачено ничем дурным. Вместе с ним я утратил простодушие; очень естественно, что я сожалею о нем, очень естественно, что я его вижу своим мысленным взором и с удовольствием о нем вспоминаю.

Двадцать пять лет тому назад в такую же осеннюю пору, около восьми часов утра, он шел в коллеж по чудесному Люксембургскому саду. У него слегка сжималось сердце: ведь это же начало учебного года.

Однако он бодро шагал с книгами за спиной и волчком в кармане. Его радовала мысль о свидании с товарищами. Сколько всего надо им рассказать! Сколько всего предстоит услышать! Надо узнать, верно ли, что Лаборьет взаправду охотился в лесу Эгль? А ему сообщить, что сам катался верхом в Овернских горах. Не молчать же о таких подвигах! А как радостно снова встретиться с товарищами! Скорее бы увидеть своего друга Фонтанэ, вечно подшучивающего Фонтанэ, маленького, как крысенок, изворотливого, как Улисс, и всюду легко занимающего первое место.

Как легко стало на душе при мысли о встрече с Фонтанэ! Так вот и шел он свежим утром по Люксембургскому саду. Все, что он видел тогда, вижу я и теперь. То же небо и та же земля, в вещах та же душа, что и тогда, и эта душа и веселит, и печалит, и волнует меня. Нет только его одного.

И потому, с годами, я все чаще и чаще вспоминаю начало учебного года.

Если бы я был живущим в лицее, воспоминания о школьных годах были бы мне тягостны, и я гнал бы их прочь. Но мои родители не обрекли меня на эту каторгу. Я был приходящим в старинном уединенном коллеже, с монастырским укладом. Я ежедневно видел

улицу и родной дом, я не был отрезан, как живущие в лицее ученики, от общественной жизни и от жизни семейной. Поэтому в моих чувствах не было ничего рабского. Они развивались с той мягкостью и силой, которые присущи всему, что растет на свободе. К ним не примешивалось ненависти. Моя любознательность была добросердечной, и знать я хотел для того, чтоб любить. Все, что я встречал по пути в коллеж — люди, животные, неодушевленные предметы, — сильно помогли мне ощутить простоту и величие жизни.

Ничто так не помогает ребенку понять общественный механизм, как улица. По утрам ему надо видеть молочниц, водовозов, угольщиков; надо разглядывать витрины бакалейных, гастрономических и винных лавок, надо видеть полк солдат, марширующий с оркестром во главе; словом, надо вдыхать воздух улицы, и тогда он поймет, что закон труда — священный закон, поймет, что у каждого на земле есть обязанности. От этих ежедневных прогулок утром из дома в коллеж, вечером — из коллежа домой, у меня сохранился интерес к ремеслам и ремесленникам.

Впрочем, должен признаться, что я не чувствовал одинаковой приязни ко всем. Сперва меня привлекали писчебумажные лавки, в окнах которых были выставлены лубочные картинки. Как часто, уткнувшись носом в стекло, я прочитывал от начала до конца объяснения к этим коротеньким иллюстрированным драмам.

Очень скоро я перевидал их великое множество: одни картины, фантастические, будили мое воображение и развивали то свойство, без которого даже опытным путем в области точных наук ничего не откроешь. Другие, изображая в наивной и захватывающей форме жизнь человека, впервые столкнули меня с самым страшным, или, вернее, единственно страшным — с судьбой. Да, я многим обязан лубочным картинкам!

Позже, в четырнадцать—пятнадцать лет, я уже не задерживался перед витринами бакалейных лавок, хотя коробки с глазированными фруктами еще долгое время восхищали меня. Я презирал торговцев галантереей и уже не пытался разгадать смысл загадочного «Y», блиставшего золотом на их вывесках. Я почти не

задерживался, чтобы расшифровать наивные ребусы, изображенные на узорчатой решетке старых распивочных заведений, где можно увидеть то айву, то комету * из кованого железа.

Мой вкус, уже более утонченный, привлекали эстампы, витрины антикваров и лари букинистов.

О старые неряшливые евреи с улицы Шерш-Миди, простодушные букинисты с набережных, учителя мои, как я вам благодарен! Вам я обязан не менее, а может быть, даже более, чем университетским профессорам, своим духовным развитием. Славные люди, вы предлагали моим восхищенным взорам таинственные предметы прошлой жизни и разнообразные драгоценные памятники человеческой мысли! Роясь у вас в ящиках, разглядывая запыленные полки, уставленные скромными реликвиями, оставшимися нам от предков, и плодами их прекрасных мыслей, я незаметно впитывал в себя самую здоровую философию.

Да, друзья мои, перелистывая старинные, источенные червями книги, рассматривая ржавые доспехи, трухлявые резные изделия из дерева, которые вы продавали, чтобы заработать на кусок хлеба, я еще мальчиком глубоко ощутил бренность всего земного и тщету жизни! Я догадался, что мы, смертные, лишь изменчивые образы во вселенской иллюзии, и с той поры стал склонен к грусти, нежности и состраданию.

Как видите, школа на вольном воздухе умудрила меня. Домашняя школа оказалась еще полезнее. Так приятно обедать дома, когда на столе белая скатерть, прозрачные графины, а вокруг приветливые лица; ежедневные семейные трапезы с их задушевной беседой прививают ребенку любовь к домашней жизни, понимание скромных и святых чувств. Если к тому же у него разумные и добрые родители, как это было у меня, то застольные беседы прививают ему верный взгляд на вещи и любовь к окружающему. Он ежедневно вкушает тот благословенный хлеб, который отец небесный преломил и подал ученикам в Эммаусе. Как они, он говорит себе: «Сердце мое горит во мне!»

Трапезы живущих в учебных заведениях лишены уюта и благодетельного влияния. О, домашняя школа, какая это хорошая школа!

Однако мои слова истолковали бы превратно, предположив, что я презираю классическое образование. Полагаю, что для развития ума ничто не может быть полезнее изучения древних греков и римлян, по методу старых французских ученых классиков. Слово «классическая» в значении «изящная по форме» великолепно определяет античную культуру.

Мальчуган, о котором я вам только что рассказывал с симпатией, надеюсь простительной, ибо в ней нет себялюбия и относится она к призраку, этот мальчуган, вприпрыжку, словно воробей, бежавший по Люксембургскому саду, верьте мне, был не плохим классиком. В его детской душе вызывали восторг мощь римлян и великие образы античной поэзии. Хотя он как приходящий и мог наслаждаться свободой, слоняться по лавочкам, обедать с родителями и обогащать впечатлениями свой ум и сердце, он был восприимчив к красотам древних языков, преподаваемых в коллеже. Мало того, он с увлечением подражал аттическому и цицероновскому стилю, насколько это было доступно школьникам, руководимым честными педантами.

Он трудился не ради славы, имя его не красовалось в списке награждаемых учеников, но он много трудился ради удовольствия, как говорил Лафонтен. Его переводы были написаны прекрасным стилем, а латинские сочинения заслужили бы похвалу даже самого инспектора, не греши они синтаксическими ошибками, отнюдь не украшавшими их. Ведь он же рассказывал вам, что в двенадцать лет плакал над Титом Ливием.

Однако красота предстала перед ним во всей своей великолепной простоте лишь тогда, когда он соприкоснулся с Грецией. Но понял он эту красоту не скоро. Сначала его душу омрачили басни Эзопа. Их толковал горбатый учитель, — горбатый физически и нравственно. Представляете вы себе Терсита *, ведущего юных галатов в рощу Муз? В голове мальчика это не укладывалось. Вы, может быть, думаете, что горбатый учитель, избравший своей специальностью толкование

басен Эзопа, был приемлем в этой роли? Конечно, нет! Это был горбун, но горбун необычный, горбун-исполин, глупый и бесчеловечный, злобный и несправедливый. Он не годился даже на то, чтобы разъяснять мысли горбуна Эзопа. Впрочем, плохие назидательные басенки, приписываемые Эзопу, дошли до нас уже засушенные некиим византийским монахом, узколобым схоластом. В пятом классе мне не было известно происхождение эзоповских басен, и оно не интересовало меня, но и тогда я судил о них совершенно так же, как и теперь.

После Эзопа мы приступили к изучению Гомера. Я видел Фетиду *, как белое облако, выплывшую из глуби морской; я видел Навзикаю и подруг ее, и пальму Делоса, и небо, и землю, и море, и улыбающуюся сквозь слезы Андромаху... Я понял, я почувствовал... Полгода я не в силах был стряхнуть с себя чары «Одиссеи». Это повлекло за собой множество наказаний. Но что значили наказания! Я плавал с Улиссом по «фиолетовому морю». Затем я открыл трагедии. Эсхил был мне не очень понятен. Но Софокл и Еврипид ввели меня в дивный мир героев и героинь и приобщили к поэзии страдания. При чтении каждой трагедии я снова радовался, лил слезы и трепетал!

Алкеста и Антигона пробудили во мне самые возвышенные мечты *, какие только доступны мальчику. Сидя на парте, перепачканной чернилами, уткнувши нос в словарь, я видел божественно прекрасные лица, руки, словно выточенные из слоновой кости, бессильно повисшие вдоль белых туник, я слышал голоса, мелодичные жалобы которых звучали чудеснее самой чудесной музыки.

Это навлекло на меня новые наказания. И справедливо: я занимался в классе посторонними делами. Увы! Эта привычка осталась. В какой бы класс жизни меня ни поместили, боюсь, как бы я, даже убеленный сединами, не заслужил бы того же упрека, что и во втором классе: «Нозьер, вы занимаетесь в классе посторонними делами!»

Но больше всего сияние и музыка античной поэзии опьяняли меня в зимние вечера на улице, по выходе из коллежа. При свете газовых фонарей и у освещенных

витрин я перечитывал стихи и по дороге домой повторял их вполголоса. На узких улицах предместья, уже окутанных мглой, царило оживление зимних вечеров.

Случалось, что я натыкался на мальчишку из булочной, несшего корзину с хлебом на голове и так же, как я, погруженного в мечты, или же вдруг чувствовал на своей щеке горячее дыхание усталой лошади, тащившей повозку. Но действительность не портила мне грез, потому что я нежно любил старинные улицы предместья, чьи камни были свидетелями моих младенческих лет. Однажды вечером у фонаря торговца каштанами я прочел слова Антигоны, и вот четверть века спустя, стоит мне вспомнить строфу:

О могила, о брачное л о ж е ! . . —

как перед моими глазами возникает овернец, надувающий бумажный пакетик, и я чувствую тепло жаровни, на которой жарятся каштаны. Воспоминание об этом человеке гармонично сливается в моей памяти со стенаниями фиванской девы.

Так я запомнил множество стихотворений. Так приобрел полезные и ценные знания. Так изучил древних классиков.

Мой метод был хорош для меня, он может быть непригоден для другого. Рекомендовать его я поостерегусь.

Впрочем, должен покаяться: мой вкус, воспитанный на Софокле и Гомере, оказался недостаточно хорошим для класса риторики. Так заявил наш преподаватель, и я охотно ему верю. В семнадцать лет вкус редко бывает хорошим. Дабы улучшить мой вкус, учитель риторики посоветовал мне внимательно изучить полное собрание сочинений Казимира Делавиня *. Я не последовал его совету. Мои вкусы сложились под влиянием Софокла, и от этого влияния я не мог отделаться. Преподаватель риторики отнюдь не казался мне, да и теперь не кажется, тонким ценителем литературы, но, несмотря на скучный склад ума, он был человеком прямым и гордым. Если он и преподал нам некоторые литературные ереси, то во всяком случае на личном примере показал, что такое честный человек.

Это тоже очень ценное знание. Г-на Шаррона уважали все ученики. Дети безошибочно определяют моральную ценность своих учителей. О несправедливом горбуне и о честном Шарроне я до сих пор думаю точно так же, как и двадцать пять лет тому назад.

Но день меркнет над платанами Люксембургского сада, и призрак мальчугана, вызванный мною, сливается с тьмой. Прощай, мое маленькое «я», утраченное мною, скорбь моя о тебе была бы безутешной, если бы я не обрел тебя вновь, еще более милым, в моем сыне.

XI

Миртовый лес

I

Ребенком я был очень понятлив, но к семнадцати годам поглупел. Я стал так застенчив, что каждый раз, как мне приходилось здороваться или бывать в обществе, на лбу у меня выступал пот. В присутствии женщин на меня нападал столбняк. Я буквально следовал преподанному мне в одном из младших классов наставлению из «Подражания Христу», которое я запомнил потому, что стихи, принадлежащие Корнелю *, показались мне необычными:

Беги от женщины, как от сетей и пут,
Чтоб враг не отыскал дорогу искушенью,
Пусть добродетели послужат украшенью
Тех, что смиренно бога обретут.
Простись с соблазном, душу не губи
И женщину лишь в боге возлюби [1].

Я следовал совету старого монаха-мистика, но следовал вопреки своей воле. Мне бы хотелось, встречая женщин, не разлучаться с ними так быстро.

Из приятельниц моей матери меня особенно влекло к одной, с которой мне хотелось бы побеседовать подольше. Это была вдова Альфонса Ганса, пианиста, умершего молодым в расцвете славы. Ее звали Алисой.

[1] Перевод Д. С. Самойлова.

Я не мог бы определить, какие у нее волосы, глаза, зубы. Как можно определить то, что трепещет, сияет, искрится, ослепляет?.. Но мне казалось, что она прекраснее мечты и божественно хороша. Матушка утверждала, что черты лица у г-жи Ганс самые обыкновенные, если рассматривать их в отдельности. Всякий раз, когда матушка высказывала такое мнение, отец недоверчиво покачивал головой. Должно быть, мой милый отец поступал, как и я: он не рассматривал в отдельности черты лица г-жи Ганс. И каковы бы они ни были в отдельности, в целом они были прекрасны. Не слушайте матушку, уверяю вас, что г-жа Ганс была прекрасна. Г-жа Ганс влекла меня: красота сладостна; г-жа Ганс пугала меня: красота страшна!

Однажды вечером, когда у нас собрались друзья моего отца, Алиса Ганс вошла в гостиную с таким приветливым видом, что я приободрился. В мужском обществе она иногда держала себя словно добрая дама, которая на прогулке бросает птичкам крошки, чтобы они поклевали. Потом вдруг принимала надменный вид; лицо ее делалось холодным, и она медленно, будто нехотя, обмахивалась веером. Я не понимал почему. Теперь я прекрасно понимаю: г-жа Ганс была кокеткой, вот и все!

Итак, я уже сказал, что в этот вечер, войдя в гостиную, она бросила всем, даже мне, самому смиренному из всех, крохи своих улыбок. Я, не отрываясь, глядел на нее, и мне почудилось, что я уловил в ее прекрасных глазах какую-то грусть; я был потрясен. Дело в том, что я был добрым малым. Г-жу Ганс попросили что-нибудь сыграть. Она сыграла ноктюрн Шопена. Я не слышал ничего более прекрасного. Мне чудилось, будто Алиса с нежной лаской чуть касается моих ушей своими пальцами, длинными белыми пальцами, с которых она сняла кольца.

Когда она кончила играть, я инстинктивно, не помышляя о том, что делаю, подошел к ней и, проводив ее на место, сел около. Почувствовав благоухание ее тела, я закрыл глаза. Она спросила, люблю ли я музыку. От звука ее голоса я затрепетал. Я открыл глаза и увидел, что она глядит на меня; этот взгляд погубил меня.

— Да, сударь, — в смятении ответил я…

Раз земля не разверзлась и не поглотила меня в этот миг, значит, природа не внемлет даже самым пламенным мольбам человека.

Я не спал всю ночь, обзывал себя скотиной, идиотом и угощал пощечинами. Утром, после долгих размышлений, я все еще не мог примириться с самим собой. Я повторял: «Желать сказать женщине, что она прекрасна, что она поразительно прекрасна, что она умеет извлекать из рояля вздохи, стоны, подлинные рыдания, и вместо этого сказать всего два слова: «Да, сударь». Значит, я совершенно утратил и разум и способность выражать свои мысли. Пьер Нозьер, ты болван. Скройся с глаз людских!»

Но — увы! — я даже не мог скрыться. Мне надо было появляться в классе, за столом, на прогулке. Я старался втянуть шею, спрятать руки и ноги. Но я не мог стать невидимым и был очень несчастлив. С товарищами можно было хоть драться. Это все-таки какой-то выход, но в обществе приятельниц матери у меня был очень жалкий вид. Я на собственном опыте убедился, как правильно наставление из «Подражания Христу»:

Беги от женщины, как от сетей и пут…

«Какой спасительный совет!» — думал я. Если бы я бежал от г-жи Ганс в тот роковой вечер, когда она, так поэтично сыграв ноктюрн, насытила все вокруг трепетом страсти, если бы я бежал от нее тогда, она не спросила бы: «Любите ли вы музыку?» и я не ответил бы: «Да, сударь».

Эти два слова «Да, сударь» непрерывно звучали у меня в ушах. Я все время помнил о них, или, вернее, в силу какого-то странного психологического явления, мне казалось, что время внезапно остановилось и все еще длится то мгновение, когда были произнесены непоправимые слова: «Да, сударь». Меня терзали не угрызения совести, нет! Угрызения совести были бы отрадой в сравнении с тем, что испытывал я. Полтора месяца я пребывал в мрачной меланхолии, тут даже мои родители пришли к убеждению, что я глуп.

Мою глупость дополняло то, что я был настолько же

смел в душе, насколько застенчив в обращении с людьми. Обычно молодежь не отличается гибкостью ума. Я же был просто непреклонен. Я был убежден, что владею истиной. Наедине с самим собою я был неистов и полон протеста.

Каким молодцом, каким разбитным малым я был наедине с самим собой! С той поры я сильно изменился. Теперь я не очень робею в присутствии своих современников. Я стараюсь по возможности держаться посередине между теми, кто умнее меня, и теми, кто глупее, полагаясь на ум первых. Зато теперь я не чувствую уверенности лицом к лицу с самим собою... Но ведь я рассказываю о том, что было, когда мне шел семнадцатый год. Вы поймете, что при сочетании такой застенчивости с такой смелостью я в ту пору представлял собой довольно нелепое существо.

Через полгода после того ужасного происшествия, о котором я вам рассказал, я окончил с наградой класс риторики, и отец отправил меня на каникулы в деревню. Он поручил меня попечениям одного из своих самых скромных и достойных коллег, — старого сельского врача, практиковавшего в Сен-Патрисе.

Я поехал туда. Сен-Патрис — маленькая деревушка в Нормандии, расположенная на опушке леса и отлого спускающаяся к песчаному берегу, зажатому между двумя утесами. Этот берег был в те годы угрюмым и безлюдным. Море, которое я увидел впервые, и отрадное безмолвие лесов сразу очаровали меня. Смутный шум волн и листвы был созвучен смутному лепету моей души. Я скакал верхом по лесу, я валялся полуголый на песке, полный жажды чего-то неизведанного, того, что я угадывал везде и не находил нигде.

Целыми днями я бродил один и часто плакал без всякой причины; порой мне казалось, что мое сердце сейчас разорвется, так оно было переполнено. Словом, я ощущал великое смятение. Но какой покой на этом свете может сравниться с таким смятением? Никакой! Беру в свидетели деревья, ветви которых хлестали меня по лицу; беру в свидетели утес, с которого я любовался закатом, — ничто не сравнится с терзавшей меня болью, ничто не сравнится с этими первыми мужскими

грезами! Если желание делает прекрасней все, к чему оно прикоснется, то желание неизведанного делает прекрасней вселенную.

Проницательность всегда как-то странно соединялась у меня с наивностью. Я, вероятно, еще долго не подозревал бы причины моих волнений и смутных желаний. Мне открыл ее поэт.

Еще в коллеже я пристрастился к чтению поэтов и сохранил эту любовь до сих пор. В семнадцать лет я обожал Вергилия и понимал его так хорошо, словно мои учителя и не объясняли мне его. Во время каникул я всегда носил в кармане томик Вергилия. Это была плохонькая книжонка — английское издание Блисса; она у меня и сейчас есть. Я берегу ее как зеницу ока, и каждый раз, когда я перелистываю эту книжечку, оттуда выпадают засушенные цветы. Самые давние из них — те, которые я сорвал в лесу Сен-Патрис, где я был в семнадцать лет так счастлив и так несчастен.

Раз как-то я брел в одиночестве по опушке леса, с наслаждением вдыхая запах свежего сена, а морской ветер оседал солью на моих губах, и вдруг я почувствовал страшную усталость, я присел на землю и долго следил за плывущими в небе облаками.

Затем по привычке раскрыл Вергилия и прочел:

Hic quos durus amor...

Там всех несчастных, что лютым недугом любовь истерзала,
Тайные тропы скрывают и миртовый лес злополучных
Тенью одел, но тоска не покинула их и до смерти [1].

«...и миртовый лес злополучных тенью одел!..» О, я знал этот миртовый лес: он жил в моей душе. Но я не умел его назвать. Вергилий открыл мне причину моих страданий. Я понял, что люблю.

Но я не знал еще, кого я люблю. Это открылось мне зимой, когда я вновь увидел г-жу Ганс. Вы, конечно, более проницательны, чем был я. Вы угадали, что я любил Алису. Какая удивительная судьба! Я любил именно ту женщину, в глазах которой опозорил себя и которая несомненно была обо мне самого

[1] Перевод В. А. Квашнина-Самарина.

дурного мнения. Было от чего прийти в отчаяние. Но в те времена отчаяние было не в моде: наши отцы так часто прибегали к его помощи, что оно уже истрепалось. Я не предпринял ничего ужасного, ничего великого. Я не скрылся под разрушенные своды старого монастыря; не развеял тоски в пустыне, не взывал к аквилонам. Просто я был очень несчастен и сдавал экзамены на степень бакалавра.

Даже мое счастье было жестоко, — видеть Алису, слушать ее и думать: «Она единственная женщина в мире, которую я могу любить; я единственный мужчина, которого она не выносит».

Когда она играла на рояле, я перевертывал страницы и любовался пушистыми завитками на ее белой шее: но, чтобы не подвергать себя опасности еще раз ответить ей: «Да, сударь», я дал обет не разговаривать с ней. Вскоре в моей жизни произошли перемены, и я потерял Алису из виду, так и не нарушив своей клятвы.

II

Этим летом я встретил г-жу Ганс на водах, в горах. Ее красота, которой я обязан своими первыми и самыми восхитительными волнениями, насчитывает уже полвека. Но эта увядшая красота все еще пленительна. Теперь, убеленный сединами, я нарушил зарок молчания, данный мною в годы юности.

— Здравствуйте, сударыня, — сказал я Алисе Ганс.

Увы! На этот раз мой голос не дрогнул от волнения, как в былые годы, глаза не затуманились.

Она почти тотчас же узнала меня. Воспоминания сблизили нас, и беседы скрасили нам однообразную жизнь в отеле. Вскоре нас связали новые более прочные узы, сложившиеся сами собой: нас объединили одинаковая усталость от жизни и горе. Сидя на зеленой скамье, на солнышке, мы каждое утро беседовали о ревматизме и о наших утратах. Этих тем хватало для долгих бесед. Чтоб было повеселее, говоря о настоящем, мы вспоминали прошлое.

— Как вы были хороши, госпожа Ганс, и как все восхищались вами! — сказал я однажды.

— Да, это правда, — ответила она улыбаясь. — Теперь, состарившись, я могу в этом признаться: я нравилась. Это примиряет со старостью. Я была предметом довольно лестного поклонения. Но вы будете очень удивлены, если я скажу, чье поклонение тронуло меня сильнее всего.

— Очень бы хотел знать.

— Извольте. Однажды вечером (с тех пор много воды утекло) школьник-подросток, взглянув на меня, почувствовал такое смятение, что на какой-то мой вопрос ответил: «Да, сударь». Ни одно проявление восторга не польстило мне так сильно и не дало такого удовлетворения, как эти слова: «Да, сударь», а также то, как они были сказаны.

XII
Тень

На двадцатом году жизни со мной приключилось необычайное происшествие. Отец послал меня в департамент Нижнего Мена уладить одно семейное дело. Я выехал днем из приветливого городка Эрне и отправился за семь лье оттуда, в бедный приход св. Иоанна, чтоб побывать в пустовавшем доме, в котором более двух столетий жила семья моего отца. Стоял декабрь. С утра шел снег. Дорога, обсаженная деревьями, была вся в колдобинах; и я и лошадь измучились, избегая рытвин.

Но в пяти-шести километрах от прихода св. Иоанна дорога улучшилась, и, невзирая на яростный ветер и снег, хлеставший в лицо, я пустил лошадь в галоп. Деревья, похожие на уродливые и страждущие ночные призраки, бежали по обе стороны дороги. Эти черные деревья с обрубленными макушками и скрюченными ветвями, все в наростах и болячках, были страшны. В Нижнем Мене их называют «обрубками». Они пугали меня, потому что я находился под впечатлением рассказа, который слышал накануне от настоятеля церкви св. Маркела в Эрне. В 1849 году 24 февраля, — рассказывал мне настоятель, — одно из таких де-

ревьев-калек — старый каштан с обрубленной более двухсот лет тому назад верхушкой и полый, словно б а ш н я , — сверху донизу расщепила молния. И тогда сквозь расщелину увидели внутри стоявший стоймя скелет человека; тут же нашли ружье и четки. На часах, найденных у ног скелета, прочли имя: «Клод Нозьер». Этот Клод, двоюродный дед моего отца, при жизни был контрабандистом и разбойником. В 1794 году он примкнул к шуанам *, к отряду Третона по кличке Серебряная Нога. Тяжело раненный, преследуемый «синими», он укрылся от погони в дупле этого «обрубка» и там умер. Ни друзья, ни недруги не знали, что с ним сталось; лишь полвека спустя удар молнии извлек на свет божий старого шуана.

Я думал о нем, глядя на «обрубки», убегавшие назад по обе стороны дороги, и торопил коня. В приход св. Иоанна я приехал, когда уже совсем стемнело.

На постоялом дворе, вывеска которого печально скрипела на ветру своей цепью, я сам отвел лошадь в конюшню, затем вошел в низкую комнату и сел в старое вольтеровское кресло, стоявшее возле очага. Греясь у огня, я при отблеске пламени разглядывал хозяйку, уродливую старуху. На ее лице, уже подернутом тлением, выступал щербатый нос, да из-под красных век глядели потухшие глаза. Она смотрела на меня недоверчиво, как на чужого. Чтобы успокоить ее, я назвал свое имя, которое, вероятно, было ей хорошо знакомо. Покачав головой, она ответила, что Нозьеры все умерли. Однако согласилась собрать мне поужинать. Подбросив хворосту в очаг, она вышла.

Мне было грустно, я устал и томился непонятной тоской. Мрачные и дикие образы осаждали меня. На минуту я задремал, но и сквозь сон слышал завывание ветра в продушине, и порывы его наносили пепел из камина на мои сапоги.

Спустя несколько минут я открыл глаза и вдруг увидел то, чего никогда не забуду: я явственно увидел на другом конце комнаты, на выбеленной стене неподвижную тень — тень молодой девушки. Ее профиль был так нежен, чист и очарователен, что вся моя усталость и грусть растворились в радостном чувстве восторга.

Я смотрел на нее, как мне кажется, не больше минуты; возможно, конечно, что мое восхищение длилось и дольше, я затрудняюсь теперь точно определить время. Затем я оглянулся, чтобы посмотреть на ту, которая отбрасывала такую прелестную тень. В комнате никого не было... никого, кроме старухи, расстилавшей на столе белую скатерть.

Я снова взглянул на стену, тень исчезла.

Тогда что-то вроде любовной тоски сжало мне сердце, и эта пережитая мною утрата огорчила меня.

Несколько мгновений я сосредоточенно и трезво думал, а затем спросил:

— Тетушка! А тетушка! Кто это тут только что был?

Удивленная хозяйка ответила, что она никого не видела.

Я подбежал к двери. Густо падавший снег устилал землю, и на снегу не было следов.

— Тетушка! вы уверены, что в доме нет женщины?

Она ответила, что во всем доме она одна.

— А чья же это была тень?! — воскликнул я.

Она промолчала.

Тогда я попытался при помощи точных законов физики определить то место, где должно было находиться тело, тень которого я видел, и, указав пальцем на это место, сказал:

— Она была здесь, вот здесь, слышите!

Старуха, держа в руках подсвечник, подошла ко мне и, вперив в меня свои страшные, невидящие глаза, сказала:

— Теперь я верю, что вы меня не обманываете, — вы действительно Нозьер. Уж не сын ли вы Жана Нозьера, врача, что живет в Париже? Я знавала его дядю, молодца Рене. Ему тоже являлась какая-то женщина, которую никто, кроме него, не видел. Надо полагать, это божья кара всему роду Нозьеров за грех Клода-шуана, загубившего свою душу из-за жены булочника.

— Вы говорите о Клоде, скелет которого нашли вместе с ружьем и четками в дупле «обрубка»? — спросил я.

— Сударь, его не спасли даже четки. Он отказался от вечного блаженства из-за женщины.

Старуха больше ничего не сказала. Я еле притронулся к хлебу, яйцам, салу и сидру, которыми она потчевала меня. Я не сводил глаз со стены, на которой видел тень. Ясно видел! Очертания ее были более тонкие и четкие, чем у тени, естественно отбрасываемой трепещущим отблеском очага и чадным пламенем свечи.

На следующий день я посетил опустевший домик, где жили когда-то Клод и Рене; я объездил всю округу, расспрашивал кюре, но ничего не узнал, что навело бы меня на след девушки, тень которой я видел на стене.

Еще и доныне я не знаю, верить ли словам старухи, хозяйки постоялого двора. Я не знаю, посещал ли какой-нибудь призрак в суровом уединении Бокажа моих прадедов-крестьян, и не явилась ли это наследственная Тень, преследовавшая моих диких и суеверных предков, в новом, пленительном облике их мечтательному потомку.

Видел ли я на постоялом дворе в приходе св. Иоанна семейный призрак рода Нозьеров или, может быть, в эту зимнюю ночь мне было возвещено, что меня ждет счастливая судьба, ибо щедрая природа наделила меня драгоценнейшим даром — даром грез.

КНИГА СЮЗАННЫ

К ЧИТАТЕЛЮ

Воспоминания Пьера Нозьера заканчиваются только что прочитанным вами рассказом. Мы сочли уместным присоединить к ним несколько страниц, написанных той же рукой. «Книга Сюзанны» целиком взята из записей нашего друга. Из тетрадей Пьера Нозьера извлечено все, что имеет хотя бы отдаленное отношение к детству его дочери. Таким образом явилась возможность составить новую главу семейной хроники, от которой он оставил нам лишь отрывки, хотя и предполагал вести ее последовательно.

Издатель

I. СЮЗАННА

I
Петух

Сюзанна еще не занималась поисками прекрасного. Она занялась этим с большим увлечением, когда ей исполнилось три месяца и двадцать дней.

Произошло это в столовой. Фаянсовые тарелки, глиняные сосуды, оловянные кувшины и флаконы вене-

цианского стекла, загромождающие полки, придают нашей столовой старинный облик. Все это накупила мать Сюзанны, заразившись, подобно всем парижанкам, страстью к безделушкам. Сюзанна в своем беленьком вышитом платьице кажется еще свежее среди этой старины, и, глядя на нее, невольно думаешь: «Вот это действительно совсем еще новенькое существо».

Она равнодушна к посуде наших дедов, к старым темным портретам и огромным медным блюдам, висящим на стене. Я надеюсь, что впоследствии вся эта старина пробудит ее фантазию и породит в ее головке причудливые, нелепые и очаровательные мечты. У нее появятся свои видения. Если у нее будет к этому склонность, она разовьет в себе милую восприимчивость к деталям и стилю, которая так украшает жизнь. Я буду ей рассказывать всякие небылицы, немногим более далекие от истины, чем все прочие рассказы, но гораздо более красивые; Сюзанна будет от них без ума. Я желаю всем, кого люблю, крупицу безумия. Это веселит сердце. Но пока Сюзанна не улыбается даже маленькому Вакху, сидящему верхом на бочке. Когда нам три месяца и двадцать дней, мы очень серьезны.

Итак, было утро, ласковое серое утро. Разноцветные звездочки вьюнка, переплетшегося с диким виноградом, окаймляли окно. Мы с женой только что позавтракали и болтали, как болтают люди, между которыми уже все давно переговорено. Это было одно из тех мгновений, когда время течет, словно спокойная река. Кажется, видишь, как оно струится, и каждое произнесенное слово представляется камешком, брошенным в эту реку. Мне помнится, мы говорили о цвете Сюзанниных глаз. Это неисчерпаемая тема.

— Они темно-синие, как шифер.

— С оттенком старого золота и лукового супа.

— С каким-то зеленоватым отблеском.

— Все это верно, они чудесны!

И в это мгновение появилась Сюзанна; на этот раз ее глаза были голубовато-серые, как мягкое серое утро. Няня держала ее на руках. С точки зрения светских приличий надо было бы, чтобы ее держала на руках

кормилица. Но Сюзанна делает то же, что делал ягненок в басне Лафонтена и что делают все ягнята вообще: она сосет свою маму. Я прекрасно понимаю, что в подобных случаях, при таком деревенском воспитании, следует соблюдать хотя бы внешние приличия и держать «сухую» кормилицу. У «сухой» кормилицы такие же большие шпильки и ленты на чепчике, как и у настоящей, ей не хватает лишь молока. Но ведь молоко требуется только ребенку, а ленты и шпильки видны всем. Если мать по слабости характера сама кормит ребенка, то, чтобы не терпеть от людей сраму, нанимает «сухую» кормилицу.

Но мать Сюзанны — женщина легкомысленная; она не подумала об этом прекрасном обычае.

Няня Сюзанны — молоденькая крестьянка, приехавшая из деревни, где она вынянчила семь или восемь братцев; она с утра до вечера мурлычет лотарингские песенки. Мы как-то отпустили ее на целый день посмотреть Париж; она вернулась в полном восторге: она видела чудесную редиску. Все прочее тоже ей понравилось, но редиска просто очаровала; она даже написала об этой редиске домой. Такая душевная простота роднит ее с Сюзанной, которая тоже, кажется, ничего не замечает на всем белом свете, кроме ламп и графинов.

Стоило только появиться Сюзанне, и в столовой сразу стало очень весело. Мы улыбаемся Сюзанне, и Сюзанна улыбается нам: кто любит, всегда найдет способ договориться. Мать протянула к ней свои гибкие руки, откинув в истоме летнего утра широкие рукава пеньюара. Тогда и Сюзанна протянула свои пряменькие кукольные ручонки в пикейных рукавчиках. Она растопырила пальчики, как пять розовых лучиков, торчавшие из обшлага. Очарованная мать посадила ее к себе на колени, и мы все трое были очень счастливы; может быть, потому, что ни о чем не думали. Такое состояние не могло длиться вечно. Сюзанна, потянувшись к столу, так широко раскрыла глазки, что они стали совсем круглые, и потрясла ручонками, словно это деревяшки, — и на самом деле они были похожи на деревяшки. В ее глазах сверкнули изумление и восторг. На трогательно

глупеньком и важном личике мелькнуло что-то сознательное.

Она пискнула, словно раненая птичка.

— Может быть, ее уколола булавка, — предположила мать, к счастью никогда не забывавшая о действительности.

Английские булавки так незаметно расстегиваются. А на Сюзанне их целых восемь штук.

Нет, не булавка уколола Сюзанну. Ее кольнула любовь к прекрасному.

— Любовь к прекрасному? В три месяца и двадцать дней?

Но судите сами: почти выскользнув из рук матери, она ерзала по столу кулачонками, помогала себе плечами и коленками, пыхтела, кашляла и пускала слюни, пока не дотянулась, наконец, до тарелки. Старый страсбургский деревенский мастер (верно, это был простой человек, мир праху его!) изобразил на этой тарелке красного петуха.

Сюзанна хотела схватить петуха; ведь не для того же, чтоб съесть, значит, он показался ей прекрасным.

На это мое простое рассуждение ее мама сказала:

— Какой ты глупый! Если бы Сюзанна могла взять петуха, она тут же отправила бы его в рот и не стала бы им любоваться. Право, ученым людям недостает здравого смысла!

— Конечно, она поступила бы именно так, — ответил я, — но это доказывает, что для развития всех ее многочисленных и уже разнообразных способностей главным органом восприятия служит рот. От постоянных упражнений у нее прежде развился рот, а потом уже глаза, и это правильно. Теперь ее многоопытный, нежный и чувствительный ротик лучше всего помогает ей познавать мир. Она права, что прибегает к его помощи. Повторяю, наша дочь — воплощенная мудрость. Да, она засунула бы петуха в рот, но засунула бы не потому, что он вкусный, а потому, что он красивый. Заметьте, что эта привычка, свойственная маленьким детям, отразилась в речи взрослых. Мы же говорим: «Вкус к стихам, к картинам, к опере».

Пока я высказывал эти необоснованные мысли, которые, будь они изложены непонятным языком, несомненно снискали бы одобрение философов, Сюзанна барабанила кулачками по тарелке, царапала ее ногтями и разговаривала с ней (и на каком очаровательном, загадочном детском языке!), а потом несколько раз дернула тарелку и наконец перевернула ее.

Нельзя сказать, чтобы она проявила при этом ловкость, — какое там! Ее движениям недоставало точности. Но любое движение, как будто бы даже очень простое, трудно проделать, если нет навыков. А разве могут быть навыки в три месяца и двадцать дней? Представьте себе, какой уймой нервов, мускулов и костей надо управлять, чтобы шевельнуть хотя бы мизинчиком. По сравнению с этим управлять нитями всех марионеток театра Томаса Гольдена — сущие пустяки. Дарвин, такой проницательный наблюдатель, восхищался тем, что маленькие дети умеют плакать и смеяться. Он написал целую книгу, чтоб объяснить, как они это делают. Мы не знаем жалости — «мы, люди науки», как говорит Золя.

Но, к счастью, я не такой великий ученый, как Золя. Я человек легкомысленный. Я не проделываю опытов над Сюзанной, — я просто наблюдаю за ней, когда могу это сделать, не рассердив ее.

Она царапала петушка и удивлялась, не понимая, почему нельзя взять то, что видишь. Это было выше ее понимания, как, впрочем, и все остальное. Но именно этим-то Сюзанна и очаровательна. Для маленьких детей жизнь — вечная сказка. Для них все чудо; вот потому-то в их взорах столько поэзии. Они живут возле нас, но в каком-то ином мире. Неведомое, божественно-неведомое, окружает их.

— Глупышка! — сказала мать.

— Дорогая, ваша дочь невежественна, но разумна. Когда видишь красивую вещь, хочешь ее получить. Это естественная наклонность, которую предвидел закон. Цыгане Беранже, утверждавшие: «все, что ты видишь — твое», мудрецы редкой породы. Если бы все люди думали так же, то не существовало бы цивилизации и мы жили бы нагие, не ведая искусств, как обита-

тели Огненной Земли. Вы вот не разделяете таких взглядов: вам нравятся старинные ковры, на которых изображены аисты под деревьями, и вы завесили ими все стены в доме. Это не упрек, вовсе нет! Но и вы поймите Сюзанну с ее петухом.

— Я понимаю: она похожа на маленького Пьера, который требовал луну из ведра с водой. Ему не дали. Но, друг мой, не уверяйте меня, что Сюзанна принимает нарисованного петуха за настоящего: ведь она никогда не видала живого петуха.

— Нет, но она принимает иллюзию за реальность. И за эту ошибку отчасти ответственны художники. Они уже давно пытаются с помощью красок и линий подражать природе. Сколько столетий протекло с тех пор, как умер тот пещерный человек, что нацарапал с натуры мамонта на тонкой пластинке слоновой кости! Так чего же удивляться, что после стольких длительных усилий художники преуспели в искусстве подражания и теперь им удается обмануть младенцев, которым всего-то три месяца и двадцать дней от роду? О, видимость! Кого только не соблазняет она! Сама наука, которой нам так докучают, разве она выходит за пределы видимости? Что находит профессор Робен в своем микроскопе? Видимость, только видимость. «Мы напрасно волнуемся из-за обманов», — сказал Еврипид...

Говоря так, я уже собирался комментировать слова Еврипида и несомненно нашел бы в них глубокий смысл, какого этот сын торговки травами и не думал в них вкладывать. Но обстановка делалась все менее подходящей для философских рассуждений: убедившись, что ей не оторвать петуха от тарелки, Сюзанна страшно рассердилась, покраснела, как пион, ее носик сделался широким, как у кафра, щеки раздулись так, что глаза совершенно исчезли, а брови поползли на лоб. Лоб, вдруг покрасневший, сморщился, набух, покрылся складками и стал похож на вулканическую почву. Ротик растянулся до ушей, и сквозь десны вырвался дикий вой.

— Прекрасно! — воскликнул я. — Вот взрыв страстей! Не надо отзываться плохо о страстях. Доста-

точно вспышки страсти, чтоб грудной младенец стал таким же страшным, как китайский божок. Дочь моя, я вами доволен. Приобретайте сильные страсти, развивайте их и растите вместе с ними. И когда позднее вы подчините себе ваши страсти, их сила станет вашей силой, их величие — вашей красотой. Страсти — духовное богатство человека.

— Какой шум! — воскликнула Сюзаннина мама. — В этой комнате не слышно друг друга; тут и философ несет всякий вздор, тут и младенец кричит, принимая нарисованного петуха за настоящего. Бедные женщины! Сколько нам надо здравого смысла, чтобы уживаться с мужем и детьми!

— Ваша дочь, — ответил я, — впервые устремилась на поиски прекрасного. Это очарование бездны, сказал бы романтик; это естественное занятие благородных умов, скажу я. Но не следует предаваться ему слишком рано и с негодными средствами. Милый друг, вы обладаете божественными чарами, чтобы успокоить муки Сюзанны. Усыпите вашу дочь.

II

Непрозревшая душа [1]

Для ребенка мир огромный
Полон тайны здесь и там.
Он растет, душою темной
Прикасаясь к чудесам.

Этой тайны отраженье
Озаряет детский взгляд,
И черты воображенья
В каждом действии сквозят.

Он живет, непостижимым
Окруженный, как волной.
Этот мир он мыслит мнимым
И реальным мир иной.

[1] Перевод Д. С. Самойлова.

И в младенческих глазах —
Отсвет грез о жизни лучшей.
Как прекрасен дух заблудший,
Дух, затерянный в мирах!

Отрешенный от забот,
Переполненный мечтою,
Он трепещущей душою
Жизнь вселенной познает.

III
Звезда

Сегодня вечером закончился двенадцатый месяц жизни Сюзанны, и за год, прожитый на этой древней земле, она приобрела большой опыт. Взрослый человек, который за двенадцать лет сделал бы столько полезных открытий, сколько Сюзанна за двенадцать месяцев, был бы полубогом. Дети — непризнанные гении: они овладевают миром со сверхчеловеческой энергией. Ничто не может сравниться с этим первым толчком жизни, с этим первым ростком души.

Вы постигаете, что эти крохотные существа видят, осязают, говорят, наблюдают, сравнивают, помнят? Вы постигаете, что они ходят туда, сюда, взад и вперед? Вы постигаете, что они играют? И то, что они играют, особенно чудесно, ибо игра — основа всякого искусства. Куклы и песни — вот вам уже почти весь Шекспир.

У Сюзанны есть целая корзина игрушек, но только некоторые из них — игрушки по своей природе и по своему назначению: это животные из некрашеного дерева и резиновые голыши. Все прочее превратилось в игрушки по прихоти судьбы: тут и старые кошельки, и сломанные коробочки, и лоскутки, и складной метр, и футляр для ножниц, и грелка, и железнодорожный указатель, и камешек. Все эти вещи в самом жалком состоянии. Сюзанна ежедневно вытаскивает их из корзины и отдает матери. Она не выделяет ни одну из них и не делает никакого различия между своими скромными сокровищами и всеми остальными вещами.

Весь мир для нее — огромная резная и раскрашенная игрушка.

Если проникнуться таким восприятием природы и объяснить им все поступки и мысли Сюзанны, то невольно залюбуешься логикой этого крохотного существа. Но мы судим о Сюзанне соответственно нашим, а не ее представлениям. А так как у нее не наш разум, мы полагаем, что у нее вообще нет разума. Какая несправедливость! Зато я стою на правильной точке зрения и вижу последовательный ум там, где люди обычно видят лишь бессвязные действия.

И я не ошибаюсь; я не ослепленный любовью папаша; я знаю, что моя дочь ничуть не лучше других детей. Рассказывая о ней, я не прибегаю к восторженным словам. Я просто говорю ее матери:

— Милый друг, у нас очень хорошенькая дочурка.

А она отвечает мне примерно то же, что ответила г-жа Примроз * своим соседям на подобный же комплимент:

— Друг мой, Сюзанна такая, какой ее создал бог: если хорошая, то и красивая.

И говоря это, она обволакивает Сюзанну долгим, чудесным и ясным взглядом, и всякому становится понятно, что под опущенными ресницами ее глаза сверкают любовью и гордостью.

Я настаиваю, я говорю:

— Согласись, что она очень хорошенькая.

Но у матери есть целый ряд причин не соглашаться со мной, и я их знаю лучше ее самой.

Ей хочется еще и еще раз услышать от других, что ее дочурка прелестна. Она считает, что самой говорить об этом неудобно и неделикатно. А главное, — она боится оскорбить какую-то невидимую тайную силу, она сама не знает какую, но она чувствует, что эта сила притаилась во мраке и готова наказать детей за то, что их мамы так ими гордятся.

Да и какой счастливец не трепещет перед этим призраком, обязательно притаившимся в комнате за занавесками? Кто, обнимая вечером жену и ребенка, по-

смеет воскликнуть в присутствии незримого чудовища: «Дорогие мои, сколько счастья и красоты в нашей жизни!» И потому я говорю жене:

— Вы правы, милый друг, правы, как всегда. Здесь, под этой скромной кровлей обитает счастье. Тише! Как бы не спугнуть его. Афинские матери страшились Немезиды *, этой вездесущей и незримой богини, о которой им было ведомо лишь то, что в ней воплощена ревность богов. Немезида... Увы!.. ее перст узнавали повсюду, ежечасно, в том повседневном и вместе с тем таинственном, что именуют несчастным случаем. Афинские матери!.. Я люблю представлять себе одну из них, баюкающей под стрекотанье цикад, в тени лавра, у подножия домашнего алтаря, своего нагого, как маленький бог, младенца.

Я воображаю, что ее звали Лизилла, что она страшилась Немезиды, как страшитесь ее вы, мой друг, и что, как и вы, она вовсе не стремилась унизить других женщин блеском восточной роскоши и хотела одного: чтобы ей были прощены ее счастье и красота... Лизилла! Лизилла! неужели ты промелькнула, не оставив на земле даже тени твоего образа, дуновения твоей чистой души? Неужели ты исчезла так бесследно, словно тебя никогда не было?

Мать Сюзанны прервала причудливую нить моих мыслей.

— Друг мой, — спросила она, — почему вы так говорите об этой женщине? Она прожила свой срок, как и мы проживем свой. Такова жизнь.

— Значит, по-вашему, душа моя, то, что существовало, может больше не существовать?

— Конечно. Я не похожа на вас, друг мой. Вы всему удивляетесь.

Она говорила спокойно, доставая ночную рубашку Сюзанны. Но Сюзанна решительно отказалась укладываться спать.

В римской истории этот отказ был бы увековечен, как черта характера, достойная Тита Ливия, Веспасиана или Александра Севера *, но Сюзанну за этот отказ бранят. Вот она, человеческая справедливость! По правде говоря, Сюзанна желает бодрствовать вовсе

не для того, чтобы пещись о благе империи, а только для того, чтобы порыться в ящике старого голландского комода, пузатого, с тяжелыми медными ручками.

Она нырнула в ящик, уцепилась одной ручонкой за комод, а другой захватила чепчики, лифчики, платья, натужилась и бросила все это к своим ногам, кряхтя и негромко, пугливо попискивая. Ее спина, прикрытая вышитой косынкой, до умиления забавна. Иногда Сюзанна оглядывается на меня, и выражение удовольствия на ее мордашке еще умилительнее.

Не в силах устоять, забыв о Немезиде, я воскликнул:

— Ну, посмотри на Сюзанну в ящике, что за прелесть!

Жестом, одновременно задорным и робким, Сюзаннина мама приложила палец мне к губам. Затем опять подошла к опустошенному ящику. А я продолжал свою мысль:

— Милый друг, Сюзанна восхитительна, потому что она что-то знает, и еще восхитительнее потому, что она ничего не знает. Ее неведение исполнено поэзии.

Тут мама Сюзанны улыбнулась и покосилась в мою сторону, что означало насмешку, затем воскликнула:

— Поэзия Сюзанны! Поэзия вашей дочери! Да ее приводит в восторг только кухня. На днях я застала ее на кухне, где она с сияющим видом смотрела на всякие очистки. Нечего сказать, хороша поэзия!

— Конечно, милый друг, конечно. Вся природа отражается в ней с такой совершенной чистотой, что для нее не существует ничего грязного, даже в корзине с очистками. Вот потому-то вы и застали ее на днях в полном восторге перед капустными листьями, луковой шелухой и головками креветок. Она была очарована, сударыня! Говорю вам: она с божественной силой преображает мир, и все, что она видит, все, к чему прикасается, приобретает в ее глазах красоту!

Во время моей речи Сюзанна отошла от комода и приблизилась к окну. Мать взяла ее на руки. Был тихий, теплый вечер. Нежные кудри акаций тонули в прозрач-

ных сумерках, а опавшие цветы белыми пятнами лежали на траве. Высунув из конуры лапы, спала собака. Вдали земля утопала в голубоватой дымке. Мы все трое молчали.

И тогда в тишине, в торжественной ночной тишине, Сюзанна подняла ручонку как только могла высоко и указала пальчиком, который еще не умела как следует вытянуть, на звезду. Пальчик маленький-премаленький то сгибался, то разгибался, словно манил.

И Сюзанна заговорила со звездой!

В речи ее не было слов, это был непонятный чудесный лепет, своеобразное пение, нежное и глубоко таинственное: то, что необходимо выразить младенческой душе, когда в ней отражается звездный луч.

— Потешная крошка, — сказала мать, целуя ее.

IV

Кукольный театр

Вчера я повел Сюзанну в кукольный театр. Мы оба остались очень довольны; это как раз такой театр, как нам надо. Будь я драматургом, я писал бы только для кукольного театра. Не знаю, может быть у меня не хватило бы таланта, но во всяком случае такая задача не отпугнула бы меня. А вот придумывать громкие фразы для искушенных в декламации прелестных актрис Французской Комедии я бы никогда не посмел. Кроме того, театр, каким его понимают взрослые, для меня слишком сложен. Я ничего не смыслю в хитро сплетенных интригах. Я изображал бы страсти, да и то только самые заурядные. Это не годится для Жимназ, для Водевиля или для Французской Комедии, но великолепно подошло бы для кукольного театра!

Ах, вот где страсти естественны и сильны! И выражают их преимущественно при помощи палки. Палка бесспорно обладает огромной силой театрального воздействия. Благодаря ее вмешательству действие развивается с потрясающей энергией. Оно, можно сказать, неудержимо мчится к великой финальной «потасовке». Так называют лионцы, создавшие тип Гиньоля *,

грандиозное побоище, завершающее все пьесы этого репертуара. «Великие потасовки» неизменное и роковое явление. Это — десятое августа, это — девятое термидора, это — Ватерлоо *.

Итак, я уже говорил вам, что мы с Сюзанной пошли вчера в кукольный театр. Разыгрывавшаяся пьеса несомненно кое в чем грешила: так я нашел в ней некоторую нелогичность, но это не мешало ей пленять умы, склонные к размышлению, ибо она давала богатую пищу фантазии. Я ее воспринял как пьесу философскую; изображенные характеры правдивы, и действие развивается энергично. Я расскажу вам содержание, как я его понял.

Когда занавес поднялся, перед нами предстал сам Гиньоль. Я сразу его узнал. Да, это был он. На широком, невозмутимо спокойном лице еще виднелись следы побоев, от которых нос у него стал приплюснутым, но обаятельное простодушие взгляда и улыбки не пострадало.

На нем не было ни саржевой хламиды, ни коленкорового колпака, на которые в 1815 году на аллее Бротто лионцы не могли смотреть без смеха. Но если бы кто-нибудь из тех мальчиков и девочек, которые на берегах Роны видели и Гиньоля и Наполеона, дожил до наших дней и пришел сюда, на Елисейские поля, еще раз перед смертью поглядеть кукольный театр, он сразу узнал бы знаменитую косичку своей любимой марионетки, — хвостик, так забавно болтающийся на затылке у Гиньоля. Остальные части его костюма — зеленый фрак и черная треуголка — соответствовали старинной парижской традиции, согласно которой Гиньоль нечто вроде лакея.

Гиньоль взглянул на нас своими большими глазами, и меня тотчас же пленила его беззастенчивая наивность и явная душевная простота, при которой порок кажется невинным. Да, это был он, и по выражению лица и по духу, тот незадачливый Гиньоль, образ которого так оживил своей выдумкой дядюшка Мурге из Лиона. Я так и слышу, как Гиньоль отвечает своему хозяину,

господину Канезу, упрекающему его в том, что он своей болтовней нагоняет на всех сон:

— Вы правы. Идемте спать.

Наш Гиньоль не произнес еще ни слова; только хвостик болтался у него на затылке, а уже все смеялись.

Его сын Гренгале пришел за ним следом и с непринужденной грацией боднул его в живот. Зрители не возмутились, нет, они так и покатились со смеху. Такое начало — верх искусства! А если вам непонятно, почему подобная дерзость имела успех, я объясню: Гиньоль — лакей и носит ливрею, Гренгале, его сын, носит блузу, он ни перед кем не угодничает и ни на что не годен. Такое превосходство позволяет ему пренебрегать отцом, не нарушая приличий.

Мадемуазель Сюзанна великолепно поняла это, и ее симпатия к Гренгале ничуть не уменьшилась. Гренгале действительно симпатичный персонаж. Он тощ и сухопар, но очень находчив. Трепку жандарму задает никто иной, как Гренгале. У шестилетней мадемуазель Сюзанны уже вполне законченное представление о блюстителях порядка; она не на их стороне и хохочет, когда фараон получает взбучку. Конечно, она не права. Однако, должен признаться, мне очень мила такая неправота. Мне хотелось бы, чтобы в каждом возрасте человек был немножко бунтарем. Эти строки написаны мирным гражданином, который уважает власть и подчиняется законам; но когда на его глазах кому-нибудь удастся подшутить над жандармом, помощником префекта или стражником, он первый над этим смеется. Однако вернемся к столкновению Гренгале с Гиньолем.

Мадемуазель Сюзанна полагает, что прав Гренгале. Я полагаю, что прав Гиньоль. Судите сами. Гиньоль и Гренгале проделали долгий путь, чтобы попасть в известную им одним таинственную деревню, куда устремились бы толпы жадных и предприимчивых людей, если бы только узнали о ее существовании. Но деревушка эта скрыта лучше, чем скрыт был целое

столетие замок Спящей Красавицы. Здесь несомненно замешано волшебство: вблизи живет чародей, стерегущий клад, предназначенный для того, кто выйдет победителем из множества страшных испытаний, при мысли о которых содрогаешься от ужаса. Наши странники вступают в зачарованное царство совершенно различно настроенные. Гиньоль устал, он ложится спать; сын упрекает его в малодушии:

— Так мы никогда не завладеем сокровищем, за которым пришли!

А Гиньоль отвечает:

— Нет в мире сокровища дороже сна!

Мне этот ответ нравится. С моей точки зрения, Гиньоль мудрец: он сознает тщету земных благ и стремится к покою, как к единственной отраде после греховных или бесплодных житейских треволнений. Но мадемуазель Сюзанна считает Гиньоля олухом, ведь он уснул не вовремя и по своей вине потеряет богатство, за которым погнался; а что, если это богатство несметно? если это — ленты, пирожные и цветы. Она хвалит Гренгале за его упорное желание овладеть такими чудесными сокровищами.

Как я уже сказал, предстоят ужасные испытания. Надо напасть на крокодила и убить дьявола. Я говорю Сюзанне:

— Мамзель Сюзон, вот дьявол!

Она отвечает:

— Нет. Это негр!

Ее рассудительный ответ приводит меня в отчаяние. Но ведь я-то понимаю, в чем дело, и потому с интересом слежу за единоборством дьявола и Гренгале. Ужасная борьба завершается гибелью дьявола. Гренгале убил дьявола!

Откровенно говоря, заслуга это не великая; мне понятно, почему зрители, настроенные не столь трезво, как мамзель Сюзон, холодны и как будто даже испуганы. Раз дьявол умер — прощай грех! Быть может, и красота, эта союзница дьявола, исчезнет вместе с ним. Быть может, не видать нам больше цветов, которые опьяняют, очей, которые губят! Но тогда что будет с нами в этом мире? Останется ли у нас хотя бы возмож-

ность стать добродетельными? Сомневаюсь... Гренгале не подумал, что зло необходимо добру, как тьма — свету, что добродетель — это усилие, и если не надо будет бороться с дьяволом, то праведники окажутся так же не у дел, как и грешники. Скука будет смертная. Повторяю, убив дьявола, Гренгале совершил большую оплошность.

Явился Полишинель, раскланялся с нами, занавес упал; мальчики и девочки разошлись по домам, а я сижу, погруженный в раздумье. Мамзель Сюзон, видя, что я задумался, решила, что мне грустно. Она убеждена, что тот, кто размышляет, — несчастен. Она берет меня за руку с нежной лаской и спрашивает, о чем я горюю?

Я признаюсь ей: мне досадно, что Гренгале убил дьявола.

Тогда, обняв меня ручонками за шею, она шепчет мне на ухо:

— Я тебе что-то скажу: Гренгале негра убил, но убил не взаправду.

Эти слова меня успокаивают; я рад, что дьявол не умер, и мы уходим довольные.

II. ДРУЗЬЯ СЮЗАННЫ

I
Андре

Вы, конечно, знали доктора Тревьера? Вы помните его широкое, открытое, сияющее лицо и чудесный взгляд его голубых глаз? Это был человек большой души и талантливый хирург. Его присутствие духа в трудных случаях вызывало у всех восхищение. Однажды, когда он делал перед аудиторией опасную операцию, больной под ножом вдруг стал терять силы. Похолодел, пульс остановился; человек умирал. Тогда Тревьер обхватил его обеими руками, прижал к груди и сильно, как борец, встряхнул его окровавленное, изувеченное тело. Затем вновь взялся за скальпель и со свойственной ему осторожной смелостью продолжал оперировать. Кровообращение восстановилось, человек был спасен.

Сбросив халат, Тревьер снова превращался в простодушного, милого человека. Всем нравился его громкий смех. Через несколько месяцев после упомянутой операции он порезался, вытирая ланцет, не обратил на это внимания, а через два дня умер от заражения крови тридцати лет от роду. После него остались жена и ребенок, которых он обожал.

В солнечные дни под елями Булонского леса часто сидела молодая женщина в трауре: она вышивала, время от времени подымая глаза от работы и поглядывая на маленького мальчика с лопаткой и тачкой, игравшего в песочек. Это была г-жа Тревьер. Солнце ласкало ее смуглое матовое лицо, избыток жизненных сил и чувств рвался наружу из ее стесненной порою груди и больших карих глаз с золотистыми крапинками. Она нежно глядела на ребенка, а он, показывая «пирожки» из песка, поднимал к ней свою рыжеволосую головку и голубые глаза, унаследованные от отца.

Мальчик был пухленький, розовый. Подрастая, он начал худеть, его щечки, усеянные веснушками, побледнели. Мать встревожилась. Порой, когда он весело играл со своими сверстниками в Булонском лесу и, пробегая мимо, задевал стул, на котором она сидела за вышиваньем, мать перехватывала его, молча брала за подбородок, хмурила брови и тихонько покачивала головой, вглядываясь в побледневшее личико сына, а он опять убегал. По ночам при малейшем шорохе она вставала и подолгу стояла босая, склонившись над его кроваткой. Врачи, старые друзья ее мужа, успокаивали ее: ребенок хрупкий, вот и все. Ему надо бы пожить в деревне, на свежем воздухе.

Госпожа Тревьер уложила чемоданы и уехала в Броль, где у родителей ее мужа было хозяйство. Тревьер, как вам известно, был сыном крестьянина и до двенадцати лет по дороге из школы домой разорял гнезда дроздов.

Родственники обнялись под окороками, подвешенными к стропилам закопченной комнаты. Тетушка Тревьер, сидя на корточках перед тлеющими головнями огромного очага и не выпуская из рук сковороды, недоверчиво посматривала на парижанку и на няню. Но малыш ей очень понравился — «вылитый отец». Папаша Тревьер, сухопарый и прямой старик в куртке из грубого сукна, обрадовался внуку.

Не успели поужинать, как Андре уже звонко целовал дедушку, не боясь его подбородка колючего-преколючего. Взобравшись к старику на колени, он при-

жимал кулачки к его впалым щекам и спрашивал, почему тут ямы?

— Да потому, что у меня больше нет зубов.

— А почему у тебя больше нет зубов?

— Потому, что они почернели, а я взял и посеял их в борозду: хотел поглядеть, может вырастут белые.

Андре звонко смеялся. Дедушкины щеки совсем не такие, как мамины.

Парижанке и ее малышу отвели парадную комнату, — там стояла брачная кровать, на которой старики Тревьеры ночевали только раз, и запертый на ключ дубовый шкаф, набитый бельем. Для внука принесли с чердака кроватку, служившую когда-то сыну. Ее поставили в самом укромном углу, под полкой, заставленной горшками с вареньем. Г-жа Тревьер, женщина аккуратная, огляделась в комнате, несколько раз обошла ее, ступая по скрипучим некрашеным половицам, но, к своему огорчению, нигде не нашла вешалки.

Потолок с выступающими балками и стены были выбелены. Г-жа Тревьер не обратила внимания на цветные олеографии, оживлявшие эту прекрасную комнату; но все же приметила над супружеской постелью картинку, изображавшую готическую церковь и процессию мальчиков со свечами, в черных курточках, белых штанах, и нарукавных повязках. Под картинкой был помещен печатный текст, в который имя, фамилия, число и подпись были вставлены от руки: «Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что Пьер-Аженор Тревьер впервые приобщился святых тайн в Брольской церкви 15 мая 1849 года. Кюре Гонтар».

Вдова прочитала и вздохнула, — так вздыхают разумные и сильные духом женщины. Такие вздохи и слезы любви — лучшие сокровища в мире. Те, кого любят, не должны бы умирать.

Раздев Андре, она сказала:

— Ну, теперь помолись, дружок.

Он пробормотал:

— Мама, я тебя люблю, — и, произнося эту молитву, сжал кулачки, уронил голову на подушку и мирно уснул.

Проснувшись утром, он сделал открытие: скотный двор. С удивлением, с восторгом, как зачарованный, глядел он на кур, на корову, на старую кривую лошадь, на свинью. Свинья особенно его пленила. Это очарование длилось много дней. Когда приходило время обеда или ужина, Андре нельзя было дозваться. Наконец он прибегал, перепачканный навозом, с соломой и паутиной в волосах, в башмаках, измазанных навозной жижей, с грязными руками, с исцарапанными коленками, румяный, смеющийся, счастливый.

— Ух, какой ты страшный, не смей подходить ко мне! — кричала мать.

И поцелуям не было конца.

За столом, сидя на скамье, он грыз большую куриную ногу и был похож на Геркулеса, пожирающего свою палицу.

Он ел, не замечая, что ест, забывал пить и болтал без умолку.

— Мама, а что это за курицы, зеленые такие?

— Наверное, попугаи, — не задумываясь, ответила парижанка.

Так Андре научился называть дедушкиных уток попугаями, что очень затемняло смысл его рассказов.

Но смутить его было не легко.

— Мама, знаешь, что сказал дедушка? Он сказал, что яйца делают курочки. Но ведь это же неправда. Ведь яйца делают в овощной на улице Нейли, а потом дают их погреть курочке. Мама, как же курицы могут делать яйца, когда у них нет рук?

Андре продолжал свои наблюдения над природой. Гуляя в лесу с матерью, он переживал те же волнения, что и Робинзон Крузо. Однажды, когда г-жа Тревьер, сидя под дубом у дороги, вышивала, Андре нашел крота. Огромного крота! Правда, дохлого. Мордочка у него была даже в крови.

— Андре, сию же минуту брось эту гадость! — крикнула мать. — Ну-ка, взгляни скорее вон на то дерево.

И Андре увидал белку, перепрыгивавшую с ветки на ветку. Мама права: живая белка куда забавнее дохлого крота.

Но — увы! — белка быстро исчезла, и Андре стал приставать к матери — есть ли у белок крылья. Вдруг перед г-жой Тревьер, сняв соломенную шляпу, остановился прохожий; его мужественное и открытое лицо обрамляла красивая темная борода.

— Здравствуйте, сударыня. Как вы себя чувствуете? Вот когда встретились! Это ваш малыш? Какой славный! Мне говорили, что вы гостите у дядюшки Тревьера... Простите, что я так его называю, но мы с ним старые знакомые.

— Мы приехали в деревню, потому что моему мальчику необходим свежий воздух. А вы, сударь? Вы, кажется, жили в этих краях еще тогда, когда был жив мой муж?

Голос молодой женщины дрогнул. Прохожий серьезно сказал:

— Слышал, слышал, сударыня.

И он склонил голову, словно отдавая дань горестному воспоминанию.

Помолчав, он сказал:

— Хорошее было время! Как много с тех пор ушло от нас прекрасных людей! Бедные мои пейзажисты! Бедный Милле! А я так по-прежнему и остался другом художников, как они называли меня в Барбизоне *. Я знал их всех. Славные люди!

— А как ваша фабрика?

— Фабрика? Работает и без меня.

В разговор вмешался Андре:

— Мама, а мама! Посмотри, под большим камнем божьи коровки. Целый миллион! Правда!

— Тише, Андре, пойди поиграй, — сухо ответила мать.

И друг художников опять заговорил своим красивым ласкающим голосом:

— Как приятно снова встретиться с вами! Друзья часто меня спрашивают, что сталось с красавицей госпожой Тревьер. Я им скажу, что она все такая же красавица, даже еще похорошела. До свидания, сударыня.

— Прощайте, господин Лассаль.

Андре подошел к матери.

— Мама, а разве не все коровки — божьи? Разве есть чертовы коровки? Мама? Почему ты молчишь?.. Почему?

Он дернул мать за юбку. Она рассердилась.

— Андре, никогда не перебивай меня, когда я с кем-нибудь разговариваю. Слышишь?

— Почему?

— Потому что это невежливо.

Он заплакал, но все окончилось смехом и поцелуями. И этот день тоже прошел хорошо. В деревне часто видишь такое пасмурное и пронизанное лучами небо, которое и печалит и радует.

Через несколько дней, когда лил сильный дождь, г-н Лассаль, обутый в высокие сапоги, пришел навестить молодую вдову.

— Здравствуйте, сударыня. Ну как, дядюшка Тревьер, вы все еще держитесь?

— Да ничего. Сам я еще молодец, да вот ноги подводят.

— А вы, тетушка? Все по хозяйству? Ну что? Удался суп? Значит, стряпуха хорошая!

Старушка улыбалась этим шуткам, на ее морщинистом лице искрились глаза.

Гость посадил Андре к себе на колени и ущипнул за щечку, но мальчик стремительно вырвался и оседлал дедушкины ноги.

— Ты — лошадь. Я — кучер. Но! Но! Не ленись!

За все время визита вдова и гость не перемолвились ни словом, но их взгляды то и дело скрещивались, как зарницы, вспыхивающие на небосклоне в душные летние ночи.

— Отец, вы давно знакомы с этим господином? — словно невзначай спросила молодая женщина.

— Я знавал его еще тогда, когда он без штанов бегал. Да и кто здесь у нас не знал его отца? Хорошие люди, честные, прямые. И деньги у них есть. У господина Филиппа (мы зовем его господин Филипп) на фабрике не меньше шестидесяти человек рабочих.

Андре решил, что наступила подходящая минута высказать свое мнение:

— Он противный! — сказал мальчик.

Мать тут же его оборвала: нечего говорить глупости, лучше бы молчал.

С тех пор по воле случая г-жа Тревьер почему-то стала встречать г-на Лассаля, куда бы она ни пошла.

Она стала беспокойной, рассеянной, часто задумывалась. Вздрагивала от шелеста ветра в листве. Забросила вышиванье, у нее появилась привычка подолгу сидеть, опираясь подбородком на руку.

Однажды осенним вечером, когда сильная буря, налетевшая с моря, проносилась с воем над домом дедушки Тревьера и над всем краем, молодая вдова отпустила спать служанку, растапливавшую камин, и поспешила уложить Андре. Она стягивала с него шерстяные чулки и грела в своих руках его озябшие ножки, а он, обвив ручонками шею склонившейся над ним матери, прошептал:

— Мама, я боюсь!

Но она, целуя его, ответила:

— Успокойся, дружок. Спи.

Затем она села у камина и стала читать письмо.

По мере того, как она читала, ее щеки покрывались румянцем, жаркое дыхание вырывалось из груди. Окончив чтение, она осталась в кресле; она сидела, безжизненно опустив руки, унесясь куда-то мечтой. Она думала:

«Он меня любит; он добрый, искренний, честный! А зимними вечерами одной так тоскливо! Как он всегда со мной деликатен! У него, конечно, чуткая душа. Это видно даже по тому, как он просит моей руки».

И тут ей попалась на глаза олеография, изображавшая первое причастие. «Я, нижеподписавшийся, удостоверяю, что Пьер-Аженор Тревьер...»

Она опустила глаза и снова задумалась.

«Трудно одинокой женщине воспитать мальчика... У Андре будет отец».

— Мама!

Этот зов, раздавшийся из кроватки, заставил ее вздрогнуть.

— Что тебе, Андре? Ты сегодня никак не угомонишься!

— Мама, я думал...

— Спать надо, а ты думаешь. О чем же ты думал?

— Мама, ведь папа умер?

— Да, мой родной.

— И он никогда не вернется?

— Никогда, мой милый.

— А знаешь, мама, это даже хорошо. Потому что я так люблю тебя, мама, так люблю, — за двоих. И если бы папа теперь вернулся, я бы не мог его любить.

Несколько секунд она тревожно глядела на сына, затем опять села в кресло и застыла, закрыв лицо руками.

Уже больше двух часов ребенок спал под шум бури, когда мать подошла к его кроватке и, тихо вздохнув, прошептала:

— Спи! он не вернется...

Но через два месяца он вернулся. Он вернулся в образе плотного загорелого г-на Лассаля, нового главы семьи. И маленький Андре опять пожелтел, исхудал и стал грустным.

Теперь он выздоровел. Он любит свою няню, как любил прежде мать. Он не знает, что у няни есть обожатель.

II

Пьер

— Сколько вашему мальчику, сударыня?

Мать глядит на своего сынка, как глядят на часы, чтоб узнать время, и отвечает:

— Пьеру? Два года пять месяцев, сударыня.

Можно было бы с таким же успехом сказать: два с половиной года, но ведь Пьер очень умен и проделывает кучу удивительных для своего возраста штук, вот мамаша и боится, как бы другие матери не стали ей чуточку меньше завидовать, если она чуточку прибавит ему возраста и тем самым чуточку умалит в их глазах его гениальность. Есть и еще одно соображение, почему ей не хочется, чтобы ее Пьера состарили хотя бы на один день. Так хочется, чтобы он подольше оставался малюткой, карапузиком. Она прекрасно

понимает, что с возрастом он все меньше и меньше будет принадлежать ей. Она чувствует, что он постепенно уходит. Ах, неблагодарные малыши — всегда-то они стремятся вырваться на волю. Их рождение — это уже первая разлука. Что с того, что ты мать: у тебя только грудь да руки, чтоб удержать своего ребенка.

Вот почему Пьеру ровно два года и пять месяцев. Впрочем, это чудесный возраст, и мне лично он внушает большое уважение. У меня есть несколько друзей этого возраста, с которыми я в великолепных отношениях. Но ни у кого из моих юных друзей нет такого богатого воображения, как у Пьера. Пьер осмысливает все с большой легкостью и по-своему. Он помнит давно высказанные мысли. Узнает людей, которых не видел больше месяца. Находит в раскрашенных картинках, которые ему дарят, тысячу мелочей, очаровывающих и волнующих его. Когда он перелистывает свою любимую книгу с картинками, из которой он вырвал только половину страниц, его щеки покрываются красными пятнами, а глаза загораются беспокойным блеском.

Мать боится и этого румянца и этих глаз; она опасается, как бы слишком большое напряжение не утомило его детский податливый мозг, она опасается лихорадки, опасается всего. Боится накликать несчастье на своего ребенка, если будет им гордиться. Она дошла до того, что завидует булочнику, и согласилась бы, чтоб ее малыш был таким же, как его сынишка, которого она постоянно видит на пороге булочной, — круглолицый, щекастый, с тупым взглядом голубых глаз, ну ни дать ни взять — откормленный поросенок.

Вот за такого беспокоиться не приходится, а Пьер совсем другое дело, Пьер ежеминутно меняется в лице, у него горячие ручки, он спит тревожным сном.

Доктору тоже очень не нравится, когда наш маленький друг рассматривает картинки. Он советует, чтоб Пьер поменьше думал и возбуждался.

— Воспитывайте его, как щенка. Ведь это, кажется, не трудно!

Он ошибается — это очень трудно. Доктор не имеет ни малейшего представления о психологии мальчика в два года пять месяцев. И так ли уж это верно, что

щепки не думают и не приходят в возбуждение? Я знал шестинедельного щенка, который всю ночь видел сны и с мучительной быстротой переходил от смеха к слезам, громко выражая свои бурные переживания. Это ли называется не приходить в возбуждение?

Да что там! Щенок худел, совсем как Пьер. И все-таки не умер. В Пьере тоже прочно заложены основы жизни, все органы его тела здоровы. Но хотелось бы, чтобы он был не такой худенький и не такой бледный.

Париж вреден этому маленькому парижанину. Это не значит, что Париж ему не нравится. Нет, как раз наоборот, Париж слишком его развлекает; волнует разнообразием форм, красок, движения: Пьеру чересчур много приходится чувствовать и понимать, это его утомляет.

В июле месяце мать увезла бледного и худенького Пьера в заброшенный уголок Швейцарии, где одни только сосны на склонах гор да зеленые пастбища и коровы в долине.

Покой на лоне великой и мирной кормилицы-земли длился три месяца, насыщенных радостными впечатлениями, три месяца, во время которых съедено было много черного хлеба. И в начале октября передо мной предстал неузнаваемый Пьер, возродившийся Пьер, смуглый, загоревший, опаленный солнцем, почти толстощекий, с грязными руками, громким голосом и звонким смехом.

— Поглядите на моего Пьера, какой ужас, — говорила счастливая мать, — ну прямо дешевая раскрашенная кукла!

Но скоро яркие краски поблекли. Маленький человечек побледнел, вновь стал нервным, хрупким, с отпечатком чего-то слишком изысканного и слишком нежного. Опять началось влияние Парижа. Я говорю о Париже духовном, который нигде и везде, о Париже, который развивает вкус и ум, волнует и требует умственного напряжения даже от маленького ребенка.

И вот Пьер опять бледнеет и краснеет, рассматривая картинки. К концу декабря он опять стал нервным ребенком с огромными глазами и горячими ручками. Он плохо спал и плохо ел.

Врач говорил:

— Он здоров, пусть побольше ест.

Легко сказать! Бедная мать перепробовала все, что только могла, но все напрасно. Она плакала, а Пьер не ел.

В сочельник Пьеру приготовили много подарков: клоунов, лошадок и солдатиков. На следующее утро, стоя в пеньюаре перед камином, мать уныло и недоверчиво разглядывала гротескные физиономии игрушек.

«Это его еще возбудит, — думала она. — Их так много!»

И тихонько, боясь разбудить Пьера, она взяла клоуна, показавшегося ей злобным, солдатиков, которых она опасалась, думая, что они могут увлечь впоследствии ее сына на поле брани, взяла даже славную рыжую лошадку и вышла на цыпочках, чтобы запереть все эти игрушки к себе в шкаф. Оставив в камине только коробку из некрашеного дерева, подарок неимущего человека, — скотный двор за тридцать девять су, — она уселась возле кроватки и стала глядеть, как спит ее сын. Она была женщиной и улыбнулась, подумав, что хоть и с доброй ц е л ь ю , — но схитрила. Глядя на синеватые веки мальчика, она вновь задумалась.

«Как ужасно, что его нельзя заставить есть как следует!»

Как только маленького Пьера одели, он тотчас же раскрыл коробку и увидел барашков, коров, лошадок, деревья, кудрявые деревья! Говоря точнее, это был не скотный двор, а ферма.

Пьер увидел фермера и фермершу: фермер несет на плече косу, фермерша — грабли. Они идут в луга на покос, но что-то не похоже, что они идут. На фермерше соломенная шляпа и красное платье. Пьер принялся ее целовать, и она закрасила ему щечку. Он увидел домик, — такой маленький и низкий, что фермерша не могла бы выпрямиться там во весь рост, но в домике была дверца: по ней-то Пьер и догадался, что это дом.

Чем именно эти раскрашенные фигурки показались неискушенному и наивному взору ребенка? Трудно сказать, но впечатление они произвели колоссальное.

Он так крепко сжимал их в кулачках, что пальцы его стали липкими от краски; он расставлял их на своем столике и ласково звал по имени: «Тпру-тпру», «Туту», «Муму». Приподняв одно из странных зеленых деревьев с плоским прямым стволом и конусообразной листвой из стружек, он крикнул:

— Елочка!

Для матери это было своего рода откровением. Сама она никогда бы не догадалась. Но стоило Пьеру сказать, что зеленое конусообразное дерево с плоским стволом — елка, и она сейчас же поверила.

— Ангел мой!

И она так крепко обняла его, что опрокинула три четверти фермы.

Между тем Пьер нашел какое-то сходство между игрушечными деревьями и теми деревьями, что росли в горах, на вольном воздухе.

Он заметил еще многое, чего не заметила мама. Раскрашенные чурочки вызывали в его памяти трогательные образы. Они перенесли его на лоно альпийской природы; он вновь жил в Швейцарии, которая его так щедро накормила. И тогда одно представление повлекло за собой другое, он вспомнил о еде и сказал:

— Мне хочется молока и хлеба.

Он попил и поел. Аппетит вернулся к нему. Вечером он так же охотно поужинал, как утром позавтракал. На следующий день, увидав скотный двор, он опять захотел есть. Вот что делает воображение! Через две недели он превратился в пухленького маленького человечка. Мать была в восторге. Она говорила:

— Вы только поглядите, какие щечки! Настоящая куколка за тринадцать су! И все благодаря подарку бедного господина N.

III

Джесси

В царствование Елизаветы жил в Лондоне ученый, звавшийся Богг, и под именем Богуса известный как автор трактата «О человеческих ошибках», которого никто не читал.

Богус трудился над ним двадцать пять лет и ничего еще не опубликовал: но в рукописи, переписанной набело и расставленной на полках в амбразуре окна, было не менее десяти томов in folio. Первый трактовал об ошибке рождения на свет человека — первопричине всех прочих человеческих ошибок. В следующих томах разбирались ошибки мальчиков и девочек, юношей, людей зрелого возраста и старцев, а также людей всевозможных профессий: государственных мужей, купцов, солдат, поваров, писателей и проч. Последние томы, еще не вполне законченные, рассматривали ошибки государства, проистекавшие из совокупности всех ошибок, как индивидуальных, так и профессиональных. И такова была последовательность мысли в этом великолепном трактате, что нельзя было изъять ни одной страницы, не нарушив целостности всего произведения. Доказательства вытекали одно из другого, и в результате выходило, что основа всей жизни — зло, и что ежели жизнь измеримая величина, то с математической точностью можно доказать, что зла на земле столько же, сколько и жизней.

Богус не совершил одной большой ошибки: он не женился. Он жил в скромном домике со своей старой домоправительницей, которую звали Кэт, то есть Екатерина, но он называл ее Клаузентина, потому что она была родом из Саутгэмптона.

Сестра философа, менее мудрая, чем брат, впадала из одной ошибки в другую: она полюбила торговца сукном из Сити, вышла замуж за этого торговца и родила дочь, названную Джесси.

Ее последней ошибкой было то, что она умерла через десять лет после брака, чем вызвала и смерть торговца сукном, который не пережил ее. Богус приютил у себя сиротку из жалости, а также надеясь, что она доставит ему много убедительных примеров детских ошибок.

Джесси было в ту пору шесть лет. Первую неделю жизни в домике ученого она плакала и ничего не говорила. По прошествии недели она сказала Богусу:

— Я видела маму: она была вся в белом, а в складках ее платья были цветы. Она разбросала их по моей кроватке, но утром я ничего не нашла. Отдай мне мамочкины цветы.

Богус отметил в своем трактате эту ошибку, но в комментариях признал ее невинной и даже очень милой.

Несколько времени спустя Джесси сказала Богусу:

— Дядя Богус, ты старый, ты некрасивый, но я очень люблю тебя. И ты тоже должен меня любить.

Богус взялся за перо; но по зрелом размышлении признал, что он действительно уже не молод и никогда не был очень красив, а потому не стал записывать слова ребенка, однако спросил:

— А почему я должен тебя любить, Джесси?

— Потому что я маленькая.

«Верно ли, — размышлял Богус, — верно ли, что мы должны любить маленьких? Возможно, это и так. Ведь действительно они очень нуждаются в любви. Пожалуй, это оправдывает ошибку, свойственную всем матерям, которые кормят грудью и любят своих малюток. Эту главу моего трактата придется переделать.

В день своих именин Богус, войдя утром в комнату, которую называл своим книгохранилищем, потому что там находились его книги и рукописи, почувствовал приятный запах и увидел на подоконнике горшок гвоздики.

Всего три цветка, но три ярко-красных цветка, на которых радостно играли лучи ласкового солнца. И все смеялось в приюте учености: старинное ковровое кресло, ореховый стол, корешки древних фолиантов в переплетах из телячьей кожи, в переплетах из пергамента, в переплетах из свиной кожи. Богус, такой же ссохшийся, как и они, начал, как и они, улыбаться. Обняв его, Джесси сказала:

— Гляди, дядя Богус, гляди: вот там небо (она указала на бледную синеву небес, видневшуюся сквозь мелкие оконные стекла, в свинцовой оправе); а вот тут, пониже, земля, земля в цвету (она указала на горшочек с гвоздиками); а вот тут, совсем внизу, толстые черные книги, — это ад.

«Толстые черные книги» — это были как раз десять томов трактата «О человеческих ошибках», расставленные в нише под окном. Эта ошибка Джесси напомнила ученому о его произведении, которым он за последнее время пренебрегал из-за прогулок с племянницей по улицам и паркам. Девочка делала множество приятных открытий, а с ней вместе делал эти открытия и Богус, который всю свою жизнь не высовывал носа на улицу. Богус раскрыл трактат, но он показался ему чужим, потому что там не говорилось ни о цветах, ни о Джесси.

К счастью, на помощь пришла философия, внушив ему мудрую мысль, что Джесси бесполезное существо. И он крепко ухватился за эту истину, ибо она была необходима для целесообразности его трактата.

Однажды, когда Богус размышлял на эту тему, он застал в своем книгохранилище Джесси, которая вдевала нитку в иглу, сидя перед окном с гвоздиками. Он спросил, что она собирается шить. Джесси ответила:

— Разве ты, дядя Богус, не знаешь, что ласточки улетели?

Богус не знал; об этом не говорилось ни у Плиния, ни у Авиценны. Джесси продолжала:

— Мне сказала вчера Кэт...

— Кэт?! — воскликнул Богус. — Девочка, ты, вероятно, имеешь в виду почтенную Клаузентину!

— Кэт сказала мне вчера: «Ласточки в этом году улетели раньше обычного, значит, будет ранняя и суровая зима». Вот что сказала Кэт. А ночью я видела во сне маму, в белом платье, и волосы у нее светились. Только она не принесла цветов, как в прошлый раз. Она сказала: «Джесси, вынь из сундука меховой плащ дяди Богуса и почини его, если он изорван». Я проснулась и, как только встала, сейчас же вынула из сундука твой плащ; он во многих местах разорвался, вот я и хочу его починить.

Наступила зима, и была она такая, как предсказали ласточки. Богус, сидя в плаще и грея ноги у камина, пытался исправить некоторые главы своего трактата. Но каждый раз, как он собирался согласовать свои новые наблюдения с теорией мирового зла,

Джесси опровергала все его доводы: то она приносила ему кружку доброго эля, то просто глядела на него и улыбалась.

Когда вернулось лето, дядя и племянница стали бродить по полям. Джесси приносила домой травы, которые Богус называл ей, и по вечерам сортировала эти травы, соответственно их свойствам. Во время прогулок она проявляла понятливость и доброту. Однажды вечером, раскладывая на столе травы, собранные днем, она сказала:

— Дядя Богус, теперь я знаю названия всех растений, которые ты показал мне. Вот эти исцеляют, а эти успокаивают. Я хочу сохранить их, чтобы потом не забыть и научить других тоже распознавать их. Мне нужна толстая книга, где бы их засушить.

— Возьми вот эту, — сказал Богус.

И он указал ей на первый том трактата «О человеческих ошибках».

Когда между всеми страницами этого тома были заложены травки, понадобился следующий том, и так, за три лета, гениальное произведение доктора Богуса окончательно превратилось в гербарий.

III. БИБЛИОТЕКА СЮЗАННЫ

I

Госпоже Д.

Париж, 15 декабря 188...

Скоро наступит первый день Нового года. День подарков и пожеланий, и больше всего их получают дети. Это совершенно естественно: им так нужно, чтобы их любили. А потом они бедны, и в этом их прелесть; у всех детей, даже у родившихся в роскоши, есть только то, что им дают взрослые. Наконец, они не отдаривают, вот потому особенно приятно делать им подарки.

Нет ничего увлекательнее, как выбирать для них игрушки и книги. Когда-нибудь я напишу философский очерк об игрушках. Эта тема соблазняет меня, но я не решаюсь приступить к ней без длительной и серьезной подготовки.

Сегодня я буду говорить о книгах, цель которых радовать детей, и, так как вы пожелали узнать мое мнение, я изложу вам некоторые свои мысли.

Прежде всего возникает вопрос: следует ли дарить детям преимущественно те книги, которые специально написаны для них?

Чтобы ответить на такой вопрос, достаточно проверить это на опыте. Замечательно, что обычно дети терпеть не могут книг, написанных специально для них. Это вполне понятно. С первых же страниц они чув-

ствуют, что автор старался проникнуть в их мир, а не перенести их в свой, и, следовательно, он не покажет им то новое, неизведанное, чего в любом возрасте жаждет человек. Любознательность, которая создает ученых и поэтов, овладевает даже малышами. Они хотят, чтобы им открыли вселенную, таинственную вселенную. И смертельно скучают, когда автор предлагает им сосредоточить свое внимание на себе самих и преподносит им их же собственные ребяческие выходки.

А между тем, к несчастью, все те, кто пишет, как принято говорить, «для детей и юношества», поступают именно так. Они стараются подделаться под детей. Превращаются в детей, но без детской непосредственности и прелести. Я припоминаю книгу «Пожар в колледже», которую мне подарили с самыми лучшими намерениями. Мне было семь лет, но я понял, что это чепуха. Еще один такой «Пожар в коллеже» отвратил бы меня от книг, а я обожал книги.

— Но все же необходимо применяться к детскому уму, — возразите вы.

Несомненно, но этого не добьешься избитыми приемами: незачем притворяться глупей, чем ты есть, сюсюкать, серьезно говорить о несерьезных вещах — словом, лишать зрелую мысль всего, что придает ей очарование и убедительность.

Чтобы дети поняли книгу, надо, чтобы она была талантлива. Мальчикам и девочкам нравятся произведения благородные, с хорошей выдумкой, книги превосходно построенные, образующие яркое целое и написанные сильно и умно.

Я не раз читал вслух детям некоторые песни «Одиссеи» в хорошем переводе. Дети были в восторге. «Дон-Кихот» в сокращенном издании — самая увлекательная книга для двенадцатилетнего ребенка. Я, например, как только научился читать, прочел благородную книгу Сервантеса и так полюбил ее, так хорошо понял, что в значительной степени обязан ей той жизнерадостностью, которую сохранил до сих пор.

Книга «Робинзон Крузо» уже столетие считается классическим произведением для детского возраста, но в свое время она была написана для степенных людей,

для купцов лондонского Сити и моряков его величества. Автор вложил в нее все свое мастерство, весь свой ум, обширные познания, опыт. Иначе он не увлек бы школьников.

Шедевры, о которых я говорю, полны драматического действия и живых образов. Лучшая в мире книга не заинтересует ребенка, если мысли выражены в ней отвлеченно. Способность мыслить отвлеченно и понимать отвлеченное развивается довольно поздно и в очень различной степени у различных людей. Наш учитель шестого класса, не в обиду ему будь сказано, не был ни Роленом, ни Ломоном и советовал нам читать во время каникул для отдыха сборник великопостных проповедей Массильона *. Наш учитель шестого класса давал такой совет, чтобы уверить нас, будто он сам отдыхает за подобным чтением, и поразить нас этим. Но ребенок, способный заинтересоваться «великопостными проповедями», — урод. Впрочем, я полагаю, что такие произведения не нравятся ни в каком возрасте.

Если вы пишете для детей, не прибегайте к особой манере. Мыслите хорошо, пишите хорошо. Пусть в вашем рассказе все живет, пусть все будет благородным, смелым, мощным. Это единственный способ понравиться вашим читателям.

На этом я бы закончил, если бы уже двадцать лет у нас во Франции, да, наверное, и во всем мире, не господствовало мнение, что детям следует давать читать только научные книги, так как поэзия может повредить их развитию.

Это мнение так глубоко укоренилось в современном обществе, что теперь сказки Перро переиздают только для художников и библиофилов. Взгляните, например, как издали эту книгу Перрен и Лемерр. Это издание расходится по библиотекам любителей и переплетают его в сафьян с золотым тиснением.

Зато иллюстрированные каталоги новогодних детских книг пытаются прельстить читателя изображениями крабов, пауков, коконами гусениц и газовыми приборами. Этак можно отбить всякую охоту быть

ребенком. Накануне каждого нового года популярные научные трактаты, несметные, как волны океана, заливают и захлестывают нас и наши семьи. Мы утопаем в них, захлебываемся. Нет больше прекрасных образов, нет благородных мыслей, нет искусства, изящного вкуса, ничего человеческого. Одна химия и физиология.

Вчера мне показали «Азбуку чудес промышленности».

Еще десять лет, и мы все будем электротехниками.

Господин Луи Фигье, человек очень славный, теряет все свое благодушие при одной мысли о том, что французские мальчики и девочки до сих пор еще читают «Ослиную Шкуру» *. Он написал специальное предисловие, где убеждает родителей не давать детям сказок Перро и советует заменить их произведениями его ученого друга Людовикуса Фикуса.

«Закройте эту книгу, мадемуазель Жанна, оставьте в покое вашу любимую «Голубовато-серую птицу», над которой вы проливаете слезы, спешите лучше изучить действие эфира. Ведь стыдно, что вы дожили до семи лет и ничего не знаете об анестезирующих свойствах окиси азота!» Г-н Луи Фигье открыл, что феи — существа фантастические. Поэтому он не желает, чтобы о них рассказывали детям. Он повествует им о птичьем помете, в котором нет ничего фантастического. Ну да, ученый муж, феи потому и существуют, что они созданы фантазией. Они живут в свежей и в наивной фантазии, по самой природе своей восприимчивой к вечно юной поэзии народного творчества.

Самая скромная книжка, если она внушает ребенку поэтичные мысли, вызывает в нем благородные чувства, волнует его душу, гораздо важнее и для детей и для юношей всех ваших толстых книг, напичканных сведениями по механике.

И малым и большим детям нужны сказки, прекрасные сказки, в стихах или в прозе, сочинения, которые заставляют смеяться и плакать, которые пленяют нас.

Как раз сегодня я получил к моему большому удовольствию книгу, озаглавленную «Зачарованный мир», в которой помещено с десяток волшебных сказок.

Милейший и ученейший г-н Лекюр, который со-

брал их, объясняет в своем предисловии, какой постоянной потребности нашей души отвечает сказка.

«Потребность, — говорит он, — уйти от земного, от реального, от разочарований и обид, столь тяжких для людей с гордым сердцем, от грубых столкновений с действительностью, столь мучительных для людей с чуткой душой, — потребность, присущая всем. Мечта еще больше, чем смех, отличает человека от животного и утверждает его превосходство».

Вот эту самую потребность в мечте и испытывает ребенок. Он чувствует, как работает его фантазия, вот поэтому-то он и требует сказок.

Сказочники преображают мир на свой лад и помогают слабым, простодушным, скромным людям преображать его на свой. Влияние сказок благотворно. Они помогают фантазировать, чувствовать, любить.

И не бойтесь того, что они обманывают ребенка, населяя его воображение карликами и феями. Ребенок прекрасно знает, что в жизни этого не бывает. Ваша «занимательная наука» — вот что его обманывает; она сеет неисправимые заблуждения. Простодушные мальчики, поверив на слово Жюлю Верну, воображают, что на луну действительно можно попасть в пушечном ядре и что организм может без всякого ущерба для себя не подчиняться законам тяготения.

В этих карикатурах на благородную науку о небесных пространствах, на древнюю и уважаемую астрономию, нет ни истины, ни красоты.

Какую пользу могут принести детям бессистемные научные сведения, лжепрактическая литература, ничего не говорящая ни уму, ни сердцу?

Вернемся же к чудесным легендам, к поэзии поэтов и народов, ко всему, что волнует душу своей красотой.

Увы! наше общество наводнили фармацевты, которые боятся фантазии. Но они не правы. Как раз фантазия, ее вымыслы сеют прекрасное и доброе в мире. Только фантазия делает человека великим. Матери! не бойтесь, что она погубит ваших детей: напротив, она спасет их от обычных ошибок и часто встречающихся заблуждений.

Разговор о волшебных сказках

Лаура, Октав, Раймонд

Лаура. Пурпурная кайма заката побледнела, горизонт окрасился оранжевым тоном, а выше простерлось бледно-зеленое небо. Вот зажглась первая звезда; она теплится белым светом... А вот еще и еще звезда, скоро их нельзя будет счесть. Деревья в парке потемнели и как будто разрослись. На той тропинке, что вьется между терновыми изгородями, мне знаком каждый камешек, но в этот час она кажется сумрачной, опасной, таинственной, и я невольно воображаю, что она ведет в страны, которые видишь только во сне. Прекрасная ночь! Как легко дышится! Я слушаю вас, кузен. Поговорим о волшебных сказках, ведь вы можете рассказать о них так много интересного. Но, ради бога, не портите мне сказок. Не забывайте, что я их обожаю. Я даже сержусь на свою девочку, когда она спрашивает, правда ли, что на свете есть людоеды и феи.

Раймонд. Она — дочь своего века. Сомнения появились у нее раньше, чем зубы мудрости. Я не принадлежу к школе этих философов в коротеньких платьицах и верю в волшебниц. Кузина, феи существуют, раз их создали люди. Всякий вымысел — реальность, даже больше того: только вымысел — реальность. Если бы какой-нибудь старый монах сказал мне: «Я видел дьявола, у него хвост и рога» — я ответил бы этому старому монаху: «Отец мой, допустим, что дьявол случайно ,не существовал бы, но вы создали его и теперь он несомненно существует. Берегитесь дьявола!» Кузина, верьте в фей, людоедов и прочую чертовщину.

Лаура. Давайте говорить о феях и оставим в покое прочую чертовщину. Вы как-то говорили, что ученые интересуются волшебными сказками. Повторяю, — я ужасно боюсь, как бы эти ученые не испортили сказок. Вывести Красную Шапочку из детской И притащить ее в Академию! Куда это годится!

О к т а в . Я представлял себе современных ученых более высокомерными. Но, оказывается, вы добрые принцы и не презираете нелепых и наивных сказок.

Л а у р а . Волшебные сказки нелепы и наивны, это правда. Но мне нелегко в этом сознаться, так они мне нравятся.

Р а й м о н д . Сознавайтесь, кузина, сознавайтесь смело! «Илиада» тоже наивное произведение, и, однако, это прекраснейшая из всех поэм в мире. Самая совершенная поэзия — это поэзия детства народов. Народы, как соловей в песне: они поют хорошо только тогда, когда у них легко на сердце; с возрастом они становятся серьезными, мудрыми, озабоченными, и лучшие их поэты — искусные риторы и только. Ну, конечно, сказка о «Спящей Красавице» наивна, и это роднит ее с песнями «Одиссеи». В литературных произведениях классических эпох уже не встретишь той изумительной простоты первых веков, того божественного неведения, которые сохранились неувядаемыми и благоуханными в сказках и народных песнях. Поспешим добавить, согласившись с Октавом, что эти сказки нелепы. Если бы они не были нелепы, они не были бы так очаровательны. Запомните хорошенько: только нелепое бывает милым, прекрасным, только оно придает прелесть жизни, и без него мы умерли бы со скуки. Все рассудочное — поэма, статуя, картина — вызвало бы зевоту у всех, даже у самого рассудительного человека. Да вот, кузина, хотя бы воланы на вашей юбке, эти складочки, оборки, банты — вся эта игра тканей нелепа к вместе с тем прелестна. Примите дань моего восхищения!

Л а у р а . Бросьте болтать о тряпках, вы в них ничего не смыслите. Я согласна, в искусстве не следует слишком много рассуждать. Но в жизни...

Р а й м о н д . В жизни прекрасны лишь страсти, а страсти нелепы. Самая прекрасная и самая безрассудная страсть — любовь. Существует страсть не столь безрассудная, как прочие. Это — скупость, но она отвратительна. «Лишь безумцы занимают меня», — говорил Диккенс. Горе тому, кто никогда не был похож на Дон-Кихота и никогда не принимал ветряных мельниц за великанов. Великодушный Дон-Кихот был сам

себе чародеем. Он творил природу по мерке собственной своей души.

Это не значит, что он обманывался, отнюдь нет! Обманываются те, кто не видит в жизни ничего прекрасного, ничего великого.

О к т а в. Мне кажется, Раймонд, что источник нелепости, которой вы так восхищаетесь, — наше воображение и вся ваша столь блестящая и парадоксальная речь сводится к следующему: воображение превращает человека чувствительного в художника, а человека мужественного — в героя.

Р а й м о н д. Вы довольно точно выразили лишь одну сторону моей мысли. Но мне очень хотелось бы знать, что вы подразумеваете под словом «воображение»: есть ли это, по-вашему, способность представлять себе предметы, которые существуют, или же способность представлять себе те, которые не существуют.

О к т а в. Я знаю только сельское хозяйство и о воображении говорю так, как слепой говорит о красках. Но мне кажется, что оно только тогда достойно своего имени, когда оно облекает в плоть новые формы или души, — словом, когда оно творит.

Р а й м о н д. Нет, человеку это вовсе не свойственно. Человек совершенно неспособен представить себе то, чего он не видел, не слышал, не обонял, не вкушал. Я не подчиняюсь моде и придерживаюсь мнения старика Кондильяка *. Все наши представления возникают из ощущений, и воображение не создает, а лишь объединяет представления.

Л а у р а. Ну зачем так говорить! Я, когда захочу, могу представить себе ангелов.

Р а й м о н д. Вы просто видите детей с гусиными крыльями. Греки представляли себе кентавров, сирен, гарпий потому, что видели мужчин, коней, женщин, рыб и птиц. Сведенборг, обладающий богатой фантазией *, описывает жителей Марса, Венеры, Сатурна. И что же, он наделяет их свойствами, присущими обитателям земли, но эти свойства он соединяет самым невероятным образом. Он непрестанно бредит. А теперь посмотрим, что делает неискушенное богатое воображение: у Гомера, или, вернее, у неизвестного рапсода,

из пенного моря всплывает «как облако» юная женщина. Она говорит, она изливает свою скорбь с божественной ясностью:

Сын мой! Почто я тебя воспитала, рожденного к бедствам!
Даруй, Зевес, чтобы ты пред судами без слез и печалей
Мог оставаться. Краток твой век, и предел его близок!
Ныне ты вместе — и всех кратковечней, и всех злополучней!
В злую годину, о сын мой, тебя я в дому породила!
Но вознесусь на Олимп многоснежный; метателю молний
Все я поведаю, Зевсу: быть может, вонмет он моленью.

Она говорит, — это Фетида, это — богиня[1].

Природа породила женщину, море, облако; а поэт связал все это вместе. Вся поэзия, все волшебство в таких удачных сочетаниях.

Взгляните, как сквозь темную листву скользит лунный луч по серебристым стволам берез. Луч трепещет; это не луч, это белое одеяние феи. Дети, увидав его, убежали бы прочь, охваченные сладостным страхом.

Так родились феи и боги. В нереальном мире нет ни одного атома, который не существовал бы в мире реальном.

Лаура. Как можно смешивать богинь Гомера с феями сказок Перро!

Раймонд. Но у них одинаковое происхождение и одинаковая природа. Короли, очаровательные принцы и прекрасные, как день, принцессы, людоеды, которые пугают и забавляют детишек, — все они были когда-то богами и богинями и на заре жизни вызывали чувства страха или радости. «Мальчик-с-пальчик», «Ослиная Шкура» и «Синяя Борода» — древние и почтенные сказки, пришедшие к нам из далекого-далекого мира.

Лаура. Откуда?

Раймонд. Не знаю! Пытались и до сих пор еще пытаются доказать, что их родина — Бактрия, что они были созданы под терпентиновыми деревьями этой суровой страны кочующими предками эллинов, латинян, кельтов и германцев. Эту теорию выдвинули и поддерживают очень серьезные ученые, которые, даже заблуждаясь, заблуждаются не по легкомыслию. Нужно иметь хорошую голову, чтобы научно обосновать сума-

[1] Перевод Н. И. Гнедича.

сбродные выдумки. Полиглот может один пустословить на двадцати языках. Ученые, о которых я вам говорю, никогда не пустословят. Но многие факты, которые относятся к сказкам, басням и легендам, считающимся индоевропейскими, ставят ученых в безвыходное положение. Только они в поте лица доказали, что «Ослиная Шкура» возникла в Бактрии, а Ренар у яфетических народов *, и вдруг путешественники обнаруживают Ренара — у зулусов, а «Ослиную Шкуру» — у папуасов. Их теории очень от этого страдают. Но всякая теория создается и появляется на свет только для того, чтобы пострадать от фактов, рассыпаться на свои составные части, разбухнуть и в конце концов лопнуть, словно воздушный шар. Во всяком случае, очень вероятно, что волшебные сказки, и особенно сказки Перро, восходят к самым древним преданиям человечества.

О к т а в. Я вас прерву, Раймонд. Хоть я и не в курсе современной науки и больше занят сельским хозяйством, чем научными исследованиями, но я прочел в одной книжке, очень вразумительно написанной, что людоеды-великаны — это угры или венгры *, опустошившие в Средние века Европу, и что в основу легенды о Синей Бороде легла подлинная история страшного маршала де Рэ, повешенного при Карле Седьмом.

Р а й м о н д. Все это уже устарело, мой милый Октав, и ваша книжка, автором которой является барон Валькнер, годится лишь на то, чтобы клеить из нее пакеты. На Европу в конце одиннадцатого века действительно налетели, как саранча, венгры. Это были страшные варвары, но их наименование в романских языках не соответствует словообразованию, предложенному бароном Валькнером. Диц приписывает слову «ogre» более древнее происхождение, он полагает, что оно произошло от латинского слова «orcus», а это слово, по мнению Альфреда Мори, этрусского происхождения: «Orcus» — это ад, бог-пожиратель, который питается человеческим мясом и особенно любит мясо грудных

[1] O g r e s — людоеды; H o n g r e s — угры (венгры). По созвучию эти слова похожи.

младенцев. А вот Жиль де Рэ действительно был повешен в Нанте в тысяча четыреста сороковом году. Но не за то, что он зарезал семерых жен. История его жизни достоверно известна и совсем не похожа на сказку о Синей Бороде, и вы обижаете Синюю Бороду, путая его с этим извергом маршалом. Синяя Борода не так черен, как его изображают.

Лаура. Не так черен?

Раймонд. Даже совсем не черен, ибо это солнце.

Лаура. Что же это за солнце, которое убивает своих жен и само убито драгуном и мушкетером. Это же нелепо! Я не знаю ни вашего Жиля де Рэ, ни ваших венгров, мне кажется, гораздо разумнее считать, как мой муж, что исторический факт...

Раймонд. Ах, кузина, вам кажется разумнее ошибаться. Все человечество думает так же! Если бы заблуждение было явно нелепым, то никто не заблуждался бы. Здравый смысл — вот что порождает все ошибочные суждения. Здравый смысл внушает нам, что земной шар недвижим, что солнце вращается вокруг него и что антиподы ходят вниз головой *. Остерегайтесь здравого смысла, кузина! Во имя его люди совершали все нелепости и все преступления. Прочь от него! Вернемся к Синей Бороде, воплощению солнца! Убитые им семь жен — это семь зорь. И действительно; в течение недели солнце, вставая, каждый раз убивает зарю. Правда, небесное светило, воспеваемое в гимнах Веды *, преобразилось в галльских сказках в довольно свирепого феодального тирана, но оно сохранило признак, который доказывает его происхождение и позволяет распознать в этом злом дворянчике древнее солнечное божество. Борода, которой он обязан своим прозвищем, борода цвета небесной синевы, отождествляет его с ведийским Индрой, богом небесной тверди, блистающим, грохочущим, изливающим дождь, богом с лазоревой бородой.

Лаура. Кузен, умоляю вас, скажите, а два всадника, один — драгун, другой — мушкетер, тоже индийские боги?

Раймонд. Слышали вы когда-нибудь про ашвинов и диоскуров?

Л а у р а . Нет, никогда.

Раймонд. Ашвины у индусов и диоскуры у эллинов олицетворяли вечерние и предрассветные сумерки. В греческом мифе диоскуры Кастор и Поллукс освобождают Елену — утреннюю зарю, которую солнце — Тезей — держит в плену. Сказочные драгун и мушкетер делают то же самое: освобождают свою сестру, жену Синей Бороды.

О к т а в . Я не отрицаю, что все эти догадки очень остроумны, но думаю, что они лишены всякого основания. Вы только что высмеяли меня с моими венграми. Я в свою очередь скажу вам, что ваша теория не нова и мой покойный дед, большой поклонник Дюпюи, Вольнея и Дюлора *, полагал, что источником всех религий является Зодиак. Он уверял меня, к великому ужасу моей матери, что Иисус Христос — солнце, а двенадцать апостолов — это двенадцать месяцев года. Но известно ли вам, великий ученый, как один остроумный человек посрамил Дюпюи, Вольнея, Дюлора и моего деда? Он применил их систему к Наполеону и таким способом доказал, что Наполеона не существовало и что его история — миф. Герой, рожденный на острове, царит на востоке и юге, теряет свою силу зимой на севере и исчезает в океане, — это, утверждал автор, имени которого я не помню, несомненно солнце. Двенадцать маршалов Наполеона — это двенадцать знаков зодиака, а его четыре брата — четыре времени года. Я сильно опасаюсь, Раймонд, что вы применяете к Синей Бороде ту же теорию, которую этот остроумный человек применил к Наполеону Первому.

Р а й м о н д . Автор, о котором вы говорите, был и остроумен, как вы изволили заметить, и сведущ; имя его Жан-Батист Перес. Он был библиотекарем в Ажане и умер в тысяча восемьсот сороковом году. Его занимательная книжечка: «О том, что Наполеон никогда не существовал», была издана, если не ошибаюсь, в тысяча восемьсот семнадцатом году.

Это действительно очень остроумная критика теории Дюпюи. Но теория, которую я вам только что доказывал на единичном и, следовательно, не убедительном примере, зиждется на сравнительной грамма-

тике и сравнительной мифологии. Братья Гримм собрали, как вам известно, немецкие народные сказки. Их примеру последовали почти во всех странах, и сейчас мы располагаем собранием сказок скандинавских, датских, фламандских, русских, английских, итальянских, зулусских и других. Читая эти сказки столь различного происхождения, с изумлением замечаешь, что они все или почти все возникли из ограниченного числа источников. Скандинавская сказка кажется подражанием французской, которая в свою очередь воспроизводит основные черты итальянской сказки. Вряд ли это сходство результат общения различных народов. Как я вам уже говорил, предполагали, что человечество знало эти сказания еще до своего разделения на племена, что они были созданы в незапамятные времена, когда народы еще почивали в общей колыбели. Но так как мы не слыхали, чтобы где-либо или когда-либо зулусы, папуасы и индусы пасли вместе свои стада, нам остается предположить, что в первобытные времена человеческий ум создавал всюду одинаковые комбинации, что одинаковые зрелища производили одинаковое впечатление на все неискушенные умы, и люди, над которыми властвуют голод, любовь и страх, у которых над головой небо, а под ногами земля, придумывают одинаковые примитивные драмы, чтобы объяснить себе явления природы и судьбу.

При своем возникновении «нянюшкины сказки» отражали представление о жизни и о вещах, способное удовлетворить очень наивных людей. Это представление складывалось, по всей вероятности, почти тождественно в мозгу белого, желтого и черного человека.

Итак, я полагаю, что разумнее всего придерживаться индоевропейской традиции и исходить от наших предков из Бактрии, оставив в покое другие человеческие племена.

О к т а в. Я с интересом слежу за вашей мыслью. Но не кажется ли вам, что такой спорный вопрос опасно подвергать случайностям беседы?

Р а й м о н д. По правде говоря, случайности дружеской беседы менее опасны для моей темы, чем ее логическое разъяснение в ученом труде. Не злоупотреб-

ляйте моим признанием! Предупреждаю вас, я отрекусь от него, как только замечу, что вы хотите воспользоваться им против меня. Впредь я буду только утверждать. Я позволю себе удовольствие быть уверенным в том, что говорю. Будьте готовы к этому. Если я буду противоречить себе, — что весьма вероятно, — я объединю в одинаковой любви обе свои враждующие мысли и по крайней мере буду уверен, что я не отбросил ту из них, которая правильна. Словом, я буду резок, беспощаден и, если удастся, фанатичен.

Лаура. Увидим, к лицу ли вам это. Но что заставляет вас быть таким?

Раймонд. Опыт. Он доказал мне, что самый глубокий скептицизм прекращается там, где начинается слово или действие. Когда ты говоришь, ты утверждаешь. Ничего не поделаешь. Приходится пойти на это. Таким образом, я избавлю вас от всяких «может быть», «если можно сказать», «в некотором роде» и от прочего словесного кружева, которым только Ренану дано изящно украшать свои идеи *.

Октав. Будьте резки, беспощадны, но, прошу вас, внесите некоторый порядок в ваше изложение. Теперь, когда у вас есть определенный тезис, пусть он будет нам ясен.

Раймонд. Все те, кто умеет погружаться в научные исследования общего порядка, признали в волшебных сказках древние мифы и древние пословицы. Макс Мюллер * говорит (мне кажется, я могу почти буквально привести его слова): «Сказки — это мифология на современном своем наречии, и если им суждено стать темой научного труда, то прежде всего необходимо установить связь каждой современной сказки с древней легендой, а затем связь каждой легенды с первоначальным мифом».

Лаура. Ну и как, вы проделали эту работу, кузен?

Раймонд. Если бы я проделал эту огромную работу, у меня выпали бы уже все волосы и видеть вас я мог бы только сквозь две пары очков, да кроме того защитив глаза зеленым козырьком. Работа эта еще не проделана; но уже собрано достаточное количество

материала, давшего ученым возможность убедиться в том, что волшебные сказки не досужий вымысел, но «очень часто, — как говорит Макс Мюллер, — всеми своими корнями связаны с зачатками древней речи и древней мысли». Старые, одряхлевшие боги, впавшие в детство и отстраненные от вмешательства в людские дела, еще пригодны на то, чтобы забавлять девочек и мальчиков. Такова уж роль дедушек. Разве это не самое подходящее на старости лет занятие для прежних владык земли и неба? Волшебные сказки — это прекрасные религиозные поэмы, забытые всеми и удержавшиеся лишь в крепкой памяти набожных бабушек. Эти поэмы превратились ныне в ребяческие сказки и сохранили свое очарование в увядших устах старой пряхи, когда она рассказывает их внучатам, примостившимся вокруг нее у очага.

Племена белой расы разделились. Одни нашли приют под прозрачным небом, на светлых утесах, омываемых синим поющим морем. Другие ушли на берега северных морей, в меланхолические туманы, которые стирают границу между небом и землей и придают всему окружающему зыбкие и страшные очертания. Иные раскинули свои становища среди однообразных степей, где паслись их тощие кони; иные поселились на обледенелых снежных равнинах, под кованым куполом неба в алмазах. Были и такие, что отправились собирать золотые цветы на гранитной земле. И сыны Индии испили воды из всех рек Европы. Но везде — в хижине, под шатром или у костра, зажженного на равнине, старуха бабка, когда-то сама ребенок, повторяла малышам те сказки, которые слышала в детстве. В них были те же действующие лица и те же приключения, только рассказчица бессознательно придавала всему оттенки того воздуха, которым сама так долго дышала, и той земли, которая питала ее и в которую ей вскоре суждено лечь. Племя двигалось дальше на запад, преодолевая усталость и препятствия, и оставляло среди других усопших, молодых и старых, и мертвую бабку. Но сказки, слетевшие с ее уст, теперь уже застывших, разлетелись, словно мотыльки Психеи, и эти легкие и бессмертные призраки вновь садились

на уста старых прях и сверкали перед широко откры¬тыми глазами других малышей древней расы. От кого же девочки и мальчики Франции, «милой Франции», как поется в песне, слышали сказку об «Ослиной Шкуре»? От Матушки-Гусыни, отвечают сельские мудрецы. Матушка-Гусыня — неустанная пряха и неустанная сказочница. И тогда ученые принялись за розыски. Они узнали Матушку-Гусыню в той королеве Гусиные Лапы *, которую церковные мастера изобразили на портале храма св. Марии Нельской в епархии Труа, на портале храма св. Бенины в Дижоне, на портале храма св. Пурсена Овернского и св. Петра в Невере. Они отожествили Матушку-Гусыню с королевой Бертрадой, женой и кумой короля Роберта, с королевой Бертой Большеногой, матерью Карла Великого; с идолопоклонницей царицей Савской, у которой на ногах были копыта, с Фреей — Лебединые Ноги, самой прекрасной скандинавской богиней, со святой Люцией, тело которой было такое же светлое, как и ее имя *. Но тут можно углубиться в такие дебри, что заблудишься. Кто же такая эта Матушка-Гусыня, как не наша общая прабабка, бабка наших бабок, женщин с жилистыми руками и простым сердцем, которые всю жизнь исполняли со смиренным величием свою повседневную работу, а в старости, сухие словно сверчки — только кожа да кости, — все еще не могли угомониться и, сидя у очага, под потолком с закоптелыми балками, рассказывали целому выводку малышей бесконечные сказки, в которых фигурировали всякие чудеса. И безыскусственная поэзия, поэзия полей, рощ и ручьев лилась свежей струей из уст беззубой старухи,—

Как воды свежие прозрачными струями
Из чистых родников текут свободно сами.

По канве предков — по старой индусской основе — Матушка-Гусыня вышивала родные картины: замок и толстые башни, хижину, кормилицу-землю, таинственную рощу и прекрасных дам, добрых фей, тех, что знакомы крестьянам и по вечерам могли являться Жанне д'Арк под тенистым каштаном на берегу ручья.

Ну как, кузина, испортил я ваши волшебные сказки?

Лаура. Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

Раймонд. Если бы мне пришлось выбирать, я с легким сердцем отдал бы целую библиотеку философских книг, только бы мне оставили «Ослиную Шкуру». Во всей нашей литературе только Лафонтен чувствовал так же хорошо, как и Матушка-Гусыня, поэзию земли *, крепкое и глубокое очарование обыденных вещей.

Но разрешите мне собрать воедино и кратко изложить несколько важных наблюдений, иначе они могут рассеяться в случайностях дружеской беседы. Все первобытные языки были очень образны и одушевляли всякий предмет, который называли. Они наделяли человеческими чувствами небесные светила, облака — «небесных коров», свет, ветры, зарю. Из этой образной, живой, одушевленной речи родился миф, а сказка вышла из мифа. Сказки непрестанно изменялись, ибо непременное условие существования — это изменение. Сказку воспринимали буквально, дословно, и, к счастью, не нашлось умников, готовых превратить ее в аллегорию и таким образом сразу же убить. Простодушные люди видели в Ослиной Шкуре только Ослиную Шкуру и ничего более. Перро тоже не искал в ней ничего иного. Тут вмешалась наука, она окинула взглядом весь долгий путь, пройденный мифом и сказкой, и заявила: «Утренняя заря перевоплотилась в Ослиную Шкуру». Но науке следовало бы тут же добавить, что как только Ослиная Шкура была выдумана, она тотчас же обрела свой особый облик и стала жить самостоятельной жизнью.

Лаура. Ваша мысль становится мне ясной. Но, если уж вы привели в пример Ослиную Шкуру, то, должна сознаться, кое-что в этой сказке меня коробит. Неужели это индусы приписали отцу Ослиной Шкуры отвратительную страсть к родной дочери?

Раймонд. Вникнем в смысл сказки, и тогда кровосмешение, которое вас так возмущает, покажется самым невинным чувством. Ослиная Шкура — это заря, дочь солнца, раз ее порождает солнечный свет. В сказке говорится, что король влюблен в свою дочь,

но это означает, что солнце при своем восходе неотступно следует за утренней зарей. Точно так же в ведийской мифологии Праджапати, зиждитель мира, покровитель всего живущего, отожествляемый с солнцем, преследует убегающую от него дочь Ушас, утреннюю зарю.

Л а у р а. Пусть ваш король — самое настоящее солнце, но он оскорбляет мое нравственное чувство, и я сердита на тех, кто его выдумал.

Раймонд. Они были невинны, а потому безнравственны. Не возмущайтесь, кузина, только упадок нравов оправдывает существование морали, точно так же как насилие вызывает необходимость закона. Чувство короля к дочери, во всей своей наивности свято сохраненное фольклором и Перро, лишь подтверждает почтенную древность сказки и позволяет предполагать, что она зародилась у патриархальных племен Ариадны *. Кровосмешение не считалось чем-то ужасным в невинных пастушеских семьях, где отца называли «защищающим», сына — «помогающим», сестру — «утешающей», дочь — «доящей коров», мужа — «сильным», жену — «сильной». Эти волопасы солнечной страны еще не выдумали стыда. В их женщинах не было тайны, и потому в них не таилось опасности. Воля патриарха — вот единственный закон, разрешавший или запрещавший жениху увезти невесту в телеге, запряженной парой белых быков. Силою обстоятельств союз отца с дочерью был, правда, явлением редким, но вполне допустимым. Поведение отца Ослиной Шкуры отнюдь не казалось скандальным. Скандалы свойственны обществу цивилизованному, они даже одно из его любимых развлечений.

О к т а в. Пусть так. Но я уверен, что ваши разъяснения неосновательны. Нравственность — врожденное чувство.

Раймонд. Нравственность — это наука о нравах. Она меняется соответственно нравам. Она различна во всех странах, и каждое десятилетие вносит в нее что-то новое. Ваши понятия о нравственности, Октав, не совпадают с понятиями вашего отца. Что же касается врожденных идей, то это уж чистая фантазия.

Л а у р а. Господа, довольно говорить о таких скучных вещах, как нравственность и врожденные идеи, поговорим лучше о солнце — отце Ослиной Шкуры.

Р а й м о н д. Вы помните, что вместе с чистокровными скакунами, покрытыми попонами и «неповоротливыми в своей золотой сбруе и шитых попонах», он держал на конюшне осла, которого природа создала столь удивительно, как говорится в сказке, что на его подстилке каждое утро находили не навоз, а красивые экю с изображением солнца и красивые луидоры. Итак, этот восточный осел, онагр, джигетай или зебра — посланец солнца, и луидоры, которыми он осыпает подстилку — это яркие солнечные блики, падающие сквозь листву на землю. Даже его шкура — явная эмблема тучи. Утренняя заря закрывается тучей и исчезает. А вспомните прелестную сцену, когда Ослиная Шкура является в своем лазоревом одеянии прекрасному принцу, который подсматривает в замочную скважину. Этот принц — сын короля, солнечный луч...

Л а у р а. Проникший сквозь дверную щель, то есть сквозь тучи, так, да?

Р а й м о н д. Совершенно правильно, кузина, я вижу, вы великолепно разбираетесь в сравнительной мифологии. Возьмем самую простую сказку — сказку о девушке, которая при разговоре роняет из уст две розы, две жемчужины и два алмаза. Эта девушка — утренняя заря, которая раскрывает чашечки цветов, омывает их росой и светом. Ее злобная сестра, изрыгающая жаб, — туман. Золушка, перепачканная в золе очага, — заря, затуманенная тучами. Принц, который на ней женится, — солнце.

О к т а в. Итак, жены Синей Бороды — утренние зори, Ослиная Шкура — утренняя заря, девушка, роняющая из уст жемчужины и розы, — утренняя заря, Золушка — утренняя заря. У вас все одни утренние зори.

Р а й м о н д. Дело в том, что утренняя заря, великолепная утренняя заря Индии, — самый богатый источник арийской мифологии. Ведийские гимны прославляют ее под всевозможными именами, во многих обра-

зах. Ее призывают, ее ожидают с надеждой и страхом, лишь только спустится ночь.

«Вернется ли к нам утренняя заря, наш извечный друг? Победит ли бог света темные силы ночи?» Но вот появляется дева света, «она приближается к каждому дому», и все ликуют. Это она! Это дочь Дьяуша, божественная пастушка, выгоняющая по утрам на пастбище небесных коров, и у каждой из набухшего вымени капает на иссохшую землю свежая, благодатная роса.

Точно так же, как слагали песни о приходе зари, слагают песни о ее бегстве и славят в гимне победу солнца:

«Вот еще одно сильное и мужественное деяние совершил ты, о Индра! Ты сразил дочь Дьяуша, женщину, которую трудно победить! Да, ты сразил дочь Дьяуша, прославленную Утреннюю Зарю, ты, Индра, великий герой, победил, ты разметал ее!

Утренняя Заря соскакивает с разбитой колесницы, боясь, как бы Индра — бык — не забодал ее.

Вот брошена ее колесница, расщепленная на куски, а сама заря спасается бегством».

В древние времена индус рисовал себе утреннюю зарю изменчивой, но всегда живой, и слабое искаженное отражение этого образа еще заметно в сказках; о которых мы только что говорили, а также в сказке о Красной Шапочке. Цвет шапочки, которую носит бабушкина внучка, первый признак ее небесного происхождения. Поручение, которое ей дают — отнести лепешку и горшочек масла, — роднит ее с образом ведийской утренней зари — предвестницы солнца. А волк, пожирающий Красную Шапочку...

Л а у р а. Облако.

Р а й м о н д. Нет, кузина, — солнце.

Л а у р а. Волк — солнце?!

Р а й м о н д. Волк — пожиратель, с лоснящейся шерстью, Врика, ведийский волк. Не забудьте, что оба солнечных бога — Аполлон Ликийский у греков и Аполлон Сорский у латинян — имеют своей эмблемой волка.

О к т а в. Но как могли отожествить солнце с волком?

Р а й м о н д. Разве солнце, которое высушивает водоемы, выжигает пастбища, опаляет шкуру на хребте

высунувших язык отощавших быков, не похоже на прожорливого волка? Шкура на волке лоснится, его глаза сверкают, он скалит белые зубы, у него мощные челюсти, сильные ноги: и блеском своей шерсти и глаз, все сокрушающей силой своих челюстей он подобен солнцу. Вам не страшно солнце, Октав, в здешнем сыром краю, где цветут яблони, но маленькая Красная Шапочка пришла к нам из далеких жарких стран.

Л а у р а. Заря умирает и вновь рождается, а Красная Шапочка умирает, и уже не воскреснет. Конечно, нехорошо, что она рвала орехи и послушалась волка, но нельзя же за это отдать ее без всякого сожаления на съедение волку! Не лучше ли, чтобы она вышла невредимой из волчьего брюха, как выходит солнце из ночной тьмы?

Р а й м о н д. Ваша сочувственная речь, кузина, очень умна. Красная Шапочка не может погибнуть окончательно. Матушка-Гусыня запамятовала окончание сказки.

Не упомнишь всего в этих летах преклонных.

Но немецкие и английские прабабушки прекрасно помнили, что Красная Шапочка умирает и возрождается, как утренняя заря. Они повествуют, что охотник вспорол волку брюхо, вытащил оттуда румяную девочку, она широко раскрыла глазки и сказала:

«Ох, как я напугалась и как там темно!»

Недавно я перелистывал в детской у вашей дочери альбом картинок в красках, сделанных англичанином Уолтером Крэйном и оживленных яркой фантазией и юмором. У этого джентльмена искусное и в то же время наивное воображение. Он чувствует легенду и любит жизнь. Он уважает прошлое и ценит настоящее. Это поистине английский ум. Альбом, который я перелистывал, содержит текст и рисунки к сказке о «Little Red Riding Hood» (английская «Красная Шапочка»). Волк пожирает девочку, но появляется фермер, джентльмен в зеленом фраке, желтых штанах и высоких сапогах с отворотами, он всаживает пулю прямо в лоб волку, между его сверкающих глаз, вспарывает зверю брюхо своим охотничьим ножом, и оттуда выходит свежая, как роза, девочка.

Some sportsman (he certainly was a dead shot)
Had aimed at the Wolf when she cried;
So Red Riding Hood got safe home, did she not?
And lived happily there till she died[1].

Вот как было на самом деле, кузина, вы отгадали. Что же касается Спящей Красавицы, романтическая история которой овеяна наивной и глубокой поэзией...

Октав. Она тоже утренняя заря!

Раймонд. Нет. «Спящая Красавица», «Кот в Сапогах» и «Мальчик-с-пальчик» относятся к другой категории арийских легенд — к легендам, которые символизируют борьбу зимы и лета, возрождение природы, извечную историю всемирного Адониса — вселенской розы, которая беспрерывно вянет и вновь расцветает. Спящая Красавица — это Астерия, светозарная сестра Латоны, это Кора и Прозерпина. Народное воображение не ошиблось, воплотив свет в том образе, на который с особой любовью и лаской светит солнце в образе прекрасной девушки. Я люблю Спящую Красавицу в образе Эвридики Вергилия, ужаленной змеей и Брунхильды из песен Эдды *, наколовшей палец на шип, которых выводят из страны теней их возлюбленные: гречанку — поэт, скандинавскую деву — воин. Общая участь всех светозарных героев древних мифов — погибнуть от укола острым предметом: шипом, когтем или веретеном. В одной из легенд Деккана *, собранных мисс Фрер, девочка укололась о ноготь Ракшазы, застрявший в дверной щели. Она падает замертво. Мимо проходит король и поцелуем возвращает ее к жизни. Особенность, присущая этим драматическим сменам зимы и летней поры, тьмы и света, ночи и дня, — их беспрестанное возобновление. В передаче Перро сказка начинается вновь, когда думаешь, что все уже кончено. Спящая Красавица выходит замуж за принца, от этого брака родятся двое детей, Денек и Зорька — Аитра и Гемерос Гесиода или, если угодно, Феб и Артемида. В отсутствие принца его мать-людоедка Ракшаза, то есть

[1] Один охотник (разумеется, он бил всегда наповал) нацелился в волка, когда она крикнула; и вот Красная Шапочка невредимой вернулась домой и стала там жить да поживать до самой смерти (*англ.*).

страшная ночная жуть, грозится пожрать обоих царских детей, обоих светлых малюток, но их спасает возвращение короля — солнца. На западе Франции у Спящей Красавицы есть деревенская сестра, история которой очень наивно изложена в старой французской песенке. Сейчас я ее приведу:

Когда я была мала,
Замарашка,
Говорил мне мой отец:
«Замарашка!
По орехи в лес ступай,
Ты орехи собирай!»
Ах! ах! ах! ах!
Замарашка,
Ей плясать не тяжко!

Посылал отец меня
В дальний лес трудиться.
Лес большой, а я была
Маленькой девчонкой.

Лес большой, а я была
Маленькой девчонкой.
Наколола я в лесу
Руку о терновник...

Наколола я в лесу
Руку о терновник.
Я заплакала сперва,
А потом заснула...

Я заплакала сперва,
А потом заснула.
По дороге мимо шли
Трое кавалеров.

Говорит один из них:
«Гляньте, вон девица!»
Говорит второй из них:
«Как ей сладко спится!»

Говорит второй из них:
«Замарашка!
Как ей сладко спится!»
Ну а третий говорит:
«Замарашка!
Я хочу жениться!»
Ах! ах! ах! ах!
Замарашка,
Ей плясать не тяжко![1]

[1] Перевод Д. С. Самойлова.

В этой песенке божественная легенда дошла до самой низкой степени падения, и не будь промежуточных звеньев, немыслимо было бы распознать в сельской замарашке небесный свет, угасающий зимой и возрождающийся весной. Персидская эпопея Шах-наме знакомит нас с героем, судьба которого сходна с судьбой Спящей Красавицы: Исфендиар, неуязвимый для меча, погибает от шипа, уколовшего его в глаз. История Бальдура в скандинавской Эдде еще более сходна с историей Спящей Красавицы.

Подобно феям на крестинах принцессы, все боги собрались у колыбели божественного младенца Бальдура и поклялись затупить для него все, что есть острого на земле. Но бессмертные забыли об омеле, растущей над землей, так же как король и королева забыли о старухе, которая пряла в их замке под кровлей башни. Красавица укололась веретеном. Бальдур был сражен веткой омелы.

«Вот лежит поверженный на землю Бальдур, бездыханный, а вокруг лежат грудой мечи, факелы, дротики, копья, которые боги ради забавы метали в него, не причиняя ему вреда, ибо Бальдура не могло сразить никакое оружие; но в грудь его вонзилась роковая ветка омелы, которую предатель Локи дал Годеру, а тот, не умышляя зла, метнул в Бальдура».

Л а у р а. Все это великолепно, но не можете ли вы рассказать нам что-нибудь о собачке Пуф, спавшей на постели принцессы? Я нахожу Пуф весьма изящной; она воспитывалась на коленях у маркиз, и я представляю себе, как мадам де Севинье ласкала ее рукою, написавшей такие чудесные письма *.

Р а й м о н д. Чтобы угодить вам, дадим собачке Пуф божественных предков: мы возведем ее род до Сарама, собаки, охотившейся за утренней зарей, или до пса Сириуса, стража небесных светил. Чем вам не благородное происхождение? Пуф остается лишь доказать свою родословную, и ее тут же примут канонисой в собачий монастырь. Только какой-нибудь четвероногий у Озье мог бы с полным знанием дела установить ее родословную. Я удовольствуюсь тем, что укажу на одну ветвь сего огромного генеалогического древа.

Финляндский отпрыск — собачка Фло, которой ее хозяйка трижды повторяет: «Поди взгляни, собачка Фло, скоро ли рассветет». — И на третий раз занимается заря.

Октав. Я любуюсь той непринужденностью, с какой вы переселяете на небеса людей и животных из сказок. Римляне не так свободно размещали своих императоров среди созвездий. По-вашему, маркиз Караба по меньшей мере солнце собственной персоной?

Раймонд. Можете не сомневаться, Октав! Этот смиренный бедняк, который становится могущественным и богатым, олицетворяет собой солнце, встающее в тумане и сияющее в ясный полдень. Заметьте: маркиз де Караба, выйдя из воды, облекается в блистающие одежды. Трудно найти более ясный символ для восхода солнца.

Лаура. Но в этой сказке маркиз пассивен, им руководит, за него думает и действует кот, и справедливо было бы возвести и кота, как собачку Пуф, в небожители.

Раймонд. Так оно и есть: кот, как и его господин, олицетворяет солнце.

Лаура. Я удовлетворена. Но есть ли у него, как у собачки Пуф, дворянская грамота?

Раймонд. Расин говорит:

Случается, что брак без факелов свершают.

Возможно, что Кот в Сапогах ведет свой род от котов, которые были впряжены в колесницу Фреи, скандинавской Венеры. Но на крышах не сохранилось об этом никаких нотариальных записей. Нам известен некий, очень древний солнечный кот, египетский кот, идентичный богу Ра; этот кот говорит в погребальном обряде, текст которого переведен господином де Руже: «Я великий кот, охранявший тропу к древу жизни в год великой ночной битвы». Но этот кот — кушит, потомок Хама, а Кот в Сапогах — принадлежит к яфетической расе, и я не представляю себе, как можно их связывать.

Лаура. Этот великий кушитский кот, который выражается столь туманно в вашем погребальном обряде, тоже был при сумке и сапогах?

Раймонд. В обряде об этом ничего не сказано. Сапоги маркизова кота сходны с семимильными сапогами Мальчика-с-пальчика и символизируют быстроту света. Мальчик-с-пальчик, по словам ученого мужа Гастона Париса *, один из арийских богов, погонщик и похититель небесных волов, как младенец Гермес, которого художники изображали на вазах спящим не в колыбели, а в башмаке. Народное воображение поместило Мальчика-с-пальчика на самой маленькой звезде в созвездии Большой Медведицы. Кстати, а если угодно, некстати, о сапогах: известно ли вам, что Жакмар, создавший такие прелестные офорты *, собрал богатейшую коллекцию обуви? Если бы кто захотел по его примеру устроить музей мифологической обуви, она бы могла заполнить не одну витрину. Рядом с сапогами-скороходами, башмаком младенца Гермеса и сапогами кота поместились бы крылышки, которые были на ногах взрослого Гермеса, сандалии Персея, золотая обувь Афины, хрустальные башмачки Золушки и тесные туфельки русской Маши. Вся эта обувь, на свой лад, выражает быстроту света и бег светил.

Лаура. Ведь неправильно говорят, что у Золушки были хрустальные башмачки. Невозможно представить себе башмачки, сделанные из того же материала, что и графин. Башмачки, подбитые беличьим мехом, более приемлемы, но все же не очень остроумно в такой обуви вывозить девушку на бал. В меховых башмачках ножки Золушки были бы похожи на мохнатые голубиные лапки. Надо быть без ума от танцев, чтобы плясать в меховых туфельках. Но все девушки таковы: будь у них свинцовые подметки, все равно они станут плясать.

Раймонд. Кузина, я же предупреждал: опасайтесь здравого смысла. Золушка была обута не в меховые, а в хрустальные башмачки, прозрачные, как стекло Сен-Гобена, как воды родника, как горный хрусталь. Вы же знаете, что у нее были волшебные туфельки, а этим сказано все. Карета появляется из тыквы. Тыква была волшебная. Вполне естественно, чтобы волшебная карета появлялась из волшебной тыквы. Странным казалось бы, если бы это было не

так... У русской Золушки есть сестра, которая отрезала себе большой палец на ноге *, чтобы напялить туфельку, но кровь просочилась сквозь туфлю, и принц узнал о героическом ухищрении честолюбивой девицы.

Лаура. Перро просто говорит, что обе злые сестры всячески старались втиснуть ногу в туфельку, но безуспешно, такой вариант мне больше нравится.

Раймонд. И Матушке-Гусыне тоже. Но если бы вы принадлежали к славянскому племени, то были бы более жестоки и отрезанный палец не удивил бы вас.

Октав. Вот уже сколько времени Раймонд рассказывает о волшебных сказках, но до сих пор еще и словом не обмолвился о самих волшебницах.

Лаура. Это правда. Но лучше пусть волшебницы остаются неуловимыми и таинственными.

Раймонд. Вы боитесь, кузина, как бы эти капризные создания, то добрые, то злые, по собственной воле то молодые, то старые, властвующие над природой и каждую минуту готовые в ней раствориться, не ускользнули от нашего пытливого взгляда и не исчезли как раз в то мгновение, когда нам будет казаться, что мы их поймали. Они созданы из лунного луча. Только по шелесту листвы угадаешь, что они тут, их голос сливается с журчанием родников. Если осмелишься схватить край их золотистой одежды, в руках у тебя окажется горсть сухих листьев. Я никогда не решусь преследовать фею. Но само слово «фея» открывает нам тайну их природы.

Слово «фея» по-итальянски «fata», по-испански «hada», по-португальски и провансальски «fada» и «fade», на беррийском наречии «фадетта», изображенная Жорж Санд, — слово это произошло от латинского «fatum», что означает — рок. В феях соединилось самое нежное и самое трагическое, самое личное и самое общее, что есть в жизни человека. Феи — наши судьбы. Образ женщины очень подходит для олицетворения судьбы, такой прихотливой, обольстительной, обманчивой, исполненной обаяния, опасности, гибели. Совершенно верно, что у каждого из нас есть фея-крестная, и, склонившись над нашей колыбелью, она кладет в нее либо счастливый, либо страшный дар, который

остается при нас на всю жизнь. Возьмите людей, задайтесь вопросом, что такое люди, что их сделало такими или иными и что они делают? И вы убедитесь, что сокровенные причины их радостного или горестного существования — это феи. Клод пленяет потому, что хорошо поет; он хорошо поет потому, что его голосовые связки гармоничны. Кто создал такие связки в горле Клода? Фея. Почему королевская дочь укололась о веретено пряхи? Потому, что она была резва, легкомысленна, ...и потому, что так решили феи.

Так приблизительно отвечает сказка, а человеческая мудрость пошла не дальше этого ответа. Почему, кузина, вы прелестны, умны и добры? Потому, что одна фея одарила вас добротой, другая — умом, третья — изяществом. Случилось так, как они предрекли. Таинственная крестная предопределяет при нашем рождении все наши поступки, все наши мысли, и мы будем счастливы и добры лишь постольку, поскольку она того пожелает. Свобода воли — иллюзия, а фея — истина. Друзья мои, добродетель, как и порок, неизбежная необходимость. Не возмущайтесь! Добродетель, хоть она и не зависит от нас, все равно прекрасна и заслуживает преклонения. Ведь доброту любят не за то, что она достается дорогой ценой, а за то хорошее, что *о* она дает.

Прекрасные мысли исходят из прекрасных душ, излучающих собственную субстанцию; так же как ароматы — это мельчайшие частицы, испаряемые цветами. Благородная душа может источать лишь благородство, подобно тому как роза может благоухать лишь розой. Так пожелали феи. Поблагодарите их, кузина.

Лаура. Я больше не хочу вас слушать! Ваша мудрость ужасна. Я знаю могущество фей, я знаю их прихоти; они не избавили меня ни от слабостей человеческих, ни от печалей, ни от забот. Но я знаю, что над ними, что над случайностями жизни, витает вечная мысль, которая внушила нам веру, надежду и милосердие.

Покойной ночи, кузен!

Комментарии

СТИХОТВОРЕНИЯ ФРАНСА

В юности Франс мечтал о славе поэта. Его первые поэтические опыты 60-х годов носят подражательный характер. Франс увлекается Гюго, Байроном. К 1865—1866 годам относится создание цикла лирических стихотворений. Эти юношеские романтические произведения Франса при его жизни не были опубликованы.

Из ранних поэтических опытов Франса следует отметить две поэмы: «Дионисий, тиран Сиракузский» и «Легионы Вара», напечатанные в «Gazette rimée» в 1867 году. В этих стихотворениях поэт заявлял о своих республиканских симпатиях, в иносказательной форме осуждал военные авантюры Наполеона III. Однако эта гражданская тенденция не получила развития в поэзии Франса.

Дальнейшая поэтическая деятельность Анатоля Франса конца 60-х — начала 70-х годов, принесшая ему первый успех, связана с литературной группой «Парнас».

В 1866 году Анатоль Франс знакомится с известным в те годы издателем Альфонсом Лемерром. В квартире Лемерра над его книжной лавкой в пассаже Шуазель часто собирались парнасцы: Леконт де Лиль, Леон Дьеркс, Катюль Мендес, Хосе-Мария де Эредиа, Ксавье де Рикар, Теодор де Банвиль и другие. Парнасцы уже издали первый сборник своих стихов «Современный Парнас» в 1866 году.

Начиная с 1867 года Анатоль Франс — частый посетитель салона Лемерра, бывает он также у Леконта де Лиля, в доме

Ксавье де Рикара, читает свои стихи на вечерах парнасцев. К этому времени относится создание многих поэтических произведений Франса, связанных с эстетическими принципами Парнаса. Франс намеревался издать сборник стихов, которому он хотел дать чисто парнасское название «Статуи и барельефы», однако молодой поэт нашел в себе все же достаточно мужества, чтобы сжечь все стихи сборника, за исключением сонета «Римский сенатор», который был напечатан в 1869 году Лемерром в сборнике «Сонеты и офорты» и позже включен Франсом в состав «Золотых поэм».

Во втором сборнике «Современного Парнаса» (сборник был подготовлен в 1869 году, но из-за событий франко-прусской войны вышел только в 1871 году) были опубликованы два его стихотворения: «Участь Магдалины» и «Танец мертвых». Франс становится признанным парнасцем.

Одно из основных положений эстетики Парнаса сводилось к требованию полной бесстрастности поэта, его абсолютной отрешенности от современности. В историко-литературном этюде «Альфред де Виньи» (1868), в ряде статей этого периода Франс высказывает взгляды, совпадающие с основными эстетическими принципами парнасцев. В 1874 году он написал статью «Об объективной поэзии», заслужившую одобрение главы Парнаса — Леконта де Лиля (статья эта утеряна). В эти годы Франс утверждал, что поэзия должна быть спокойной и холодной и лишь живописать видимый мир. Однако в своем поэтическом творчестве он часто отходит от этого положения.

«Золотые поэмы», насчитывающие около тридцати произведений, создавались Франсом в течение ряда лет. «Золотые поэмы» вышли в 1873 году в издании Лемерра. Сборник был посвящен Леконт де Лилю «в знак искреннего и постоянного восхищения»; он состоял из двух частей: собственно «Золотые поэмы» и «Идиллии и легенды». Несколько позже Анатоль Франс включил в состав сборника шесть новых стихотворений: «Куропатка», «Непрозревшая душа», «Вдова», «Теофилю Готье», «К поэту», «В любви немало есть глубоко скрытых тайн». В окончательной редакции «Золотые поэмы» и «Идиллии и легенды» состоят из тридцати пяти произведений.

Первый раздел сборника «Золотые поэмы» объединяет стихотворения, посвященные главным образом природе. Желая воплотить принцип бесстрастности в поэзии, Франс отказывается от лирического героя, от лирической темы. Человек, его пережи-

вания мало интересуют поэта. Природа в стихах Франса живет своей жизнью, вне жизни человека. Более того, человек враждебен природе, он лишь нарушает ее вечную гармонию: погибает куропатка, жертва охотника, умирает обезьяна, отторгнутая жестокими людьми от родных теплых краев; из-за прихоти ребенка гибнет стрекоза. Поэт спокойно рассказывает обо всем этом: вмешательство человека не может все же нарушить вечного и неизменного течения жизни.

В отличие от поэзии парнасцев поэзии Франса чуждо понимание природы как слепой и жестокой силы; борьба за существование, которую поэт наблюдает в природе, кажется ему проявлением ее мудрых изначальных законов.

Время создания «Золотых поэм» (конец 60-х — начало 70-х годов) совпадает с горячим увлечением Франса идеями Чарльза Дарвина. Франс был хорошо знаком с его книгой «Происхождение видов», переведенной на французский язык в 1862 году. «Книги Дарвина были нашей библией... как в святилище входил я в залы музея, наполненные всевозможными органическими формами, начиная от моллюсков и длинных челюстей огромных древних ящеров и кончая позвоночниками слонов и руками горилл», — вспоминает Франс. В очерке 1890 года «Кафе Прокоп» Франс писал о себе и о своем друге Шаравэ: «Мы были тогда страстными дарвинистами».

Убежденность в незыблемости биологических законов природы является основной мыслью «Золотых поэм». Это найдет свое выражение также и на страницах «Коринфской свадьбы», «Тощего кота», «Иокасты» и «Преступления Сильвестра Бонара».

В «Идиллиях и легендах» Анатоль Франс, разделяя парнасское увлечение историей, воссоздает ряд картин, относящихся к различным историческим эпохам. Это чисто описательные произведения, столь характерные для Парнаса. Перед читателем возникают видения прошлого: персианка Омаи, убивающая спящего эмира, врага ее родины; убитый Цезарь, распростертый у подножия статуи Помпея, герцогиня Орлеанская у гроба своего мужа Карла VI и т. д.

Созерцательное отношение к окружающей жизни обуславливает статичность большинства поэтических образов «Золотых поэм». Живописное, описательное начало резко преобладает в стихах над лирическим. Франс, как правило, обращается к спокойному, размеренному александрийскому стиху. Он виртуозно оттачивает строку за строкой, добиваясь безукоризнен-

ного звучания каждого стиха, законченности каждого образа. «Золотые поэмы» были не только воплощением принципов парнасской эстетики, они свидетельствовали и о творческой самостоятельности поэта. Франс свободен от чрезмерного увлечения экзотикой, характерного для многих парнасцев, он избегает нагромождения необычных изощренных эпитетов или сравнений, пользуется обычным словарем.

«Золотые поэмы» хоть и не принесли их автору шумного успеха, все же были замечены. Известен отзыв Жорж Санд о «Золотых поэмах» — она отмечает, что Франс «обладает чувством стиля, владеет искусством красивой простой формы, соответствующей духу нашего языка». Внимание критиков к «Золотым поэмам», как, впрочем, и к другим поэтическим произведениям Франса, было привлечено позже, в 80-х годах, после успеха романа «Преступление Сильвестра Бонара».

Стихотворения из сборника «Золотые поэмы» впервые включаются в русское издание сочинений Анатоля Франса.

Перевод произведений Франса в настоящем собрании сочинений дается, кроме особо оговоренных случаев, по двадцатипятитомному изданию Кальман-Леви. (Oeuvres complètes illustrées de Anatole France. Paris. Calmann-Lévy éditeurs, 1925—1935.)

Стр. 55. «К л у ч е з а р н о с т и». — В 1910 году, выступая перед студентами, Франс закончил свою речь этой жизнеутверждающей одой.

Стр. 65. *Фера* — остров в Эгейском море, недалеко от юго-восточных берегов Греции. Древняя Фера славилась своим виноделием.

Стр. 70. *Фалернское* — известное в древности вино, производившееся из винограда фалернских виноградников в Кампании (Италия).

Стр. 72. *Жером* Жан (1824—1904) — французский художник и скульптор. Среди его произведений известна картина «Смерть Цезаря».

Стр. 74. «П о с л е д н и й о б р а з». — Стихотворение является поэтическим переложением сцены прощания Давида Копперфильда с матерью из романа Диккенса «Давид Копперфильд». Эпиграф взят из VIII главы первого тома этого романа, который Анатоль Франс ценил чрезвычайно высоко.

КОРИНФСКАЯ СВАДЬБА

Над драматической поэмой «Коринфская свадьба» Анатоль Франс начал работать с конца 1875 года. Первая часть поэмы была опубликована в 1876 году в третьем сборнике «Современного Парнаса», вышедшем в издании Лемерра. Полностью «Коринфская свадьба» была напечатана отдельным изданием у Лемерра в том же, 1876 году. В этот том вошло также несколько маленьких поэм Франса: «Левконоя», «Пострижение», «Вдова», «Пиа», «Поэт — своему другу».

Античный мир, его культура интересовали Франса еще в годы его учения в коллеже Станислава. Общение с парнасцами содействовало еще большему увлечению молодого поэта античностью. Особенно привлекал его поздний период античной культуры, время умирания старого языческого мира и зарождения христианства. Не случайно, что первое опубликованное его поэтическое произведение — поэма «Легенда о Таис, комедиантке» (1867), относящаяся по сюжету ко времени раннего христианства. К теме раннего христианства обращается Франс и позже в романе «Таис», в ряде своих новелл и стихотворных произведений.

На формирование мировоззрения Франса большое влияние оказала идеалистическая философия Ренана. Франс хорошо знал работу Ренана «История происхождения христианства», первый том которой «Жизнь Иисуса» вышел в 1863 году. В предисловии к «Коринфской свадьбе» Франс высказывает мысли, близкие Ренану, о том, что наука не может открыть перед человечеством всех тайн и поэтому люди никогда не смогут обойтись без иллюзий, «и разве эти иллюзии — не главное условие жизни?» В основе всякой религии, утверждает Франс, лежит иллюзия, самообман или обман. Затрагивая тему христианства в ряде своих поэтических произведений («Прощание», «Левконоя», «Пострижение»), Франс очень далек от какого бы то ни было религиозного чувства. Обращение к религии вызвано у его героинь, Левконои и других, прежде всего неудовлетворенностью жизнью, желанием забыться. Религия — это иллюзия, которой тешат себя слабые мятущиеся люди. Но если языческая религия античности дарила людям радостные грезы, благословляла жизнь и веселье, то христианская религия лишает людей радости и красоты жизни, лишает права на любовь.

В «Коринфской свадьбе» Франс противопоставляет жестокой и антигуманистической христианской аскезе жизнерадостность античного язычества.

В основе сюжета драматической поэмы Франса лежит эпизод из трактата римского писателя II века н. э. Флегонта из Тралл «Чудесные происшествия». В примечании к поэме Франс полностью приводит отрывок из Флегонта. У Флегонта неясна причина смерти молодой девушки Филинион; все сводится лишь к рассказу о таинственном явлении призрака умершей. Рассказ Флегонта еще до Франса привлек внимание Гете, который создал в 1797 году балладу «Коринфская невеста». Гете отнес действие своей баллады к I веку н. э., к началу христианства. «Двух влюбленных, разлученных родными и соединенных таинственными силами, он изобразил жертвой битвы богов, которая потрясала мир со времени Нерона до Константина», — замечает Франс. Тема столкновения двух религий, двух противоположных взглядов на жизнь получает дальнейшее развитие и углубление в произведении Франса. Он значительно видоизменяет сюжет, отбрасывает все фантастические мотивы, которые есть в балладе Гете. У Гете юноше является лишь призрак умершей — у Франса Гиппий обнимает живую Дафну.

Франс придал истории трагической гибели Дафны и Гиппия ярко выраженную антихристианскую окраску. В радостных идиллических тонах рисует Франс уходящую в прошлое античную Грецию (действие происходит в I веке н. э.), страну радости и красоты (песни хора, рассказ Гермия о сборе винограда). В прологе, предшествующем драме, Франс скорбит о том, что христианство убило светлую радость Эллады. Гибнут ведь не только Дафна и Гиппий, гибнет Греция, которую покинули ее радостные боги, — таков смысл символического сна Гиппия. С «Коринфской свадьбы» начинается борьба Франса с фанатизмом и всякого рода религиозными догмами, которая пройдет через все его творчество. Антихристианская направленность поэмы, осуждение мрачного бога смерти и отречения найдет продолжение в других произведениях Франса («Таис»). В дальнейшем его борьба с религией и клерикалами примет более резкие и конкретные формы. От общих абстрактных антихристианских тенденций «Коринфской свадьбы» Франс позже перейдет к созданию целой галереи сатирических образов служителей церкви в тетралогии «Современная история», к гневному утверждению,

что церковь «давняя истребительница всякой мысли, всякого знания, всякой радости» (книга «К лучшим временам»).

Прославление благости жизни, мудрости законов природы объединяет «Коринфскую свадьбу» с другими созданиями Франса этих лет.

«Коринфская свадьба» — драматическая поэма для чтения. Франс разделил ее на три части, каждую из которых он посвятил одному из своих друзей: Анри Казалису, Эмманюэлю дез-Эссару и Полю Бурже. В «Коринфской свадьбе» Франс в традиции Парнаса создает яркие красочные описания, добивается совершенной звучности и пластичности стиха, искусно пользуется александрийским стихом, лишь иногда отступая от него (в песнях хора). «Коринфская свадьба», являясь лучшим произведением парнасской драматургии, свидетельствует наряду с этим об отказе Франса от одного из основных принципов парнасской эстетики — от принципа бесстрастности и объективизма.

Антихристианскую направленность поэмы подчеркнула Жорж Санд в своем письме Франсу: «Это прекрасно и правдиво, как античное произведение, и заставляет меня еще раз оплакать вредное дело христианства, этого ложного толкования слова Иисуса, слова, более чем когда бы то ни было подвергаемого искажениям и кривотолкам в наши дни. Ваши стихи поражают эту ложь в самое сердце, и они великолепны, ибо обладают большой значительностью. Пишите еще в том же роде и отомстите за жизнь этой величайшей доктрине смерти». Высокую оценку поэме дал Флобер. В письме от 10 мая 1876 года он писал: «Я восхищен Вашим искусством в обработке темы, которой уже касался великий Гете. Хотя я сам стихов не пишу, но уверен, что Ваши очень хорошие».

И. Тэн, говоря о достоинствах стихов Франса, отметил, однако, известную скованность диалога, которому, по его мнению, не хватает живости. Золя в обзоре французской поэзии, сделанном для «Вестника Европы» в 1878 году, отозвался о «Коринфской свадьбе» довольно резко, упрекая Франса за то, что тот «удалился в Грецию» и не затрагивает в своей поэзии современных тем. Однако в этой оценке Франса Золя был не совсем прав. Несмотря на абстрактность антихристианских утверждений Франса, на условность сюжета и образов, поэма была не только данью парнасской традиции; она была связана и с актуальными вопросами современности. В опосредствованной

форме в «Коринфской свадьбе» нашло свое выражение враждебное отношение Франса к клерикальной реакции во Франции, в конце 70-х годов XIX века. Не будучи предназначенной для театра, «Коринфская свадьба» тем не менее несколько раз исполнялась на сцене. Ее первое представление состоялось в кружке актеров-любителей в 1884 году. По воспоминаниям современников, во время спектакля часть публики открыто выражала свое недовольство антихристианскими настроениями произведения. Особенно актуально прозвучала «Коринфская свадьба» в 1902 году, когда она была поставлена в театре «Одеон». Эта постановка совпала с борьбой министерства Вальдека-Руссо против религиозных конгрегаций, которые не хотели подчиняться закону 1901 года, ставящему их деятельность под контроль государства.

«Коринфскую свадьбу» играли еще в 1918 году в театре Французской Комедии и в 1922 году на сцене Комической оперы. Музыка к этому спектаклю была написана Анри Вюссером.

Созданием «Коринфской свадьбы» заканчивается поэтическая деятельность Франса. Хотя он и написал после 1876 года еще несколько поэтических произведений, однако его все больше влечет к себе проза. В конце 70-х годов Франс печатает свои первые значительные прозаические вещи.

Полный перевод «Коринфской свадьбы» на русский язык публикуется впервые.

Стр. 77. *Плесси* Фредерик (1851—1942) — французский поэт и писатель. В молодости принадлежал к группе «Парнас». Друг Анатоля Франса. Его творчеству Франс посвятил несколько страниц в своем очерке «Три поэта. Сюлли-Прюдом, Франсуа Коппе, Фредерик Плесси» (1887).

Стр. 79. *Акрокоринф* — центральная, укрепленная часть Коринфа.

Стр. 83. *Казалис* Анри — французский поэт (1840—1909), печатал парнасские стихотворения под псевдонимом Жан Лаор.

Стр. 84. *...полеты легких Ор.* — Оры — в античной мифологии женские божества, олицетворяющие времена года.

Стр. 85. *...и даже Аполлон бессилен с этих пор.* — По древнегреческой мифологии, Аполлон — бог света и солнца, обладал даром исцеления. Он считался отцом Асклепия (Эскулапа) — бога врачебного искусства.

Стр. 88. *Нам Азия богов дала уже немало.* — С конца IV века до н. э. в Грецию проникает культ восточных богов.

Стр. 92. *Евфай* (Иевфай). — По библейской легенде, Иевфай дал богу клятву принести в жертву первого, кто поздравит его с победой. Первой поздравила его единственная дочь, которую он и принес в жертву богу.

...на этих письменах, что лев, орел, телец и ангел дали нам... — Имеются в виду четыре книги евангелия, приписываемые Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Марка обычно изображали со львом, Луку — с быком, Иоанна — с орлом, Матфея — с ангелом.

Стр. 94. *...уплыть навек с Хароном в барке мрачной* — то есть умереть. Харон — в античной мифологии перевозчик душ через адскую реку Стикс в загробный мир.

Стр. 99. *Дез-Эссар* Эмманюэль (1839—1909) — поэт-парнасец, литературовед, друг Анатоля Франса.

Стр. 101. *Дева песнопений.* — Речь идет о Суламифи, возлюбленной царя Соломона. Соломону приписывается авторство Песни песней (одна из книг библии).

Стр. 106. *...мы белым камешком отметим этот день.* — В античном мире был обычай отмечать белым камешком счастливые дни.

Стр. 115. *Геката* — трехликая богиня преисподней, лунного света и ночных призраков *(римск. миф.).*

Стр. 127. *Бурже* Поль — французский писатель (1852—1935), автор ряда психологических романов. В молодости Поль Бурже примыкал к парнасцам. О творчестве Поля Бурже Франс говорит в своих статьях: «Ложь» (рецензия на одноименный роман Бурже) — газета «Temps», 13/XI 1887 г., и «Мораль и наука. Поль Бурже» — газета «Temps», 23/VI, 7/VII, 8/IX 1889 г. Затем эти статьи вошли в состав книги «Литературная жизнь» (1-я и 3-я серии).

Стр. 135. *Маны* — у древних римлян — обоготворенные души умерших.

Стр. 137. *Ламия* — по верованиям древних греков, злой дух, враждебный людям.

Стр. 138. *Чудесное вино и в Кане пролилось.* — Имеется в виду эпизод из евангелия. Оказавшись на свадьбе в городе Кане Галилейской, Христос, когда недостало вина, превратил воду в вино.

ИОКАСТА

Первые опыты Франса в области художественной прозы относятся еще к началу его литературной деятельности.

В 1865 году в газете «Petites nouvelles» была опубликована новелла «Эзильда, герцогиня Нормандская», а в 1876 году в «Musée des Deux Mondes» новелла — «Метод лечения доктора Арделя». В 1871—1872 гг. Франс работает над своим первым романом «Желания Жана Сервьена». Этот вариант романа никогда не был напечатан. Значительно переделанный роман был напечатан только в 1882 году, после успеха «Преступления Сильвестра Бонара».

Таким образом, повести «Иокаста» и «Тощий кот» — первые значительные прозаические произведения Франса, увидевшие свет.

Повесть «Иокаста» печаталась фельетонами в газете «Temps» в 1878 году. Она должна была появиться отдельным изданием у Лемерра. Это издание, хотя и полностью подготовленное, однако не увидело свет. Франс, желая освободиться от невыгодных условий издателя Лемерра, отказался от этого издания и передал значительно переработанную рукопись повести издательству Кальман-Леви. (В издательстве Кальман-Леви публиковались затем все последующие произведения Анатоля Франса.) В 1879 году «Иокаста» вышла вместе с повестью «Тощий кот». Книга была посвящена Шарлю Эдмону — главному библиотекарю библиотеки Сената, где с 1876 года работал Анатоль Франс. В первом издании «Иокасте» и «Тощему коту» было предпослано авторское предисловие, написанное в форме письма-посвящения Шарлю Эдмону. В последующих изданиях предисловие было снято. Небольшой отрывок из предисловия Франс позже включил в «Книгу моего друга» («Андре»).

В отличие от большинства последующих романов Франса «Иокаста» строится на основе четко очерченного сюжета, подчас явно рассчитанного на то, чтобы заинтриговать читателя. Особенности романа-фельетона безусловно сказались на общем характере произведения. Интригующая загадочность обстоятельств смерти героя, образ мрачного злодея, образ таинственного и хитрого ростовщика, самоубийство героини — все это в той или иной мере детали романа-фельетона. Но по своим художественным достоинствам, по значению созданных Франсом образов «Иокаста», конечно, стоит намного выше модных в то время романов-фельетонов.

Знакомство с «Иокастой» вводит читателя в круг научных интересов, литературных и философских увлечений писателя. Как и другие ранние вещи Франса, повесть раскрывает трудный и сложный процесс формирования его мировоззрения и творческого метода. Читая «Иокасту», можно безошибочно сказать, что французской литературе уже знакома болезненная психика неврастенических героев Гонкуров, что уже известны ранние романы Золя с их подчеркнутым физиологизмом в создании человеческого характера.

Воздействие натуралистического метода на Франса сказалось главным образом на раскрытии характера героини повести — Елены Хэвиленд. Тщательное, скрупулезное описание переживаний Елены, ее психического состояния и даже физиологии ее ощущений занимает основное место в повести. Елену преследует мысль о ее вине в смерти мужа, это чувство вырастает в гнетущее неотступное чувство страха, ужаса; болезненное расстроенное воображение рисует ей страшные видения, ей чудится призрак умершего Хэвиленда.

Следуя принципам гонкуровского романа, Франс в «Иокасте» описывает не столько сами события, сколько отражение их в сознании героини: Елена Хэвиленд, так же как Жан Сервьен в первой редакции романа, родственна героям гонкуровских романов с их обостренными ощущениями и болезненной восприимчивостью.

В 70-х годах наряду с увлечением античной культурой Франс с большим интересом относился к развитию естественных наук: биологии, медицины, астрономии, химии. «Я горжусь, что не менее других преклонялся перед наукой. Да будет позволено мне здесь вспомнить те длинные и долгие часы, которые я посвящал изучению мира природы», — писал он впоследствии, в 1889 году. Выше уже говорилось об увлечении Франса учением Дарвина (см. комментарии к «Золотым поэмам»). Известно, что во время работы над «Иокастой» Франс в течение некоторого времени посещал в качестве ассистента физиологическую клинику доктора Пеана. Стремление к научной достоверности художественного произведения, привнесение в литературу элементов науки, документации, как известно, было чрезвычайно характерным для романов 70—80-х годов.

Интерес Франса к естественным наукам, и к проблемам физиологии в частности, связан с его увлечением в те годы позитивистской философией. Среди кумиров Франса этого времени

были Спенсер и особенно Ипполит Тэн, виднейший представитель позитивистской мысли. Но Анатоль Франс, всегда склонный к философским обобщениям, скоро понял слабость и ограниченность своих учителей, настаивавших лишь на опыте и эксперименте, не стремившихся вскрыть причины наблюдаемых явлений. Все эти увлечения, размышления и сомнения Франса нашли свое отражение в повести «Иокаста».

Молодой врач-физиолог Рене Лонгмар, влюбленный в Елену, — убежденный позитивист. Сложность взаимоотношений людей, их внутренняя душевная жизнь — все это, с его точки зрения, вполне объясняется физиологией, научными законами и формулами. «Добродетель — такой же продукт, как фосфор и купорос», — заявляет Лонгмар, и эта его мысль очень близка к известному утверждению Тэна: «Пороки и добродетели такие же неизменные результаты социальной жизни, как купорос и сахар — продукты химических процессов».

Создавая образ Лонгмара, Франс как бы полемизирует с позитивистами. Он утверждает, что жизнь, человек богаче, глубже и разностороннее сухих выкладок позитивистской науки. Лонгмар, несмотря на свои насмешливые, а порой и несколько циничные высказывания о любви, испытывает большое, сильное чувство к Елене, чувство, которое живет в его сердце и после гибели Елены. Большая человеческая теплота, доброта чувствуется в его отношении к обедневшему, опустившемуся Феллеру де Сизаку, которого он поддерживает в память дорогой ему женщины. Придя к пониманию сложности жизни и взаимоотношений людей, Лонгмар переживает тяжелый внутренний кризис, выхода из которого позитивистская наука ему не указывает.

Общий безотрадный пессимистический тон повести «Иокаста» смягчается юмором, окрашивающим многие ее страницы. Особенно удался Франсу образ отца Елены — Феллера де Сизака, в котором есть иногда что-то от диккенсовских героев-чудаков. Творчество Диккенса восхищало Франса, который особенно ценил умение английского писателя находить в каждом на первый взгляд незначительном и неинтересном человеке нечто своеобразное, неповторимое, только ему присущее. Франса скептика, человека иронического склада ума, трогает мягкий юмор Диккенса, снисходительный к человеческим слабостям и недостаткам, ему близка большая любовь Диккенса к людям. «Я думаю, — писал Франс в статье «Безумцы в литературе», — что

Диккенс более, чем любой другой писатель, обладал даром искреннего чувства, и я уверен, что его романы так же прекрасны, как любовь и сострадание, которые они внушают». О своем долге перед Диккенсом, о своем глубоком восхищении его творчеством говорит он в предисловии к повести «Иокаста». Франс создает образ де Сизака, умело подбирая детали, выделяя одну черту как определенный лейтмотив характеристики. Главная черта характера де Сизака — позерство, он позирует и в радости и в горе, бедняком и богачом, позирует перед собой и перед другими. Подобно Микоберу из романа Диккенса «Давид Копперфильд», Феллер де Сизак всегда верит в искренность своих намерений, умиляется своим словам, тем пышным фразам, которые он так любит произносить. Это просто никчемный, мелкий и жалкий человек, и Франс относится к нему без резкого осуждения, с легкой усмешкой подтрунивая над его бахвальством и позерством.

С бо́льшей резкостью говорит писатель о Хэвиленде. Пустота жизни Хэвиленда привела к полному измельчанию и оскудению его личности.

Повесть «Иокаста», конечно, еще далека от блестящих социальных полотен зрелого Франса. Жизнь его героев протекает обособленно от явлений общественно-политической жизни Франции, в маленьком мире их личных переживаний. Только отдельные беглые упоминания о франко-прусской войне, о реконструкции Парижа определяют время действия повести. Впоследствии Франс, признанный мэтр, автор «Острова пингвинов» и «Современной истории», сурово отзовется об «Иокасте». Несмотря на отдельные недостатки композиции, на условность и мелодраматичность некоторых эпизодов сюжета, «Иокаста» — свидетельство первого успеха Франса-прозаика. Именно так повесть была оценена выдающимся современником Франса — Флобером, который написал ему следующее письмо:

«Круассе, 7/III 1879.

Мой дорогой поэт!

Искренне благодарю Вас за присланную Вами книгу и за удовольствие, которое она мне доставила. Уже давно я не читал ничего столь чистого. Ваша первая повесть прекрасна... Я могу упрекнуть «Иокасту» единственно только в некоторой неясности чувств героини. Непонятно, почему она так терзается. Мне кажется, это надо было бы объяснить более основа-

тельно. Но сколько изумительных деталей; в целом же повесть производит впечатление...»

Франс был очень тронут письмом Флобера тем более, что критика почти ни словом не обмолвилась об его первом опыте. Он ответил Флоберу следующими словами:

«Раз Вы говорите, что я умею писать, — я не повешусь, а поседею в сладких муках создания образов...»

Из «Яснополянских записок» Д. Маковицкого известно, что Л. Н. Толстой в 1908 году читал эту повесть и отозвался о ней с похвалой.

Стр. 143. *Стоики* — представители стоицизма — философского учения, возникшего в древней Греции около III века до н. э. Стоицизм создал этику долга, утверждая, что единственное благо — добродетель. Ради полной свободы человек, по учению стоиков, должен стоять выше страстей и страданий.

Зенон. — Зенон из Кития на Кипре (ок. 336—264 г. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы стоиков в Афинах.

Стр. 144. *Рише* Шарль (1850—1935) — французский физиолог. В 1877 году защитил докторскую диссертацию на тему «Экспериментальные и клинические исследования чувствительности», вышедшую затем отдельной книгой. Позже открыл явление повышенной чувствительности — анафилаксии.

Валь де Грас — большой военный госпиталь в Париже, размещенный в здании монастыря, построенного в XVII веке. При госпитале имелась военно-хирургическая клиника и фармацевтическая школа.

Кохинхина — прежнее название французской колонии в южной части полуострова Индокитай. По конституции Демократической республики Вьетнам, бывшая Кохинхина, теперь Намбо, является одной из трех административно-территориальных единиц республики.

Стр. 145. *Остеология* — раздел анатомии, посвященный изучению скелета.

Стр. 147. *...в связи с перепланировкой улиц и бульваров, предпринятой г-ном Османом.* — Эжен Осман, будучи префектом департамента Сены (1853—1870), проводил большие работы по реконструкции Парижа. Правительство Наполеона III, боясь революционных выступлений народа, повторения баррикадных боев на улицах города, создало на месте старых кварта-

лов с их узкими кривыми улицами широкие проспекты и авеню, переселяло рабочих на окраины, застраивая центр роскошными особняками.

Улица Рамбюто — улица, проведенная в 1838 году через старые кварталы Парижа. В районе улицы сохранилось много узких темных переулков, старых домов.

Стр. 148. *Герцог Орлеанский* Луи-Филипп Жозеф (1747—1793) — представитель младшей ветви династии Бурбонов, во время революции принял имя Эгалите (Равенство). Филипп Эгалите принимал участие в событиях революции 1789 года, был членом Конвента, где голосовал за казнь короля. В 1793 году был гильотинирован за участие в контрреволюционном заговоре генерала республиканской армии Дюмурье.

Стр. 149. *Госпожа Эллиот* — авантюристка, близкая ко двору Людовика XVI.

...переговоры с королевой. — Речь идет о жене Людовика XVI — Марии-Антуанетте, которая до своего ареста в 1792 году была вдохновительницей многочисленных контрреволюционных заговоров и интриг.

В день десятого августа, когда королевская власть пала окончательно... — Десятое августа 1792 года — день народного восстания в Париже. Людовик XVI был низложен, монархия во Франции была свергнута.

Герцог Брауншвейгский — главнокомандующий австро-прусскими войсками, вторгшимися в 1792 году в пределы Франции, чтобы задушить революцию.

Консьержери — тюрьма в Париже, занимающая часть здания Дворца правосудия. В годы революции — место заключения лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности.

Термидор. — Во время революции специальным декретом Конвента был введен новый революционный календарь. Первым днем нового летоисчисления считалось 22 сентября 1792 года — день провозглашения Французской республики. Термидор — месяц, соответствующий времени между 19 июля и 18 августа.

Стр. 151. *Кассандр* — традиционный персонаж старинной итальянской комедии. Тип взбалмошного подозрительного старика, обманутого молодыми влюбленными. Вместе с другими типами итальянской комедии масок — Арлекином, Пьерро и Коломбиной — Кассандр стал излюбленным персонажем французского ярмарочного театра XVIII века.

Стр. 155. *Антология.* — Речь идет о сборнике текстов

античной поэзии, составленным в XIV веке Максимом Планудом на основе более древних антологий, не дошедших до нас.

Стр. 163. *Во Францию вторгся враг.* — Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг. После поражения французской армии под Седаном 2 сентября 1870 года прусские войска оккупировали большую часть Франции и 18 сентября осадили Париж. Осада продолжалась до января 1871 года. 28 января Париж капитулировал, и было заключено перемирие с пруссаками.

Когда премьер-министром был Шевандье де Вальдро, когда вышел в отставку префект департамента Сены... — Префект Осман, обвиненный в финансовых злоупотреблениях, в значительном превышении бюджета Парижа, в 1870 году вышел в отставку. Министр внутренних дел Шевандье де Вальдро отдал распоряжение прекратить работы по реконструкции Парижа.

Стр. 171. *Коллеж Станислава* — среднее учебное заведение в Париже. В учебных программах коллежа большое место отводилось изучению древних языков. В коллеже Станислава учился Анатоль Франс в 1855—1862 годах, здесь он впервые познакомился с античной культурой. Воспоминания о коллеже нашли отражение во многих произведениях Франса, в частности в «Книге моего друга» и в книге «Жизнь в цвету».

Стр. 173. *...как султан Беарнца.* — Беарнцом называли короля Генриха IV, так как он родился в городе По, центре древней области Франции — Беарн (входившей в XVI веке в состав Наваррского королевства). Генрих IV отличался большой храбростью. Известна его фраза, сказанная им в 1590 году накануне битвы с войсками Католической лиги при Иври: «Сохраняйте ваши ряды, если же вы потеряете из виду знамена, трубачей, опознавательные знаки, равняйтесь тогда на мой белый султан, он всегда вас выведет на дорогу победы и чести».

Стр. 174. *...темница, где томился Тассо.* — Торквато Тассо — великий итальянский поэт (1544—1595), находившийся на службе феррарского герцога, страдал нервными припадками, был подвержен мании преследования, страху перед духовной цензурой. Семь лет он находился в госпитале св. Анны, в Ферраре.

...надгробия Элоизы... — Элоиза (XI в.) — возлюбленная французского средневекового философа, богослова и поэта Пьера Абеляра. Насильственно разлученная с ним, она постриглась в монахини. Сохранилась переписка Элоизы и Абеляра. После

смерти Абеляра его тело было тайно перевезено в монастырь Парасле, где Элоиза была аббатисой. Элоиза похоронена в одной могиле с Абеляром. Могила Элоизы и Абеляра находится теперь на кладбище Пер-Лашез. В глубине часовенки, сооруженной в готическом стиле, находится мраморный саркофаг.

...стихи Ласенера, написанные им в Консьержери. — Ласенер — вор и убийца, его процесс наделал много шума в Париже. Желая привлечь к себе внимание публики, Ласенер в тюрьме занялся сочинением мемуаров и стихов. Ласенер был казнен в 1836 году, тогда же были опубликованы его сочинения.

...украденная е 1848 году из Тюильри. — Во время февральской революции 1848 года восставший пород овладел Тюильрийским дворцом, резиденцией короля Луи-Филиппа. Вслед за восставшими во дворец проникли преступные элементы, похитившие много ценных вещей из дворца.

Мадемуазель Рашель — настоящее ее имя Элиза Феликс (1821—1858) — выдающаяся французская трагическая актриса, возродившая на сцене классическую трагедию.

Смит Джозеф (первая половина XIX в.) — основатель американской религиозной секты мормонов, названной по имени «пророка» Мормона. Верования мормонов представляют собой смесь многобожия и христианства.

Стр. 176. *Могила Цецилии Метеллы.* — На Аппиевой дороге, в двух километрах от Рима, находится величественная гробница Цецилии Метеллы, жены древнеримского полководца Красса Младшего.

Стр. 181. *Виктория* — открытый четырехколесный экипаж.

Стр. 182. *Пинель* Филипп (1745—1826) — французский врач-психиатр.

Стр. 185. *Внешние бульвары.* — В отличие от так называемых внутренних бульваров внешние бульвары некогда проходили по окраине города, теперь они включены в его центральную часть.

Стр. 188. *Ария Роберта* — ария из популярной оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» (1831), написанной на либретто Скриба и Делавиня.

Стр. 189. *Тюрьма Ла-Рокетт* — парижская тюрьма, служила местом заключения для каторжников и приговоренных к смертной казни. Во дворе тюрьмы казнили осужденных.

Стр. 190. *Жизнь — количество, как сказал Бюффон...* — Бюффон (Жорж-Луи Леклер, 1707—1778), известный французский

ученый-натуралист, автор многотомной «Естественной истории», утверждал, что в природе существуют невидимые частицы — органические и неорганические молекулы; разные количественные комбинации органических молекул образуют различные организмы.

«Жизненный узел» Флуранса... — Флуранс Мари-Жан (1794—1867) — французский физиолог и врач. Большой интерес вызвали его исследования функции продолговатого мозга. Он открыл в нем дыхательный центр, который называл «жизненным узлом», указывая на его исключительное значение в жизни животных.

Биша Мари-Франсуа (1771—1802) — один из основоположников общей анатомии, занимался также вопросами физиологии. Биша по своим воззрениям был идеалистом, считал, что жизнь определяется наличием в организме особой жизненной силы. Свои взгляды он изложил в труде «Физиологические изыскания о жизни и смерти», откуда и взята цитируемая Лонгмаром фраза.

Стр. 193. *Джерсей* (Джерси) — остров в проливе Ла-Манш в 25 км. от берегов Франции. Остров принадлежит Англии.

Стр. 203 *...вы пространствовали и повидали чужие края, как лафонтеновский голубок...* — Имеется в виду известная басня Жана Лафонтена (1621—1695) «Два голубя».

Стр. 210. *Пифон* — в древнегреческой мифологии чудовищный змей, воплощение сил зла и тьмы. Его убил бог света Аполлон.

Иокаста — персонаж трагедии древнегреческого поэта Софокла (V в. до н. э.) «Царь Эдип». Иокаста, вдова фиванского царя Лаия, вторично выходит замуж за чужестранца Эдипа, победившего жестокого Сфинкса. Узнав, что Эдип ее родной сын и убийца своего отца — царя Лаия, ее первого мужа, Иоакаста повесилась.

ТОЩИЙ КОТ

Повесть «Тощий кот» впервые была напечатана в 1879 году одновременно с «Иокастой». В «Тощем коте» Анатоль Франс обратился к описанию литературной и артистической богемы, к проблемам искусства. Хотя Франс сам никогда не принадлежал к богеме, он был хорошо знаком с этим своеобразным, обособленным мирком большого города. Многие знакомые Франса: Вилье де Лиль Адан, Барбе д'Оревильи, Альбер Глатиньи и дру-

гие — были постоянными посетителями кабачков и кафе, напоминающих ресторанчик «Тощий кот». В холодных мансардах Монмартра ютилось немало талантливых, но непризнанных бедных писателей и художников, было среди них немало и гордых «гениев», одержимых честолюбивыми замыслами и презирающих все окружающее. Жизнь богемы уже не раз привлекала внимание писателей. Особенный успех выпал на долю романа Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1848), в котором в романтическом духе были изображены бедные молодые служители искусства и их милые подруги. В 1876 году вышел роман Альфонса Доде «Джек», где также большое место занимало описание литературной богемы.

В повести «Тощий кот» Анатоль Франс впервые ставит вопрос, столь важный для всего его последующего творчества, вопрос о судьбе культуры, вопрос о характере и сущности современного ему искусства.

Действие повести относится к концу 70-х годов, и многие явления, характерные для развития французской культуры этого времени, нашли отражение на ее страницах. В «Тощем коте» Анатоль Франс с нескрываемой неприязнью и беспощадной иронией говорит о первых проявлениях декадентства в литературе и искусстве. Он высмеивает эксцентричность и вычурность художников, создающих творения, подобные картинам, украшающим стены «Тощего кота». Иронически развенчивает Франс и бунтарство завсегдатаев «Тощего кота». Их неприятие и презрение к окружающей действительности сводится лишь к желанию подразнить, «эпатировать» обывателей, сами же они убеждены в исключительности своих натур и презирают всех остальных. Полная беспомощность, никчемность всех этих людей особенно хорошо показана Франсом в эпизоде создания журнала «Идея». Немало подобных журналов и обозрений, претендующих на глубину и оригинальность мысли, появлялось в то время и бесследно исчезало после первого же номера. Стремление к изощренности мертвит поэтическую мысль Диона. Скульптор Лабанн, приступая к созданию памятника жертвам тирании императора Фаустина I, изучает многотомные труды по геологии, фауне и флоре Антильских островов, однако не в состоянии сделать даже эскиз. Франс иронизирует над учеными экскурсами незадачливого скульптора, над его желанием подменить творчество «научными» изысканиями. Другой персонаж, философ Браншю, совершенно лишен понимания реальной действительности, он

живет вне ее, отдаваясь своим причудливым и весьма туманным философским измышлениям, он приобрел способность переосмысливать в желаемом свете любые факты реальности. Так, шутка Реми и Диона с подложным письмом рождает в его воображении историю о страстной и трагической любви к нему неведомой принцессы Вранги.

Прототипом для создания образа Браншю, как указывают некоторые биографы Франса, послужил бродячий актер и непризнанный поэт Альбер Глатиньи, умерший тридцати пяти лет в 1873 году. Франс в 1879 году написал предисловие к сборнику стихотворений Глатиньи, включенное им позже в книгу «Латинский гений».

Никто из персонажей повести не сознает своей ущербности и никчемности, и поэтому Франс относится к ним резко неприязненно. Он им противопоставляет людей естественных чувств и активного действия, таких, как художник Потрель.

Как и в других произведениях Франса этого периода, здесь звучит тема утверждения жизни, торжества ее законов, торжества любви. Реми Сент-Люси пробуждается от лени, апатии лишь благодаря любви к Жанне Лурмель. Образ Жанны Лурмель, олицетворяющий чистоту и силу юности, найдет свое дальнейшее развитие в образе Жанны из романа «Преступление Сильвестра Бодара».

В повести «Тощий кот» действуют несколько мулатов, уроженцев островов Бурбон и Гаити. Но Франс избегает здесь всякой экзотики; его мулаты отличаются от парижан только цветом кожи. Наиболее подробно останавливается Франс на истории Гаити; со слов самого Франса известно, что, приступая к работе над повестью, он перечитал все книги об этом острове. Сатирический образ Сент-Люси, бывшего министра Гаити, беглый, но яркий силуэт императора-тирана Сулука свидетельствовали о растущем мастерстве Франса-сатирика.

Среди персонажей повести особое место занимает бывший гаитянский генерал, а затем содержатель питейного заведения в Курбевуа — Телемах. Он смешон своей наивностью, своим детским страхом перед именем грозного императора Сулука, но в нем есть та человеческая доброта, простота, которой не хватает другим персонажам, и Франс говорит о нем с мягким юмором, снисходительно посмеиваясь над его недостатками и слабостями.

В предисловии к первому изданию «Тощего кота» Франс писал: «Тощий кот» — небольшая хроника, в которой встре-

чаются только безумцы». Если в «Иокасте» многие персонажи были наделены странностями, то это еще резче выражено в повести «Тощий кот». Даже почтенный домовладелец г-н Сарьет не лишен чудачества, он увлекается измерением исторических памятников при помощи дождевого зонтика.

Хотя «Тощий кот» был написан лишь годом позже «Иокасты», однако эта повесть уже более свободна от влияния натурализма, столь заметного в «Иокасте». «Тощий кот» знаменовал собой новый шаг писателя на пути овладения реалистическим мастерством.

Флобер в своем письме к Франсу от 7 марта 1879 года отметил главное достоинство повести: мастерство портрета, характеристик героев: «Что касается «Тощего кота», то я наслаждался им от первой до последней строчки. Так и видишь все Ваши типы... Телемах! Ведь это находка! Так ярко написанный, он тем не менее не затмевает остальных. А какой хороший стиль! Простой, не надуманный. Это подлинная литература, и этим все сказано».

Стр. 226. *Незадолго до падения Империи* — то есть около 1870 года. Вторая империя (время правления Наполеона III), прекратила свое существование 4 сентября 1870 года.

Стр. 227. *...над Бурбоном пронесся циклон...* — Бурбон — остров в Индийском океане, с 1767 года — колония Франции; во время французской революции 1789—1794 гг. был переименован в остров Реюньон.

Стр. 229. *...купца из Порт-о-Пренса... вернулся на Гаити...* — На западной части острова Гаити в конце XVII века была основана французская колония Сан-Доминго. В период французской революции конца XVIII века в Сан-Доминго развернулось освободительное движение, в результате которого в 1804 году была провозглашена независимость от Франции и образована самостоятельная республика Гаити. Порт-о-Пренс — столица, главный экономический центр и порт республики Гаити.

Сулук — негр, уроженец острова Гаити. С 1847 по 1849 год — президент республики Гаити; в 1849 году, совершив государственный переворот, провозгласил себя императором под именем Фаустина I.

В 1858 году в результате военного переворота Сулук был свергнут, бежал на остров Ямайку, где и умер в 1867 году. На Гаити была восстановлена республика.

Стр. 233. *Каро* Эльм-Мари (1826—1887) — французский философ-идеалист, занимался вопросами философии религии.

Тайландье Рене-Гаспар-Эрнест (известный под именем Сен-Рене, 1817—1879) — французский историк литературы.

Стр. 234. *Вольтеровская набережная* — набережная на левом берегу Сены, на ней расположено много букинистических лавок. В доме № 9 находилась букинистическая лавка Франсуа Тибо — отца Анатоля Франса. Писатель описал ее в очерке «Потухший очаг», 1867 года.

Стр. 235. *Антиопа.* — Имеется в виду картина итальянского художника XVI века Антонио Корреджо «Сон Антиопы», находящаяся в Лувре.

Стр. 236. «*Федон*» — диалог древнегреческого философа-идеалиста Платона (IV век до н. э.). Диалог посвящен учению о бессмертии души и теории воспоминания. Согласно учению Платона смертное тело человека является темницей его души. Душа человека обладает способностью вспоминать о том времени, когда она находилась в мире идей, — в этом, по Платону, заключается процесс познания.

...меня погубил Сен-Прё. О Юлия! О Жан-Жак! — Сен-Прё и Юлия — герои романа французского писателя-философа XVIII века Жан-Жака Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1762). Сен-Прё — бедный молодой человек влюбляется в свою ученицу Юлию — дочь барона д'Этанж. Сословные предрассудки мешают счастью влюбленных.

Стр. 237. *Без Борджа общество угасает.* — Члены семьи Борджа сыграли большую роль в политической жизни Италии XV — начала XVI века. Папа Александр VI, его сын, герцог Цезарь Борджа, в борьбе за власть не останавливались ни перед какими средствами, прибегая часто к убийствам и отравлениям. В 1889 году в газете «Temps» Франс напечатал статью «Цезарь Борджа», позже она вошла в 4-ю серию книги «Литературная жизнь».

Стр. 240. *...сочинения Прудона, Кине, Кабе и Эскироса.* — Кине Эдгар (1803—1875) — французский политический деятель и историк. Принимал участие в февральской революции 1848 года. В своих исторических работах выступал противником клерикализма. Кабе Этьен (1788—1856) — французский утопический социалист, автор философско-социального романа «Путешествие в Икарию», где изображено общество, основанное на принципах коммунизма. Эскирос Анри (1814—1876) — французский писа-

тель-монархист (автор книги о Шарлотте Корде, убийце Марата).

«История Франции» — одна из основных работ историка Мишле (1798—1874). Семнадцатитомный труд «История Франции» (1833—1867) отличается своей публицистичностью, живостью и красочностью изложения.

Стр. 242. *...епископ Гозлен* — парижский епископ IX века, прославившийся при защите Парижа от норманнов.

Стр. 243. *Сомез* — Клод, французский филолог XVII века.

Стр. 243. *Катон Утический,* Марк Порций младший (95—46 до н. э.) — глава аристократической республиканской партии, боровшейся с Юлием Цезарем. Не желая пережить падение республики, Катон лишил себя жизни.

Стр. 244. *«Я в божий храм вошел предвечного молить»* — первая строчка трагедии Расина «Гофолия» (1691).

Стр. 251. *Кабанель* Александр (1823—1889) — французский художник, писал картины главным образом на исторические и мифологические сюжеты, стремясь к внешней эффектности и красивости.

Стр. 253. *Винкельман* Иоганн-Иоахим (1717—1768) — немецкий археолог и искусствовед, автор «Истории античного искусства».

Стр. 260. *Колардо* Шарль — поэт XVIII века, славился изяществом версификации и стиля.

Стр. 265. *Республика Сан-Доминго* — Доминиканская республика (бывшие испанские владения на о. Гаити), в 1844 году отделилось от государства Гаити. Император Фаустин I (см. прим. к стр. 229 — *Сулук*), желая объединить под своей властью весь остров, предпринял с 1849 по 1857 год четыре похода против республики Сан-Доминго, но без успеха.

Стр. 272. *...мудрую, как Ипатия...* — Ипатия — женщина-философ и математик, жившая в IV веке в Александрии.

Стр. 273. *Фонтенебло* — живописная местность в 59 км. к юго-востоку от Парижа. Лес Фонтенебло был излюбленным местом работы французских пейзажистов XIX века.

Стр. 284. *Ученые-бенедиктинцы* — члены монашеского ордена, основанного в VI веке. В средние века бенедиктинцы занимались главным образом перепиской богословских книг, среди них было много ученых богословов.

Стр. 288. *Батиньоль* — квартал в северной части Парижа, находящийся в противоположной стороне города от места жительства Реми, в Латинском квартале.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА

Слава пришла к Анатолю Франсу в 1881 году с выходом в свет его романа «Преступление Сильвестра Бонара, члена Института».

Роман в настоящем его виде возник не сразу. Вначале Анатоль Франс думал написать лишь небольшую повесть «Полено», но затем решил ее продолжить и начал работать над теперешней второй частью романа, которой он дал название «Дочь Клементины». Первые три главы этой второй части под заглавием «Фея» печатались в «Revue Alsacienne» в декабре 1879 и январе 1880 года. В этом же журнале в ноябре 1880 года появился отрывок «Очень старая история о любви, страничка из мемуаров Сильвестра Бонара, члена Института». Одно время Франс думал дополнить роман еще одним эпизодом, который под названием «Военная хитрость, рассказ, извлеченный из неопубликованных мемуаров Сильвестра Бонара, члена Института», был напечатан в ноябрьском номере «Jeune France» за 1880 год, но этот эпизод в состав романа не вошел; позже Франс частично использовал его для IX главы второй части «Книги моего друга».

Весь роман впервые увидел свет на страницах журнала «Nouvelle Revue» в декабрьских номерах 1880 и январском номере 1881 года. В апреле месяце этого же года роман вышел отдельным изданием у Кальман-Леви.

Вскоре после выхода в свет роману присуждается академическая премия. В постановлении Академии было записано: «Академия решила отметить почетной грамотой это тонкое и совершенное произведение, представляющее собой, как надо полагать, выдающееся явление литературы». Высокую оценку роману дали многие критики того времени: И. Тэн, Ж. Леметр, М. Вогюэ и другие.

Несмотря на успех романа, Франс продолжает над ним работать; им были внесены значительные изменения в издание 1902 года. В этом издании, «пересмотренном и исправленном», вторая часть романа получает название «Жанна Александр» вместо прежнего «Дочь Клементины». Желая еще больше отдалить в прошлое воспоминания Сильвестра Бонара о его юношеской любви, подчеркнуть трогательную бескорыстность отношения Сильвестра Бонара к Жанне, Франс делает ее внучкой, а не дочерью Клементины, тем самым еще увеличивая разницу в возрасте своих героев, Анатоль Франс очень тщательно редак-

тирует текст романа, исключая отдельные небольшие эпизоды, изменяя фразы, уточняя хронологические соответствия. Так, например, он вычеркивает описание самозабвенной молитвы г-жи Габри на могиле Клементины, значительно смягчает характеристику историка Мишле, опуская наиболее резкие упреки Жели по его адресу, имеющиеся в первой редакции. В издании 1923 года писатель опять вносит ряд изменений, касающихся главным образом дат дневниковых записей Сильвестра Бонара и хронологии отдельных событий романа. Франс приближает время действия романа к современности. Он относит действие второй части к 1874—1877 годам, запись последней страницы дневника датирует 1882 годом (раньше был 1869 год), соответственно изменяет даты и в первой части. К этому же роману Франс обращался еще и в 1918 году, когда в соавторстве с Пьером Фрондо написал пьесу «Преступление Бонара».

Создавая обаятельный облик Сильвестра Бонара, старого ученого, немного чудаковатого и даже иногда чуть смешного, но всегда верного своей большой любви к науке, Франс воплотил в нем некоторые черты Этьена Шараве (1848—1899), друга своего детства. Шараве, рано унаследовав издательское дело отца, стал издавать журналы для антикваров и любителей старины: «Любитель автографов», «Обозрение исторических документов», в которых сотрудничал молодой Анатоль Франс.

В книгу о днях и мыслях ученого входит социальная тема, осуждение законов и принципов буржуазного мира. Франс констатирует непримиримое противоречие между социальными законами и естественными законами справедливости и человечности.

В сатирических тонах рисует писатель представителей мира стяжательства, лжи и корыстолюбия — мадемуазель Префер и нотариуса Муша. Они уродливы как по своему внешнему виду, так и по своей внутренней сущности, им непонятна красота, юмор, они абсолютно чужды Сильвестру Бонару. Сильвестра Бонара привлекают иные люди, люди доброй души и тонкого чувства, которым свойственна искренняя, иногда даже наивная радость жизни. Таковы в романе г-жа Габри, г-жа Кокоз, она же княгиня Трепова, и, конечно, Жанна. Стремясь уйти от грубой действительности, от бытовой повседневности в мир мысли и духовных наслаждений, Сильвестр Бонар одновременно понимает неполноценность и ущербность своей позиции. Герои «Тощего кота» считали себя служителями чистого искусства и,

упиваясь этим, не ощущали своей никчемности, презирали жизнь. Сильвестр Бонар, отдавший сорок лет изучению христианской Галлии, тянется к жизни. Любовь к книгам не убила в его душе любви к людям.

Недавний парнасец, Франс приводит своего героя Сильвестра Бонара к мысли о том, что нельзя уйти от жизни, нельзя быть в ней только коллекционером редкостей, приводит его к признанию мудрости и благости жизни, ее естественных требований и законов. Образ героя гуманиста пройдет через многие произведения Франса и переживет сложную эволюцию. Куаньяр, Бержере, Ланжелье — все они близки Сильвестру Бонару, хотя им свойственен подчас бо́льший скептицизм, бо́льшая горечь иронии, а порой и уже бо́льшая активность во имя защиты принципов гуманизма (Бержере).

Особое место в книге занимает поэтическая тема Парижа, города, в котором древние камни «рассказывают чудесную историю Франции». Анатоль Франс, поэт Парижа, его старых набережных, древних церквей, певец Сены, нигде так ярко не проявил себя, как в этом романе, нигде так проникновенно и искренне не воспел своеобразную красоту этого города. Своего любимого героя Сильвестра Бонара Анатоль Франс поселил в центре Парижа, на левом берегу Сены, на набережной Малакэ, то есть в квартале, с которым связаны детские и юношеские воспоминания самого писателя.

Набережная Малакэ, так же как и набережная Вольтера, была местом оживленной букинистической торговли. В очерке «На набережной Малакэ» Франс писал в 1877 году: «Я вырос на этой набережной посреди книг, был воспитан скромными простыми людьми, о которых я теперь один еще вспоминаю».

Роман написан в форме дневника героя. Франс всегда будет любить свободную форму повествования, от первого лица и часто будет к ней обращаться («Харчевня королевы Гусиные Лапы», книги детских воспоминаний). Сильвестр Бонар то рассказывает о событиях дня, то уносится мыслью в далекое прошлое, увлекается каким-либо философским рассуждением. Все это создает ту непринужденность и простоту, которая является отличительной особенностью стиля этого произведения. В устах одинокого старого человека, которому многое понятно в жизни, вполне естественна ирония, пронизывающая страницы романа.

Франс с большим искусством пользуется юмором. Несоответствие торжественности речи ученого, его большой эрудиции

и незначительности факта, о котором он говорит, лежит в основе юмора, характерного для этой книги; достаточно вспомнить хотя бы речь Сильвестра Бонара, обращенную к коту Гамилькару, его глубокомысленное рассуждение о голосе красивых женщин.

В этом произведении Франс полностью освобождается от влияния натуралистического метода изображения человека, создает яркие реалистические образы, не лишенные иногда сатирической заостренности (мадемуазель Префер и г-н нотариус Муш). Анатоль Франс предстает в романе «Преступление Сильвестра Бонара» глубоким мыслителем, писателем, влюбленным в красоту жизни и человеческой мысли, мастером стиля, после трудных и разнообразных поисков и увлечений вышедшим на большую дорогу реалистического искусства.

Стр. 295. *Лувр династии Валуа.* — Лувр — старинный королевский дворец, заложенный в XIII веке. При Карле V Валуа (XIV в.) стал королевской резиденцией. После революции 1789—1794 гг. Луврский дворец превращен в Музей живописи и скульптуры.

Стр. 296. *«Acta sanctorum ученых боландистов».* — Боландисты — монахи, главным образом иезуиты, которые работали начиная с XVII века над составлением многотомных «Житий святых» (Acta sanctorum), продолжая труд, начатый антверпенским иезуитом Воландом (XVII век).

Палеография и дипломатика — вспомогательные исторические дисциплины. Палеография изучает историческую изменяемость письменности; по особенностям рукописи определяет датировку и происхождение письменного памятника. Дипломатика изучает исторические документы, определяет их подлинность.

Стр. 297. *Гомункул* (*лат.* Homunculus — человечек) — человеческое существо, якобы искусственно созданное алхимиками. Швейцарский врач и алхимик Парацельс (XVI в.) в одной из своих книг приводит даже рецепт изготовления гомункула. Здесь слово «гомункул» употреблено в переносном смысле — жалкий, смешной человек.

История Нельской башни с любовными приключениями Маргариты Бургундской и капитана Буридана. — Легенда о Нельской башне, многократно использованная в литературе, была связана с именем жены французского короля

Людовика X Маргариты Бургундской (нач. XIV в.): обвиненная в любовной связи с капитаном Буриданом, Маргарита была задушена по приказанию короля.

Любовь Элоизы и Абеляра — см. прим. к стр. 174.

Стр. 300. *Жанна д'Альбре* (XVI в.) — мать французского короля Генриха IV; в одной из легенд о Генрихе IV рассказывается, что во время родов Жанна д'Альбре пела народные песни.

Стр. 301. *Прозерпина* (у греков Персефона) — в античной мифологии богиня загробного мира, жена Плутона (у греков Аида).

Стр. 302. *Аббатство Сен-Жермен-де-Пре*— одно из старинейших французских аббатств, основанное в середине VI века королем Хильдебертом I из династии Меровингов. От всех строений аббатства сохранилась только церковь, находящаяся в центре Парижа, на левом берегу Сены.

Агиография — жизнеописание лиц, объявленных церковью святыми.

Полен Парис (1800—1881) — французский филолог, большой знаток истории средневековой французской литературы.

Кольбер Жан-Батист (1619—1683) — французский государственный деятель, министр. Людовика XIV. Кольбер был большим любителем старых книг, переписывался с издателями и библиофилами многих стран, ему принадлежало большое собрание рукописей, так называемая «Кольбертина», вошедшая впоследствии в основной фонд Национальной библиотеки.

Балюз Этьен (1630—1718) — французский историк, библиотекарь Кольбера, занимался собранием «Кольбертины».

Стр. 303. *Плеяда* — кружок поэтов французского Возрождения (XVI в.); сыграл большую роль в развитии французской национальной поэзии. Главой плеяды был Пьер Ронсар.

...изящный маскарад Ватто. — Ватто Жан-Антуан(1684—1721) — французский художник, изображавший на своих картинах главным образом придворные празднества, маскарады, сцены в парках, персонажей итальянской комедии масок.

...подбородник, морион. — Подбородник — часть старинного вооружения, закрывавшая горло и подбородок воина; морион — каска особой формы, употреблявшаяся в XVI—XVII веках.

Стр. 305. *Морери* Луи (1643—1680) — французский историк, автор «Большого исторического словаря».

Стр. 307. *Ватерлоо* — селение в Бельгии, близ которого 18 июня 1815 года союзниками была разбита армия Наполеона.

Поражение при Ватерлоо повлекло за собой окончательное крушение империи Наполеона I.

Стр. 310. *Луарский разбойник.* — Подобной эпитафией Аристид-Виктор Мальден хотел подчеркнуть свою верность Наполеону I. В 1815 году, после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо, последние ее остатки под командованием маршала Даву отошли на Луару, где были интернированы союзниками, а потом распущены. Прототипом дяди Виктора послужил писателю его дед с материнской стороны — Дюфур, бывший некогда сержантом наполеоновской армии.

Триумфальная арка — воздвигнута в Париже в честь побед наполеоновских войск. Ее строительство, начатое при Наполеоне, было закончено в 1836 году. Под сводами арки начертаны имена трехсот восьмидесяти шести генералов, принимавших участие в войнах Республики и Империи.

Стр. 312... *один поэт сказал: «Ребенок, не видевший улыбки своей матери, недостоин ни стола богов, ни ложа богинь».* — Сильвестр Бонар вспоминает два последних стиха 4-й эклоги Вергилия из книги «Буколики».

Стр. 313. *Шекспир, закончив третье действие «Зимней сказки»...* — В «Зимней сказке» Шекспир вводит хор, поющий от имени всемогущего Времени. Перед началом IV акта хор поет о том, что между III и IV актом прошло шестнадцать лет и произошло много событий, выросли дети, изменились люди. Пэрдита — дочь героя «Зимней сказки» короля Леонта.

Елена, Франческа, Юлия, Джульетта, Доротея — имена женщин, прославленных в литературе. — Елена *(греч. миф.)* — жена Менелая, царя Спарты. Ее похитил Парис, сын троянского царя, что явилось причиной Троянской войны. Елена воспета Гомером в «Илиаде» и Еврипидом в трагедии «Елена». — Франческа (да Римини) — трагическая судьба Франчески, любившей юношу Паоло и обманом выданной замуж за его старшего брата, герцога Малатеста, послужила сюжетом известного эпизода V песни первой части («Ад») «Божественной Комедии» Данте. — Юлия — героиня романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». — Джульетта — трагическая история любви Ромео и Джульетты рассказана в одноименной трагедии Шекспира. — Доротея — героиня поэмы Гете «Герман и Доротея».

Стр. 316. *«Дай мне теперь, Аретуза, труд мой исполнить конечный»* — начало десятой эклоги Вергилия из книги «Буко-

лики». Аретуза — нимфа, именем которой назван источник в Сицилии; миф об Аретузе рассказан в «Метаморфозах» римского поэта Овидия (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.).

Стр. 319. *Подобные советы давал своим друзьям и Гораций.* — Римский поэт Квинт Гораций Флакк (65 г. до н. э. — 8 г. н. э.) воспевал наслаждение жизнью, ее кратковременные радости.

Постум — лицо, к которому обращается Гораций в 14-й оде второй книги. Неизвестно, реальный ли он персонаж, или нет.

Левконоя — неизвестная, которой посвящена 11-я ода первой книги Горация. Поэт упрекает Левконою за ее стремление познать тайну будущего и призывает ее радоваться настоящему. Образ Левконои очень интересовал Франса. В 1875 году он опубликовал в газете «Temps» очерк «Женщины Горация». Левконое он посвятил также одноименную поэму, опубликованную в 1876 году в одном томе с «Коринфской свадьбой». Франс считал, что неудовлетворенность жизнью и сомнения, подобные тем, которые переживала Левконоя, явились благодатной почвой для распространения раннего христианства.

Стр. 321. *Филипп Бергамский* — итальянский летописец (1434—1520). Ему принадлежат биографии знаменитых женщин, в том числе Жанны д'Арк (Орлеанской девы).

Стр. 322, *...две недели, как я в Сицилии.* — Для описания Сицилии, в которой Франс не был, он использовал статьи Ренана «Двадцать дней в Сицилии», опубликованные в 1875 году в журнале «Revue des Deux Mondes».

Стр. 323. *Стихи афинского поэта.* — Ниже приведены строки из пролога к трагедии «Антигона» древнегреческого поэта Софокла (V в. до н. э.).

Стр. 326. *Гарибальди и Мадзини* — герои национально-освободительной борьбы в Италии в XIX веке. Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — народный герой Италии, один из вождей итальянской революционной демократии; Мадзини Джузеппе (1805—1872) — основатель тайного республиканского общества «Молодая Италия» (1831).

Сбиры (итал.) — презрительная кличка полицейских агентов.

Агригент — древнее название города Джирдженти на южном берегу Сицилии, основанного около 600 г. до н. э. Город славился множеством великолепных храмов.

Эрикс — древнее название горы Монте Сан-Джульяно в Сицилии. Так же назывался в древности и город, расположен-

ный у подножия горы. По преданию, в Эриксе находился знаменитый в древности храм Афродиты Эрицианской, построенный якобы основателем города — Эриксом, сыном Афродиты.

Величие античной Цереры еще реет над этими бесплодными холмами, — Церера (у греков Деметра) — богиня земли и земного плодородия. Культ Деметры (Цереры), очень распространенный в Греции, был затем перенесен и в Сицилию, славившуюся в древности своим плодородием. Здесь отмечался ряд праздников в честь Деметры (Цереры) и ее дочери Персефоны (Прозерпины).

Стр. 328. *Вода, божественная Нестис, агригентца Эмпедокла...* — Эмпедокл (V в. до н. э.) — древнегреческий философ, врач и поэт, родом из Агригента, в своей философии признавал четыре основных стихии, которые обожествлял, соединяя их с именами богов: Зевс (эфир), Гера (земля), Андоней (огонь) и Нестис (вода).

Стр. 330. *Джулио Кловио* (1498—1578) — итальянский миниатюрист, иллюстрировал книги религиозного содержания. Его миниатюры славились тонкостью рисунка и богатством красок.

Стр. 334 *...стих старого поэта: «Блажен, кто, как Улисс, прекрасный путь окончил».* — Начальная строка сонета Жоашена дю Белле (XVI в.), одного из поэтов «Плеяды». Дю Белле, проживший долгое время вдали от Франции, выразил в этом сонете глубокую тоску по родине.

Стр. 335. *Экземпляр часослова Симона Вотра.* — Вотра — известный французский издатель XV века, издававший молитвенники с многочисленными гравюрами.

Витрувий (I в. до н. э.) — знаменитый римский архитектор, оставил обширный трактат «Об архитектуре» в десяти книгах. Во французском издании Витрувий (XVII в.) была сделана попытка восстановить чертежи и рисунки автора.

Кариатиды и теламоны — распространенные в античной архитектуре фигуры, игравшие роль колонн или опор, поддерживающих выступающие части здания. Кариатиды — женские фигуры; теламоны — мужские. В своих работах Витрувий очень часто применял кариатиды и теламоны.

Стр. 336. *Инкунабулы.* — Так называются первопечатные книги, напечатанные до 1500 года, по внешнему виду они еще походили на рукописные. Сохранилось несколько десятков тысяч инкунабулов.

Стр. 338. «Иудейская война» — труд иудейского историка Иосифа Флавия (I в.).

Стр. 340. *...то не заплаканный Амур, а я не старик Анакреон.* — Имеется в виду ода «Посещение Эрота», ошибочно приписываемая древнегреческому поэту Анакреону (VI в. до н. э.): ночью к поэту стучится промокший ребенок Эрот (Амур), поэт отогревает его, но тот стрелой ранит его в сердце.

Стр. 345. *...пэра Франции с 1842...* — Звание пэра было восстановлено в 1814 году, во время Реставрации. Палата пэров состояла из назначаемых королем наследственных членов. После революции 1830 года была уничтожена наследственность пэров и обновлен состав палаты пэров.

Стр. 347. *...что он вернется к пасхе или к троице... как то поется в песне.* — Имеется в виду французская шуточная народная песенка «Мальбрук в поход собрался», высмеивающая английского полководца начала XVIII века герцога Мальборо.

Стр. 348. *Телемиты* — жители Телемского аббатства, описанного в романе французского писателя эпохи Возрождения Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Пользуясь абсолютной свободой, телемиты никогда не следят за временем. Телем — воплощение гуманистической мечты Рабле о совершенном и счастливом человеческом обществе.

Всем нам, как старику в басне, ...надо добавлять к нашей постройке одно крыло. — Имеется в виду басня Жана Лафонтена «Старик и смерть»: столетний старик упрашивает смерть дать ему еще немного времени для завершения всех дел; ему надо составить завещание, достроить флигель своего дома и т. д.

Стр. 349. *Пальмирские храмы* — мраморные храмы Пальмиры, города древней Сирии, разрушенного в III веке римлянами.

Стр. 351. *Картуларий* — в средние века сборник юридических церковных грамот и описаний монастырских земельных владений.

Стр. 354. *Г-жа Рекамье* Юлия-Аделаида — хозяйка известного парижского салона в начале XIX века. В годы империи Наполеона I ее салон был одним из центров монархистов.

Ампер Жан-Жак-Антуан (1800—1864) — историк и филолог.

Стр. 355. *Гиппогриф* — сказочное животное, полулошадь-полуптица; упоминается в поэме итальянского поэта XVI века Людовико Ариосто «Неистовый Роланд».

Стр. 364. *Терраса Люксембургского дворца.* — Люксембургский дворец был построен в начале XVII века для королевы Марии Медичи, матери Людовика XIII, архитектором Дебросом. Дворец расположен недалеко от здания Французской академии и от набережной Малакэ, где живет Сильвестр Бонар. К дворцу примыкает сад, расположенный террасами.

Готье де Куэнси (1177—1236) — французский поэт, монах, автор религиозных песнопений и легенд.

Стр. 364. *...в тех гомеровских стариках, которые по слабости держались вдалеке от боя...* — Имеется в виду описание боя между греками и троянцами в III песне «Илиады» Гомера.

Стр. 365. *...приехал ли каждый из них в трех лодках, как обезьяна Лафонтена.* — В басне Лафонтена «Обезьяна и леопард» обезьяна, зазывая зрителей к себе в балаган, хвастливо заявляет, что она приехала в город на трех лодках.

...Архивная школа — учебное заведение, готовящее архивариусов, текстологов, библиотекарей. Анатоль Франс хорошо знал эту школу, так как там учились многие его друзья, в том числе Этьен Шараве и Фернанд Кальметт.

Стр. 366. *Улица Паради-о-Марэ.* — На ней помещалось здание Архивной школы.

Стр. 367. *Дом Жермен.* — Дом, от латинского слова dominus (господин), — звание, которое давалось некоторым влиятельным членам ордена бенедиктинцев. Жермен Мишель (XVII в.) — автор «Истории монастырей бенедиктинского ордена».

Куражо Луи (1841—1896) — историк искусства.

Тамизе де Ларок (1828—1898) — филолог, издатель старинных рукописей.

Стр. 368. *Кишра* Жюль (1814—1882) — археолог, знаток древних рукописей.

Стр. 371. *Рейналь и Мабли.* — Рейналь Гийом (1713—1796) — деятель Просвещения, автор книги «Философская и политическая история учреждений и торговли европейцев в обеих Индиях» (1772), проникнутой ненавистью против рабства и колониализма. Мабли Габриэль (1709—1785) — утопический коммунист, ученик Руссо.

Стр. 372. *Декре* Дени — морской министр при Наполеоне I.

В то время морской департамент проявлял большую деятельность. — В 1804 году Наполеон готовил флотилию для вторжения в Англию (так называемый Булонский поход). Планы Наполеона были сорваны поражением французской

эскадры под командованием адмирала Вильнева при Трафальгаре (1805).

Стр. 373. *Трехцветная кокарда* (сине-красно-белая) — эмблема Французской республики; во время Реставрации, при Бурбонах (1814—1830), ношение трехцветной кокарды было запрещено.

...литографий Шарле... — Шарле Никола-Тусен (1792—1846) — французский рисовальщик и литографщик; особенной известностью пользовались его сцены из военной жизни.

«Котидьен» или «Белое знамя» — газеты монархического направления, тесно связанные с Конгрегацией — организацией аристократии, руководимой иезуитами, стремившейся к усилению политической реакции в стране и укреплению власти Бурбонов.

Стр. 374. *...он мне рассказывал о короле Ивето, как о нем поется в песне.* — Король Ивето — легендарный король, по преданию некогда царствовавший в Ивето (местность в Нормандии); его имя стало нарицательным для обозначения веселого, миролюбивого и добродушного короля после появления в 1813 году песенки «Король Ивето», написанной Беранже и содержавшей сатирические намеки на завоевательную политику Наполеона I.

Маршал Ней (1769—1815) — один из маршалов Наполеона. Во время Ста дней, когда Наполеон вернулся с острова Эльбы, Ней стал на его сторону; после вторичного отречения Наполеона Ней был арестован и расстрелян в Париже.

Денон Доминик — гравер, был одно время главным директором парижских музеев. «У г-на Денона» — т. е. в музее.

Стр. 375. *...в заговоре Жоржа... на жизнь первого консула...* — Имеется в виду Жорж Кадудаль — один из главарей контрреволюционных мятежей во время французской революции XVIII века, участник монархического заговора против первого консула — Наполеона Бонапарта в 1800 году.

Стр. 376. *Мильтиад* Младший (V в. до н. э.) — афинский полководец времени греко-персидских войн. Под командованием Мильтиада афинское ополчение одержало победу над персами в битве при Марафоне (490 г. до н. э.).

Фемистокл — афинский государственный деятель (V в. до н. э.). В 480 г. до н. э. греческий флот под руководством Фемистокла одержал победу над персидским флотом у острова Саламин.

Фабий Максим Квинт (III в. до н. э.) — римский полководец; во время 2-й Пунической войны был назначен диктатором. В борьбе с карфагенским полководцем Ганнибалом, вторгшимся в Италию, следовал осторожной тактике, стараясь затягиванием войны ослабить врага, за это он был прозван Кунктатор (то есть медлитель).

Стр. 377. *...Марию, сидевшему среди развалин Карфагена...* — Марий (156—86 до н. э.) — римский военачальник и консул, противник Суллы; некоторое время скрывался от его преследований среди развалин Карфагена.

Стр. 378. *Мармонтель* Жан-Франсуа (1723—1799) — французский писатель; ему принадлежат два философско-просветительских романа на исторические темы: «Велизарий» и «Инки».

...в эпоху Авраама, Менеса и Девкалиона — то есть в очень древние времена. Авраам — по библейскому преданию, родоначальник еврейского народа; Менес — первый египетский фараон, объединил Верхний и Нижний Египет ок. 3000 г. до н. э.; Девкалион — согласно греческому мифу спасся с женой Пиррой от потопа, ниспосланного Зевсом, и создал новый человеческий род из камней.

Стр. 379. *...арфа Давида была разбита, и Саул предался своей ярости.* — Согласно библейской легенде юноша Давид успокаивал игрой на арфе припадки ярости и меланхолии израильского царя Саула.

Стр. 381. *Араго* Доминик-Франсуа (1786—1853) — известный физик, совершивший ряд важных открытий в области астрономии, оптики, электромагнетизма и т. д.

Капитан Кук Джемс (XVIII в.) — английский мореплаватель, совершивший три кругосветных плавания. Обследовал Австралию, Гаити, Новую Зеландию. Оставил красочные описания своих путешествий.

Стр. 392. *Песенка о Ла Палисе* — французская народная песенка о господине Ла Палисе, погибшем в битве при Павии в 1525 году. Строчки этой песни:

Минут за десять до смерти
Он совсем еще был жив, —

приобрели впоследствии комическое звучание, как выражение прописной истины.

Стр. 395. *Петер Шефер* (XV в.) — помощник Иоганна Гут-

тенберга, изобретателя книгопечатания при помощи подвижных букв, один из первых типографов.

Стр. 396. *Амбруаз Парэ* — известный французский хирург XVI века, много сделал для лечения огнестрельных ран, стал впервые удачно применять перевязку артерий.

Стр. 397. *Пти-Радель* Луи-Шарль (1756—1836) — французский археолог.

«Октавий, рассуди, уместен ли твой ропот. За что щадить того, кто беспощаден сам!» — реплика Октавиана Августа из трагедии Корнеля «Цинна» (1640).

Шпренгель Христиан-Конрад (1750—1816) — немецкий ботаник.

Стр. 399. *...чудака Кризаля, который прятал галстуки в толстые тома Плутарха.* — Кризаль — персонаж комедии Мольера «Ученые женщины», патриархальный буржуа.

Стр. 404. *Гельвеций* Клод-Адриен (1715—1771) — французский просветитель, философ-материалист, автор книги «Об уме» (1758).

Я еще могу и без нее поднять свою вязанку — то есть еще могу жить а работать. Здесь имеется в виду басня Лафонтена «Дровосек и смерть». Дровосек, измученный старостью и нищетой, зовет Смерть. Когда же она появляется, испуганный дровосек говорит, что звал Смерть лишь для того, чтобы она помогла ему поднять вязанку хвороста.

Стр. 408. *...по учению Платона ставит ее на высшую ступень в иерархии душ.* — Платон — древнегреческий философ-идеалист (427—347 до н. э.). Согласно теории воспоминаний Платона познание истины достигается лишь воспоминаниями души о том, что она видела в мире идей до вселения в человеческое тело. В зависимости от того, насколько глубоко души созерцали идеи, они, по Платону, образуют на земле иерархию от душ мудрых и благородных до низменных, погруженных лишь в чувственные удовольствия.

Стр. 412. *...как неразумному Тезею, какой-то голос говорит тебе...* — Имеется в виду трагедия Расина «Федра» (1677). Действие V.

Стр. 416. *...Виргинии, уцелевшей при кораблекрушении...* — Героиня романа-идиллии Бернардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния» (1787) Виргиния погибает при кораблекрушении.

Стр. 419. *...с невинной грацией шарденовской хозяйки...* — Жан-Батист-Симон Шарден (1699—1779) — французский худож-

ник, писавший сцены из жизни буржуазии, поэтизировавший обыденную жизнь. Известны его многочисленные жанровый картины: «Прачка», «Трудолюбивая мать», «Молитва перед обедом» и другие.

Стр. 420. *Фульский король хранил золотой кубок...* — Имеется в виду баллада Гете о фульском короле (1774), позже включенная им в трагедию «Фауст». Фула — у древних римлян сказочная страна где-то на севере Европы.

Сарматский вкус — то есть грубый вкус.

Стр. 426. *...самый трогательный из учеников Жана Фуке...* — Жан Фуке (1415—1480) — французский живописец и миниатюрист.

...опоясанный веревкой сынов св. Франциска... — Имеются в виду монахи-францисканцы, последователи Франциска Ассизского, итальянского мистика конца XII — начала XIII века. Устав Францисканского ордена предписывал его членам жизнь, полную лишений и нужды, они должны были носить самую простую одежду.

Стр. 428. *Пирроник* — последователь древнегреческого философа-скептика Пиррона (III в. до н. э.). Согласно учению Пиррона ко всему окружающему нужно относиться с полным безразличием.

Стр. 429. *Арган* — персонаж из комедии Мольера «Мнимый больной», отличающийся крайней мнительностью.

Стр. 432. *Ролен* Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог.

Академические пальмы — нагрудный знак, учрежденный в 1808 году для награждения ученых, имеющих большие заслуги в развитии высшего образования и науки.

Стр. 439. *«Жирар Русильонский»* — средневековая эпическая поэма, написанная на франко-провансальском диалекте около 1170 года.

Капитулярий (VIII—X вв.) — в раннюю феодальную эпоху, главным образом при Каролингах, королевские указы.

Стр. 440. *...не знаете кодекса Наполеона!* — В 1804 году Наполеон ввел Гражданский кодекс — свод законов, юридически закрепивший победу буржуазных отношений во Франции. Кодекс Наполеона явился основой последующего французского законодательства.

Стр. 441. *...как сказано в «Тристане».* — Имеется в виду легенда о любви Тристана и Изольды, послужившая основой для ряда средневековых рыцарских романов.

Стр. 444. *Поль Мейер* (1840—1917) — французский историк литературы и лингвист, специалист в области романских языков.

Стр. 445. *...вступаю в середину трагедии Софокла.* — Речь идет о трагедии Софокла «Антигона». Сильвестр Бонар имеет в виду хор фиванских старцев из этой трагедии.

Стр. 446. *Слепой старец, царь-нищий долго бродил, держась за Антигону...* — Речь идет о трагедии Софокла «Эдип в Колоне»: покинув Фивы, слепой Эдип, после долгих блужданий в сопровождении любящей дочери Антигоны, находит убежище в священной роще Колона, близ Афин, где и умирает, прощенный богами.

Изограф — писец, точно воспроизводящий все особенности рукописи, ее заставки, буквицы, рисунки и т. д.

...великие Фориели и Тьерри. — Фориель Клод (1772—1844) и Тьерри Жан-Никола (1795—1856) — французские историки буржуазно-либерального направления.

Стр. 449. *Скриб* Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург; его пьесы отличаются искусно запутанной интригой, неожиданными эффектными сценами, сложными перипетиями.

Парни Эварист-Дезире (1753—1814) — французский поэт, в творчестве которого большое место занимали эпикурейские мотивы.

Стр. 452. *...отца Люции и Пертской красавицы...* — то есть Вальтер Скотта (1771—1832). Люция — героиня его романа «Ламмермурская невеста» (1819); роман «Пертская красавица» написан в 1828 году.

Стр. 453. *Будь счастлив, Кассандр! Возвеселись, Бартоло!* — Кассандр и Бартоло — литературные типы опекунов; Кассандр — см. прим. к стр. 151. Бартоло — ревнивый опекун Розины из комедии Бомарше «Севильский цирюльник» (1775).

Стр. 457. *Броль* — деревушка недалеко от Фонтенебло. Для Анатоля Франса эта деревушка связана с его другом Шараве, который одно время там жил. (См. комментарий к роману «Преступление Сильвестра Бонара» стр. 637).

...сказка о синей птице. — Имеется в виду волшебная сказка, принадлежащая перу французской писательницы Мари д'Онуа (ум. в 1705 г.) — «Синяя птица».

И. Лилеева

КНИГА МОЕГО ДРУГА

«Книга моего друга» (1885) открывает собой тетралогию А. Франса, которую принято называть автобиографической. (В ее состав входят также «Пьер Нозьер» — 1889, «Маленький Пьер» — 1918, и «Жизнь в цвету» — 1922.)

Все четыре книги объединены общей темой и общими героями и несомненно содержат личные воспоминания А. Франса; однако автобиографичность этого цикла весьма условна, и исследователи неоднократно отмечали несовпадения и противоречия между фактами жизни писателя, характерами окружавших его в детстве людей и отображением всего этого в книге. Тетралогия А. Франса представляет, конечно, не биографический, а самостоятельный художественный интерес.

Мир детства для А. Франса — это гуманистический мирок, как бы отделенный от социальной действительности, подобно миру науки, в котором живет оторванный от практической жизни ученый Сильвестр Бонар; в сфере детства царят простые и чистые человеческие чувства, не замутненные еще неправдой и злом жизни. Не случайно чудак-академик Бонар и неопытная девочка Жанна Александр так хорошо понимают друг друга.

В «Книге моего друга» Франс использует тот же сатирический прием, что и в «Преступлении Сильвестра Бонара»: желая подчеркнуть нелепость жизненных порядков, он показывает действительность преломленной сквозь неискушенное сознание ребенка, как раньше показывал ее через восприятие не приспособленного к жизни ученого.

С другой стороны, писателя привлекает поэтическая атмосфера детства как такового, чистота и непосредственность ребенка, свежесть восприятия им мира.

Именно этим определяется особая авторская интонация в книге, теплый, задушевный тон повествования, мягкий юмор, которые сменяют здесь обычную для Франса рассудочность, злую иронию и открывают читателю другую грань его дарования. В этом смысле «Книга моего друга» связана со стилизованными раннехристианскими легендами, созданными Франсом в те же 80-е годы и позднее собранными в книге «Перламутровый ларец». Писатель ласково улыбается там простодушной поэзии детства человечества, так же как в «Книге моего друга» — детству человека.

Еще ближе в глазах А. Франса связывается детство с поэтическими образами народных сказок. «Самая совершенная поэзия — это поэзия детства народов», — пишет он.

В главах «Книги моего друга», посвященных волшебным сказкам, своеобразно преломляется протест писателя против холодного буржуазного практицизма, с точки зрения которого мир сказки — мир мечты, красоты, бескорыстных чувств, высоких подвигов — кажется «нелепостью». А. Франс горячо вступается за право человека «фантазировать, чувствовать, любить». Маленькие герои «Книги моего друга» тем и дороги писателю, что они погружены в эту поэтическую атмосферу. Их душевный мир омрачается при соприкосновении с социальной действительностью.

Во второй половине XIX века многие французские писатели обращались к теме д е т с т в а, — достаточно напомнить Гавроша и Козетту в романе В. Гюго «Отверженные», «Детство» Ж. Валлеса, «Малыша» и «Джека» А. Доде, «Рыжика» Ж. Ренара; огромное место занимала эта тема в творчестве столь любимого Франсом английского писателя Диккенса; она ставилась преимущественно в социальном плане, как тема формирования личности в условиях буржуазного общества, тема воспитания, определяющего лицо человека и его общественную судьбу.

А. Франс подошел к теме детства по-своему и ограничил себя более узким кругом наблюдений, но все же он не прошел в «Книге моего друга» мимо гуманистической литературной традиции своего времени в изображении детства. Правда, социальная действительность буржуазной Франции еще весьма осторожно вводится автором в книгу, но все же входит в нее вместе с историей Златоокой Марсели, с бедным мальчиком Альфонсом, а главное — со школой.

Все эпизоды книги, рисующие жизнь школы, — пансион сентиментальной мадемуазель Лефевр, воспоминания об аббате Жюбале и учителе-монахе Шотаре — заставляют подумать о Диккенсе (так же как описание пансиона мадемуазель Префер в «Преступлении Сильвестра Бонара»). Здесь тот же обличительный гротеск в изображении учителей, то же желание защитить ребенка от уродливых форм воспитания, от бессердечия и невежества.

«Книга моего друга» многими нитями связана с другими произведениями Франса того же времени. Мы находим в ней обычные насмешки над церковниками (в данном случае над учите-

лями-монахами), преклонение перед античностью, мягкую иронию по отношению к легендам раннего христианства (глава «Пустынь Ботанического сада»). Мы встречаемся здесь с характерным для Франса возвращением к одним и тем же сюжетам, как бы скользящим из произведения в произведение. Так, эпизод из главы «Бабушка Нозьер», в котором молодая женщина прячет в своей постели учителя танцев от преследования санкюлотов, перешел в неоконченный роман «Алтари страха», а оттуда — в сборник новелл «Перламутровый ларец» (новелла «Госпожа де Люзи»); эпизод «Джесси» варьирует финальную ситуацию «Преступления Сильвестра Бонара»; непосредственно примыкает к «Книге моего друга» цикл рассказов «Наши дети» (1888) и т. д. «Книга моего друга» создавалась в течение нескольких лет, автор использовал для нее многие эпизоды, отрывки, новеллы, написанные им ранее и первоначально имевшие характер самостоятельных произведений. Часть из них была в предыдущие годы напечатана в периодической прессе. Так, «Златоокая Марсель» впервые появилась в 1884 году в газете «Nouvelle Revue», а потом была перепечатана в журнале «Jeune France» под названием «Крестный сын феи»; эпизод «Последние слова Деция Муса» перенесен автором в «Книгу моего друга» из новеллы «Стратагема», опубликованной в «Jeune France» в 1880 году. «Книга Сюзанны» печаталась в «Revue Bleue» и в других журналах в течение 1882 года; эпизоды из «Друзей Сюзанны» тоже относятся к более ранним годам: «Андре» взят из предисловия к первому изданию «Иокасты» и «Тощего кота» (1879), «Пьер» был напечатан под названием «Овчарня» в «Jeune France» в 1883 году, «Джесси» — в журнале «Magazin Pittoresque» в 1882 году. Вопрос о волшебных сказках занимал А. Франса в течение всей первой половины 80-х годов. Главные места из «Разговоров о волшебных сказках», включенных в «Книгу моего друга», были опубликованы еще в 1881 году в журнале «Les Entrennes aux Dames» под названием «Сказки Матушки-Гусыни», а глава «Библиотека Сюзанны» — в 1883 году в «Jeune France» под названием «Книги для детей».

Новеллистическое построение «Книги моего друга» бросается в глаза; оно характерно и для других произведений Франса первого периода.

Стр. 465. *...Павла, переносящего Виргинию на руках через Черную реку.* — Имеется в виду иллюстрация к роману Бер-

нардена де Сен-Пьера «Павел и Виргиния» (см. прим. к стр. 416).

Стр. 466. *...твердой иглой лотарингца Калло...* — Жак Калло (первая половина XVII в.) — французский гравер и рисовальщик, мастер своеобразного реалистического гротеска, передававшего общественные контрасты того времени.

Стр. 473. *...детей короля Эдуарда.* — Здесь и далее имеется в виду эпизод из английской истории, многократно использованный в литературе, в частности Шекспиром в хронике «Король Ричард III», и французским драматургом Казимиром Делавинем (1793—1843) в трагедии «Дети короля Эдуарда». После смерти (или убийства) английского короля Эдуарда IV брат его Ричард Глостер заключил в башню замка Тауэр, а затем велел убить двух его малолетних сыновей как претендентов на престол и своих соперников.

Стр. 474. *...словно ты сейчас только сошел с плота «Медузы».* — В 1816 году французский корабль «Медуза» потерпел крушение; из ста сорока восьми пассажиров, пытавшихся спастись на лодках и плотах, осталось в живых девять. Это событие запечатлено в известной картине французского художника Жерико «Плот Медузы».

Стр. 479. *...что мне рассказывали о проклятых детях, когда я рассматривал картинки в нашей старой библии.* — По библейской легенде пророк Елисей проклял деревенских детей, дразнивших его «плешивым», и они были растерзаны медведями.

Стр. 492. *Король Ивето* — см. прим. к стр. 374.

Стр. 495. *...подобно Бувару включит в свою коллекцию... виселицу...* — В сатирическом романе Флобера «Бувар и Пекюше» (издан посмертно, в 1881 г.) герои устраивают в своем доме археологический музей, среди лженаучных экспонатов которого имеется балка, выданная продавшим ее столяром за старинную виселицу.

...веревочная лестница Латюда. — Латюд (1725—1805) был заключен в Бастилию по приказу фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур и просидел в парижских тюрьмах тридцать пять лет. В 1756 году вместе с другим заключенным он бежал из тюрьмы при помощи веревки с узлами и самодельной деревянной лестницы, но был пойман и вновь водворен в тюрьму.

Стр. 501. *...которого ценил Кабанис.* — Кабанис Пьер Жан-Жорж (1757—1808) — французский философ, близкий к вульгарному материализму, врач.

...последователь Жан-Жака. — Жан-Жак — французский революционный писатель-просветитель Жан-Жак Руссо (1712—1778).

Стр. 502. *Рейналь* — см. прим. к стр. 371.

Стр. 508. *...галоп лошадей конных нарочных, рассылаемых Анрио.* — Анрио Франсуа (1761—1794) — главнокомандующий парижской национальной гвардией.

Стр. 509. *...бабушка была «синей»...* — «Синими» — по цвету их одежды — называли в период французской буржуазной революции конца XVIII века республиканских солдат в противоположность «белым» (по цвету их знамени) — монархистам. Позднее «синими» стали называть умеренных республиканцев в противоположность «красным» (социалистам) и «белым» (легитимистам, то есть сторонникам «законной» династии Бурбонов).

«Монитер» — в период французской буржуазной революции конца XVIII века официальная газета, дававшая отчет о политических событиях.

Стр. 519. *...как умер шевалье д'Ассас...* — Капитан Шевалье Луи д'Ассас — герой легенды, которая приводится Вольтером в его сочинении «Век Людовика XIV»: 16 октября 1760 года в сражении при Клостеркампене (во время Семилетней войны) капитан д'Ассас, окруженный вражескими солдатами, несмотря на их угрозы, громко закричал: «Ко мне, овернцы, здесь враги!» — и упал под градом вражеских ударов.

Стр. 521. *...среди копий, лат... прихрамывая словно Вулкан...* — По античному мифу, бог Гефест (у римлян Вулкан) родился таким некрасивым, что мать в досаде сбросила его с небес на землю, отчего он и охромел. Вулкан считался искусным кузнецом, изготовлявшим оружие для богов и героев.

Стр. 522. *...страницу из «De Viris»...* — «De Viris» — «Жизнеописания (знаменитых) мужей». Очевидно, имеется в виду школьная хрестоматия, составленная на основе старой латинской книги, широко распространенной в средние века в качестве учебного пособия и содержавшей жизнеописания знаменитых деятелей античности.

Стр. 524. *...Меровей «Лютецию сберег».* — Меровей (первая половина V в.) — по преданию, основатель первой династии франкских королей Меровингов; Лютеция — древнее название Парижа.

Стр. 530. *...преступления в древнем роде Атридов* — По греческому мифу, род Атридов, к которому принадлежали

герои Агамемнон и Менелай, был проклят богами за кровавые злодеяния и братоубийства, совершенные их предками.

Последние слова Деция Муса. — Деций Мус Публий (IV в. до н. э.) — римский полководец, по преданию пожертвовал жизнью ради победы Рима над врагами.

...разрозненного... Тита Ливия. — Тит Ливий (59 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — крупнейший историк древнего Рима.

Стр. 531. *...после «трех славных дней» народ-победитель...* — Имеются в виду дни Июльской революции 1830 года (27—29 июля). Воспользовавшись плодами народной победы над дворянской монархией Бурбонов, буржуазия навязала Франции своего ставленника, короля Луи-Филиппа Орлеанского.

...вел к Филиппам армию Брута. — Битва при Филиппах (42 г. до н. э.) — решающее сражение между войсками Брута и Кассия с одной стороны, Октавиана и Антония — с другой, предрешившее победу в Риме империи над сенатской республикой.

...сражался вместе с Леонидом при Фермопилах... — Здесь и далее упоминаются события из истории древней Греции и Рима, которые дают примеры высокой воинской доблести. Фермопилы — горное ущелье, прославленное героической защитой его в 480 г. до н. э., во время греко-персидских войн, тремястами спартанских воинов под предводительством царя Леонида. Спартанцы все погибли в этом сражении. *Саламинский бой* — морское сражение, произошедшее в том же году; решило победу над персами. Битва при *Каннах* (216 г. до н. э.), в Апулии — сражение, в котором карфагенский полководец Ганнибал наголову разбил римлян. Среди погибших был консул *Эмилий Павел.* За год до этого (217 г. до н. э.) Ганнибал нанес тяжелое поражение римлянам в Этрурии, на берегу *Тразименского озера.* Сражение при *Фарсале* произошло в 48 г. до н. э., во время гражданской войны в Риме, между Юлием Цезарем и Помпеем. *Вар* — римский наместник, павший вместе со своими воинами в сражении с вождем германского племени херусков Арминием (или Германом) в Тевтобургском лесу, представлявшем собой часть обширных *Герцинских лесов* (9 год н. э.); это сражение положило конец римскому владычеству на правом берегу Рейна. *Эгос-Потамос* — река во Фракии, в устье которой в 405 г.

до н. э. произошло сражение между афинянами и спартанцами, решившее исход Пелопонесской войны в пользу Спарты. *Нумансия*— древний город в Испании, взятый и разоренный римлянами в 133 г. до н. э. По преданию, жители города предпочли позорному плену массовое самоубийство.

Стр. 532. *...комментируя текст Элиана...* — Имеется в виду, очевидно, Клавдий Элиан, греческий писатель, живший в Риме при Септимии Севере (II—III в.).

Стр. 537. *...наивные ребусы на... решетке старых распивочных заведений... то айву, то комету...* — Изображение айвы или яблока на вывесках распивочных — намек на продававшийся там яблочный сидр; «Комета» — марка шампанского, широко рекламировавшаяся после появления в 1759 году кометы Галлея.

Стр. 538. *Представляете вы себе Терсита...* — Терсит — персонаж «Илиады» Гомера: безобразный, горбатый и трусливый воин, который при общем возмущении героев потребовал прекратить осаду Трои и был за это избит Агамемноном.

Стр. 539. *...Фетиду... Навзикаю... Андромаху...* — Здесь упоминаются персонажи из гомеровского эпоса: Фетида — морская богиня, мать героя Ахилла; Навзикая — феакийская царевна, которая пришла к морю стирать белье со своими прислужницами и встретила спасшегося от бури Одиссея; Андромаха — супруга троянского героя Гектора, павшего от руки Ахилла; в 6-й книге «Илиады» имеется трогательная сцена прощания перед сражением Гектора с Андромахой и их ребенком, который испугался конской гривы на шлеме отца и тем вызвал улыбку опечаленных разлукой родителей.

Алкеста и Антигона пробудили во мне самые возвышенные мечты... — Алкеста — героиня одноименной трагедии Еврипида; ценой собственной жизни она согласилась спасти от смерти своего мужа. Антигона — дочь царя Эдипа, вопреки запрету управителя Фив совершившая погребальный обряд над своим братом и за это замурованная в подземном склепе (трагедия Софокла «Антигона»).

Стр. 540. *...собрание сочинений Казимира Делавиня.* — Казимир Делавинь упомянут здесь как эпигон классицизма.

Стр. 541. *...стихи, принадлежащие Корнелю...* — Пьер Корнель (1606—1684) — один из крупнейших драматургов французского классицизма XVII века; в конце жизни, попав

под влияние иезуитов, переложил в стихи религиозное сочинение Фомы Кемпийского «Подражание Христу» (XIV в.), переведенное с латыни на французский язык еще в XV веке.

Стр. 548. *...примкнул к шуанам...* — Шуаны — участники роялистских мятежей в Бретани в эпоху французской буржуазной революции конца XVIII века.

Стр. 559. *...то же, что ответила г-жа Примроз...* — Здесь имеется в виду роман английского писателя XVIII века Оливера Гольдсмита «Векфильдский священник» (1766), где обличается безнравственность аристократов и прославляются благочестие и буржуазные добродетели скромного сельского священника пастора Примроза и его семейства.

Стр. 560. *Афинские матера страшились Немезиды...* — Немезида — карающая богиня справедливости *(греч. миф.).*

...черта характера, достойная Тита Ливия, Веспасиана или Александра Севера... — Здесь упоминаются исторические личности, известные твердостью характера. Тит Ливий (см. прим. к стр. 530) — прославлявший в своих сочинениях древние республиканские доблести римлян; Александр Север (III в.) — римский император, по преданию обладавший строгим и благородным нравом; Веспасиан (I в.) — римский император, отличавшийся в своем быту суровостью и презрением к внешнему блеску.

Стр. 562. *...лионцы, создавшие тип Гиньоля...* — Гиньоль — постоянный персонаж народного кукольного театра под открытым небом (названного по его имени «гиньолем»). Обязан своей популярностью импрессарио *Мурге,* который в 1795 году основал гиньоль в Лионе и затем, в начале XIX века, разъезжал с ним по городам Франции.

Стр. 563. *Это — десятое августа, это — девятое термидора, это — Ватерлоо.* — Десятого августа 1792 года, в период французской революции, в Париже произошло народное восстание, результатом которого было фактическое падение монархии. Девятого термидора (27 августа 1794 г.) произошел контрреволюционный переворот, открывший путь к власти крупной буржуазии. Битва при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), проигранная Наполеоном, привела к его окончательному падению.

Стр. 571. *Бедный Милле!.. я... остался другом художников, как они называли меня в Барбизоне.* — Жан-Франсуа Милле (1814—1875) — выдающийся французский художник-реалист; был близок к демократической группе художников-пейзажистов

«барбизонцев»; название это произошло от деревни Барбизон, где они работали в 60-х годах XIX века.

Стр. 585. *...не был ни Роленом, ни Ломоном... проповедей Массильона...* — Ролен Шарль (см. прим. к стр. 432) был автором объемистой «Римской истории», имевшей учебный характер. Ломон Шарль-Франсуа (1727—1794) — французский историк и филолог, автор трудов по истории церкви и по латинской и французской грамматике, которыми пользовались в школе еще и в XIX веке. Массильон (1663—1742) — знаменитый в свое время церковный проповедник.

Стр. 586. *«Ослиная Шкура»* — широко популярная во Франции волшебная сказка; известна по сборнику сказок Шарля Перро (1715).

Стр. 590. *Кондильяк* Этьен (1715—1780) — французский философ-просветитель, сторонник сенсуализма.

Сведенборг, обладающий богатой фантазией... — Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский теолог, мистик.

Стр. 591. *...это Фетида, это богиня.* — По греческому мифу, морская богиня Фетида, мать героя Ахилла, заранее знала, что ее сыну предстоит славная, но краткая жизнь.

Стр. 592. *...Ренар у яфетических народов.* — Условные названия рас, принятые в антропологии, восходят к библейскому мифу о трех сыновьях Ноя, от которых будто бы пошел после потопа весь род человеческий: один из них, Сим, дал имя семитическим народам, второй, Хам, — народам хамитическим (Египет и некоторые другие области Северной Африки), по имени третьего, Яфета, называется яфетическая (или арийская) раса, населяющая Европу. Ренар — французское имя хитрого Лиса, главного героя одноименного средневекового сатирического эпоса, распространенного среди многих народов Европы.

Стр. 593. *...что антиподы ходят вниз головой.* — Антиподы — жители земного шара, обитающие на диаметрально противоположных пунктах земли и, следовательно, обращенные ногами друг к другу.

...небесное светило, воспеваемое в гимнах Веды. — Веды — древнеиндийские священные книги, первая из которых представляет собой собрание гимнов — древнейший памятник индийской мифологии.

Стр. 594. *...мой... дед, большой поклонник Дюпюи, Вольнея и Дюлора...* — Шарль Дюпюи (автор «Происхождения всех куль-

тов», 1795), Константин Шассбеф граф де Вольней (видный ученый-ориенталист, автор нашумевшей книги «Размышления о революциях в империях», 1791) и Жак Дюлор (археолог и историк) — деятели второй половины XVIII и начала XIX века, близкие к Просвещению, участники французской революции 1789—1793 годов. В своих трудах дали научную критику религии.

Стр. 596. *...словесного кружева, которым лишь Ренану дано изящно украшать свои идеи...* — Философ-идеалист, историк религии Эрнест Ренан (1823—1892), к которому Франс был близок в начале своего творчества, отличался мастерством литературного стиля.

Макс Мюллер (1823—1900) — выдающийся немецкий филолог и историк религии, основатель направления сравнительной мифологии и так называемой солярной теории, согласно которой в основе большей части мифов разных народов лежит представление о солнце и его движении по небу.

Стр. 598. *...узнали Матушку-Гусыню в той королеве Гусиные Лапы...* — Фольклорный образ королевы Гусиные Лапы был использован А. Франсом в его романе «Харчевня королевы Гусиные Лапы».

...со святой Люцией, тело которой было такое оке светлое, как ее имя. — Имя Люция значит по-латыни светящаяся, сияющая (Lux — свет).

Стр. 599. *...только Лафонтен чувствовал... поэзию земли...* — Знаменитый баснописец Лафонтен (1621—1695) славится во Франции и как автор стихотворных «Рассказов».

Стр. 600. *...у патриархальных племен Ариадны.* — Очевидно, имеется в виду древняя страна Ариадна в восточной части Персии; в античный период там долго сохранялись первобытно-общинные отношения.

Стр. 604. ...в *образе Эвридики Вергилия... и Брунхильды из песен Эдды.* — Эвридика — по античному мифу жена певца Орфея, которую он пытался вывести обратно на землю из подземного царства. Ее история рассказана в 4-й книге «Георгик» Вергилия. Брунхильда — валькирия, воинственная дева, персонаж древнескандинавской мифологии, многократно упоминается в собрании героических песен — «Эдде».

...легенды Деккана. — Деккан — страна в центре Индии.

Стр. 606. *Мадам де Севинье... чудесные письма...* — Мадам де

Севинье Мари (1626—1696) известна своими письмами к дочери (опубликованы в 1726 г.), представляющими образец прозы французского классицизма.

Стр. 608. *...ученого мужа Гастона Париса...* — Гастон Парис (1839—1903) — выдающийся французский ученый. Занимался главным образом французской средневековой литературой и филологией.

...Жакмар, создавший такие прелестные офорты... — Жакмар Жюль-Фердинанд (1837—1880) — французский гравер.

Стр. 609. *У русской Золушки есть сестра, которая отрезала себе большой палец на ноге...* — Имеется в виду русская народная сказка «Чернушка» (приводится в сборнике русских сказок А. Н. Афанасьева). Упоминание о меховых башмачках Золушки основано на созвучии французских слов verre (стекло) и vair (беличий мех).

С. Брахман

СОДЕРЖАНИЕ

Анатоль Франс. *В. А. Дынник* 5
СТИХОТВОРЕНИЯ. *Перевод В. А. Дынник* 55
КОРИНФСКАЯ СВАДЬБА. *Перевод В. А. Дынник* 79
ИОКАСТА. *Перевод А. А. Худадовой* 143
«ТОЩИЙ КОТ». *Перевод А. А. Худадовой* 223
ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БОНАРА. *Перевод Е. Ф. Корша* 295
КНИГА МОЕГО ДРУГА. *Перевод Н. А. Коган*
Книга Пьера 461
Книга Сюзанны 551
Комментарии И. Лилеевой и С. Брахман 613

АНАТОЛЬ ФРАНС

Собрание сочинений, т. 1

Редактор *Н. Немчинова*

Оформление

художника *Л. Зусмана*

Худож. редактор *Л. Калитовская*

Техн. редактор *Г. Архангельская*

Корректор *Л. Петрова*

•

Сдано в набор 12/VIII 1957 г.
Подписано к печати 15/XI 1957 г.
Бумага 84X108$^{1}/_{32}$ — 20,75 печ. л.
34,03 усл. печ. л. 31,7+1 вкл.=31,8 уч. изд. л.
Тираж 240 000 экз. Заказ № 776. Цена 14 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19

•

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор»
имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26